Р1
Б33

БАШКИРИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

3 ТОМ

Р1
Б33

БАШКИРИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ТОМ 3

97341

Центральная библиотека
пр. филиал УНИЗ

УФА
«КИТАП»
1993

ББК 84Р
Б 33

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ·

М Г Рахимкулов *(составитель)* С. Г. Сафуанов, М А. Чванов

Б 33 Башкирия в русской литературе. Том третий. В шести томах./Составление, предисловие, биографические справки, комментарии и библиография М. Г. Рахимкулова.— Уфа: Башк. изд-во «Китап», 1993.— 512 с.

ISBN 5-295-00726-X

В книгу вошли произведения М. Горького, Н. Златовратского, Г Гарина-Михайловского, А. Чехова, Н. Крашенинникова, С. Черного, Л. Андреева, П. Радимова, А. Куприна, В. Короленко, а также малоизвестных литераторов и этнографов А. Федорова, С. Рыбакова, П. Рыбакова, В. Брусянина, Г Белорецкого, А. Туркина, Н. Степного, В. Львова, П. Инфантьева, С Минцлова.

4702010101—39
Б———— 14—93
М121(03)—93

ББК 84Р

ISBN 5-295-00726-X (Т. 3)
ISBN 5-295-00639-5

© Составление, комментарии.
Рахимкулов М. Г., 1993

ПРЕДИСЛОВИЕ

Реалистическая литература конца XIX — начала XX века складывалась и развивалась в сложной принципиальной борьбе с разного рода декадентско-символистическими течениями. Борьба велась за новое идейное содержание литературы, за нового героя — представителя революционно настроенных масс народа, за простоту, ясность и доходчивость литературы. Эту борьбу возглавлял и направлял Алексей Максимович Горький. Он противопоставил ненавистной действительности мечту народа о справедливой и счастливой жизни; искусству и литературе декаданса, «поэзии звуков без содержания», поэзии «чистого искусства» — народное творчество как оздоровляющее начало. В 90-х годах он выступил с критическими статьями, направленными против поэзии декаданса и реакционных концепций в фольклористике. Продолжая традиции русской революционной демократии, Горький отстаивает идейную чистоту народного реалистического искусства, остро ставит вопрос о его социальной значимости.

Борьба молодого Горького за утверждение гуманистических идей выражалась прежде всего в романтическом воспевании противостоящих миру насилия и угнетения образов вольнолюбивых людей, навеянных мотивами героических легенд и сказаний.

Странствуя по Руси, Горький знакомился с устным поэтическим творчеством разных народов, любовно собирал и записывал сказки, легенды и песни. «Писатель, не обладающий знаниями фольклора,— плохой писатель. В народном творчестве сокрыты беспредельные богатства, и добросовестный писатель должен ими овладеть. Только тут можно изучить родной язык, а он у нас богат и славен»[1],— писал Горький 7 (20) февраля 1904 года писателю и ученому В. И. Анучину, известному исследователю Сибири.

Как известно, ранние произведения Горького свидетельствуют об огромном интересе писателя к фольклору. И этот интерес был отнюдь не случаен. На заре своей литературной деятельности он мучительно искал ответ на волновавший его вопрос о человеческом счастье, о справедливости. Поэтому-то среди большого количества произведений фольклора, услышанных Горьким, его творческое воображение привлекли прежде всего те сюжеты, в которых

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т.— М.: ГИХЛ, 1949—1956.— Т. 28.— С. 303.

нашли отражение народные представления о счастье и свободе, звучали мотивы борьбы за правду и справедливость. Используя фольклорные сюжеты, Горький стремился создать обобщенный образ гордого, одаренного, свободного человека, условно перенесенного в атмосферу сказок и легенд, в романтическую даль истории. Такие героические образы писатель противопоставлял растленному миру собственников-капиталистов. «В героико-романтических легендах, сказках и сказаниях Горького за фольклорною гиперболой скрывается глубокое осознание объективной природы изображаемого явления, отражение реально живущих в народе сил и устремлений» [1].

Большое значение Горький придавал разработке инонациональной тематики. Разрешение национальной проблемы в литературе он видел в создании правдивых образов, отвечающих интересами трудового народа. «А вот не улыбнется ли Вам положение инородцев на Руси? — писал он в октябре 1912 года начинающему киевскому писателю Николаю Иванову.— Сострянать бы эдакую дружескую беседу еврея, татарина, финна, армянина и т. д. Сидят где-нибудь, куда заботливо посажены, и состязаются друг с другом, исчисляя, кто сколько обид понес на своем веку. А русский слушает и молчит. Долго молчит, всё выслушал, молвил некое слово — да завязнет оно в памяти на все годы, пока длится эта наша безурядица и бестолочь» [2].

В национальной проблеме Горький стремился разрешить наиболее важный, особенно в предреволюционные годы, вопрос о содружестве русского и других народов России. В творчестве Горького широко отражается жизнь и фольклор различных народов нашей страны. Волновала писателя и судьба бесправного башкирского народа. На протяжении своей многолетней творческой деятельности он неоднократно обращался к изображению жизни народов Башкирии. Став в 1895 году при содействии В. Г. Короленко сотрудником «Самарской газеты», Горький вел там раздел «Очерки и наброски». В его фельетонах нашел отражение и быт уфимских рабочих. Так, одна из первых его заметок, освещающих уральскую жизнь, была помещена 12 апреля 1895 года и называлась «Весна в Уфе». В том же году в фельетонах, печатавшихся под общим названием «Между прочим», Горький пишет о диком произволе начальства уфимских заводов. В частности, в фельетоне от 22 ноября 1895 года рассказывалось «о том, как в Уфимских железнодорожных мастерских дерутся».

«Говорил я,— пишет Горький в фельетоне от 3 декабря того же года,— на основании письма, присланного мне неким уфимским человеком, но рассказать всё, что было сообщено мне в письме,— не мог. Тем не менее и то, что я рассказал, возымело действие, как снова сообщает мне мой уфимский корреспондент» [1]. А произошло вот что. Начальство, прочитав фельетон Горького, схватило первого попавшегося рабочего — «одного из невинно

---

[1] Матвийчук Н. Ф. Творчество М. Горького и фольклор. Киев, 1959.— С. 239.

[2] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т.— Т. 29.— С. 272.

[3] Там же.— Т. 23.— С. 55.

битых людей», который, к своему несчастью, оказался грамотным, и, хотя он ни в чем не был виноват, не писал корреспонденции,— избило его. «Кто-то, что-то, о чем-то написал, а он, ничего не ведая, оказался во всем виноват. Ясно — пресса влияет на жизнь»[1],— замечает писатель с горькой иронией. Смысл фельетона — в заключительных словах автора: «Не буду больше писать о битых — их и за это бьют». Действительно, ни жалобы рабочих, ни выступления газеты в их защиту при существующем положении вещей не могли облегчить участь трудящихся. Фельетон показывает несправедливость жизни, рождает мысли о необходимости изменения общественного строя.

«Кто же этот «уфимский корреспондент»? Им, бесспорно, был Н. Г. Кувайцев, который работал тогда в городе Уфе частным поверенным,— решительно утверждал уральский писатель А. А. Шмаков.— Это подтверждается деловой перепиской М. Горького с этим человеком, относящейся к началу 1986 года, по поводу сотрудничества последнего в «Самарской газете». Редакция предполагала создать «Уфимский отдел», в котором хотела регулярно помещать «правильные корреспонденции о выдающихся событиях городской жизни... и по воскресеньям — еженедельные обзоры». И Н. Г. Кувайцев стал активно сотрудничать в «Самарской газете»[2].

В статье «Самара во всех отношениях» (1896), сравнивая Самару с другими городами окуровской Руси, Горький вновь обратился к Уфе. В Самаре «такие же дикие нравы,— писал он,— как и в столице Башкирии — Уфе»[3]. Упоминания о Башкирии и башкирах встречаются и в других произведениях Горького. Его, в частности, интересовала судьба известных уфимских революционеров Кадомцевых. Больше того, некоторые эпизоды из жизни этих революционеров нашли художественное отражение в романах «Мать» и «Жизнь Клима Самгина». При создании типического образа Ниловны писатель использовал в качестве прототипа не только характерные черты образа матери Петра Заломова, но и ряда других матерей профессиональных революционеров, в том числе и Кадомцевых. Об этом Горький писал еще в 1909 году редактору журнала «Современный мир» Н. И. Иорданскому: «Ниловна — портрет матери Петра Заломова, осужденного в 900-х годах за демонстрацию 1 мая в Сормове. Она работала в организации, развозила литературу, переодетая странницей, в Иваново-Вознесенском районе и т. д. Она не исключение. Вспомните мать Кадомцевых, судившуюся в Уфе за то, что она пронесла в тюрьму сыну бомбы, коими была взорвана стена во время побега. Я мог бы назвать с десяток имен

---

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т.— Т. 23.— С. 56.

[2] Шмаков А. А. М. Горький и Урал. Очерки. Челябинск, 1968.— С. 8.— См. также: Шмаков А. Наше литературное вчера. Челябинск, 1962.— С. 12—13; Бахарев А. Неизвестные письма А. М. Горького.— Газ. Челябинский рабочий,— 1958.— 2 марта.

[3] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т.— Т. 23.— С. 109.

матерей, судившихся вместе с детьми и частью лично мне известных».[1]

Действительно, мать Кадомцевых была замечательной революционеркой. «Мать Кадомцевых, Анна Федоровна,— пишет в своих воспоминаниях уральский подпольщик Иван Мызгин,— убежденный враг царского строя, превратила свой дом в Уфе в убежище для каждого преследуемого властями. Именно у Кадомцевых была явка, где встречалась с подпольщиками Надежда Константиновна Крупская, приехавшая с Владимиром Ильичем в Уфу после ссылки (Шушенской.— М. Р.). Бывал в этом доме и сам Ильич. Ленин и Крупская хорошо знали всех Кадомцевых, любили их, высоко ценили»[1]

В монументальном романе-эпопее «Жизнь Клима Самгина» Горький коснулся и башкирской темы, хотя она, разумеется, не главная, а скорее — «подтекстная». Как известно, в романе поднимается много важнейших проблем конца XIX — начала XX века, в том числе и нашумевший в то время вопрос о варварском расхищении природных богатств края — земель и лесов и о судьбе башкирского народа.

Для понимания позорной позиции реакционной буржуазной интеллигенции, поддерживавшей политику царизма по отношению к «малым» народам «инородцам», как презрительно именовала их официальная правительственная пресса, характерны высказывания анархиста Инокова в редакции газеты Тимофея Варавки о впечатлениях от поездок по Башкирии, Средней Азии и Персии. Он «решительно говорил:

Вот эти башкиры, калмыки зря обременяют землю. Работать не умеют, учиться не способны. Отжившие люди. Персы тоже»

Такие речи пришлись по душе сотрудникам редакции, солидарным с колониальной, шовинистической политикой царизма: «Радеев смотрел на него благосклонно и шевелил гладко причесанными бровями, а Варавка подзадоривал:

— Что ж, по-вашему, куда их? Перебить? Голодом выморить?

Осенние листья,— твердил Иноков, фыркая носом, как бы выдувая горячую пыль степи» [2]

Эти мысли были созвучны с взглядом Самгина на «инородцев»; «осенние листья»,— мысленно повторял он понравившееся ему выражение.

С презрением относились к народу буржуазные магнаты, путем грязных махинаций наживавшие миллионные состояния. Они, эти «хмельные от сытости люди», у которых «башкирской земли целая Франция», самоуверенно и цинично заявляли:

« — Там — всё наше, вплоть до реки Белой наше!.. От Бирской крепости вглубь до самых гор — наше! А жители там — башкирьё, дикари,

---

[1] Десницкий В. М Горький. Очерки жизни и творчества.— Л., 1940.— С. 310. См. также: «М Горький. Материалы и исследования». Литературный архив. М., Л., 1941 Т 3.— С. 303

[2] Мызгин Иван. Ни бог, ни царь и ни герой. Воспоминания уральского подпольщика.— М., 1959.— С. 24—25.

[3] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т.— Т. 19.— С. 495.

народ негодный, нерабочий, сорьё на земле, нищими по золоту ходят, лень им золото поднять...»[1].

Заинтересованная этими речами, «носатая длинная женщина, вся в чёрном, похожая на монахиню» спрашивает на каком-то «нижегородско-французском» жаргоне:

« — Тюда нюжни дольго поихат?

— Ну, чего там долго! Четверо суток на пароходе. Катнем по Волге, Каме, Белой,— там, на Белой, места такой красоты,— ахнешь, Клариса Яковлевна, сто раз ахнешь»[2],— отвечает ей.

Башкирию грабили не только «свои» — русские дельцы разных мастей,— сюда протягивали хищные лапы и иностранные колонизаторы. С коммерческими целями едет в Башкирию английский промышленник Лионель Крейтон, уже побывавший в Закавказье. Он «приехал разнюхивать, где что продается», и, по-видимому, намерен нажиться на каких-то спекулятивных махинациях. Это настораживает Марину Зотову, женщину из новой буржуазии, которая видит в нем опасного конкурента. Выведав, что Крейтону «нужен русский компаньон», Зотова предлагает своему поверенному Самгину сопровождать англичанина в этой поездке. И Самгин едет с Крейтоном из Самары в Уфу... На поезд, в котором они ехали, было совершено дерзкое нападение. Это произошло недалеко от Уфы, надо полагать, около станции Дёма, потому что «через несколько минут поезд подошел к вокзалу»[3], то есть к Уфе. По всей вероятности, в основу описания этого эпизода легла дёмская операция уфимских боевиков, которая хронологически — лето 1906 года — совпадает с периодом, изображенным в романе[4].

Известно, что «уфимские боевики совершили изумительные по дерзости и отваге акты: остановив близ разъезда Воронки поезд, экспроприировали ценности из почтового вагона, а через месяц устроили налет на поезд около станции Дёма, забрав огромную по тем временам сумму — около двухсот пятидесяти тысяч рублей, которые государственный банк направлял в свои сибирские отделения. «Эксы» были блестяще организованы Иваном и Михаилом Кадомцевыми, боевики не понесли никаких потерь. Полиция безуспешно искала виновных. На эти деньги было закуплено за границей много оружия. Большая часть средств была передана через Саммера Центральному Комитету РСДРП на расходы по созыву Лондонского съезда и „ конференции военно-боевых организаций в Таммерфорсе. «Экс» в Дёме позволил создать

---

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т. Т. 22.— С. 215.

[2] Там же.— Т. 22.— С. 215—216.

[3] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т.— Т. 21.— С. 356.

[4] «Боевые организации Урала находились в прямой связи с ЦК партии, с его центром. Ни одно важное мероприятие на Урале не совершалось без ведома В. И. Ленина и его помощника по военно-боевой работе партии — Ивана Адамовича Саммера... Объединяющим и инструкторским центром южноуральских боевых дружин была самая сильная, обладающая наиболее опытными руководителями и материальными средствами Уфимская дружина» (Мызгин Иван. Указ. работа.— С. 26, 27).

инструкторские школы, в том числе школы бомбистов в Киеве и Львове, печатать общепартийную и военно-боевую литературу»[1].

На Самгина же Уфа навеяла скуку и утвердила его в мысли о неколебимости существующего строя, о тщетности попыток революционеров «разрушить эту теплую, пыльную скуку»:

«Город был какой-то низенький, он точно сидел, а не стоял на земле. Со степи широкой волною налетал ветер, вздымая на улицах прозрачные облака черноватой, теплой пыли. Среди церковных глав Самгин отличил два минарета и только после этого стал замечать на улицах людей с монгольскими лицами. Река Белая оказалась мутно-желтой, а Уфа — голубоватее и прозрачней. На грязных берегах лежало очень много сплавного леса и почти столько же закопченных солнцем башкир в лохмотьях. В общем, было как-то неколебимо, навсегда скучно, и явилась мысль, что Иноковы, Кутузовы и другие люди этого типа рискуют свободой и жизнью — бесполезно, не победить им, не разрушить эту теплую, пыльную скуку. Уныние не столько тяготило, как успокаивало. Вспомнилось стихотворение Шелли «Озимандия»: *«Пустыня мертвая и небеса над ней»*[2].

Если ко всему этому добавить крестный ход большой толпы обывателей города, провожавших икону богородицы в далекий монастырь, и радение о духе в корабле сектантов, руководимом Мариной Зотовой, то, действительно, получалась довольно внушительная картина косной жизни Уфы, которая не столько тяготила, как успокаивала Клима Самгина.

Башкирия — край несчетных богатств — превращалась в «пустыню мертвую». Реакционные ученые считали, что «малые» народности — «инородцы» — обречены на вымирание. Но вот в России победила социалистическая революция, за которую боролись герои Горького — большевики Степан Кутузов, Елизавета Спивак и другие, и осветила «путь к освобождению измученных народов Востока». «Отлично знакомые нам городки Окуровы превращаются в центры социалистической культуры,— писал Горький в 1931 году в статье «О действительности».— Это похоже на сказку, но это — факт. Башкирия и Узбекистан, глухая тайга Сибири и Карелия, Молдавия и Чувашия — все в один голос радостно и гордо заявляют: воскресли к новой жизни, встали на ноги, работаем, понимаем глубокий смысл нашей работы...»[3].

Интересом к людям мужественным и гордым, посвятившим свою жизнь борьбе с беспросветностью, надо полагать, объясняется внимание молодого писателя к образу вольнолюбивого башкира Юзгляра — героя легенды «Немой» (1896). Легенда повествуется устами башкира Габуна, знакомого автора. Рассказчик как бы воплощает в себе обобщенный образ народа, творца чудесных легенд и песен. Горький рисует его колоритный портрет: «Лицо моего знакомого башкира Габуна было совершенно бесстрастно,—

---

[1] Мызгин Иван. Указ. работа.— С. 27.

[2] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т.— Т. 21.— С. 356—357.

[3] Там же.— Т. 25.— С. 459.

коричневое, скуластое, с маленькими неподвижными глазами и всё в тонких морщинах, оно всегда казалось созерцавшим какое-то воспоминание, давно уже пережитое... Он лежал против меня и смотрел через меня своими косыми и узкими глазами вдаль, в бездну тьмы и сурового молчания».

В легенде опоэтизирован образ башкира Юзгляра, личности вольнолюбивой и сильной. Основу горьковского произведения и составляет история жизни этого гордого и смелого башкира. Юзгляр не может смириться с беспросветной жизнью своих сородичей и зовет их к свободе, к свету. Но забитые серой жизнью люди плохо понимают возбужденные жесты немого, боятся и даже гонят его. Правда, недовольство самого Юзгляра настоящим положением и его вольнолюбие и бунтарство были стихийны, а мечты о будущем неопределенны; но, несмотря на это, он и после смерти надолго остался в памяти народа, будоража в нем свободолюбивые чувства, вселяя в сердца людей надежду на новую, справедливую жизнь.

Юзгляр воскрешает в нашей памяти образ немого башкира из «Капитанской дочки»: он искалечен царскими палачами, но не сломлен духом и продолжает борьбу за свободу народа. Горьковский и пушкинский образы безъязыкового «башкирца» — представители лишенного в царской России политических прав, «немого», но вольнолюбивого народа. Овеянный героической романтикой действия образ Юзгляра в новых исторических условиях — в период подготовки пролетарской революции — получает новое политическое звучание: он зовет народ к борьбе за свою свободу и счастье.

Создание двумя большими писателями двух исторически различных эпох идейно созвучных образов немого башкира, видимо, явление не случайное: как Пушкин, так и Горький проявляли живой интерес к фольклору народов России и широко отразили в своем творчестве сюжеты и мотивы устной поэзии различных национальностей.

«...В добровольных своих скитаниях Горький посетил те же страны и области, что и Пушкин, и это отозвалось в его произведениях фольклорными вставками, напоминающими восточный фольклоризм в творчестве Пушкина»[1],— пишет Н. К. Пиксанов под словом «страны», очевидно, имея в виду «края». И с этим нельзя не согласиться. Вместе с тем маститый ученый явно недооценил легенду «Немой». «Изложенная Горьким легенда,— утверждает он,— не из лучших восточных образцов. Она какая-то бессвязная, в ней что-то недосказано или недодумано. Манерой изложения фельетон напоминает ранние рассказы Горького с фольклористическими вставками, с романтизацией героя, но фельетон далеко уступает этим рассказам по литературным достоинствам»[2]

Между тем значительность идейного содержания легенды очевидна. Юзгляр жил мечтой о новой, светлой жизни, хотел пробудить и в соплеменниках веру в нее. Но, погрязшие в косном сером быту, они не понимали его и гнали, и били, потому что он мешал им веселиться. Однако одержи-

---

[1] Пиксанов Н. Горький и фольклор. Изд. второе.— Л., 1938.— С. 100.
[2] Там же.— С. 113.

мость Юзгляра была не напрасна. Когда он погиб, люди пожалели его, задумались, «зачем он был такой и что хотел сказать», и решили похоронить его в степи и «насыпать над ним высокий курган из песка». «И зарыли, и насыпали, а ветер еще выше намел этот курган, и лежит теперь под ним немой башкир, и песок насыпался ему в исклеванные очи. ...Но зимой встает он из-под песка, и, одеваясь в белый халат из снега, стоит он на вершине кургана и машет длинными руками, зовя к себе, и всё сверкают его белые зубы, улыбаются». Здесь утверждается, с одной стороны, бессмертие человека, стремившегося сделать людей счастливыми, и, с другой — сила его воздействия: и после смерти зовет людей к новой жизни. Образ Юзгляра близок к образу Сокола из «Песни о Соколе». Не случайно Юзгляр постоянно смотрит и указывает на небо, которое символизирует свободу и независимость.

Эта степная легенда о Юзгляре, услышанная молодым Горьким во время его ранних скитаний по Руси, оказала заметное влияние на творческое воображение писателя. Как видно из воспоминаний К. П. Злинченко, лично знавшего Горького, сюжет этой легенды был первоначально записан в стихотворном изложении[1]. В этой записи «Юзгляр» — легенда киргизская (казахская: до революции казахов именовали киргизами). Уместно предположить, что Горький слышал ее от казахов. И видимо, желая сохранить поэтическую форму, Горький записал ее стихами. Невозможно согласиться с Н. К. Пиксановым, который стихотворный вариант легенды считает более поздним явлением. «В стихотворном переложении легенда (уже о киргизе) выразительнее, но, вероятно, и дальше от фольклорной первоосновы»[2],— пишет ученый. Между тем, в стихотворной форме легенда написана раньше «Немого», и она значительно ближе к «фольклорной первооснове». В «Немом» социальный мотив звучит значительно сильнее, чем в «Юзгляре».

Сравнение текста стихотворного отрывка «Юзгляр» с прозаическим вариантом — легендой «Немой — показывает, что последний претерпел значительные изменения.

Горьковский Юзгляр, который страстно хотел видеть свой народ вольным и счастливым, положил фактически начало разработке башкирской темы в пролетарский период освободительного движения в России. Внеся ощутимый вклад в развитие русско-башкирских литературно-фольклорных связей, Горький оказал определенное влияние и на тех русских писателей этого периода, которые отразили в своем творчестве башкирскую тему. Во всяком случае, В. В. Брусянин, Н. А. Крашенинников, А. Г. Туркин и А. М. Федоров были в творческом контакте с Горьким, не раз обращались к нему за советом и поддержкой.

...Судьба башкирского народа, доведенного царизмом до грани нищеты, вызывала сочувствие и тревогу многих русских писателей. Не оставила она

---

[1] См. Злинченко К. Из воспоминаний о Максиме Горьком.— Красная новь, М.— 1928, № 6. — С. 165—175.

[2] Пиксанов Н. Указ. работа.— С. 115.

равнодушным и Антона Павловича Чехова, великого человеколюбца. В фельетоне «Мысли читателя газет и журналов» он пишет: «Не читайте «Уфимских губернских ведомостей»: из них вы не почерпнете никаких сведений об Уфимской губернии»[1] Этот отзыв писателя точен, меток и справедлив. Будучи официальным органом губернии, газета, естественно, отражала царскую колониальную политику, умышленно умалчивала о действительном положении дел в Башкирии. Именно в ту пору происходили неслыханные грабежи башкирских земель, и в столичных газетах часто появлялись статьи и корреспонденции уфимских публицистов Н. В. Ремезова и П. И. Добротворского, в которых смело разоблачалось варварское разбазаривание природных богатств Башкирии. Весьма вероятно, что Чехов был знаком с этими публикациями. Тем более, что вопиющие злоупотребления чиновников и дельцов в Уфимской губернии получили широкую огласку и их вынуждена была подтвердить даже сенаторская ревизия, проведенная в 1881 году в Уфе. (См. Башкирия в русской литературе. Т 2, Уфа: Башкнигоиздат, 1991)

Чуткая душа писателя была возмущена тем, что официальный печатный орган края, где происходило ограбление народа, ограбление, которым была возмущена чуть ли не вся прогрессивная общественность России, всячески пытался умолчать даже о самом факте расхищения земель, не сообщал о нем «никаких сведений».

В рассказе «У знакомых» (1898) писатель создал типичный образ инфантильного русского дворянина Сергея Сергеевича Лосева, вся жизнь которого прошла в бессмысленных кутежах и мотовстве. В результате его имение Кузьминки, полученное в приданое за женой, совершенно разорено и продается с молотка. Но всё устраивается как нельзя лучше: Лосеву «обещали место податного инспектора где-то там в Уфимской или Пермской губернии...». Действительно, разорившиеся царские чиновники неплохо устраивались в ту пору в Уфимской губернии и основательно поправляли свои денежные дела. Стремление обедневшего дворянина Лосева поехать в восточные губернии с целью «урвать», по меткому выражению М. Е. Салтыкова-Щедрина, лакомый «кусочек» девственной башкирской земли и тем поправить свое материальное благосостояние, отражает типичное явление той эпохи. Новоиспеченные «башкирские помещики», жестоко эксплуатируя местное население, на слезах и муках народа наживали огромные состояния.

Особого внимания заслуживает приезд Чехова в 1901 году на кумысолечение в Башкирию. Его эпистолярное наследие этого периода, мемуарная литература, отразившая эту поездку, и некоторые другие материалы позволяют воссоздать «башкирскую страницу» жизни и творчества Чехова. И хотя Чехов ехал в Башкирию на отдых, на кумысолечение, но, как художник и общительный, беспокойный человек, он, конечно же, не мог сидеть без дела: вел интенсивную переписку с писателями и издателями, родными и друзьями, читал корректуры своих произведений и редактировал их, перезна-

---

[1] Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти т. 1974—1983. М.: Наука. Т. 2.— С. 14.

комился с персоналом санатория и отдыхающими и впоследствии с некоторыми из них поддерживал связи.

По свидетельству жены писателя Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, актрисы Московского художественного театра, Антона Павловича приводили в восторг и живописная природа Башкирии с воспетой Аксаковым чудесной рекой Дёмой, и красивые холмы с девственными лесами, и густые травы с изумительными душистыми полевыми цветами.

На другой же день по приезде в санаторий Чехов писал сестре Марии Павловне, что с удовольствием пьет кумыс, «кислый, похожий на квас, напиток». Чехов не только «переносил» кумыс, но и значительно поправил в Башкирии свое здоровье. Как врач, он, несомненно, знал о целебных свойствах кумыса. Больше того, еще в раннем его рассказе «Цветы запоздалые» (1882) доктор Топорков советует пациентке, больной туберкулезом девушке Марусе, ехать на кумыс: «Вам нужно ехать в Самару... Будете там кумыс пить».

Как видно из писем Чехова к различным адресатам, кумыс оказывал на него благотворное воздействие, и уже через несколько дней после приезда в санаторий он чувствовал себя значительно лучше. Так, 10 июня он писал матери Евгении Яковлевне, что помногу пьет кумыс и от этого заметно поправляется, кашель прошел, и хотя «жить здесь не совсем удобно и скучновато, но в общем недурно», и он «уже привык». Что касается скуки и неудобств, то, естественно, оторванность от литературного и культурного мира, пребывание в глухой губернии, в безвестном, только что открывшемся санатории не могли не угнетать человека такой деятельной, творческой натуры, каким был Чехов.

Его письма из Башкирии, несмотря на общность мотивов — пьет кумыс, поправляется, но скучает,— всё же различны по их основному содержанию. Родным и близким он преимущественно пишет о личной жизни, о здоровье, природе; литераторам, издателям, журналистам, общественным деятелям, наряду с этим, сообщает и о социальной стороне быта, касается также творческих вопросов. Будучи в санатории, Чехов вычитал и отредактировал корректуру пятого тома своих сочинений, издаваемого А. Ф. Марксом.

В одном из писем к своему другу, известному юристу и писателю А. Ф. Кони Чехов жаловался: «Здесь, на кумысе, скука ужасающая, газеты все старые, вроде прошлогодних, публика неинтересная...». Кроме отсутствия духовно близких людей среди отдыхающих, писателя, надо полагать, угнетало бедственное положение как коренных жителей — башкир, так и русского населения окрестных деревень и сёл, в которых ему довелось побывать: частые неурожаи, свирепствовавшие в ту пору в Уфимской губернии, довели трудовой народ до грани нищеты.

Чехов высоко ценил целебные свойства башкирского кумыса. В. С. Миролюбову, в частности, писал, что пить кумыс в Петербурге бесполезно, «его можно пить только здесь, в восточных губерниях», то есть в ковыльных башкирских степях. Качество кумыса в Андреевском санатории было очень хорошим. Около трехсот кумысных кобылиц паслись на пастбищах, распо-

ложенных вокруг санатория, возле речки Бугульминки. Здесь же табором размещались и башкиры, работавшие в табуне. Некоторые из них жили в таборе со своими семьями. Жизнь этих башкир была тяжелой, безрадостной, проходила в постоянной борьбе с нуждой и бедностью.

Чехов не раз отмечал в своих письмах, что население в здешних краях «всё больше башкиры», восхищался девственной башкирской природой. Так, публицисту В. М. Соболевскому он, в частности, писал: «Природа здесь, кстати сказать, чудесная; масса полевых цветов, поверхность гористая, много ручьев... И чувствуется скорый, жадный рост трав, так как лето кончается уже в августе, а жить и расти хочется. Садов нет. Охота, по-видимому, дивная; хариусы и форели ловятся в речке». О. Л. Книппер-Чехова в своих воспоминаниях также отмечает: «В Аксенове Антону Павловичу нравилась природа, длинные тени по степи после шести часов, фырканье лошадей в табуне, нравилась флора, река Дёма (Аксаковская), куда мы ездили однажды на рыбную ловлю»[1].

После месячного пребывания в Башкирии на кумысе здоровье Антона Павловича значительно улучшилось и Чеховы отправились домой в Ялту. Однако с отъездом из Аксенова связи с Башкирией не прерывались: позднее писатель не раз с удовольствием вспоминал о жизни на кумысе.

В записной книжке Чехова имеются краткие записи, относящиеся ко времени его пребывания в Башкирии. Вероятно, некоторые из них являются творческими замыслами, осуществлению которых помешала безвременная кончина писателя. Чехов был также тесно связан с литераторами, авторами многочисленных произведений различных жанров о Башкирии, среди них: А. М. Федоров, А. Г. Туркин, Ф. Д. Нефедов, В. В. Брусянин, Н. А. Крашенинников. Он помогал им морально и творчески. Искали его поддержки и совершенно незнакомые люди. Так, 3 марта 1904 года Чехов пишет В. А. Гольцеву: «Некий г. Каратаев, мне неизвестный, прислал мне из Уфы несколько рассказов».

Близко знавший Чехова плодовитый литератор А. М. Федоров, автор первого романа о Башкирии «Степь сказалась» (1897), отмечал, что «чисто товарищеское отношение Чехова к молодым писателям проявилось особенно трогательно». И, заканчивая свои воспоминания о Чехове, написанные кровью сердца в год кончины великого писателя, он прорицал: «На его произведения история много лет спустя смело может положиться как на вернейший и гениальнейший диагноз, поставленный мучительной эпохе, в которую он жил, которая всё же заставила его воскликнуть в торжественном предвидении:

«Услышим ангелов! Увидим небо в алмазах!»[2].

Обличая пошлость и социальное зло во всех его видах, Чехов всем своим творчеством напоминал людям о необходимости борьбы за свободу

---

[1] Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер.— М., 1934.— Т. 1.— С. 39

[2] Федоров А. М. Утро и другие рассказы. Московское книгоиздательство. Типография «Земля». (Б. д.).— С. 221.

и счастье человека. Он страстно любит, глубоко страдает, и всё это во имя того, чтобы на земле как можно быстрее настало царство добра и справедливости. Чехов глубоко верил в счастливое будущее. «Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь!» — восклицают его герои Аня и Трофимов в финале пьесы «Вишневый сад». Писатель приветствовал эту новую жизнь, отдал ей весь жар своего сердца.

Упомянутый выше автор пронзительно честных воспоминаний о Чехове Александр Митрофанович Федоров был в свое время широко известным поэтом, беллетристом, драматургом, переводчиком западноевропейской поэзии. Выходец из бедной семьи, внук крепостного и сын сапожника, он с двенадцати лет остался круглым сиротой и прошел тяжелую школу жизни. И, видимо, оттого-то, по словам самого автора, его первые стихотворные опыты были жестоким подражанием Некрасову»[1]. Заметное влияние на раннее творчество Федорова оказал литературный кружок «Среда», фактическим идейным руководителем которого был А. М. Горький.

В большом творческом наследии Федорова значительное место занимают произведения о Башкирии, созданные в начальный период его литературной деятельности. Раннее же творчество писателя отличается демократизмом, проникнуто горьковским духом, сильно́ постановкой острых социальных проблем, резкой критикой общественных пороков существующего строя.

В обращении Федорова к разработке инонациональной тематики, и прежде всего к реалистическому освещению жизни многострадального башкирского народа, существенное значение имело близкое общение с Горьким и писателями горьковского направления, ратовавшими за интернациональную широту литературы. В пробуждении интереса Федорова к башкирской теме важную роль сыграл уфимский писатель Петр Иванович Добротворский, который не без основания считал себя «крестным отцом» — идейным наставником А. М. Федорова и Василия Васильевича Брусянина. И если Федоров так до конца и не смог освободиться от либерального демократизма, характерного для всего творчества Добротворского, то Брусянин, успешно преодолевая этот недостаток, обнаружил явное тяготение к марксистской идеологии, за что подвергался репрессиям.

В 90-х годах около шести лет Федоров прожил в Башкирии, первым его произведением на башкирскую тему был цикл стихов «В башкирской степи» (1895). Поэт воспел красоту необъятных степных просторов и через яркие бытовые картины отразил некоторые характерные черты патриархальной жизни башкирского народа.

Первый раздел цикла — вводный. Здесь как бы зримо видишь и великолепный «простор без грани и без края», который «всё поет, цветет благоухая», и осязаемо чувствуешь глубокую древность этой девственной земли, заросшей ковылем, отчего вся степь кажется седою. И через «грёзы степи», навеянные фольклорными мотивами, поэт скупыми, но сочными мазками рисует выпуклую картину былой Башкирии, акцентируя внимание на наиболее

[1] Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ). Фонд Федорова А. М.— Ф. 519, оп. 1, д. 1, л. 4.

важных вехах ее истории. Башкирские степи помнят времена и Александра Македонского, и жестокого Тамерлана, и чудь, и половцев. ...И, наконец: «Русь идет... гудят колокола...». Следовательно, этот своеобразный сказочно-исторический экскурс поэт доводит до середины XVI века — до эпохи присоединения Башкирии к Русскому государству. На этом заканчивается самостоятельная история Башкирии, дальнейшая ее судьба уже тесно связана с Россией. Завершается раздел картиной современной поэту жизни Башкирии·

Передо мной беспечно степь цветет
Немой курган, безвестная могила
Лишь о минувшей вольности уныло
Башкир-ямщик тоскует и поет

Если вспомнить, что к концу XIX века природные богатства Башкирии были варварски ограблены, народ голодал и нищал, а эпоха башкирских восстаний осталась в прошлом, то станет понятен печальный смысл процитированных строк: исконному хозяину степей башкиру не осталось ничего, кроме унылой песни, выражающей тоску по минувшей вольности.

В целом же цикл «В башкирской степи» звучит как торжественный гимн живописной, вечно юной природе. «Какая даль! Какой простор! В степи, как в небе, тонет взор»,— восклицает поэт, восторгаясь необозримой ширью башкирских степей.

Кругом зеленый океан,
На нем — волной застыл курган..
Порою, с ветром наравне,
Башкир промчится на коне..
Стада овец, обоза цепь,
Аул... А там — всё та же степь,
Всё та же ширь, всё та же даль,
Всё тех же рек живая сталь..

Такова Башкирия, благоухающая всеми своими красотами. Казалось бы, и народ должен жить здесь свободно и счастливо, наслаждаясь окружающим великолепием и щедрыми дарами природы. Но действительность показывает иллюзорность подобных надежд: народ живет в нужде и горе. Это удручает писателя, и в рассказе «Курайщик» (1897) он осуждает губительную силу богатства, разрушающего всё человеческое в людях. В рассказе показана тяжелая жизнь трудящихся башкир и русских крестьян в Башкирии, классовое расслоение, обнищание крестьянства и обогащение кулаков. Главный герой рассказа башкир Меннигарей был самым искусным кураистом в округе, отсюда и название рассказа. Одним из основных средств к существованию служила ему игра на курае во время сабантуев и свадеб. Но в голодные годы спроса на его искусство не было. И вот нужда гонит его на поиски

хлеба для семьи. После долгих и тщетных мытарств он с последней надеждой приходит к богатому родственнику Сулейману, но тот отказывает ему в помощи.

В рассказе показана дружба двух бедняков: башкира Меннигарея и русского мужика Игнатия, по прозвищу Дуля. На фоне разрушения властью денег родственных отношений эта дружба бедняков различных национальностей получает символическое звучание. И Меннигарей и Дуля понимают, что их грабит башкир-кулак, что он обоим им враг и что доля их одинакова, но они не видят путей борьбы против такой явной несправедливости. Изображая невыносимо тяжелую жизнь бедных крестьян, угнетаемых богатеями, писатель выступал против социального неравенства.

Тема дружбы русского и башкирского народов нашла отражение также в романе «Земля», написанном под впечатлением поездки Федорова в 1901 году в Уфимскую и Самарскую губернии, где он устраивал столовые для голодающих. В романе, пронизанном гуманистическими идеями (не случайно же он впервые был напечатан в короленковском «Русском богатстве!), показана самоотверженная работа русских врачей-энтузиастов во время страшной эпидемии чумы и голода в Башкирии. Башкирскими мотивами навеяны также стихотворение «Гумер-Зая»[1] (умырзая — башкирское название горицвета) и рассказ «Королева» (так звали героиню за ее величественную красоту), действие которого происходит около Уфы на берегу реки Дёмы.

Самым же значительным произведением Федорова на башкирскую тему является роман «Степь сказалась»[2] Это первый роман о башкирском народе. Тема его — разоблачение одной крупной земельной махинации. За годы жизни в Башкирии Федоров хорошо изучил историю многих гнусных хищений и решил художественными средствами раскрыть и осудить их. Над романом Федоров работал около пяти лет, живя в Уфе, а летом — преимущественно в деревне Курменкей (прообраз Кумыш-Камара), недалеко от станции Давлеканово Уфимской губернии Именно в эти годы он и стал профессиональ-

---

[1] По поводу этого стихотворения и некоторых других И. А. Бунин писал автору: «Очень мне нравится этот недолговечный цветок — «Гумер-Зая», много трогательного, красивого и реально-пахучего и во всех других. Но много и небрежностей...» (Письмо И. А. Бунина к А. М. Федорову от 31 января 1901 года.— ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 2, д. 2, л. 6)

[2] Впервые роман был напечатан в февральском и мартовском номерах ежемесячного литературного приложения к журналу «Живописное обозрение» за 1897 год. Отдельным изданием вышел в обеих столицах в 1900-м, 1908-м и 1912-м годах. В 1981 году переиздан массовым тиражом в Уфе в серии «Золотые родники». Готовя роман к отдельному изданию, автор подверг его некоторому сокращению и внес незначительные изменения, преимущественно стилистического характера, заменил имя Квитковской: Нина Павловна стала Ариадной Владимировной. Но основная сюжетная линия романа, система и группировка образов, композиция и идейное звучание остались те же.

ным писателем. В молодости же, увлекшись театром, он небезуспешно выступал на сцене, переезжая из одного провинциального города в другой. В 1890 году, приехав в Уфу на гастроли, он оставил труппу и приступил к работе над романом. «Последним пунктом моей плодотворной артистической деятельности был г. Уфа,— пишет Федоров в своей автобиографии в 1909 году.— Здесь, благодаря близости к башкирскому народу, я задумал мой первый роман «Степь сказалась». В бытность мою в Уфе вышла и первая книга моих стихов... критика ее приветствовала довольно дружелюбно. Существование мое исключительно литературой относится ко времени напечатания романа «Степь сказалась».

В Уфе завязалась дружба Федорова с писателями П. И. Добротворским и В. В. Брусяниным. Живя на скудный литературный гонорар, Федоров в период работы над романом испытывал большие материальные затруднения и многим был обязан поддержке своих уфимских друзей.

Тема, за которую взялся Федоров, была не новой. Больше того, путевые очерки Г. И. Успенского «От Оренбурга до Уфы» и первая книга «Очерков из жизни дикой Башкирии» Н. В. Ремезова, содержавшие богатый фактический материал о крупнейших хищениях башкирских земель и лесов, послужили документальными источниками для создания романа «Степь сказалась».

Г. Успенский и Ремезов раскрыли подлые махинации «ловких людей» — Уткина, братьев Коловских и других, которые башкирские земли не покупали, а «просто брали даром», купчие же оформляли на имя подставных лиц. Точно так же поступал и Брызгалов, крупнейший представитель лагеря хищников в романе Федорова. Юридически Уткин купил пятьдесят тысяч десятин земли за восемь тысяч рублей, фактически же земли было приобретено сто тысяч десятин и, следовательно, уплачено лишь по восемь копеек за десятину. Точно такие же цифры значатся и в покупке Брызгалова. Уткин несколько раз закладывает купленную землю в банках, так же действует и Брызгалов. Уткин «покупает» землю путем различных махинаций, подделкой подписей под приговором, в чем ему помогают старшина, писарь, адвокат Блюммер, посредник Фок. Все названные лица явились своеобразными прототипами федоровских персонажей. Отдельные материалы и факты о способах хищения сообщены были Федорову Добротворским, который хорошо знал всю подноготную захватов башкирских земель.

Роман, следовательно, имеет документальную основу, и это несомненно повысило силу его воздействия и интереса к нему, чем, по-видимому, и объясняется то, что за короткий срок он выдержал три переиздания. При документальной достоверности многих фактов роман является подлинно художественным произведением, рисующим широкую панораму общественной и народной жизни Башкирии 80-х годов прошлого столетия.

По жанру это социально-психологический роман с традиционным любовным треугольником. Личные взаимоотношения героев достаточно убедительно мотивированы, поступки способствуют раскрытию характеров персонажей, многие из которых показаны в эволюции, немало удачных попы-

Центральная библиотека профкома книги

ток индивидуализации языка. Но основное достоинство романа в том, что в нем беспощадно разоблачаются подлые махинации, жульнические приемы «ловких людей», грабивших башкирский народ. Главный герой романа башкир Араслан Галиевич Арасланов ведет упорную борьбу против Брызгалова, обманом купившего у башкир-вотчинников огромный участок земли по баснословно дешевой цене. В ходе этой борьбы он вступает во взаимоотношения с представителями различных слоев общества: башкирскими крестьянами, чиновниками разных рангов, интеллигенцией, служителями культа. Сатирическими красками рисует писатель цвет уфимской аристократии; дает меткие характеристики людям всех социальных групп, начиная от муфтия и кончая беднейшим башкиром; показывает бесправие и забитость бедняков и бездушие, развращенность представителей господствующих классов.

Основной конфликт романа — столкновение двух противоборствующих сил: хищников во главе с Брызгаловым и правдоискателей, борцов за справедливость во главе с Аразлановым. Лица, поддерживающие или сочувствующие Арасланову, составляют один лагерь. Остальные же — пособники Брызгалова и все персонажи, безразличные к его «покупке», относятся к противоположному лагерю. Сочувствие автора явно на стороне Арасланова.

Писатель дает обаятельный портрет Арасланова. Это был «мужчина лет тридцати двух, невысокого роста, худощавый и смуглый, с редкой черной бородой и усами. Скулы слегка выдавались, нос был широкий, с приподнятыми тонкими ноздрями, но эти недостатки скрашивались выпуклым лбом и черными острыми глазами, небольшими, широко поставленными, с тем характерным разрезом, по которому сразу можно узнать башкира. Ум проницательный и честный светился в этих глазах и придавал лицу ту привлекательность, которою наделены редко даже интеллигентные лица».

Арасланов родился в глухой деревушке, расположенной недалеко от города Уфы, который дан в романе под вымышленным названием Светлорецк (как город, стоящий на реке Белой, с заменой «белого» синонимом «светлый», чтобы не было смешения с городом Белорецком). Рано осиротев, влачил полуголодное существование. Простая случайность определила его будущее: шестилетнего подпаска укусил бешеный волк. При содействии учителя, лечившегося в их деревне на кумысе, мальчика отправили в больницу в город. Врач Рокотов, вылечивший его, оказался на редкость добрым и отзывчивым человеком: он оставил сироту при больнице, знакомый учитель научил смышленого мальчонку грамоте. Затем Рокотов устроил его в гимназию. По окончании ее Арасланов поехал в Петербургский университет и успешно окончил там два факультета — медицинский и юридический. Он был принят в великосветском обществе, его ждала блестящая карьера в столице. Однако он бросил всё и приехал в далекую, дикую, но родную Башкирию, чтобы посвятить себя служению башкирскому народу. С детских лет он воочию видел тяжелую, беспросветную жизнь родного народа, несущего на своих плечах непосильный груз страданий и бедствий, сам испытал нищету, голод и унижения. В стенах университета он продолжал интересоваться жизнью и судьбой своих кровных собратьев. Возмущенный

хищениями земель в Башкирии он напечатал статью «О социальном положении башкир в России», которая наделала в Уфе «немало шума и вызвала много толков», и поклялся сделать всё возможное, чтобы защитить ограбленных сородичей. Поводом же для приезда на родину послужила встреча с двумя земляками, которые явились в Петербург, чтобы обратиться «с жалобой в сенат на одно крупное и наглое хищение»: «покупку» Брызгаловым «у башкир-вотчинников земли в сто тысяч десятин по восьми копеек за десятину»; причем купчая была оформлена обманным путем: «одна треть подписей поддельные или подкупные».

Как же намерен Арасланов бороться за интересы башкирского народа, что думает он делать? «Прежде всего я соберу все материалы по разграблению башкирских земель,— говорит он.— Многого, конечно, нельзя будет воротить, но я все силы употреблю, чтобы сделать всё возможное, а сделать, насколько мне известно, можно еще немало. Я объеду все, даже глухие закоулки и всё разузнаю, что мне нужно. О, это будет целая эпопея беззаконного разбоя, и я убежден, что сделаю свое дело. Я вызову сенатскую ревизию и к позорному столбу притяну всех разбойников... Я сам пойду на всё: я отдам народу все свои силы. Буду доктором, адвокатом, учителем, муллой... Всем, что в моих средствах, и, кто знает,— с гордостью закончил он,— может быть, нам удастся вызвать к жизни силу, которая даст миру своих художников, ученых, поэтов».

Как видим, в основе деятельности Арасланова лежат народническо-просветительские идеи. От мысли же о сенатской ревизии явно веет духом демократического либерализма. И идет она, очевидно, от П. И. Добротворского, чьи обличительные корреспонденции о беззаконных грабежах башкирских земель, происходивших в 70-х — начале 80-х годов, действительно, вызвали сенатскую ревизию Уфимской губернии. Но, как человек исключительно энергичный и деятельный, Арасланов сумел сделать много такого, что выходило далеко за рамки его декларации. Он разворачивает бурную деятельность: собирает материалы по разграблению башкирских земель, изучает их историю и положение дел на местах, в деревнях, вскрывая массу беззаконий, творившихся при покупках, показывает те низкие приемы мошенничества, на которые шли расхитители земель, обнажает истинный облик хищника Брызгалова.

Устами своего героя писатель осудил наглых грабителей богатств Башкирии и призвал прогрессивную общественность прийти на помощь народу: «Расхищение дикое, варварское! — вырвалось у Арасланова, и он порывисто сжал себе лоб.— Хищники налетели со всех сторон и рвут чужое добро на части. За бутылку водки, за фунт табаку или чаю покупают целые земли, а то так просто рвут даром. Чтобы обокрасть доверчивых башкир, чтобы оторвать себе побольше кусок, не брезгают никакими средствами: развращают, спаивают народ... Таким образом, народ, склонный по природе ко всему хорошему, отзывчивый, честный, погибнет, если дело пойдет таким порядком... Погибнет, если вовремя не прийти к нему на помощь».

В разоблачении язв колониализма демократизм писателя порой дости-

гает горьковского звучания. Но, смело изобличая отдельные общественные пороки, Федоров склонен был рассматривать их лишь как следствие мошеннических махинаций отдельных «ловких людей» и не смог подняться до осуждения всего прогнившего строя — главного виновника обнищания башкир и других народов. Отсутствие четкого положительного идеала, ограниченность его общегуманистическими мотивами, не идущими далее просветительства, обусловило слабые стороны романа. И в нем, как в зеркале, отразилось противоречивое мировоззрение автора. Стремясь создать колоритный тип народника-просветителя, писатель с большой симпатией рисует своего главного героя. Но вместе с тем, очевидно понимая, что время народников уже прошло, он обрекает дело Арасланова на неудачу. Правда, Федоров пытается доказать, что этому помешали не объективные, а субъективные причины (Арасланов страстно влюбляется в госпожу Квитковскую и, узнав, что она компаньонка и любовница Брызгалова, сходит с ума).

Однако, несмотря на серьезные идейные противоречия, в романе с большой художественной силой раскрыта механика гнусных хищений земель. Башкир грабили десятки, сотни брызгаловых, уткиных, морозовых, петровых. Они не останавливались ни перед какими махинациями: грозили, спаивали, подкупали башкир, вступали в сделки с чиновниками, не брезгали никакими подлогами. Это беззаконие, как наглядно говорят факты, приведенные в романе, не только поддерживало, но и организовывало само царское правительство.

Полагая, что от успешности его борьбы с расхитителями земель зависит не только сегодняшнее положение башкир, но в конечном счете их историческая судьба, Арасланов прилагает все силы, чтобы разоблачить Брызгалова. Подробное знакомство с картой уезда дало Арасланову вопиющие факты о наглом обмане: границы земель, купленных Брызгаловым, были обозначены, как и в купчей Уткина, весьма приблизительно, в действительности же земли было куплено вдвое больше. Брызгалов хищнически рубил и сплавлял вековые мачтовые леса, наживая большие деньги. Известно, что Уткин только на продаже леса сколотил капитал в триста тысяч рублей. Не подлежит сомнению, что прототипом Брызгалова является Уткин из «Очерков из жизни дикой Башкирии» Н. В. Ремезова. Уткин, как один из расхитителей башкирских земель, фигурирует и в путевых очерках Г. И. Успенского «От Оренбурга до Уфы».

Хищническая природа Брызгалова наглядно видна уже из того, как он разбогател. Отец Брызгалова служил лакеем у одного помещика и, обокрав его, купил у башкир клочок земли, который затем продал втридорога. Повторив подобную операцию несколько раз, он стал обладателем многих сотен десятин земли, начал рубить и продавать лес. И к концу своей жизни довел «капиталец» до одного миллиона. Кстати, отец Уткина у Ремезова разбогател точно так же. Брызгалов-сын во многом перещеголял отца. Если отец был непросвещенным хищником, то сын, учитывая ограниченные возможности отца-неуча, ударился в «науки»: хорошо изучил башкирский язык и обычаи, чтобы легче было обманывать народ. Иронически подчеркивая

хищное нутро ему подобных, Разумеев говорит Арасланову: «Европеец. За границу ездил, хотя из иностранных языков только на башкирском говорит, а обычаи их и характер изучил до тонкости: без этого никак им нельзя».

Помощником и наставником Брызгалова был отец, который сомнительные купчие бумаги оформлял на свое имя, чтобы в случае неудачи оградить сына от неприятностей; сам он их не боялся, ибо одной ногой уже стоял в могиле. Подобным же образом поступал и отец Уткина, который, переведя все деньги на имя сына, оставил после своей смерти кучу долгов. Идя по стопам отца, Брызгалов поставил перед собой одну-единственную цель — обогащение, достижению которой он отдавал все свои силы, знания, опыт, не останавливаясь ни перед какими низкими и гнусными средствами. Богатство давало ему самое сильное оружие — власть. Используя свое влияние и силу, Брызгалов мошенническими путями приобретает у башкир огромные земельные палестины. «Рвачи с каким-то собачьим нюхом»,— так метко характеризует писатель породу Брызгаловых. Этих-то рвачей и решил вывести на чистую воду Арасланов.

Изучив всю подноготную брызгаловской покупки, Арасланов с большим энтузиазмом начал борьбу против этого наглого хищника. Но в этой борьбе он был одинок. Его попытка найти поддержку среди русской и башкирской интеллигенции не увенчалась успехом: все ему сочувствовали, но реальной помощи никто не оказывал. Не оправдало его надежд и земство. Даже муфтий, облеченный большой властью и имеющий непререкаемый авторитет среди мусульманской части населения, а также член городской управы Цералов, жизненная судьба которого во многом сложилась как у Арасланова, ничем не смогли ему помочь.

Муфтий в изображении Федорова не лишен многих привлекательных черт: вежлив, умен, хорошо знает жизнь народа, его характер, нравы, обычаи. Он откровенно признается, что невежественные и ограниченные муллы, распространяя религиозный дурман и предрассудки, подавляют стремление народа к борьбе за свое счастье и проповедуют смирение перед судьбой. Сочувствуя бедственному положению башкир, муфтий в то же время ничего не предпринимает для улучшения жизни народа, а, напротив, бездействуя, как бы способствует его разорению.

Цералов получил блестящее образование в Петербурге, изучил ряд языков, был принят при дворе, но бросил всё и уехал в родную Башкирию служить народу. Сначала он раздавал деньги бедным крестьянам, но из этой филантропической затеи ничего не вышло: деньги быстро иссякли, а бедных не убавилось. Тогда он решил помочь народу общественным служением и поступил в земство. Здесь он надеялся совершить большие преобразования, но ничего не смог сделать: помешали косность и рутина, царящие в земстве. Ничего не добившись, Цералов смирился, благие идеи предал забвению и на всё махнул рукой.

Таким образом, башкирская интеллигенция, на которую возлагал большие надежды герой романа, была не на высоте своего положения и не могла служить народу: помимо малочисленности, она была к тому же политически незрелой.

Ничего не добившись в городе, Арасланов едет в деревню. И то, что он увидел там, превзошло все его ожидания... Писатель хорошо знал жизнь башкирской деревни, быт и нравы народа, и поэтому картины сельской жизни, изображенные им, убедительны и правдивы. С соломенными и земляными крышами, покосившимися стенами, с обязательной мечетью и кабаками деревни того времени, как близнецы, походили одна на другую. Описывая деревню Кумыш-Камар, которая считалась одной из богатейших, Федоров рисует типичную картину жизни башкирской деревни. В Кумыш-Камаре была новая мечеть, две лавочки, несколько изб с деревянной крышей, остальные — с соломенными и земляными крышами. Многие же избы вовсе не были похожи на жилище человека: сделанные из плетня и глины, с плоской земляной крышей, они не имели ни кола, ни двора и походили на хлев для скотины. В таких условиях жило большинство башкирских семей «одной из богатейших деревень».

Вследствие постоянного недоедания среди башкир свирепствовали болезни. На сотни верст не было ни единого медицинского учреждения, врачеванием занимались темные знахари и разные шарлатаны. Смертность, особенно среди детей, была большая. В Кумыш-Камаре только за одну весну эпидемия оспы унесла более половины детских жизней. Забитые нуждой башкиры терпеливо переносили издевательства старшин и писарей,обман и грабеж господ Брызгаловых. Но среди безропотной толпы были и такие, как Сулейман и Шагибек, которые не смирились с бесправным положением и в меру своих сил боролись против несправедливости. Но их было мало. Брызгаловы же шли на всяческие ухищрения: подкупали башкир, а если не действовали подкупы, в ход шли угрозы и побои. Хищники широко опирались также на деклассированные элементы, которые, как вор Якупка, сбились с жизненного пути и, потеряв честь и совесть, становились слепым орудием господ.

Однако при всех тяготах жизни башкиры-труженики оставались людьми жизнелюбивыми, дружными и не теряли надежды на лучшее будущее. Это подтверждается их силой и удалью, которые особенно ярко проявились на празднике сабантуя. Им одинаково дороги и честь товарища, друга, и честь родного народа. Наглядным подтверждением этого является сцена борьбы, когда Сулейман и другие чуть не со слезами на глазах упрашивают старого батыра Шагибутдина выйти на поединок с кучером Брызгалова, здоровенным мужиком Матвеем, чтобы защитить честь башкирской деревни. И Шагибутдин оправдывает надежды своих односельчан.

Автор показывает рост в глухой башкирской деревне потенциальных сил, которые смогут проявить себя в будущем, когда наступит пора социальной ломки старых отношений. Многие башкиры начинают догадываться, а такие, как Сулейман, и ясно сознавать, кто истинный виновник их тяжелого положения. Они открыто ненавидят своих обидчиков — Брызгалова, старшину, писаря и других приспешников богатого дельца. «Толпа, точно разбуженная, сразу оглянулась на чужих гостей, и они (Брызгалов и его сторонники.— М. Р.) не могли не уловить несколько сверкнувших затаенною злобою и ненавистью взглядов». А когда Брызгалов приглашает башкир на угощение, они решительно отказываются, ибо знают истинную цену такого «угощенья».

Но они еще не в состоянии дать решительный отпор своим противникам и под страхом тюрьмы и сбора недоимок вынуждены подчиняться им. Только Сулейман и два его товарища остаются непреклонны. Несмотря на унижения и оскорбления, они не падают духом и готовы до конца бороться за свои права. Верой в счастливое будущее живут и возчик Минибай, и слепой кураист, и Сулейман, ободренные решительными действиями Арасланова.

Действительно, Арасланову удалось сделать многое. На сходе он раскрыл наглость и цинизм грабительских действий Брызгалова. Обнаружилось, что в приговоре указано земли в два раза меньше, чем было на самом деле; многие подписи оказались фиктивными: одни из мнимых их авторов находились в отъезде, других уже давно не было в живых, третьи, подкупленные Брызгаловым за тюбетейки, полтинники и всякие безделушки, давали противоречивые показания. Выяснилось, что часть действительных подписей получена лишь под угрозой избиения и тюрьмы. Кроме того, была нарушена сама процедура оформления покупки: подписи для приговора собирали по домам, а приговор прочитали затем на сходе с большими изменениями. Вдобавок к этому, пытаясь замести следы преступления, сторонники Брызгалова выкрали из мечети «бумаги». Мошенничество Брызгалова было разоблачено полностью, и дело надлежало передать в суд. Арасланов предвкушал уже полную победу.

Но неудержимое болезненное влечение к Квитковской заставило его бросить все дела и уехать в город. Всепоглощающая слепая страсть толкает Арасланова на опрометчивые поступки. Его не останавливают ни светские, ни сословно-национальные предрассудки, и он готов на всё, чтобы навсегда связать свою судьбу с любимой женщиной. Цель же Квитковской иная — помешать Арасланову разоблачить Брызгалова, нечестным путем покупающего для нее землю. Чутьем хищника она почуяла, что исход крупной земельной спекуляции, которой занимался ее любовник и компаньон Брызгалов, во многом будет зависеть от Арасланова. Опытная в любовных делах, она разжигает чувства к ней Арасланова и, не останавливаясь ни перед чем, завлекает его в хитросплетенные «любовные» сети. Якобы сочувствуя Арасланову, она выведывает у него всё, что касается брызгаловского дела.

Не пренебрегая самыми низменными средствами, Квитковская ведет сложную и далеко не безопасную игру: живя с мужем, флиртует с Брызгаловым и водит за нос Арасланова. И не чувства, а корысть, жажда обогащения, округления своего капитальца движет ее поступками. Правда, к Арасланову у нее были некоторые теплые чувства, зародившиеся еще в детстве, когда он, будучи гимназистом, давал ей уроки. И сейчас его сильная, энергичная натура чем-то влекла ее к себе. Но теперь Квитковская стала уже практичной женщиной, и жажда наживы доминировала над всеми ее чувствами.

Используя страстную любовь Арасланова и увлечение Брызгалова, она ловко дурачит обоих. Чтобы дать Брызгалову время для «законного» оформления «купленной» земли, она, не считаясь ни с честью, ни с совестью, удерживает Арасланова в городе, около себя. Но ей быстро надоедает страстная, порою дикая и безотчетная любовь Арасланова: она не способна на большие чувства, ее удел — любовь с расчетом. И когда она убеждается, что от Арасла-

нова больше пользы нельзя уже извлечь, со спокойной душой, холодно отталкивает его от себя. Такая же участь ждет и Брызгалова, хотя ему терять-то особенно нечего: увлечение Квитковской было для него лишь легким великосветским флиртом.

Пылкий и страстный Арасланов с одинаковой силой отдается и общественному долгу — служению своему народу и личному — любви. Борьба между общественным и личным сопровождает его на протяжении всего романа. Трагедия Арасланова в том, что он ради личных интересов отступился от своего жизненного кредо, которое ставил превыше всего, и стал жертвой своей доверчивости и интриг Квитковской.

В идейном отношении роман «Степь сказалась» — произведение чрезвычайно противоречивое. С одной стороны, в нем подвергается беспощадной критике колониальная политика царизма в отношении нерусских народов, в частности, башкир, и правдиво изображается хищническое проникновение капитала в деревню, которое несет усиление эксплуатации трудящихся и вызывает рост недовольства угнетенных масс, таящих в себе большую потенциальную энергию. С другой стороны, не показаны пути выхода из создавшегося положения; борьба героев романа за возврат к патриархальной старине, выражающая идеологию народничества, терпит крах, историческая же тенденции развития социальной борьбы даже не намечена. Противоречия романа отражают противоречивость мировоззрения автора, который, резко обличая пороки капитализма, с большой симпатией нарисовал борьбу правдоискателя Арасланова против алчного хищника Брызгалова, за улучшение жизни народа, но, видимо, понимая тщетность попыток отдельной сильной личности повернуть колесо истории вспять, развенчал своего героя. Вместе с тем в романе явственно сказалось незнание автором перспектив исторического развития общества...

С большим уважением рисуя своего героя Арасланова, автор в то же время раскрывает несостоятельность, бессмысленность его борьбы, развенчивая в его лице героев-одиночек эпохи позднего народничества. Это, безусловно, заслуга писателя. Тем более, что его герой — натура активная, действенная, а не такая инертная, пассивная, как, скажем, Сергей Привалов из романа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы», который увлечен лишь философией филантропических идей народничества. Роман Федорова, следовательно, прозвучал панихидой на похоронах идей позднего народничества, к концу XIX века окончательно изживших себя как прогрессивная общественная сила.

...Лучшая часть творчества Николая Александровича Крашенинникова — прежде всего его ранние рассказы — посвящена правдивому изображению дореволюционной жизни башкирского народа. Его первые же рассказы были замечены А. П. Чеховым. В письме от 3 сентября 1903 года к видному издателю В. А. Гольцеву Чехов, в частности, отмечал: «Из Крашенинникова, если он еще молод, может выработаться хороший писатель». (Тогда Крашенинникову не было и двадцати пяти лет). Позднее в целом ряде произведений Крашенинников, по его собственным словам, «зарисовал Башкирию голода и разорения, Башкирию хазретов и калыма».

Уроженец Оренбуржья, Крашенинников в течение всей жизни близко общался с башкирами, часто совершал поездки по Башкирии, любил слушать рассказы, легенды и предания о батырах и прошлом родного края, и это наложило отпечаток на всё его творчество. Его первый рассказ — «Лесной сторож» (в последней редакции — «Ночлег») — был напечатан в конце прошлого века и, по словам автора, «положил начало целой серии очерков из малоизвестной жизни далекой Башкирии, в художественной форме повествовавших о жалком угасании под пятою самодержавия когда-то свободного и богатого кочевого народа. Очерки эти, тщательно вентилируемые цензурой, прошли по ряду крупнейших периодических изданий и составили отдельную книгу под заглавием «Угасающая Башкирия...»[1] Эта первая книга писателя, названная критикой «Башкирскими записками охотника», воссоздает реалистическую картину дореволюционной Башкирии и представляет значительную ценность в изучении жизни башкирского народа в прошлом. С глубокой симпатией рисует писатель бедных башкир, живущих в ужасно тяжелых условиях, раскрывает их духовное богатство, любовь к родной земле, воспетую в песнях народа.

В рассказах «Гроза людей», «Из головы медведя» и «Вольтерьянец» нарисованы колоритные образы башкир, возмущающихся несправедливостью жизни, но не способных еще на активную организованную борьбу за свои попранные права. «Батыр Малик» — рассказ о смелом башкире, добром «разбойнике», мстящем богачам за нанесенную обиду. Его легендарная храбрость гремела по всей округе. Но бунтарь одинок, и бунт его носит субъективный характер.

Выразительные образы тружеников-башкир, притесняемых баями и ради насущного куска хлеба вынужденных выполнять непосильно тяжелую работу, созданы в рассказах «Житье-бытье», «После зимы» и других. Правдиво нарисовав в рассказе «После зимы» жуткую картину голодающей деревни Коларово, писатель с болью в сердце вопрошает: «Почему умирает этот народ, у которого было столько земли?».

Ряд произведений Крашенинников посвятил изображению бесправного, рабского положения башкирской женщины, подвергавшейся социальному и семейному гнету. Глубоко эмоционален образ матери Ямал, искалеченной жестокой несправедливостью жизни (рассказ «Мать»); обаятельна грациозная красавица Бибик, фигурирующая в нескольких произведениях; суровая действительность не сломила ее воли, смелая девушка живет мечтой о свободе и счастье.

Осуждение социальной несправедливости звучит в рассказе «Из головы медведя», снабженном символическим педзаголовком «Вместо вступления». Через риторические вопросы рассказчика и лаконичный ответ башкир здесь выражено смелое обвинение всей колониальной политике царизма, доведшей

---

[1] Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Под редакцией В. Лидина.— М., Изд-е второе, доп. и исправленное. 1928.— С. 185.

башкирский народ до грани разорения и нищеты. Переплетение же фольклорных мотивов с реальной действительностью значительно усиливает социальный протест.

«Что это за жизнь, на смерть похожая? Почему такая цепкая, неотвязная, подавляющая, смиренно-молчаливая нужда?

Был богатый народ, жил богатый народ...
Знал своих он детей и стада...

Кто родил эту песню, звучащую кощунственно под диким рогом месяца? С детских лет этот месяц говорил нам о степной и грозной «батыевой» силе, о сказочной роскоши,— и вот черная, последняя нищета. Какой безобразный жестокий «игрок» вдруг захватил своей лапой эти дома и превратил их в пахучие дырявые логова, развалял их по этой пустой и голодной площади? Кто снял «с плачущих жен серебряные кажбовы» и унес их в своем жадном кармане? Кто облек плечи женщин в дырявые рубища, дрожащие от слёз? Ответ горек:

— Урус.

— Генерал-губернатор гулял,— рассказывают старики,— Два генерал ... три генерал...

Три генерала — и страны нет».

Какой глубокий смысл и образную силу выразительности таит в себе короткая фраза: «Три генерала — и страны нет». «Три генерала» — это и Оренбургский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский, возглавивший расхищение башкирских земель, и другие «генералы» грабежа — Уткины, Коловские, и восседающий на троне «генерал» всея Руси. Вот они — виновники обнищания и разорения башкирского народа; вот кто снял «с плачущих жен серебряные кажбовы»; вот кто хотел, чтобы о башкирском народе говорилось в прошедшем времени: «Был богатый народ, жил богатый народ...».

Рисуя широкую панораму дореволюционной действительности родного края, Крашенинников обличал и башкирских эксплуататоров-баев, и столпов мусульманской религии. Характерен в этом отношении хазрет Хайбулла из одноименного рассказа. Богатый мулла, жестокий угнетатель деревенской бедноты, «святой» Хайбулла имеет трех жен-рабынь, младшей из них, Хуршит, которую он разлучил с возлюбленным и легко купил благодаря своему высокому сану, лишь пятнадцать лет. Осуждая ветхозаветные традиции одурманенного гнусными канонами шариата народа, писатель с тоской и гневом восклицает: «О, страна хазретов, страна калыма, страна женщины-рабы, где крепче железа — темь!.. Когда же будет рассвет, когда будет?..». Хотя этот рассказ и был довольно смелым протестом против эксплуататоров, но в целом Крашенинников приходил к пессимистическому выводу: ему казалось, что Башкирия «угасала» (отсюда и название сборника рассказов, изданного в 1907 году,— «Угасающая Башкирия»), башкиры вымирали, и он призывал прогрессивную общественность помочь этому многострадальному, доброму народу.

Различные стороны быта башкир нашли реалистическое отражение в рассказах «Ночлег», «К земле обетованной», «Ахмет Усманыч», «Желанье старой жены», «Башкирские саги», «Свадьба Сафея», «Отщепенец», «Башкирёнок» и других.

Крашенинников был хорошо знаком с поэтическим и музыкальным творчеством башкир. Поэтому многие его произведения о Башкирии пронизаны мотивами фольклора. Это придает рассказам мягкий лиризм, а иногда привносит легкую романтическую окраску. Фольклоризм — одна из главных особенностей дооктябрьского творчества писателя. Народные певцы и сказители частенько являются героями его рассказов, иногда они выступают, если можно так выразиться, даже соавторами: писатель только литературно обрабатывает услышанный от них сюжет. Это неоднократно отмечалось как в русской, так и иностранной прессе. Давая восторженный отзыв книге «Угасающая Башкирия», венская газета «Neue Freie Presse» писала:

«Настоящие новеллы талантливого автора посвящены некогда свободному народу — башкирам, которые со времен их покорения царской Россией стонут и страдают поныне под игом рабства. Крашенинников, сам родившийся в Оренбургской губернии, жил многие годы между башкирами и сумел вникнуть в жизнь этого тихого народа, сумел узнать его особенности и подметить самые привлекательные тайники его природы. Книга Крашенинникова содержит всего 11 новелл, но они дают полную и яркую картину этого оригинального народа, картины, преисполненные поэтической прелести и необыкновенной жизненной правды.

Особенность Башкирии — обилие странствующих певцов, которые распевают легенды и народные саги, ярко рисующие судьбы башкир, их войны за свободу, их страдания под чужим игом в поэтических и очаровательных стихах»[1].

Не всё бесспорно в этой оценке (в частности, Башкирия не была покорена Россией, а вошла добровольно в ее состав), но совершенно справедливо отмечено хорошее знание писателем жизни башкирского народа и его богатого устно-поэтического творчества, которое нашло широкое отражение в сборнике рассказов «Угасающая Башкирия». Наряду с изображением представителей различных социальных групп Башкирии, писатель воссоздал в книге также красочные образы безымянных певцов, сэсэнов, сказителей — творцов и носителей замечательных памятников устно-поэтических произведений. Так, в рассказе «Хазрет Хайбулла» обаятелен образ красавицы Зюгры — грациозной танцовщицы и шаловливой певицы. Зюгра — вторая жена Хайбуллы. Живя под строгой властью мужа, она всё же чувствует себя вольнее, чем дру.ие его жены. Она веселая, общительная, музыкальная: сочиняет песни, танцует; аккомпанируя на домбре, поет «свою песню»

---

[1] «Neue Freie Presse», Wien, 24 ноября 1907 г.— См. также ЦГАЛИ.— Фонд Крашенинникова Н. А., ф. 1086, оп. 3., д. 100, лл. 53—54.

о степном джигите, излагая в ней свою тоску о несбывшейся любви и счастливой жизни.

Крашенинников понимал, что в песнях и легендах отражается жизнь народа, его думы и чаяния. Писателя пленяли башкирские певцы, воспевавшие изумительную красоту родного края. Чуткое ухо художника улавливало и социальные мотивы: песни выражали стремление башкир к свободе, ненависть к угнетателям, славили многовековую борьбу отцов и дедов за счастье и свободу сынов и внуков, тоскливо оплакивали горькую судьбу народа. Внимательно слушая песни, легенды и чарующую мелодию курая, певец Башкортостана глубоко познавал духовную жизнь и историю народа. И вполне правомерно, что сюжеты башкирских легенд, услышанных писателем от замечательных сказителей, легли в основу некоторых его рассказов, а фольклорные мотивы проникли почти во все произведения, отразившие жизнь «страны хазретов и калыма».

Особенно колоритен образ слепого сказителя Угея — хранителя и носителя народной мудрости, который выступает автором-рассказчиком нескольких произведений. Нужда и годы состарили его, отняли зрение, но дух его могуч и молод, он олицетворяет жизнеспособность и мудрость своего народа. Угей хорошо знает историю народа, его память хранит бесчисленное количество легенд и песен, и сказывает он их с большим искусством. «Угей,— отмечает Крашенинников,— имел обыкновение повествовать ритмически, затягивая слова нараспев и стараясь придать фразам созвучные окончания, для чего нередко приставлял даже лишние слова...». Он с такой эмоциональной силой умел передавать содержание легенд, что на глаза слушателей навертывались слёзы, и они чувствовали себя участниками описываемых событий. Такова, в частности, сказка «Вишни смерти», переданная устами мудрого Угея, где повествуется об ужасной мести хана Карима, погубившего людей целой страны. Он мстит хану Шакиру за то, что тот отказался выдать свою дочь Гульямал за его сына Каюма. В лице Карима осуждается жестокий деспот-повелитель. Своих подданных, даже любимую жену Зайнаб, он держит в трепете: «Одно движение руки — и на шее несчастного петля». Жертвой мести коварного хана стал и родной сын его Каюм. Хан не думает о любимом сыне, он доволен, что месть удалась и «позор» смыт. Жажда мести оказалась сильнее любви к сыну. Сказка осуждает деспотизм и кровавую эпоху междоусобиц, когда башкирские роды в борьбе за власть вели бессмысленные войны, уносившие тысячи человеческих жизней. Несмотря на трагический финал, сказка пронизана гуманистическими мотивами, воспевает любовь к людям, рождает ненависть к баям и ханам.

Рассказы Угея открывают страницы сказочного мира, связывая легендарное прошлое с актуальными проблемами современной ему действительности. И так сильно впечатление от его сказок, что слушатели воспринимают их как реальные события. Например, под воздействием легенды о трагической гибели народа от вишен смерти, Бибик, внучка Угея, невольно тянется к вишням, желая отомстить ими неверному в любви Ахмету. В образе Угея Крашенинников создал обобщенный тип народного сказителя, друга бедных башкир, человека с большой силой воли и высокими моральными качествами.

Он любил свой народ, лечил больных горными травами, увлекательными рассказами обогащал их духовный мир. Угей вселял в сердца людей веру в счастливое будущее; эта мысль заложена даже в сказку «Вишни смерти», которая заканчивается оптимистической картиной возрождающейся природы: «Жизнь звенела тысячью голосов в каждой травинке».

Безымянный певец-кураист — главный герой рассказа «Песня курайсы» (1909). Его задушевная грустная мелодия заставляет «болезненно вздрагивать» слушателей. «И что это за песня, такая унылая! Откуда взялась она, так много наплаканная, так крепко выстраданная! И как это можно, разве лишь из самой глуби души,— из простого тростника выбирать эту жуткую мелодию?» — спрашивает автор и отвечает лаконично, но емко: «Его песня не только искусство: его песня — его страдание, боль и быль».

Рассказ этот написан в период разгула реакции после подавления первой русской революции, и, естественно, в нем отразилось общественное положение страны, дух эпохи. Песня «О перовском походе», которую исполняет курайсы, звучит как стон многострадального народа, и собравшиеся слушают ее с болью в душе,— этот поход стоил башкирам многих человеческих жизней: «ушло много тысяч,— вернулось два ста!» — вот смысл песни. Мотивами тоски и уныния отмечены и другие произведения автора этих лет.

Если курайсы, поющий о горе и нуждах народных, нарисован писателем с большой симпатией, то к Салимбаю из рассказа «Ночь на пасеке», сочиняющему сладострастные песни о любви батыров и красавиц, он относится весьма сдержанно. Старый пчеловод Хаким, известный как колдун и чародей, на самом же деле связанный с конокрадами, называет Салимбая «великим певцом и поэтом». Такая высокая оценка, данная отрицательным персонажем, звучит по меньшей мере иронически. «Я знал, конечно,— пишет Крашенинников,— как популярны на Востоке сказители, под аккомпанемент домбры передающие слушателям повести о прежних героях-богатырях, но в Салимбае было что-то напоминавшее хазрета Хайбуллу, и это к нему заставляло относиться настороженно... Я поглядывал на твердый, как барабан, живот поэта, на его круглые, как яблоки, щеки и думал, что Салимбаю живется неплохо». Эта меткая авторская характеристика, усиленная сравнением Салимбая с жестоким хазретом Хайбуллой, не нуждается в комментариях. Хвастливый и высокомерный тон речи Салимбая окончательно развенчивает его. «Так ты не слышал моих песен, которыми наделил меня славный пророк? Если не слышал, то открой свои уши: я тебе пропою»,— обращается он к рассказчику.

В рассказе «Казачок Курул» выведен очень своеобразный образ башкира Курула, служившего еще у деда рассказчика. Он был интересен тем, что говорил по-французски, переплетая французские слова с башкирскими. Эмоционально рассказывает Курул о красочных художествах жестокого кантонного попечителя прошлого века Филатова. Этот «герой и деятель», не довольствуясь общей программой попечительства, по словам писателя-народника Ф. Д. Нефедова, «стремился к искоренению в башкирах всего башкир-

ского, старался произвести нивелировку и обратить их, если не в европейцев или русских, то по крайней мере в безгласных скотов»[1].

О неординарности Курула говорит и тот факт, что он умеет играть на горле: «Из горла башкира вылетает какое-то слабое, в общем музыкальное сипение, похожее на звуки органчика, затем начинается горловой свист, слышатся звуки флейты; затем — писк, кряхтение, сипение, опять что-то вроде флейты или скрипки и т. д.». Горловое пение, игра на курае, а также различные спортивные состязания джигитов описаны в рассказе «Башкирские скачки».

Образы творцов и хранителей народной мудрости, ярко нарисованные в рассказах Крашенинникова, свидетельствуют о неиссякаемом таланте и уме трудового люда. Простой народ живо интересуется легендарным прошлым родного края, бережно хранит память о своих славных сынах и живет надеждой на лучшее будущее, выражая мечту о счастливой жизни в произведениях устно-поэтического творчества.

Многолетние раздумья Крашенинникова о судьбе башкирского народа нашли свое рельефное отражение в романе «Амеля» (1915). Впервые в русской литературе главной героиней романа стала башкирская девушка — Амеля́. В первом издании имелся подзаголовок: «История одной жизни. Роман детства и юности». Оставшись круглой сиротой, Амеля́ с младенческих лет воспитывалась в культурной русской помещичьей семье, получила хорошее образование, стала городской барышней — Ноной. Ее ждала сытая, беспечная и, вероятно, счастливая жизнь в дворянской среде. Но Амеля́ бросила спокойную обеспеченную жизнь, отвергла любовь красивого образованного юноши-аристократа и ушла в первозданную степь, которая манила и звала ее с детства. И хотя идея ухода из цивилизованного мира в дикие степи не могла решить сложных социальных проблем, остро поставленных в романе, и являлась лишь одной из форм проявления пассивного протеста, писателю всё же удалось с убедительной силой показать горячую, неиссякаемую любовь героини к своей родине, родной природе. Любовь к родине — главная тема романа.

Пронизанный идеями гуманизма, роман вызвал многочисленные отклики, оживленную полемику, одобрение широкой прогрессивной общественности. Так, в одной киевской газете отмечалась «любовь автора к башкирскому племени, его интимное отношение к вопросам их племенного уклада и его горячее желание проникнуть в душу башкирской интеллигенции, в которой начинается процесс пробуждения национально-племенного сознания»[2]. Особенно восторженно был встречен роман на родине автора, в Оренбуржье. «Амеля́, безусловно, идеализирована талантливым беллетристом, и часто он сам, чуткий певец Башкирии, автор единодушно оцененной книги «Угасающая

---

[1] Нефедов Филипп. Башкирская старина. Очерк.— Русские ведомости.— М., 1884, № 326.

[2] Лиров М. Беглые заметки.— Киевская мысль.— 20 июля 1915 г., № 209.

Башкирия», вкладывает в думы и грёзы Амелй самого себя. Это он, а не Амелй тоскует о башкирской «родине темной», о башкирской «женщине обиженной», о «седою стеною вздымающихся горах», о «плененной камышами реке, серебряной полосой убегающей в даль...». Прекрасная это повесть «Амелй», не как психологический этюд, а как грустно-сладкая песня о далекой, забытой Башкирии»[1]

Амелй уходит в степи по зову сердца, она видит великолепную природу и жуткую нищету родного народа, ей хочется хоть чем-нибудь помочь бедным сородичам. По словам автора, «она ушла в свои степи, потому что была обязана уйти: она принадлежит только родине, только степям... Человек должен жить только для родины и отдавать ей жизнь до конца»[2]

Н. А. Крашенинников внес ощутимый вклад в литературу о дореволюционной жизни башкирского народа. Вместе с тем, весьма примечательно, что несмотря на многолетнее общение с башкирами, ему не довелось до революции узнать правду о Салавате Юлаеве. Царское самодержавие стремилось вытравить из сознания народа имя национального героя и подвергало преследованию исполнителей песен и рассказчиков легенд о Салавате как политических преступников. Песни же и легенды, разумеется, бытовали среди башкир, но они неохотно знакомили с ними русских «бояр». Башкиры, правда, уважительно и даже почтительно относились к Крашенинникову, ибо помнили, что ни дед, ни отец его «не брали» башкирских земель. Но всё же, видимо, как дворянин Крашенинников не смог завоевать полного доверия сказителей, народных рассказчиков, и последние ограничивались ознакомлением его с весьма туманной историей о некоем «башкирском витязе», произвольно сместив и время действия на два с лишним века назад, к эпохе Ивана Грозного, периоду присоединения Башкирии к России. Красноречивое тому свидетельство — письмо Крашенинникова от 13 марта 1902 года к В. Г. Короленко: «Глубокоуважаемый Владимир Галактионович,— пишет он,— легенду о Салавате я не знаю, но есть основание думать, что нечто похожее на это заключается в одной сказке, набросанной мною вчерне. Сказка называется Сала-Ввет (Салавет и Салавыт) и повествует о герое, башкирском витязе, подчинившем (а ла Хмельницкий) башкир России при «Иване Сердитом». Легенда довольно любопытная, с оригинальным концом. Салават после сражения провалился в пропасть на одной священной горе, полную драгоценностей, которые никто не может из смертных похитить»[2].

Увлекшись незаурядной личностью Е. И. Пугачева и задумав написать повесть «Набеглый царь», В. Г. Короленко в течение ряда лет собирал интересующий его материал как в архивных, так и фольклорных источниках.

---

[1] Доброхотов А. Тоска о Башкирии.— Оренбургская жизнь.— Оренбург, 10 сентября 1915 г., № 503.

[2] Крашенинников Н. Добавление к роману «Амеля».— Научный архив БНЦ УрО Академии наук СССР.— Ф. 3, оп. 22, д. 38, л. 9.

[3] Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.— Ф. 135, разд. 2, № 27.— Д. 40.

Кроме того, он писал своим многочисленным друзьям и знакомым в разные города России, в том числе и в Уфу, запрашивая их об архивных и других данных, касающихся не только вождя Крестьянской войны 1773—1775 годов, но и выдающихся пугачевцев. В орбите его внимания оказался и Крашенинников, один из активных корреспондентов Короленко, долгие годы пользовавшийся творческой поддержкой последнего. Процитированное выше письмо и является ответом на просьбу Короленко. Ничем по существу в интересующем Короленко вопросе не смог ему помочь и уфимский писатель-публицист П. И. Добротворский. Поблагодарив в начале письма от 10 августа 1891 года Короленко за присланные книги (разумеется, с автографами!), Добротворский продолжал: «Спасибо Вам еще раз за память и за посещение, которое как не коротко было, но доставило мне большое удовольствие. Вот окрепну немного, еще раз перечту Ваши работы. Вы собираетесь писать о Пугачеве — зачем? Это совсем не в Вашем роде — Вы психолог, тонкий психолог и пользуйтесь этим»[1] Как видно из этого и других писем, Короленко встречался с Добротворским во время своего пребывания в Уфе в июне 1891 года. Он приезжал тогда ненадолго в Уфу, чтобы разыскать те места, где был лагерь видного пугачевского сподвижника Ивана Никифоровича Зарубина-Чики, получившего от Пугачева титул «графа Чернышева». В этой поездке Короленко сопровождал его друг — видный общественный деятель-народник Николай Федорович Анненский. Побывали они в Самарской и Уфимской губерниях.

Племянница Н. Ф. Анненского, известная детская писательница Татьяна Александровна Богданович, автор повести «Горный завод Петра Третьего (Пугачевцы на Урале)», вспоминает об этой поездке: «Владимир Галактионович поехал вместе с ним в Уфу, чтобы найти там на месте данные о каком-то заинтересовавшем его движении Пугачева на Востоке. Я хорошо помню эту поездку, так как мы с тетей провожали Владимира Галактионовича и дядю на пароходе до Самары. Владимир Галактионович был тогда в прекрасном настроении, любовался Волгой и рассказывал о Пугачеве»[2] (В то время Т. А. Богданович было восемнадцать лет).

О поездке Короленко в июне 1891 года в Уфу с целью осмотра мест, связанных с восстанием Пугачева, известно и из других авторитетных источников, в частности — примечаний к собранию сочинений писателя, а также из многочисленных писем к нему уфимского литератора П. И. Добротворского, с которым Владимир Галактионович познакомился во время своего недолгого пребывания в Уфе, а затем около пятнадцати лет переписывался. Кроме того, в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранится записная книжка В. Г. Короленко, относящаяся

---

[1] Письма П. И. Добротворского к В. Г. Короленко.— Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.— Ф. 135, разд. II, карт. 23, д. 1, 26 лл. В дальнейшем письма цитируются без ссылок.

[2] Богданович Т. А. В. Г. Короленко в Нижнем.— В. Г Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962.— С. 102.

к его поездке Волгой и Камой в Уфу. По крайней мере две записи в ней — «уфимские». «Дорога в Уфу, лагерь Чики»,— гласит первая лаконичная запись, четко фиксирующая маршрут и цель путешествия. Вторая представляет карандашный набросок плана местности в районе Чесноковка Уфа. Здесь упоминается река Белая, река Берсиян, Чесноковка, лагерь Чики, лабаз на берегу Белой, дорога в Уфу и Челябинск[1]. Эти краткие записи были, очевидно, сделаны Короленко во время посещения им «лагеря Чики» О поездке Короленко в Уфу упоминается также в примечаниях к его записным книжкам. «Кроме материалов архива,— говорится в них,— интерес писателя к пугачевской старине питался живыми впечатлениями, как это видно из его нижегородских записных книжек. Летом 1891 года он совершил поездку в Уфу для осмотра мест, где находился лагерь Чики, сподвижника Пугачева»[2].

Интенсивный сбор материалов о Пугачеве продолжался до 1905 года. Позднее Короленко вновь надеялся вернуться к взволновавшей его теме; во всяком случае, в канун Октябрьской революции говорил жене. «Надо бы мне приняться за Пугачева»[3] Однако большой подготовительный труд остался неиспользованным: повесть «Набеглый царь» не была завершена. Лишь малую толику своего «пугачевского архива» писатель использовал в очерках «У казаков» и «Пугачевская легенда на Урале».

Не одобряя намерения Короленко писать о Пугачеве, Добротворский, тем не менее, пытался найти интересующие его именитого коллегу материалы. Видимо, Короленко и позднее обращался к Добротворскому с аналогичной просьбой. Во всяком случае, 25 ноября 1903 года (через 12 лет!) Добротворский пишет: «В Уфимском архиве мне обещали навести справку — нет ли чего там о пугачевщине. Что узна́ю, сообщу в непродолжительном времени». И в письме от 31 декабря 1903 года он сообщает: «Посылаю Вам, дорогой Владимир Галактионович, документальные доказательства, что пору чение Ваше исполнил, но ничего здесь для Вас путного не нашел Из здешних архивов всё уже давно выбрано и было отправлено в архивы: Оренбургский и Московский. Старик Гурвич по этой части знаток. Он был у меня и такой дал ответ: «Здесь нет ничего». И далее Добротворский делает приписку: «Письма посылаю, чтобы не излагать подробно, как я собирал сведения». Видимо, «письма» — это официальные ответы уфимских учреждений на запросы Добротворского На другой же день (1 января 1904 года) Добротворский снова пишет Короленко и, продолжая мысли, высказанные накануне, приглашает: «Приезжайте-ка к нам весною в Уфу. Увидите, где близ Уфы Чика стоял. Здесь, говорят, каких-то двух пугачевцев казнили От старика Гурвича много можно услышать,— видно, что вопрос этот его интересовал,

---

[1] Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.— Ф. 135, карт. 9, инв. № 483, л. 2; л. 2 об.— 3.

[2] Короленко В. Г Записные книжки (1880—1900). Редакция и примечания С. В. Короленко и А. Л. Кривинской. М., 1935.— С. 479.

[3] Там же.— С. 486.

и он о нем много читал». Упоминаемый в письмах Николай Александрович Гурвич — известный краевед, врач, статистик, долгие годы был членом Уфимского губернского статистического комитета, а с 1864 года — его секретарем; издал ряд справочных книг по Уфе и губернии; был основателем краеведческого музея.

Как видим, Добротворский мало чем смог помочь Короленко, но ему стало по крайней мере известно, что в Уфе нет дела о Пугачеве и что бывшие уфимские материалы о нем надо искать в Москве или Оренбурге; кроме того, Короленко узнал, что уфимец Н. А. Гурвич «по этой части знаток». И 12 января 1904 года Короленко написал Гурвичу в Уфу: «Милостивый государь Николай Александрович, от Петра Ив(ановича) Добротворского я узнал, что Вы заняты работой о пугачевцах. В таком случае, без сомнения, Вам известно содержание двух дел о пугачевцах, которые, говорят, сохранились в уфимском архиве. Был бы очень признателен Вам, если бы Вы нашли возможным сообщить мне, что собственно заключается в этих делах, есть ли в них указания, характерные для Чики-Зарубина и его сподвижников, а также нет ли чего о Белобородове и (особенно для меня интересно) загадочном Хлопуше. Всё это мне нужно для работы чисто беллетристической В свою очередь, если у Вас есть вопросы, на которые я мог бы ответить,— был бы очень рад. Я довольно основательно ознакомился с теми остатками, правда, очень разрозненными, которые сохранились от пугачевских дел в Уфимском войсковом архиве. Прошу принять уверения в совершенном уважении. Вл. Короленко»[1]

Н. А. Гурвич не замедлил с ответом, он оповестил Короленко о том, что в «Уфимском архиве никогда не было существенных материалов», да и те «профильтрованы и пропечатаны».

Поиски пугачевских материалов в Уфе и Оренбуржье были для Короленко мало эффективными. Но зато выдающийся русский писатель побывал в Башкирии, переписывался с наиболее интересными людьми Уфы; из содержательных писем Добротворского получил довольно ясное представление о культурной и общественной жизни Уфы на рубеже двух веков, а посылаемые из Уфы наиболее интересные номера местных газет отражали преимущественно теневые стороны провинциальной действительности. Кроме того, письма Добротворского не только разносторонне характеризуют их автора как человека и писателя, но проливают — пусть, может быть, и незначительный — свет и на Короленко, показывают его многолетний интерес к социальной жизни Уфы, а также высокий авторитет и благотворное влияние на провинциальных писателей.

...Изображению судеб народнической интеллигенции посвящена повесть Николая Николаевича Златовратского «Золотые сердца». В ней выведена целая галерея положительных персонажей — «золотых сердец» — интелли-

---

[1] Письмо хранится в личном фонде В. Г Короленко в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Было перепечатано в 1972 году в № 9 альманаха «Прометей»

гентов-разночинцев и близких им по духу деревенских «незамужниц». Так, Петр Петрович Морозов, внук бурлака и сын мелкого фабричного конторщика, смысл своей жизни видит в служении народу. Добровольным ходатаем по крестьянским делам становится майор; а его дочь Катя и сестра Морозова — Матрена Петровна стремятся полностью слиться с народом. Но особенно колоритно нарисован образ Ивана Башкирова, башкира по отцу. Прекрасный врач, человек необыкновенной доброты, он хорошо знаком с простым народом, бесплатно лечит крестьян и по образу жизни ничем не отличается от них. В своем полном самоотречении, самопожертвовании во имя народа он близок к Рахметову. О таких людях, как Башкиров, Морозов говорит: «Башкировы, эти ходячие односторонние оригиналы, сделают больше, чем мы, любители общих идей, искатели какой-то общей гармонии. Нам всякий диссонанс режет ухо... Мы — аристократы, идейные аристократы...».

В повести показана разобщенность «золотых сердец». Лизавета Николаевна, а вместе с ней и сам автор с недоумением спрашивают: «И почему все эти добрые люди — и майор, и Морозов, и Ванюша — не находят между собой общей точки соприкосновения, общего пункта, где бы они могли бы сойтись?». Не потому ли разобщены эти хорошие люди, что все они стоят на ложном пути, порою инстинктивно чувствуя это. Филантропия не в состоянии излечить социальные язвы, а «слияние» в конце концов обернется полным разочарованием. Характерно в этом отношении признание Морозова: «Впереди меня — тьма, нерассветная тьма... Кругом и сзади — поверженные идолы и потухшие алтари». По утверждению современной критики, «дальше узкофилантропических дел герои «Золотых сердец» не идут; о какой-либо радикальной перемене существующих социальных отношений, о борьбе за эти перемены они не помышляют»[1].

Сочувственно нарисованы писателем образы терпеливых тружениц, смиренно несущих свой крест, таких, как «незамужницы» Павла и Секлетия, няня Кузьминична. Они не способны протестовать против царящего зла, тем более — бороться с ним. Образ писателя-разночинца Миртова, в котором отражены черты А. И. Левитова, показывает тот тупик, где оказались «золотые сердца». Всю жизнь он искал правду, но везде — и в высших, и в низших слоях общества — везде видел только ложь. «Я погибаю,— рассуждает он,— потому что не могу уйти от этих отверженных и прокаженных... Уйти к «торжествующим» для меня не мыслимо... Я там погибну, но погибну еще хуже... Проклятая дилемма!.. Где же выход?».

Повесть эта отнюдь не гимн теории малых дел, а как бы свидетельство ограниченности устремлений интеллигенции, тщетности ее попыток обрести прочные «устои». Мучительные вопросы персонажей остаются без ответа. Но как бы то ни было, повесть реалистически отразила идейные искания

---

[1] Соколов Н. И. Н. Н. Златовратский.— В кн.: Русская литература и народничество. Литературное движение 70-х годов XIX века.— Изд-во ЛГУ, 1968.— С. 52—53.

разночинной интеллигенции и отличалась актуальностью проблематики, не потеряла она определенной познавательной и эстетической ценности и в наше время.

Критика встретила повесть «Золотые сердца» неоднозначно. Так, реакционная газета «Новое время» писала: «Вот они, опять появились Башкировы! Разве уж не известно, к чему привели разные идеалы, вроде Рахметовых и Базаровых, нашу молодежь?..»[1]. Отметив в начале, что либеральная публика, восхищающаяся «Новым временем», не будет покупать его книг, Златовратский пишет далее Ф. Д. Нефедову: «У меня найдутся читатели более умные, добросовестные и проницательные, хоть, конечно, их очень немного. Пожалуйста, напишите, что Вы думаете об моих «Сердцах», да поподробнее относительно каждого лица, в особенности о народных типах»[2]. Сентиментально-народнические картины и рассуждения были встречены неодобрительно и в демократических кругах. Однако, несмотря на идейные и композиционные просчеты, гуманистические и демократические тенденции повести «Золотые сердца» несомненны.

Существенной вехой в реалистическом отражении башкирской и уральской действительности явилось творчество Александра Гавриловича Туркина. На рубеже двух веков он выступил с целым рядом рассказов на башкирскую тему. Судебная практика, работа ходатаем по делам башкир, частые выезды в башкирские степи, где у него было много друзей, помогли писателю лучше узнать жизнь, нравы и обычаи степняков. Он проникся уважением к добродушному, свободолюбивому башкирскому народу, находившемуся под колониальным гнетом; в течение длительного времени изучал и освещал в печати жизнь этого народа. Так, в 1904 году он выступил в газете «Уральская жизнь» с большим письмом о Башкирии. «Вечером в тусклой степи мигают огни. Всмотритесь,— и вы увидите жалкие охапки изб. Это башкирские деревни,— писал он.— Там сидят изголоданные вечной нуждой и мраком люди. В смрадных и гнилых углах ютятся голые сифилисные дети и матери — с красными, воспаленными, большими глазами. Там бесправное существо — женщина, жалкая рабыня своего голодного повелителя. Там хорошо живется только богатым муллам. А если бы щедрой рукой бросить в эти забытые степи и знание и надежду? Если бы обогреть их по-человечески и крикнуть бы им: «Вставай! Ведь и ты человек!». Как бы, я думаю, степь зашевелилась. Как бы проснулся дух человеческий и взял бы твердой рукой свое право! И сделался бы, если нужно, могучей единицей своей страны — общей семьи»[3].

Щедрой рукой бросая в башкирские степи знание и надежду, в последующие годы писатель создал рассказы и очерки, в которых рельефно

---

[1] Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский Дом).— Архив Ф. Д. Нефедова, ф. 208, д. 53, л. 42.

[2] Там же, л. 31.

[3] Башкирия в русской литературе. Т. 3, Уфа: Башкнигоиздат, 1965.— С. 455.

отразил тяжелую, беспросветную жизнь башкир, реалистически показал национальное своеобразие и особенности быта и жизненного уклада этого симпатичного степного народа, страдавшего под гнетом русских помещиков и капиталистов, татарских и башкирских баев и религии. Большинство рассказов на башкирскую тему вошло в сборник «Степное», изданный в 1914 году в Петербурге. Название книги происходит, как считает сам автор, от произведений о Башкирии, составивших основную ее часть. О том большом значении, которое придавал Туркин этой своей книге и ее названию, можно судить из его переписки с издателем М. В. Аверьяновым. Так, посылая издателю 18 ноября 1913 года из Челябинска корректуру своей книги, он пишет: «Название «На Урале» звучит красиво, но рассказы обнимают другое — деревню, степь, башкир, крестьян. В названии «Степное» есть именно то, что имеют, по существу, рассказы. Если можно, не откажите назвать книгу так...»[1] Издание книги в столице Туркин рассматривал как большую удачу. Он не без гордости писал своей двоюродной сестре С. П. Туркиной-Бруштейн: «Я пролезал в большую литературу сам, сидя в Челябе Я не просил и не заискивал, как это делают многие. Я всем обязан только себе, и это меня удовлетворяет»[2]

В «Степном» Туркин, как отмечала критика 30-х годов, «дал произведения, богатые именно со стороны отражения быта, уклада всей жизни и психологии мало изученной Башкирии. Под внешней красотой уродливой жизни, созданной всей великодержавной царской национальной политикой Туркин угадал духовное богатство этого степного народа. Краски, которыми он рисует молодого башкирского юношу — Ибрагима и других, несколько усилены, подчеркнуты, излишне ярки, но это именно и нужно было для того, чтоб показать великую духовную силу забитой Башкирии»[3].

Аналогичную оценку произведениям Туркина о Башкирии дает и современная критика. Так, профессор И. А. Дергачев пишет: «Рассказы о страдающей, полунищей ограбленной Башкирии, о наглости царских чиновников, несущих «культуру», о прекрасном, доброжелательном, любящем и смелом народном характере башкир полны правды и подлинной большой поэтичности. Автор, рисуя их, не нарушает реалистические пропорции, но поэтическое, задушевное слово, сказанное писателем о своих героях, о вольной степи, которая могла бы быть счастливой и радостной, приносит легкую окраску романтического. Одним из лучших в этом цикле является рассказ «Ибрагим». Это рассказ о дружбе башкирского народа с русским. Большое сердце Ибрагима, много пережившего в жизни, открыто

---

[1] Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский Дом).— Архив Аверьянова М. В. Письма к нему Туркина А. Г., лл. 4, 4 об.

[2] Туркин А. Г. Изб. произв. Свердловское гос. изд-во, 1935.— С. 19

[3] Ерошкина З. Предисловие.— К кн. Туркин А. Г. Избр. произв.— Свердловское государственное изд-во 1935. С. 20 (Выделено З. Ерошкиной)

перед русским человеком Антипом, выслáнным «за бунт» из родной деревни Ибрагим по-человечески просто делится с ним своей землей. Он нарисован писателем как носитель традиционных национальных черт, лучших сторон народного характера»[1]

Чувством глубокого гуманизма проникнуты рассказы о нечеловечески тяжелых условиях жизни трудящихся башкир и русских Гневно разоблача ет писатель алчность и бездушие богатеев, тунеядцев, жестоко эксплуатирующих народные массы; показывает бесправие и нищету крестьянства, из которого кулаки выжимают последние соки.

Туркин создал замечательные рассказы, выпукло отражающие быт и уклад всей жизни башкир; глазами художника он увидел и показал духовное богатство этого народа. Краски, которыми писатель рисует образы башкир, действительно частенько несколько сгущены, усилены, но именно это и нужно было для того, чтобы показать духовную силу башкирского народа, которому реакционные ученые предрекали неминуемое вымирание Так нарисованы, например, образы Якупа и Бибинор из рассказа «Грех» и Ибрагима из одноименного произведения. Ибрагим чуток к страданиям людей, непримирим к несправедливости жизни. Тема братской дружбы русских и башкир, нашедшая свое яркое отражение в этом рассказе, имеет важное значение в уяснении взглядов писателя по национальному вопросу Туркин правильно понял, что людей разделяют не различие веры и языков, на которых они говорят, а классовые противоречия.

Рассказ «Ибрагим» интересен также вниманием писателя к башкирскому фольклору, к носителям народной мудрости — певцам, сказителям, кураистам. Здесь с большой художественной убедительностью создан образ старого бродячего музыканта-кураиста Аллаяра. В изображении Туркина башкиры — духовно богатый, талантливый народ, но придавленный безысходной нуждой и деспотизмом. Так Юмангулов, герой рассказа «Башкир Юмангулов»,— поэтическая натура. Доведенный тяжелой нуждой до отчаяния, он с тоской поет о прошлом вольной Башкирии, о безотрадном настоящем, о народном горе, о том, что «в степи, огромной и дикой, много разбросано башкирских деревень и сёл, но богаты только муллы да старосты». Крайняя нищета толкает Юмангулова на кражу коня. Но его ожидал жуткий конец убежать он не смог и был зверски убит. Трагически оборвалась жизнь и башкира Юсупа из рассказа «Десятина». Юноша Юсуп полюбил черноглазую Вазиру. Девушка ответила взаимностью и согласна выйти за него замуж, но, чтоб жениться, нужен калым. Юсуп готов сдвинуть горы, чтоб добыть калым. Он идет в работники к богатому хозяину соседней заимки. Работает, не зная у́стали. Десятина, выделенная хозяином в вознаграждение за труд, сулила Юсупу близкое счастье. Но град побил десятину, и мечты Юсупа рухнули. За полтора месяца каторжной работы он получил гроши. В минуту

---

[1] Дергачев И. Демократический писатель дореволюционного Урала Послесловие — К кн.. Туркин А. Душа болит. Избр рассказы.— Свердловское книжное изд-во, 1960.— С 262—263

отчаяния и злобы Юсуп удушил жадного хозяина, сам же после этого повесился. Важно отметить, что рассказы эти не выдуманы: работая ходатаем в Башкирии, Туркин в своей судебной практике встречался с десятками подобных случаев.

Выразительно рисует Туркин бесправное положение башкирской женщины. Женщина — доходная статья для отца, получающего за нее калым, она лакомый кусок для жениха, покупающего ее как вещь, и вечная раба мужа, беспрекословно выполняющая все домашние работы. Вековые предрассудки и суровые каноны шариата калечат жизнь, любовь и счастье людей. Об этом взволнованно повествует писатель в лирическом рассказе «Грех». Над молодыми башкирами — Якупом и Бибинор издеваются только за то, что они без благословения муллы осмелились полюбить друг друга. Этот жестокий обычай соблюдался строго. Позднее он получил яркое художественное воплощение в повести народного поэта Башкирии Мажита Гафури «Опозоренные». Судьба героев повести Закира и Галимы во многом напоминает участь Якупа и Бибинор. Но любовь героев Туркина оказалась сильнее жестоких канонов шариата. Замечателен конец рассказа «Грех», показывающий торжество любви и утверждающий такую жизнь, какой она должна быть: смелая Бибинор бросила вызов ветхозаветным традициям, всей несправедливой действительности — убежала к своему возлюбленному, туда, «где задыхалась от счастья степь», которая выступает здесь олицетворением свободы и счастья.

Талантливый художник, создавший десятки обаятельных образов башкир, сатирическими красками рисует отвратительную фигуру одного из носителей так называемой «культуры», каков становой пристав Котиков из рассказа «Культура», приехавший в башкирскую деревню Курай выколачивать подати. Подати душат Башкирию. Они налегают на сознание тяжелой, бесформенной глыбой, обрекают на голод целые деревни, толкают на преступления. Родная, вольная степь кажется угнетенному народу безжизненной; ее широкий размах напоминает путь без цели, и чудится, что вообще нет никакой цели...

Одним из лучших произведений Туркина явилась повесть «Исправник». Герой повести исправник Крысин за растрату казенных денег попал в положение уголовного и был заключен в тюрьму. Писатель прослеживает переживания Крысина, ход его мыслей и чувств, выступая при этом как незаурядный мастер психологического анализа. Попав в тюрьму, исправник чувствует себя обманутым: сила, которой он служил, отвернулась от него. Служил он беззаконию, произволу, начальству. И он не может понять, почему «кто-нибудь там, в столице, большой и сильный человек» не прикажет освободить его? В самом деле, если всё основано на произволе, то почему он, Крысин, стал жертвой закона? Но он сидит в тюрьме, и сидит именно с теми, которых он двадцать лет преследовал. Они настроены к нему враждебно, и исправник задумывается над причинами этой вражды. Размышления Крысина позволяют подчеркнуть антинародность, антигуманность самодержавно-полицейского государства и его подличавших чиновников.

Эта повесть, как, впрочем, и всё зрелое творчество Туркина, получила высокую оценку А. М. Горького. «Ваши рассказы правдивы,— писал он в 1914 году Туркину,— у вас есть талант, безусловный талант, вы уже многого достигли, самого главного — правды в описании жизни. Ваш «Исправник» хорош тем, что он дает не только художественные краски, но подлинную, настоящую жизнь»[1].

Активная творческая деятельность Туркина продолжалась сравнительно недолго, но претерпела заметное изменение. Идейную эволюцию писателя можно проследить на примере его произведений о Башкирии. В ранних рассказах башкиры изображены забитыми и безропотными, как Аллаяр («Ночь»), староста деревни Курай («Культура»), Юмангулов («Башкир Юмангулов»). В этих произведениях хорошо показано бесправие бедняков, алчность и бездушие эксплуататоров, выжимающих из народа последние жизненные соки. Но авторский идеал здесь еще не ясен, нет мятущихся, неудовлетворенных жизнью деятельных героев. Позднее Туркин создал образы стихийно протестующих героев, наподобие Юсупа из рассказа «Десятина» или героя рассказа «Право», который понимает, что ждать милости от кулака бесполезно, надо самому добывать свои права. Сознательным интернационалистом изображен Ибрагим, герой одноименного рассказа. Заметную эволюцию претерпели и женские образы писателя: от забитых, безропотных и покорных рабынь своих мужей, таких, как Берзифа («Башкир Юмангулов»), Итбика, Ханисафа («Ибрагим»), «Вазира» («Десяткина»), до способных бороться за свое счастье, как Бибинор из рассказа «Грех». Бибинор резко отличается от всех остальных туркинских образов женщин-башкирок сильным и волевым характером. Ее смелый поступок — уход от ненавистного старого мужа к возлюбленному — говорит о пробуждающемся чувстве человеческого достоинства в сознании башкирской женщины, о проникновении идей эмансипации и в национальные окраины России.

Бибинор и Ибрагим — большая удача Туркина в создании образов положительных героев-башкир. В этих образах воплощены лучшие черты национального характера: свободолюбие, благородство, ум, доброта, трудолюбие. Герои Туркина верят в торжество высоких нравственных идеалов, в приход справедливой, счастливой жизни, но истинные пути к достижению этих заветных целей им не ясны. По справедливому утверждению критики, «для творчества Туркина была характерна тонкая отзывчивость на страдания народа, гневный протест против произвола и насилия, вера в способности народа самостоятельно решать свои судьбы... Туркин предстает перед нами как незаурядный мастер той реалистической школы, которая сложилась под влиянием классических традиций и испытывала сильное воздействие творчества А. М. Горького[2].

К этой школе примыкал и Василий Васильевич Брусянин, почти поло-

---

[1] Литературный критик, М., 1936, № 4.— С. 231.

[2] Дергачев И. Демократический писатель дореволюционного Урала...— С. 249.

вину сознательной жизни проживший в Башкирии: в Уфе он учился, работал и по долгу службы землемера объездил значительную часть родного края. И естественно, Башкирия стала его литературной колыбелью, а башкирская тема заняла заметное место в творчестве. В усилении интереса к этой теме определенную роль могли также сыграть литераторы П. И. Добротворский и А. М. Федоров. Брусянин вспоминал: Добротворский «обласкал меня, как местный литератор. Недаром он называл себя моим литературным крестным отцом»[1] Федоров помогал Брусянину печатать произведения в Петербурге. С этими писателями связывает его и демократическая направленность творчества. Однако в понимании вопросов классовой борьбы, роли пролетариата в освободительном движении Брусянин пошел дальше своих литературных коллег. Этому в значительной мере способствовало общение с А. М. Горьким, с марксистами, в частности с А. Д. Цюрупой, Л. Б. Каменевым, сотрудничество в «Звезде» и «Правде».

Демократическая направленность литературно-публицистической деятельности Брусянина исходила, особенно в начальный период творчества, из его личного тяжелого экономического положения и была, следовательно, духовным отражением материальной жизни писателя. Именно это обстоятельство, надо полагать, способствовало пробуждению интереса к социологии, и он «примкнул к марксизму». В становлении материалистического мировоззрения писателя определенную роль сыграли также цензурные притеснения и административные преследования, оказывавшие, так сказать, негативное влияние.

Всё творчество Брусянина проникнуто гуманизмом, демократизмом и гражданственностью. Это отчетливо прослеживается и в произведениях на башкирскую тематику. За долгие годы жизни в Башкирии он полюбил этот край и его народ, стонавший под колониальным игом. «Я привык к Башкирии: она моя родина, я знаю ее с детства. Ее обитатели, угрюмые на вид, но добродушные башкиры...»,— пишет Брусянин в рассказе «Былое-тяжелое»[2]. Симпатизируя трудовому народу, писатель не мог равнодушно смотреть на его страдания. В многочисленных рассказах о Башкирии он показал бесправное положение народа. В дневниках Брусянина много записей, свидетельствующих о глубокой привязанности его к Башкирии. Когда же различные обстоятельства вынуждали писателя уезжать из Башкирии, он тосковал о ней. «...Скорей бы домой, в Уфу, отрезвиться от волнений петербургской жизни,— читаем запись в дневнике от 21 апреля 1896 года.— Какой-то рок преследует меня: с родины я бегу на чужбину, чтобы отыскать покой, а чужбина снова гонит меня в глушь...»[3] Брусянин постоянно называет Башкирию своей родиной, любит ее, пристально интересуется жизнью аборигенов края. Вместе с тем, он демократически трактует инонациональ-

---

ЦГАЛИ, ф. 42, оп. 1, д. 4, л. 2 об.

[2] Брусянин В. В. Час смертный. Рассказы о голодных людях. СПб., 1912.— С. 306.

[3] ЦГАЛИ, ф. 42, оп. 1, д. 96, л. 62.

ную тему, ему чуждо сентиментальное умиление своеобразной экзотикой жизни полукочевого народа, его творчеству характерна антинародническая тенденция.

Большинство рассказов и очерков Брусянина о башкирах написано в ранний период его творчества, когда он жил в Башкирии. В рассказах «Одинокий» (1901), «В лесной Башкирии» (1902) и «Злосчастные» (1903) отражается духовный рост героев. В первом показано формирование характера главного персонажа сироты Михея. С раннего детства ему пришлось жить в семье дяди. Однажды в хозяйстве дяди случился неурожай, и Михей, получив за многолетний труд пятиалтынный, был выброшен на улицу. Пришлось отправиться на заработки; он знал многоводную и глубокую Уфимку, «потому что не раз бывал на ее крутых лесистых берегах, не раз переплывал ее на пароме, наезжая на село Иглино на базар или в церковь». Но где найти Софроновскую пристань, а тем более лесные промыслы, этого Михей не знал. Его гнетет одиночество: проплывают плотовщики, не заметив «на берегу одинокой фигуры Михея»; плотовщики, причалившие к берегу на ночлег, равнодушны и подозрительны. И остается горемыка ночью под ненастным небом, одинокий, никому не нужный. Ревёт ливень, сверкают молнии, а плотовщики отказываются «пустить его в балаган на ночлег в эту бурную и грозную ночь». Взбунтовалась душа Михея против этой жестокой и несправедливой жизни, всегда покорный, ни разу никого не обидевший, он восстал. Он впервые почувствовал себя сильным, как сама стихия, бушевавшая вокруг. Он понял, что должен выразить протест против прежней несправедливой и забитой жизни. Смятённой душой он воспринял жестокость плотовщиков как своеобразное символическое воплощение царящего в мире зла и несправедливости. Не помня себя, Михей отвязал плот, и взбешенная река понесла его вниз. Описывая всё нарастающее недовольство Михея, Брусянин убедительно показал, что только в эти страшные минуты его герой пробудился, почувствовал себя человеком.

Тот же мотив — справедливая месть одинокого, забитого серой жизнью человека — звучит и в рассказе «Злосчастные». Место действия — одна из улиц Уфы. «Слободские улицы расположены по оврагам, холмам и пригоркам, да, собственно, того, что называется улицей, в слободе и не было; на громадной площади тянутся плетни и заборы, иногда плетни встречаются и образуют тупики; иногда они упираются в овраги или крутые холмы, где едва можно пройти пешеходу». Очевидно, это окраина Уфы. Из предыстории рассказа становится известно, что когда-то братья Василий и Роман Сушковы вели общее хозяйство. Сын Романа Артем вернулся из армии и узнал, что после смерти отца Василий Петрович, дядя, забрал все деньги себе. Артем оказался без средств к существованию, поселился на Слободской улице. Недалеко от дома Артема находится речной порт, где рабочему Ерёме раздавило ноги. Артем пожалел чужого человека и взял его к себе домой. Бывший рабочий стал рабом-попрошайкой. Это озлобило его, он стал мрачным, замкнутым: был здоров — пользовались его силой, стал инвалидом — бросили. И затаил Ерёма в душе глухую, непонятную злобу. Озлоблен и

Артем, особенно на жадного дядю Василия Петровича. Но бороться он не способен. Избитый сыновьями дяди Артем через четыре месяца умер. За него продолжил борьбу безногий Ерёма. Не видя другой возможности, он поджег дом Василия Петровича.

Бесчеловечные условия жизни, бесчинства богатых по отношению к бедным подняли дух «злосчастных» «одиночек» на борьбу Конечно, это бунт одиночек, он носит стихийный характер, но придет день и на борьбу за свои права поднимутся все униженные и бесправные. Рассказы «Одинокий» и «Злосчастные» объединяет место действия — Уфа, сходство сюжетов и общность идей. Герои Брусянина, испытав на своем горбу тяжесть подневольного труда, вопиющую несправедливость, выражают протест против произвола и насилия. Писатель показал бунт одинокого человека в буржуазном обществе.

В большом рассказе «В лесной Башкирии» реалистически отражена тяжелая жизнь рабочих на лесных разработках, а также — что очень важно — пробуждение их классового самосознания и начало организованной борьбы против эксплуататоров за улучшение условий труда. В центре рассказа — образ Трофима, вчерашнего крестьянина, вынужденного стать на путь люмпен-пролетария.

С большим уважением и симпатией рассказывает писатель о дружбе русского рабочего Мирошки и башкира Абдрахманки, смело выступивших против хозяев в защиту законных прав рабочих. Когда же хозяин отказался выполнить их справедливые требования, они разрушили сооруженную собственными руками плотину и ушли. Вместе с ними ушел и Трофим. По натуре своей слабый, нерешительный, Трофим почувствовал правоту и силу неугомонного Мирошки и темпераментного Абдрахманки. Символичен конец рассказа: после своего стихийного протеста Мирошка, Абдрахманка и Трофим присоединились на Уфимке к артели плотовщиков-башкир и поплыли вместе с ними по быстрой и извилистой реке, которая понесла их, «будто суля в далеком синем море и простор, и свободу, и счастье...».

Стремление к лучшей жизни, жажда свободы и счастья, понимание несправедливости существующего строя — вот те стимулы, которые поднимали на борьбу против угнетателей лучших людей из среды рабочих и крестьянских масс. Но незнание законов развития общества и непонимание путей борьбы с социальным злом могли привести лишь к стихийному бунту, который и изображал Брусянин в рассказах и очерках, написанных в канун первой русской революции.

Проникновение капитализма в башкирскую деревню, классовое расслоение башкир, тяжелым бременем ложившееся на трудовой народ и обострявшее социальные противоречия, нашли художественное воплощение в рассказе «Новогодний день в башкирской деревне». Писатель меткими штрихами нарисовал хищнический облик башкирского кулака Нурея, разбогатевшего на ограблении своих голодающих сородичей.

Подчеркивая мрачную неустроенность жизни башкирского народа автор выражает неиссякаемую любовь к трудовому люду и веру в лучший

завтрашний день. Мятущиеся, неудовлетворенные жизнью герои Брусянина начинают понимать, что улучшение жизни зависит от них самих.

В произведениях, отражающих жизнь дореволюционной Башкирии, прослеживается идейно-эстетическая эволюция писателя Начав с правдивого, чуть ли не фактографического изображения быта и обычаев башкирского народа, автор позднее показывает активных героев. Правда, пока это лишь одиночные выступления доведенных до отчаяния людей, и они еще не знают, как бороться, с чего начать.

Творческая эволюция Брусянина более отчетливо выразилась в его произведениях на рабочую тематику. От показа тяжелой жизни рабочих и их стихийного протеста против бесчеловечных условий труда к осуждению империалистической войны и, наконец, к изображению организованной борьбы пролетариев разных национальностей развивалось творчество писателя-интернационалиста.

Организованное выступление пролетариата нашло рельефное отображение в повести из жизни рабочих Урала «В борьбе за труд» (1918). В начале произведения Брусянин рассказывает историю возникновения медеплавильного завода, заброшенного «в глушь горной и лесной Башкирии, на отрогах западного Урала».

«Построен завод на захваченной у башкир земле. Только по рублю с десятины да по четверти фунта «кирпичного» чаю заплатили скупщики земель «тёмным» башкирам, а обитатели лесной деревушки Урслановой от этого не разбогатели. Те же башкиры за дешевую плату корчевали свои родовые леса, делали дороги, рыли пруды, рубили лес и помогали вятским плотникам возводить заводские постройки. А когда леса были вырублены и сделаны доро́ги с мостиками через горные потоки, инженеры-строители вывезли из России голодный люд целыми семействами да из соседних русских поселков собрали народ и начали рыть шахты. И скоро в лесной глуши образовались К-ские медные рудники». Так, ценою обмана, ограбления башкир и жестокой эксплуатации «голодного люда» был построен в глуши Башкирии завод. Возможно, Брусянин имеет в виду Кана-Никольский медеплавильный завод тульских купцов Мосоловых, построенный в середине XVIII века. Впрочем, он воссоздает типичную картину, как росли на башкирских землях заводы, строившиеся ловкими и предприимчивыми людьми при поддержке (или, по крайней мере, попустительстве) правительства и местных властей.

На заводе трудились рабочие разных национальностей: и русские, и башкиры, и французы, и бельгийцы. Долгое время не могли найти общий язык рабочие, долго жили двумя враждующими лагерями. Главной причиной вражды рабочих было то, что иностранные специалисты «понавезли ...рабочих своих, а почти всех наших в заштат». Оказавшиеся не у дел башкиры невольно стали считать своего же брата рабочего-бельгийца врагом. «Как пропасть разделяла людей разная культура и не одинаковая религия,— пишет автор,— и язык для обмена мыслей у этих людей был различный: больше жестами и переговаривались пришельцы с аборигенами». Безусловно,

это было на руку хозяевам рудников: рабочие не могли сплотиться и вести совместную борьбу против их общего врага — эксплуататоров. Но внезапно один случай сблизил их, «вдруг как-то заполнил пропасть, отделявшую одних рабочих от других». Весной на горах растаял снег, и мутные потоки устремились к плотине на речке Урсула-Елга и разрушили запруду. Заводчики вынуждены были строить новую, рабочих рук не хватало, и этим воспользовался трудовой люд: начал борьбу с хозяевами. Автор убедительно показал, как тяжелые, невыносимые условия труда сплотили людей разных национальностей. За русскими стали бастовать и рабочие других национальностей; на высоте оказались и башкиры: они согласились выйти на работу только после того, как их рядчик Сафиулла передал приказ о прибавке.

Окрыленные этой победой, рабочие решили действовать дальше. Первыми поняли, что сила трудящихся — в сплоченности, их вожаки — Артемий Снегирёв, Иван Дубчевский и бельгиец Жюль Арну. Они резко осудили бесполезный бунт анархиста-одиночки кузнеца Луки, пытавшегося убийством ненавистного управляющего Якова Моисеича облегчить положение рабочих. «Заволновались трудящиеся люди... в глухих заводах, где еще так недавно выступали одиночки, подобные Луке... Их было немного этих людей,— пишет Брусянин,— но много нового огня, убеждений принесли они с собою в глушь Урала и выжгли здесь всё старое, засеяв расчищенные нивы трудящегося народа новыми семенами». Выразителем авторских идей в повести выступает Всеволод, молодой человек, придерживающийся марксистских убеждений. В разговоре со следователем по поводу убийства Якова Моисеича Всеволод смело заявляет: «Ведь у вас в министерстве так объясняют все явления жизни: мол, подстрекатели да нигилисты с крамольниками народ подбивают... А не видите вы, господа, что народ сам просыпается, а местами уже и проснулся, сам народ в себе крамолу воспитал, а вы помогали этому своими воздействиями, и спасибо вам!..».

На протяжении всей повести прослеживается, как «просыпается» народ. Через два года после описанных событий началась совместная, хорошо организованная политическая забастовка французов, бельгийцев, русских и башкир. «Загорелые, темноглазые башкиры были страшны, когда кричали, размахивали руками и кому-то грозили. Их рядчик Сафиулла взывал к Аллаху и старался склонить своих сородичей и разными земными благами соблазнял землекопов, но угрюмые дети гор и лесов поняли силу русского слова «забастовка» и не отставали от товарищей. Не подвели и бельгийские рабочие. Послушные своему руководителю Жюлю Арну, бельгийцы как один человек заявили заводчикам, что на земляные работы не встанут: «Мы не штрейкбрехеры! И подводить товарищей не будем!».

Совместная забастовка рабочих разных национальностей окончилась их победой. «Почти всегда мы с митинга возвращались с песнями: бельгийцы пели «Интернационал», «Вставай, поднимайся, рабочий народ...» — пели русские. И в этих двух мотивах сливалась одна душа представителей двух народов, отвоевывающих себе свободу на труд в борьбе за труд... Я прислушивался к мотиву знакомой песни рабочих всего мира. И мне

казалось, что я не один. Что не одни и они, борцы за вольность и труд... Их много и все они готовятся к последнему и решительному бою...».

«Подлинная художественная ценность» повести «В борьбе за труд» была отмечена большевистской критикой, которая писала, что «Брусянин не ограничивается отражением рабочего быта, но именно этой стороной своего творчества примыкает к общей революционной работе партии большевиков»[1]. Повесть «В борьбе за труд» — самое идейное произведение писателя: в нем умело показано формирование революционного мировоззрения рабочих масс Урала и Башкирии. И не случайно повесть «В борьбе за труд», несмотря на исключительно трудное военное время, в 1919 году была переиздана.

Следует особо отметить живейший интерес Брусянина к устному поэтическому творчеству башкирского народа. Творческое осмысление фольклорного материала позволяло писателю в аллегорической форме выразить свое отношение к происходящим в Башкирии событиям, отразить духовную культуру и быт народа. По мотивам башкирского фольклора им написаны, в частности, легенда «Белый волк» и рассказ «Вечная могила».

В личном фонде Брусянина, хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, среди множества материалов, находятся неопубликованные рукописи-автографы башкирских легенд «Ошибка Аллаха», «Сказание о бедном Гирее» и «Фатима», что свидетельствует о широте его фольклористических интересов.

Собиранием и изучением фольклора родного края занимался уроженец Башкирии Григорий Прокопьевич Ларионов, псевдоним — Белорецкий, поскольку родился он в поселке Белорецкого металлургического завода. В его произведениях находит отражение жизнь, быт и фольклор рабочего класса, крестьянства и аборигенов края — башкир. В очерке «Сказитель-гусляр в Уральском крае» воссоздается колоритный образ народного музыканта и певца. Этот «странного вида человек... был чрезвычайно массивен,— могучая фигура, широкие плечи, большая голова, с целой копной всклоченных темно-рыжих волос». По просьбе рассказчика он играет протяжную мелодию. В очерке подробно описывается и сама мелодия и манера исполнения; отражается жизнь, культура, историческое прошлое и природа Башкирии.

Статья «Заводская поэзия» отличается значительной социально-политической остротой. Она представляет из себя исследование пятисот частушек, собранных на трех заводах Южного Урала: Белорецком, Тирлянском и Кагинском. Сам автор так определяет цель своей работы: «Цель настоящей заметки — представить читателю образцы современной народной песенки, этой частушки, которая, как выразительница современных народных чувств и настроений, с одной стороны, и как представительница народной поэзии нашего времени — с другой, не может не возбуждать интереса. Кроме того, так как в частушках сохранилось драгоценное достоинство народного творчества — его непосредственность, близость к жизни, они в своей сово-

---

[1] Книгоноша, М., 1925, № 19.— С. 18.

купности представляют довольно полную и, безусловно, верную картину народного житья-бытья»[1]

Правдивая «картина народного житья-бытья», отраженная в собранных Белорецким частушках, была довольно безотрадной. И хотя частушки различных заводов несколько отличались по внешнему виду, но смысл их был одинаков — они говорили о тяготах заводской работы. «Мотив «жить тяжело» звучит одинаково сильно в фабричных частушках всех трех заводов, на которых я успел побывать, и везде выражается почти в одних и тех же формах,— отмечает Белорецкий.— То же самое отношение к «распроклятому заводу», то же глубокое недовольство «распостылым трудом», та же ненависть к «немцу-управителю», те же горькие жалобы на постигшие во время работы несчастья». Писатель приводит многочисленные образцы заводских частушек, в которых звучит мотив «жить тяжело», и приходит к грустному выводу: «Картина жизни фабричных, которую дают нам их песни, нарисованы одними темными красками,— светлых тонов в ней нет. Жизнь рабочих сплошь состоит из цепи тяжелых трудов и несчастий... Эти песенки могли бы служить хорошей иллюстрацией к мысли, не помню уже кем высказанной, что положение рабочих на уральских заводах мало чем отличается от крепостной зависимости»[2]. Весьма вероятно, что Белорецкий имел в виду Д. Н. Мамина-Сибиряка, который в ряде произведений высказал аналогичные мысли; в путевых заметках «От Урала до Москвы», например, он писал: «Положение приписанных к заводам крестьян было невыносимо — это было рабство в худшем значении этого слова. Недаром на Урале говорят про уральские заводы, что они... выстроены ценой крови, на костях человеческих»[3]

Статья Белорецкого «Заводская поэзия», отразившая духовную культуру рабочих и воссоздавшая правдивую картину тяжелой жизни фабричного люда, получила высокую оценку большевистской печати. «Жгучие противоречия капиталистического строя, жестокие несправедливости хозяйского и начальнического произвола, все тяготы рабочего бытия — всё это нашло здесь выпуклое изображение... — читаем в статье «Рабочая поэзия».— Во многих коллективных стихотворениях и песнях громко звучат призывы к созданию, известными способами, светлой жизни на новых началах»[4]. Выражение «известными способами» означало «революционным путем».

В рассказах и очерках Белорецкого преимущественно изображена тяжелая жизнь и быт рабочего класса и крестьянства Башкирии. Эти произведения пронизаны мотивами фольклора родного края. Яркий национальный образ бедняка-башкира Хайридина, вынужденного оставить деревню и стать чернорабочим, создан в рассказе «Поздней осенью». Через воспоминания Хайридина здесь повествуется о возмущениях народа, усилившихся после

---

[1] Белорецкий Григорий. Избранное.— Уфа, 1958.— С. 279.

[2] Там же.— С. 281, 282.

[3] Башкирия в русской литературе. Т 2. 1991.— С. 183.

[4] Путь Правды, 6 апреля 1914 г.

того, как колонизаторы «обманом отняли у башкир землю и лес» и «началась для башкир печальная жизнь»

Хайридин мечтает о лучшей жизни, но он пассивен; а его безысходная тоска выливается лишь в грустные звуки курая, играть на котором и петь он готов «каждую ночь напролет» «Его тоска походила скорее на физическую боль в груди,— пишет Белорецкий.— Он давно передумал все свои думы, и от них осталась у него на сердце тяжелая, как камень, печаль. Ей было тесно в груди, она просилась наружу, сжимая сердце,— и Хайридин изливал ее в своем пении. И всем, кто слушал его, становилось грустно, тяжело»

Мечты Хайридина о неопределенном счастливом будущем были связаны с его верой в Аллаха, в пророка Магомета. Его память хранила предание о Волчьем логе. Это место считалось у башкир священным. Из поколения в поколение передавали башкиры предание о том, что когда-то в далеком прошлом великий Магомет обходил всю землю и, остановившись в этом красивом логу, три дня и три ночи отдыхал там. И будто бы жившие окрест правоверные ходили к нему на поклон и суд.

Хайридин ждал, когда Магомет, который раз в тысячу лет обходит всю землю, снова придет на отдых к Волчьему логу, к тому времени уже хищнически вырубленному. И тогда пошел бы к нему Хайридин и сказал: «Пророк! Нам, верным твоим, нельзя стало жить. У нас отняли нашу землю, наши леса, и мы разорились. Ты, пророк, рассудил богатого и бедного. Рассуди и нас, бедных башкир, и...» (Здесь мысль Хайридина обрывается; возможно, это цензурная купюра). Хайридин собирался рассказать Магомету всю свою жизнь и жизнь своих сородичей — бедных башкир, у которых «бояр» обманом отняли лучшие земли. Много раз заменял Хайридин испортившийся ком крута, который он берег для подарка пророку,— свежим, но Магомет не приходил. И под конец своей жизни он перестал верить в бога, начал понимать, что и русских рабочих, так же как и башкир, угнетают богачи, заводчики, что всем трудящимся живется тяжело.

Как видим, фольклорный материал интерпретировался Белорецким разносторонне: собирался, анализировался, публиковался, вводился в художественную ткань произведений, способствуя воссозданию местного колорита.

Помимо эстетической ценности «фабричных песенок», писатель обратил внимание читателей на пронизывающие их социальные мотивы, порожденные жестокой эксплуатацией заводских рабочих. Однако он не заметил в рабочих песнях действия и энергии, того «своеобразного оптимизма», который был подмечен Г. И. Успенским. И выводы Белорецкого-исследователя справедливы лишь относительно той части песенного рабочего фольклора, которую он вводил в научный оборот (и, видимо, только ею и располагал). Между тем в начале XX века передовые рабочие Урала уже активно втягивались в революционное движение, проводили первые нелегальные маевки, создавали соответствующие песни. Отсутствие в записях Белорецкого текстов революционного характера, бытовавших в 900-х годах на заводах Урала, объясняется не столько цензурными условиями, не позволявшими в столичном журнале вести речь о песенной поэзии революционного пролетариата, сколько

народническим отношением собирателя к самим заводским рабочим, в лице которых он не видел решающей революционной силы[1]. Тем не менее, заслуги Белорецкого-фольклориста несомненны: он первым в Башкирии собирал заводской песенный фольклор, его записи и публикации объективно свидетельствуют о духовной культуре рабочих Урала и выражают отношение их создателей и исполнителей к окружающей действительности; они насыщены мотивами социального протеста.

Еще более ощутимый вклад в изучение дореволюционного фольклора Башкирии внес Сергей Гавриилович Рыбаков, он был, в частности, пионером в изучении музыки и песни уральских мусульман. Впервые башкирские народные мелодии молодой ученый-музыкант собирал в 1892 году, приехав в Башкирию в качестве сотрудника-фольклориста Императорского русского географического общества (ИРГО). В следующем году по заданию этнографической комиссии ИРГО он поехал в экспедицию на Южный Урал. В Уфимском и Верхнеуральском уездах собрал более ста лирических народных песен с мелодиями, несколько легенд, сказок, баитов, мунажатов, а также образцы поверий, суеверий, гаданий, пословиц, поговорок и инструментальных мелодий.

На основе собранных материалов С. Рыбаков написал обстоятельную статью. Она была опубликована дважды: сначала под названием «О народных песнях татар, башкир и тептярей» в петербургском «толстом» журнале «Живая старина» в 1894 году, а в следующем году — отдельным оттиском и с несколько измененным названием — «О поэтическом творчестве уральских мусульман». Статья привлекла внимание критики. Так, издатель «Русской музыкальной газеты» Н. Ф. Финдейзен писал, что «труд г. Рыбакова очень почтенный и его записи вполне заслуживают внимания, с одной стороны, этнографов, с другой — композиторов; для последних они представляют новый и довольно характерный материал, сам собой просящийся на разработку». Рецензент отметил также, что «с особенной любовью относится г. Рыбаков к башкирским напевам»

Окрыленный признанием, в 1894 году С. Рыбаков вместе с братом Петром Гаврииловичем Рыбаковым и народным учителем Андреем Степановичем Гусевым вновь совершил продолжительную поездку по юго-восточной Башкирии. Ученый собрал богатый и разнообразный материал. О результатах своей поездки он доложил в том же году на заседании историко-филологического отделения Академии наук. Создание каждым поколением новых музыкально-поэтических произведений, по справедливому утверждению С. Рыбакова, свидетельствовало об интенсивности художественного творчества башкир. Наиболее значительные работы ученого посвящены башкирскому быту, народной музыке и ее исполнителям. Так, в содержательном исследовании «Курай, башкирский музыкальный инструмент» (1895), где основное внимание, естественно, уделено описанию курая, приемов игры на нем и

---

[1] См. Смирнова Н. С. Очерк историографии рабочего фольклора.— Ученые записки Алма-Атинского пединститута им. Абая. Т. 2, 1941.— С. 132.

характеристике известных кураистов, профессиональных башкирских музыкантов, весьма обстоятельно говорится также о легендарном прошлом башкир, запечатленном в преданиях и песнях, о поэтической одаренности народа.

«Прекрасна природа Уральских гор, среди которых живут башкиры,— пишет С. Рыбаков в работе о курае.— Бесчисленные гряды гор, долины, лощины, ущелья бесконечной чередой сменяют друг друга и почти на каждом шагу дарят путника роскошными видами, один другого лучше». Живя среди такой сказочной природы, башкир находит богатую пищу для фантазии и поэтической мечтательности и создает свои замечательные песни, сочиняет пленительную музыку, овеянную легендарным прошлым и благоухающую ароматом величественных гор, бескрайних степей и непроходимых лесов. «А когда башкир вспомнит, что рассказывают народные предания о былых делах, которые совершались среди этих же самых хребтов, долин и ущелий, вспомнит, как его предки поднимались на защиту своей свободы, воевали, побеждали и терпели поражения, как в течение ряда лет шум и гул восстания и военных движений эхом наполняли все эти долины, ущелья и дороги родных гор, то сама собой слагается у него песня о памятных делах и славных предках, и выливается она в стройных рифмах и поэтических мелодиях, свидетельствующих о богатом творчестве этого народа».

По мнению С. Рыбакова, главный источник поэтического вдохновения башкирских певцов и музыкантов в героическом прошлом их предков. Народ слагает песни «о памятных делах и славных предках», прославивших родину ратными подвигами и «гулом восстаний»... Немало славных сынов Башкирии сложили непокорные головы в продолжительной борьбе за свободу своего народа. Тяжелым бременем лег на плечи трудящихся башкир жестокий гнет, но он не в силах подавить свободолюбивый дух народа и его веру в счастливое будущее. Порукой тому — неиссякаемое творчество народа, славящее свободу и независимость: «...свежа еще и бодра его песня, свободна и чарующа его мелодия, как свежа, свободна и чудна та природа, среди которой он живет. Сколько страданий и непоправимых несчастий ни перенесли его предки, как ни разбита была их жизнь, а теперешний башкир, живя среди всеисцеляющей природы, среди ее раздолья, здоров и бодр душою, не угнетен невзгодами отцов и среди родных лесов и гор поет всё так же ясно и свободно, как ясны были дни беспечной юности его отцов. Наличность и сила творческих способностей башкир доказывается тем, что в их среде постоянно появляются сочинители песен и мелодий...».

С. Рыбаков стремится выявить и объяснить музыкально-поэтическую природу башкирского песенного творчества. Красоту и богатую фантазию народных песен он рассматривает прежде всего как творческое следствие влияния чудесной природы Урала. Взгляд на башкир, как на «детей природы», живущих как бы вне социальной истории, приводит музыканта-исследователя к несколько одностороннему заключению, что «башкирский народ не столько практик, сколько художник».

В 1896 году по заданию ИРГО С. Рыбаков вновь едет в экспедицию на Урал. В Уфимской и Оренбургской губерниях он дополнил и уточнил

сведения о башкирской и татарской музыке, в Тургайской области собрал образцы поэтического и песенного творчества казахов. Но самой любимой темой его исследований была башкирская народная музыка. Свои многолетние этнографические и музыкально-фольклористические наблюдения и исследования ученый обобщил и создал фундаментальный труд, который в 1897 году вышел в академическом издании отдельной книгой под названием «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта. 204 мелодии с текстами и русским переводом. Характеристики музыкантов и очерки путешествия». Книга вызвала большой интерес, а ее автор получил широкую известность как знаток фольклора народностей Приуралья и был избран действительным членом Оренбургской ученой архивной комиссии. Прежде всего следует отметить безусловную талантливость, добросовестность и профессиональное мастерство автора в описании и анализе конкретных фактов и явлений музыкального быта, а также доброжелательное отношение его к тюркским народностям Урала.

Книга «Музыка и песни уральских мусульман...» имеет синкретический характер: в ней соединены этнографические наблюдения и музыкально-фольклорные записи, сделаны обобщения и выводы. Проявив тонкую наблюдательность, С. Рыбаков зафиксировал существенные черты национального облика, быта и обычаев исследуемых им народностей. Не случайно на эту книгу постоянно ссылаются ученые разных специальностей, а композиторы берут из нее записи народных мелодий для обработок и создания своих сочинений. Многие этнографические наблюдения С. Рыбакова перекликаются с описаниями башкирского быта его предшественников — П. Кудряшева, В. Даля, В. Зефирова, В. Юматова, М. Михайлова, Р. Игнатьева, Ф. Нефедова и некоторых других[1], но отличаются от них обстоятельностью и полнотой. Однако неустойчивость социально-политических воззрений автора сказалась и на его этнографических зарисовках: при всей их обширности и увлекательной манере изложения, они несколько поверхностны, односторонни, а порой и излишне субъективны. По-видимому, ученый запечатлел прежде всего те явления, которые наиболее сильно поразили его художественную натуру. Так, у татар он подчеркивает расчетливость, склонность к торговле, наживе; у башкир — мечтательность, «склонность к кейфу», то есть праздность, беспечность. В книге нет ни одной сцены труда, обойдена рабочая прослойка, если не считать беглых замечаний о тяжелой жизни рабочих-башкир на промыслах. Не обратил он также внимания на социально-экономическую сторону жизни и классовое расслоение башкир. В его этнографических этюдах превалирует любование первобытной полупатриархальной простотой башкирского быта, архаикой, экзотикой. Он умиляется гуманностью, добротой, эстетической восприимчивостью башкир и вместе с тем в значительной мере разделяет концепцию реакционного этнографа В. М. Флоринского о неизбежности их ассимиляции, изложенную последним в обстоя-

[1] Произведения названных авторов см. в сб. Башкирия в русской литературе, Уфа: Башкнигоиздат.— Т. 1, 1989; т. 2, 1991.

тельном очерке «Башкирия и башкиры» и напечатанную в декабрьской книжке журнала «Вестник Европы» за 1874 год. Весьма глухо упоминает С. Рыбаков о героическом прошлом башкир, получившем широкое отражение в героико-эпических жанрах народного творчества. Кстати, о героическом эпосе башкир говорится лишь вскользь и без конкретных примеров. Правда, это, очевидно, можно объяснить недостаточным знанием языка аборигенов, или же цензурными соображениями. В этом вопросе племянница ученого Елена Петровна Рыбакова-Смирнова придерживается несколько иной точки зрения. В одном из писем к автору предисловия она очень деликатно и вежливо написала (13 апреля 1983 года): «Мне трудно судить о мировоззрении дяди, а то, что он мало раскрывал героическое прошлое башкир, конечно, связано с цензурными соображениями. От мамы я слышала, что Сергей Гаврилович знал много восточных языков, и она сожалела, что это не было учтено. Он всю жизнь изучал языки народностей нашей страны. Даже во время последней экспедиции на Кавказ, судя по его дневнику, он договаривался с карачаевцами об изучении их языка. Мне кажется,— рассуждает Е. П. Рыбакова-Смирнова,— в какое-то время Сергей Гавриилович изучал и башкирский язык».

Но как бы то ни было, в освещении общественно-политических проблем и перспектив исторического развития России С. Рыбаков оказался менее всего прозорливым: здесь проявились либерально-демократическое мировоззрение ученого. Что касается знания башкирского языка, то, очевидно, оно было недостаточным, во всяком случае С. Рыбаков не отличал его от татарского (писал: «башкиры говорят на татарском языке»), не улавливал тончайших нюансов этого очень своеобразного языка,— по лексике, правда, близкого к татарскому, нередко даже идентичного, но по фонетике, орфоэпии весьма и весьма отличного от татарского (хотя, замечу в скобках, башкиры и татары прекрасно понимают друг друга без переводчика).

Центральное место в работе «Музыка и песни уральских мусульман...» занимают главы, посвященные непосредственно музыкально-поэтическому творчеству коренных жителей Южного Урала — башкир, татар, тептярей, нагайбаков. Ученый впервые в самостоятельных разделах, хотя и далеко не равноценных, дифференцированно рассматривает музыкальное творчество этих народностей. Наиболее интересным и полным является раздел, посвященный башкирскому музыкально-поэтическому фольклору. Нотные записи песен и инструментальных наигрышей сочетаются в книге с этнографическими наблюдениями, что позволяет воссоздать живую картину духовного бытия народа. С. Рыбаков считает башкир на редкость восприимчивыми к этической стороне жизни и очень музыкальными. Почти в каждой деревне, пишет он, есть сочинители песен и «встречаются нередко песельники, соединяющие в себе дар поэтов и композиторов, то есть сочиняющие свои песни на собственные мелодии». Такое же явление наблюдает он и у тептярей.

С. Рыбаков был первым ученым, обратившим пристальное внимание на конкретных носителей фольклора — народных певцов и кураистов. Он

сохранил для истории свыше двадцати имен башкирских музыкантов 1890-х годов, указал их местожительство, описал внешность, манеры, характерные черты исполнительства.

С. Рыбаков, вслед за В. Далем, Р.Игнатьевым и Ф. Нефедовым, зафиксировал различные, хотя и далеко не все, формы музицирования — пение в пути, на ночевках у костров и просто для удовлетворения своей художественной потребности. Исследователь обратил внимание также на музицирование женщин-башкирок; на их поэтическую одаренность, трудолюбие, сметливость, чувство собственного достоинства; привел народные легенды о сочиненных женщинами напевах. Вслед за С. Рыбаковым художественные образы таких музыкально одаренных башкирок воссоздали Ф. Нефедов (героиня легенды «Зигда», 1898 г.) и Н. Крашенинников (Зюгра в рассказе «Хазрет Хайбулла», 1900 г.).

С. Рыбаков знакомился с башкирским фольклором преимущественно в «концертном» исполнении на празднествах, свадьбах. Иногда исполнители специально для него играли и пели, при необходимости повторяли, а он записывал напевы. Следовательно, ученый имел достаточно возможностей, чтобы сделать объективные выводы о бытовании народной музыки у башкир, о том уважении, которым пользуются в народе признанные исполнители, об элементах профессионализма среди певцов и кураистов, о традициях своеобразных соревнований между ними, наконец, о наличии определенных стилевых приемов исполнительства и большом артистическом чувстве народа вообще. Слова С. Рыбакова о том, что «по поводу почти каждой инструментальной мелодии или песни» башкирские музыканты и певцы «сообщали какое-нибудь сказание или легенду, так что у них можно было бы найти большой цикл всевозможных сказаний и мифов», как бы подтверждают правоту М. Л. Михайлова, отметившего, что «башкирскими преданиями... полна Оренбургская губерния», что «нет такой реки, нет такой горы, про которую не существовало бы легенды и песни»[1].

В книге «Музыка и песни уральских мусульман...» тонко подмечено, что башкирские напевы «мелодичны и эффектны и дышат какою-то особенностью и размашистостью; иногда веет от них своеобразной прелестью и чувствуется стремление к чему-то неопределенному, мечтательному». Наиболее же ценную часть наследия С. Рыбакова составляют нотные записи башкирских песен и наигрышей. Для своего времени это было самое крупное печатное собрание образцов башкирской музыки. Записывая мелодию, ученый отмечал, когда, кем, по какому поводу она сочинена. Такая паспортизация записей народной музыки проводилась в условиях Башкирии впервые.

Записывать тексты песен ему помогали местные грамотные жители, среди которых порой были очень квалифицированные, как, например, Батыргарей Юлуев. «Молодой Юлуев,— пишет о нем С. Рыбаков,— был первый писатель среди башкир, какого я видел.Он получил образование в Уфе, учительство-

---

[1] Письмо М. Л. Михайлова к Н. В. Шелгунову от 25 февраля 1857 года из Уральска.— Башкирия в русской литературе.— Т. I, 1989.— С. 244.

вал раньше в Уфимской губернии, а теперь жил при отце; достигнув известного развития, он дошел до сознания жизни, нужд, радостей и бед своего народа и сделался писателем; владея довольно удовлетворительно русским языком, он напечатал ряд статей по этнографии Башкирии в Московском журнале «Этнографическое обозрение». В редактировании текстов песен и их переводов непосредственное участие принял известный востоковед академик В. В. Радлов: «Автор записывал эти песни, не зная татарского языка. Поэтому я должен был исправить тексты и переводы... Много сомнительного я оставил не исправленным, потому что часто можно предполагать влияние местных наречий певцов и лиц, помогавших автору при составлении переводов, влияние, которое я не имел возможности контролировать». Это признание В. В. Радлова несколько настораживает: видимо, он тоже не отличал башкирский язык от татарского.

И хотя слабое знание С. Рыбаковым языка аборигенов не могло не сказаться на качестве записанных текстов песен, опубликованные в книге «Музыка и песни...» записи башкирских и татарских песен, несомненно, имеют большую ценность как достоверный памятник музыкального творчества народов Приуралья. Анализируя и сравнивая их с богатейшими материалами позднейших фольклорных экспедиций, можно решить ряд важных вопросов башкирского музыкального творчества.

После выхода книги С. Рыбаков часто выступает с докладами и лекциями, на основе богатых путевых впечатлений по Башкирии пишет очерки «По Уралу, среди башкир» и публикует их в двух номерах петербургского журнала «Наблюдатель». Путевые очерки не потеряли познавательного значения и поныне: в них реалистически описывается быт башкир того времени и прекрасная природа предгорий Урала.

В работах С. Рыбакова много места уделено также взаимосвязи башкирской и русской народной музыки. Отмечая закономерности взаимосвязей музыкальных культур соседствующих народов, исследователь на основе конкретных примеров утверждает их плодотворность. Логическим развитием и завершением деятельности ученого в области башкирского и татарского музыкального фольклора явились его обработки башкирских и татарских мелодий для голоса и фортепиано. В 1908 году он впервые гармонизовал несколько татарских и башкирских напевов. Позднее он обработал пятьдесят башкирских и татарских мелодий из своего нотного собрания и составил сборник «Песни татар и башкир в гармонизациях». Эта авторская рукопись на 148 страницах, датированная 1912 годом, долгие годы хранилась в семейном архиве Е. П. Рыбаковой-Смирновой; недавно она поступила в фонд Научного архива Башкирского научного центра Уральского отделения Академии наук СССР.

Октябрь 1917-го С. Рыбаков встретил в Петербурге. В одном из уличных боев он был тяжело ранен и более двух лет пролежал в госпиталях и больницах. По выздоровлении он сразу же обратился к М. И. Калинину с просьбой направить на такую работу, где пригодились бы его знания «жизни и быта различных народностей России».

Желание С. Рыбакова было удовлетворено, он был назначен ученым секретарем Отдела научных учреждений Академцентра РСФСР. Вскоре известный тюрколог профессор Н. Ф. Катанов пригласил его в Казань для научной и преподавательской деятельности в Центральной восточной школе (письмо Н. Ф. Катанова от 18 мая 1920 года хранится в семейном архиве Е. П. Рыбаковой-Смирновой). Однако работы хватало и в Москве: в ноябре 1920 года С. Рыбакова назначают ученым консультантом при гуманитарной секции Научного отдела Наркомпроса. В это же время он получает приглашение в Башкирию для организации изучения народной словесности. Как ни соблазняла возможность вновь заняться башкирским фольклором, поехать ему не довелось...

...Несколько произведений о башкирах написал и Петр Гавриилович Рыбаков. Во время памятной поездки 1894 года совместно с братом С. Г Рыбаковым он с интересом изучал быт и полукочевой образ жизни башкир, зачарованно слушал песни и игру на курае замечательных мастеров-исполнителей, делал зарисовки с натуры. «У них было очень много общих интересов,— вспоминает Е. П. Рыбакова-Смирнова.— Отец тоже был музыкален. Его друг композитор Гречанинов приносил свои произведения на «суд» отца. У меня сохранился романс Гречанинова «Слёзы» с посвящением отцу. Братья были очень дружны в течение всей жизни». О большой дружбе мужа с братом Сергеем говорила летом 1962 года и вдова Петра Рыбакова — Елена Васильевна.

Накопленный во время экспедиции богатый фактический материал был использован П. Рыбаковым в ряде художественных произведений. В 1895 году в журнале «Русская беседа» он напечатал рассказ «Ночь» («По Уралу, среди башкир») — о классовом расслоении башкир; в 1901 году в газете «Новое время» опубликовал башкирскую легенду о горе Ямантау — «Давлетхан»; в том же году на сцене Петербургского театра Е. А. Шабельской была поставлена его комедия «Старшина Буранбай», изображающая жизнь горных башкир. Комедия П. Рыбакова — первая пьеса из жизни башкир, поставленная на столичной сцене. Она поднимает проблему эмансипации женщин. Высмеивая многоженство башкир, комедия выражает протест против бесправия и забитости башкирских женщин. Автор тонко смеется над глупостью старшины и восхищается мудростью народа. Поборником справедливости, носителем лучших черт народа выступает в комедии Биргале — «поэт-певец-импровизатор». Простой народ любит и уважает своего мудрого и талантливого кураиста. «Беда смышленый человек», «нет песельника лучше Биргале»,— говорит он.

Благодаря смекалке Биргале всё улаживается как нельзя лучше: старшина Буранбай, захотевший взять второй женой молоденькую Фатиму, дочь Абдуллы, и многоженец Абдулла остаются в дураках. Торжествует любовь: сын старшины Бахтияр женится на Фатиме; Мансурка, работник Буранбая, берет в жены работницу Зарифу; Биргале вступает в брак с самой старшинской дочкой. Завершается пьеса блестящим исполнением Биргале песни, славящей Буранбая. И поскольку Буранбай «прославился» перед

всем народом своей глупостью, то песня звучит едкой иронией. В комедии вообще много смешных коллизий, она так и блещет народным юмором.

Задолго до постановки на сцене пьеса читалась и горячо обсуждалась в театральных кругах Петербурга, своим юмором она привлекла внимание прогрессивной общественности. «...Мне очень понравилась пьеса г. Рыбакова «Старшина Буранбай»,— писал неизвестный автор в августе 1898 года в «Петербургской газете».— Она впервые знакомит нас с бытом инородцев и написана с таким юмором, что даже читая ее, я порою не мог удержаться от смеха...». Успех пьесы был обусловлен тем, что автор хорошо знал и умело передал быт башкир, образы писал непосредственно с натуры, а некоторые персонажи комедии, как Биргале и Буранбай, даже фигурируют под теми же именами, что и их прототипы. Вот что писал о Биргале в очерках «По Уралу, среди башкир» С. Рыбаков: «Мелодии, какие играл мне Биргале, вообще были интересны, и сам он принадлежал к числу выдающихся дудочников, владеющих секретом выделывать дудки с хорошим, чистым тоном и играть на них с силой и выразительностью, хотя тон курая — вообще тихий. Биргале сообщил мне много мелодий...».

Правда, пьеса «Старшина Буранбай» не всем пришлась по вкусу. Некий шовинистически настроенный автор, скрывший свое имя под псевдонимом «Резонёр», жаловался: «...За башкирами, вероятно, скоро пойдут на сцену калмыки, эскимосы и так далее: но кто будет их показывать публике; кто решится их ставить,— я не знаю...»[1].

Братья Рыбаковы внесли ощутимый вклад в изучение дореволюционного быта и духовной культуры башкирского народа. Их имена достойны глубокого уважения, а творческое наследие всестороннего, основательного исследования.

Широкое отражение жизнь различных народностей Урала, Поволжья и Средней Азии нашла в творчестве Николая Александровича Афиногенова (отца известного советского драматурга А. Н. Афиногенова), писавшего под псевдонимом Н. Степной. Придя в литературу в период первой русской революции, Н. Степной воспевал сильных, смелых, цельных людей, рожденных в необъятных просторах. Писатель был увлечен романтикой подвигов легендарных героев, их силой, красотой и стремлением к вольной жизни. Его «Сказки степи» и «Сказки Волги», объединяющие несколько десятков произведений, пожалуй, наилучшие создания писателя.

Интересны по своей лексической фактуре и идейному содержанию башкирская легенда «Смерть батыра» и рассказ «Кашкыр (волки)». В легенде воспевается бесстрашие и сила батыра Идельбая. Когда батыр был сильным — ему прощалось всё. Но при схватке с медведем он получил увечье, стал «горбачем», ослаб. Идельбая перестали бояться. Во всём ужасе перед ним встала перспектива голодной смерти. «Изнемогая от голода и холода, медленно умирал батыр, как умирали вырубленные леса и вся страна Южного Урала». Показу социального неравенства богатых и бедных

[1] Петербургская газета, 5 октября 1898 г.

башкир, развращающей силы денег посвящен рассказ «Кашкыр (волки)» Богачи-волки доводят народ до гибели, ради удовлетворения своих необуздданных прихотей они могут отобрать у беззащитных даже жен. Писатель резко осуждает волчьи законы, его симпатии явно на стороне бедных башкир.

Прекрасно знал Башкирию Н. Г. Гарин-Михайловский, автор проекта и строитель Уфимско-Златоустовской железной дороги. На территории Башкирии происходят события рассказа Л. Н. Андреева «Сын человеческий». Комический эпизод из жизни Федора Шаляпина в Уфе нашел отражение в рассказе А. И. Куприна «Гоголь-моголь». Впечатления от пребывания в Башкирии с большим юмором описал в стихотворениях, объединенных общим названием «Кумысные вирши» Саша Черный. Башкирские мотивы легли в основу цикла стихов П. А. Радимова.

Ценным источником краеведческих сведений об Уфе и Уфимской губернии начала 1910-х годов является книга Сергея Рудольфовича Минцлова «Дебри жизни. Дневник (1910—1915 гг.)». Эти интереснейшие дневники писателя — правдивое и честное повествование обо всём наиболее знаменательном, увиденном неутомимым, пытливым путешественником во время его бесконечных скитаний. Автор с изящным юмором, а нередко и весьма иронично рассказывает об увлекательных поисках и любопытных находках и открытиях, о встречах с наиболее значительными людьми Башкирии. Значительная часть книги «Дебри жизни» (160 страниц из 397-ми) посвящена описанию важнейших событий, которые произошли на территории Уфимской губернии.

Книга «Дебри жизни» была издана «Сибирским книгоиздательством» в Берлине без указания года выпуска. Поскольку это издательство в Берлине действовало в 1920—1923 годах, то и выход книги в свет относится к началу 20-х годов. Книга среднего формата, шрифт дореволюционный, с «ятями», твёрдыми знаками и с «і» десятиричным.

«Дебри жизни» охватывают пятилетний период — с 1910-го до 1915-го года; состоят из трех разделов: «Уфа», «Новгород», «Малороссия». Уфимский период начинается с записи за 2 апреля 1910 года и завершается 30 апреля 1911 года. Причины приезда в Уфу и отъезда из города Минцлов не раскрывает. Вот начало «Дневника»: «Уфа, 1910 г. Апреля 2. Так сложилась личная жизнь, что бросил Петербург и научную и педагогическую деятельность и взял первое предложенное мне Д. И. Пестржецким место — в Уфимскую губернию». Последняя запись гласит: «1911 г. Апреля 30. Получил письмо от дочери и зловещую телеграмму, завтра экстренно выезжаю в Уфу и затем в Петербург».

В Уфимской губернии С. Р. Минцлов исполнял должность земского начальника. Его основной резиденцией было большое село Богоявлéнское (ныне Красноусольск). Но по служебным обязанностям и по зову сердца он нередко выезжал и в другие волости. Особенно часто он бывал в селе Табынском, городах Уфе и Стерлитамаке. И везде с жадностью знакомился с местными природными, этнографическими, фольклорными, историческими, археологическими достопримечательностями. Обо всём увиденном, о резуль-

татах своих поисков, находок, исследований он публиковал статьи в газетах «Уфимский край» и «Вестник Уфы». Эти материалы имели в свое время несомненное познавательное значение, некоторые из них не потеряли своей актуальности и в наши дни. Он подробно описывал быт и нравы башкир; публиковал сведения о Пугачеве и его соратниках, черпая эти бесценные материалы из государственных, заводских и частных архивов (значительная часть этих материалов, хранившихся в личном архиве писателя, увы, ныне недоступны для его соотечественников, если вообще не утеряны...). Минцлов описывает башкирские пещеры, знакомит читателя с легендами, преданиями и произведениями других жанров, созданных талантливыми башкирскими сказителями и сэсэнами.

Изданные семьдесят лет тому назад, да еще за границей, «Дебри жизни» долгие десятилетия были недоступны не только читателям, но и исследователям. Вот что писал, например, десять лет назад ураловед, писатель-краевед А. А. Шмаков: «Я давно искал «Дебри жизни», редчайшую книгу Сергея Рудольфовича Минцлова, ныне забытого поэта, прозаика и драматурга Оставлял заказы в букинистических магазинах Москвы и других городов, но всё безрезультатно. Минуло много лет. И вот, наконец, неоценимая и дорогая находка в моих руках...»[1].

«Дебри жизни», точнее — первая глава книги — «Уфа» представляет из себя неоценимый документ для исследователей предреволюционной Башкирии, для краеведов и литераторов, занимающихся историей родного края, потому что записи велись с научной добросовестностью и точностью. Наконец, «Дневник» Минцлова не оставит равнодушным тех, у кого окончательно не атрофировались чувства любви и привязанности к своей «малой Родине» — Башкирии.

В «Дебрях жизни» Минцлов называет множество имен деятелей культуры, администрации Уфимской губернии, заботившихся о процветании отчего края, принимавших все посильные им меры, чтобы сохранить для будущего поколения памятники материальной и духовной культуры. Из дневниковых записей Минцлова мы узнаём много любопытнейших сведений и о великих сынах России, в частности, о последних днях жизни и кончине Л. Н. Толстого, общественной реакции на это печальнейшее для всей Руси событие...

«Ушел последний из больших людей... Как скоро, однако, сбылось мое предчувствие о нем! — пишет Минцлов.— Все петербургские газеты полны бюллетенями о его болезни, а в местных органах уже зловеще чернеют телеграммы о его смерти. Как-то вывернется теперь Синод, отлучивший его от церкви». А вернувшийся в самом начале 1911 года из Ясной Поляны управляющий Богоявленским заводом Г. А. Пунга рассказал автору дневников: «На могиле Льва Толстого нет ни креста, ни насыпи: последнюю всю растащили по горстям паломники. Деревья вокруг могилы покрыты надпи-

---

[1] Шмаков А. Письма из Лозанны. Литературоведческие очерки. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1980.— С. 166.

сями, среди которых попадается много интересных. Некоторое время после похорон в Ясной Поляне, в сторожке у ворот, жил урядник, командированный губернатором специально затем, чтобы следить за этими надписями и уничтожать наиболее «вредные». Урядник выполнял свою миссию добросовестно и каждое утро являлся производить осмотр и выскабливать разные ядовитости. Тем не менее за «пределами досягаемости» для него оказалась доска, прибитая к самой верхушке дерева, на которой чернеет крупная надпись: «Лев Толстой — первый после Господа Бога!».

Много любопытных фактов содержат дневниковые записи Минцлова о Ф. И. Шаляпине уфимского периода; о «живом летописце» Николае Александровиче Гурвиче, создателе музея и библиотеки в Уфе, авторе ряда краеведческих работ; губернаторе Александре Степановиче Ключарёве, не жалевшем ни времени, ни сил для личного сбора с состоятельных людей Уфимской губернии пожертвований для строительства Аксаковского народного дома. Так, известный богач Кузнецов жаловался Минцлову, что Ключарёв несколько раз лично сам приезжал к нему с подписным листом и несколько раз присылал полицмейстера и что каждый раз за оказанную высокую честь он вносил кругленькую сумму...

За короткий срок губернатор Ключарёв, увлеченный идеей увековечения памяти знаменитого писателя-уфимца, смог собрать двести тысяч рублей для строительства Аксаковского народного дома! Пример, достойный подражания!

В русской литературе конца XIX — начала XX века значительное место заняла башкирская тема, которая явилась частью общенациональной тематики, разрабатываемой прогрессивными писателями на всех исторических этапах развития общественной демократической мысли в России. Прогрессивные русские писатели во весь голос заговорили о жестокой эксплуатации, ограблении и угнетении «инородцев», в том числе и башкир. Заговорили без той сентиментальной жалости, умиления перед «меньшим братом», того любования экзотикой быта, который был присущ отдельным писателям более ранней эпохи.

Заслуга лучших представителей русской литературы начала XX столетия, в частности, и в том, что они отразили пробуждение национального и классового самосознания башкирского народа, его тягу к знанию и все усиливающийся протест против эксплуатации и гнета, утверждали в народе веру в возможность лучшей жизни, вносили заметный вклад в дело сплочения трудящихся людей различных национальностей, звали на борьбу за права человека и гражданина.

1990 г. *Мурат Рахимкулов.*

А. М. Горький

(1868—1936)

В раннем творчестве Горького заметное место занимает тема содружества народов России. Одной из форм разработки инонациональной тематики Горьким-романтиком было широкое использование фольклора, в котором он черпал материал для своих первых положительных образов, героических и свободолюбивых людей из народа. В годы странствий писатель знакомился с устным творчеством русских, украинцев, цыган, татар, башкир и других народов. Дела и подвиги романтических героев он противопоставлял серой прозаической жизни обывателей, смирившихся с бесправием и гнетом царизма. Творчески используя мотивы и образы сказок, легенд и песен, писатель насыщал их высоким идейным содержанием.

Верой в силы человека, в силу народа, который сумеет завоевать свободу и счастливую жизнь, проникнута и башкирская легенда Горького «Немой» (1896). В ней опоэтизирован образ башкира Юзгляра, личности вольнолюбивой и сильной. Этот образ близок к пушкинскому образу немого безымянного башкира, участника крестьянского восстания, руководимого Пугачевым. Но в новых исторических условиях образ Юзгляра получает новое социальное звучание: он зовет народ к новой жизни, к борьбе за свою свободу и счастье. Память о Юзгляре живет и после его смерти, возбуждая свободолюбивые чувства и вселяя в сердца людей надежду о новой, справедливой жизни.

В романе-эпопее «Жизнь Клима Самгина», наряду со многими другими проблемами конца XIX —начала XX века, нашла отражение и острая социальная проблема пореформенного периода — расхищение природных богатств Башкирии и органически связанный с ней вопрос о судьбе башкирского народа.

Упоминания о Башкирии встречаются также в ранних фельетонах писателя, публиковавшихся в «Самарской газете», и публицистике советских лет.

НЕМОЙ

...Лицо моего знакомого башкира Габуна было совершенно бесстрастно,— коричневое, скуластое, с маленькими неподвижными глазками и все в тонких морщинах, оно всегда казалось созерцавшим какое-то воспоминание, давно уже пережитое. Мы молча сидели с ним у потухшего костра, глядя, как порой по груде пепла перед нами пробегали золотые змейки огня. Нас обнимала степь тесным и темным кольцом, над нею неподвижно стояли облака, похожие на застывшие морские валы, и вокруг нас царило суровое и важное молчание. Во тьме бесшумно плавали силуэты коней Габуна, иногда откуда-то на нас веял душный и теплый воздух, и тогда тихо шуршал песок, вздымаемый им. Но эти бледные и слабые звуки не нарушали сна степи и не тревожили тьмы в ней. От молчания и тьмы вокруг нас мне было жутко — казалось, весь мир умер и от всех людей остались только я и Габун. Он лежал против меня и смотрел через меня своими косыми и узкими глазами вдаль, в бездну тьмы и сурового молчания. Мы долго лежали так, не двигаясь и не разговаривая, и, когда, наконец, я не мог уже выносить этого одиночества вдвоем, я сказал башкиру:

— Расскажи что-нибудь, Габун!..

— А ты слушай, как молчит степь... — посоветовал он мне. Но я упросил его, и нараспев, диким воющим голосом, некрасивым и мрачным, но как нельзя более гармонировавшим с пустыней, тьмой и моим настроением, он рассказал мне легенду о немом кочевнике Юзгляре.

«От Моздока по дороге к морю, но вдали от нее и глубоко в степи, есть курган, и лежат под ним кости Юзгляра, который при жизни был нем, потому что юношей он упал с коня и откусил себе язык.

«Он был нем, но у него были огненные глаза, и девушки наши заглядывались на них, но был он высокий, худой, и, часто улыбаясь, показывал он острые, волчьи, белые зубы, и это так страшно, что никто не любил и все боялись его.

«Он летом пас гурты овец, а зимой, хотя бы был сильный мороз и вьюга, летая по степи, выла свои хищные песни,— зимой никто не видал его у бедных наших юрт. Где он бывал? Говорили — в русских городах.

«Аа, ай! Как часто били его за то, что он был зол и, приходя в кочевки, смеялся над батырами, которые были сильнее его! Он не говорил ничего, ни звука не знал и все только смеялся своими глазами, в которых было много огня.

«Он посмотрит, бывало, на человека, как на труп барана, гниющий в степи, и со злом оскалит свои зубы и качает

головой, а потом взглянет в небо и видит там что-то, от чего на глазах его явятся слезы.

«И бьет он себя в грудь рукой, и смеется, бывало, так, что тому, кто слышал его, становилось стыдно, и зло закипало в нем, он грозил немому кулаком, и если тот не унимался, то оба они бросались друг на друга, как волки, и дрались.

«И всегда Юзгляр бывал избит, а избив, оставляли его валяться где-нибудь около юрт, и лежал он, весь распухший от ударов, и никто не хотел принести ему воды и помочь встать с земли; он лежал и все смотрел в небо, где так хорошо в ясные дни.

«А когда кто-нибудь приходил посмотреть, не умер ли он, он указывал подошедшему рукою в это небо, где днем летают степные орлы, а ночью пасутся стада звезд, указывал туда и печально вздыхал.

«А когда мы, в праздник, собираясь в юртах и попивая кумыс, пели, бывало, старые песни о житье-бытье киргиз[1], хорошего степного народа, он опять приходил и смеялся над нами, отказываясь от ковша с веселым питьем.

«Мы выгоняли его тогда, и опять он скалил зубы и скрипел ими, точно хотел сказать что-то, и бил себя в грудь, и плакал,— но даже женщины не жалели его, потому что он мешал веселиться.

«Иногда мы смотрели в небо, куда указывал он,— что ж там? Мы видели все, что было видно,— как синяя кошма оно, и стада звезд пасутся по ней, а днем там вьются молодцы-орлы,— вот и все!

«Никто не мог понять, что видел там злой немой, и был он нам не нужен, только жить мешал, и мы гнали его от нас, гнали, как могли, и вот как-то раз он пропал...

«Мы весной нашли его, когда стаял снег, которого в ту зиму было много, мы нашли его там, где он и теперь лежит, глаза его выклевали орлы и вороны, и щеки и губы оклевали ему, и он лежал один в степи — худой и страшный — и улыбался своей бешеной улыбкой.

«Было пусто вокруг него, только степь и небо, а в небе — птицы, спугнутые нами с его тела. Жалко стало нам его тогда, и, поговорив о том, зачем он был такой и что хотел сказать нам, мы решили зарыть его там, где нашли, зарыть и насыпать над ним высокий курган из песка.

«И зарыли, и насыпали, а ветер еще выше намел этот курган, и лежит теперь под ним немой башкир, и песок насыпался ему в исклеванные очи...

«Но зимой встает он из-под песка, и, одеваясь в белый халат из снега, стоит он на вершине кургана и машет длин-

ными руками, зовя к себе, и все сверкают его белые зубы, улыбаются.

«Многие видели его там и в страхе бежали прочь, а вьюга летала вокруг него и пела ему свои волчьи, страшные песни, а он плакал, слушая ее, плакал горько, то как ребенок, то как умирающий, хрипел и стонал он и все звал к себе, в свою могилу проезжавших мимо нее башкир, хороших степных людей...

«И когда вьюга переставала выть — уходил немой в свою песчаную юрту и ложился там на спину, как мы положили его, ложился и смотрел исклеванными глазами в небо».

Н. Н. Златовратский

(1845—1911)

Николай Николаевич Златовратский родился во Владимире в семье мелкого чиновника, выходца из среды сельского духовенства. Еще в гимназии познакомился с сочинениями революционных демократов, а в его юношеских стихах заметно влияние Н. А. Некрасова. Учился в Петербургском технологическом институте, но, не имея средств к существованию, вынужден был его оставить. Печататься начал в 1866 году.

Первый рассказ «Чупринский мир» был напечатан в «Отечественных записках». С этим журналом сотрудничал до его закрытия в 1884 году. Печатался также в «Русском богатстве». Писал о рабочих, полупролетарских слоях города, но главная его тема — деревня. Так, в повести «Крестьяне-присяжные» (1874—1875) с позиций народничества жители города противопоставлены людям деревни — носителям «истинной» морали. Реалистически изображая в произведениях 70—80-х годов картину пореформенной деревни и разоблачая хищничество кулачества, писатель идеализировал крестьянскую общину.

В повести «Золотые сердца» Златовратский вывел целую галерею «мирских заступников» из среды народнической молодежи, особенно колоритен образ врача Ивана Башкирова, башкира по отцу. Башкиров, как отмечала критика, своей самоотверженностью воскрешал в памяти Рахметова. В программном романе «Устои» писатель стремился утвердить нравственную красоту крестьянского «мира» и нерушимость «устоев». На деле же роман обнажал фиктивность общинных устоев. Демократический лагерь подверг роман критике. В. Г. Короленко считал Златовратского представителем «теперешнего жалкого и захудалого народничества» с его «мистическим» преклонением перед «народной мудростью». Революцию 1905 года встретил сочувственно. Он автор интересных автобиографических и литературных воспоминаний. В 1909 году Н. Н. Златовратский избран академиком по разряду изящной словесности.

ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

(Отрывки)

Глава вторая

БАШКИРОВ

I

Я безучастно глядел на расстилавшийся передо мной тихий, мягкий пейзаж, каков он бывает в наших скудных палестинах пред закатом солнца. Его грубые во всякое другое время линии приняли то освещение, при котором солнце как будто ласкает своими последними лучами убогие равнины нашей родины, как будто этим нежным, мягким блеском силится скрыть грубоватый колорит скудной природы и ее обитателей, недавно еще так рельефно бросавшийся в глаза под изнуряющими, палящими его лучами. Я стоял на косогоре; от меня вниз, в широкую и глубокую лощину, сбегало море ржи, залитой золотом косых лучей, по которой мелкою волной ходили едва заметные полосы теней. Оно казалось мне бесконечным водопадом, беззвучно катившим от моих ног куда-то далеко, в беспредельную область, волны, несущие в себе довольство и полноту жизни. Дальше, по зеленой пойме, стеклянной лентой блестела река; за нею, в глубине, тянулась полоса лесов, как дикая гряда облаков на горизонте, а там, еще дальше, где-то искрилась, переливалась и горела на солнце, до боли в глазах, глава одинокой колокольни. С реки несся едва слышный шум колеблемой ветром осоки, сторожившей берега этой маленькой, но глубокой речки; откуда-то долетало журчанье мелкой волны, бившейся о камни, запрудившие родник; с отавы слышались смешанные звуки звенящих бубенцов и колокольчиков от пасшейся скотины... Все эти звуки лились мягко и плавно и погибали в беспредельном море чистого, теплого воздуха. И вдруг в смешанный хор разнообразных звуков, несшихся и со стороны реки, и с поля, и от леса, влился еще особенный, нежный и лепечущий звук.

Я остановился и стал прислушиваться.

— А мне нынче сон приснился,— тихо говорил чей-то свежий, ясный голос, в котором звучали резкие, твердые ноты,— такой чудесный сон!..

— Какой? Ангел, что ли? — спросил другой, тоненький, слабый, очевидно еще детский, голосок.— Мне вот ангел приснился, весь белый, вошел он к нам в окошко и стал у меня в изголовье. Так мне светом и резануло в глаза, даром что

я закрывши глаза спала... Проснулась, а мне в лицо прямо из окна месяц таково светит!..

— Вишь, тебе какой сон приснился! Это хороший сон..

— А мне вот такие сны не снятся,— заметил еще чей-то, тоже слабенький голос,— мне страшные все... Все лешие да домовые, а то ведьмы. Меня все пужають ими дома... Нет, мне такое хорошее не снится...

— А ты помолись,— посоветовал первый голосок.

— Я молюсь... Да это уже не оттого. А тебе какой прис нился?.. Хороший тоже?

— Мне хороший, только простой,— ответил голос постарше,— мне приснилось, будто маленькая я, совсем маленькая, и будто я в поле со своей мамой... Маме нужно было рожь жать... Она взяла меня, подняла на руках, проговорила молитву и опустила вот на эту, на рожь-то... Потом перекрестила, поцеловала и ушла жать. А мне так сделалось хорошо,— лучше, чем в люльке... Рожь эта качается так тихо, и мягко так на ней. Вверху синее-синее небо, как теперь; нет-нет облачко пробежит, белое, как сахар; бежит-бежит и вдруг остановится и растает...

— Ну?

— Я глядела-глядела, качалась-качалась, меня рожь и убаюкала... я и заснула.

— И только? — спросил четвертый голосок, хриплый какой-то, болезненный.

— И только... Чего же больше? Больше и не нужно. Я и во сне видела то, что наяву люблю. Я люблю вон с того косогора смотреть на эту рожь... Сяду и смотрю, как она колышется, а в это время мысли так и бегут в голове...

— А о чем ты думаешь?

— Да многое думается, о всяком... Думается и то, что лучше: умирать ли, чем жить, или идти дальше куда-нибудь и искать, все искать...

— Мне вот, ровно в слово, такое же привиделось,— сказал больной голосок.— Будто я в эту рожь, словно в реку, бросилась — и поплыла. Только так мне страшно стало, будто тону я... Хочу вскрикнуть, а тут вдруг турка выхватил меня за ноги и держит над рожью... Я закричала и проснулась. И страшно мне, страсть как боюсь взглянуть на стену. А на стене у нас картинка с этим туркой есть, и подпись под ним: «Турки валятся, как чурки».

Раздался чей-то тихий смех.

— А ты пойдешь их лечить?

— Кого?

— А вот этих самых, что теперь турки мучат.

— Да ты откуда знаешь это?

— У нас на селе учитель читал. Всей деревней мы слышали. Пойдешь? — настойчиво спрашивал тот же голосок...

— Нет, незачем мне. Кабы я лечить умела!

— А как же ты у нас, третье лето, по избам в холеру с Кузминичной везде ходила с ящиком? Нет, ты ступай туда. Тебе и доехать можно: у вас лошади хорошие...

Я обернулся, и вдруг через две полосы от меня поднялась изо ржи стройная фигура майорской дочери, а за ней повыскакивали из глубины колосьев и васильков белые и темно-русые головки деревенских девчаток; кое-где в эти растрепанные головки всунуто было по цветку, на загорелых тельцах висели грязные рубашонки, прикрытые короткими сарафанами из синюхи.

Они побежали вслед за майорской дочерью, которая стала подниматься на косогор. Несколько приостановившись, она обернулась назад и равнодушно оглянула меня; ее стройный стан, в белом ситцевом платье, отчетливо обрисовался в слабевших лучах заходящего солнца, лицо носило выражение какого-то непонятного смущения, но было до того строго, что невозможно было предположить, что она только что рассказывала сон, как качали ее хлебные волны. Это была опять та резкая, грубоватая девушка, манеры которой так возмущали нервы Лизаветы Николаевны. Она приставила руку зонтиком к глазам, взглянула по направлению к лесу, к которому плавно катилось солнце, затем надвинула низко на лоб угол ситцевого платка, которым были прикрыты слегка ее волосы, повернулась и скорой походкой пошла с девочками по задам морозовской усадьбы.

Скоро все они скрылись. Я пошел вслед за ними. Взобравшись снова на косогор, я увидел, как вся группа уже спустилась и, рассыпавшись, занялась срыванием цветов. Девчата постоянно кричали что-то «барышне», подбегая к ней с новыми цветами; она, казалось, отбирала подходящие и связывала в букет. Минут через десять вся группа, перейдя луг, направилась к концу села. Я более кратчайшим путем пошел им навстречу и увидел снова, когда они выходили из-за задворок последней избы. Несколько в стороне от села, совершенно скрываясь в глуши придорожных деревьев, стояла дряхлая, полуразвалившаяся изба. По некоторым еще уцелевшим на ней признакам можно было догадываться, что здесь был прежде кабак, называвшийся в старину «притынный»... Группа оригинальных существ, за которою я так пристально следил, приблизилась к этому домику... Старый, поседевший пес, с вылинялой по бокам шерстью, бросился было с хриплым лаем с завальни, но тотчас завертел хвостом и, тоскливо замурлыкав, улегся опять у крыльца. Очевидно, при-

шедшие были ему знакомы, и он имел уже случай неоднократно убеждаться в их благонадежности.

Одно из маленьких лиц группы быстро забралось на завальню, перевесилось внутрь окна, оглядывая внутренность избы, и, наконец, крикнуло, обращаясь к майорской дочери и показывая взятый с окна стакан с засохшим букетом:

— Вона — повяли! Совсем! А самого-то нету. И халат на полу валяется.

Майорская дочь подошла к окну, взяла из рук девочки стакан, выбросила завянувшие цветы, заменила их новыми и снова поставила стакан на окно. Вся группа повернула было обратно, как вдруг откуда-то вышла им навстречу низенькая старушка, в темном кубовом платье, повязанная шалью.

— Ах, милая барышня, опять это вы цветочков принесли! Все вы моего Ванюшку-то утешаете! — заговорила старуха, ища торопливо в юбке своего платья карман с носовым платком.— Как же мне благодарить-то вас, дорогая моя? Все нами брезгают, все нами... Позвольте хоть ручку у вас поцеловать! — перебила свою речь старушка, найдя, наконец, платок и вытирая себе губы...

— Полноте, что вы? — вся вспыхнув и пряча руки, сказала майорская дочь.— За такие пустяки!..

— Нет, не пустяки это, дорогая барышня. Цветы-то эти для моего Ванечки, может быть, золота дороже.

И старушка заплакала.

— Что вы плачете? Вашим сыном вам бы не нарадоваться! Не всем такое счастье!

— Счастие!.. Дорогая моя, мне-то счастие, такое счастие, что и недостойна я, кажись... Да ему-то счастие ли? Ведь молодой еще он у меня, ведь любить тоже хочет. А кто его когда любил? Какая ему девушка бросила хоть словечко ласковое? А кто виноват? Ведь я все виновата, что его таким родила! Я, окаянная, должно быть, согрешила пред господом, что он, батюшка, попустил еще во чреве моем испортить его образ ангельский...

— Ну, что же делать... Зато он умница у вас. И сердце у него такое, что поискать надо!

— Умник он, дорогая моя! Да ведь с умом-то... разве ум нужен для любви?

Старушка печально покачала головой.

— Да что он у вас дичится всех?.. Ну, со мной бы поговорил... Если он уважает меня, то ему нечего скрываться, нечего думать, что я насмеюсь над ним. Вы скажите ему...

Она протянула старушке свою здоровую, сильную, загорелую руку и крепко пожала сухие, костлявые ее пальцы.

А в то время я заметил, как сам «Ва́нюшка» с ружьем приближался к дому и вдруг, как заколдованный, остановился за деревьями и смотрел на происходившую у его ворот сцену.

— А вот он, дохтур-то! — крикнули девчата, заметив его сквозь деревья.

Все обернулись в ту сторону, но уже никого не было. В необычайном смущении и волнении, «Ва́нюшка» бросился к плетню сада и, разломав его, пропал среди густых деревьев.

Майорская дочь весело улыбнулась старушке и, еще пожав ее руку, быстро пошла по дороге от села к «своей усадьбе».

II

«Неужели она полюбила этого «доктора Ва́нюшку», это странное существо, которому не улыбнулось приветливо ни одно женское лицо?» — подумал я. Я знал «Ва́нюшку» по ходившим о нем странным рассказам среди московской молодежи и лекарей. Предо мной теперь вдруг ясно и ярко встала его фигура, маленькая, но крепкая и мускулистая, широкая в плечах, приземистая, что называется «башкирская», на тоненьких, но крепких и сильных ножках; несоразмерно огромная голова с сильно развитою затылочною частью, отчего она казалась двойной, сидела на короткой шее; монгольский тип во всем давал себя знать — и в маленьких глазках среди широкого лица, и в больших бровях, сходившихся над широким приплюснутым носом, и в больших скулах с выдающейся нижней частью лица, едва прикрываемой жидкими волосами бородки. Его рождение совершилось при обстоятельствах, довольно романтичных, как бы в насмешку над всей последующей его судьбой. Его мать, страстная восемнадцатилетняя девушка, единственная дочь богатого помещика волжской палестины, воспитанная среди уединения дико-однообразной природы на рыцарских романах, которыми зачитывалась до умоисступления, влюбилась в одного «удалого молодца», из кочевой вольницы, предводителя шайки башкиров, рыскавшей в окрестных местах. Ее увлекла страсть и романтический ужас такой любви. В глухую ночь, когда ее отец играл в вист на дворянских выборах в ближайшем городишке, она в лесу обнимала дикого сына степей: здесь зачала она Ва́нюшку. Пролетели месяцы, возвратился отец, пропал из виду «удалой молодец» с своей шайкой, и бедная девушка осталась одна с тайной думой о маленьком существе, развивавшемся под ее сердцем. Она с ужасом видела, что обыденная жизнь не укладывалась в романтические рамки, что за

мгновение этого романтизма приходилось так или иначе платить. Неизвестно, что было бы с нею: может быть, она так же романтично погибла бы в одном из прудов своей усадьбы, если бы, наконец, рано или поздно, отец заметил ее беременность, но, на ее счастье, в это время влюбился в нее уездный лекарь, только что вышедший в отставку из полка, уже немолодой человек, любивший выпить и поиграть в картишки. Он сделал ей предложение, а она, не долго думая, приняла его. Через пять месяцев после свадьбы родился Ва́нюшка. Уездный лекарь сначала было зашумел и даже, по-военному, переломил о стену чубук и разбил трубку, но тотчас же смирился, сообразив, что все-таки очень приятно пить с тестем наливки и играть в пикет, имея в виду, что жена — единственная его наследница. Тем не менее больной, уродливый Ва́нюшка был в совершенном загоне; он не интересовался им, не любил говорить о нем, мать никогда не показывала его мужу, но зато сама отдала сыну всю думу и, как часто случается с романтическими натурами, предалась религиозному созерцанию. Через год родился еще сын — баловень отца Отец сам воспитывал его, лелеял, баловал. Ванюшка никогда не сходился с своим братом, а если это случалось, то его били. Наконец, отец с нетерпением стал дожидаться, когда ему можно будет «убрать» от себя куда-нибудь Ванюшку; едва минуло ему семь лет, как он тотчас же увез его в город и отдал на попечение дьякона, с тем чтобы тот пристроил его в бурсу. Отставной лекарь не хотел отдать его в гимназию, где должен был учиться его собственный сын. Восьми лет Ва́нюшка был «пристроен» в бурсу под фамилией Башкирова, которую придумал для него уездный лекарь. Понятно, чем стала для маленького Башкирова эта ужасная русская школа — для него, забитого, смирного, уродливого мальчика, лишенного ласки отца и матери. «Двухэтажная башка» — вот прозвище, которое носил он в продолжение двенадцати лет. Насмешки, щипки, тумаки, порка сделались неизбежными элементами его воспитания. Но чем больше они сыпались на него, тем он становился более и более хладнокровным к ним. Они как будто теряли для него всякое значение. Помогали ли этому его крепкая физическая натура или сила его характера, но только равнодушие к врагам и какое-то безусловное всепрощение постоянно царили в его душе. Очень могло быть, что его забили бы совсем, если бы его не вывозила громадная, удивительная память, помогавшая ему избегать половину тех порок, которые переносили его товарищи. Сидя на постели и выделывая какое-нибудь украшение для своего единственного друга и любимца, дьяконского козла, он протяжным и ленивым голосом «покорнейше просил» зубрившего урок товарища

прочитать ему вслух повнятнее. Товарищ читал, а Ва́нюшка говорил: «Будет» — и отправлялся к козлу. А на следующий день отвечал урок буква в букву. Учителя дивились; им даже было досадно, что нельзя было выпороть Ва́нюшку за незнание урока. Но зато находили случай пороть его по другому поводу. Он был сделан авдитором — и вот в этой-то должности не мог устоять от искушения ставить своим «слушанникам» самые похвальные баллы. Приходил учитель, вызывал ученика — тот ни в зуб толкнуть. «Авдитор — сюда! — Ва́нюшка вылезает из-за парты.— Пороть!» Ва́нюшку порют, а на следующий день опять Ва́нюшка поощряет своих слушанников отличными отметками. Кончил Ва́нюшка, наконец, курс удивительной школы, постаравшейся стереть с его типической физиономии почти все, что оставил ему в наследство «дикий сын степей». В это время был вызов в университет. Несколько его однокашников собрались в Москву и, подсмеиваясь, приглашали его прогуляться вместе с ними. Они подсмеивались, ибо чистосердечно не могли ожидать от него такой «прыти» и столько нравственной энергии. В особенности они не могли представить его занимающимся «новыми языками». Действительно, последних боялся и сам Ва́нюшка. Но как-то раз полюбопытствовал он посмотреть книжку Марго. Прочитал первую страницу лексикона — и выучил, прочитал вторую, проверил себя, перегнул пополам страничку — знает. Он решился, и через две недели весь лексикон при этой книжке знал наизусть. В Москву он отправился в качестве не то товарища, не то лакея при одном из своих однокурсников, сыне благочинного, который постоянно читал ему наставительным тоном какие-то рассуждения о примирении науки с религией. Ва́нюшка за это чистил ему сапоги, бегал за вином в лавочку. Так прибыл он в Москву и поступил в студенты. Чем он жил, было совершенно неизвестно. Таскался по плотничным и малярным артелям, писал мужикам прошения, ночевал у них, и никогда никто не слыхал от него ни одной жалобы, несмотря на то, что он очень часто ел только кусок черного хлеба с квасом. Ни у кого он не просил ничего. Запуганный, робкий, неловкий, привыкший преувеличивать свою физическую уродливость, с которою, как ему думалось, нельзя было появиться в люди, чтобы не произвести смеха, он редко посещал лекции (за исключением анатомического театра), еще реже бывал у товарищей. Но к экзамену всегда являлся и сдавал его хорошо. Громадная память и здесь выручала его. Но эта же память приучила его отчасти к умственной лени: слишком уже легко ему давалось все. Каждая книга, которую он прочитывал, целиком укладывалась в его голове. Читал он

немало, и так как прочитанное не улетучивалось у него, то «двухэтажная башка» его представляла собою какой-то чудовищный архив, в котором он, впрочем, не оказывал никакого желания разбираться. Обладающие огромной памятью обыкновенно бывают слабы в анализе и обобщениях: их будто гнетет избыток знания. Да, Ва́нюшка и любил больше жизнь, чем отвлечение. С четвертого курса он уже имел случай прямо прилагать свое знание. Постоянно толкаясь и живя в подвалах, он неустанно лечил массу люда: швеек, прачек, плотников, столяров, фабричных; ставил им горчичники, прописывал слабительные, крепительные, вырезал чирьи, опухоли, вправлял вывихи. В это же время случилась с ним одна из тех неизбежных историй, которым платит дань каждый из юношей. Зашел он как-то раз к одному из приятелей, и тот представил его своей сестре. Ва́нюшка в нее влюбился. Это заметили. Но Ва́нюшка любил по-своему: он никому об этом не заикался, даже боялся заикнуться самому себе. Мысль о взаимности он гнал из своей головы, как что-то химерическое. Чем выше, чем красивее, чем милее представлял он себе предмет своей страсти, тем невозможнее считал он мысль о взаимности. Так любил он, долго и молча, все сильнее и сильнее, но зато и сосредоточеннее. Единственным утешением его было взглянуть хоть раз в день на предмет своего обожания. Он придумывал всякие предлоги, чтобы заходить ежедневно к приятелю, и это, конечно, скоро сделало его мишенью для веселых насмешек. Неизвестно, знала ли девушка об его любви, но только она никогда не сходилась с ним и через несколько времени вышла замуж. Долго ходил по этому поводу между товарищами следующий смешной анекдот. Говорят, что в день ее свадьбы кто-то зашел к Ва́нюшке в то время, как он только что стал надевать брюки и уже успел натянуть одну штанину. (Он одевался, как и все вообще делал, медленно и обстоятельно.) В эту минуту его товарищ сообщил ему, что сегодня свадьба его возлюбленной. Ва́нюшку как будто ударили оглоблей по голове. Он до того опешил, что товарищ испугался и ушел от него. Ва́нюшка не сказал ни слова: он долго смотрел в стену, потом поднялся и, не замечая, что все еще в одной штанине, поддерживая другую рукой, стал ходить из угла в угол комнаты. Так проходил он весь день, и этим разрешился вопрос его любви. С этих пор он еще дальше ушел от образованного общества и, наконец, мало-помалу потерял даже всякую нравственную связь с ним. В обществе сначала считали его оригиналом, потом стали называть полоумным. И вот в то время как ему нужно было защищать диссертацию, когда ему предложили остаться при клиниках, он вдруг все бросил и ушел в подвалы,

в которых в то время свирепствовал тиф. Наконец, на него махнули рукой. Он в представлении общества стал тем же, чем обыкновенные юродивые, бог знает по каким побуждениям расхаживающие босиком, с открытой грудью и головой в лютые русские зимы, «когда так легко простудиться». Но общество ошибалось; в натуре Ва́нюшки, к удивлению всех, лежала сосредоточенная, могучая нравственная сила, очень часто доходящая в подобных личностях до неимоверного упрямства, как следствие затаенной гордости. Но кто же мог предполагать, что у Ва́нюшки есть «принципы»? А между тем он, когда ему предлагали стипендию, отказался и никогда не получал ее. Оказалось, что Ванюшка дорожит своей независимостью. Это стоило ему очень дорого, но он пробился все пять лет на своем «коште», а стипендии так и не взял. Что у него были «принципы», об этом без смеха не могли бы и говорить его товарищи. Они его считали «осиной», «деревом» и крестили его этими именами, когда он равнодушно и лениво слушал их горячие споры о «народе», о «язвах», о различных «измах» и пр. А между тем, если у него и не было цельного миросозерцания, по неумению его, вследствие умственной лени, предаваться спекулятивным упражнениям, то было много кое-каких оригинальных «основных положений», «устоев». У человека непосредственной жизни всегда есть эти устои, заменяющие цельное миросозерцание; на этих устоях держится, бессознательно для него, все его нравственное здание, хотя они стоят у него одиноко и, по-видимому, ничем один с другим не связаны. Такие устои в особенности очевидны в народе. Какого рода они были у Ва́нюшки, мы для примера приведем следующий разговор.

Молодые товарищи его знали, конечно, что Ва́нюшка хорошо был знаком с простым народом, так как постоянно толкался среди него. Они это знали, но считали его совершенно неспособным и не желающим воспользоваться своим знанием, как могли бы воспользоваться они. По этому обстоятельству они часто предавались соболезнованиям. Некоторым приходила в голову мысль эксплуатировать его практические знания в этой области. Так, однажды пришел к нему один из самых рьяных его товарищей по части разных «общих вопросов». Ва́нюшка в то время жил в плотничьей артели, занимая на день все ее помещение, так как днем рабочих никого не было.

— Скажи, Башкиров,— заговорил приятель,— ты хорошо ведь знаешь простой народ?

— Чаво я знаю? Знаю я Петра да Сидора. Вот чаво я знаю! (Нужно заметить, что Ва́нюшка говорил почти невозможным для порядочного общества языком: это была смесь

семинарского жаргона с мужицким; да кроме того, он говорил протяжно, лениво ворочая языком.)

— Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучил же ты? Вот они с тобой сходятся, тебе доверяют. Ты, значит, знаешь, чем можно добиться их доверенности, чем разрушить ту стену недоверия, которая существует между нами и ими?

— Знаю,— протянул Ва́нюшка, хитро улыбнувшись.

— В чем же, в чем штука-то? — вскрикнул обрадовавшийся юноша.— Трудно?

— Нет, ничего... легко!

— Легко?

— Не сумлявайся... легко...

— Ну, так в чем же штука-то?

— Штука-то?.. Быть несчастным!

Приятель отчего-то переконфузился, а Ванюшка стал хладнокровно переобувать сапоги и молчал.

Такого же характера были и другие его «устои». Как человек, живущий постоянно настоящею, реальною жизнью, он решал все сложные вопросы конкретно, а не в отвлечении. Нашелся у него один пациент из мастеровых, парень лет двадцати пяти, больной и хилый, вздумавший, кроме того, тосковать еще от любви.

— Мне,— говорит,— жениться очень нужно... Вот главная суть в чем!.. — объяснял он Ва́нюшке.

— Так чаво ж тебе — женись!

— Жену прокормить нечем. Вот какая линия!.. Сам я хилый, а она того хуже. У меня и на свадьбу-то гроша нет.

Перед Ва́нюшкой сейчас же стал с р е д н и й ч е л о в е к, человек, так сказать, «гигиенический», который в лекциях медицинских фигурирует да в популярных гигиенах; явились у него в голове теория Мальтуса, и наследственность, и расположение нищих, и ответственность перед потомством. Ва́нюшка покрутил головой и затем плюнул.

— Ты, парень, лучше женись, пока не умерли вы оба. Женишься — умрешь и не женишься — умрешь. А все ж испробуете, что за штука любовь-то... Тоже ведь вашему брату счастие-то не вчастую... А на свадьбу я тебе денег принесу заимообразно... чтоб тебе это было не в огорчение!

«Потомство!.. Вишь что выдумали! Хитрые шельмы! Им это ничего... Говорят, имей в виду потомство! — твердил про себя Ва́нюшка и волновался.— А ты вот сними рубашку и отдай!»

По окончании курса Ва́нюшка остался в том же положении, в каком был и студентом. Года через два он вздумал было защитить диссертацию, да, как мы видели, самым легковерным образом не явился в назначенный день на защиту. Назначили

другой срок, но едва он явился на кафедру, едва увидал пред собой группу растолстелых и вылощенных джентльменов, которые уже приготовились броситься на свою жертву (а им действительно диссертация была не по душе, ибо доказывала положительный вред некоторых медицинских учреждений), едва завидел публику, собравшуюся глазеть на эту «диалектическую травлю», как вдруг необычайно смешался, сконфузился — и не «защитил», к удовольствию смеявшейся публики и гг. оппонентов.

Вскоре же после этого случилась с ним неприятная история, из-за которой пришлось ему возвратиться на родину Семь лет не видал он своей матери и теперь застал ее уже худой, больной женщиной, живущей в келейке у одной крестьянской «начетчицы». Она молилась богу, ходя по церквам и монастырям, и жила тем, что читала по покойникам. Это не удивило Ва́нюшку, так как он знал, что всеобщее «разоренье» давно уже погребло в своем бурном водовороте и их «дворянское гнездо». Отец его промотал половину имения еще прежде, чем получились выкупные свидетельства, а его брат покончил с ними, спустив все до нитки. В одно утро мать, давно уже погрузившаяся в религиозный пиетизм, к удивлению, но не к ужасу (ей было почти все равно), узнала, что их имение перешло целиком к одному кулаку-купцу. С кое-какими деньжонками, оставшимися у нее от распродажи «родовой» рухляди, она перешла на житие к своей знакомой начетчице.

Ва́нюшка прожил некоторое время среди волжских мужиков, практикуя между ними и инородцами, и опять вернулся в столицу, взяв с собою мать. С этого времени он вел свою прежнюю жизнь и деятельность: зимой жил по подвалам и чердакам и практиковал там, а на лето уезжал куда-нибудь в деревню «проветриваться от миазмов», как говаривал он. В деревне он что-то писал в серьезные медицинские журналы и изредка лечил мужиков. В это-то время мы и застаем у него майорскую дочь.

Знала ли эта серьезная девушка, кто был Ва́нюшка? По незнанию ли его личности ухаживала она за ним или именно потому и ухаживала, что знала, кто он и что он? И почему все эти добрые люди — и майор, и Морозов, и Ва́нюшка — не находят между собою общей точки соприкосновения, общего пункта, где бы они могли сойтись? Я чувствовал, что здесь легла густая тень какого-то общего тяжелого недоразумения. Я почувствовал какую-то жгучую потребность во что бы то ни стало проникнуть в суть этого недоразумения, осветить для них тьму ее, в которой они тоскливо бродили, и разогнать эту тьму, чтобы свои увидели своих и подали друг другу руки.

ОБИТАТЕЛИ МАЙОРСКОЙ КОЛОНИИ

..— Вы знаете Башкирова? — прервала она

— Знаю... Но, насколько мне известно, он не теоретик..

— Да, он не теоретик... У него нет системы. Но он сам — воплощение веры сердца...

— Как вы сказали?

— «Вера сердца»... Это не совсем точно, но еще нет названия, так как все это пока очень неопределенно.. Башкиров сам по себе — факт, воплощение этой веры...

Я замялся и думал, что ей ответить. В это время за дверями послышался голос майора.

— Наполеоны! Волтеры! — кричал он.

— Да, этот грех за нами из веков,— ответил кто-то, сильно напирая на о.

Катя быстро встала, вспыхнув от чего-то: может быть, она узнала голос гостя.

— Говорите же что-нибудь... Вы понимаете, например, что такое Кузьминишна? — почти шепотом и нетерпеливо спросила она меня.

— Понимаю.

— Ну, вы должны чувствовать и это... эту «веру сердца»,— сказала она и вышла в соседнюю комнату.

— Каточек! Катя!.. Поймал, наконец, брат!.. Поймал! Ха-ха-ха! — кричал майор, проталкивая сзади в дверь какую-то странную фигуру

— Ничаво, я теперь не убегу,— протяжно проговорил оригинально принимаемый гость.

Признаюсь, не скажи он ничего, я не скоро узнал бы в этой странной фигуре Башкирова. Весь в пыли и поту, в старой синей поддевке, подпоясанной веревочкой, в брюках, засунутых в дегтярные сапоги, с широко улыбающейся потной физиономией и довольными глазами, прикрытыми большими синими очками, он был оригинален и неузнаваем.

— Ха-ха-ха, брат! Поймал! Старуха! Припирай двери! Засовом! Крепче! — суетился, видимо, чрезвычайно чем-то довольный майор.

— Ничаво, я теперь не уйду. Я и сам изустал,— говорил Башкиров, садясь несмело на стул около двери, вытираясь большим клетчатым платком.

— Катя! Где же она? — озирался майор.— Ты посмотрика: затащил, брат, затащил!

— Наконец-то! - сказала Катя, скорой походкой выходя

из соседней комнаты прямо к Башкирову, и пожала ему крепко руку.

— Потная. Издалека иду, виноват! — протянул конфузливо Башкиров, вытирая руку платком уже после того, как Катя ее пожала.

Катя ничего не ответила и снова села на прежнее место, с серьезным любопытством устремив взгляд на Башкирова и несколько даже подавшись вперед корпусом, как бы ожидая разъяснения и этого визита, и странности костюма, в серьезной цели которых она, по-видимому, не сомневалась.

— Нет, ты спроси, Каточек, где он был? Какую он штуку сделал... нет, не «сделал», а как?.. Оборудовал? Да? — обратился майор к Башкирову.

— Оборудовал.

— Да, да! Никто ведь не сумел, никто не смог... А наш гениал-то, Морозов-то... Каков!.. Ха-ха-ха!.. Отказал!.. Вот они, Наполеоны! Волтеры!..

— Какое же это дело? — спросила Катя.

— Да я тебе, кажется, рассказывал? Нет? — заторопился майор, говоривший всегда скороговоркой, когда хотел сообщить что-нибудь чрезвычайное, как будто боясь, чтоб его не предупредили.— Помнишь, добросельцы с красносельцами хотели сообща луга и пашни снять у Дикого? У них ведь совсем лугов нет, на пашне скот пасут, а то по болотам, а рядом, у Дикого, поемщина в полтораста десятин лежит дарма: ни себе, ни людям. Кулаки к нему сколько раз было наведывались, цены нагнали страшные,— всех выгнал; мужички потом сами ходили, авось-де счастие не выпадет ли им, и их выгнал! Вот, изволите видеть, молодой человек (это майор ко мне обратился), мужички просто смотреть без слез не могут на эти луга. У них скотина — кожа да кости, а под глазами — пойма... Да-с, так вот какая, можно сказать, поразительная картина была! Думали-думали мужики и надумали кого-нибудь со стороны послать к Дикому: сейчас, конечно, ко мне. Ну, я их спровадил к Морозову,— все же скорее может успеть: некоторым образом чуть не родные они с Диким. А наш гениал-то, каков!.. Как вы думаете: что он сделал? А? Отказал!.. Да, отказал!.. «Я,— говорит,— тут никакого успеха не предвижу, братцы, потому что мы с Диким слишком в убеждениях расходимся. Ступайте к майору! Он сам помещик!» Каков!.. А? К майору! А майор — что? Майор, стало быть, не имеет убеждений? А?

Майор заходил в волнении по комнате.

— Старушенция! Да скоро ли ты нам водки-то дашь? — вдруг крикнул он, обращаясь куда-то за стену.

— Несу, несу... Слышу уж! — говорила Кузьминишна,

внося поднос с закуской и ставя его на стол.— У нас, бывало, у барина моего, вот так же: говорят-говорят об этих Волтерах-то да и понапьются... Здравствуйте, батюшка! — поклонилась она Башкирову.

— Здравствуйте, здравствуйте, бабушка,— привстав, сказал Башкиров и подал ей с самым сердечным добродушием руку, к которой несмело прикоснулась своими пальцами Кузьминишна.

— А вы знакомы? — спросила Катя, по обыкновению широко открывая глаза.

— Мы... помалости собеседовали,— ответил Башкиров.

— Кто меня не знает?.. Все меня, старуху, знают... Наткос, какую махину годов прожила! — заметила Кузьминишна, скромно уходя и тихонько притворяя за собою дверь.

— Хорошая баба, куда хорошая!.. — с видимым удовольствием проговорил Башкиров и даже потер большими красными и толстыми руками свои колени.

— Н-да! Так вот майор, делать нечего, и отправился,— заговорил майор, прожевывая огурец и успев уже под шумок выпить.— А вы выпейте-ка... Пьешь ведь? — спросил он Башкирова (майор частенько говорил «ты» тем, к кому в данную минуту чувствовал особое расположение).

— Отчего ж? Пью... Нельзя не пить!..

— Я, брат, знаю! Ты не из этих, не из гениалов... От царской да от мужицкой чарки никогда не отказывайся! Грех! Да, так вот и «поехал наш Иван за кольцом на окиян...». Уж именно — окиян! Насилу принял... Из ума выжил!

— Хороший мужик... Беда — хороший! — опять с особым удовольствием заметил Башкиров, выпивая вполуборот от Кати водку, и затем почему-то сконфузился и покраснел.

— Хороший, брат, это верно. Только тут немножко тово... винта не хватает. Ну, да это — особая статья. Наконец добрался до него... Говорю: так и так: ежели даже по-христиански... И, боже мой!.. Поднялся, зашумел, заплевал... «Я, — говорит,— тебя уважал, старик, когда ты т е м кровь портил... Ну, а мужицкое брюхо растить я тебе помогать не намерен!..» Бился, бился — с тем и отъехал!

— Чем же кончилось это дело? — спросила Катя, внимательно всматриваясь в хитро улыбавшееся лицо майора, которое давало повод предполагать, что «штука-то» еще впереди.

— А ты вот его спроси! — показал майор на Башкирова.— Вот Дикой всех прогнал, всем оглобли завернул,— а ему не завернул, его не прогнал! А почему?.. А потому, что вот он — не Волтер; когда у одного мужика сошник лопнул,— а пора была страдная, ни взять негде, ни послать в город

некого, ни самому от бороны оторваться нельзя,— вот он, не Волтер-то, пехтурой в город отмахал двадцать верст, а к вечеру мужику сошник принес! Нет, ты расскажи! Пускай он сам расскажет. Ну, как ты ухитрился? Как ты оборудовал? А?.. Ведь отдал он мужикам луга на съем?

– Один лужок отдал,— сказал Башкиров.

— Ну, как же, как же ты оборудовал? — спрашивал майор и, подсев рядом к нему на стул, стал набивать трубку у себя на коленях, приготовляясь слушать.

— Да я не знаю... само сделалось,— протянул конфузливо Башкиров и засунул руки между колен.

— Нет, ты рассказывай все порядком, как было. Мы, брат, поймем.

— Сегодня утром приходят мужики ко мне,— начал обстоятельно излагать Башкиров,— и говорят: «Сходи ты, сделай милость, к нему сам: что это, господи, царь небесный, за оказия! Ведь мы не милостыню просим у него; деньги вперед уплатим!» — «Ну, ладно,— говорю,— коли так — испробуем...» Надел вот эту хламидку-то, взял хлеба кусок за пазуху и пошел. Прихожу и говорю: доложите, мол, лекарь пришел... Конечно, глаза таращат слуги-то. Велел войти. Вхожу, говорю: «К вашей милости».— «Ты кто такой?» — «Лекарь»,— говорю.— «Знахарь?» — «Нету, батюшка, как быть: из ученых... Вот извольте посмотреть» — и ему на стол диплом выложил. Он сейчас же издивился... «А! — говорит,— прошу покорно садиться,— и кресло мне ногой придвинул.— Федот! принеси нам вина!» Приказал, а сам с меня глаз не спускает. Все охаживает ими меня с головы до пяток. «По какому делу-с? Вы, кажется, обедняли, ищете места? Виноват, деньгами, несколькими рубликами, могу снабдить; а более ничего не могу... Я ни с кем теперь не имею ничего общего — ни с земством, ни с администрацией!..» Ну, я ему сейчас и доложил. «Чего-с? Вам что за дело? — воззрился он на меня.— Вы служите? Может быть, в гласные хотите?» — «Нету,— говорю,— не хочу...» — «Имеете практику?..» — «Нету, не имею, а лечить лечу, кому надобность есть...» — «Извините, я вас не понимаю!» — говорит и поклонился мне.

— Ха-ха-ха!.. Вот тут и раскуси! — восторгался майор, постоянно повертываясь на стуле, перекладывая ноги с одной на другую, попыхивая в чубук и в самых интересных местах ероша свои седые волосы.— Ну, ну! — подгонял он.

— Ну, я ему и стал докладывать. «Мы,— говорю,— друг друга, ваше-ство, скоро поймем, потому что вы отрешились и я отрешился...» Ну, и повел в эдаком роде параллель... Он все слушал, все слушал. «Признаюсь,— говорит,— не ожидал. Хорошо,— говорит,— я согласен! Интересный вы молодой

человек, заходите ко мне!» Ну, я теперича пойду уж,— заключил Башкиров, тяжело вздохнув, как будто, сделав этот доклад, почувствовал себя совершенно свободным.

— Куда? Куда? — вскочил майор.— Старушенция, припирай двери!..

— Да чего же я здесь буду приятно собеседовать, когда мужики меня ждут! Нет, уж я пойду!

— Да, да, ступайте,— торопливо проговорила Катя и, быстро встав с места, пожала ему руку еще сильнее, чем прежде.

— Ну, нечего делать!.. Хоть поцелуемся, брат, на прощание! — сказал майор, при всяком удобном случае падкий на нежные излияния,— и расцеловался с Башкировым.

— Хороший старик! — проговорил, улыбаясь, Башкиров, взглядывая то на майора, то на Катю. Очевидно, впрочем, эта фраза назначалась собственно для Кати. Щеки Кати покрылись легким румянцем довольства, и она вновь с глубоким чувством признательности пожала Башкирову руку. Мне почему-то невольно припомнилась при этом сцена у Морозовых на именинах, когда Катя на легкое раздражение Морозова, вызванное наивным докладом майора о своих заслугах, резко отвечала: «Папа, уйдем отсюда...» Сопоставление казалось мне знаменательным.

— Теперь вы, наконец, поняли?.. Видели, что такое он? — спросила меня Катя несколько напряженным голосом, когда Башкиров вышел в сопровождении майора, не перестававшего еще долго за дверью кого-то хвалить и кого-то бранить.

— Отчасти,— сказал я.— Впрочем, все это я знал о нем и раньше... Но ведь он, может быть, исключение?

— Нет, нет,— настойчиво ответила она, как-то особенно высоко подняв голову и проводя рукой по волосам, которые слегка всклокочил легкий ветер, пробивавшийся в окно сквозь застилавшую его зелень,— потому что иначе невозможно было бы жить... по крайней мере, для меня... Я лучше объясню вам примером: что сделали бы вы, если бы тот храм, в котором вы молились, обратили в торжище, одни — сознательно, другие — помогая по недоразумению или по неопытности?

— Я ушел бы из этого храма, унося в своем сердце бога и свою веру,— ответил я.

— И только?

— И только.

— Нет, этого мало... Нужно же проявить в каких-нибудь формах свою веру... А они не должны быть настолько податливы и растяжимы, чтобы дать место лицемерию или обману... Вот что нужно найти, чтобы спасти себя и всех!

— И возможное осуществление этого вы находите в Баш-

кирове? — спросил было я, но в это время вернулся майор. Я успел только по глазам Кати заметить, что вряд ли бы еще она на этот вопрос ответила без колебания: «да».

Она, очевидно, еще изучала его.

...А скажи, пожалуйста, говорят, где-то здесь некий лекарь (кстати уж, коли пошло на лекарей)... некий лекарь Башкиров проживает?..

— Проживает...

— Слыхал я о нем кое-что... Ты его знаешь?

— Знаю... Да ты вот что... перестал бы говорить-то много... Ляг лучше... Вот тут и подушка есть...

— Ну, ладно... Я лягу, а ты мне все же расскажи про него, что знаешь... Я буду молчать и слушать... Может быть, и засну, так уж ты извини... На меня нынче спячка иногда находит. Зловещий, брат, признак.

— Будет тебе!

— А твоя супруга сюда приедет?

— А что?.. Лежи... Я предупрежу ее, не конфузься...

— То-то... А то я теперь надлежащим джентельменством не обладаю... А она все насчет «украшения жизни»... Все уговаривает, чтобы я здесь остался... «Для «высоких дум» самое,— говорит,— удобное место... Вы,— говорит,— скрасите нашу жизнь... А ведь эти подвалы, чердаки да «комнаты с небилью» — гибель для вас...» Еще бы! «Я,— говорит,— и Башкирова приглашу... А то,— говорит,— все мы врозь глядим,— вот,— говорит,— настоящего-то дела и не выходит». Славная она такая женщина, добрая... Да ведь и в Питере много было их, хороших-то женщин, а все же я утек.

— Ну, так или иначе, а я все-таки тебя не отпущу,— сказал Морозов.

— Да куда уж мне!.. Я, брат, и сам радешенек, что хоть есть приличное место для «исхода души»!.. Будет уж, помытарствовал!.. Да, ну так что же о Башкирове-то знаешь?

— Знаю я не особенно много,— сказал Морозов.— Вы, кажется, тоже интересовались им? — спросил он меня.— Так вот и кстати.

Павел вытянул вдоль дивана свои тонкие ноги, положил руки на грудь и сурово стал смотреть в потолок.

— Я только два раза и видел его, перед тем как он поселился около нас, в избе,— начал Морозов.— ...Однажды я его встретил в Москве, на студенческой квартире у одного довольно обеспеченного студента... Он только что кончил курс. Он уже и тогда поразил меня своею оригинальностью, а в особенности я был поражен тем, с каким уважением относилась

молодежь к нему, к этой невзрачной, смирной, застенчивой личности... А он только и делал, что добродушно улыбался да краснел и потел... Говорить он, кажется, вовсе не умел... А между тем тут, по обыкновению, ораторствовали вдоволь, и каждый оратор в конце речи непременно обращался к нему с вопросом: «Как вы на это взглянете, Иван Терентьевич?» И все смотрели на Ивана Терентьича, пока он медленно вытягивал из-под дивана ноги и приводил в движение язык, чтобы только сказать: «Что ж! Ничаво... дело хорошее, ежели вообще-то взять...» И, изрекши это, опять усаживался в угол... К концу вечера хозяин, который, кажется, очень заискивал у Башкирова, обратился к нему опять, наверное уже с неоднократною просьбою — поселиться у него: квартира была просторная, светлая, сухая... Гости тоже присоединились к хозяину... Башкиров смутился — и не соглашался. Его допрашивали: почему? Приводили все удобства этой квартиры, сравнительно с тою конурой, в которой он жил. Башкиров, наконец, выпалил: «Да чаво ж я от своих хозяев уйду? К ним, окромя меня, никто не пойдет... А я все ж им малую толику в доходную статью вношу...» С тем и ушел. Начались, конечно, о нем толки; говорили о том, что он жил с какими-то малярами, которые уступали ему маленькую, сырую комнатку, брали с него пять рублей в месяц и все эти пять рублей всей артелью ежемесячно пропивали... Иные считали такой образ жизни оригинальничаньем со стороны Башкирова, но другие жарко его защищали, как может защищать юность своих любимцев.

— Только вы его и видели? — спросил я.

— Нет, и еще раз видел... Я вам опять признаюсь, что, несмотря на жаркую защиту молодежи, Башкиров своею утрировкой уже и тогда произвел на меня впечатление не в его пользу. Но... вот год спустя после этого один молодец, большой руки либерал, затащил меня к нему. Мы пришли к нему уже вечером. Пробравшись через темный и грязный двор, мы вошли в сени, совершенно поглощенные мраком, и целые полчаса искали дверную скобу; наконец, нашли. В отворенную дверь повалил пар и послышались целые десятки голосов. Вокруг стола сидели рабочие и пили чай; на столе горела сальная свеча, отчего в большой комнате было очень сумрачно. На наш вопрос нам указали на маленькую дверь в стене. Отворив ее, мы, наконец, попали к Башкирову. Комната была длинная и просторная, но почти ничем не меблированная, кроме письменного стола с лампой, покрытой бумажным зеленым абажуром, трех стульев, двух простых сосновых табуреток, кушетки, очень похожей на корыто, так как средина в ней провалилась, и железной кровати, купленной по случаю

в больнице, даже с доской, прикрепленной на палке у изголовья; на ней, кажется, и тогда еще я заметил полустертую латинскую надпись. Башкиров встретил нас в потертом пальто, с растрепанными волосами и в ночной семинарской рубашке, завязанной у шеи грязными тесемками... Черные брюки у него попали за спустившиеся от дряхлости рыжие голенища, из одного сапога высовывалась какая-то тесьма, которую он, ходя, возил за собою по полу... Как видите, я до мелочей все заметил, и это именно потому, что я был уже предубежден и видел во всем утрировку... Может быть, впрочем, ее и не было, но уже все так складывалось, как нарочно... Встретил он меня с моим либералом не особенно радушно, хотя либерал мой и называл его своим приятелем. У него были гости: два мастеровых в нагольных полушубках, которые тотчас же было начали прощаться, но он их не пустил и усадил опять. А на кушетке сидела одна чрезвычайно странная личность: я не мог определить, сколько ей было лет. Длинные нечесанные волосы падали на плечи, лицо заросло белесовато-рыжею бородою, глаза блуждали; поверх выпущенной за пояс рубахи надет был широкий засаленный полукафтан, какие носят послушники и дьячки; из-за неприкрытых пол смотрели грязные белые штаны. Пока я вглядывался в эту странную личность, она вертела бестолково пальцами и, наконец, вдруг схватила стоявший за нею у стены посох с птицей вместо набалдашника... Башкиров, разговаривавший до этого с моим спутником, который предлагал ему принять участие в какой-то филантропической затее, тотчас же обратился к юродивому; этот понес обычную чепуху, в виде откровенных изречений — об отрешении, о пустыне... об обличениях на площадях, что будто бы он проповедовал на базарах, за что «терпел» и «нес крест» по полицейским кутузкам. Башкиров, нужно вам сказать, с чрезвычайным вниманием вслушивался в слова юродствующего. Мой спутник напрасно старался прервать эту болтовню. Башкиров только мельком взглядывал на него, мыча в ответ, и опять обращался к юродивому... Это уже выходило из всяких границ, по крайней мере по мнению моего спутника. Он не вытерпел и, как-то заегозив на стуле, вскрикнул: «Послушай, Башкиров! Ведь это черт знает что такое! Неужели тебе не наскучило слушать дребедень дармоеда?..» Как вы думаете, что сталось с этим застенчивым, тихим и смирным Башкировым?.. Он освирепел: башкирские глазки его обратились просто в узенькие щелки, из которых сверкал огонь, лицо налилось кровью, мне даже показалось, будто волосы поднялись на его голове... Он медленно повернулся к моему спутнику и отвечал не тотчас, по обыкновению; помолчав секунд десять, он проговорил своим обыкно-

венным неторопливым голосом: «Ежели кому неохотно уважать моих гостей, такового прошу не утруждать себя знакомством со мною».— «Ну, ты сегодня чрезвычайно странно настроен,— перебил его мой знакомый, в замешательстве ища шляпу.— Мы коли придем лучше к тебе в другой раз...» Башкиров молча опустился на стул и, пыхтя, смотрел на нас, как будто дожидаясь. Признаюсь вам, положение мое было невыразимо глупое... Выбравшись на божий свет из мрачного затхлого подвала, с которым так гармонировала и душная духовная атмосфера в нем обитавших, я выругал и своего либерала, и Башкирова. Я был ужасно рассержен... С тех пор я уже не сталкивался близко с Башкировым; но его красное, освирепелое монгольское лицо так и застыло в моем воображении... Я и до сих пор иначе не представляю его себе... Боюсь я его,— закончил Морозов и улыбнулся. Павел молчал.

— Павел, ты спишь? — спросил Морозов.

— Кто? Я? — вздрогнул Павел.— Нет, кажется, я не спал... кажется, я о чем-то думал... Да!.. Вот что: пойдем-ка к тебе в кабинет... Я там, кстати, выпью... Мне легче будет... Но вот еще что: у меня есть заяц.

— Какой заяц?

— Собственно уж не заяц, а инвалид заячьей породы. Нога у него перебита. Мальчишки, чай, деревенские, шельмецы!.. Экая у них эта дикость. Никакой гуманности! Я отдал его на соблюдение твоим фрейлинам. Так уж ты, пожалуйста, прикажи им, чтобы пособлюли его.

— Ну, хорошо, хорошо!

Павел пошел в кабинет, а я стал прощаться с Морозовым.

— Как он своими «переворотами» напоминает мне такого же чудака — моего отца,— сказал Морозов, провожая меня.— Такой же был! Должно быть, и в этом сходстве есть какая-нибудь органическая связь. Может быть, потому он мне так и дорог.

...«Утро. Я уже встал. Все еще спят... Тихо.. Да по утрам и чувствую я себя лучше. Побеседую с тобой еще. Ты, вероятно, на меня огорчился, что я и от тебя утек?.. Что делать, Петруша! Это — фатально... Ты сам ведь человек умный, и, кажется, сам развиваешь последовательно теорию «российского цыганства»... Что ж огорчаться-то?.. Но ты, может быть, огорчился не на то, что я утек вообще, а на то, что я утек к Башкирову?.. Брат! Ведь я еще тогда живой человек был, а не «загробный», как теперь. (С тех пор как я уже лишился возможности «утекать», а следовательно, заживо, так сказать, поступил в полное распоряжение меня окружающих, я потерял свою личность, провиденциальный смысл ее, специфи-

ческую сущность; ergo[1] — я уже теперь «загробный».) Жажда искания «правды жизни» жила, брат, во мне до того последнего момента, когда подкосились ноги и я уже очутился не в состоянии ходить на поиски этой «правды» и утекать от «неправды»... Мог ли же, брат, я отказаться услышать еще новый ответ на запрос о «правде жизни»?.. И я утек от тебя, но утек и от Башкирова, утек после того еще раз от тех, кого встретил после него... и, наконец, как видишь, добрался до предназначенного мне свыше пункта — до клиники. Может быть, ты хочешь знать, почему я так скоро утек и от Башкирова?.. Как тебе сказать? Вообще это трудно объяснить... Ведь и все свои перевороты я совершал как-то больше непосредственно, чем ясно сознательно, больше под давлением каких-то смутно чувствуемых мною стимулов, вроде, например, того, что у меня грудь начинает щемить, сердце ныть или вроде внезапно охватывающей меня боязни... (Скажешь ты, пожалуй, что это плохие резоны; я и сам знаю, но я привык верить им — и редко ошибался... Непосредственно чутье имеет свои права). Нечто вроде этой внезапной боязни охватило меня на другой же день моего пребывания у Башкирова. Но только я испугался не его, как ты. Он совсем не так страшен, как показался тебе. Он человек добрый, славный. Иногда он проделывает кое-какие «выверты», ну, да русский хороший человек без этого еще не может обойтись, нужно полагать... Это, полагаю, оттого, что хороший русский человек слишком способен чувствовать сам то, что он хороший человек,— как ребенок, сделав похвальное дело, ходит гоголем, с блестящими глазами, с пылающими щеками... Это подчеркивание хороших черт в себе — удел молодости, в первый раз почувствовавшей в себе самобытные силы... Со временем это пройдет, как проходит это подчеркивание, когда юноша сделается мужем. Принял меня Башкиров радушно и предложил даже полечиться у него «по-деревенски»... И я рассчитывал надолго остаться у него. Когда я вошел в его чисто прибранную избу, просторную и вместе уютную, на меня повеяло чем-то родным, близким... Детством моим пахнуло на меня... Припомнилась родная изба... В переднем углу висел образ Спаса, хорошего, так называемого «строгого» письма; перед образом лампадка (мать у Башкирова — богомольная старушка). Под образом сидел постоянно седой старик, глядевший кротко своими, уже давно, как кажется, ничего не видящими очесами. Седая борода его свалялась и висела двумя длинными косицами. Он был в простой изгребной рубахе и синих портах,

---

[1] Следовательно. (лат.)

босиком... Тихий, вздрагивающий свет лампадки лился на его покойное, старческое лицо... Я не мог оторвать глаз от этого старика... То напоминал он мне моего деда, то вызывал в памяти ряд родных деревенских картин... Он вновь вызвал было на мгновение во мне творческую мысль. Он напомнил мне другого такого же старца, которого я раза два прежде встречал на сельских базарах в храмовые праздники. Может быть, и ты припомнишь такую картину. (Не велено мне много писать, ну, да уж не могу удержаться! Вспомню хоть последний разок свою родину!)

Большая площадь в селе полна народа, двигающегося у возов. В конце площади — каменная посеревшая церковь с маленькою оградой вокруг; зеленая лужайка близ нее; на лужайку падает длинная тень, и в этой тени кучка баб с котомками, слепые нищие... С колокольни несется пронзительный звон «к отходу»; одни выходят из церкви, другие, запоздавшие, торопятся в нее... Слепые нищие стараются петь еще громче... Но вот в стороне вы видите толпу... Она собралась около высокого седого старика...

Вот уже двадцать лет, как и зимой, и летом, в валенках, истоптанных, с пробитыми подошвами сапогах, в засаленной, когда-то сшитой из хорошего «дворянского» сукна чуйке, с головой, покрытой густою седою гривой вместо шапки, ходит он в сопровождении своего неизменного спутника, «глупенького» мужичонки Стешки, по всем окрестным градам и весям... Давно всем и каждому знакома и его широкая, сбитая в войлок седая борода, которую приглаживает он заскорузлою ладонью, и его добрые, «по глупости», как говорят, глаза, и его высокий лоб, на котором многие видят следы бывшего у него прежде «крепкого рассудка»... Любил простой народ слушать этого «блаженного» старца, когда он, «изыдя на площадь» во время базаров, начинал «провещать» что-то, помахивая легонько своею клюкою и медленно поглаживая бороду... Часто прислушивались к его речам не только простой народ, а и «умные» люди — сановитые купцы, образованные чиновники и начальство, да ничего не поняли в его мягко лившейся безалаберной речи... «И чего эти дураки его слушают!» — удивлялись только образованные люди... Но слушали его эти дураки не так, как люди образованные, не хитрым умом внимали его речи, а глазам их приятно было читать на его лице то «блаженное», что разливалось по его лицу и искрилось в его полубезумном взгляде,— сердцем и душой слушали они его... Подойдет к толпе старушка больная, долго и пристально взглядывает она на него и совсем ничего не слышит, а вдруг слезы и польются у нее ручьем, и польются... Шепчет молитву старуха, крестится и посылает «блаженненьк-

кому» всякие добрые пожелания... «Что, старушка, плачешь?» — спрашивает ее мимоходом бойкий и добродушно-любопытный сын народа. «А вот, красавец, Пименыча послушала... Посмотрела, как это от его лица такая ли мягкость да доброта исходит... Вот и плачу, и полегче мне стало...» — «Ну, дело хорошее! Так, так... От Пименыча речей, пожалуй, умней не станешь, а что душевнее будешь — это верно...»

Вот картина, вся освещенная ярким летним солнцем, обливающим своими лучами пыльную площадь, на которой совершается купля-продажа тяжкого народного труда...

Я передал все эти, охватившие меня воспоминания, Башкирову. «Ведь вы, известно, художники! — сказал он, добродушно улыбаясь.— А что вот ему с голоду пришлось было умирать под старость, так это тоже своего рода картина!..» И долго мы в этот вечер проболтали с Башкировым о народе... И ведь чудак — сам оказался таким же идеалистом! Как глубоко он чувствует и как беззаветно верит!.. Ну, мы, наговорившись, наконец, уснули... Старик давно уже спал на той же лавке под образами... Было два часа, а я еще не засыпал: вызванные стариком в моем воспоминании картины деревни, как в панораме, цепляясь одна за другую, бесконечною вереницей вставали в моем воображении... И... что я вижу?.. Во сне или наяву? В щель перегородки мне виден весь старик... Он поднялся, осмотрелся и, крадучись, стал развязывать на худых ногах онучи... Бережно, при свете лампадки, развернул он эти провонявшие и прогнившие почти тряпки... Дрожащими старческими руками, боязливо и чутко оглядываясь, стал он считать... деньги!.. Мне стеснило грудь, слезы подступили к горлу... Я чуть не зарыдал... Я завернулся головой в одеяло, но спать уже не мог... Едва забрезжилось, я поднялся, сказал Башкирову, что я ухожу,— и вышел. Старик уже стоял на крыльце и, обратясь на восток, молился, едва держась на трясущихся ногах и цепляясь рукой за перила крылечка... Он посмотрел на меня своими бесцветными глазами... Не оборачиваясь, я побежал прочь, все дальше и дальше от этого взгляда... Но он преследует меня и теперь! О, этот старик!.. Ты, может быть, спросишь меня, как и Башкиров: «Да что же тут такого?» Не знаю, не знаю, не спрашивайте меня... Я чувствую только, что мое сердце ноет и ноет, что демон лжи не оставляет меня даже у порога могилы...

Прости, больше не могу... Рука ослабела... Устал... Лягу сейчас. Если бы забыться! Но этот демон лжи, развративший мою родину!..»

Здесь письмо кончалось словами, уже написанными, очевидно, после: «До свидания, Петр. Когда ты получишь это письмо, я, вероятно, уже буду на Ваганьковском... Вспоминай

иногда мою «злохудожную» душу!.. Таких, как мы, уже, вероятно, не будет больше или, по крайней мере,— не должно быть... Мы сделали свое дело:

Мертвые в мире почили,
Дело настало живым!

...Как-то раз утром, когда вороны каркали особенно настойчиво и надоедливо, через деревню проносили покойника. Впереди, задолго еще до гроба, показался мальчуган с почернелой иконой в руках, которую он держал на лоскутке белого холста: чинно и солидно пространствовал он по жидкой грязи среди улицы; два других мальчугана, в огромных сапогах и в длинных материнских кацавейках, с шапками в руках и мокрыми головами, сопровождали его, стараясь возможно шире шагать через лужи. Немного спустя показалась крышка, надетая на головы, принадлежавшие, вероятно, тем двум синим сибиркам, которых длинные полы развевались на ходу из-под крышки. Наконец, показался и гроб, вымазанный охрой, покрытый вылинявшим и окончательно потерявшим позолоту стареньким церковным покровом. Шестеро мокрых мужиков несли его на серых холстинах. За гробом торопливо шли две старухи; одна из них несла в руках узелок с медом и кутьей. В них я признал Павлу и Секлетею. Рядом с ними шел Башкиров, в больших сапогах, в старом черном пальтишке до колен, без шапки, с повязанными носовым платком ушами. Несколько сзади ковылял хромой мужик, размахивая одной рукой, в которой была шапка, а другой — опираясь на подог, да какая-то старуха, сгорбившись «в три погибели», трусила за ними и постоянно сморкалась в полу. Едва процессия вошла в деревенскую улицу, как из всех ворот повысыпали обыватели. Все крестились, а многие подходили к гробу и кидали гроши в деревянную чашку, поставленную в ногах покойника, и молча кланялись Башкирову. Посредине деревни мужики, несшие гроб, остановились, чтоб перетянуть холсты с одних плеч на другие. Подошли обыватели и предложили от себя «смену». Трое усталых носильщиков согласились. Все разговаривали тихо, шепотом. Раздавались советы: «Держи, держи прямей! Подтяни в ногах-то! Господи Иисусе! В головах-то поддержите! Святый боже, святый крепкий! Ну, теперь ладно! Со святыми упокой!» Бабы, благочестиво сложив на грудях руки, разговаривали со старухами, поглядывая то на покойника, то на Башкирова, вставшего к гробу на смену одному из носильщиков. Дождь тихо барабанил в сосновую крышку и пробирался за ворота провожавших. Звонко упал в чашку последний грош; процессия тронулась.

Оставшиеся обыватели перекрестились, вздохнули и долго еще всей деревней смотрели вслед уходившим. Потом сбились в кучу под одними воротами с навесом и долго о чем-то толковали.

После обеда погода начала разведриваться; серые тучи рассеялись и превратились в белые, молочные хлопья быстро мчавшихся по голубому небу облаков; заходящее солнце весело заиграло на мокрой листве и соломенных крышах изб. Собаки вылезли сушиться из-под ворот на солнечные полосы, легшие поперек улицы. Ребятишки отправлялись странствовать по лужам. Деревня повеселела. Я вышел на улицу и завел разговор с первым же проходившим мимо мужиком.

— Кого это мимо вас утром пронесли?

— Пронесли-то? Мужика пронесли. Из суседских,— отвечал мужик и переложил хомут с одного плеча на другое.

— Это тот, что вешаться хотел, да сняли?

— Он самый. От смерти, брат, не спасешь, коли она идет,— заметил он.

— Ну, а Иван-то Терентьич Башкиров при чем тут?

— Иван-то Терентьич? — переспросил мужик и стал внимательно всматриваться в меня.— А вот что я тебе скажу,— неожиданно прибавил он,— ты тут посидишь, что ли?

— Посижу.

— Ну, ладно, посиди коли... А я вот сейчас мигом вернусь, только хомут в избу снесу... Так смотри, никуда не уходи! — крикнул он с дороги, трусцой пустившись к своей избе.

Минут через пять он шел обратно уже без хомута и нес, тщательно рассматривая, какую-то бумагу. Не доходя до меня, он спрятал ее за пазуху.

— Доброго здоровья! — сказал он, подходя ко мне и снимая шляпу.— Вот и ведрышко господь дает. Слава те, господи! Теперь как-никак управимся. А то беда, хлеб весь, того гляди, погноили бы. И ты, чать, поди, рад солнышку-то? Болеешь ведь?

— Да, рад.

— Что ж у Ивана Терентьича не лечишься?

— У меня есть лекарь там, в столице, свой...

— Так, так... У вас свои лекаря. Иван Терентьич точно, по нашим, по мужицким, болезням больше, должно полагать?

— Нет, все одно: и он по всяким.

— Ну, где уж! Это, братец, кто что изобрал. Я однова вот в городе к лекарю затесался с дурьих глаз, а он на меня как крикнет: «Разве ты не знаешь, что я барынь лечу только!» Нет, это — кто к чему. Тоже ведь с вашим братом не всякому

валандаться повадно. От нас барышей-то немного. Это уж кто разве из приятельства,— резонировал мой собеседник, а между тем потихоньку вынимал из-за пазухи бумажку.— Ну-ко, вот посмотри,— сказал он тихонько, всовывая мне бумажку в руку, и отвернулся от меня вполоборота, как бы отстраняя себя от всякого соучастия в дальнейшем ходе дела.

— Что же это? Письмо?

— Письмо... Ребятам своим посылаю... в Москву. В Москве они у меня на заработках... В плотничьей артели,— говорил он, изредка оборачивая лицо ко мне.

— Так прочесть тебе?

— Да. Проверку нужно сделать. Потому самый этот писец-то баловаться стал.

— Как баловаться? Он из каких?

— Из наших, из крестьян... бобыль. Что насчет письма — золотой был человек, а теперь только смотри за ним в оба... Избаловался, да и шабаш! Пить, что ли, стал много: балует — да и конец!

— Как же он балует?

— А так вот: ты ему говоришь одно, а он тебе напишет что ни то непотребное... Намедничка что ведь придумал: пишет вот так же от одного мужичка. Мужичок говорит: «Пиши: у матки твоей зубы болят», а он написал, что у матки все зубы за ночь повыпали, не пьет, не ест, пришли, вишь ты, ей новых зубов заморских на целый рот... Вот ведь охальник какой!.. Думаем поучить его когда при случае...

— Да ведь он вам читает?

— Читает, как же, как быть надлежит, а потом и объявится какое ни то непотребство... Ну-ко, прочти, да потише! А то услышит — осерчает. Не любит он этих проверок.

Я развернул четвертку серой бумаги, всю исписанную толстым, так называемым «полууставным» почерком, и стал читать. Мужик сидел ко мне по-прежнему боком, наклонив голову, и слушал, сняв шляпу, перекладывая в ней платок и постоянно приговаривая: «Так, так! Как следует! Что верно, то верно!.. Вот-вот, как есть, все мое слово, все!»

Я не стану утомлять внимание читателя воспроизведением всем известных приемов крестьянского письма с неизбежным «к любезнейшим нашим кровным», с «родительским благословением, навеки нерушимым», с отчетами о здоровье всей родни, составляющей чуть не полдеревни, и с вторичным переименованием ее же в отделе поклонов. Я постараюсь воспроизвести только одно место, может быть, небезынтересное для читателя. «А что насчет сведомленья вашего об Иване Терентьиче и, как просили вы, от артели поклон ему передать, так мы все в точности по вашей общей просьбе исполнили,

сами со старухой к нему в троицын день ходили и чаем от него угощались, а живет он по-прежнему, и в согласии с нами то ж по-прежнему, и мы им довольны такожде по-прежнему. А в волости нашей большой вышел сюжет...»

— Вот, вот и пошел... Вот уж я этого слова в жизнь свою не говорил,— перебил меня мужик.— Ну-ко, ну-ко, прочти еще... Вишь ведь, попутал бес!.. Это что же значит?

— Да ничего особенного... Дальше видно, что это означает просто «происшествие», сумятица вышла.

— Ну, это так... так... точно, что сумятица... Так чего ж он эдакое слово ввернул?

— Так, захотел ученостью похвастать...

— Это, пожалуй что... У него эта повадка есть. Он прежде-то к дворне был приспособлен, ну и нашвырялся около бар-то. Это верно... Так оставить это слово-то? А то уж измени лучше, бога для!

Я обещал ему поправить и продолжал читать: «Старух наших Павлу и Аксентью суровецкие на месте их жительства очень убеспокоили и, что касательно земли и разных наложениев, утеснили. Слух идет, что от богатеев это все учинилось. А старухи были в большом огорчении, с миром и старшиной тягались. Слышно, уйтить хотят. А Иван Терентьич, слышь, у старшины по этим делам был и со стариками говорил, хлопотал, да тем временем старухи сами решенье уставили — отойтить. По сей причине старшина наш, Филипп Иваныч, просит себе у начальства увольнение, и как все это покончится — одному богу известно; о старухах же известим. А они вам кланяются и просят нижайше об этом отписать. А Иван Терентьич всем кланяется и будет он к осени опять в столице. И засим мы с маткой живы и невредимы».

— Так, так... это все точно,— перебил меня мужик,— только я тебя попросить хотел бы: пропиши ты тут еще, сделай милость (вот тут чистое местечко осталось), пропиши насчет вот покойника-то, как и что: Иван, мол, Терентьич за ним ходил неустанно, как его с петли сняли, и схоронил на свои капиталы (у мужика-то только одна матка и была старуха, чуть с голодухи не померла), сам на вечное успокоение провожал!

...Мне кажется, какими бы струнами ни звучала душа человека, он непременно найдет себе в жизни отклик... Ответов, которыми располагает жизнь, бесконечное множество. Только была бы охота искать... Если бы ваша опытность была в тысячу раз больше, если бы вами были поставлены себе самые крайние вопросы, то и тогда вы не имели бы права сказать, что жизни нечем ответить вам. Всмотритесь хоро-

шенько, поищите, и вдруг пред вами, где и вы не ожидали, предстанет этот ответ в лице какой-нибудь замухрястой бабенки, шляющейся по богомольям, или какого-нибудь чудака, вроде приведенного вами... Скажите: вы ведь знасте Башкирова?

— Да, знаю...

— Что это, по-вашему, за личность?

— Башкиров? Башкиров — фанатик... Очень может быть, что Башкировы, эти ходячие односторонние оригиналы, сделают больше, чем мы, любители общих идей, искатели какой-то всеобщей гармонии. Нам всякий диссонанс режет ухо... Мы — аристократы, идейные аристократы...

— А знаете ли что, Петр Петрович? Меня чрезвычайно интересует Башкиров... Сегодня я перед вашим приходом совсем было собрался к нему... И вот по какому поводу...

Я передал ему вчерашнюю похоронную сцену и затем содержание письма, которое читал мужику, с необходимыми к нему дополнениями относительно знакомства моего с Павлой и Секлетеей.

— Ну, что же-с?

— А то, что пойдемте-ка сейчас к нему вместе. А?

— К Башкирову? Зачем? — Морозов, как будто был несколько удивлен и даже испуган.

— А может быть...

— Что может быть? — быстро переспросил он.

— Да ведь вы, в сущности, очень мало его знаете. Притом же вам должно быть известно, что он «отвечает» Катерине Егоровне... Что у него, значит, есть «ответ», которого нет у вас...

(1852—1906)

Николай Георгиевич Михайловский (псевдоним — Гарин) — автор широко известных повестей «Детство Темы», «Гимназисты» и других — с 1887 по 1890 год жил на Урале, в Башкирии. Инженер-путеец по образованию Гарин-Михайловский работал над сооружением спроектированного им самим туннеля на Уфа-Златоустовской железной дороге. В Башкирии началась и его литературная деятельность. В своем первом очерке — «Вариант» (1888) Михайловский показал громадные трудности, которые возникли при проектировании Уфа-Златоустовской железной дороги. Его первое же произведение, следовательно, на «башкирскую» тему.

Большой интерес и глубокое уважение к национальной культуре и обычаям нерусских народов, в том числе и башкир, пронизывают путевые очерки Михайловского «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову», написанные в результате кругосветного путешествия в 1898 году.

Будучи военным корреспондентом во время русско-японской войны, Михайловский в течение апреля — октября 1904 года написал целый ряд заметок, которые впоследствии составили книгу «Дневник во время войны». В 1905 году, находясь в Маньчжурии, писатель занимался нелегальным распространением большевистской литературы. В его последних произведениях выражено глубокое сочувствие к революции и ее участникам.

ПО КОРЕЕ, МАНЬЧЖУРИИ И ЛЯОДУНСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ

(Отрывок)

...В окне вагона — Уфимская губерния, с ее грандиозными работами Уфа — Златоустовской железной дороги, с ее башкирами, лесами и железными заводами.

Как змея извивается поезд, и с высоты обрывов открывает-

ся беспредельная даль долин Белой, Уфы, Сима, Юрюзани с панорамой синеватой мглой покрытых, лесистых, вечнозеленых гор Урала.

В этой мглистой синеве щемящий и захватывающий простор, покой и тишина.

В этих таинственных лесных дебрях, в сумрачной тьме их, прячется фанатик-отшельник, бродяжка, прятался прежде делатель фальшивых денег.

И здесь и в Сибири эти запрятанные в дебрях делатели фальшивых денег положили основание многим крупным состояниям, получая сами в награду всегда смерть,— от ножа ли, от удара ли топором сзади, или во сне, а то дверь одинокой кельи,— мастерская несчастного мастера,— подопрут снаружи, обложат келью соломой и зажгут солому.

— О какой перекос! О как страшно! А смотрите, смотрите, совсем нависла та гора: вот-вот полетят оттуда камни... Ничего хуже этой дороги я не знаю... А вот на ровном месте зачем понадобились все эти изворотьі... мошенничество очевидное, чтоб больше верст вышло... Ведь они, все эти инженеры, как-то от версты у них: чем больше верст... понимаете? Ужасно, ужасно...

— Но, помилуйте, это образцовая дорога. Поразительная техника, смелость приемов.

— Вы, вероятно, тоже инженер?

— Д-да.

Веселый смех.

Поезд гулко мчится, и притихли навек загадочными сфинксами залегшие здесь насыпи-гиганты, темные, как колодцы, выемки, мосты и отводы рек... Смирялись камнем и цементом скованные реки,— не рвутся больше и только тихо плачут там, внизу, о былой свободе.

А в окнах все те же башкирские леса — в долинах ободранные от коры береза и липа, на горах — сосна и лиственница; те же вымирающие башкиры.

Станция Мурсалимкино.

Русские крестьяне о чем-то спорят с башкирами.

Башкиры смущенно говорят:

— Наши леса...

— Ваши, так почему же,— раздраженно возражают им крестьяне,— казенные полесовщики?

— Чтоб никто не воровал,— отвечают не совсем уверенно башкиры.

— Да ведь воры-то кто здесь, как не вы? Первые воры и жулики... Палец об палец не ударят: «я дворянин», а свести лошадь да в котле сварить — первое его дворянское дело, сколько ты их ни корми и ни пои.

Смущенные худые башкиры спешат уйти от нас, а Василий продолжает с той же энергией:

— Землю на пять лет сдает, а уже зимой опять идет: дай чаю, дай хлеба, дай денег... «Да ведь ты все деньги взял уже?» — Ну, снимай еще на пять лет вперед... Чего же станешь делать с ним? И снимаешь...

— Дорого?

— Да ведь как придется... Уж, конечно, за пять лет вперед больше двугривенного на десятину не приходится платить.

Я смотрю в веселые глаза говорящего со мной.

— Худого ведь нет,— говорю я ему.

Усмехается довольно:

— Да ведь не было б, коли б другой народ был...

— Вас-то, русских, много теперь?

— Пятьсот в нашей деревне. Вот только эти хозяева донимают...

— Выморите ведь их скоро,— утешаю я.

— Дай бог скорее,— смеется крестьянин, смеются другие, окружающие нас крестьяне.

— А я вот слышал,— говорю я,— что у башкир землю отберут и из вас и башкир одну общину сделают.

Лица крестьян мгновенно вытягиваются и перестают сиять.

— Бог с ней и с землей тогда: уйдем... От своих ушли, а уж на башкир еще не заставят работать... Уйдем, свет за очи уйдем...

— Но ведь башкиры тоже люди...

— Ах, господин хороший, а мы кто? Довольно ведь мы и на барина и на нашу бедноту поработали,— пора и честь знать. В этакой работе и путный обеспутится, а беспутный и вовсе из кабака не выйдет.

— Хоть путный, хоть беспутный,— деловито перебивает другой,— а уж где нужно, к примеру сказать, тройку запречь, а он с одной клячей — толков не будет... Хуже да хуже только и будет... Книзу пойдет. Он те одной пашней загадит землю так, что без голоду голод выйдет... земля как жена — по рукам пошла, дрянью стала. Из-за чего же ушли? Чего пустое говорить: отбилась земля, народ отбился. Люди башкиры, кто говорит... Все люди, да не всякий к земле годится. У другого топор сам ходит, а я вот золотом меня засыпь — не столяр, хоть ты что.

— Это можно понять,— уткнувшись в землю, поясняет третий.

— Вы вот здесь так говорите,— отвечаю я,— а в России скажи крестьянам, что общину уничтожат, разрешат продавать участки,— я думаю, они запечалились бы.

Светлый блондин, неопределенных лет, нос кверху, Василий задорно тряхнул кудрями:

— Так ведь с чего же печалиться? Нужда придет, погонит — также уйдешь... Нас погнало... Тридцать лет за землю платили,— кому досталось? На обзаведение пригодились бы теперь денежки наши... кровные денежки от детей отнимали, а чужим осталось.

Последний звонок, и я спешу в вагон.

Там, в России, я не слыхал еще таких речей, там пока только меткие характеристики: «пустое дело», «бескорыстная суета».

А. П. Чехов

(1860—1904)

В художественном и особенно эпистолярном наследии Антона Павловича Чехова есть страницы, посвященные Башкирии.

Первое упоминание Чехова о нашем крае относится к 1883 году. В фельетоне «Мысли читателя газет и журналов» он писал: «Не читайте «Уфимских губернских ведомостей»: из них вы не почерпнете никаких сведений об Уфимской губернии». Так писатель разоблачал газету, которая старалась умолчать о вопиющих злоупотреблениях при массовых захватах башкирских земель, происходивших в то время с попустительства и даже при поддержке как местных, так и столичных властей.

В апреле 1890 года во время своей поездки на Сахалин Чехов проехал на пароходе по северу Башкирии. Как видно из его писем с дороги, он относился с симпатией и уважением к аборигенам края и тепло отзывался о них.

В художественном творчестве писателя упоминание об Уфимской губернии имеется в рассказе «У знакомых» (1898).

Летом 1901 года Чехов вместе с женой Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой приезжал в Башкирию на кумысолечение. Они ровно месяц прожили в Андреевском санатории, находившемся недалеко от станции Аксеново, Уфимской губернии. Живя в Башкирии, Чехов много ездил, бывал в соседних деревнях, встречался с учителем земской школы, беседовал с русскими мужиками и со своим «личным» кучером башкиром Минигалеем Закирьяновым.

ПИСЬМА

М. П. ЧЕХОВОЙ

(Отрывок)

Аксеново, 4 июня 1901 г.

...Твое желание приехать сюда, в Уфимскую губернию, порадовало меня очень. Если бы ты в самом деле решилась и приехала сюда, то это было бы чудесно. Приезжай сюда

в первых числах июля; здесь поживем, попьем кумысу и потом поедем вместе по Волге до Новороссийска, оттуда в Ялту. Сюда ехать лучше всего через Москву, Нижний и Самару. Это дальше, но, в конце концов, все-таки выйдет ближе дня на два и даже на три. Когда я сказал Книпшиц, что ты приедешь, то она очень обрадовалась. Сегодня она уехала в Уфу за покупками. Здесь скучновато, но кумыс вкусный, жарко и кормят недурно. На днях поедем удить рыбу...

3187 М. О. МЕНЬШИКОВУ

(Отрывок)

9 июня 1901 г. Аксеново.

Дорогой Михаил Осипович, я теперь на кумысе, мой адрес для писем: Аксеново, Уфимск. губ. Пью кумыс и в одну неделю, можете себе представить, увеличился на 8 фунтов. С февраля мое здоровье немножко свихнулось, я стал сильно кашлять, теперь же, по-видимому, пошло на поправку...

3189. Е. Я. ЧЕХОВОЙ

(Отрывок)

10 июня 1901 г. Аксеново.

Милая мама, я жив и здоров, кашель мой, который беспокоил меня, когда я был дома, уже прошел. Я научился пить кумыс и пью его помногу, и от этого вес бренного тела моего повышается. Жить здесь не совсем удобно и скучновато, но в общем недурно, и я уже привык, да и скоро придется возвращаться в Ялту. Здесь я пробуду месяц или полтора, но не больше...

3191. А. Ф. КОНИ

(Отрывок)

12 июня 1901 г. Аксеново.

...Здесь, на кумысе, скука ужасающая, газеты все старые, вроде прошлогодних, публика неинтересная, кругом башкиры, и если бы не природа, не рыбная ловля и не письма, то я, вероятно, бежал бы отсюда.

В последнее время в Ялте я сильно покашливал и, вероятно, лихорадил. В Москве доктор Щуровский — очень хороший

врач — нашел у меня значительные ухудшения; прежде у меня было притупление только в верхушках легких, теперь же оно спереди ниже ключицы, а сзади захватывает верхнюю половину лопатки. Это немножко смутило меня, я поскорее женился и поехал на кумыс. Теперь мне хорошо, прибавился на 8 фунтов, только не знаю от чего, от кумыса или от женитьбы. Кашель почти прекратился...

3199. В. М. СОБОЛЕВСКОМУ

(Отрывки)

23 июня 1901 г. Аксеново.

...Здесь, на кумысе, вес мой увеличился на 10 фунтов, кашель стал гораздо слабее, но все же домой я вернусь с тем, что и было у меня, т. е. с притуплением ниже ключицы, как бы ни было, я засяду в Крыму, и если там будет не очень жарко, то, быть может, сделаю что-нибудь.

...Я пью кумыс, но дальше четырех бутылок не пошел, мешает расстройство желудка. Надоело здесь ужасно, живу точно в дисциплинарном батальоне, скучища, хочется удрать; и я, по всей вероятности, удеру отсюда и уже пишу повсюду, чтобы с первого июля письма на мое имя адресовали в Ялту. Вероятно, уеду отсюда первого июля. Природа здесь, кстати сказать, чудесная; масса полевых цветов, поверхность гористая, много ручьев, но народ здесь неинтересный, вялый, некрасивый, не поющий; все больше башкиры. И чувствуется скорый, жадный рост трав, так как лето кончается уже в августе, а жить и расти хочется. Садов нет. Охота, по-видимому, дивная; хариусы и форели ловятся в речке.

3200. Г. М. ЧЕХОВУ

(Отрывок)

24 июня 1901 г. Аксеново.

Милый Жорж, я на кумысе в Уфимской губ., куда и напиши мне несколько строк по адресу:

Аксеново, Уфимской губ.

Пью кумыс помногу и уже прибавился фунтов на десять. И это не лишнее, так как в последнюю зиму здоровье мое было неважное...

Н. А. Крашенинников

(1878—1941)

Николай Александрович Крашенинников родился в Соль-Илецке. Окончил оренбургскую гимназию и юридический факультет Московского университета. В студенческие годы и позже он часто приезжал в Башкирию, которую полюбил с детства. Рассказы и предания о башкирских батырах и легендарном прошлом родного края наложили отпечаток на все его творчество.

Первый же его рассказ — «Лесной сторож» (в последней редакции — «Ночлег») — из башкирского быта. В 1907 году он издал книгу рассказов «Угасающая Башкирия», широко отразившую жизнь аборигенов края.

В 1915 году вышел в свет роман «Амеля́». Впервые в русской литературе главной героиней романа стала башкирская девушка. Младенцем попадает сирота Амеля́ в культурную русскую помещичью семью, получает в ней воспитание и образование, но тоскует по родной Башкирии. Любовь к родине — главная тема романа.

Последнее прижизненное издание писателя — книга «Под солнцем Башкирии» (1936) объединила роман «Амелю́» и семнадцать рассказов.

Кроме башкирской, в творчестве Крашенинникова значительное место занимает тема «о единой, цельной, неосквернённой любви», получившая яркую сентиментально-романтическую окраску в ряде произведений: поэтической драме «Плач Рахили», пьесе «О маленькой Тасе», в романах «Барышни», «Девственность», «Целомудрие» и других.

Гражданская война нашла отражение в романе-хронике «Столп огненный». Он также автор нескольких пьес и многих инсценировок.

В последний год жизни Крашенинников задумал написать серию произведений о возрожденной к новой жизни Башкирии, и с этой целью 17 августа 1941 года приехал в Уфу. Но из задуманного цикла он успел написать только очерк «Новая земля», да и то вчерне. Смерть оборвала все планы. Он умер 11 октября 1941 года, похоронен в Уфе.

КРАСАВИЦА ЗЮГРА

(Из башкирской жизни)

Живущая, как на грех, близ самой мечети молодая красавица Зюгра, вдова богатого башкира Тазея Ишкулатова, известного своим пчельником и кобылицами, совершенно сводила с ума старого муллу Салима. Он сразу почувствовал отвращение к вкусному махану, к кумысу и сладкой чиг-чаге, которым в прежнее время весьма любил побаловать свое грешное тело, сделался как-то не в меру задумчив, а по ночам даже охал и стонал.

— Ишь, старый шайтан![1] — говорила про него старая Фарига, жена муллы, заметив, что Салим слишком часто и подолгу торчит перед крыльцом дома Зюгры.

Старуха еще не все видела: она, например, не замечала того, что когда мулла взбирался на верх мечети, чтоб оттуда возвестить правоверным о начале молитвы, то засиживался там необыкновенно долго; он постоянно ссылался на одышку и сердцебиение; на самом же деле, свесившись через перила, он нескромно заглядывал вниз, в клеть без крыши, где по теплым летним ночам спала обыкновенно Зюгра. Влезши на вышку утром, он постепенно следил за пробуждением и одеванием красавицы. Когда же вдова переодевалась, то в глазах старого Салима темнело, в висках стучало, и он, чтобы не упасть, крепко вцеплялся в перила. Тогда ему вместо обычных призывных слов: «иль-Алла», обыкновенно хотелось кричать:

— Иль Зюгра! Ай, Зюгра, ай, Зюгра!

Старый мулла вздыхал по красавице вдове, но все еще не был с нею знаком. Конечно, на правах главного в селе, он всегда имел возможность зайти к ней с какой-нибудь беседой назидательного характера, но о том могла бы, чего доброго, узнать жена, ревнивая Фарига, и тогда Бог знает, что произошло бы. Хотя мулла был и выбрит, но за бороду свою очень боялся, считая ее на себе самым красивым и привлекательным местом. И точно, борода была длинная, пушистая, широкая, а главное — белая, как перья у гусей,— вообще очень красивая.

И долго, и скорбно раздумывал старый Салим, как бы ему с Зюгрой познакомиться, долго вздыхал и теребил свою бороду, наконец, надумал. Он уговорил старуху свою ехать за малиной к сестре Харитулле, в деревню Марзабулатову, и наварить ему там варенья с медом, покрепче да погуще.

---

[1] Бес.

Старухе Фариге предложение показалось соблазнительным, и она, взявши с собой чирак [1] чаю да сахару с полфунта для гостиница Харитулле, уехала от муллы в скрипящей таратайке. Салим остался один, на свободе.

Старый мулла раньше, до отъезда жены, думал, что как только его баба уедет, то он сейчас же направится к вдове и завяжет с нею интересное знакомство... Не тут-то было: только что седобородый Салим решился пойти к красавице, как сейчас же почувствовал одышку и сердцебиение. Раньше он только сваливал на одышку, теперь же она и впрямь забрала его. Мулла очень сердился и бранился даже, что, впрочем, случалось с ним крайне редко:

— Ай, черт! — говорил он.— И силен же ты, проклятый шайтан!

И как ни думал, как ни старался Салим выдумать приличную причину для своего визита к красавице вдове,— все ничего не выходило: путного мулла так ничего и не мог выдумать, все дрянные какие-то мысли в голову лезли.

— Ай, шайтан! — вздыхал старик.— И измучил же ты меня!

До того, в самом деле, волновался седобородый Салим, что к вечеру с ним случились несомненные припадки холерины.

Так и не пошел в этот день к вдове старый мулла.

Утром он вскочил чуть ли не с петухами и первым делом забрался на вышку минарета обследовать, в каком положении находится Зюгра. Оказалось, что она еще спала, но так как утро было необыкновенно жаркое, то Салим увидал в клети кое-что такое, что заставило его чуть не кубарем скатиться по лестнице вниз и твердо уж решить:

— Нет уж, нет! Что бы ни было, я пойду! Безо всяких причин пойду! В самом деле, чего ж мне?.. Чего же я?..

До того был разгорячен мулла.

Через пять минут он опять полез на свою вышку.

— Ай-ай-ай-баяй! ай-баяй! — твердил он там, теребя свою пушистую бороду.— Непременно пойду, пусть меня сам шайтан изжарит, если не пойду!

Решение Салима было бесповоротно. Однако когда он третий раз забежал на минарет и увидел, что роскошная Зюгра уже оделась и что подошло уже время визита, то ноги его сами собой подкосились.

— Ой, трудно, ой, трудно! — шептал он.— Словно бес ноги веревкой завязал... И что я ей только скажу? А вдруг, да она меня... выгонит? Впрочем, я мулла... Меня тоже не выгонишь!..

---

[1] Четверть фунта.

А! — радостно вскричал он и звонко шлепнул себя по бритому темени.— Я нашел! Я скажу, что люблю, больно люблю мед... Так не продаст ли она... Я куплю, право, куплю...

И, коварно захохотав беззвучным смехом, старик с легкостью молодого человека поскакал вниз по деревянным ступеням.

На радостях он поиграл даже с дворовой собакой своей, которую раньше наделял только пинками, сказал ей что-то очень веселое и, захлопав в ладоши, захохотал довольным гиканьем, когда та, поджав хвост, с испугом побежала от радующегося хозяина.

Впрочем, подходя к дому Зюгры, мулла почувствовал, что гири, привязанные к его ногам, становятся все тяжелее и тяжелее, ясно признал в себе одышку и вчерашнюю боль в желудке. Но, конечно, отступать было уже поздно, и Салим с отчаянием дернул за железное кольцо у двери. Дверь оказалась запертой. Мулла вдруг смутился, как ребенок, и хотел было малодушно ретироваться, подобрав полы своего бешмета, как заскрипела задвижка, и на порог вышла красавица Зюгра. Она очень удивилась посещению Салима, зная, конечно, что перед нею мулла, и спросила:

— Кажется, это ты стучался, мулла?

Седой Салим побагровел до самых ушей и отвечал, прерывисто и заикаясь:

— Да... это я стучал... То есть нет... То есть да... Да... Я хотел спросить тебя — я очень люблю... мм... мед и вот... вот, не продашь ли ты его... Я слышал, что ты продавала и... позволь мне войти в дом твой...

Красавица немного помялась, застенчиво оглянулась, но отказать мулле не посмела. Впрочем, оглядевши быстрым взглядом избу, она, видимо, успокоилась.

Проклиная свою робость, Салим молча шел по крытому коридору в избу. Он сознавал, очень хорошо сознавал, что молчание совершенно неуместно и даже глупо, но при всех своих потугах к разговору не мог вымолвить ни слова, ощущая во рту, вместо языка, деревянный обрубок.

Только когда уселся на нарах в избе, язык его получил возможность двигаться.

— А хорош у тебя дом твой! — обратился он к тоже сконфуженной красавице.— Всякого добра, видимо, много...

Зюгра что-то прошептала и смолкла. Мулла так и не разобрал ничего.

— Что ты говоришь? — спросил он, чтоб сказать что-нибудь.

Хозяйка как будто испугалась и, покраснев, отвечала:

— Я ничего не говорю...

Настала довольно глупая пауза. Седобородый Салим только пыхтел и отдувался, напоминая собой огромный самовар из красной меди.

— Так это, значит, мне... почудилось,— выдавил из себя старик с необыкновенным усилием.

— Да, должно быть... почудилось,— отвечала Зюгра, кажется, готовясь заплакать. По крайней мере, она отвернулась.

Салим страшно перепугался и, чтобы вывести ее и себя из неловкого положения вдруг заговорил, необыкновенно много и бойко, без остановок:

— Кажется, твой муж Тазей хороший человек был! Да хороший... я его хоронил... (мулла чувствовал, что говорит совсем не то и не кстати, но уж остановиться не мог). Да, я похоронил его тогда, когда он уже умер... Он добрый хозяин был и очень любил кобылиц... Я тоже любил кобылиц. Мы оба любили кобылиц... Кобылицы дают прекрасное молоко...

Красавица слушала своего гостя с недоумением, постепенно переходившим в испуг. Салим отлично видел, какое впечатление производят на хозяйку его речи, и чувствовал жестокую боль в желудке.

Наконец Зюгра захохотала, но со слезами на глазах (мулла явственно заметил это) и вдруг, вскочив со своего места, выбежала из комнаты. Мулла запыхтел, вытаращил глаза и испугался. Этого уж он никак не мог ожидать от красавицы. Приподнявшись с нар, он вперевалку бросился за ней и нагнал ее у дверей.

— Я еще не сказал тебе,— запыхаясь шептал он.— Я за медом пришел. Я мед очень люблю... И твой муж Тазей тоже очень любил... Только позволь мне посмотреть его, т. е. мед...

Неизвестно, с испугу ли, или Зюгре, действительно, захотелось продать мед старому мулле, только она сейчас же повела его в чулан, где стояли чиляки [1] с медовой патокой и сотами.

В чулане было совершенно темно, почему Салим и сказал:

— Я ничего не вижу!

Он хотел было выкатить чиляк на свет и уже взялся за него, как с ужасом заметил, что за ним находится что-то черное, сейчас же подавшееся в глубину чулана за занавеску.

— Ай, шайтан тут! — вскричал мулла, выпустив из рук чиляк, патока из которого растеклась по полу, приклеив подошвы его зеленых галош к полу.

Вскрикнула и Зюгра, только, кажется, по другой причине.

---

[1] Цилиндрический сосуд из цельного дерева.

По крайней мере, она схватила старого Салима за рукав бешмета и потянула его из чулана с криками:

— Пойдем, пойдем отсюда!

Она рванула старика к двери, отчего прилипшие к полу галоши соскользнули с его ног, и он очутился в одних сафьяновых ичигах, тоже моментально погрузившихся в патоку.

Но мулла не обратил на свои ичиги никакого внимания: его слишком заинтересовал подлезший под занавеску шайтан, показались подозрительны ему смущенный голос и порывистые движения коварной вдовы. Он храбро зашлепал сапогами по липкой жидкости и, раздвинув занавеску, закричал спрятавшемуся черту:

— Выходи, шайтан! Или я палкой учить тебя буду!

Шайтан выполз немедленно, очень смущенный, оказавшись молодым башкирцем Рыской, служившим у старого Салима в работниках.

Трусливая Зюгра, лишь только завидела черта, убежала с криком, закрывши покрасневшее лицо руками.

Но тут, обыкновенно робкий, мулла не струсил. Он всячески ругал сконфуженного шайтана, робко стоявшего перед ним, и даже грозил ему толстой сучковатой своей палкой перед самым носом.

Как бы то ни было, старый Салим познакомился, наконец, с красавицей вдовой. В то же время мулла необыкновенно пристрастился к собиранию ягод ежевики по лесу. Так как он всегда приносил с собой полный кошелек ягод, то старая Фарига отпускала его охотно, даже хвалила его и пекла по пятницам, т. е. в праздничные дни, ему пироги с ежевикой. Впрочем, она была слишком занята по хозяйству...

А старый мулла ежедневно заявлялся к красавице Зюгре, видеть которую стало для него такою потребностью, что он даже по ночам восклицал, беспокойно ворочаясь на нарах:

— Ой, хороша, ой, якши баба! Ой, сладкая баба!

Впрочем красавица отличалась заметной холодностью сердца. Она встречала обыкновенно седого обожателя своего с кислыми гримасами и только тогда несколько смягчалась, когда видела в его руках серебряные монеты или коралловые бусы. Она любила и материи, но всему предпочитала звонкое серебро. Завлеченный в сети красавицы мулла с отуманенной головой все носил ей подарки, в конце концов начиная тащить их потихоньку из зеленого сундука старой Фариги, ключ от которого висел за печкой.

Однако, видя холодность чернобровой красавицы, Салим жестоко горевал, огорчался и даже жаловался:

— Совсем сморила ты меня, Зюгра,— уныло говорил он, стирая пот с выбритой головы своей.— Все соки для жизни

уходят от меня, а вчера опять болен был. Ишь, точно куян [1], тощий сделался.

Жестокая вдова захохотала.

— Ничего, ничего, мулла,— говорила она.— Если тоньше стал, так это тебе хорошо — задыхаться не будешь...

— Не уважаешь ты меня совсем, вдова,— вздыхал Салим, скорбно морщась.— Нет в тебе никакого уваженья...

— Отчего не уважаю? — спрашивала красавица, хрустя куртом [2],— я всех старых людей уважаю...

— Да я вовсе и не стар,— замечал тогда мулла, слегка выпрямляя свой горб и вообще прибадриваясь.— Я еще гожусь в мужья тебе.

Ветреная вдова опять захохотала. Старик сурово выжидал, когда та кончит, и говорил:

— Ты чему смеешься? Твой смех неразумен. Я вовсе не старик. Я могу ведь осчастливить тебя потомством! — предлагал он.— А твой муж не мог этого, как баран, который не доставляет молока!

— Ах, нет, он хороший был человек! — заступалась за память своего мужа Зюгра.— Он был молодой, красивый и добрый. Он ни в чем не скупился на меня,— добавила она скороговоркой.— Хороший был...

Это было самое больное место для седого Салима, когда вдова расхваливала при нем ее умершего мужа, Тазея.

Мулла горячился и бранил покойника самою отборною бранью. Тогда красавица, хитро улыбаясь, замечала:

— Ты говоришь теперь неправду, Салим. Сам же ты, как пришел в первый раз ко мне, хвалил мне Тазея и говорил, что он хороший человек и очень любил кобылиц... Вы оба очень любили кобылиц! — добавляла она с громким хохотом.

Седой Салим багровел, плевал на пол и уходил к себе. Но через полчаса он являлся опять, держа в руках сверкающее серебро...

Так прошло около месяца.

Однажды, когда мулла Салим пришел к красавице в гости, Зюгра сказала ему:

— Я тебя прошу больше не ходить ко мне, мулла.

Мулла выронил из рук палку и облил себе новый бешмет кумысом.

— Как, что? — поперхнувшись, спросил он и вытаращил глаза.

— Да, так,— отвечала Зюгра вполне серьезно.— Не хочу я больше тебя видеть. Надоел ты мне, вот и все.

---

[1] Заяц.

[2] Нечто вроде сыра из лошадиного молока.

— А под... подарки? — растерянно спросил старик с трясущейся челюстью.

— Какие подарки? — удивилась вдова, вставая.— Мне непонятно это. Впрочем, я вышлю тебе... переговорите.

Красавица ушла в комнаты. Мулла остался один с разинутым ртом и выпученными глазами.

Из дому в коридор вышел работник Салима — Рыска.

— Ты?! — заревел мулла, бросаясь на башкира со своей палкой.

Но тот ничуть не испугался; по крайней мере, не так как прежде, и сказал старому Салиму:

— Остановись, мулла, и не кричи: жена услышит.

Старик понял намек, закусил язык и, попятившись к скамье, уселся в жбан с кумысом. Впрочем, он этого не заметил: слишком уж был расстроен.

— Так, значит, она, собака, выманивала только подарки у меня? — закричал мулла. Но никто ему не отвечал, только встревоженный индейский петух заклохтал сердито.

— Так, значит, вы оба, собаки, обманывали меня? — продолжал бушевать седобородый Салим, вставая со жбана.

— Тише, мулла,— опять заметил молодой башкир.— Старая Фарига ведь близко. Она слышит хорошо.

Мулла опять прикусил язык.

— Вот что, мулла, - заговорил Рыска.— Через неделю будет наша свадьба, и мы просим тебя обвенчать нас. Тогда,— чуть улыбаясь заключил он,— тогда у старой Фариги уж не будет более подозрений...

Мулла уронил голову...

И когда, через неделю, на свадьбе он спрашивал Зюгру обычно употребляемыми словами:

— Охотой ли ты идешь за него?

То угрюмо хмурился и больно дергал себя за седую бороду...

БАШКИРСКИЕ САГИ

НАЧАЛО МИРА

Демоны летали над тьмою, стоял страшный шум и звон, когда Великий и Сильный сказал:

— Умолкни!

И смолкло все, и онемели демоны, и замер звон.

— Прежде всего пусть будет земля,— сказал Властный Алла.— А потом уж я сотворю и небо, и свет.

Дунул Всемогущий — и пар от дыханья его обратился в камни; камни начали расти и обращаться в горы; горы, достигшие чрезмерной высоты, рассыпались до основания и образовали собою равнины.

И, посмотревши созданную землю, обрадовался Алла.

— Хорошо,— сказал он,— будет жить на ней людям.

И вспомнил о небе. Небо надо было создавать.

Тогда Алла сверкнул глазами. Воздух от очей его запылал, загорелся. Темнота начала освещаться.

И отдал Господь приказанье огню расплавить камни.

И загорелись камни, и зеленый дым от них потянулся кверху, образовавши там в семь рядов небесную твердь.

И одобрил созданное небо Алла.

— Небо еще лучше земли вышло,— сказал он.— Хорошо жить людям на земле, но еще лучше будет жить пророкам моим!

И, сделавши из тверди небольшие шарики, он дунул на каждый из них. Шарики начали крутиться и — чудны дела Аллаховы,— начали расти, принимая человеческую форму.

И, выросши, они остановились, как мертвецы.

И вложил в каждого из истуканов священного огня Великий, и крикнул им:

— Пророки мои, слушайте меня!

И попадали ниц от крика Аллы пророки и с плачем сказали:

— Будем, будем слушаться.

А господь сошел на землю.

И, взявши там в каждую руку по горсти земли, Он дунул на землю, сказав:

— Земля, вот тебе господин твой.

И раскрыл правую руку. Из рук упал на землю шарик, который завертелся и начал расти, принимая человеческую форму.

Но не вложил в человека священного огня Алла, как то сделал с пророками, а, прикоснувшись к нему, сказал:

— Живи!

И, раскрывши сжатую кисть левой руки, создал таким же образом женщину.

И назвал Алла человека мужчину Ядым, а человека женщину Ава.

— Всю землю я подарил вам,— сказал Он первым людям,— но вам одним с нею не совладеть. Надо много людей, чтобы разумно пользоваться землею и сохранять ее.

Ты же, Ава,— приказал Алла женщине,— роди людей, роди как можно больше.

И приказал Сильный Алла мужчине соединиться с женщиной и рождать детей.

— Дух всесильный,— сказал ему тогда первый человек,— а чем же мы жить будем?

И усмехнулся Великий и, схвативши камень, так сильно сжал его руками, что потекла вода. И много воды побежало из камня; огромные образовались реки и озера.

И бросил Алла в реки и озера по горсти земли, и земля превратилась там в рыбин.

— Ловите и ешьте их, как будете голодны,— сказал Всемогущий.

И снял Он с неба зеленого дыма и окрасил им землю, земля покрылась травою и деревьями. Деревья начали расти и цвести, плоды на них появились.

— И плоды эти вам на пользу и на утеху,— сказал людям Господь.

И обрадовались первые люди и сказали:

— Как нам хорошо жить с Тобою! Как счастливы мы!

— Погодите, я еще не все сотворил,— сказал милостиво Алла.— Я дам вам помощников и работников.

И, взявши в руки глины, он начал творить зверей и птиц.

Грозно зарычал медведь, испугались люди и побежали. И остановил людей Алла и приказал им подойти без всякого страха к зверю. И подошел к медведю Ядым, и распростерся тот у ног его и был смирен, как ягненок. Ава же между тем была окружена стадом жирных коз и баранов и кормила их из рук своих.

И подошел к ней Сильный и Властный и сказал:

— Отныне оно так и будет: Ядым как мужчина будет храбр, будет властвовать, ты же, Ава, устраивай домашнее свое. Живите и пользуйтесь дарами моими и плодитесь. Я уйду на небо и буду смотреть оттуда за вами, как вы будете жить. В небе наделаю я окна, в них и буду смотреть за миром, а окна те у вас называться будут звездами.

И ушел на небо Великий Алла и сел там, а Ядым и Ава остались одни на земле.

И начали жить люди...

II

КОНЕЦ МИРА

Издавна, еще раньше, чем свет спустился на нашу землю, в неприступных цепях Уральского хребта, в крутой священной горе Кара-Гири, всемогущей волей Аллаха были заключены и теперь находятся страшные Гоги. Эти Гоги представляют из себя соединение двух животных организмов: человеческого и звериного. Туловище Гоги похоже на быка, вместо же перед-

них ног у нее устроены руки, как и голова, совершенно схожие с человеческими. По своему полу Гоги — женщины, но черты их лица чрезвычайно остры и грубы; вместо волос у них змеи. Их глаза невозможно страшны и издают огненный блеск в темноте.

Они сидят в вечной тьме, но глаза их горят, и они видят через гору, что делают люди. И когда старшая Гога начинает скрежетать зубами, то искры вылетают из пасти ее, на землю слетают разные поветрия, моровая язва, и люди гибнут на радость злобным Гогам.

Но милосердный Аллах не позволяет им часто скрежетать зубами и губить людей; он заставляет Гогу это делать тогда, когда сильно недоволен жизнью своих творений. Гоги закованы в кандалы из золота; если б этого не было, то они давно бы прогрызли кору, состоящую из золота и меди, и, вырвавшись из темницы, уничтожили бы весь земной род. Гоги не могут порвать цепи; в ярости они потрясают ими, и тогда роковой звон золота доносится до ушей людей, между ними разгораются ссоры и распри, и начинается война. Люди губят друг друга, а Гоги в ярости скачут по своей темнице в дикой пляске.

От одного недостойного пророка, похитившего с неба тайну Аллаха, люди узнали, что страшные Гоги не могут выйти из их темного царства раньше восьмисот веков; поэтому они перестали бояться кары и, забывши небо, стали безумно предаваться сластолюбию, пьянству, стали есть нечистых животных, рисовать, делать подобия Аллаха и изобрели музыку. Тогда Бог страшно разгневался и послал с неба пророка Ноя; люди его не послушались, и Аллах решил погубить человеческий род, что и сделал при помощи воды. Он спас одного Ноя с женой, притянув их к небу толстой веревкой высоко над уровнем воды. Когда люди стали тонуть, то им было еще мучительнее погибать, видя отвергнутого ими Ноя спасенным.

Кончился потоп, и Аллах взял воду на небо. Отрезав веревку, он опустил Ноя с женой в Месопотамию, поселил их там, велел изрезать на мелкие куски веревку и зарыть в землю. Ной так и сделал. Через год веревки пустили ростки, и из них вышли такие же люди — потомки Ноя. Род людской опять размножился и зажил прежнею жизнью.

Видя, что и теперь обманулся в ожиданиях видеть добрых и честных людей, разгневанный Аллах из взятой на небо после потопа воды стал ежедневно по капле пускать на вершину горы Кара-Гири. Теперь постоянно падает капля за каплей, по воле Аллаха, на одно и то же место, и медленным, но верным путем пробивает кору на вершине горы; когда

последняя капля пробьет ее, Гоги увидят блеснувший луч и тотчас же разобьют свою темницу. Оковы зазвенят, искры полетят на землю, на ней поднимется страшный ураган и колебанье; из всех рек и озер вырвутся клубы огня и станут столбами до неба. Из этих столбов будут вылетать Гоги, схватывать людей, жечь и душить их, не разбирая ни пола, ни возраста, пока не останется на земле только один избранный народ. Кто он — людям неизвестно.

Но всегда милосердный Аллах не хочет быстрой гибели людей: в ответ на горячие мольбы он посылает им святых своих, наделив их силою погубить Гог, если они взойдут на вершину Кара-Гири. И вот один за другим пытаются сделать это, но невидимая сила сбрасывает пророков обратно, и они не могут совершить даже половины пути.

Наконец, с неба ночью слетел дивный пророк Иисус; перед своим выступлением на учение народов, он сорок дней пытался взойти на Кара-Гири, но отчаявшись в возможности, стал добиваться спасения людского рода иным путем: он стал учить людей добру. Люди слушали его охотно, ибо он сам был добр, но исполнять его учение не были в состоянии: Аллах дал им жажду к жизни, которую нельзя было помирить с самоотвержением, проповедываемым Иисусом. Аллах дал людям правителей, дал богатых и знатных, дал нищих и слабых,— а пророк проповедовал равенство. Может быть, люди и поняли его, но только последовать ему не могли: у них не было столько нравственной силы. чтобы перевернуть обычное течение жизни,— и проповедник должен был удалиться.

Между тем капли все продолжали буравить горную поверхность, уж все слышнее доносился скрежет ужасных Гог,— сильнее развивались на земле поветрия и язвы; все явственнее доносился до уха людей звон золотых цепей,— и все злее и злее делались люди, все больше и больше разгорались между ними губительные войны.

Наконец, они надумали обратиться с горячей мольбой к Аллаху. Тот сжалился, но не надо всем народом, а над одним, тихо и спокойно обитавшим у склонов аравийских гор, над небольшим и слабым, но чистым народом, который теснили и мучили все сильнее. Его-то он и назвал своим избранным, туда-то и послал главного и славнейшего из всех пророков — Магомета.

Святой пророк успокоил этот народ, рассказав им об истинном Боге, подтвердив все его обещания,— и вознесся на огненной колеснице на небо.

И теперь, когда настанет конец терпению Аллаха, он пошлет снова на землю дивного пророка. Придет он с мечом, окруженный свитой из прежних пророков, первое место

между которыми займет Иисус. Магомет взойдет на Кара-Гири и, став на вершине горы, ударит об нее мечом; от этого удара свалятся с неба светила, поднимется буря, и из рек и озер столбом к небу станет огненное пламя. Пророк ударит еще раз мечом — и верхушка горы отлетит прочь; он спустится с мечом в темницу, где содержатся Гоги, которые падут ниц перед славным Магометом. Своим мечом он разрубит Гогам их цепи, и те с хриплым шумом вылетят из горы. Земля загудит, задрожит, затрясется...

Магомет вскрикнет громким голосом, это разнесет его во все концы земного шара: от звука раздадутся могилы правоверных, и, вместе с оставшимися в живых, они взлетят на небо.

Между тем Гоги будут бросаться на остальных, нечистых людей, будут давить и душить их в огненных столбах, не щадя ни женщины, ни ребенка, ни дряхлого старика, пока все поганое не будет уничтожено без следа во всепожирающем огне...

Тогда восстанет сам Аллах и звонко прикажет природе обновиться. Грянет гром, замелькают молнии,— и природа предстанет в совершенно новом виде. Вся вселенная будет представлять из себя сплошной цветущий сад. В отдалении будут бродить тучные бараны и верблюды; под деревьями будут раскинуты парчевые палатки для каждого правоверного. Перед каждой палаткой будет разостлан бархатный ковер, на котором будут расставлены мед и кумыс в золотых чашах. Правоверные вечно будут наслаждаться созерцанием красот рая, будут гулять по саду и отдыхать на пушистых коврах. Каждому будут прислуживать прелестные девы-гурии, с которыми правоверные будут отдаваться наслаждениям любви...

КАК ПРОИЗОШЕЛ БАШКИРСКИЙ НАРОД

(Сага)

Приходилось ли вам когда-нибудь ездить на лошадях по 300—500 верст по глуши? Счастливы вы, если не приходилось.

Утомительный, унылый и монотонный звон колокольчика, хмурые, вислоухие башкирские лошаденки, старик башкирин с ободранной спиной в теплой, замасленной шапке, несмотря на подавляющую жару. Пыль, кругом степь, ухабы и такая перспектива: сейчас солнце чуть поднялось; вот оно поднимется, станет в зените, начнет опять опускаться, упадет, потемнеет небо, помрачнеет земля, а вы будете ехать и ехать... И те же лошаденки, и тот же башкирин, и тот же плаксивый трезвон, унылое звяканье колокольчика... Завтра

наступит опять утро, солнце опять поднимется, опять станет в зените, опять опустится, а вы все будете ехать. Наступит третий день, опять поднимется и опустится солнце, а вы все будете ехать, ехать и ехать... Счастливы вы, если вам не приходилось испытать чего-нибудь подобного...

Но хуже всего, если вы едете один, если вам не с кем сказать слова. Тогда вам придется тоскливо довольствоваться заунывным покрикиванием кучера-башкира на лошадей:

— Гхой, ты милая!

Больше он вам ничего не расскажет. Скука, скука... В такое время, кажется, обрадуешься всякому первому попавшемуся...

Изредка по пути мимо вас пробегают скучающие деревеньки и постоялые дворы с пучками соломы на высоких шестах. Промчались вы деревней, взбудоражив собак, и снова мы — в степи или в горах. Дорога неровная, ужасно тряская; а не дай Бог, если по дороге попадется обоз: ехать за ним не достанет терпенья, а обогнать 80 или 90 пар упряжных быков по кочкам — довольно чувствительно... А по дороге бредут за возами все башкиры, башкиры, башкиры... Бредут или спят на возах на съемнике [1] прямо на дереве без всякой постилки.

А тут еще овраги, настоящие захолустные овраги,— кривые, крутые и усеянные обломками телег и костями лошадей. А если пройдет дождь — по оврагам бежит, бурля и пенясь, вода, ворчит она, грязная, седая. Спуск и подъем скользки и опасны, а в иных оврагах возчикам приходится и совсем плохо. Подчас по двадцати человек бьется над упавшей в грязи и засасываемой в тину лошаденкой. Крики, проклятья, стоны, удары... Но погодите, побьетесь и побранитесь и вы. Вот вы подъехали к оврагу. На дне его ворчит бурная река, пеною брызжется. Вам надо слезать. Ваш башкирин отпрягает одну пристяжную, ворчит, плюется и садится верхом на нее. Бьет ногами ее и спускается с кручи. Робко плетется к воде лошаденка, оступается, падает; с нею падает и башкир, ворчит, купается в холодной и грязной воде, ищет броду. Не скоро найдет он его, а найдя, припрягает опять пристяжную. С грохотом обрушивается в воду экипаж, застревает там, башкирин хлещет лошадей нещадно, кричит, вопит, надрывается сам. Надрываются и лошади, вытаскивая тарантас на скользкую кручу противоположного берега. Наконец, экипаж переехал. Но вы еще на этой стороне. Вы не рискнули сесть в тарантас, и без вас слишком тяжелый, вы пожалели себя, свою жизнь. Башкирин опять отпрягает пристяжную, хлещет ее и сталкивает с крутизны в воду. Лошаденка ползет к вам на берег.

[1] Тонкие липовые бревна, употребляемые на постройку клетей и хат.

Там вы ловите ее, грязную, мокрую. Вам нужно сесть на нее верхом и толкать ее, направлять опять в эту мутную воду. И благо вам, если вы умеете сидеть на лошади. Иначе вам плохо придется — лошаденка скользит, оступается, вы вцепились в ее гриву, но если даже и упадет она, упадете вы, то все же вы отделаетесь только грязной ванной: вас не задавит огромным экипажем. Но, слава небу, вы переехали овраг, отъезжаете прочь, и долетают до вас лишь издали крики людей, еще бьющихся в овраге.

Но не по всем башкирским «буерагам» и речкам приходится перебираться вам так непосредственно и первобытно: иногда вы перебираетесь на другую сторону реки по мосту.

Но... мало кому известны башкирские мосты...

Еще Григорович писал про захолустные, животрепещущие мосты, дрожащие всеми своими суставчиками; но что значат все мосты, виданные знаменитым автором, в сравнении с одним башкирским мостом? Башкирские мосты вошли среди русского населения востока в пословицу, и счастливы вы, если нога ваша не касалась туземного моста. Весь содрогнется мост, как только вступит на него ваша лошадь, загудит и застонет; тоненькие бревна его, хворост или доски приподнимаются под ногами лошади, как фортепианные клавиши; зачастую у моста, по которому с трудом может проехать одна башкирская таратайка, не бывает перил, а если такие бывают, то кажется — только прикоснись к ним комар, упадут они в воду.

Но это еще не все: на мосту башкирском почти постоянно находятся одно-два отверстия. Днем вы еще можете благополучно миновать их, лавируя лошадью по мосту, как кормчий рулем, но туго вам придется под вечер или даже днем на таком мосту, где повернуться в какую-либо сторону на четверть — значит принять холодный душ или сломать шею, смотря по обстоятельствам...

Наехав на такой мост, вы медленно слезаете с телеги и пробуете собственной персоной, проходя по нему, достаточно ли благонадежен мост, чтобы вам провести лошадь, не считая на дне речки камней. Если по расчету вашему, мост крепок, вы проводите лошадь под уздцы, рассчитывая каждый ее шаг; если вас двое, то спутник ваш садится на один бок тележки, представляя из себя баланс, причем ему приходится извиваться и изгибаться змеей, сообразно неровностям и покатостям моста.

А вот еще башкирское создание: через широчайшую, глубочайшую и стремительно быструю реку идет узкий мостик с настланным по нем вместо досок хворостом. Вы едете по этому мосту, а он весь трясется, шипит и стонет... И будь вы бесстрашны, как сам Ричард Львиное Сердце,— все-таки в

душу к вам невольно заползает мысль о смерти. И благо вам, если лошадь не провалилась в забросанное соломой отверстие и не сломала ногу; благо вам, если вы остались целы!..

Но все же спасибо им, этим башкирским мостам,— и совсем не добраться бы без них до укромных и диких уголков.

Вот вы проехали мост; отчаянно проскрипев колесами своего экипажа по камням и галькам, миновав неописуемую по ее хаотическому состоянию прибрежную дорогу, выехали на свободу.

Но свобода в Башкирии — понятие относительное. Свобода — это бездорожная степь, бездорожный лес и горы...

Вот они, эти горы! Вы в горах. А езда по этим горам и обрывам, где каждую минуту вы ждете, что вот-вот полетите с обрыва в воду, что скатитесь вместе со стонущей таратайкой под косогор...

Но вот вам повезло счастье. Вы не скатились с горы, не искупались в воде, ваши кости целы, вы благополучно въехали на гору.

Теперь посмотрите с этой зеленеющей высоты вниз, что лежит там у вас под ногами. Там башкирская деревушка. Любил я эти тихие башкирские деревушки; так уныло их дикое запустение, так печальна их наружность; улицы почти все зеленые, точно по дорогам никто никогда не ездил, точно вы забрели в пустыню.

Много приятелей было у меня в этих молчаливых деревнях, но с особенным удовольствием заезжал я в башкирский поселок Саруши к старому башкирскому сказителю Катыргулу. Любил я старика за его редкое радушие и за мягкий, симпатичный характер. Башкиры вообще отличаются гостеприимством, но Кадыргул казался мне все же особенно любезным. Он весь оживлялся, встречая гостей и угощая их, суетился так, как будто бы ему было не шестьдесят семь, а двадцать лет.

Высокого роста, худощавый, с совершенно седой, пушистой бородой двумя клиньями, с резко выставленными вперед скулами темно-бронзового лица,— он представлял из себя типичную фигуру башкирского старика. Нос его, довольно большой, был пропорционален размеру лица; глаза, темно-карие с густо нависшими над ними косматыми, серыми бровями, казались строгими и задумчивыми.

Катыргул был одним из моих недавних приятелей. Я познакомился с ним еще не более года тому назад в одну из своих поездок по Башкирии.

Выдавшийся как-то раз особенно жаркий день загнал меня в леса, называемые по-башкирски «колками». В этих

колках я пострелял куропаток и расположился на отдых у красивой и говорливой речушки с холодною как лед водою.

В кустах, густо облепивших ее берега, я заметил неподвижно сидящего башкирина. По его позе и снарядам я догадался, что он ловит кутему. Эта оригинальная ловля требует крайней осторожности и ловкости; малейшего шороха достаточно, чтобы спугнуть чуткую рыбу и испортить, как говорят башкиры, всю охоту. Я хотел бесшумно проскользнуть мимо рыбака, как услышал его голос:

— Здравствуй, бояр! [1]

Старик обращался ко мне по-башкирски. Обыкновенно туземцы заговаривают только с знакомым им человеком и, по большей части, на ломаном русском языке. Обращение же старика ко мне на башкирском жаргоне, несомненно, означало встречу старого знакомого.

Заинтересованный, я подошел к рыболову.

— Садись, гостем будешь,— предложил мне тот, давая место на лужайке.— Видишь, сколько рыбы наловил.

И он показал мне деревянный кукан [2], весь унизанный кутемою.

Я вглядывался в башкира, но сколько ни напрягал память, никак не мог выяснить себе, кто это передо мною.

Казалось, старик понял меня.

— Не узнаешь? — спросил он меня, улыбаясь.— Катыргула не признаешь.

Я отвечал, что нет.

— А я знаю тебя,— продолжал Катыргул.— Ты сын... (Он назвал фамилию моего деда).— Помещик он был, большие и старые друзья с ним были. Я ему рыбу постоянно возил, а раз он меня от медведя спас. Большой медведь был, сильно тогда помял меня. Ой-хой!

Башкирин усмехнулся.

Теперь я вспомнил рассказы деда об одном башкире, охотнике на рысей и медведей. Храбрость его граничила с дерзостью: на медведя он отправлялся всегда совершенно один, вооруженный плохоньким ружьецом и ножом. Рассказывали, что этот Катыргул уложил на своем веку более полусотни медведей, несколько раз бывал под ногами зверей и несколько раз бывал при смерти, совершенно искалеченный.

Собственно же меня не особенно интересовали охотничьи подвиги Катыргула. Сам я был, быть может, сквернейшим из охотников, стрелял мало и плохо, больше от скуки и не чувствовал никогда особого влечения к этому занятию.

---

[1] Барин, господин.

[2] Тонкая, длинная рогулька для насадки рыбы.

Меня гораздо больше интересовало нечто иное в Катыргуле: про него шла молва, что он «вещий» человек, мудрый, которому всемогущий Алла дал небесную память на дела людей. Про этого Катыргула говорили, что он все знает, что творится на свете, и не только это, но и то, что будет и было.

Башкирские старики — обыкновенно самые неразговорчивые люди. С ними можно просидеть несколько часов, и они будут все время перед вами молчать, с достоинством разглаживая седую бороду.

Поэтому я рассчитывал, что Катыргул будет упрямиться, услышав мою просьбу рассказать мне что-нибудь о жизни туземцев, но ничего этого не случилось.

Катыргул выслушал меня спокойно и только сказал:

— Арака. Водки.

Последнего я никак не ожидал. В мои расчеты никак не входило поить дикарей водкой!

— Нет у меня водки,— отвечал я.— Я не пью ее.

Башкирин выпучил на меня свои бесцветные, точно вылинявшие глаза.

— Не пьешь? — с удивлением протянул он.— Арака не ашаешь, водки не пьешь?

Я повторил свои слова.

Катыргул покачал головой.

— Плохо,— проговорил он печально.— Какой же ты охотник, коли водки не пьешь? — Ай, хороша водка! — продолжал он с загоревшимися глазами.— Ай-бай-яй, хороша!

Старик опять уставился на меня и с минуту не сводил глаз.

— Не хорошо,— повторил он опять.— Ой-хой, как не хорошо... Может быть, у тебя есть водка, а ты не даешь ее?

И покачал головой.

У меня, действительно, в ягдташе находилась фляжка с вином, но мне крайне не хотелось поить этого слабого и чуть живого старика.

— Мы вот что лучше сделаем, Катыргул,— обратился я к нему.— Сейчас мы посидим здесь немножко, а потом я тебя довезу на своей лошади до деревни Муйнаки, а оттуда поедем в таратайке уже ко мне домой. Там я у тебя куплю рыбу и дам тебе чаю и сахару.

Чай и сахар для башкира — самое дорогое на свете. Пьют они чаю неимоверное количество, поглощая кипяток совершенно непонятным для русского образом: мне часто приходило в голову, что мой гость башкирин умрет тут же, на месте, за чайным столом,— до того много ими истребляется воды, и притом, в самом горячем, непереносимом для русского горла состоянии.

Услыхав про чай и сахар, башкир оживился.

— Ай, спасибо, ай, спасибо, бояр,— забормотал он, кивая головой.— А разве тебе удобно будет ехать вместе со мной?

Катыргул указывал на мою верховую лошадь, на которой я выезжал на охоту.

Я поспешил успокоить башкирина, объяснив ему, что он нисколько не помешает мне, поместившись за седлом. В Башкирии зачастую приходится видеть, как на одной верховой лошади едут двое башкир.

Поговорив немного с Катыргулом, я предложил ему закусить, на что тот согласился с большим удовольствием: старик торопливо подошел к моей лошади и отвязал от седла мешок с провизией.

В ягдташе ему попалась, между прочим, и фляжка с вином.

— Арака! — радостно проговорил Катыргул.

Делать было нечего.

— Да, арака,— отвечал я.— Только не хотелось бы мне давать тебе ее.

Глаза башкира сделались печальными, совершенно по-детски печальными.

— Я немного,— с застенчивой улыбкой сказал он.

На закуску Катыргул набросился с жадностью голодного зверя, совершенно забыв про закон, запрещающий есть мясо животных, резанных небашкиром. Впрочем, может быть, он и не признавал авторитета этого предписания,— такие вольнодумцы, правда, встречаются, но крайне редко.

Неприятно было смотреть на башкира, когда он тянулся к водке: глаза его слезились, и руки не то жадно, не то нервно тряслись, заодно с головой, на длинной и костлявой, высохшей шее.

Я отвернулся, но когда Катыргул потянулся к фляжке в четвертый раз, то решительно взял у него из рук водку и поставил подле себя.

Башкирин вздрогнул, сконфузился и замигал глазами. Впрочем, минут через пять он как будто бы утешился и опять обрушился на закуски.

Выпитая водка все же не замедлила оказать на него свое действие: к концу обеда Катыргул повеселел, сделался развязнее и рассказал мне историю храброго витязя Иленгая батыря [1], подвизавшегося в эпоху борьбы башкирского народа с киргизским за свою независимость, рассказал легенду о сотворении мира, поставленного всей массой своею на рога седого быка, стоящего на огромном черном камне, который, в свою очередь, покоится на ките.

---

[1] Богатырь.

Эпическая сторона его песен заинтересовала меня в особенности. Я предложил ему вопрос о происхождении башкирского народа. Катыргул не сразу понял его и долго собирался с духом и памятью, наконец, передал мне эту сагу, как она, по рассказам стариков, живет среди башкирского народа.

— Много-много времени тому назад это было,— говорил он,— когда новорожденное солнце только что начало посылать свои лучи на землю, а месяца еще не было, и из всех звезд была сотворена Аллою из огня только одна — Зюгра[1],— люди уже были грешны. А жили они у отрогов Гималайских гор. И вот чем были грешны люди: вместо молитв Всемогущему Аллаху они выдумали машины, которые гудели и пели за них. Глупые! Они думали, что изобретенная ими музыка будет приятна Алле. Люди перестали приносить жертвы, перестали молиться и начали слова молитвы перелагать в песни. Люди начали убивать животных и есть верблюжье и лошадиное мясо. То, что раньше приносилось в жертву Богу, стало теперь истребляться людьми.

Но мало того: гордость людей дошла до безумия. Они захотели жить, как Бог живет, и вместе с Богом начали строить дом. И огромный тот дом был, и назвал его Алла Домом Гордых. А захотели люди крышу дома того упереть в небо, прямо в солнце Аллахово. А на солнце том в то время жил сам Бог, Великий и Сильный...

И прогневался на людей Алла, и назвал их вместо прежнего: «Слава моя»,— «Тякабрь», то есть «гордость», «гордецы, безумцы».

А люди все строили дом, и все выше и выше становилось здание. Уже выше чудной Зюгры поднялась крыша его, а Бог ждал все, когда образумятся гордые.

Но видя, что люди окончательно ослепли, захотел перед громом гнева своего образумить людей и послал им с неба святую душу Гайсу.

И по золотой лестнице, что стоит до сей поры там, где сходится небо с землею, сошел с неба великий Гайса и пошел к людям.

А люди в то время уже ссорились между собою из-за того, как им разделить дом, который уже достраивался, по племенам, кому жить на какой высоте. И перессорились между собою старшины их. Начальник рода Аглы требовал, чтоб ему дали верхние части дома, другой — рода Аффрази, хотел поместиться там же. Урса был смирнее, он согласился жить

---

[1] Зюгра — Венера.

и пониже, но Тюрку, бывший в союзе с ним, не допускал того, желая также обладать верхом.

И вспыхнула война между недальновидными людьми, страшная, кровопролитная... Люди резали и душили друг друга, не щадя ни жен, ни детей, ни стариков...

А всемогущий Алла смотрел на них с солнца своего и дивился их ослеплению.

Долго, долго губили люди друг друга, пока два рода, Аглы и Ариэ, бывшие раньше совершенно незначительным народом, не победили других и не заключили между собою союз.

И начали люди заканчивать постройку Дома Гордых, сойдясь на том между собою, что верхнюю часть никто не займет из двух народов, а пригласят жить туда Самого Аллу.

И разгневался Великий Аллах, и далеко отбросил от себя свой посох, которым творил мир, и воскликнул:

— Горе, горе безумным!

И приказал позвать к себе Гайсу.

И, весь трепеща, предстал перед Богом дивный пророк и поцеловал ногу Его.

И приказал Аллах пророку образумить людей, объявить им гнев Свой.

— Всех убью, объяви им,— сказал он.

И передал чудный Гайса Божьи слова людям, но не послушались люди.

И продолжали они строить Гордый Дом и доводили его уже до неба. И последние камни уже положили, чтоб протянуть шесты к солнцу, как вдруг, в одно мгновенье дом треснул, рассыпался.

Глупые люди не знали, что солнце горячо, что оно соткано из проволоки и облито огнем, и полетели все на землю.

И много-много убилось их до смерти, а оставшиеся в живых, обожженные солнцем, были черны, как уголь.

И вот с тех пор на земле появились черные народы Кара, и безобразны они стали, как демоны.

И много осталось жить на земле с обезображенными руками и ногами, и от них пошли человекообразные животные. И разбежались они по лесам, и отросли у них хвосты, как у ящериц.

И громко затрубил в золотую трубу Гайса, и попадали все люди на землю, оглушенные, и, придя в себя, разбежались по всей земле в страхе и ужасе.

И велел Алла пророку оставить этот проклятый народ, который и назвал он «Кара», что значит — мрак, чернокожие.

А Гайсу посадил на корабль и приказал морем идти к тому месту, где стоит золотая лестница.

Но не доплыл чудный пророк до горизонта. Буря подня-

лась на море и выкинула его корабль на песчаный берег. И сел на морском берегу Гайса и заплакал.

И явился к нему Великий Алла и стал утешать.

— Не плачь, Гайса,— говорил Бог.— Я устрою тебе все. Море потому оказалось бурным, что оно еще не вполне устроено; один из ангелов моих восстал против меня и завладел морем. И ангела того зовут Майри. Но не бойся,— я покорю этого Майри, а тебя сделаю здесь царем.

И велел Алла Гайсе собрать со всего берега гальки, но не брать черных и серых, а только белые.

— Таковы и души будут у народа твоего,— сказал он.— Силен и славен народ будет тот, и во главе всех поставлю его. И будет народ голова — «Баш» всем.

И приказал Бог пророку поливать собранные гальки водою, и гальки те пустили ростки.

Ростки эти скоро стали принимать вид членов человеческих, но первоначально члены эти соединились в беспорядке.

И ужаснулся видом людей своих Гайса и зарыдал.

И опять явился к нему Великий Дух.

— Напрасно ты плачешь,— сказал он ему.— Все это так и должно быть. Члены придут все на свое место, но это будет не сразу, и когда это совершится, народ твой будет самым мужественным и красивым из всех народов.

И займет твой народ Баш всю землю и победит всех кяфиров — неверных — и будет царить на земле один. И питьем я сделаю ему сладкий кумуз, а едою ему будет курт. А кто раз вкусит этого курта, тот не умрет вовеки. И пусть живет твой народ Баш, совершенствуясь в силе и красоте, пусть живет с надеждою на бессмертный курт.

И да называется Баш народ твой — Баш-курт, народ бессмертный, народ мой избранный...»

...И много-много веков пройдет прежде, чем члены тела человеческого станут на указанное им Аллою место.

...И много-много веков прошло, как идет башкуртский народ к своему счастью, но и много еще ждать ему...

Сказатель умолк.

КАЗАЧОК КУРУЛ

Этот Курул некогда служил у моего деда. Как-то странно прилагать к нему установившееся прозвище «казачок». У Курула громадная, узкая седая борода, напоминающая хвост орловского рысака; словно щетки висят брови над утонувшими где-то в морщинах щек глазами. Все лицо,— желто-коричневое, напоминающее старый исписанный пергамент,— покрыто

морщинами, зубы неровные и от старости необычайно длинные, вместо губ, чудится, наклеен узкий, потертый коричневый шнурок.

Курул — человек, по нашим местностям, необыкновенный: он говорит по-французски.

Правда, зачастую французские слова он переплетает со своими, башкирскими, но все же старая память хранит следы прежнего «житья».

— Алексей Николаич, бывало, кричит мне,— любит вспоминать Курул: — Курул, апортэ ле суп! И я несу.

Курул умеет и играть «на горле». Как-то, в прежних письмах, я пытался передать свои впечатления от этой своеобразной башкирской «музыки». Перед игрою Курул садится на корточки и несколько мгновений сидит как остолбенелый, с неприятно выпученными глазами. Затем кашляет, и тут-то начинается «музыка».

Из горла башкира вылетает какое-то слабое, в общем музыкальное сипение, похожее на звуки органчика, затем начинается горловой свист, слышатся звуки флейты; затем — писк, кряхтенье, сипенье, опять что-то вроде флейты или скрипки и т. д. И все это по временам перемежается хриплым выкриком: «Айе! Айе»! [1].

Я не любил этой «музыки». Гораздо интереснее мне были рассказы старого Курула. Память у него была юношески крепкая, и пожил он в самое любопытное для нас и ужасное для башкир время земельных хищений; и словесные запасы его казались неисчерпаемыми.

И было у него больное место: эпоха вторжения в Башкирию кулаков-скупщиков. Массу их он знал по фамилиям и на тему эту мог говорить до бесконечности. Стоило только упомянуть про одного давнего генерал-губернатора, и Курул весь бледнел и весь, казалось, превращался в негодование.

— Злой человек, злой человек! — выкрикивал он и нервно теребил свою длинную бороду.— В наказанье был послан нам от Бога, в наказанье за грехи.

Рассказы Курула о хищениях земель были очень любопытны: по его словам, земля «отходила от башкир» с двух сторон: со стороны правительства это были р а з д а ч и, и со стороны приезжих купцов: в купчих крепостях их действия именовались п о к у п к а м и, на деле же это были просто хищения. Раздача угодий правительством началась с тридцатых годов прошлого века, когда сидевшим на башкирских землях арендаторам «припущенникам» были нарезаны наделы из земель башкир-собственников. Обыкновенно припущенники

---

[1] «Да! Да!»

садились на башкирской земле без особых документов; земли у коренных башкир было много, и они легко допускали к себе поселенцев. Но вскоре начались «действия правительства»: за башкирами замежевали отдельные дачи по их родовому происхождению, а из надела для припущенников в 30 десятин пятнадцать отчислили в запас, «в распоряжение управления государственных имуществ».

Когда я спрашивал Курула о том, каким образом частные земли вдруг оказались в распоряжении министерства, он мне объяснил, что первоначально этот запас предполагался для надела недостаточных припущенников. Отделяя у припущенников половину их надела в запас, правительство думало, что кочевники вскоре перейдут к земледельческому хозяйству. Правительство даже приняло свои меры к приучению башкир к хлебопашеству и Курул бледнел, рассказывая об этих «мерах».

— Плетками били! — выкрикивал он.— Приезжал становой, исправник приезжал. Где «твоя арышь?» [1] — «Нет арышь, ложись на землю. Люди, секите его плетьми!» Вот как приучали. Хорошие господа!

Рассказывал он и такой эпизод из «эпохи обучения».

— Однажды в нашу деревню приехал Пилат [2]. Собирает он деревню и говорит: «Айда, говорит, арышь сыпать». Землю вспахали, засеяли хлеб, уехал Пилат. А башкир один, Ибатулла, не засеял. Прошел месяц, опять приехал Пилат. «Ну,— говорит,— Ибатулла, где сыпал арышь, покажи». Сел на лошадь Ибатулла и поехал. А за ним едет Пилат. Нечего делать, поехал Ибатулла на поле своего знакомого урсака [3]. Показал. «Молодец, Ибатулла,— говорит ему Пилат.— Ай, молодец! Лучше всех арышь сыпал. Вот как хорошо!» Ибатулла и говорит: «Больно славно работал, шесть лошадей прягал». Много времени прошло, опять приехал Пилат. «Ну,— говорит,— Ибатулла, айда покажи, куда свой хлеб положил».— «Вот шайтан [4],— думает Ибатулла.— Привязался шайтан, ничем не возьмешь». Опять делать нечего, поехал Ибатулла. Много народу поехало, всякий свой хлеб казал. «Я,— говорит,— тут положил, я здесь положил»... Всякий говорил. Дошла очередь до Ибатуллы. Пилат говорит: «Ибатулла лучше всех хлеб сыпал, покажи, Ибатулла». Дрожит Ибатулла как овечий хвост. Один горженик обошел, другой обошел... третий обошел. Черт его знает, куда урсак свой хлеб положил. «Ну,— говорит

---

[1] Рожь.
[2] Искалеченная фамилия чиновника Филатова.
[3] Русский.
[4] Нечистая сила.

Пилат,— айда, слезай со своей лошади, Ибатулла». (Здесь я передаю буквально словами Курула). «Одна людя сидел башкам (на голове), одна рукам, одна ногам, а четыре людя катал! Ну, и катал!.. Так катал, так сикал,— как пускал, как лошадкам скакал,— никакой не помним... Ай, Пилатка, собака была людя!» — заканчивал Курул свой рассказ о чиновнике Пилате.

Чиновников Курул очень недолюбливал. Стоило только сказать про какого-нибудь вновь приезжего, что он служил, и лицо Курула из заинтересованного обращалось в равнодушное или сердитое.

— Чиновник, чиновой! — обыкновенно говорил он и разочарованно махал рукою. И надо отдать справедливость, у Курула были основания их недолюбливать. В памяти у него неуклонно стояло, как нажился от его соотечественников разный приказный люд, начиная от самых высоких чинов и кончая мелкими сошками.

— Себе брал,— говорил он про свою давнишнюю антипатию,— жена брал, сын брал, дочь брал, племянник брал,— вся семья брал! Замуж выходит — берет, умирает — берет, женился — тоже берет... И все тысячам берет! Считать мало — не любит. Большой человек!

В сердцах Курул подчас и преувеличивал, но многое говорилось им верно. В особенности сердило его то, что даже по тогдашним законам (Курул в свое время много посудился с разными захватчиками и знал законы) право на льготное получение земли признавалось лишь за недостаточными чиновниками; получили же имения по большей части люди состоятельные, разная губернская знать.

— Полмиллиона земли кончал! — говорил Курул.— Главное, Уфа страдал, наша башкир — Оренбург мало земли бывал, зато вся забрал. И за что только землю получал? — негодовал он.— Чернилам писал, бумагам марал, а землю забрал.

Немало волновался Курул, рассказывая и о том, как купившие по рублю с чем-то землю сейчас же закладывали ее в банк и тут же получали на рубль двадцать, чтобы опять скупать участки.

Но больше всего его негодование взбуждали частные захватчики-купцы. Может быть, в Куруле, навидавшемся крепостных порядков, еще жило слепое преклонение перед властью; может быть, отвод земель чиновникам все-таки не сопровождался такими обманами, какими были переполнены «покупки» разных слетевшихся хищников... Об этих последних Курул буквально не мог говорить сколько-нибудь спокойно, и рассказы его, полные едких насмешек, обрисовывали дейст-

вительно баснословно чудовищный произвол грабителей и насильников. Правда, и здесь доставалось от Курула чиновникам, разным посредникам и становым.

— Напишут, бывало, продано двадцать тысяч десятин, а окажется сорок пять тысяч. И чего напишут: «идти по реке кругом». Пойдут, и еще тысячи две прихватят. По двугривенному за десятину платили, а как еще столько же земли утаивали, так и меньше гривенника выходило.

— Но как же это народ-то соглашался? — спрашивал я.— Ведь по закону нужно две трети голосов...

— Народ! — перебивал меня Курул.— Везде есть плохой народ и хороший народ. Плохой народ получит четверть чаю; за четверть он готов детей продать, и кричит на сходке «хорошо, хорошо!» Старшину волостного подкупали: сто рублей платили ему; подзывает тот к себе поодиночке и кричит: «Прикладывай, собака, тамгу [1]. Не приложишь, мировой [2] тебя в тюрьму засадит». Что тут поделаешь? Иной раз вызовут на сход зимой, нарочно в мороз большой соберут, ну и велят стоять, пока все не подпишут приговор. Покричат башкиры да подпишут, мороз-то в сорок градусов. А то и так бывало: водки навезут в бочках, махан [3] подадут, для старшин подарки да рому... Начнут пить башкиры. А напоят, он хоть на отца родного тамгу приложит... Вот и покупают десятину по гривеннику. А другие и этих-то денег не давали: коленкору зеленого привезут, бусы для баб, медяшки разные... Дадут башкиру пятьдесят аршин коленкору, что хочешь, то и делай! Хоть двадцать штанов нашей! За четверть цены просит назад взять,— не берут, только смеются... Собаки — люди!.. А как запретили, наконец, покупки делать,— арендовать пошли,— такие же воры! За двести рублей тысячи десятин брали! А дубовый лес был — в три обхвата не возьмешь! Досок полтораста один дуб давал,— сорок рублей каждое дерево! Темный народ! Кто только мог, обижал. А чуть что — смотришь: исправник, становой... Маленький полицейский, а помногу земли имел. Ну, зато теперь не возьмешь,— заканчивал свои рассказы Курул,— теперь нет ничего!.. Все взяли!

---

[1] Тамга — подпись, печать со знаками подписи.
[2] Т. е. мировой посредник.
[3] Вареное мясо.

ГОРДОСТЬ МАГОМЕТОВА

I

Была сильная гроза. Одна из тех гроз, какие бывают в Башкирии, когда кажется, что вот-вот треснет надвое небо, треснет под ногами земля и наступит конец миру. С каждым ударом грома казалось мне, что сейчас за громовым раскатом послышится звук страшной трубы и появится на небе крест, и поднимется пламя, и встанут из гробов умершие и убитые люди.

Представьте себе непрерывный грохот — я не могу сказать: грома,— бесчисленных громов; представьте целое море огня, порожденного сотнями сверкающих молний; представьте содрогание громадного леса, точно стонавшего под ударами нечеловеческих сил,— и вам отчасти будут понятны мои мысли и страхи.

Когда разверзалось черно-красное небо и из разорванного отверстия хаотически бурно лились и падали на землю огненные стрелы и мечи, мне казалось, что я давно уж убит, что меня уже нет на земле и что стоны изумленного, ужаснувшегося леса слушает кто-то другой.

Молния иногда падала в десяти шагах от меня.

— Бум! — коротко и сухо било над моей головой, и что-то нестерпимо сверкающее и острое приникало передо мною к земле.

— Бум! — коротко и страшно отвечало небо, и вздрагивала земля, и по замершему лесу катилось:

— Трах-тах-тах!!.

По временам молнии следовали одна за другой так часто, что вместо ночи в лесу становился как бы солнечный день. Все примечалось до малейших подробностей: трещины на коре деревьев, капли росы на траве... на посиневшей лесной дороге глаз отчетливо схватывал норки кроликов и змей.

И внезапно я весь замер от ужаса. Когда однажды так осветило, я увидал перед собой бело-синее, худое лицо человека с вытаращенными глазами, раскрытым ртом, страшно улыбавшимся. В ужас меня повергло именно то, что человек улыбался. Кто мог смеяться в такую пору?!

В лесу сверкнуло еще. Я опять увидел то же смеющееся лицо, увидел бритую голову, увидел, что человек тот сидел на корточках и руки держал около лица. Вот он заметил меня. Его глаза сощурились; человек сделал ко мне движение. Я весь похолодел.

Как на грех, молния стихла. В лесу не стало видно ни зги. Я забился в кусты и, совершенно растерявшись, ждал чего-то

ужасного. Я тогда не соображал, что именно будет. Я только ждал — и боялся.

Около меня раздался хруст ветви. Опять сверкнула молния,— и я благословлял ее. Теперь было видно, что человек тот стоял от меня в двух шагах. Его было видно. Он все так же улыбался.

— Велик Бог в своих делах! Так он поразит всех злобных! — проговорил человек по-башкирски.

II

Страх мой понемногу улегся.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я и был нестерпимо рад слышать свой собственный голос. Уже сознавалось, что я жив, что я не один.

— Что ты здесь делаешь? — повторил я свой вопрос по-башкирски.

Подошедший опять улыбнулся. Улыбался он как-то странно: загадочно и мечтательно... и в то же время что-то не то хитрое, не то жестокое примешивалось к общему непонятному выражению лица.

— Я смотрел здесь на грозу,— проговорил башкир.— Великая была гроза, велик гнев Божий.

— Разве ты так любишь грозу? — спросил я.

Лицо башкира сделалось серьезным.

— Боюсь ее, не люблю. Всякий должен бояться огня... И заметил ли ты? Бог, карая, не пролил слезы. Дождя не было,— это значит, гнев слишком велик и требует мщенья.

Между тем гроза совсем прекратилась. Разорванные тучи быстро неслись по небу, как исполинские птицы, и то прятали в своих лоскутьях луну, то вновь ее открывали, и тогда делалось светло и спокойно.

Скоро тучи унеслись. Засверкали на небе звезды. Точно небо все прорешетилось, и великолепное загробное жилище просвечивало в отверстия на темную землю. Деревья стояли молча и, чудилось, облегченно вздыхали. Кое-где позвякивали ветки,— сухо и осторожно, словно сообщали друг другу о пережитом или поверяли какие-то тайны. И над всем этим стояла полная тишина. Не было слышно ни треска насекомых, ни шороха, ни крика ночных птиц. Казалось, умерло все, и была жива и дышала только великая тишина. Было необыкновенно приятно к ней прислушиваться, и мы оба долго слушали ее; потом я, точно нечаянно, сказал:

— Где же мне провести ночь?

Башкир повернул ко мне голову.

— Я провожу ночь в лесу. Человек должен быть все время

под небом. Только с зимой, с наступлением холода, я иду в жалкие жилища людей.

Я посмотрел на него. Башкир, видимо, читал много священных книг, и в разговоре его проскальзывала восточная торжественность.

— Хочешь, я покажу тебе мое жилище? — спросил он меня.

Я согласился. Идти мне было некуда. Весь тот день я проплутал по степи, отыскивая дорогу в село Тазларово, попал в лес, сбился с дороги и долго блуждал, пока меня не застала гроза.

Мы пошли вместе. Башкир скоро вывел меня на дорогу. Я и не подозревал, что был от нее так близко. Было заметно, что башкир знал лес в совершенстве.

— Вот и мое жилище,— объявил он, останавливаясь на опушке.

С любопытством я осмотрелся. С четырех сторон, образуя замечательно правильный прямоугольник, росли молодые березы; около них тянулись кусты черемухи и вязков, и все это было переплетено хмелем. Получались живые зеленые стены.

— Однако у тебя здесь недурно! — сказал я своему случайному знакомцу.

Башкир сделал суровое лицо и ответил:

— У Бога хорошо все... Если же тебе холодно, я могу развести огонь.

Я ничего не имел против этого: было свежо; башкир живо собрал в кучу валежнику и поджег его. Запахло дымом. Я очень люблю этот острый запах. Глядя, как хитро-осторожно бегали тонкие языки огня по черному хворосту, я подсовывал к огню руки и грелся. Августовские ночи в Башкирии свежи.

— Послушай, а как твое имя? — спросил я башкира.

Поправлявший в костре отлетавшие ветки башкир слегка вздрогнул (он сидел задумавшись) и быстро сказал:

— Мое имя — Рысней.

III

Мы помолчали. Где-то кричала сова — тонко, неприятно, пронзительно, да еще вдали точно ехал кто-то в тяжелой, кованой железом телеге по убитой камнями дороге. Разумеется, это был обман слуха. Ни вблизи, ни вдали такой дороги не было. От этого на душе опять стало неприятно. Всколыхнулись страхи. Я вспомнил про грозу и спросил:

— А вот, Рысней, ты говорил: «гнев велик и требует мщенья...» Какого «мщения» и кому мстить?

Башкир опять вздрогнул. Не было заметно, чтобы он сидел и на этот раз задумавшись. Но он не ожидал такого вопроса — это я сейчас же увидел.

— Какого мщения? — переспросил он и нахмурился. Он помолчал, осмотрел меня долгим взглядом, точно спрашивал себя, можно ли говорить, и, наконец, сказал отрывисто и холодно:

— Мщенье должно быть для нечистых.

Я не сдержался:

— Кто же эти нечистые?

Рысней снова взглянул на меня и, отвернувшись, начал поправлять огонь в костре. Я смотрел, как спокойно брал он в свои черные руки пылавшие угли, и думал о своем загадочном собеседнике. Опять послышалось, точно кто-то едет по камням в тяжелой телеге. На этот раз послышалось не одному мне. Я видел, как поднял голову Рысней. Неприятное чувство ворохнулось на сердце.

— Что это за странность? — проговорил я вслух.— Кто-то едет по камням на чем-то тяжелом...

— Это — Бог! — сказал вдруг Рысней.

Я весь вздрогнул,— до того это было странно и неожиданно, и чуть было не крикнул: «Сумасшедший!»

Захотелось уйти.

IV

— Это — Бог! — глухо шепнул башкир, и на свете костра черные глаза его сверкнули как угли.— Бог! — повторил он громче, и все лицо его загорелось.— Вот идет Он, и идет разить! Скоро придет!

Я опять не сдержался и сказал грубо:

— Да кого разить-то?

Глаза Рыснея сверкнули.

— Злых! — выкрикнул он.

И я и он — оба разом поднялись. Оба вдруг словно ощутили друг в друге врагов. Несколько секунд стояло молчание.

— Злых?.. — медленно переспросил я.— Кто же?..

Башкир только шевельнул губами.

Неподвижно стоя друг перед другом, мы смотрели один другому в глаза... и оба, казалось, думали одно и, думая это, медленно стали опускаться к земле и оба тихо сели у огня.

Я не расспрашивал: я знал, что Рысней будет говорить. Так и случилось. Башкир заговорил, и сначала слова его срывались с губ бессвязно и глухо, затем окрепли и полились гневной пламенной рекой, блиставшей искрами, как опаленные ветви хвороста.

— Мы были свободны... — говорил он, задыхаясь и мрачно блестя в полутьме глазами.— Мы знали только небо и горы... только стариков, своих жен и стада... И пришел человек. Мы записали имя его! Кровью полил он наши луга, и из крови поднялась кровь!

— Надо прощения! — тихо сказал я.— Века пронеслись.

— Семнадцать тысяч было убито! Семнадцать тысяч было убито!.. Он брал заложников и их убивал, когда мы поднимались за свои степи... Сеит, Святой Султан, Кусюм, Измаил!.. [1] Про них деды пели нам песни!.. Ялдар, Карасакал!.. эти имена огнем вырезаны в наших душах! Семь сотен деревень сожжено, семь сотен!.. Все взято у нас, но осталось одно: наши книги, наши мечети...

Голос Рыснея оборвался выкриком. Я посмотрел на него. Что-то большое виднелось в его лице. Он говорил странное, он путал историю, рассказывал о чем-то давнем,— затерянном в веках,— но жутки были его больные, исступленные речи. Не было заметно бритой головы, старого платья, согнутой спины: были только два пылавших глаза да суровое движение черной руки.

«Гордость Магометова!» мелькнуло в моей голове.

Словно чуда ждал он. Но не бывает чудес.

Светало. Я стал прощаться. Больше мне уж не довелось видеть Рыснея.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Маленький уверенный пароход делает мягкий уклон и вступает в устье реки Белой. Это — уже Башкирия, сказочная страна, в которой я не был 25 лет.

«Старый охотник», сорок лет назад зарисовавший Башкирию голода и разорения, Башкирию «колонизаторов», «хазретов», курая и «калыма», вновь вступил в пределы Башкирии, но уже не «угасающей», а возраждающейся, зацветающей ярким цветом свободы и культуры.

Глубокая ночь стоит над Уфою, когда пароход подходит к пристани. Тысячью ночных огней дышит старый, многовидавший город, покоясь под мириадами свечей бездонно-лилового предутреннего неба. Глухо падают к причалам канаты, гремят сдвигаемые мостки, и из темного недра трюма показываются вереницы узлов, ящиков и тюков сходящего на берег народа.

---

[1] Древние башкирские вожди (с 1662 г.).

Я стою у барьера палубы, всматриваясь в случайных знакомцев далекого пути.

Еще день и два назад, бродя по трюму, как родные, я встречал эти коричневые, обожженные солнцем знакомые лица.

Точно только вчера, а не 40 лет назад, я, двадцатилетний студент, сидел на кошме перед старым Угеем, слушая его повести о страшном былом,— и не эта ли зеленоглазая внучка слепого певца — изменчивая Бибик, звеня монетами в косах, выносила из избы кособокий самоварчик, забирая смуглой рукой с блюдцев нехитрые гостинцы, блистая сверкающей улыбкой среди вишневых губ.

— Благодару, спасиби!

И не это ли изжелта-красное, важное, изрытое морщинами лицо с нависшими космами белых бровей видел я сорок лет назад на липовой пасеке? Не пчеловод ли Хаким совершает путешествие в Уфу и не его ли фразу слышу я, проходя меж тюков к кипятильнику:

— Пчелы не кусают меня: они знают своего хозяина, пчела умна.

И как нарочно, уже в полное смешение восприятий времени я слышу, проходя на трап, знакомый жестяной хитрый смешок зауряд-хорунжего Ахмета Усманыча, я вижу его острую спину в диковинном, словно мраморном полувоенном халате.

Хитро прищурившись, блестя выцветшими бурыми глазами, он говорит соседу, степенному старику с белыми подстриженными усами:

— Башкирский эскадрон, шашкам выдергай!

— Сейчас тащим, ваше благородие!

Оба смеются.

Но нет, не до смеха. Кости незабвенного зауряд-хорунжего давно истлели в земле родного села Даушева, а по выступам в серых тенях утра бесконечной цепью проходят согнутые под узлами фигуры стариков с изъеденными усохшими лицами.

Голодная и грязная зверская оспа, знаменитая «инородческая» болезнь, при новой власти ты доживаешь последние дни!

Я всматриваюсь: среди молодых уже нет лиц, изрытых яростью оспы, и живым свидетельством этого является перед помощником капитана молодая девушка в белом халате, по которому причудливо вьются черные блестящие косы.

— Санитарный осмотр. Сначала дети,— с легким восточным акцентом говорит она.

Смотрю еще: на помосте вокзала показывается щеголеватый милиционер, молодой, с свежевыбритым коричневым темноглазым лицом. От его ярконачищенных сапог отскаки-

вает брызгами солнце, вокруг загорелой шеи вьется полоска белоснежного воротничка; разговаривая с вылезшей с чайником увесистой домохозяйкой, он шаркает каблуками, как заправский танцор на балу.

Увидел бы такого милиционера мой милейший заурядхорунжий Ахмет Усманыч — «боевой аписер»! Ведь он вместо прямого и точного ответа молодого милиционера ответил бы домохозяйке:

— На улицу Ленина ходи прямо вверх, мадам!

Я, действительно, и иду «прямо вверх», по улице Ленина. Как высок подъем и как длинна эта тихая улица!

Изнемогши на подступах, я обращаюсь к помощнику движения — уфимскому трамваю. Горожане услужливо и наперерыв объясняют, как добраться до центра города, к гостинице.

Трамвай мал и по-московскому тесен. По-прежнему все мои взгляды на родных земляков, новую землю которых я приехал повидать. С тенью грусти охватывает глаз отсутствие национальных одежд. Но ни «союзная кепка», ни френч не скрывают типа от опытного привычного взгляда. Да и пожалеешь ли о монистах и кажбовах, когда видишь эти юные, искрящиеся неподдельной радостью и счастьем юношеские и девичьи глаза! Разве от того, что в них нет монет, девичьи косы менее блестят на солнце? Разве от того, что на одежде нет галунов, юношеские глаза и зубы менее сверкают?

Уютным, обсаженным цветами сквером прихожу к изящному памятнику, центр которого — мраморный Ленин. Спокойно и мудро прищурившись, он смотрит на город, которому дал новую жизнь...

Саша Черный

(1880—1932)

Саша Черный (это псевдоним, настоящие фамилия и имя — Александр Михайлович Гликберг) родился в Одессе в семье провизора. Печататься начал в 1904 году. Сотрудничал в прогрессивных сатирических журналах «Зритель», «Молот», «Маски» и других. Политическая сатира «Чепуха» (1905) принесла автору известность, но привела к запрещению «Зрителя». Первый сборник стихов «Разные мотивы» (1906) был запрещен цензурой. После чего он уехал в Германию, где в 1906—1907 годах прослушал курс лекций в Гейдельбергском университете.

В 1908—1911 годах С. Черный — активный сотрудник «Сатирикона». В 1909 году поэт находился на кумысолечении в Башкирии, где создал цикл стихов «Кумысные вирши» и в том же году напечатал их в «Сатириконе».

Сборник 1910 года «Сатиры» был посвящен «всем нищим духом», высмеивал мещанство. В следующем году выпустил книгу «Сатиры и лирика», в которой преобладала саркастическая струя.

К Октябрю 1917 года С. Черный пришел в состоянии душевного надлома. Переехал в Вильно, где создал цикл стихов, раскрывающих внутренний мир ребенка. Этот цикл вошел в книгу «Детский остров» (1921).

Судя по духу творчества, С. Черный должен бы остаться на родине, но он избрал чужбину: в 1920 году эмигрировал за границу. В 1921—1922 годах в Берлине он выпустил поэтический сборник «Сатиры и лирика» в двух книгах, в который вошел и цикл стихов «Кумысные вирши», с авторской правкой. Значительное место в творчестве С. Черного занимает проза, в том числе оригинальные по жанру «Солдатские сказки», изданные в 1933 году.

Последняя прижизненная книга автора «Несерьезные рассказы» (1928) окрашена в грустные тона.

Для С. Черного характерен синтез сатиры и лирики, нарочито резкий стиль. Эта необычная творческая манера оказала влияние на формирование поэтики В. В. Маяковского. Умер С. Черный во Франции, в Провансе.

КУМЫСНЫЕ ВИРШИ

I

Благословен степной ковыль,
Сосцы кобыл и воздух пряный.
Обняв кумысную бутыль,
По целым дням сижу, как пьяный.
Над речкой свищут соловьи,
И брекекекствуют лягушки.
В честь их восторженной любви
Тяну кумыс из липкой кружки.
Ленясь, смотрю на берега...
Душа вполне во власти тела,—
В неделю правая нога
На девять фунтов пополнела.
Видали ль вы, как степь цветет?
Я не видал, скажу по чести;
Должно быть, милый божий скот
Поел цветы с травою вместе.
Здесь скот весь день среди степей
Навозит, жрет и дрыхнет праздно
(Такую жизнь у нас, людей,
Мы называем буржуазной).
Благословен степной ковыль!
Я тоже сплю и обжираюсь,
И на скептический костыль
Лишь по привычке опираюсь.
Бессильно голову склоня,
Качаюсь медленно на стуле
И пью. Наверно, у меня
Хвост конский вырастет в июле.
Какой простор! Вон пара коз
Дерется с пылкостью Аяксов.
В окно влетающий навоз
Милей струи опопанакса.
А там, в углу, перед крыльцом,
Сосет рябой котенок суку.
Сей факт с сияющим лицом
Вношу, как ценный вклад в науку
Звенит в ушах, в глазах, в ногах,
С трудом дописываю строчку,
А муха на моих стихах
Пусть за меня поставит точку

Дер. Чебени, 1909

II

Степное башкирское солнце
Раскрыло пылающий зев.
Завесив рубахой оконце,
Лежу, как растерзанный лев,
И с мокрым платком на затылке
Глушу за бутылкой бутылку
Войдите в мое положенье:
Я в городе солнца алкал!
Дождался — и вот без движенья,
Разинувши мертвый оскал,
Дымящийся, мокрый и жалкий,
Смотрю в потолочные балки.
Но солнце, по счастью, залазит
Под вечер в какой-то овраг
И кровью исходит в экстазе,
Как смерти сдающийся враг
Взлохмаченный, дикий и сонный,
К воротам иду монотонно.
В деревне мертво и безлюдно.
Башкиры в кочевья ушли,
Лишь старые идолы нудно
Сидят под плетнями в пыли,
Икают кумысной отрыжкой
И чешут лениво подмышки.
В трехцветно окрашенном кэбе
Помещик катит на обед.
Мечеть выделяется в небе.
Коза забралась в минарет,
А голуби сели на крышу,—
От сих впечатлений завишу
Завишу душою и телом —
Ни книг, ни газет, ни людей!
Одним лишь терпеньем и делом
Спасаюсь от мрачных идей:
У мух обрываю головки
И клецки варю на спиртовке

Чебени.

III

Бронхитный исправник,
Серьезный, как классный наставник,
С покорной тоской на лице,
Дороден, задумчив и лыс,
Сидит на крыльце
И дует кумыс.
Плевритный священник
Взопрел, как березовый веник,
Отринул на рясе крючки,
И — тощ, близорук, белобрыс,—
Уставил в газету очки
И дует кумыс.
Катарный сатирик,
Истомный и хлипкий, как лирик,
С бессмысленным, пробковым взглядом
Сижу без движения рядом.
Сомлел, распустился, раскис
И дую кумыс.
«В Полтаве попался мошенник»,—
Читает со вкусом священник.
«Должно быть, из левых»,—
Исправник басит полусонно.
А я прошептал убежденно:
«Из правых».
Подходит мулла в полосатом,
Пропахшем муллою халате.
Хихикает... Сам-то хорош! —
— Не ты ли, и льстивый, и робкий,
В бутылках кумысных даешь
Негодные пробки?
Его пятилетняя дочка
Сидит, распевая, у бочки
В весьма невоспитанной позе.
Краснею, как скромный поэт,
А дева, копаясь в навозе,
Смеется: «Бояр! Дай конфет!»
«И в Риге попался мошенник!» —
Смакует плевритный священник.
«Повесить бы подлого Витте...» —
Бормочет исправник сквозь сон.
— За что же?! — И голос сердитый
Мне буркнул: «Всё он»...
Пусть вешает. Должен цинично
Признаться, что мне безразлично.

Исправник глядит на муллу
И тянет ноздрями: «Вонища!»
Священник вздыхает: «Жарища!»
А я изрекаю хулу:
— Тощища!!

Чебени.

IV

Поутру пошляк чиновник
Прибежал ко мне в экстазе:
— Дорогой мой, на семь фунтов
Пополнел я с воскресенья...
Я поник главою скорбно
И подумал: если дальше
Будет так же продолжаться,
Он поправится, пожалуй!
У реки, под тенью ивы
Я над этим долго думал...
Для чего лечить безмозглых,
Пошлых, подлых и ненужных?
Но избитым возраженьем
Сам себя опровергаю:
Отличить ли в наше время
Тех, кто нужен, от ненужных?
Может быть, я сам не нужен,—
Ни себе, ни добрым людям...
Может быть, Гафиз беспечный
Всех мудрее и полезней...
У реки под тенью ивы
Я рассматривал природу,—
Видел заросли крапивы
И вульгарнейшей полыни.
Но меж ними ни единой
Благородной, пышной розы...
Отчего так редки розы?
Отчего так много дряни?!
По степям бродил в печали:
Всё коровник да репейник,
Лебеда, полынь, поганки
И глупейшая ромашка.
О, зачем в полях свободно
Не растут иные злаки —
Рожь, пшеница и картошка,
Помидоры и капуста?

Почему на хмурых соснах
Не качаются сосиски?
Почему лопух шершавый
Не из шелковых волокон?
Ах, тогда б для всех на свете
Социальная проблема
Разрешилась моментально...
О, дурацкая природа!
Эта мысль меня так мучит,
Эта мысль меня так давит,
Что в волнении глубоком
Не могу писать я больше...

1909
Чебени.

Л. Н. Андреев

(1871—1919)

Леонид Николаевич Андреев родился в Орле в семье чиновника. Окончил юридический факультет Московского университета. Печататься начал в 1898 году. Был близок с М. Горьким и примкнул к группе писателей, объединившихся вокруг издательства «Знание». Продолжая гуманистические традиции русской классической литературы, выражал сочувствие бесправному «маленькому человеку», «униженным и оскорбленным» (рассказ «Баргамот и Гараська» и другие).

*В произведениях писателя слышатся и пессимистические, и сентиментально-утопические ноты, а его персонажи частенько лишь пассивные жертвы. Вместе с тем в них нередко звучит также протест бесчеловечности капиталистического строя, противоречий бедности и богатства, подавления человека машиной, техникой, против мещанства. Революционеры в изображении Л. Андреева оказываются анархистами («Савва», «Тьма», «Царь Голод»). В цикле философских драм писатель изображал человеческую жизнь как бессмысленный круговорот, развенчивал гуманистические идеи деятельного добра («Жизнь человека», «Черные маски» и другие). В бытовых пьесах показывает пошлость жизни, обывательские настроения студенчества, утратившего передовые идеалы («Дни нашей жизни», «*Caudeamus*»), моральный распад буржуазной семьи («Анфиса», «Катерина Ивановна», «Профессор Сторицын»). В 1915 году была поставлена реально-психологическая драма «Тот, кто получает пощечины» (издана в 1916 году), в которой звучит протест против бесчеловечности буржуазного мира, власти денег. Охваченный безумием капиталистический мир нарисован в последнем крупном произведении писателя «Записки сатаны», созданном под влиянием мировой войны и революции.*

В рассказе «Сын человеческий», окрашенном атеистическими мотивами, главный герой его поп Иван из села Богоявленского, Уфимской губернии, хочет принять мусульманскую веру, и события разворачивают вокруг этого необычного желания.

После Октябрьской революции Л. Андреева эмигрировал за границу

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

I

В одном великорусском небогатом селе жил старенький, шестидесятилетний поп, по имени отец Иван Богоявленский. О том, как началась его жизнь, о годах его детства и юности не мог бы рассказать никто; сам он за давностью лет все перезабыл, а жена и дети, родственники и знакомые просто ничего не знали. И выходило так, будто у его жизни совсем не было начала — как не будет, вероятно, конца. На коридор была похожа жизнь, на длинный коридор, в котором множество глухих дверей: впереди открывается, а сзади захлопывается что-то и хоронит в тишине.

И чем дольше жил о. Иван, тем больше отдалялся он от людей и даже от самого себя. Когда-то ему казалось, что его знают все люди, весь мир знает его, и даже сам бог внимательно следит за ним треугольником своих очей; но вот прошло время, и его перестали знать,— в лесу все деревья похожи одно на другое. Главною же причиною было то, что все поступки его были не те, какие надо, и все слова его были не те, какие надо; но об этом никто догадаться не мог, а сам он, если и являлось желание, так все же рассказать не умел: не было слов, какие нужны для такого странного и страшного рассказа. По виду был он низенький, сухой старичок, с реденькой, общипанной злой бороденкой и темным, присохшим к костяку лицом; вглядевшись пристальнее в его нос, можно было заметить даже ту границу, где впоследствии образуется провал и исчезнет призрачное. Характер же у попа Ивана был скверный; часто злился поп Иван, ехидничал, при игре в карты заглядывал к соседям и вообще мошенничал, а детей з церковной школе драл за уши с жестокосердием.

И уже давно он начал проявлять некоторые странности. Так, лет за десять перед этим, когда его старший сын уже сам сделался священником, о. Иван вдруг пожелал переменить фамилию. Пятьдесят лет был Богоявленским, и отца имел Богоявленского, и деда Богоявленского, и уже внуки от него пошли Богоявленские, а тут вдруг пожелал перелицеваться и выскочить из цепи, странным образом разорвав ее и концы оставивши в воздухе. Писал прошения, хлопотал, ездил в город и давал в консистории взятки, но ничего не добился, так как не мог представить уважительных причин.

— Какой же я Богоявленский? — говорил он, раздраженно пощипывая бородку, но более обстоятельного объяснения представить не умел. И прошения свои писал он так:

«Нося от отца моего, как бы в дар, наравне с прочим наслед-

ственным имуществом, фамилию Богоявленского и не будучи по существу таковым, свидетельствуюсь перед Вашим Высокопреосвященством о моем непременном желании заменить сей неподходящий знак более вразумительным и к существу моему ближайшее отношение имеющим; при выборе же оного и не имея собственной мудрости полагаюсь на мудрость выше меня стоящих». И подпись следовала такая: «протоиерей Иван без фамилии».

В последних словах прошения было больше ехидства, нежели истинной скромности: уже заранее в потаеннейших мечтах своих он дерзко решил отказаться от всякой предложенной ему фамилии и просить для себя номер — пятизначное число, последняя цифра которого должна быть 9. И число он уже знал, но открыть его хотел только в конце.

Но до этого дело не дошло. Начальство посмотрело на просьбу хмуро, как на вредное чудачество, да и дети, особенно старший, Николай, были против перемены фамилии; и так и остался о. Иван — Богоявленским. Первое время он раза два рискнул подписаться в служебных бумагах: «Протоиерей Иван Богоявленский по принуждению». Но, получив строгий выговор, отказался от дерзости.

Затем, уже совсем недавно, он выписал из столицы граммофон, хотя был скуп и никаких удовольствий, даже хорошего стола для себя, не допускал. Но духовных песен взять не пожелал, а потребовал от магазина светской музыки, какую играют на балах. Ему прислали мазурки, па-де-катры, лезгинку и даже гопака, и он слушал все это в одиночестве,— постороннего присутствия не любил. Потом выписал рассказы из еврейского и армянского быта; и часто ночью, когда попадья уже спала, в соседней маленькой комнатке, пугая, вдруг раздавался незнакомый, гнусавый, страшно торопливый голос, точно катившийся по железу и временами путавшийся в своих собственных звуках. Нельзя было понять, о чем он говорит; и когда он начинал смеяться коротко и деловито, но с удивительной развязностью — попадья крестилась, поп же маленькими шажками прохаживался по комнате и многозначительно поглядывал в темные оконца, за которыми нерушимо и злобно лежала тяжелая осенняя деревенская ночь.

От этого граммофона сошел с ума щенок, которого о. Иван, толкаемый злым любопытством, пожелал насильственно приучить к музыке и рассказам из еврейского быта. Сперва щенок довольно бодро лаял на граммофон и как-то особенно, по-собачьи становился на цыпочки, чтобы заглянуть в трубу, но вскоре стал визжать, трясся от страха и недоумения и прятался под стулья и диван, застревая в узких местах, так как был толстенький. Но о. Иван, злясь, вытаскивал его

за ворот мягкой, как бы на рост сделанной шубы, и заставлял слушать незнакомый, торопливый голос, катящийся по железу. Случалось, что щенок начинал кружиться очумело: припадал на передние лапки, особенно на левую, и, стукаясь об пол большой, тяжелой головой, двигался по неправильным, полным ужаса кругам,— тут поп Иван делал ему передышку: но по прошествии времени снова заводил машину.

Делал он это настойчиво и безжалостно, и щенок-таки не выдержал: сошел с ума. Он с недоверием и подозрительностью относился к каждому предмету, стоявшему молча. При всяком же голосе, звуке или песне приходил в состояние крайней тревоги и, фыркая, разыскивал голос не в человеке, а позади его. Потом начинал выть от ужаса и прятался в лопухах. По-видимому, у него являлось временами желание разобраться в страшной путанице жизни или умилостивить ее покорностью: он вилял хвостом перед граммофоном и делал вид, что любит его,— но при первых же звуках громкого зловещего шипения, предвещавшего наступление таинственного голоса, не выдерживал и бежал в лопухи. О. Ивана щенок боялся, как злого духа, начальника всех адских сил; и расти щенок перестал. Весной во время разлива щенок утонул в реке: очень возможно, что он покончил самоубийством, отчаявшись найти правду жизни.

К гибели щенка все относились равнодушно: в своем страхе и жалких виляниях хвостом он не был даже забавен и наводил скуку. Но о. Иван очень жалел, что щенок умер, не пройдя всего предназначенного ему пути: у о. Ивана был план, скорее мечта — свезти щенка в город и показать ему живую, движущуюся фотографию. Даже до бессонницы доходил маленький поп, яростно мечтая, как бы все это произошло: как бы ничего не подозревая, щенок смотрел на белую, светящуюся стену, и что бы он выразил на своем собачьем лице, когда по стене молча — совершенно молча — забегали бы люди и собаки. Да, жаль, что умер.

II

Со вторым и с третьим щенком дело не пошло: повыли немного и стали равнодушны — по-видимому, не все собаки так чувствительны к граммофону, как был покойный. И особенно плох оказался второй из пробных щенков — кудлатый песик с желтыми, как янтарь, глазами: в самых сильных местах он задирал заднюю лапу и яростно, но по-детски промахиваясь, чесал себя за ухом.

И такое чувство было у о. Ивана, будто разбил он единственное зеркало и не во что ему теперь поглядеться.

III

Еврейским погромам о. Иван очень радовался.

— Жидов надо бить,— говорил он коротко, с колючей сухой злостью, и делал ударение на слове «надо».

Но и тут подтвердить доказательствами своего мнения он не мог или не хотел,— его трудно было разобрать. Из граммофонного магазина он выписал, на этот случай, еврейскую музыку, и ему прислали какого-то знаменитого кантора, певшего с хором. Сперва о. Иван слушал его, по своему обыкновению, в одиночестве, ночью, но потом, как-то в праздник, устроил у себя большой съезд, пригласил соседнее духовенство и родственников и торжественно преподнес им кантора. Хотя в это время мода на граммофоны распространилась широко и почти у каждого состоятельного иерея имелся свой инструмент, но такой музыки не было ни у кого, и слушали со вниманием и смехом. Была одна такая песня, кажется погребальная, в которых невидимый певец захлебывался скорбью — не плакал и не пел он, а кричал истово и безумно, как путник в лесу под ножом разбойника.

— Ай да жид! Как его разбирает,— говорили с восторгом слушатели, плохо понимая, в чем дело.

Отец же Иван, пощипывая бородку и закрыв глазки, вслушивался бескровным ухом в отчаянные вопли и размышлял о том, есть ли у граммофона душа, или же одни только звуки. Но, во всяком случае, это было не то, что надо. Посмотрел испытующе на слушателей: кои бессмысленно гогочут, кои равнодушны и дремлют; косматый, хмельной о. Эразм Гуманистов закрыл глаза и сопит — вот-вот, кажется, поднимет ногу в тяжелом окованном сапоге и почешет себя за ухом. Не то. И разве только чахоточный дьякон — один-единственный среди собравшихся — обнаруживал признаки желаемого волнения.

— Ах, боже ты мой, и где у него этот голос сидит? — с тревогою вопрошал дьякон и протягивал к машине указательный согнутый палец, но коснуться не смел.— То он тебе жид, то он тебе баба... А под собаку он может? Может. Нет, отцы, я бы этот граммофон истребил: уж очень он совесть тревожит. Подлец его выдумал, вот что я вам скажу, отцы.

Отцы посмеялись над невежеством дьякона, но потом серьезно заспорили, был ли изобретатель подлец, или хороший человек. Но решить вопроса не могли; и всех смутило предложение попа Ивана — за неимением певчих поставить на клиросе граммофон с надлежащим духовным песнопением.

— Это идея! — сказал недавно окончивший семинарист, сын о. Сергия Знаменского.

Но сам о. Сергий раздумчиво покачал лысой головой и усомнился.

— Так-то оно так, но вот в рассуждении баб. Бабы не выдержат.

— Но а что такое бабы? — горячился семинарист.— Как можно в таком важном вопросе...

— Нет, не вынесут этого бабы,— настаивал о. Сергий.— Скандал будет. Нехорошо.

— Можно приучить,— отозвался о. Иван.— Эка, бабы!

— И что вы говорите, отцы? — беспокойно совался дьякон и таращил большие, немигающие, застывшие глаза.— Тогда и вместо вас, о. Иван, можно граммофон поставить.

— Можно,— согласился о. Иван.— Отчего же нельзя.

— И вместо меня тоже граммофон? — волновался дьякон.

— И вместо тебя граммофон.— Поп Иван начинал злиться.— Эка, подумаешь, птица какая: вместо всех граммофон можно, а вместо него нельзя. Еще лучше будет. И голос чище и не соврет, как ты. Тоже, артист!

Дьякон оскорбился и даже загрустил. Но при расставании поп Иван ласково потрепал его по плечу и отвел к сторонке.

— Ты не сердись, дьякон, я пошутил. Я тебя, отец дьякон, люблю.

— Ну, уж какая это любовь,— горько усмехнулся чахоточный дьякон.

— Верно. Ты вот что, приходи-ка вечерком, вместе будем граммофон слушать.

— Нет, уж увольте, отец Иван,— выставил дьякон обе ладони.— За ласку благодарю, а что касается граммофона, то я еще совести не потерял.

— Вот дурак-то — я тебе веселую поставлю.

— Нет, уж увольте. Мне душа дороже вашего веселья.

О. Иван обозлился, и бороденка у него затряслась.

— Скажи пожалуйста... А еще есть ли у тебя душа-то, ты бы подумал. Может, пар.

— После такого возражения... — солидно начал дьякон, но поп у самых ног его плюнул на пол и зашаркал по плевку мягкой туфлей.

— Тьфу — вот твоя душа! Я, может, его больше вас всех уважаю.

— Его?

— Его.

— Граммофон?

— Граммофон.

Расстались в ссоре. Но дьякон был добрый и деликатный

человек, и уже скоро его стала грызть совесть, что он обидел старика. Не выдержал и дня через три после гостей утречком пошел к о. Ивану извиняться.

Стояла поздняя весна, и на солнце было жарковато, но чисто и приятно; а в домике у попа было душно, неряшливо и крепко пахло чем-то плохим. Уже два месяца у попа Ивана гостила замужняя дочь с грудным ребенком, и по всему дому стоял острый запах детских пеленок, которые она, не прополаскивая, сушила перед всеми печками. И похоже было на то, что со времени гостей ни комнат не убирали, ни полов не подметали.

— Чего надо? — спросил о. Иван.

— Да что, о. Иван: вы уж меня простите, не понял я вашей шутки,— покаялся дьякон.

— Садись.

Дьякон сел и со страхом покосился на никелированную трубу граммофона; вздохнул и перевел глаза на мокрые пеленки, развешанные на веревочке у белой кафельной печки.

— Вы уж простите, отец Иван.

— Бог простит.

Поднял кверху седенькую злую бороденку, крепко сжал сухие старческие губы — смотрит в потолок, поигрывает пальцами и молчит. «Э, да никак он нынче и не умывался»,— подумал дьякон, и вдруг ему показалось, что в комнате запахло псиной, будто под диваном собака. Дьякон завозился на стуле и с надеждою взглянул на окно, где воля,— оказалось, что и зимние рамы еще не вынуты, и грязная вата с разбросанными по ней язычками красной и синей фланели лежит так тошно, будто от нее вся эта духота и жар. И еще явственнее запахло псиною.

— Вот и граммофон стоит,— развязно, в отчаянии, начал дьякон.— Какая удивительная вещь! Конечно, для высоких умов, которые ежели не останавливаются перед естеством и входят в рассуждение предметов... Но почему же,— вдруг возопил дьякон,— но почему же сдох щенок? Вы мне это объясните, отец Иван, потому что, говоря по чистой совести, как перед истинным богом, я с вашей манерой не согласен.

Поп молчал и глядел в потолок, на обуглившийся закоптелый кружок от лампы. И одет был поп не в одноцветный подрясник, а в какой-то цветной полосатый халат — поп не поп, татарин не татарин.

— Вразумите, отец Иван,— беспомощно настаивал чахоточный дьякон.

Но поп упрямо и зло молчал; только раз быстро взглянул на граммофон. За перегородкой громко заплакал младенец.

Дьякон горько усмехнулся:

— А под невинного младенца он тоже может?

— Может.

— Хм! — хмыкнул дьякон.— А ежели силы не хватит?

— Хватит.— О. Иван вдруг остро взглянул подслеповатыми глазками на дьякона и как будто усмехнулся.

— Но позвольте вам заметить, отец Иван, что у крещеного младенца душа невинна.

— Анна! — крикнул поп за перегородку.

Вошла высокая худая женщина с бесцветным серым лицом и ошалелыми глазами; на руках у нее, широко разевая беззубый рот, заливался плачем младенец, сморщенный, красный, как старуха из бани.

— Живот болит? — коротко спросил о. Иван.

— Должно быть, живот: кто его разберет. Нынче всю ночь криком кричал.

— Садись.

Женщина покорно села, а о. Иван вдруг быстро подошел к трубе и начал делать что-то страшное. Зашипело. Дьякон привстал и слегка побледнел:

— Но позвольте, отец Иван...

Вдруг тот самый несчастный жид, которого резали на большой дороге, завопил истошным голосом прямо в нос, глаза и уши так, что у дьякона задрожали мозги. Младенец крикнул еще раз и замолк; а о. Иван немного брезгливо взял его из рук дочери и ближе поднес к трубе,— дьякон даже всплеснул руками. И от веселого ли блеска трубы, или от громкого голоса — младенцу вдруг стало весело, и он засмеялся. Засмеялся и поп коротким, злым, шамкающим смешком; и все это было так страшно: дикие вопли человека, которого режут, и беззубый, зловеще веселый смех младенца и старика, что дьякон поднялся и, не прощаясь, ушел. И никто не вышел его провожать, и пока он одевал верхнее платье, точно спьяна теряя широкие рукава, за стеной кричал, надрываясь, несчастный жид. Бесшумной тенью выглянула из другой двери попадья и, словно не заметив дьякона или не узнав его, так же быстро и бесшумно скрылась назад.

Только в полверсте, на высоком берегу спадавшей после разлива реки, дьякон опамятовался: вспомнил, что у него чахотка и что нельзя распахивать грудь, когда ветер сырой, от воды; удивился, зачем он сюда попал — домишко его был рядом с поповским. И впервые в чем-то усомнился чахоточный, добрый и деликатный дьякон.

IV

Когда вышел указ о веротерпимости, о том, что каждый человек, недовольный своей верою, может переменить ее на другую, хворый дьякон затосковал и даже попробовал, как во времена здоровой юности, удариться в запой. Но ничего из этого не вышло: не было кружащего голову хмеля, а только кашель, только тупой, тяжелый, бестолковый угар. Однако пригласили о. Ивана, чтобы он усовестил пьяницу и отнял у него бутылку с водкой.

— Ты что это вздумал, а? — строго сказал поп Иван, отбирая бутылку.— Ишь, на донышке только осталось.

Дьякон уставил на него худое лицо, покрытое зловещей матовой бледностью, и безуспешно пытался попасть своим прыгающим взглядом в поповские маленькие зрачки — черные булавочные головки среди небольшого, круглого, зеленоватого болотца. Усмехнулся обидно-иронически и горько и дерзко возразил:

— А и-почему? — и вдруг глупо засмеялся: — пойдем, батька, граммофон слушать.

— Ну и дурак!

— Нет, не дурак, а очень даже умный человек. Заводи машину.

Дьякон заплакал и вдруг ударил кулаком по столу.

— Заводи машину, а то расшибу! Я теперь на все пошел. Прикажете мать зарезать? — сделайте милость, сейчас зарежу. Мамаша! Пожалуйте сюда!

Но никто дьякона не боялся и веры его страшным словам не давал; поорал дьякон еще немного и заснул на полу, около кровати — на кровати в согласии со своим теперешним настроением лечь не пожелал. И в этом никто ему не стал мешать; и только мамаша, старая убогая псаломщица, молчаливо принесла свою подушку и подложила под лохматую, пьяную голову. И она же в сенях поблагодарила о. Ивана — как-то боком, бесшумно схватила его сухую руку и не то поцеловала, не то так что-то благодарное сделала с нею. Старик ее не заметил, потому что и сам с обнародования указа находился в состоянии глубочайшей задумчивости и был рассеян.

И вот тут-то сказалась необыкновенная натура о. Ивана Богоявленского: прошло время, и все успокоилось, и дьякон перестал пить, и об указе позабыл, как будто его не было никогда,— и только о. Иван что-то упорно соображал и выискивал. Вдруг снова послал не прошение, а дерзкое и заносчивое письмо с требованием об отмене фамилии. Вдруг совсем забросил граммофон и сперва велел вынести его на сеновал, а потом подарил его дочери, которая уезжала с ребенком

восвояси. Вдруг ударился в хозяйство, но и то как-то странно: вздумал скрестить хряка с яркой, горделиво мечтая, что от этого противоестественного союза произойдет новая удивительная порода. А когда, кроме соблазна для всей деревни, ничего из этой затеи не вышло, в гневе приказал зарезать неповинного хряка — молодого, тощего, длинноногого мечтателя об иных краях и доле иной. И, наконец, зачем-то сам перед маленьким зеркальцем подстриг себе усы, так что обнажились сухие пергаментные губы; и было что-то наивное, немного ребячье, немного стыдливое, когда вышло на свет далеко и, казалось, навсегда запрятанное тело. Этот случай вновь жестоко смутил чахоточного дьякона; и хотя в мудрость о. Сергия Знаменского он не верил и ехать было далеко, верст тридцать, все же отправился к нему с жалобой и за советами.

— Что же это такое! — жаловался дьякон.— Он же теперь и обриться может. Возьмет у писаря бритву да и обреется до голого тела — тогда что, а?

О. Сергий предался размышлению, но ничего придумать не мог.

— Нет, бриться не станет,— решил он больше для успокоения мятущейся души дьякона.— Как это можно!

— А вдруг обреется?

— Нет,— замотал головою о. Сергий.— Как это можно. Конечно, не обреется.

— Как вы это легко говорите, отец Сергий,— огорчился дьякон,— не обреется! Будь бы он спроста, тогда и говорить бы не стоило, я и сам, как помоложе был, усы себе ножницами подравнивал. Он с умыслом.

— С каким?

— А с таким,— многозначительно, но как бы равнодушно ответил дьякон.— Вот поживете, так сами увидите.

Лысина о. Сергия взмокла от волнения:

— Не смеет. На то канон есть.

— Нашли чем испугать! Очень ему нужен ваш канон. Раз человек на такое посягнул...

— На что «такое»? Ты, дьякон, говори толком, а не пугай, — не на трусливого напал.

Но дьякон и сам путем не знал, на что, воистину страшное и кощунственное, посягал поп Иван. И уклончиво, но не теряя достоинства, ответил:

— Я что ж? Я сам как бы жертва. А вот поживете, тогда слова мои вспомните.

Задумались.

— Намедни,— задумчиво сказал о. Сергий,— намедни наш староста Василий Иваныч политического преступника поймал. Хвать его за бороду, а борода-то в руке и осталась, а вместо

бороды-то начисто голое лицо, как у свиньи под рождество. Вот оно.

Дьякон побледнел.

— Так: брал одно, а оказалось и совсем другое. А вы говорите — не посмеет! Да я и за свою бороду, если хотите по совести знать, пятиалтынного не дам, а не то что за попову. Раз на такое пошло, так и я могу у писаря бритву взять, мне не жалко.

— Да ты-то что? — рассердился о. Сергий.— Он-то хоть знает, зачем усы стрижет, а ты-то чего взбаламутился? Ведь не тебя стригут.

— Как вы это легко говорите, отец Сергий,— опять огорчился дьякон.

Но понемногу успокоился и даже как будто поверил, что не посмеет обриться поп Иван. Притворился спокойным и о. Сергий, но тяжкое сомнение осталось у обоих. И как ни совестно было дьякону, а время от времени под приличными предлогами забегал к попу, чтобы взглянуть на его бороду. Но все было в порядке, и о. Иван был тих и, насколько умел, обходителен; и, наконец, в доме не было граммофона — это уже совсем успокаивало дьякона и располагало его к душевной беседе.

— Помните, отец Иван, как и пьян-то был, а? — блаженно изливался он.— Вот дурак-то был. Спасибо, что вразумили — сдох бы я, либо в реку бросился, как ваш щенок.

— А теперь умный стал?

— Теперь я умный,— дьякон самодовольно вытаращил на попа свои застывшие, немигающие глаза,— теперь я очень умный. Нет, думаю, какая же это вера, когда ее менять можно — что же это такое, граммофон, что ли!

— Ну, ну, ты граммофон оставь,— сердито сказал о. Иван,— тоже выдумал с пьяных глаз.

— Ей-богу, граммофон,— настаивал дьякон.— То тебе жид, то тебе, как это сказать, католик, а то тебе... — дьякон захохотал,— мухаметанин! Ей-богу!

Бороденка о. Ивана злобно затряслась:

— Ну и дурак!

— Конечно, дурак,— гоготал дьякон.— Как это по-ихнему: аллабалла... Соблазн! Нет, вы подумайте, отец Иван, до какого затмения дошел человек: я ведь по пьяному делу, со злости, конечно, ну и от водки тоже, веру переменить хотел. Ей-богу. Мне теперь, думаю, все разрешено, и есть я не кто иной, как азиат. Я бы тогда, отец Иван, человека мог зарезать — что такое человек, а? Режу же я курицу или, скажем, поросенка — вот какие каторжные мысли,— вспомнить страшно.

— Умный ты, я вижу, человек,— сказал о Иван невинно — Такой умный, такой умный...

— Это я теперь,— сознался дьякон,— а прежде дурак был.

— То-то я и смотрю: и откуда такая красота? И откуда такой ум? Или это тебя мать таким родила, или ты с крыши головой брякнулся — понять не могу.

Дьякон немного забеспокоился от ласкового голоса о. Ивана.

— Мамаша у меня женщина слабая,— нерешительно сказал он.

— То-то я и говорю: не иначе, как с крыши брякнулся. Тебе бы, дьякон, первым министром быть или страны какие завоевывать: взял рубель и скалку и пошел чесать... Мазепа!

Дьякон окончательно удивился и почувствовал приближение обиды:

— Это кто ж Мазепа? Я?

— Ты.

— Мазепа?

— И Мазепа и дурак. И ни в какую веру тебя не примут, если б и просился. Таких, скажут, дураков у нас и своих много, подавай следующего.

— Это кого же следующего? Уж не вас ли, отец Иван? — бессильно съязвил дьякон.

— Что ж, может, и меня,— равнодушно ответил поп и уставился бороденкой кверху.

— После такого возражения,— солидно начал дьякон, вставая, но вдруг весь отчаянно заметался.— Нет, это что же такое, какой же теперь я могу иметь смысл? Щенок я вам, что ли? Мне ваших булок с сахаром не надо, а вы мне скажите, как есть я человек мятежный: какой во мне смысл?

— Никакого.

— Нет, врете, отец Иван,— почти плакал дьякон,— смысл во мне есть, только его оформить надо. Вы мне голову не замолачивайте, а скажите уж прямо... — Дьякон нагнулся к о. Ивану и злобно, насколько мог, зашептал: — Усы-то, усы-то вы в каком отношении обстригли, а? И эта манера, а? И это тоже как будто ничего, а? В монастырь вас надо на послушание, вот что!

— В монастырь?

— Да, в монастырь.

— А это видел? — ответил о. Иван неприлично.

И опять дьякон ушел не попрощавшись и даже без шляпы; и только к вечеру, спохватившись, прислал за шляпой старуху мать, но строго наказал ей ни поклонов, ни иного привета попу не передавать.

А через три дня разразилась катастрофа: о. Иван послал в синод заявление, что, по требованию совести своей и на основании указа, он желает перейти в магометанство.

V

Отовсюду съехались увещеватели и заселили тесный поповский домишко.

Приехал о. Сергий со своим дьяконом Агафангелом, но без жены — женщин на такое дело брать не годилось; поджидали с часу на час о. Эразма Гуманистова, школьного товарища попа Ивана, огромного старого пьяницу с львиными волосами и сизым носом. Появилась откуда-то засушенная старенькая попадья, словно для гостей ее вынули из зимней кладовки вместе с другими припасами, поила и кормила и ничего не понимала, но настроение имела тревожное. Особенно пугало ее то, что должны совершенно необычно приехать оба сына: старший — городской священник, и младший — семинарист Сашка. И целый день, не сходя со стола, бурлил самовар, и около него шептались и суетились люди, торопливо глотали чай и вздыхали, поглядывая на перегородку, точно за нею стоял покойник. А за перегородкою, прислушиваясь к тому, что делалось в этой комнате, и даже припадая изредка бескровным ухом к тоненькой двери, бесшумно похаживал неприступный о. Иван и пощипывал бороденку злобно, но неторопливо: торопиться было некуда.

Не выходил из поповского дома и чахоточный дьякон: он окончательно потерял всякое соображение и только безнадежно взвывал. Попробовали с самого начала послать его к о. Ивану разведчиком, но ничего из этого не вышло: о. Иван с первых же слов выгнал его и даже на пороге ударил дьякона в спину сухоньким костлявым кулаком. Это все видели, и дьякону, помимо всего прочего, было нестерпимо совестно; он подергивал плечами, как будто его кусало между лопаток, и иронически ухмылялся.

Изредка кто-нибудь подходил к двери и осторожно стучал:

— Не хотите ли стакан чайку, отец Иван?

Нерешительное молчание и потом ответ:

— Давай.

В узенькую щель просовывалась сухая старческая рука, в самих пальцах которой чувствовалась злая готовность ко всяческому бою. Но всех радовал ответ о. Ивана, как будто ожил покойник или запросил пищи тяжело больной; и нежно предлагали:

— Бараночек не хотите ли, отец Иван? Хорошие баранки.

— Нет.

— А войти можно? Мне бы, собственно, только на минутку,— умильно улыбался в стену о. Сергий.

— Нет. Незачем.

И только на второй день, очевидно, соскучившись без противников, поп разрешил о. Сергию войти. И, когда о. Сергий слегка боком втиснулся в приоткрытую дверь, дьякон даже скрипнул зубами от волнения.

— Здравствуйте, отец Иван.

— Здравствуйте, отец Сергий.

И больше ничего. Помолчали. Еще помолчали; за стеной у самой двери кто-то густо в землю сопел — видимо, подслушивал. Это приободрило о. Сергия.

— А что, слыхали ль, отец Иван,— начал он весело и совсем издалека,— только не знаю я, правда это или нет, будто есть в Америке такие, которые называемые мурмоны или гурмоны...

— Не знаю.

— Как же, как же, есть! Мне соборный протодьякон рассказывал. И будто у них, не знаю только, правда это или нет,— заговорщически склонился он к самому лицу о. Ивана,— существует такое отчетливое понятие о таинстве святого брака, по которому можно иметь жен... даже до сотни. И вот думаю я...

О. Иван сострадательно покачал головой.

— Ну и глуп же ты, отец Сергий. Учили тебя, учили, а хуже ты всякого мужика. Мурмоны! Сам ты мурмон!

— Но по закону Магометову...

— Молчи уж — ты и своего-то закона не знаешь. А тоже — по закону Магометову!..

— Да ведь он нехристь, Магомет.

— А ты кто? Тоже нехристь. Только он откровенно все объясняет, а ты плутуешь.

— Зарапортовались, отец Иван,— сухо отозвался обиженный поп.

— Ты что делаешь, когда солнце восходит? Храпишь, слюни носом пускаешь, а? А он тебе, как солнышко восходит, буря ли, непогодь ли — лезет на колокольню и самым громким голосом кричит: спать спите, а бога не забывайте — новый день занялся. Это как, по-твоему?

— Ничего особенного. А что касается сна, так при ихнем многоженстве...

— Ты понимаешь ли, что такое сон? Ничего ты, лысый, не понимаешь. А он в это понятие вник до самого существа. Спать, говорит, спите, проклятые, а бога не забывайте! Что же касается жен,— о. Иван высокомерно взглянул на собеседника,— то жены нужны для потомства.

— А по-моему, это блуд, неистовство плоти.

— С тобой разговаривать,— рассердился о. Иван.— Ты это пойми: плохой тот хозяин, который семя держит в мешке, а не рассевает его по полю. Это, брат, не я, это Магомет сказал.

О. Иван сочинил слова Магомета, но не заметил этого и победоносно задрал бороденку кверху.

— Покайтесь, отец Иван,— попросил о. Сергий.— Возьмите ваше слово назад. Подумайте: шестьдесят лет жили честно, благородно, сколько детей накрестили, сколько покойничков схоронили, внуки у вас есть, каково внукам-то; а жена-то ваша? Ведь если ей сказать про ваши планы...

В комнату неслышно протискался дьякон и мрачно стал у порога,— оба попа сделали вид, что не заметили его.

— По деревне гул идет,— продолжал о. Сергий слезливо,— бесчинство началось: не только бабы, но и мужики всякого смысла лишились.

Вступился дьякон.

— Это от граммофона,— мрачно сказал он.— Тут ничего не поделаешь. Совесть не выдержала, колесом пошла.

— Ну ты тоже! — недовольно отозвался о. Сергий.— Сам ты колесо.

— А почему сдох щенок? Господи, и на кого ты нас покинул,— взмолился дьякон,— моченьки моей не стало, лучше бы мне у груди матери помереть, чем дожить до такого... Куда теперь идти? Одна дорога, что в кабак, что воровать.

— Соблазн! — вздохнул о. Сергий.

— Заранее говорю: вяжите меня, пока я не начал,— мрачно гудел дьякон, не отходя от притолоки, похожий на телеграфный столб,— истощился я и гляжу беспредметно; и вскоре потеряю окончательный смысл.

О. Сергий указал рукой на дьякона.

— Глядите, что наделали, отец Иван. Аще, сказано, кто соблазнит единого от малых сих...

— От малых сих,— мрачно подтвердил дьякон.

— Тому...

— Тому,— вторил дьякон.

О. Иван вскочил и затопал по полу мягкой туфлей.

— Не желаю! — крикнул он.— Довольно посмеялись надо мною — кости повысушили. Не желаю! Вон!

Пришлось уйти. И опять в тишине бурлил самовар, и опять в тишине громко тянули чай с блюдечек и громко вздыхали. Дьякон попробовал было излиться перед о. Сергием, но тот строго пригрозил ему пальцем, и тишина восстановилась. Постучали осторожно к о. Ивану в дверь:

— Огня не надо ли?

Не понадобилось; так и проходил о. Иван весь вечер в тем-

ноте, натыкаясь на стулья. Хотя дьякон жил рядом, но ввиду тревожного времени решил остаться ночевать; и попадья об этом просила. И уже когда укладывались все, о. Иван потребовал к себе попадью,— вышла она совсем запуганная и ничего не понимающая.

— Бритву просит,— заплакала она.

— Ужели резаться? — приподнялся с дивана полураздетый о. Сергий.

— Голову брить хочет,— ответила попадья и горько зарыдала.

Стало страшно, и уже раздетый для сна дьякон начал вновь одеваться.

— Не-ет,— бормотал дьякон возмущенно.— Нет, это что ж такое? Нет...

— Откуда у нас бритвы? У нас бритв нету,— упавшим голосом сказал о. Сергий.

— Это он от злости,— пояснил Агафангел, знаменский дьякон.— Для противления.

О. Иван, подслушивавший сквозь дверь, что говорится, сердито постучал пальцем жену и громко, так, чтобы все слышали, приказал:

— Завтра утром Машку к писарю пошли — у писаря бритва есть.

И долго, когда все уже спали, ходил по комнатке, ядовито усмехался и ликовал: вот обрею завтра голову — тогда, попробуй, возьми. Посмеивался. Но вдруг совсем ясно, как в зеркале, увидел свою голову обритой, и стало невыносимо страшно. Попробовал в темноте свои волосы — вот они, сухонькие, мягкие и, когда их так пробовать, совсем чужие. Отец Иван зажег лампу, но страх не проходил: комната была чужая. Он первый раз видел эту комнату; он никогда не был в этой комнате, он не знал этой комнаты совсем; а за стеною страшно и незнакомо храпел дьякон, которого уговорили остаться. Подобрал поп подрясник, похожий на халат, и тихонько, мимо спящих пробрался к попадье.

— Спишь? — шепотом спросил он.

— Нет,— шепотом ответила попадья.

— А я думал — спишь.

— Нет.

Долго придумывал: как бы устроить так, чтобы посидеть возле близкого человека. Попадья ожидала — в молчании и страхе.

— Ты вот что... ты принеси-ка мне чего-нибудь поесть. Огня не зажигай — не надо.

— Да как же без огня — я себе лоб расшибу.

— Ну, ну, не расшибешь.

Сидел на кровати и долго ел что-то, не разбирая вкуса.

— Колька завтра приедет?

— И Коля и Сашенька. Ты что это, отец, а? Что с тобою, а?

— Ну, ну, молчи.

Пожевал-пожевал в темноте беззубыми деснами, попалось что-то твердое, должно быть, корка,— сердито выплюнул. Вздохнул и тихонько мимо спящих побрел к себе... Поп Иван, поп Иван, куда ты идешь?

В обед приехал о. Эразм Гуманистов, а к ночи прибыли и сыновья о. Ивана. Дорога была трудная, весенняя — ни на санях, ни на колесах, и о. Эразм чуть не утонул со своим Ермишкой, перебираясь через маленький овражек: ноздреватая, как мокрый грязный сахар, дорога лежала ровненько и будто устойчиво, а когда взъехали, провалились в текучую воду — ибо уже проточила весенняя вода целые пещеры и понастроила снежных арок. По счастью, выбрались, только промокли сильно, да рукавицы с кнутом поп потерял, а уж когда подъезжал к Богоявленскому, хватился — и шапки нету. Раньше не заметил, так как был, по обычаю своему, весьма нетрезв.

Даже не высунувшись по-настоящему, а только освежив горло стаканчиком водки и закусив ее горячим жидким чаем, о. Эразм ввалился к старому другу. Состоя на особых правах, он и разрешения войти не спросил, а просто вошел и смял маленького попа в тяжелых, немного пьяных, но теплых объятиях.

— Ты что это надумал, Иван, какие еще новые штуки? Голова-то еще не выбрита?

— Дверь затвори,— сухо сказал о. Иван.— Да не ори: не на волков собрался.

О. Эразм послушно закрыл дверь и сразу, как и все, входившие к о. Ивану, почувствовал томительность и даже как бы умышленность положения. Простые слова не годились, а непростые — и не давались и были слишком уж непросты для белого дня, низенького протертого дивана и восседавшего на нем сухонького, вчерашнего и позавчерашнего попа. И сразу, как это бывало с ним, о. Эразм Гуманистов впал в сильное расстройство и от буйного натиска перешел к тихому и горькому недоумению. Запустил пальцы, как вилы в сено, в бороду, повертел, с трудом выдрал назад и неожиданно спросил:

— Злишься, Иван?

— Злюсь,— с такой же неожиданной откровенностью ответил сухонький поп и пошамкал торопливо обнаженными пергаментными губами.— Злюсь.

— А ты не злись,— посоветовал друг.— Поскандалил — ну и довольно, надо и честь знать.

— А ты не ври! Что я, именинник что ли — какой тут скандал?

О. Эразм вздохнул.

— По указу?

— По указу.

— В указе этого нет, чтобы в магометанство.

— Прибавят.

— Вот ты как зарядился! А я, брат, было в канаве утонул. Вот чудеса!

— Что ж, и в канаве утонешь и на сухом месте утонешь, когда предназначено,— спокойно согласился поп Иван.

— Ну и зарядился! — качнул головой о. Эразм.— Дьякона-то видел? Мается честная душа, как кошка перед родами. Говорю: «Выпей водки, Зосима».— «Нет, говорит, вы мне лучше смолы расплавленной в горло влейте». Вот какой! Что тут у вас, видение что ли было?

О. Иван злобно прищурил глазки и долго шамкал губами, задрав реденькую бороденку.

— Дураки вы с дьяконом.

— Дураки! — рассердился о. Эразм и побагровел.— Сказать легко, а ты докажи. Эка! А по-моему, так и ты не совсем умен, если доказать не можешь.

— Я-то докажу. Как твоя фамилия? Отец Эразм Гуманистов. Кака-я фамилия! — с наслаждением протянул о. Иван.— Ты чем с такой фамилией должен быть? Философом, богоосмысленным искателем истины воссиянной,— а ты кто? Пьяница, ротозев, в канаве было утонул.

— Это верно,— насупился о. Эразм, насилу вылез.

— Я тебе докажу! Сделайте милость, вот завтра я мою кобылу Наполеоном назову — тебе понравится это? Да скажу: вези, скажу, Наполеон, Эразма Гуманистова в грязную канаву. Каково?

Помолчали. Слышно было почему-то, что дьякон делает безуспешные перед самим собой попытки проникнуть в комнатку — даже содрогание руки его чувствовалось, когда он брался за ручку.

— Не пьешь ты,— задумчиво сказал о. Эразм.

— Не могу,— также задумчиво ответил о. Иван.— Натура не принимает.

— А пробовал? — с некоторым отблеском надежды осведомился Гуманистов.

— Чего там пробовать, не вчера родился. На рвоту позывает, и мысли полошатся, но без последствий.

— Да, плохо твое дело! — пожалел о. Эразм.— А если б,

скажем, в католичество попробовать, либо чего лучше — в старообрядчество. Архиереем тебя сделают, по возрасту. Чтобы не сразу, а... — Обязанный своей фамилией к мудрости, поп затруднился: — а так, чтобы в последовательности времен. Consecutio temporum.

— Нет, сразу.

О. Эразм походил по комнате, удрученно вздыхая, и нежно погладил друга по седеньким сухим волосам:

— Эх, Ваня! Стары мы с тобою: жалко мне тебя. Вот сыновья твои, слышно, едут, Колька едет, а там и в город тебя повезут с колокольчиками. Не миновать тебе, Иван, мученического венца.

— Это еще посмотрим!

О. Эразм совсем расстроился:

— Запрячут тебя в клеточку, как канареечку, и будешь ты свиристеть таково жалобно: братия вы мои, да сестры вы мои, да отцы вы мои небесные...

— Уйди,— коротко приказал о. Иван.

И опять бурлил самовар, и совсем охмелевший о. Эразм вел жестокое словопрение с о. Сергием по вопросу о ценности разных вер. Невнимательно и даже высокомерно слушал их дьякон, изредка вставляя: «Не то, отцы, совсем не то», и колебался перед водкою; а у тоненькой двери подслушивал разговор о. Иван, и все его лицо, собравшееся в сеть злых морщинок, выражало одно непреодолимое: «Не то, отцы, не то». А уж собрался и народ на улице: близко не подходили, не то боялись, не то мешал палисадник, но с другой стороны улицы неотступно глядели в маленькие серые окошца и гадали: где поп. С наступившими сумерками везде в поповском доме загорелся свет, и только два окна остались темны и притворно безжизненны. И если раньше их было страшно, как внимательных глаз, то теперь стали они еще страшнее — на чуткие уши теперь походили они.

Присматривался к народу и поп Иван: к самому окну не подходил, а издали, на ходу, бросал короткие, острые, злые взгляды. Безмерно возмущали его эти серые, малоподвижные немые пятна, каким-то непостижимым образом присосавшиеся и к окнам и к жизни его. Слились с сумерками, но не исчезли, а только переменили образ; наступит ночь, и еще иной новый образ примут они покорно — но не уйдут — но не исчезнут — но не оставят...

Наконец приехали и сыновья. Старший, о. Николай, молодой, но уже полный, в хорошем полушелковом подряснике и с широким расшитым поясом: уже успел приобрести в городе почитательниц и щедрых молитвенниц из купеческого звания; был он обеспокоен до чрезвычайности, даже полные,

белые, общелованные руки дрожали. Младший, семинарист, и ростом и лицом похожий на о. Ивана, весь смерзся, как навага зимою, но отошел быстро и без содроганий; от всего происходящего, даже от жестокого холода, он ощущал видимое, слегка насмешливое удовольствие: смеялся опущенными глазами и не то презирал всех, не то, вроде отца, готовил свою, особенную штуку.

— Ах, боже мой, что же это такое,— говорил Николай, с отвращением смотря на пьяного о. Эразма.— Вчера зовет меня преосвещенный: ваш это, спрашивает, отец, который...

— А ты чей сказал? — тихо осведомился Сашка.

Николай с негодованием глянул на брата.

— А тут еще этот ввязался, с-смола! Взял ты у меня полтинник или нет?

— Нет, не брал,— спокойно ответил Сашка и прихлебнул из блюдечка.

— Вот видите! Да как же ты не брал, когда я перед самым твоим отъездом, по твоей просьбе, мерзавец ты этакий, в самую руку вручил монету?..

За дверью послышался как бы смешок, а может быть, и кашель — но все стихло.

— Папаша! — нежно постучал в дверь Николай.— Разрешите войти.

Но ответа не последовало. И так раз до десяти подходил, терзаясь, и нежно постукивал Николай, но ни единого ответного звука извлечь не мог. Попробовал было сам приоткрыть незапертую, без крючка, дверь, но тотчас же невидимая рука быстро и злобно захлопнула ее,— очевидно, поп был настороже. Сашка громко и откровенно захохотал, а попадья заплакала.

— Ведь с утра ничего не ел, в чем душа держится.

Уже к ночи разрешил о. Иван войти. И так много ожидали от этого разговора, что разбудили заснувшего о. Эразма и послали за дьяконом, который побежал за табаком к себе домой и что-то застрял там,— и все с напряжением смотрели на перегородку, за которой невнятно, видимо, желая укрыться от постороннего слуха, по-голубиному мягко гурковал Николай. Но только один голос, другого же слышно не было.

— Ты чего ухмыляешься? — сердитым шепотом спросил Сашку о. Эразм.

— Да что вы, и не думал,— нагло солгал Сашка.

— У, ехида! Отца бы пожалел.

Сашка опять откровенно засмеялся и как-то очень нехорошо окинул всех взглядом. Вдруг вынул папиросу и закурил, и дым пускал колечком, как будто был барин и ехал в первом классе для курящих. Но не успел о. Эразм осмыслить этой

новой дерзости, как за перегородкой что-то застрекотало, зашумело, заговорило, и почти тотчас же в двери показался Николай, очень, даже до невероятия бледный. Сел на первый попавшийся стул и невнятно промолвил белыми губами:

— Проклял.

— Да что ты! — ужаснулся о. Эразм.— На нем же сан, что ж тебе делать теперь?

— Не знаю. Проклял,— улыбнулся Николай, и вдруг из больших, светлых, глупых глаз его закапали градинками слезы на молодую еще бороду, на расшитый богатый пояс, на полушелковый подрясник.

VII

Тою же ночью пришел к попу Ивану, по своему единоличному усмотрению, чахоточный дьякон.

— Не выгоняйте, отец Иван,— тихо попросил он.— Меня теперь нельзя выгонять.

Поп Иван, чутко дремавший на диванчике и совсем одетый, молча приподнялся и сел.

— Говори.

— Можно огонь засветить? Боюсь я.

— Засвети.

Дьякон зажег лампочку.

— А закурить можно? Чистая во рту слизь, и такое у меня состояние, что минуты не могу без папиросы. Вон все спят, а я один брожу, собак пугаю,— тихо улыбнулся дьякон.— И Николай ваш спит.

Поп насторожился:

— Спит?

— Заснул. Это верно, отец Иван, что вы его отеческого благословения лишили?

— Верно.

— Я и говорю, что верно. Тут ошибки быть не может. Как он плакал, отец Иван. Так рыдал, так рыдал! Поеду, говорит, завтра в город и сан с себя сниму; теперь, говорит, не могу я войти в алтарь, и останется мне теперь умереть под забором без покаяния, как блудному сыну. Отец Иван, отец Иван, почто восстали вы на сынов человеческих?

— Я сам сын человеческий.

— Боже мой, боже мой! — тосковал дьякон,— читаю я намедни: «всуе мятется всяк земнородный»,— и вдруг меня осенило: да ведь это про тебя, Зосима. А ежели это про меня, так ведь это же значит конец. Кому же верить мне теперь? Есть у меня и жена, и дети у меня есть — а к чему? какой в них смысл? Дунул — жены нету, дунул — нету и детей.

А може, и меня самого нету. Ведь у меня болезнь, отец Иван,— покорно вздохнул дьякон.

Поп молчал, нахмурив брови и смотря в пол, но слушал внимательно. И лицо его не было ни злобно, ни колюче — усталым было оно и мертвенно-сухим, как лица очень древних, сухоньких, долго сохраняющихся старичков, у которых жизнь, обнявшись со смертью, приемлет какие-то особые, устойчивые формы. Странное, многосмысленное, тайною покрытое лицо: и для угодника оно годится и для убийцы, вырезавшего ножиком целую семью, разбойника и татя.

— Не отчаивайся, дьякон,— тихо сказал он.

— А вы-то разве не отчитываетесь, отец Иван?

Лицо попа сразу ожесточилось, и бородка начала подрагивать.

— Я не отчаиваюсь. Я знака ищу.

— Но какой же знак! — волновался дьякон.— Нету же никакого знака: ведь он же вам все разъяснил.

— Кто? — удивился о. Иван.

Дьякон молча и со страхом указал на то место, где прежде стоял граммофон. Поп Иван хотел засмеяться, но взглянул в испуганные, почти остановившиеся глаза дьякона и отвернулся.

— Он тут ни при чем,— сказал он, но как-то очень неопределенно.

Дьякон прошептал:

— У меня мысли.

— Говори.

Дьякон подвинулся ближе.

— Может он под святого угодника? Но скажите мне достоверно.

— Может,— ответил, подумав, о. Иван, быстро взглянул на дьякона и снова отвернулся.

— Так,— вздохнул дьякон, как бы умирая или лишаясь чувств.— Та-а-к... Вот она, правда-то. А-а-а-а может он — может он...

— Молчи,— быстро приказал поп.— Молчи!

И одновременно представилась им ужасная, недопустимая, все основы правды потрясающая возможность: как из никелированной трубы звучит кто-то неземным голосом Иисуса Спасителя. И те же слова говорит; голос, слышать который не может, не смеет, не должен человек, иначе как в час смертный, пред святынею смерти и души окрыленной. С последним, уже нескрываемым ужасом смятенных душ неотрывно глядели они в глаза друг другу, и густое облако, белое, мягкое, глухое, как вата, окутало их. Окутало — и оторвало от стен, от земли, от жизни, и каждому видны были

только два глаза, только два страшных человеческих глаза, безумных и правдивых в неисчерпаемом ужасе своем.

— Я пойду,— слабо, задушенный ватою, прозвучал голос дьякона.

— Иди,— так же бескрыло и слабо прошумел ответный голос, и ужас сомкнулся над головою, как темная, спокойная вода.

Наступило утро, и на тройке с колокольцами, как и предсказывал о. Эразм Гумагистов, прибыл чиновник с поручением — допросить о. Ивана и, буде старик от мечтаний своих не откажется, привезти его в город. Вырывалась жизнь Богоявленского из круга заколдованного и высоко в пространство бросала новую и прямую линию свою — оборвался жужжащий камень и полетел стремительно.

Измученный неудобствами и тяготою весеннего пути, чиновник уже заранее решил не вступать с о. Иваном в продолжительные объяснения, а просто взять его и отвезти в город: там скорей рассудят. Да и поп, видимо, не склонен был к беседе: сухо, почти невежливо выслушал скучные городские слова форменной фуражки и, не давая чиновнику ответа, призвал жену,— чтобы снарядила в путь. И все присмирели. О. Сергий, под предлогом, что его ожидают требы, быстро собрался и уехал; дьякон еще с утра, до приезда чиновника, ушел куда-то в поле и так и не возвращался — и на долю полупьяного, смущенного Эразма Гуманистова выпала мучительная обязанность занимать разговором образованного и страшного гостя. «Действительно, Гуманистов»,— думал он с безнадежной иронией, не находя ни слов, ни мыслей, ни даже приличного лица — глядел на чиновника и, как в зеркале, видел в его холодных зрачках свой огромный, сизый, постыдный нос. Попробовал вовлечь в ученый разговор семинариста Сашку, но тот не поддался и с видом безграничного равнодушия к страданиям о. Эразма пожирал одну за другою горячие булки: уже успела попадья напечь их для своего младшего.

Николая почти не видно было, прятался он где-то и шушукался с матерью, о чем-то ее умоляя. Потом пропал, и только перед самым отъездом чиновник видел в оконце, как Николай, раздетый, в одном полушелковом подряснике, с расчесанными кудрями, горевшими под весенним солнцем, мановением руки разгонял столпившихся у дома, как при выносе покойника, мужиков и баб.

Подали лошадей: две пары и одну тройку для чиновника. Засуетились, попадья залилась слезами, бабы полезли к окнам. Вышел из своей комнаты, где он так долго отсиживался от врагов, поп Иван, одетый уже совсем по-дорожному

в огромную медвежью шубу, в которой его маленькое тельце терялось, как узкое маленькое веретено в клубке растрепанной пряжи. Ни на кого не глядя, ни на жену, ни на о. Эразма, уже приготовившего нерешительные объятия, поп проследовал к дверям,— как вдруг преградил ему дорогу Сашка.

— Чего тебе? — сухо посмотрел о. Иван.

И Сашка громко отчеканил:

— Папаша! Позвольте от лица нашего класса выразить вам сочувствие.

— Поблагодари,— коротко ответил о. Иван и вышел.

В доме же поднялся переполох, произведенный Сашкиной мальчишеской выходкой; чиновник пожимал плечами, выслушивая объяснения Николая, а о. Эразм бестолково наставлял крайне довольного собою Сашку:

— Скажите, какой депутат! Драть тебя нужно за твое сочувствие со всем твоим классом — депутат!

А тем временем о. Иван стоял на улице и ждал надменно, в какую повозку прикажут садиться; и, как покойника, с любопытством нестерпимым, разинув рты от натуги, разглядывали его мужики и бабы. Он же глядел поверх голов на переломленный князек Самойловой крыши, той самой крыши, которая в своем диком сходстве с двухгорбым соломенным верблюдом уже лет пятнадцать неизменно предстояла его взорам.

Наконец усадили о. Ивана. Сын Николай, у которого от слез запухли глаза и крупитчатое лицо покрылось красными пятнами, с безнадежной услужливостью подтыкивал веретье, запахивал отцу полы и закрывал ноги сеном, труся его дрожащими пухлыми пальцами.

— Дорогой холодно будет, папаша. Солнце-то оно обманное — никакого тепла в нем нет. Позвольте вашу ножку.

С тою же надменностью, словно совсем не замечая сына, поп отдавал то одну ногу, то другую, и глядел поверх дуги. Не обратил как будто внимания и на то, что Николай вдруг громко захлипал, заплакал и, имея руки занятыми, пытался вытереть слезы о свое же плечо. Но внимательные бабы заметили и прослезились.

— Как Николай-то убивается! Ай-ай-ай-ай, как убивается!

— Не видать ему теперь своего папашеньки.

— Какое видать! Дай бог, если самого на колокольню не посадят.

— Распотрошился поп.

— Николай-то как убивается! Ай-ай-ай-ай, как убивается!

Отчаянно взмахнув рукой, Николай крикнул:

— Трогай!

Но не успели лошади сделать и двух шагов, как с тем же отчаянным жестом Николай закричал:

— Стой! Стой!

Разбрызгивая лужи и завязая в грязи, подбежал к повозке и схватил отца за рукав:

— Папаша, перед домом-то... Я же тут родился, папаша. Снимите заклятие, снимите! На колени стану!

Он действительно, как был в шелковом подряснике, так и опустился на колени в грязь.

— Снимите. Даже не как отца, а как священнослужителя... прошу... прошу... Папаша!

Отец Иван сердито крикнул:

— Трогай!

Но кучер не послушался; и, ударив кучера кулаком в спину, о. Иван закричал:

— Трогай, тебе говорю-у!

Лошади тронулись. Еще одну минуту стоял на коленях Николай, бессмысленно взывая: «Перед домом-то, папаша, перед домом-то», потом без шубы, грязный, полез в первую попавшуюся повозку; потом его одели и посадили уже как следует с чиновником, который, видя отчаяние его, взял на себя задачу разговорить его и утешить.

И поехали они. Голося колокольцами и бубенцами, нагоняла чиновничья тройка уехавшего вперед о. Ивана, а позади, не торопясь, плелся Сашка. Село было длинное, версты на две, и долго проезжали его; но ни разу не оглянулся поп Иван, не ответил на поклон, на чей-то громкий привет не ответил — будто по чистому полю или лесом глухим ехал он; как задрал вверх бороденку, садясь, так и держал ее: ни направо, ни налево, а все прямо и вперед к далекому, неизвестному, многообещающему знаку. Думал ли он вернуться в село, или же, ополчившись на сынов человеческих, надменно отрицал кривые избы, мужиков, самую грязную землю, по которой с великим трудом влеклась колымага,— он был тверд и злобно решителен. Не торопился и не медлил, а ехал так, как везли, и туда, куда везли; не приближал событий, но и не отдалял их, зная, что придут события в свое время и уйдут события в свое время, и длинная череда их завершится искомым знаком.

Начался большак: голые ракиты с корявым толстым стволом, похожим на воткнутую в землю большую черную кость, с пучком розог, скользивших к солнцу на вершине, потянулись по сторонам — и на ракиты не взглянул поп Иван: ракиты, завязая в грязи, шли назад, а он, завязая в грязи, двигался вперед. Когда дурачливый работник, он же кучер Евстигней, вместо опасного, полурассыпавшегося моста через канавку стал искать еще более опасного броду,— то и тут не вмешался

поп; пожалуй, и утонул бы в канаве, если бы подоспевший на тройке Николай собственноручно не вывел лошадей на мост. Но о чем бы ни думал поп Иван, меньше всего размышлял он о Магомете, во имя которого готовился принять свой мученический венец.

Сашка сильно отстал и уже начал застывать с ног, как рыба с хвоста, но не беспокоился этим. Курил папироски посиневшими губами, щурился на яркое, но холодное солнце и самодовольно готовился к великой встряске в семинарии; и уже проступала на подбородке реденькая, как у отца, светлая и решительная бороденка.

П. А. Радимов

(1887—1967)

Поэт и художник Павел Александрович Радимов родился в селе Ходяйпово Рязанской губернии. Учился в духовной семинарии, в Рязани, в 1911 году окончил историко-филологический факультет Казанского университета.

В 1914 году Радимов принят в члены товарищества передвижных художественных выставок. В предреволюционные годы поэт создал цикл стихов о Башкирии, который имел разные названия, а в окончательном виде назван «Башкирской акварелью».

В первых книгах «Полевые псалмы» (1912) и «Земная риза» (1914) немало религиозных мотивов, однако в них преобладают реалистические ноты; это заметно и в обрисовке обрядовых сельских праздников, не говоря уже о стихах, отражающих картины русского пейзажа и описывающих незатейливую жизнь крестьянина.

Первые же сборники стихов Радимова были замечены В. Я. Брюсовым и тогдашней критикой. В последующих книгах — «Деревня» (1922), «Попиада» (1922), «Земное» (1927) — поэт широко отразил быт русской деревни. Поэт не равнодушен к частностям, деталям, поэтому его стихи конкретны, рельефны. У Радимова немало идентичных образов и тем, как в его поэзии, так и живописи. Не случайно в некоторых его книгах объединены стихи и живопись («Деревня», «Край родной», «Картины Подмосковья»).

В сборнике «Столбовая дорога» (1959) много стихотворений, соотнесенных с отечественной историей.

БАШКИРСКАЯ АКВАРЕЛЬ

КАПИТАН

«Аксаков» — небольшой пузатый пароход
С уютной палубой и креслом капитана,
Где старый волк речной, всех путников оплот,
Взирая, смотрит в синь весеннего тумана,

Не встретится ль баржа, не подвернется ль плот,
Иль мели вынырнет песчаная поляна,
Но лозунг «под табак» ветр с носу донесет,
И мирно дремлет он, раскачиваясь пьяно;

Над ним сиянием блестят штурвала спицы,
И сбоку рупора отсвечивает ярь.
Сей капитан есть вождь плывущей колесницы,

Брадатый и седой, как древний библий царь,
Ведущий свой народ рукой неукоснимой
Пустыней водною, лучами опалимой.

1913

НА ПАЛУБЕ

От дыма тень бежит горбатыми клубами,
То на скамью скакнет, то, кинувшись вдруг вспять,
Потайно проскользнет меж грузными кулями,
Что служит путникам за стол и за кровать.

Над зеркалом речным, едва скользя крылами,
Мартыни носятся. Их хлебом угощать
Собрался мещанин и мелкими кусками
Рвет мякиш. В стороне заботливая мать

В птенцов-детенышей вливает чай пустой.
Купец с зачесанной на плечи бородой
Величественно спит. Близ трапа на жалейке

Башкирин плачется. Тоске его напева
Внимает дикая кочующая дева,
С ногтями алыми и в шитой тюбетейке.

1913

ПРИСТАНЬ

Обрыв. Два колышка, чтоб кинутые чалки
Принявши, пароход до глины подтянуть.
Вдали село. Плетень, где молодые галки
Расселись по рядам и силятся взглянуть

В средину бешеной, буйно-азартной свалки.
Ватага из башкир заполонила путь

И жадно ждет, когда на пляшущие палки
Матросы лестницу надвинут как-нибудь;

Тогда поднимутся на спины чемоданы,
И белые узлы возлягут на главу.
Лихие ямщики, закутавшись в чапаны,

Вдруг крикнут на коней, и, колеся траву,
Подводы понесут зелеными лугами,
Звеня с заливчатым весельем бубенцами.

1913

НОЧЕВКА

Мохнатой шапкою Куш-тау заслонил
Янтарную зарю и смотрит в омут черный.
Уж якорь цепкий крюк в корягу занозил,
И чалки брошены. Все путники покорно

Смиряются с судьбой: тропинкой через ил
Бредут меж ивняка и повилики сорной,
Чтоб волей подышать. Как старый крокодил,
Пред ними черный ствол — их отдых благотворный.

Там разожгли костер. И я, слагая стансы
Иль путевой сонет, иду на огонек,
Откуда слышатся звенящие романсы.

А там мечтателей сбирается кружок,
Чтоб в сумраке зари, дыханье затая,
Внимать волнующим напевам соловья.

1913

СТАРЫЙ СТЕРЛИТАМАК

Приятный город. Грязи по колено
Ядреной и зернистой, как икра.
В оковах знойных солнечного плена
Томятся улицы. Из-за двора

Спустилась гроздь лиловая сирени.
На жердочках белье висит с утра.
Такой покой, что слово «перемена»
Здесь изгнано давно из словаря.

Куда пойти? К собору иль на рынок?
Везде густые тени от лозинок —
Приют мохнатых вдумчивых телят.

В глубокомысленном сосредоточье
Они, ультрамариновые очи,
Уставивши, на путника глядят.

1913

РЕЧКА СИГАЗА

Червонцы солнце рассыпает щедро.
Вся речка — горн, проливши свой металл.
Жемчужной нитью, вспыхнувшей от ветра,
Бежит струя, чтоб слиться в общий вал

И у камней, до мели вскрывши недра,
Рассыпать вдруг светящийся кристалл.
Пастух под тенью векового кедра
уснул в рубахе, алой, как коралл.

Над ним танцуют синие стрекозы,
Кузнечики звенят оркестром лирным
И водят бабочки усатой головой.

Меж тем без пастыря седые козы,
Жуя траву, ласкают землю мирно
Своей ветхозаветной бородой.

1913

БАШКИРСКОЕ УТРО

В горах забытые туманы
Плывут последним легким сном,
И зорь пылающие страны
Раскрылись в свете золотом.

У саклей медные кунганы
Льют влагу ледяным дождем.
Уж круторогие бараны
Съютились в стадо за бугром.

И в белых шапках башкирята,
И среброногие ягнята
Ушли под тень лесных пещер.

И муэдзин, раб Магомета,
Поет на вышке минарета
Святую песнь «Алла акбер!»

1913

МАРИАМ

Златоволосая башкирка Мариам,
С монгольской талией и от роду трех лет,
При музыке любой танцует по часам
За пряник писаный и пестрых горсть конфет.

Жалейка ль возгласит,— стараясь в такт ладам
Ударить каблуком, бьет земляной паркет
Ногами круглыми, иль волю даст рукам
И машет, разводя цветистый свой бешмет.

Когда ж отец Гатуф окончит бить в ладоши,
То мать Зейнан, смеясь, и бабушка Марфу́га
Шепнут: «Возьми конфет!» И Мариам, чтоб ноши

Не растерять в пути, без лишнего испуга
До ямок на щеках закрутит свой подол
И примет от меня заслуженный обол.

1913

ГУМЕР

Хорунжий бравый, женская гроза
Былая, повсеместный страх башкир,
Которых он, кантонный командир,
Пугал собой в глаза и за глаза,—

Теперь старик преклонный, и слеза
В слепых очах Гумера застит мир:
Не для него охот сокольих пир,
Урмана тень и неба бирюза.

Он в Мекке был. И потому с кунганом
На дню пять раз свершает омовенья.
Уж в небеса ведет его стезя.

Прельщенная его казной и саном,
Гумера нянчит в тихом попеченье
Четвертая супруга, Газизя.

1913

ПЕСТРЫЙ БАЗАР

Орда башкир, хохлы, чуваши, черемисы,
Татары, с пышными власами мужики.
Рубахи белые, бешметы, армяки,
Сермяги жесткие и щегольские плисы.

Воза оглоблями устроили кулисы,
Где дремлют под шатром холстинным старики.
У мазаных колес, развесив языки,
Спят псы пушистые и желтые, как лисы.

Звеня монетами, в высоких шитых кичках,
Торговки кислых щей расставили кувшины,
Халат свой завернув на голубую ничку.

Башкирин льет кумыс с водой наполовину.
И тут же средь толпы в убожестве отрепий
Поет слепец про ширь волнующейся степи.

1913

ФОРЕЛЬ

Ее, пятнистую, красу реки Зигана,
Поет торжественно двенадцатый сонет.
Историю твою пускай узнает свет,
Прекрасная форель... Гатуф поднялся рано

И с башкирятами, не разгибая стана,
Вел бредень по реке, когда их дум предмет
Карминным плавником провел в воде свой след
И в рыбаков вселил пьянящий хмель дурмана.

Вмиг задрожал Гатуф. Безумными руками
Он бредень выбросил и, вопль исторгнув дикий,
С размаху животом упал на сети храбро.

Какими взвизгнули башкиры голосами!
Тебе, тебе, форель, неслись восторга крики,
Когда ты вверх взвилась, поддетая под жабры.

1913

НЕНАСТЬЕ

Вот кладбище башкирское. Здесь срубы,
Надгробия могил, источены ветрами.
Кой-где песчаник монументом грубым
Поставлен. Роща шелестит листами

И плачет под дождем. Темнеют трубы
Вдали лачуг аула. Над горами
Туманы виснут, зацепляя дубы
Роняющими влагу облаками.

Как будто осень ходит стороной,
Ободранный на лыки лес желтеет.
Покой гнетущий, мертвенный покой

И сумерки в полях горбатых реют.
Лишь изредка раздастся клекот птицы
Да звякают дунгрлаком кобылицы.

1913

ПЕСНЯ С ГОРЫ

Горлинки серой слышно воркованье,
Липовым цветом из леса дохнуло.
Сколько пчелиного гулкого гула!
Радостно звонких лучей ликованье.

Чую я песенных крыл трепетанье.
Белая дума как птица вспорхнула.
Вижу я дым синеструйный аула
И Сигазы пенно-шумной сверканье.

Где Юрак-тау свой поднял гранит,
Путь зеленеющей степью лежит
К тихим полям моих юных раздумий.

Скажут поля мои «здравствуй» — отвечу
Нивам оржаным я чуждою речью:
«Здравствуй» — башкирским прекрасным
«арумэ!».

1913

БАШКИРСКАЯ АКВАРЕЛЬ

Заревеют ли туманы,
Осеяны ль гор верхушки,
Кукованье ли кукушки
Раздается из Урмана,

Или ключ нагорий чистый
В ложе, точенном струей,
Льется влаги серебристой
Голубою колеей,—

Вся душа моя трепещет
И, едва вздохнут уста,
В лучезарной песне блещет
Синих долов красота.

1913

А. И. Куприн

(1870—1938)

Александр Иванович Куприн родился в г. Наровчате Пензенской губернии в небогатой чиновничьей семье (отец — письмоводитель в канцелярии мирового посредника, мать — из обедневшего древнего рода татарских князей Куланчаковых). Детство прошло в Москве, а десять лет жизни — в закрытых военных учебных заведениях. Эта жизнь нашла впоследствии отражение в романе «Юнкера» (1928—1933).

Первой публикацией был рассказ «Последний дебют» (1889) в «Русском московском сатирическом листке». С 1894 года на профессиональной литературной работе. Широкую известность получила повесть «Молох» (1896) — смелый общественный протест против капитализма — Молоха.

Куприн — автор многих рассказов и повестей. Для его творчества характерны психологизм и реалистическое изображение быта; любимый герой — русский интеллигент-демократ. В повести «Олеся», рассказе «Гранатовый браслет» и многих других писатель глубоко разрабатывает тему большой любви. В романе «Поединок» отражены события, происшедшие в 1894 году, когда автор служил в полку и в русской армии только что были введены офицерские дуэли. Он разоблачал «ужас и скуку военной жизни». Изданный в 1905 году, после поражения в русско-японской войне, роман был воспринят как разоблачение гнилости царизма.

В очерке «События в Севастополе» Куприн осудил расправу вице-адмирала Г. П. Чухнина над матросами восставшего крейсера «Очаков».

Одну из социальных язв российской жизни — проституцию писатель разоблачил в большой повести «Яма» (1908—1915).

Смешной эпизод из жизни Ф. И. Шаляпина, приключившийся с ним в период пребывания в 1891 году в Уфе, нашел отражение в рассказе «Гоголь-моголь».

К Октябрьской революции Куприн отнесся противоречиво: восхищаясь героизмом вождей революции, критиковал продразверстку, опасался за «судьбу культуры». Осенью 1919 года писатель находился

в Гатчине и, отрезанный от Петрограда войсками Юденича, эмигрировал за границу. Жил главным образом в Париже. Весной 1937 года вернулся на родину. Был тепло встречен советской интеллигенцией.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

— Ну, теперь, господа, как хотите, а я сегодня заслужил мою вечернюю папиросу. Пусть Николаша морщится и фыркает — этот мой вечный угнетатель, ворчливая нянька. Благодарю вас. Крепкие или слабые — это все равно.

Исподтишка, прикрыв глаза ладонью, через щелочку между пальцами, я наблюдал этого изумительного артиста. Большой, мускулистый, крепкий, белотелый, с видом простого русского парня. Белоресницый. Русые волосы лежат крупными волнами. Глубоко вырезанные ноздри. Наружность сначала как будто невыразительная, ничего не говорящая, но всегда готовая претвориться в самый неожиданный сказочный образ. Только час тому назад из театральной ложи я видел не его, а подлинного Иоанна Грозного, который под звон колоколов, при реве огромной толпы, въехал на площадь города Пскова, что перед собором. Под ним был старый белый рослый конь. И странен был вид легендарного тирана. Маленький, сухонький старичок, с козлиной бородкой, с узкоглазым подозрительным, изжеванным татарским лицом, в серой кольчуге, утомленный длинным походом, снедаемый сотнями хронических болезней, развратник, кровопийца, женолюб и женоненавистник, интриган, трус, умница, ханжа и безбожник. Над собором в дымных пепельно-оранжевых облаках катилась луна. И я всем сердцем ощущал ужас, овладевший коленопреклоненными псковитянами, о которых Грозный потом упомянет со свойственным ему простодушным цинизмом и едким краткословием: «Имена же их ты, господи, веси».

«Каким чудом,— думал я,— может человек, обыкновенный смертный человек, достигнуть такой силы перевоплощения. И где граница между восторгом искусства и муками исканий? Вот сейчас я гляжу на него, и мне кажется, что он говорит почти механически, он улыбается, шутит, отвечает трем сразу, а всеми мыслями и до сих пор еще там, на сцене, где такими уродливыми кажутся вблизи прекрасные декорации, где слепит глаза свет рампы, играет взыскательный оркестр, поет непослушный хор, угрожает капельмейстерская палочка, шипит голос суфлера и шевелится черная бездна зрителей — то обожаемое и презираемое, милостивое и щедрое тысячеглавое животное, которому имя — публика.

И как должны быть сладки для творцов немногие минуты полного удовлетворенного отдыха после совершенного радостно-тяжелого подвига?

Недаром же Пушкин, закончив монолог Пимена и поставив последнюю точку, взволнованно бегал взад и вперед по комнате, потирал руки и один в своей гениальной ребячливости хвалил сам себя: «Вот так Пушкин, вот молодец!»

Лениво-лениво рассказывает артист о первых своих успехах в Милане. Оговаривается, что история эта давняя, почти всем известная история его дерзкой победы не только над избалованной и придирчивой миланской публикой, но и над соперниками, над хором, над оркестром, клакой и газетами. Но вот он оживился, забыл даже о давно желанной, выпрошенной папиросе, глаза его блестят юношеским задором, и опять перед нами новый человек. Ему двадцать пять лет, он полон здоровья, внутреннего пыла и кипения, беззаботный и проказливый, бродит он, подобно всем талантливым мятежным русским людям, по городам, рекам и дорогам своей великой несуразной родины, все видит, всему учится и точно разыскивает сам себя.

— Попал я тогда в один приволжский городишко. В хор. Понятно, в хоре не разойдешься. Да еще имея такой неблагодарный инструмент, как бас. Ни размеров своего голоса, ни его качеств я тогда еще не знал. Да и как их узнаешь, если тебе все время приходится служить фоном, рамкой или, скажем, основой ковра, на котором вышивает узоры сладкоголосый тенор или колоратурное сопрано?

А петь мне хотелось ужас как! До боли! Бывало, прислушиваюсь к Мефистофелю, или к Марселю, или к Мельнику и все думаю: нет, это не то, я бы сделал это не так, а вот этак... Но много романсов и арий я все-таки разучивал... так... для себя... для собственного удовольствия.

Потихоньку разучивал от товарищей-хористов. Потому что это народ чрезвычайно добродушный и хорошие товарищи, но большие охальники. Задразнить и высмеять человека им ничего не стоит. А народ все тертый, языкатый, меткий на словечко и на прозвище. Мистификаторы. Да и то сказать. Нелегкая их жизнь. Бедность... неудачливая карьера... а тут же рядом чей-нибудь громадный успех и часто совсем незаслуженный. И всегда гложет мысль — почему же не мне эти лавры? Где справедливость? Вот почему я и побаивался своих товарищей.

А меня как раз и ожидал в то время мой счастливый случай. Ходил, видите ли, к нам в театр один местный меценат, богатый человек, страстный любитель музыки. Старик. Конечно, дилетант, но с очень тонким слухом и со вкусом.

И я давно уже замечал, что он на репетициях и на спектаклях очень внимательно ко мне приглядывается и прислушивается. Даже стесняло меня это немножко.

И вот однажды после репетиции сталкиваемся мы в коридоре и идем вместе. Он меня вдруг спрашивает: «Послушайте, дорогой мой, а отчего бы вам не попробовать выступить на эстраде? Хотя бы так, для опыта? Ведь, наверно, у вас есть что-нибудь готовое, любимое?» Я ему, конечно, и признался в своих тайных стремлениях. И сердце у меня, помню, тогда екало, как никогда в жизни.

«Да вот чего же лучше? — говорит он мне.— Через две недели у нас будет большой благотворительный концерт в дворянском собрании. А я вас сегодня же поставлю на афишу. Фрака нет? Это пустяки. Правда, на такого верзилу трудновато будет найти... Но ничего... Это мы сделаем как-нибудь. Главное, не оробеете ли?» — «Оробею,— говорю.— Знаю себя: голос сядет... Да на эстраде не знаешь, куда и руки девать... Боюсь. Сергей Васильевич, пустое мы затеваем... Я-то провалюсь, это ничего... Я вытерплю, а вот вам за меня стыдно будет... Как вы думаете?» — «Ладно,— отвечает,— мой риск, мой ответ. С богом! В холодную реку надо лезть не понемногу, а так... бух каштан в воду, и дело с концом. Я лично враг всяких подъемных мер и средств. Но вот вам мой совет. Попробуйте принять перед концертом гоголь-моголь».

С этим мы расстались. Я шел домой и думал: «Гоголь-моголь... хорошо ему говорить такие слова. Но что это за штука таинственная и из чего она делается?»

Промаялся я с этой загадкой чуть ли не до самого вечера. И чем ближе к концерту, тем все больше волнуюсь. Наконец решился зайти к товарищу, к Цепетовичу. Это был мрачный бас, тихий пьяница, и, вероятно, если бы судьба ему улыбнулась, он был бы хорош в ролях наемных убийц. А в тот вечер, когда я навестил его, уже висели на всех заборах и в лучших магазинах красные афиши с программой концерта.

Правда, мое имя было напечатано петитом, и за мной следовало: и др. Но, понимаете ли, как кружится голова, когда видишь впервые свое имя на афише, набранное печатными буквами.

И вот пришел я к Цепетовичу и сказал: «Да, брат. Видишь, тебя на концерты, небось, не приглашают, а меня пригласили... в самое дворянское собрание».— «Ну, так что ж? — ответил он спокойно и показал рукой на стол.— Это водка. Это котлеты. Это яблоки. Подкрепись, концертант... Дальше?» — Во фраке я буду. И с нотами в руках». — «Ну? — «Не нукай. Не запряг. А когда ты добьешься такой чести? Так в хоре и сгниешь... Гоголь-моголь, между прочим, буду принимать».

— «Ну, так что ж?» — «Вот и то-то ж». — «Гоголь-моголь? Это вещь серьезная и не дешевая».— «Понимаешь ли ты что-нибудь в гоголях-моголях? Куда тебе...»

И вдруг этот спокойный человек рассердился: «Я не понимаю? Дурак! Гоголь-моголь делается просто. Берется коньяк, сахар, лимон, яйца. И все. И вообще, пошел вон. Не отягощай меня своим глупым обществом» (у него была привычка выражаться в высоком стиле).

Я ушел. Я был ему бесконечно благодарен. Итак... Гоголь-моголь... Яйца... Лимон... Сахар... Коньяк... Черт возьми, как бы не спутаться...

У меня в то время были завалящие три рубля, о которых я как-будто забыл, сам перед собою притворялся, берег на крайний случай. Купил я полбутылки коньяку за девяносто копеек. Два лимона, фунт сахару. Пяток крутых печеных яиц. И все это добросовестно проглотил.

Но опьянел. Вы сами знаете, что я ненавижу пьяниц. Но тогда, с непривычки, был хмелен, что греха таить? И сказал сам себе: что будет, то будет.

Взбираюсь по лестнице. Мраморные ступени. Красная дорожка. Светло. Пахнет духами. Тропические растения. Сергей Васильевич встречает меня наверху: «Дорогой мой, не слишком ли вы? Разве можно! Зачем?» И тут же в огромном от пола до потолка зеркале я вижу высокого человека в черной, фрачной одежде, с чужого плеча, с белым вырезом на груди. Вижу бледное лицо и глаза, которые сияют так неестественно, так остро и возбужденно. Я или не я?

Как я дождался своего выхода — не помню. Помню только, что сидел в глубоком кресле и коленка о коленку у меня стучали. Наконец позвали меня. Вышел. Зала полнешенька. Фраки, мундиры, дамские светлые платья, веера, афиши, теплота, женские розовые плечи, блеск, прически, движение какое-то, шелест, мелькание, ропот...

Аккомпанировать мне должен был наш хормейстер. Очень строгий человек. А рояль врал на четверть тона. И сразу я как будто бы позабыл все мои разученные романсы. Говорю Карлу Юльевичу: «Держите: «Во Францию два гренадера...»

Он послушался. Удивился, но послушался беспрекословно. Не мог не повиноваться. Такой был день и такой час.

Ах, боже мой, как я тогда пел. Если бы еще раз в жизни так спеть! Я понял, почувствовал, что мой голос наполняет все огромное здание и сотрясает его. Но от конфуза, от робости первые слова я почти прошептал:

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели...

И только потом, много лет спустя, я узнал, что так только и можно начать эту очаровательную балладу.

Забыл я о публике. И вот подходит самый страшный момент:

Тут выйдет к тебе император,
Навстречу твой верный солдат.

О великий император, бессмертная легенда! Да, да. Я видел его скачущим между могилами ветеранов. Видел его сумрачное, каменное лицо, прекрасное и ужасное, как лик судьбы. Я видел, как разверзались гробницы и великие мертвецы выходили из них, покорные зову вождя.

У меня остекленели волосы на голове, когда я бросил эти слова в зрительный зал. И публика встала, как один человек... Да, встала!

Ну, конечно, аплодисменты и всякая такая чертовщина. Сергей Васильевич жмет мои руки. Газетный сотрудник вьется вокруг меня с записной книжкой. Незнакомые дамы поздравляют. Но вот что меня поразило и растрогало до глубины сердца. Выхожу я в полутемный коридор, что ведет в артистическую. Руки влажные и холодные. Голова горит. В горле сухо. Как в бреду. И вдруг кто-то прижимается ко мне и плачет у меня на груди, под мышку мне. Гляжу — Цепетович. «Ангел мой... дорогой... я никогда не смел думать, что ты... Что ты так талантлив... Прости меня... Какой у тебя путь впереди!»

Он умер, и потому я о нем рассказываю так свободно... Но он, т о л ь к о о н толкнул меня на путь, где тернии переплетаются с розами. Толкнул потому, что его словам я поверил всеми недрами моей души.

В. Г. Короленко

(1853—1921)

Владимир Галактионович Короленко родился в Житомире в семье уездного судьи (мать — дочь польского помещика). В 1871 году, окончив гимназию в Ровно, поступил в Петербургский технологический институт, через три года перешел в Петровскую земледельческую и местную академию. В 1876 году за написание коллективного протеста студентов исключен из академии и выслан в Вологодскую губернию. Но с пути возвращен и поселен под надзором полиции в Кронштадте. В 1877 году поступил в Горный институт. Но по подозрению в связях с революционерами в 1879 году арестован и сослан в г. Глазов Вятской губернии, а в следующем году выслан в Сибирь. В 1881 году за отказ от присяги Александру III сослан в Якутию, где провел три года.

Дебют в литературе состоялся в 1879 году. В рассказе «Чудная» (1880) создал образ ссыльной девушки-революционерки, мужественной и непримиримой. Восхищаясь ее стойкостью, он осуждает ее сектантство, непримиримость к темному народу, не понимающему своих защитников. Впечатления от сибирской жизни отразились во многих произведениях («Яшка», «Убивец» и других). В рассказе «Сон Макара» показана духовная эволюция героя. Психологически убедительно изображено нравственное прозрение героя в «Слепом музыканте». Рассказы «Река играет», «Без языка», этюд «Мгновение», стихотворение в прозе «Огоньки» воспринимаются как вера в пробуждение дремлющих сил народа и торжества социальной справедливости в будущем.

Задумав написать повесть о Пугачеве, в 1891 году Короленко побывал в Уфе, где знакомился с местом дислокации лагеря Зарубина-Чики, соратника народного царя.

В 1896 году Короленко стал одним из руководителей журнала «Русское богатство», а с 1904 года, после смерти Н. К. Михайловского,— возглавил журнал. В 1900 году был избран почетным академиком по разряду изящной словесности, но в 1902 году вместе с А. П. Чеховым отказался от этого звания в знак протеста против незаконной отмены выборов Горького в Академию. Последние 16 лет жизни работал над мемуарами «История моего современника». На

Февральскую революцию 1917 года откликнулся статьей «Падение царской власти», но идей большевиков и принципов диктатуры пролетариата не разделял.

ПУГАЧЕВСКАЯ ЛЕГЕНДА НА УРАЛЕ

Одна выписка из следствия оренбургской секретной комиссии об Емельяне Пугачеве начинается так: «Место, где сей изверг на свет произник, есть казачья малороссийская Зимовейская станица; рожден и воспитан, по видимому его злодеянию, так сказать, адским млеком от казака той станицы Ивана Михайловича Пугачева жены Анны Михайловой».

Все современные официальные характеристики Пугачева составлялись в том же канцелярски-проклинательном стиле и рисуют перед нами не реального человека, а какое-то невероятное чудовище, воспитанное именно «адским млеком» и чуть не буквально злопыхающее пламенем.

Этот тон установился надолго в официальной переписке. Известно, как в то время относились ко всякого рода титулам, в которых даже подскоблить описку считалось преступлением. У Пугачева тоже был свой официальный титул: «Известный государственный вор, изверг, злодей и самозванец Емелька Пугачев». Красноречивые люди, обладавшие даром слова и хорошо владевшие пером, ухитрялись разукрасить этот титул разными, еще более выразительными надстройками и прибавлениями. Но уже меньше этого сказать (было) неприлично, а пожалуй, даже неблагонадежно и опасно.

Литература не отставала от официального тона. Тогдашнее «образованное» общество, состоявшее из дворян и чиновников, чувствовало, конечно, что вся сила народного движения направлялась именно против него, и понятно, в каком виде представлялся ему человек, олицетворявший страшную опасность. «Ты подлый, дерзкий человек,— восклицал в пиитическом рвении Сумароков при известии о поимке Пугачева,—

Незапно коего природа
Низвергла на блаженный век
Ко бедству многого народа:
Забыв и правду и себя,
И только сатану любя,
О боге мыслил без боязни...»

«Сей варвар,– говорит тот же поэт в другом стихотворении:

...не щадил ни возраста, ни пола,
Пес тако бешеный, что встретит, то грызет,
Подобно так на луг из блатистого дола
Дракон шипя ползет».

За это, разумеется, и «казни нет ему достойные на свете», «то мало, чтоб его сожечь» и т. д. Чувства современников, конечно, легко объяснимы. К несчастью для последующей истории первоначальное следствие о Пугачеве попало в руки ничтожного и совершенно бездарного человека, Павла Потемкина, который, по-видимому, прилагал все старания к тому, чтобы первоначальный облик изверга, воспитанного «адским млеком», как-нибудь не исказился реальными чертами. А так как в его распоряжении находились милостиво предоставленные ему великой Екатериной застенки и пытка, то понятно, что весь материал следствия сложился в этом предвзятом направлении: лубочный одноцветный образ закреплялся вынужденными показаниями, а действительный облик живого человека утопал под суздальской мазней застеночных протоколов. Бездарность этого «троюродного братца» всесильного временщика была так велика, что даже чисто фактические подробности важнейших эпизодов предшествовавшей жизни Пугачева (например, его поездки на Терек, где, по-видимому, он тоже пытался поднять смуту), стали известны из позднейших случайных находок в провинциальных архивах [1]. Павел Потемкин старался лишь о том, чтобы по возможности сгустить «адское млеко» и сохранить «сатанинский облик».

Нужно сказать, что задача была выполнена с большим успехом. Тотчас по усмирении бунта военный диктатор Панин, облеченный неограниченной властью, приказал расставить по дорогам у населенных мест по одной виселице, по одному колесу и по одному глаголю для вешания «за ребро» (!) не только бунтовщиков, но и всех, «кто будет оного злодея самозванца Емельку Пугачева признавать и произносить настоящим, как он назывался (то есть Петром III). А кто не «задержит и не представит по начальству таковых произносителей, тех селений все без изъятия (!) возрастные мужики... будут присланными командами переказнены мучительнейшими смертями, а жены и дети их отосланы в тягчайшие работы».

Совершенно понятно, какая гроза нависла после этого над всякими рассказами о Пугачеве, когда вдоль дорог стояли виселицы, колеса и глаголи с крючьями, по селам ходили

[1] Один из современников в письме к самому Павлу Потемкину указывал, что даже после побега из казанской тюрьмы до появления Пугачева на Яике остается не прослеженной значительная часть похождений самозванца.

команды, а в народе шныряли доносчики. Все, не отмеченное официально принятым тоном, все даже просто нейтральные рассказы становились опасны. Устное предание о событиях, связанных с именем Пугачева, разделилось: часть ушла в глубь народной памяти, подальше от начальства и господ, облекаясь постепенно мглою суеверия и невежества, другая, признанная и, так сказать, официальная, складывалась в мрачную, аляповатую и тоже однообразную легенду. Настоящий же облик загадочного человека, первоначальные пружины движения и многие чисто фактические его подробности исчезли, быть может, навсегда, в тумане прошлого. «Все еще начало выдумки сей,— писала Панину Екатерина,— остается закрытым». Остается оно неясным и до настоящего времени. Фактическая история бунта с внешней стороны разработана обстоятельно и подробно, но главный его герой остается загадкой. Первоначальный испуг «общества» наложил свою печать и на последующие взгляды, и на историю... Как истинно гениальный художник, Пушкин сумел отрешиться от шаблона своего времени настолько, что в его романе Пугачев, хотя и проходящий на втором плане, является совершенно живым человеком. Посылая свою историю Пугачевского бунта Денису Давыдову, поэт писал, между прочим:

Вот мой Пугач. При первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой.
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

Между этим образом и не только сумароковским извергом, возлюбившим сатану, но даже и Пугачевым позднейших изображений (например, в «Черном годе» Данилевского) — расстояние огромное. Пушкинский плутоватый и ловкий казак, немного разбойник в песенном стиле (вспомним его разговор с Гриневым об орле и вороне) — не лишенный движений благодарности и даже великодушия,— настоящее живое лицо, полное жизни и художественной правды. Однако возникает большое затруднение всякий раз, когда приходится этого «лихого урядника» выдвинуть на первый план огромного исторического движения. Уже Погодин в свое время обращался к Пушкину с целым рядом вопросов, не разрешенных, по его мнению «Историей Пугачевского бунта». Многие из этих вопросов, несмотря на очень ценные последующие труды историков, ждут еще своего разрешения и в наши дни. И главный из них — это загадочная личность, стоявшая в центре движения и давшая ему свое имя. Историкам мешает груда фальсифицированного сознательно и бессознательно

следственного материала. Художественная же литература наша после Пушкина сделала даже шаг назад в понимании этой крупной и во всяком случае интересной исторической личности. От «лихого урядника» и плутоватого казака мы подвинулись в направлении «адского млека» и лубочного злодея. И можно сказать без преувеличения, что в нашей писанной и печатной истории, в самом центре не очень удаленного от нас и в высшей степени интересного периода стоит какой-то сфинкс, человек — без лица.

Нельзя сказать того же о Пугачеве народных преданий, которые почти угасли уже во всей остальной России, но чрезвычайно живо сохранились еще на Урале, по крайней мере, в старшем казачьем поколении. Здесь ни строгие указы, ни глаголи и крючья Панина не успели вытравить из народной памяти образ «набеглого царя, оставшийся в ней неприкосновенным, в том самом,— правда, довольно фантастическом виде, в каком этот «царь» явился впервые из загадочной степной дали среди разбитого, задавленного, оскорбленного и глубоко униженного старшинской стороной рядового казачества.

Попытаться собрать еще не вполне угасшие старинные предания, свести их в одно целое и, быть может, найти среди этого фантастического нагромождения живые черты, всколыхнувшие на Яике первую волну крупного народного движения,— было одной из целей моей поездки на Урал в 1900 году. Меня предупреждали, что при замкнутости казаков и недоверия их ко всякому «иногороднему», в особенности же наезжему из России,— задача эта трудно осуществима. И, действительно, однажды мне пришлось наткнуться на довольно комичную неудачу.

От одного из жителей Кругло-озерной станицы (Свистуна), старого и уважаемого казака Фил. Сидоровича Ковалева, я узнал, что в Уральске, в куренях, вблизи церкви живет внук Никифора Петровича Кузнецова (родного племянника Устиньи Петровны), Наторий (Енаторий) Фелисатович Кузнецов, человек грамотный и любознательный, сделавший будто бы какие-то записи со слов деда, любителя и хранителя преданий кузнецовского рода. Рассказами этого деда, Никифора Кузнецова, уже пользовался известный уральский писатель Иосаф Игн. Железнов, но мне было все-таки любопытно повидать его внука, живого преемника этого предания.

Я разыскал его действительно за собором в куренях, в старом, недавно обгоревшем домике. Однако, когда я объяснил ему цель своего прихода и даже сослался на указание Ф. С. Ковалева — Наторий Кузнецов только насупился.

— Ничего я не могу вам сказать. Приемный дедушка верно что рассказывал... Ну только я не могу.

— Почему же?

— Это есть речи политические...

Я искренне удивился.

— Позвольте, Наторий Фелисатович. Да ведь дедушка ваш рассказывал Железнову, и Железнов это напечатал. Однако никакой беды из этого для вашего дедушки не вышло.

— Железнов писал. Верно. Ну, только дедушка сказал ему, может быть, десятую часть...

Чтобы сломить это недоверие, я раскрыл нарочно захваченную с собой книгу Железнова и стал читать записанный автором рассказ Никифора Кузнецова. Наторий слушал и одобрительно кивал головой, вставляя свои замечания. Я уже стал надеяться, что лед будет сломан, но в это время с порога избушки (наш разговор происходил на дворе) поднялась жена Кузнецова, смуглая казачка с черными решительными глазами.

— Молчи, Наторий,— сказала она зловеще.— Кабы одна голова была... а то у тебя семейство.

На руках у нее заплакал грудной ребенок, и Наторий сразу осекся.

— Нет, невозможно,— сказал он,— речи политические... Когда бы меня уже не трясли...

— То есть как же это «трясли»?.. И за что?

— А вот за это самое,— за Пугачева...

— Что вы говорите! Кому теперь нужно.

— Видно, что нужно... Видите, как это дело было.

— Молчи, Наторий,— опять сказала казачка.

— Нет, что ж, это можно, ничего. Видите. Значит, еду я как-то по железной дороге до Переметной. В вагоне были еще разные народы, вроде купцов. Стали вот этак же промежду себя говорить: один, например, говорит: царь был настоящий, то есть, как выражал о себе, то была настоящая правда... Ну, другой ему напротив: «Вот, говорит, у Железнова писано: признавается так, что донской казак». И про дедушку мово помянул. Я, как был тут же, и говорю: «Железнову, значит, мой дедушка рассказывал, ну и все. Ежели бы все, говорю, обсказал, то и Железнов написал бы другое». Говорим этак-то, а тут кондуктор. Знакомый был. Дернул меня за рукав, отвел в сторонку и говорит: «Ты, говорит, Наторий Фелисатов, не моги эти слова выражать».— «А что, мол?» — «Да так, не выражай этих речей. Речи, слышь, политические». Ну, я послушался. Только вдруг на одной станции — жандармы. Заперли вагон, никому чтобы не выходить, и говорят: «Кто здесь

выражал политические речи?» Вот оно и дело-то... Договорились...

— Что ж, наверное ничего никому не сделали.

— То-то: они, значит, купцы, говорят: «Мы вот по книжке. Господин Железнов писал, офицер. Извольте посмотреть». Ну, а я, значит, спасибо кондуктору, в стороне. Только страхом отделался. А кабы я все выразил...

— Вот и теперь молчи,— отрезала жена.

— И то молчу.

Я был у него два раза. Оба раза он очень охотно разговаривал о своем дедушке, о прежнем жительстве Кузнецовых, об их родстве и при этом косвенно сообщил мне очень много любопытного и в бытовом и в историческом отношении. Но, как только разговор задевал прямее запретную тему, казачка опять пронизывала его своими черными глазами, и он прикусывал язык.

— Не могу, политические речи,— повторял он упорно.— Кабы не трясли...

Впрочем, расстались мы с этим представителем «царицына рода» дружески, и я даже думаю, что едва ли он мог сообщить мне что-нибудь более характерное, чем этот маленький эпизод из нашей живой современности.

В других местах, особенно во время своей поездки по станицам, я был более счастлив. Престарелые казаки более храбры, чем молодежь, и более охотно делились своими сведениями и своим глубоким убеждением по этому предмету.

Собрав то, что удалось мне записать по личным отзывам и что записано другими, и просматривая этот материал,— я был поражен замечательной цельностью того образа, который вырос из этих обрывков, а также глубокой верой рассказчиков в его реальность. Убеждение в том, что пришлец, поднявший роковую бурю в 1773 году, был настоящий Петр Федорович, держится на Урале не только в простом рядовом казачестве. Мне пришлось довольно близко познакомиться с исторической семьей Шелудяковых, предки которых принимали деятельное участие в роковой драме. Одного из Шелудяковых Пугачев очень любил и называл почему-то крестным батюшкой. Впоследствии он попал в плен под Оренбургом и был замучен в застенке. Таким образом в этой семье, как и во многих других на Урале,— к историческому интересу примешивается семейная традиция. Уже родители теперешних Шелудяковых были люди вполне интеллигентные, и, однако, когда отец умирал (в начале 70-х годов), то выражал сожаление, что не доживет до 1875 года, когда, по общему убеждению, печать тайны с пугачевского дела должна быть снята и тогда должно было обнаружиться, что Яик вообще и семья Шелудяковых

в частности служили правому делу. Говорят, Пушкин, в свой приезд и кратковременное пребывание в Уральске,— показывал современникам бунта портрет настоящего Петра Федоровича, голштинская физиономия которого, как известно, нимало не походила на казацкий облик Пугачева. Однако теперь я слышал из нескольких уст, будто в этом портрете казаки признали как раз того самого человека, который был у них на Яике. Вообще, при указании на решительное отрицание историей всякой возможности этого тождества, даже у интеллигентных казаков вы встретите выражение колебания и скептицизма.

Нужно, впрочем, признаться, что, как уже сказано выше, писанная история страдает большими недомолвками, неполнотой, а иногда и прямо противоречиями. А главное — она оставляет центральную фигуру человека «без лица». С этим народное воображение не может, конечно, примириться. Ему, понятно, чужда историческая критика, но зато полуфантастический образ, рисуемый народным преданием, отличается замечательной полнотой и яркостью. Это живой человек со всеми достоинствами и недостатками реальной личности и, если к этим реальным чертам примешивается порой элемент мистический и таинственный, то это касается лишь его царского звания. Петр Федорович казачьих легенд — настоящий человек, с плотью и кровью, кипящий желаниями и страстями; царь Петр III — окружен нимбом таинственности и роковых, не вполне естественных влияний.

Причины его низвержения с престола рисуются с особенным реализмом. Казачье предание представляет Петра III широкой натурой, гулякой и неверным мужем. Поведение его из тех, которые приходится оправдывать известной поговоркой: быль молодцу не укор. Екатерина, наоборот, в это время изображается, хотя и довольно строптивой, но все же верной женой, старающейся унять мужа. На этой почве разыгрывается катастрофа. Однажды пришел иностранный корабль, и Петр Федорович отправился на него, да и загулял с дворянскою девицей Воронцовой. Указание этого имени, совпадающее с исторической действительностью, показывает, как широко, в сущности, распространялись в те времена разные придворные «комеражи». «Ведь от нас,— говорил Железнову казак Бакирев,— испокон веку кажинный год ездили казаки в Москву и Питер с царским кусом... Так как же не знать. Шила в мешке не утаишь...» Шпионы донесли царице, что царь проклажается с Воронцовой. Той, как жене, это показалось обидно, она не стерпела и побежала туда сама. Пришла и говорит: «Не пора ли домой?» Но загулявший муж грубо прогнал ее: «Пошла сама домой, покуда цела». Тогда

оскорбленная Екатерина пригласила своих приверженцев, подняла образа и объявила себя царицей. Когда загулявший царь, с похмельем в победной головушке, решил, наконец, на третью или четвертую ночь, вернуться домой,— он нашел ворота запертыми, а часовой объявил, что царя нет, а есть царица. Он сунулся было в Кронштадт (опять черта историческая), но и там его не пустили. Тогда, страшась враждебных бояр, Петр Федорович решил скрыться...

Тут уж личность Петра Федоровича исчезает в тумане, а над царем водворяется мистическая власть высшей силы, какого-то таинственного предопределения. Оказывается, что где-то было положено испокон веков, что царственному внуку Петра Великого предстоит познать много горя и страдать, как простому изганнику, гонимому и преследуемому в течение пятнадцати (по другим вариантам двенадцати) лет. Объявиться он должен был не ранее этого срока. Но царственный скиталец, узнавший на себе самом все страдания народа и всю неправду властей, попав вдобавок на Яик, в то время действительно «терпевший великую изневагу», стонавший под давлением вопиющей неправды и страшных репрессий, после дела Траубенберга,— не выдержал и, подчинившись опять, хотя и в другом уже направлении, своей бурной натуре, нарушил веления судьбы и объявился ранее.

Это нарушение веления высшей воли, вызванное состраданием и нестерпимой жалостью к измученному народу, является в преданиях тем трагическим двигателем, который определил судьбу движения. Все было за Пугачева, но выиграть свое дело он не мог именно потому, что начал не в срок. И он знал это. Чрезвычайно интересно, что семейное предание Кузнецовых связывает самую женитьбу набеглого царя с этим трагическим сознанием. В записанных Железновым рассказах женитьба эта мотивируется различными соображениями: во-первых, царям закон не писан; во-вторых, и закон дозволяет жениться после семилетней разлуки; в-третьих, Екатерина явилась его гонительницей; в-четвертых, наконец, в это время на Яике ходили (верные, но запоздалые) слухи о намерении Екатерины выйти за Орлова. Но упомянутый выше Епаторий Кузнецов, среди своей сдержанной беседы, сообщил мне, что и Пугачев, и даже Устинья хорошо знали роковое значение этой свадьбы. Когда Пугачев стал явно выражать свои намерения относительно сватовства, то Устинья, веселая, разбитная и хорошая песенница, сложила будто бы песню, в которой очень смело говорила о муже, сватающемся от живой жены. Пугачев отвел ее в сторону и сказал: «Пусть лучше одна моя голова пропадет, чем пропадать всей России. Вот теперь идут из Питера ко мне войска и генералы; если ко мне приста-

нут,— тогда вся Россия загорится, дым станет столбом по всему свету. А когда я женюсь на казачке,— войска ко мне не пристанут, судьба моя кончится, и Россия успокоится». Повторение этого же трагического мотива я слышал и в других местах на Урале. Таким образом,— царь-странник, невольно нарушивший веления судьбы, покорно шел ей навстречу, а Устя шла навстречу его воле...

Публичная казнь Пугачева в Москве (10 января 1775 г.) в присутствии сотен тысяч народа нисколько не поколебала этой веры. Наоборот, нужно сказать, что некоторые обстоятельства этой казни сопровождались как раз теми неясностями мотивов и странностями, о которых я говорил выше и которые очень на руку стройному народному преданию. По сентенции, утвержденной Екатериной, Пугачев подлежал четвертованию. Сначала ему должны были отрубить руки и ноги и тогда уже голову. Однако известно, что это не было выполнено. По прочтении приговора и исполнении формальностей, палач схватил Пугачева сзади, его повалили и прежде всего отрубили голову. После этого среди водворившейся тишины послышался голос экзекутора, упрекающего палача и грозившего ему самому казнью за нарушение приговора[1]. Этот неоспоримый факт, установленный и русскими и иностранными свидетельствами, служил предметом удивленных толков. Госпожа Биэльке, восторженная поклонница и корреспондентка Екатерины, прочитав об этом в иностранных газетах, высказывала в ближайшем письме предположение, что это было сделано, «согласно гуманной воле императрицы, а не по ошибке палача». Екатерина охотно пошла навстречу такому толкованию своей европейской поклонницы.— «Сказать правду,— писала она,— вы верно отгадали относительно промаха палача при казни Пугачева: я думаю, что генерал-прокурор и полицеймейстер помогли случиться этому промаху, потому что, когда первый уезжал из Петербурга, я сказала ему шутя: «Никогда не попадайтесь мне на глаза, если вы допустите малейшее мнение, что заставили *кого бы то ни было* претерпеть мучения, и я вижу, что он принял это к сведению» [2].

Позволительно, однако, думать, что это объяснение не вполне точно. Что перед отъездом Вяземского у царицы были с ним разговоры, это, конечно, естественно; едва ли только они велись шутя. Что факт резкого нарушения приговора не

---

[1] Un d'entre-eux (то есть один из ближайших зрителей), que je crois avoir été in des juges censura a haute voix le bourreau de sa méprise («Один из них, я полагаю — один из судей, бранил громким голосом за его ошибку»,— корреспонденция очевидца в «Утрехтской газете» 3 марта 1775 г. Чт. в Об-ве Ист. и др). Болотов называет этого чиновника экзекутором.

[2] Сборник Историч. об-ва, XXVII, 32.— Курсив в цитате мой.

мог объясняться также простой ошибкой палача,— в этом сомневаться едва ли возможно. Однако, если бы имелось в виду не допустить излишних страданий *кого бы то ни было*,— то, во-первых, у Екатерины было для этого прямое средство — в смягчении всех казней, и тогда гуманность коснулась бы не одного Пугачева. Между тем, в тот же день и на том же месте казнены другие пугачевские сообщники, и никто не упоминает о смягчении также и казни, например, Перфильева. Едва ли логично предполагать, что гуманность Екатерины коснулась одного лишь главного виновника и обошла второстепенных. А затем об этом, конечно, не мог бы не знать экзекутор, своим окриком по адресу палача только подчеркнувший отступление от приговора, которое без этого могло бы пройти менее замеченным.

Как бы то ни было, этот странный эпизод не только явился загадочным для сотен тысяч зрителей, собравшихся в день казни на Болоте, но остается не вполне разъясненным и для истории. К этому следует только прибавить, что среди многотысячной толпы войск и народа стояла также и Зимовая яицкая станица, состоявшая из «верных», то есть старшинской стороны казаков, которые, даже сражаясь с Пугачевым, по большей части все-таки считали его настоящим царем, воюющим против царицы... И возвратясь на Яик, казаки рассказали о странном эпизоде казни.

Легенда прекрасно воспользовалась этою загадкой. Она не знает недоговоренностей и противоречий. Она цельна, стройна, часто очень фантастична, порой нелепа, но совершенно последовательна и логична.

В казнь Пугачева уральское войско не поверило. Царя казнить нельзя. Человек, которого Болотов описывает на эшафоте «совершенно несоответствующим таким деяниям, какие производил сей изверг», а скорее походившим «на какого-нибудь маркитантишку или харчевника плюгавого» — по мнению казаков и был совсем не тем, кого войско видело на коне и который одним своим появлением расстраивал ряды противников. Это было, по словам легенды, подставное лицо, какой-то заурядный преступник. И когда он хотел будто бы сказать, что умирает вместо настоящего царя,— ему поторопились отрубить голову...

К этому присоединился новый факт, исторически верный и поразивший воображение народа, а именно скоропостижная смерть Мартемьяна Бородина...

Мартемьян Бородин — самая видная фигура из казачьих противников Пугачева, игравший огромную, почти определяющую роль в допугачевском брожении на Урале, и прямая антитеза Пугачева в глазах «войска». Богач, захвативший

неизмеримые пространства «общей» степи, владелец крепостных на вольных казачьих землях, насильник, грабитель, человек с железною волею, бурным темпераментом и в то же время хитрый дипломат, умевший задаривать и задабривать петербургское начальство,— он был душой ненавистной казакам старшинской партии, которая перед появлением Пугачева даже носила название «бородинской». Против него и его действий были направлены даже личные указы Екатерины, но он умел обратить их в ничто, искусно вызывая волнения, после которых оказывались виновны его противники. Можно предположить с большой долей вероятности, что, не будь на Яике Мартемьяна Бородина, не было бы и убийства Траубенберга, предшествовавшего пугачевщине, не было бы, может быть, и Пугачева... Но, как это часто бывает, Мартемьян, истинный виновник, вызвавший в войске общее недовольство и справедливый гнев, которые повели к вспышке,— потом борьбой с вызванным им же движением не только «заслужил» свои воровства и тяжкие вины, но и явился в глазах правительства в ореоле преданности и самоотвержения. В борьбе с Пугачевым для Мартемьяна шла речь о собственной голове, над которой тяготели обвинения и проклятия всего войска, но Мартемьян очень ловко выставил эту вражду к нему войска, как свои заслуги перед престолом. При самом появлении Пугачева Мартемьян понял опасность прежде всего для себя лично,— и кинулся киргизской степью в Оренбург... Впоследствии, когда Пугачев был уже посажен в железную клетку, екатерининские генералы знали, что Мартемьян будет лучшим его сторожем. И действительно, Мартемьяну было поручено сопровождать пленника в Москву... [1]

Казачьи предания приводят много подробностей этого пути. Прежде всего, за городским валом и башней по казанскому тракту, родня Бородина вышла, по обычаю, провожать его в дорогу. Стали пить водку и наливку. Пугач выглянул из клетки и сказал: «Мартемьян Михайлович! Поднеси-ка и мне». Но Мартемьян грубо отказал. Пугачев побледнел от

---

[1] «По преданиям казаков,— говорит Железнов (III, 203),— Бородин был в числе конвойных Пугачева, но по некоторым данным, до меня дошедшим, я заключаю, что он не конвоировал Пугачева, а приехал в Петербург уже в ноябре или даже декабре 1774». Это неверно. В числе выписок, сделанных мною из войскового архива, есть выписка из Указа Гл. Криге-Комиссариата из конторы г-ну премьер-майору Бородину от 22 дек. 1774 г., в котором приводится расчет денег, следующих «за приезд с Вами от войска Яицкого с рыбою також и для препровождения злодея Пугачева в Москву, находящейся в команде Вашей лехкой станице» (всего жалов., прогон, а также на ковши и сабли 633 р.). Таким образом, очевидно, в этом отношении казачье предание не ошибается, и Пугачева совпровождал в Москву Мартемьян Бородин.

оскорбления и говорит: «Хорошо же! Ты хочешь видеть мою смерть. Не удастся. Я скорее твою увижу». Немного погодя один из старшин, Михайлов, подошел к нему и поднес ему из своего стакана. Пугачев выпил и сказал: «Спасибо, дружище. Не забуду я тебя. Запомните, что я скажу,— сказал Пугач всем тут бывшим,— отныне род Михайлов возвысится, а род Бородина падет» [1].

Дорогой Пугач тоже предостерегал Бородина и говорил ему с усмешкой: «Мартемьян Михайлович, одумайся, куда едешь, зачем?.. Эй, Мартемьян Михайлович. Поверни-ка оглобли назад, пока время есть...»

Престарелый казак Требухинской станицы, Ананий Иванович Хохлачев, с глубоким убеждением подтверждая мне все записанное от разных лиц Железновым, прибавил к этому еще несколько эпизодов, слышанных, по его словам, от самих участников или ближайших родственников. Между прочим, с Мартемьяном Бородиным, в качестве ординарца, ехал его любимец, молодой казак Михайло Тужилкин. Однажды, где-то на привале, во время роздыха, суровый атаман заставил Тужилкина искать у себя в голове. Находя эту минуту подходящей для интимного разговора, Тужилкин спросил:

— Скажите, Мартемьян Михайлович, кого мы это везем: царя или самозванца?

— Царя, Мишенька,— ответил будто бы Мартемьян.

Тужилкин пришел в ужас.

— Что же мы это делаем! — воскликнул он.

— Да что же делать-то было. Все равно ни его, ни наша сила не взяла бы,— ответил Бородин.

В Сакмарской крепости, куда будто бы прибыл поезд с Пугачевым в клетке,— навстречу им попался фельдъегерь из Петербурга [2]. Подойдя к клетке и увидя там Пугачева, фельдъегерь затрепетал и всплеснул руками (Ананий Иванович очень драматично и картинно изобразил ужас фельдъегеря и его жесты).

— Б-боже ты мой, что такое исделали! — закричал он,— отомкните, сейчас отомкните!.. Что ж теперь будет?..

Этот ужас объяснялся, разумеется, тем, что офицер узнал в клетке царя...Потом, выйдя с Бородиным на крепостной вал, тот же фельдъегерь долго уговаривал его распустить казаков и «просто» ехать с Пугачевым в Петербург, к царице.

---

[1] Железнов, т. III, стр. 205. Предсказание не вполне оправдалось. Сын Мартемьяна Бородина был войсковым атаманом. Впрочем, умер он бездетным и теперь прямых потомков Мартемьяна нет.

[2] Интересно, что, по казачьим преданиям, Пугачева везли, по-видимому, через Оренбург. Иначе поезд не мог бы попасть на Сакмару.

В этом наивном предложении отражается указанная уже выше черта яицких легенд о «набеглом царе». Судьба его, как царя, уже была решена, дело его проиграно, он нарушил веления рока, и царство оставалось за Екатериной. Но особа его была священна, и притом он оставался мужем царицы и отцом царевича, наследника.

Бородин не послушался, и за это его действительно постигла казнь, как и предсказывал Пугач. Судьба покарала Петра Федоровича, нарушившего ее веления, но та же судьба не могла обойти и человека, посягнувшего на достоинство «царя» и везшего его в клетке, как зверя. О самой смерти Мартемьяна Бородина рассказывают различно, но большая часть преданий приписывает ее Павлу Петровичу [1]. Когда Мартемьян явился во дворец к наследнику,— рассказывал мне Ананий Иванович Хохлачев,— тот и говорит ему:

— Что тебе было, атаман господин, мово папу не принять? Ежели бы ты принял, то были бы теперь в Рассее папа мой, да я, да ты третий. Ну, а теперь, атаман господин, не взыщи.

И ударили в большой колокол. Зимовая яицкая станица стоит на площади у дворца, ждет своего походного атамана, но его все нет. И вдруг слышат: звонят в большой колокол, как на помин... Вышел на крыльцо адъютант и говорит казакам: «Нет вашего атамана. Помер атаман в одночасье. Поезжайте себе с богом».

Самый род смерти изображается тоже различно. В рассказах казаков-домоседов, не бывавших в столицах, говорится, будто Павел Петрович, разгневавшись, схватил дверную «запирку» (деревянный засов, которым задвигаются ворота) и ударил ею Бородина по голове. По другим вариантам, казнь была еще жесточе,— вплоть до сдирания кожи с живого. Здесь, очевидно, играла уже творческую роль глубокая ненависть тогдашнего войска к Мартемьяну. Наконец, некоторые предания приписывают гибель Бородина самой Екатерине, которая не могла простить грубого обращения с ее мужем. «Собрался Мартемьян Михайлович ехать из Питера (гласит одно предание, записанное Железновым) и пошел проститься с государыней, а денщику велел исподволь укладываться. Вдруг прибежал на квартиру испуганный, бледный, словно кто гнался за ним. «Беги скорей за подводами, едем». Дорогой

---

[1] Всю дорогу Мартемьян перекорялся с Пугачом и попрекали друг друга. Мартемьян грозил ему царицей, а Пугач ему наследником. «Дай срок,— говорил Мартемьян,— доехать до царицы: задаст она тебе баню, до новых веников не забудешь». А Пугач ему: «Дай срок доехать до царевича Павла Петровича. Задаст он тебе такого жару, что небо с овчинку покажется» (Железнов).

Мартемьян все кричал ямщику: погоняй! Проехали сколько-то станций, Мартемьян говорит ямщику по-киргизски:

— Какое, братец, я чудо видел... Стою у матушки царицы в опочивальне, рассказываю ей, как мы сражались супротив злодея Амельки. А он, Пугач-то, вдруг из-за ширмы как выскочит, словно зверь лютый, да как ринется на меня с кулаками, я индо обмер... Теперь, братец, вижу, что дал маху: не ездить бы мне совсем сюда. Бог бы с ними... Хоша и публиковали, что Амелька Пугачев, а выходит — вот он какой Пугач...

Не успел он досказать, как сзади нагоняет их фельдъегерь и требует Мартемьяна опять к царице».

Другой вариант рисует этот же эпизод с еще более реальными подробностями. Пугач лежит в опочивальне за белыми кисейными занавесками,— «похоже, только что вышел из бани: волосы мокры, а лицо красно. У ног его, на стуле сидит царевич, а у окна царица. И все плачут, платочками слезы утирают. А у притолоки, словно вестовой солдат, стоит Мартемьян Михайлович,— стоит и дрожит, словно на морозе» (Железнов).

Ананий Иванович Хохлачев прибавляет к этому, будто вдова Бородина получила собственноручное письмо Екатерины и два платья бархатные: одно зеленое, другое черное. «А в письме было написано, что во твоем, дескать, горе я повинна, я грешница...» И сватья Анания Ивановича, жившая там же, сама видела и письмо, и платья...

Надо заметить, что ни точная дата, ни даже год смерти Мартемьяна Бородина неизвестны, и это событие тоже покрыто какой-то неопределенностью. Железнов сомневается, что Бородин сопровождал Пугачева, как в этом уверяют казачьи предания. Он относит смерть Бородина к апрелю 1775 года на том основании, что в мае был назначен новый войсковой старшина Акутин. Но в данном случае ошибается Железнов, а предание право. Во-первых, Бородин не был войсковым, а только походным атаманом, но Пугачева сопровождал несомненно, и есть большое вероятие, что умер он во время этой поездки. В делах уральского войскового архива я нашел указание, что тысяча рублей, назначенная в награду Бородину, получена в Оренбурге, по доверенности вдовы Бородина, пятидесятским Григорием Телновым (о чем последовал указ оренбургской губерн. канцелярии от 28 ноября 1774 г.). Затем никаких упоминаний о Мартемьяне Бородине мне в делах уже не попадалось до августа 1775 г., когда в одном из прошений совершенно случайно упоминается об умершем майоре Бородине. Этот глухой и неопределенный промежуток производит странное впечатление после того, как прежде имя деятельного старшины попадалось на всяком шагу... Нет сом-

нения, что «вины» М. Бородина перед правительством были громадны. Екатерина писала указы, посылала генералов для прекращения злоупотреблений, но старшинская партия, душой которой был Бородин, задаривала генералов и превращала веления царицы в ничто, пока это не вызвало бунта и кровавого усмирения, подготовившего почву для пугачевщины. Эти злоупотребления и бессилие власти войско объяснило тем, что на престоле не настоящий царь, а женщина... И когда появился царь, войско встретило его с восторгом.

Вообще же пугачевское движение представляется мне по своей психологической основе одним из самых верноподданнических движений русского народа. Конечно, в самом зародыше его таился (и то довольно незаметно) сознательный обман. Когда в таинственном купце, одетом в плохой рубахе и простых портах, приходилось признать царя и объявить об этом войску,— то казак Мясников, пожав плечами, сказал: «Ладно. Мы из грязи сделаем князя». Но это думали далеко не все даже из первых участников. Когда же Пугачев, одетый в царскую одежду (кафтан подарил киргизский хан), на отличном коне, с двумя знаменами и отрядом выехал к форпостам,— тогда ему навстречу устремились искренняя вера и искреннее чувство, которые сопровождали его все время до плахи.

Замечательно при этом, что образ Екатерины (как известно, ненавистный и до сих пор народу в крестьянской России) уральское предание окружает тоже какой-то почтительностью и мягкостью. Она была женщина, и это был ее недостаток на престоле. «Мы государыни не злословим,— говорили на собрании башкиры.— Она правосудна, но правосудие от нее не отошло и к нам не пришло». То же могли, конечно, сказать и казаки, депутаты которых не раз возвращались из Петербурга, напрасно обнадеженные самой Екатериной. Но это относилось к царице и к делам правления. Лично же предание относится к Екатерине довольно мягко. Оскорбленная как женщина и жена, она чувствует понятное негодование и решается на переворот. Но вместе с тем она не может простить грубого обращения с мужем и, когда, после стольких приключений, он возвращается,— она укладывает его в постель и плачет об его страданиях. Отношение ее к Устинье Кузнецовой (в действительности несимпатичное и жестокое: бедная Устя была пожизненно заключена в крепость) в предании казаков тоже отмечено великодушием и женственной добротой. Екатерина вызывает Устю в Петербург и обходится с ней очень ласково. Эта тема — встреча двух жен якобы одного и того же бедового мужа — разрабатывается подробно и охотно во многих рассказах, записанных Железновым. Я тоже слышал

ее и из уст Анания Ивановича и, отчасти, Натория Кузнецова. Во всех рассказах упоминается одна черта: когда Устю, вместе с ее сестрой, привезли во дворец, Екатерина велела выводить к ней разных лиц и все спрашивали: не этот ли твой обрученник. Устя все отвечала отрицательно. Наконец вывели Пугача, и она кинулась ему на шею.— Ну, сказала Екатерина,— попрощайся с ним, более никогда вы не увидитесь.— Пугача увели, а Усте Екатерина отвела дворец на Васильевском острове, где она жила долго и где у нее бывали нередко уральцы, приезжавшие в столицу.

Мне приходится еще отметить один цикл этих преданий, показывающий, какую страстную любовь питал Яик к образу своего «набеглого царя», стоившего ему столько слез, горя и крови. Известно, что страстная любовь не мирится с фактом смерти любимого человека. И Пугачев, пойманный и даже казненный, все еще мелькал на Яике и являлся своим приверженцам то в степях, то в самом городе.

Эти предания о странствующем и вновь преследуемом Пугачеве уже совершенно фантастичны, но им нельзя отказать в своеобразной поэзии, полной тоски и грусти. Один из этих рассказов (записанный со слов старого илецкого казака С. В. Крылова, ныне, в 1900 г., живущего в Уральске) застает Пугачева скитающимся по Общему Сырту (после бегства из Берды). Пугачев с небольшим отрядом едет по степи и наезжает на большой камень. Приказав казакам стреножить лошадей и ждать его, Пугачев подходит к камню и падает на него с горькими слезами. Камень подымается, и Пугачев сходит под землю. Через некоторое время он выходит и зовет за собой казаков. В подземелье их встречает величественная женщина, которая приветствует казаков и предлагает им подкрепить свои силы. Для этого у нее есть лишь небольшая краюшка хлеба, но, когда она начинает ее резать, хлеба не убывает. Пугачев зовет ее теткой, и она в разговоре упрекает его, что он не дождался назначенного для испытания срока и, объявившись ранее,— вдобавок женился. Странная женщина, неведомо какими путями перенесенная в Яицкие степи и вдобавок под землю,— была Елизавета Петровна. Попрощавшись с теткой, Пугач опять поскакал со своими спутниками в степь навстречу таинственной судьбе...

Вечером, в тот самый день как увезли Пугача из Яицкого городка,— говорит другое предание, записанное Железновым,— Кузнецовы — его родня — сидели за ужином. Вдруг отворились двери, и входит купец (известно, что и в первый раз Пугачев появился на Яике в виде купца).— «Хлеб-соль»,— сказал он, войдя, и все Кузнецовы вздрогнули, и ложки у них выпали из рук («это, значит, *он* был, по голосу узнали»).—

победила благодаря тому, что пылкий царь нарушил веления рока...

Да, этот образ был только тень гонимого царя. Но тень эта потрясла Россию... Степное марево, привидение — и целый ряд завоеванных крепостей и выигранных сражений... Для этого недостаточно было чьего-нибудь адского коварства и крамолы. Для этого нужно было глубокое страдание и вера... И она была, правда, вся проникнутая невежеством и политическим суеверием, которые, к сожалению, долго еще жили в темных массах, как живут и теперь эти фантастические легенды на Урале.

А. М. Федоров

(1868—1949)

Александр Митрофанович Федоров — выходец из народных слоев: дед был крепостным, отец — крестьянин-пастух, затем сапожник. Родился в Саратовской губернии, учился в Саратовском реальном училище, но за сочинение «крамольных» стихов незадолго до окончания курсов был исключен. Два года успешно выступал на сцене, переезжая из одного провинциального города в другой, пока не оказался в 1890 году в Уфе. Здесь, оставив театр, занялся профессиональной литературной работой. Первая книга стихотворений Федорова вышла в 1894 году и была благосклонно встречена критикой.

Башкирская тема занимает центральное место в раннем творчестве писателя. В цикле стихов «В башкирской степи» (1895) он воспел красоту необъятных ковыльных степных просторов и отразил некоторые особенности быта башкир, выражая при этом сочувствие тяжелой судьбе этого народа. Успех первого романа Федорова — «Степь сказалась» (1897) был предопределен актуальностью темы — разоблачением грязных махинаций расхитителей башкирских земель. Написан роман с демократических позиций; психологически убедительно описаны основные персонажи; язык живой, эмоциональный.

В 1901 году Федоров устраивал в Уфимской и Самарской губерниях столовые для голодающих крестьян, и эта поездка дала материал для романа «Земля». Дружба русских и башкир нашла отражение в рассказе из эпохи голода в Башкирии «Курайщик».

Федоров — автор романов «Наследство», «Природа», «Камни», «Подвиг», «Бумажное царство» и других, а также большого количества рассказов, статей, фельетонов и стихотворений, переводов поэм и сонетов западно-европейских классиков, его пьесы «Буреломом», «Обыкновенная женщина» и другие успешно шли в театрах России. В 1911—1913 годах в Москве вышло семитомное собрание сочинений писателя. После революции эмигрировал в Болгарию, в гимназиях Софии преподавал русскую словесность, издал «Антологию болгарской поэзии» (1924).

В БАШКИРСКОЙ СТЕПИ

I

Ковыль цветет. Вся степь как бы седая.
Я еду вдаль... Куда ни посмотрю,—
Везде простор без грани и без края,
И все поет, цветет, благоухая,
Как гурию, приветствуя зарю.

Я опьянен.— Иль вижу въяве диво?
Иль грезит степь былым передо мной?
Арабский конь промчался горделиво:
То Зюлькарнейн* ведет полки спесиво,—
Но мирный скиф отхлынул пред войной.

Войска прошли. Опять игра тумана:
Чудь... Половцы... Биармии* орда...
Как сонмы туч, как волны океана,
Колышутся обозы Тамерлана*,
Звенят мечи, кровь льется, как вода.

Кричат орлы. Зловещий ворон стонет...
Туман исчез, и даль опять светла.
Но кто там вновь? Иль ветер тучу гонит?
Иль снова степь кого-нибудь хоронит?
То Русь идет... гудят колокола...

Очнулся я... Волшебств исчезла сила...
Передо мной беспечно степь цветет.
Немой курган, безвестная могила...
Лишь о минувшей вольности уныло
Башкир-ямщик тоскует и поет.

II

Какая даль! Какой простор!
В степи, как в небе, тонет взор,
И мысль летит за ним вослед.
И ей нигде преграды нет.

Кругом зеленый океан.
На нем волной застыл курган,
И всюду пеной бурных вод
Ковыль серебряный цветет.

Порою с ветром наравне
Башкир промчится на коне...
Стада овец, обоза цепь,
Аул... А там — все та же степь,
Все та же ширь, все та же даль,
Все тех же рек живая сталь...

Здесь царство ясной тишины.
Здесь ложе северной весны.

III

РАССВЕТ

От сияния победной
Алой утренней зари
Грустно меркнет месяц бледный,
Звезд тускнеют янтари.

Ветерок летит, вздыхая,
Перед близостью утра.
И с зеленой степи, тая,
Поднимается чадра.

В красоте своей волшебной
Развернулась степь кругом,
Птичьих гимнов звон хвалебный
Пал на грудь ее дождем.

И, дивясь великолепью
Каждой травки и цветка,
Точно лебеди, над степью
Серебристой встали цепью
Кочевые облака.

IV

ПОЛДЕНЬ

Зноен полдень. Степь не дышит,
Влаги ждет земля.
Сонный ветер не колышет
Пухом ковыля.

Неподвижно солнце встало
В бледной синеве.

Кобылицы тупо, вяло
Замерли в траве.

Смолкли птицы, прячась в гнездах;
Все молчит без грез,
Лишь звенит, струяся, воздух
Крыльями стрекоз;

Да кругами вольный кречет
Правит свой полет
Там, где солнце стрелы мечет
С голубых высот.

V

ВЕЧЕР

Посмотри, с горы отлогой,
Точно каменный обвал,
Пыль крутя, в аул убогий
Скот на отдых побежал.

Топот, рев, блеянье, крики,
Треск пастушьего кнута —
Все слилося в хаос дикий,
Всюду шум и суета.

Скоро все угомонится.
Блекнет вечер. Молкнет гул.
С звонким ржаньем кобылицы
Пронеслись в родной аул.

Наступает вечер мирный —
Семьи к ужину сошлись;
И, дымясь, струею жирной
В чаши прядает кумыс.

VI

НОЧЬ

Я вышел в степь. Одета тьмою,
Под звездоносною чалмою,
Спит золотая и не спит;
Все слышит, видит и звенит

Ночным стозвучным дружным хором...
Над всем торжественным простором,
В густой траве, вблизи, вдали
Перепела, коростели

Перекликаются... Чуть дышит
Прохладой влажный ветерок
И травы сонные колышет...
Меланхоличен и далек,

Звенит бубенчик серебристый,
И в уреме густой, душистой,
В каком-то страстном забытьи,
Зовут к блаженству соловьи.

КУРАЙЩИК*

Рассказ

Последняя надежда Меннигарея рушилась. Уж если «своя людя», Сулейман, отказал Меннигарею в хлебе, к другим, значит, и показываться незачем. Да и к кому другим-то? Разве Меннигарей не побывал всюду, куда его толкала хоть маленькая надежда на хлеб? С самого раннего утра нынче вышел. В двух соседних деревнях успел побывать. Дворов десять обошел. Везде Меннигарея принимали ласково. Он был лучший курайщик не в одной только Иссы-Кульской волости, и на сабантуях, на свадьбах почетным гостем считался. Но ласка не хлеб. Ею сыт не будешь зимою. Да одному бы еще туда-сюда, а вот коль дома двое ребятишек да баба голодная ждет, тут завоешь волком.

Как теперь им Меннигарей покажется на глаза? Нынче на рассвете, уходя из избы, чтобы не видеть этих жадных, умоляющих глаз и ослабевших, исхудалых членов, чтобы не слышать этих тихих детских просьб: «Икмяк»...** и в ответ на них не видеть тупого и безнадежного взгляда своей бабы Фарихи, Меннигарей обещал непременно принести хлеба, целый мешок... Меннигарей был добрым отцом и мужем. Не его вина, что аллах прогневался за что-то на степь и послал на нее голод. Даже и в зажиточных семьях хлеба не достало. Все голодают — и башкиры, и русские хуторяне. Мелкие хозяева совсем обнищали. У кого какая скотина была — рас-

---

* К у р а й — дудка.
** Хлеба.

продали за бесценок. Когда самим есть нечего, где уж скотину держать! Хорошо, кому удалось к богатым людям в работники наняться или у тех же богатых людей хлебом раздобыться, чтобы потом отдать сторицей или отработать по уговору летом.

А кто же поверит в долг Меннигарею? Хлеба он совсем не сыпет*, а о труде и думать нечего: ни сохи, ни косы он в руки взять не умеет. Живет как птица небесная. Начальство, было, пробовало принуждать Меннигарея к землепашеству, да видит, что ничего не выходит из этого, махнуло на него рукой. Надельную землю свою Меннигарей отдал обществу: только бы его не беспокоили недоимкой.

— Арендам земля гуляйт,— объяснил Меннигарей,— сохой земля рвать жалко, травка косой резить жалко.

Однако наряду с этими нежными чувствами к земле Меннигарею ничто не препятствовало быть заядлым охотником и беспощадно уничтожать во множестве водившуюся вокруг деревни дичь. Меннигарей промышлял даже по временам охотой, хотя главным орудием для добывания средств к жизни Меннигарею служит с ранней весны до глубокой осени неизменный друг — курай.

При помощи курая он и на зиму обыкновенно сколачивал кое-какие деньжишки и раздобывался съестными припасами. Не оставляли в случае нужды и добрые люди. Так Меннигарей и перебивался из года в год.

Никогда еще такого дурного времени не было у Меннигарея, чтобы он, как нищий, переходил из одного двора в другой, прося помочь ему в беде.

Даже у земского был Меннигарей. Обещал земскому и уток, и гусей, и всякой дичи летом доставлять... даже лису обещал предоставить, если попадется к нему на капкан. Но земский хлеба не дал. Спасибо хоть за то, что на кухне велел накормить Меннигарея, и от этого обеда у Меннигарея остался кусок хлеба, который он бережно нес за пазухой домой.

Но разве одним караваем накормишь всех? А завтра? Разве не тот же голод будет и завтра, и еще много дней впереди?

К Сулейману Меннигарей пошел к последнему.

Сулейман был родственник Меннигарея, человек богатый, у которого имелось много скота, две жены и мельница на реке Азнайке. Меннигарей чувствовал к Сулейману, как человеку богатому, большое уважение, даже гордился этим родством, но не любил Сулеймана, который смотрел на Меннига-

---

* Сеет.

рея как на бездомника. Меннигарей бывал у него в гостях, но держал себя там с большим достоинством, ни с какими просьбами о помощи к нему не обращался никогда, и только безвыходное положение вынудило его теперь идти на это унижение.

Сулейман точно угадал, с чем пришел к нему Меннигарей, завздыхал, заколыхался всем своим толстым туловищем на кривых коротких ногах и, то и дело поминая аллаха, стал жаловаться на тяжелые времена и на то, что от нищих отбоя нет.

Меннигарей хорошо знал, что от этих действительно тяжелых для бедных людей времен у Сулеймана становился тяжел карман, но не противоречил ему. Меннигарея как будто даже обидело, что тот подозревал об истинной причине его посещения, и, чтобы поддержать свое достоинство, он начал рассказывать, что был у земского в гостях, и не удержался, чтобы не приврать для пущей важности.

— Сяй с ним пил,— фантазировал Меннигарей,— гостинца детишкам дал мне земский... Звал каждый день в гости ему гулять.

Но упоминание о гостеприимстве земского нимало не тронуло Сулеймана и не вызвало его на соответствующее угощение. Он сидел на нарах, согнув иксом ноги, как бы уходя всем существом в свой живот, и, избегая глядеть собеседнику в глаза, моргал своими заплывшими свиными глазками, одобрительно покачивал круглой бритой головой в засаленной тюбетейке и, когда гость умолкал, приговаривал:

— Шулай-шулай...*

Меннигарею казалось, что хозяин не слушает его, и однако обидное чувство заставляло его еще более фантазировать.

— Звал меня земский опять на охоту с ним гулять. Никто,— сказал земский,— так хорошо дичь не знает, как Меннигарей. Никто так хорошо на курае не играет, как Меннигарей. Просил меня своего баранчука** выучить на курае играть.

— Шулай-шулай...— повторял Сулейман, перебирая на животе пальцами, из которых на правой руке, вместо указательного, была култышка... Сулейман точно высчитывал что-то на этих девяти пальцах.

— Деньги за это обещал! — не унимался Меннигарей, в то время как у него в душе поднималось до слез едкое чувство недовольства собою... Так бы вот и сорвался сейчас с места и выбежал вон... А дети? А баба?

---

* Так-так.

** Сынишку.

Меннигарей рассказывал разные небылицы, а сам все думал о них. Тайное предчувствие подсказывало ему, что Сулейман хлеба не даст, но, по крайней мере, надо хоть попытаться. Ведь как бы то ни было, Сулейман — «своя людя».

И все же Меннигарей никак не мог перебороть себя и приступить к делу. Он уж и не знал, что бы еще такое рассказать своему богатому родственнику, чтобы поднять свою особу в его глазах, внушить к себе доверие и только тогда попросить хлеба. Меннигарей уже перешел к своим надеждам на кумысников и, наивно подделываясь под взгляды Сулеймана, звал их дураками и хвастался тем, что умный башкурт всегда может нажиться от них (Сулейман летом держал кумысников) и что теперь он, Меннигарей, песни которого так любили слушать эти кумысники, знает, как выманивать у них деньги.

Для большей убедительности Меннигарей попытался даже подмигнуть глазом и плутовато засмеяться, но ему было самому за себя стыдно, и лукавство плохо ему удавалось, что еще более мучило и растравляло тяжелое его состояние.

Он уже чувствовал, что не в силах более притворяться, и хотел попросту обратиться к Сулейману и сказать ему: «Дай, Сулейман, хлеба. С голоду помираем»... Но в это время в избу вошел курносый и рыжий мужик, по прозвищу Дуля, со впалою грудью, с большим туловищем, но несоразмерно короткими ногами. Его и звали-то по прозвищу, а не Игнатием, как он был крещен.

Дуля остановился в дверях и низко мотнул Сулейману своей большой кудлатой головой.

— Арума!* — глухим голосом заговорил он, по привычке перекрестившись на передний угол.

— Арума.

Дуля с минуту постоял молча, сжимая в руках шапку, похожую на сорочье гнездо, точно ожидая вопроса со стороны хозяина, и, наконец, не дождавшись, сконфуженно заговорил:

— А я к тебе, Сулейман.

Сулейман сопел носом и молча перебирал пальцами.

— Сделай милость, выручи. Одолжи мучицы.

Сулейман продолжал безмолвствовать.

— Мукам тебя просим... Бир мине... мука,— коверкая слова, повторил Дуля, думая, что башкир не понимает его русского языка.

— Юк мука... Нет мука.

— Да ведь немного мне, Сулейман, муки-то надо. На

---

* Здравствуй.

покров отдам, ей-богу, отдам. Чай, сам знаешь... Сторицей отдам...

— Юк мука.

— Не откажи, Сулейман,— умоляюще заговорил мужик.— В долгу не останусь... Вчетверо отдам... Сделай милость... Дома детишки голодные... Почитай, кору едим... Праздник у нас светлый завтра, а не токмо что разговеться, голод утолить нечем. Время-то ведь недолгое. Весна на дворе... Ежели бы не детишки, разве бы я... Малыши ведь... Плачут... Хлебца, говорят, тятенька, привези... Четверо ведь их... Помоги...

Голос мужика осекся. Он повалился Сулейману в ноги.

Меннигарей вспомнил своих детей, и слезы выступили ему на глаза.

— Помоги! Помоги! — с неожиданною яростью вскочил с нар Сулейман и заколыхался перед мужиком на своих ногах ухватом...— Ашать* нечего — Сулейман хлеб дай, а зерном молоть — к Торгуй идешь на мельнис... И за хлеб к нему иди на мельнис...

Дуля так весь и съежился.

— Да ведь это не из-за чего иного...— виновато заговорил он,— а из-за того, что торгуевская мельница ближе к нам... Ну, а теперь ни за что к Торгуеву не поеду... Убей меня деревом! Ну его к лешему. Он и мелет хуже, и берет дороже... И сам к тебе буду возить, и другим закажу. Лопни мои глазыньки... Выручи только. Я тебе вдвое... вчетверо отдам... А сверх того еще с бахчи огурцов аль иной овощ предоставлю...

Сулейман помолчал с минуту, по-прежнему перебирая пальцами, и, наконец, боком взглянул исподлобья на Меннигарея.

Меннигарей понял, что он в эту минуту лишний, и, отговорившись тем, что хочет посмотреть недавно купленную Сулейманом лошадь, вышел.

Несмотря ни на какие просьбы, Сулейман наотрез отказался дать муки своему родственнику. «Нет муки»,— отвечал на все его мольбы «своя людя».

— Нет муки, а урсаку дал! — озлобленно и укоряюще вырвалось у Меннигарея, и, не простившись с хозяином, он вышел.

На дворе у хлебного амбара Сулеймана стояла лошадь. Дверь амбара была открыта, и на крыльце Дуля оживленно

---

* Кушать.

разговаривал на ломаном русско-башкирском языке с Фатьмой, хозяйкой Сулеймана.

Увидя Меннигарея, он дружелюбно крикнул ему:

— Ты куда, Меннигарей?

— Домой,— мрачно ответил тот, не останавливаясь.

— Стой мало-мало. Я тебя на своих санках возить буду. Шабры, чай.

Но Меннигарей, ничего не отвечая, вышел за ворота и понуро зашагал домой, не обращая ни малейшего внимания на стаю голодных собак, порывавшихся испугать его надрывистым лаем.

До соседней деревни Азнаево, где жил Меннигарей, было верст шесть. Долго ли тут дойти до дому! Но Меннигарею теперь некуда было спешить. Мысль о том, что ждет его теперь дома, поневоле задерживала его шаг. Длинные, тонкие ноги его, всегда легко и быстро отмахивавшие огромные степные пространства, на этот раз как будто отказывались повиноваться и без всякой уверенности ступали по земле, местами освободившейся уже из-под снега.

Да не только ноги, но и вся фигура Меннигарея, высокая и стройная, несмотря на его пятьдесят лет, на этот раз потеряла свою бодрость и слегка ссутулилась. Понурая голова в облезлом меховом малахае выражала полную его безнадежность, чему особенно способствовало до отчаяния унылое лицо его, длинное и худощавое, с редкой козлиной бородкой и подстриженными над губой усами.

Уныние залегло не только в глазах, но и в каждой морщине, в каждой рябине на носу, даже в ушах, топырившихся из-под шапки.

Его узкие, острые глаза не глядели ни по сторонам, ни на дорогу. Перед ним неотступно стояла одна и та же картина. Темная, низкая изба с полусгнившим покоробленным полом, позеленелыми окнами и вделанным в печь чувалом*; на печке двое голодных, почти голых детей, а в дверях — костлявая, старообразная баба его Фариха, с жадным вопросом в глазах, потускневших от тупой, безысходной нужды.

Меннигарей даже остановился при этом и горестно вздохнул:

— О, алла! алла!

В этом восклицании Меннигарея, конечно, не было и тени ропота или недовольства на бога. Он был верующий мусульманин. Скорее оно выражало именно покорность аллаху: «Ты, мол, знаешь, что делаешь». Эта покорность на мгновение блеснула и в его глазах, обращенных к небу, но она все же не

---

* Чугун.

могла утешить его горя, и, сокрушенно покачав головою, Меннигарей опять зашагал по дороге.

Теплый апрельский день на прощание разливался по степи бледно-розовым светом. Талый снег, осевший и обрушивающийся, впитывал его в себя, точно хотел его удержать, но свет ускользал все дальше, на запад, точно его сдувал сырой и теплый ветер.

Холмы и курганы по степи уже выставили из-под снега свои черные головы, топорщившиеся прошлогоднею измятою желтою травою. Река Азнайка там и сям выступала из заросших кустарником берегов синяя-синяя, точно надувшаяся и готовая лопнуть от натуги. Порой из-под снега выбивались ручьи и, падая в овраги, ворчали и клокотали там. На высоких местах проступали проталины, и снежный покров на степи казался весь изорванным и дырявым. Местами появились незначительные зажоры, отражавшие розовый закат. Степь еще безмолвствовала, но и в ней и над нею уже чувствовался первый трепет пробуждения.

С закатом воздух заметно посвежел, но в нем все еще пахло земляным паром, прелым навозом и весенним дымком, доносившимся бог весть откуда, так как деревня осталась далеко позади Меннигарея, и собачий лай и редкие звуки оттуда все мягче и невнятнее провожали его.

— О, алла, алла! — снова вздохнул Меннигарей, но на этот раз вздохнул легче и опять обратил глаза к небу. Оно мягко и нежно синело, и от юга к северу, на огромное пространство, белыми пуховыми полосами протянулись высоко-высоко три длинных, прямых облака.

На этот раз глаза Меннигарея долго не отрывались от неба. Его тонкие, опущенные уголками книзу губы тихонько шевелились. Можно было подумать, что Меннигарей молится.

Эта слегка тускнеющая небесная синева и раздраженный бодрым весенним трепетом воздух подняли в нем смутное беспокойство. Он раза два вздохнул полною грудью, и оно поднялось в нем еще сильнее, точно он впитывал его в себя вместе с воздухом. Обрывки мыслей, ощущений, воспоминаний и образов поднялись в нем и расширяли его сердце.

Бывало, с первым веяньем весны не только люди, но и скот в башкирских деревнях обнаруживали радостную тревогу. Наступало время ухода на кочевки, на полугодовое летнее приволье и блаженство. Это время давно миновало. Меннигарей захватил его только первою половиною своей жизни, но до сих пор, чуть только повеет весной, в нем так все и заходит ходуном, так и потянет его куда-то вдаль от смрадных темных изб, с которыми тесно связаны зимние недруги бес-

печных башкир: голод, холод, болезни. И так крепко засело в нем это прошлое, что он и после запрещения кочевок не мог уже усидеть весной дома, как волей-неволей делали это другие башкиры.

И теперь также уйдет Меннигарей. Вот только чуть зацветет степь. И опять зазвенит его курай тоскою и грустью о прошлом, и опять у него будут и кумыс, и хлеб, и баранина, и деньги. Эти мечты постепенно овладели Меннигареем. Он представлял себе, как, накопив деньжонок, купит самовар, да не жестяной, а медный. Себе сделает новый бешмет, жене купит разрисованные ичиги*, детям кульмяки...** А то на них только тряпочки одни остались. Хорошо бы и новую избу построить... как у муллы... Это, правда, дорого стоит, ну да, коли постараться, можно денег добыть. Приедут кумысники... Он будет играть им на курае, продавать дичь... Сам потом будет пускать к себе кумысников. Кумысники — «добрый людя». Года два тому назад один кумысник, любивший музыку Меннигарея, часы ему подарил, настоящие серебряные часы. Меннигарей их за три теньки*** лавочнику продал. И нынче, наверное, добрые люди приедут... Это уж скоро... А пока можно как-нибудь перетерпеть. Ведь и другие голодают, как он со своей семьей, да в лесу коренья выкапывают для еды. Аллах не оставит!

Сознание горькой безвыходности своего положения, доводившее Меннигарея до отчаяния, постепенно уступило место сладким надеждам, подернутым легким облаком грусти. Но ему грустно было уже не столько за настоящее печальное положение своих дел, сколько грустно вообще: за всех своих собратьев и за то, что злые люди отняли у них благополучие, завладели всем одни, как будто степь не велика и не богата и на ней не хватит места всем добрым людям.

— О, алла, алла! — снова вздохнул и покачал головою Меннигарей. Но в этом вздохе уже далеко не чувствовалось прежней остроты горя... Меннигарей даже мало-помалу выпрямился и значительно бодрее взошел на холм, звонко постукивая палкой по земле, слегка застывшей от заревого апрельского холодка.

Сумерки быстро густели. Облака, похожие на пуховые шали, потускнели и растянулись по всему небу прозрачною пеленою, сквозь которую начали проблескивать звезды.

Воздух заметно холодел. Лужицы на дороге покрылись стеклянистым ледком. Густая поросль по обоим берегам

---

* Сапоги.
** Рубахи.
*** Рубля.

реки стояла черною стеною, и в зажорах уже не отражалось розового неба: они сливались со степью.

Меннигарей услышал за собою стук копыт, шипенье полозьев по снегу, какие-по пьяные выкрикиванья и обернулся.

Это Дуля возвращался к себе на хутор. Полубеспечное, мечтательное настроение Меннигарея было отравлено. Он нахмурился.

— Арума! — поравнявшись с Меннигареем, по-башкирски приветствовал его Дуля, стоя на коленях между двух мешков.— Вот я и нагнал тебя.

Меннигарей ничего не отвечал.

Дуля слегка задержал лошадь и продолжал не совсем твердым языком:

— А я, брат, на радости, что у Сулеймана хлебом разжился, заехал в кабак да арака* мало-мало хлебнул.

Дуля прищурил глаза и весело засмеялся.

— Говорил тебе — жди маленько, и тебе бы поднес.

Меннигарей только плюнул с презрением в ответ на эти слова и что-то злобно пробормотал себе под нос.

— Не пьешь... Закон не велит...— истолковал его бормотанье Дуля.— А у нас в законе сказано: потребляй. И казне полезно, и душе весело... Среди вашего брата иные тоже потребляют... Вон Ахметка, Гасанка... Пьют арака.

— Собаки... оттого пьют.

— Это верно,— добродушно согласился Дуля.— Ежели закон не велит, не пей. Грех. Вон нам в великий пост не токмо, что чего прочего, а и масла нельзя в рот брать, а глядико-сь, как я сегодня натюрился... Это в страстную субботу-то! — удивился сам себе Дуля.— Тьфу, окаянный я! Убей меня деревом!

— Тпру! — неожиданно потянул он вожжи и остановил лошадь.

Путь шел теперь крутым спуском вниз, и лошадь нужно было свести под уздцы, так как дорога обледенела. С этого места в сероватом сумраке различались вдали черные избы Азнайки. Только в одной избе горел огонь, и Меннигарей по этому узнал избу муллы. Глаза его сразу наметили свою избу. Воображение его опять с неумолимою яркостью нарисовало ему ожидающую картину.

Он покосился на Дулю, осторожно и ласково сводившего под уздцы свою лошадь, покосился на мешки с мукой и, крепко стиснув в руке палку, двинулся вперед по дороге.

— Стой, Меннигарей! Куда ты? Вместе айда. Я подвезу

---

* Водка.

тебя,— останавливал его Дуля, лихо скатываясь на санях с конца откоса.— Дорога снежная... Вишь, ныне пасха-то ранняя какая... Утыр*. Да русским языком тебе говорят, дурья голова, садись! Утер!

И, слегка повернув к Меннигарею лошадь, Дуля схватил его за полу бешмета и уронил к себе в сани.

— Ну, вот и тут! — весело расхохотался он.— Так-то оно лучше будет. Ноги-то не казенные. Я ведь тебя люблю! — нежно объяснил ему свои чувства Дуля.— Потому ты охотник и я охотник, и оба мы, значит, охотники.

Дуля схватил руку Меннигарея и, в знак дружбы, хлопнул по ней изо всей силы своею ладонью.

— И за то, что водку ты не пьешь, люблю тебя. А что я пьян, за это меня бог простит. Посуди сам! Завтра светлое Христово воскресенье, а дома жрать нечего. Детишки с голода пухнут. Оно зазорно Христа-то с тощим желудком поминать. Э, да что тебе об этом толковать? Разве ты поймешь?..

— Ек... Я знайт Христос... Русска пигамбяр**. Христос. Коран его писал...

— Пиганьбяр, пиганьбяр! — передразнил его Дуля.— Это вот ваш Могамет пиганьбяр, а наш Христос — бог-спаситель... Во!

Меннигарей презрительно взглянул на Дулю.

— Спасибо Сулейману, выручил,— продолжал Дуля.— Умный он людя, ваш Сулейман-то... Для нашего брата — зараза, а умный... Не чета всем вам, дуракам. У вас изо рта можно кусок вытащить, а у него не вытащишь... Не-е-т! Зубаст. С меня за мешок муки да за мешок зерна, почитай, в десять раз больше сдерет. Башка! А как не дать, коли дома кору жрем. Коли детишки пухнуть начали.— Дуля заморгал своими добродушными серыми глазами и захныкал, приговаривая: — Детишек стра-а-сть как жалко! У тебя вот тоже, чай, дети бар.

— Бар,— мрачно ответил Меннигарей.

— Тоже, чай, ашать-то нечего?

— Нечего... Умирать надо.

— Зачем умирать?.. Перебьетесь. Вы на это народ привычный. Зиму-то хуже скота живете, а ничего. Как лошади у вас зиму на тебеневке из-под снега траву щиплют, так, значит, и вы... корешки разные выкапываете. И ничего...

Дуля добродушно рассмеялся, но Меннигарею в этом смехе послышалось глумление пьяного человека, у которого

---

* Садись.

** Пророк.

есть теперь хлеб, над неимущим. Он злобно стиснул зубы, и ему захотелось ударить этого урсака.

— Ну, да вам-то к голоду не привыкать. Урожай-неурожай, вы все равно голодаете. Потому — лентяи. Ежели бы у нас столько земли было, мы бы каждый день кашу с маслом ели. Бить вас некому, оттого вы и голодаете.

Эти слова еще более разозлили Меннигарея. Он чувствовал, что это правда, да не совсем, но объяснить, в чем неправда, не мог...

— Вришь... Давно был... иок голод... Башкурт косевка гулял. Башкурт икмяк бар*, лошадкам бар... овеськам бар... Злой людя ходил к башкурт... земля отнимал, овеськам отнимал... Башкурт обижал... Злой людя... урсак людя!..— со сверкающими глазами говорил Меннигарей, чувствуя, как непреодолимая вражда закипала в нем к сидевшему с ним рядом урсаку, точно он именно был виной всех башкирских лишений и утрат.

— Так вам и надо. Не разевайте рот.

— Бедный людя грех обижать.

— А ваши нас не обижают... Тоже ой, ой как обижают! Двойную аренду дерут, лошадей крапчут. Первые конокрады башкиры. А Сулейман разве кровь-то не пьет и из ваших, и из наших?.. Тоже чисто собаки нас грызут... А нешто так Христос-то велел... Вот завтра его светлый праздничек... Он распят был за людей-то... Вот ты, к примеру, поганый басурман, а и тебя велел он любить... Последнюю рубашку ближнему отдать. Во!..

Дуля опять расхныкался и полез целоваться к Меннигарею... На того пахнуло запахом сивухи. Он с отвращением отвернулся, и Дуля обмусолил ему ухо. Дуля совсем размяк и, ткнувшись в мешок, бормотал что-то, сокрушенно мотал рыжей головой и хныкал.

Меннигарею хотелось задушить урсака... Так кипела в нем на него злоба. Вот урсак приедет сейчас домой, велит своей бабе затопить печку, напечь хлебов, и они будут есть, а Меннигарей возвращался домой с пустыми руками. Ему казалось, что этот хлеб его... Убить урсака, взять себе муку, велеть Фарихе напечь хлебов и накормить детей.

Эта мысль так настойчиво лезла в голову Меннигарею, что он уже представлял себе, как, задушив этого брюхастого мужика, он проберется к озеру, к которому ни весной, ни летом нельзя пробраться через топи и болота, поросшие камышом, и, пробив лед, спустит туда тело... Озеро это, к тому же, так недалеко.

---

* Хлеб имел.

Они ехали теперь мелким леском, где и вовсе уж было темно. Мужик перестал хныкать, голова его беспомощно свесилась через мешок, и шея была открыта сзади. У Меннигарея невольно стискивались руки... Он было подвинулся к нему, но вдруг его что-то остановило.

— О, алла, алла! — поймав себя в страшную минуту, прошептал Меннигарей и даже отодвинулся от мужика, заснувшего пьяным сном.

Лошадь миновала лес. Они были у того места, где Меннигарею нужно было слезать. Деревня темнела налево за рекой Азнайкой... Оттуда порой раздавалось тявканье собак.

Меннигарей беспокойно завозился в санях... Мужик храпел. Меннигарей слегка толкнул его. Тот продолжал храпеть. Тогда Меннигарей быстро спрыгнул с саней, дрожащими руками схватил тяжелый мешок с мукой и взвалил его на плечо. То ли чуя недоброе, то ли просто облегченная от двойной ноши, лошадь пошла быстро. Меннигарей бросился по косогору прямо к реке. Только бы перейти скорее ее, дома уж он сумеет спрятать дорогую ношу! Совесть нисколько не тревожила Меннигарея. Ему только было чего-то страшно, точно от предчувствия. Кровь колотила в виски, и сердце билось в груди, как мышь. Пятипудовой ноши он как бы не ощущал на плечах, и ноги сами несли его.

Меннигарей ступил на лед. У самого берега стояла вода, и ноги его сразу заледенели. Вода тревожно журчала где-то поблизости и точно предостерегала Меннигарея.

Он быстро сделал несколько шагов по льду.

Вдруг лед треснул... под ним или где-то около него. Меннигарей весь похолодел, остановился и зашептал молитву.

В душе его шевельнулось что-то похожее на укор себе. Непрошенная мысль прямо сердцу его шепнула, что он сделал что-то нехорошее.

Но Меннигарей отогнал от себя эту мысль. Не давая ей времени завладеть собою, он рванулся вперед.

Раздался еще более зловещий треск. На этот раз он был прямо под его ногами. Вода, пробившись в трещину, охватила ноги Меннигарея.

Он побежал вперед, как безумный... Еще треск... еще и еще... Точно там, под водою, какие-то духи стреляли в лед из ружей и сговорились погубить Меннигарея.

Он в ужасе замер и тут почувствовал... что движется вперед.

Меннигарей понял все. Это тронулась река, и сам он стоит с украденным мешком муки на льдине... украденным у такого же бедняка, голодного человека, как он сам. Мало того,

у этого человека вдвое больше семья, а завтра его великий праздник.

Он вспомнил о Христе, об этом пигамбяре, о котором коран упоминает с благоговением. Он почувствовал себя виноватым перед этим пророком не меньше, чем перед мужиком. Злоба и зависть его к этому мужику сразу пропали. Меннигарей увидел в постигшей его беде небесное наказание. «Христос меня, русский пророк, наказывает за то, что я у урсака муку карапчил!» — в отчаянии сознался Меннигарей, и ему стало страшно, но не смерти страшно, а греха, который он сделал.

— О, алла! О, алла! Магомет! Христос! — шептал он дрожащими губами, едва удерживаясь на ногах и обращая глаза к звездам, с укором глядевшим на него.

А льдина все подвигалась вперед и вперед по течению. Меннигарей слышал, как вокруг него, впереди и позади, с треском и грохотом льдины наскакивали одна на другую.. Он был посредине реки. Вот-вот налетит какая-нибудь льдина и потопит его. Вперед ли, назад ли бежать — все равно на верную погибель. Оставаться тоже значило погибнуть. Со всех сторон смерть.

Меннигарей недолго колебался и, снова обратив на мгновение взгляд на небо, почти не ощупывая ногами пути, бросился во мрак назад, не покидая мешка с мукой, шепча бессвязную молитву, оступаясь и почти падая, то погружаясь вместе с льдиной в воду, то перепрыгивая на другую.

Льдины трещали под ним и выскакивали из-под ног. Раз его правая нога вся ушла в воду, но он каким-то чудом удержался на льдине, все еще не выпуская мешка. Льдины во мраке казались плывущими живыми существами... Несколько раз он был на волосок от смерти... В одной из трещин застряла нога его. Он рванул ее и содрал кожу, но не чувствовал боли... Порой из груди его вырывались отчаянные вопли: «О а́лла! алла! Магомет! Христос!»

Надежда стала покидать его. Берег, казалось, уходил... Меннигарей закрыл глаза и опять ринулся вперед... Брызги воды летели ему из-под ног в лицо. Наконец, он почувствовал, что под ногами его лед крепче... Он остановился и с невыразимою радостью увидел себя у берега. Тут лед сплотился и стоял твердо. Меннигарей побежал вперед, насколько хватало силы, и скоро очутился на берегу. Он бросился на колени и заплакал от радости. Потом вскочил и, согнувшись под тяжелой ношей, побежал вслед исчезнувшим саням, крича на бегу: «Эй, эй, Дуля! Дуля!.. Эй, эй!»

Но Дуля был уже далеко. Да за шумом и треском реки

голоса Меннигарея все равно не было слышно. Меннигарей догнал его сани почти возле хутора.

— Мука ты терял! — задыхаясь от усталости и волнения, почти выкрикнул он, бросая мешок в сани и, не дожидаясь никакого ответа со стороны опешившего от неожиданности мужика, бросился прочь, точно боясь за себя и стыдясь своего поступка.

— Постой! Постой, Меннигарей! — опомнившись, закричал ему вслед мужик.

Но Меннигарей уже скрылся во мраке. Фигура его раза два черным продолговатым пятном мелькнула и пропала.

С. Г. Рыбаков

(1867—1921)

Сергей Гавриилович Рыбаков родился в Самаре в семье педагога. Образование будущий музыкант-этнограф получил в Петербурге, где окончил историко-филологический факультет университета, а также учился в Институте восточных языков и Консерватории по классу композитора Н. А. Римского-Корсакова.

По поручению Академии наук и Русского географического общества в 90-х годах Рыбаков совершил ряд музыкально-этнографических поездок в Башкирию, Сибирь и Среднюю Азию. В 1897 году в издании Академии наук вышел основной труд ученого «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта», в который вошли более двухсот мелодий народных песен башкир и татар, записанные им в Приуралье. Он также автор путевых очерков «По Уралу, среди башкир», статьи «О народных песнях татар, башкир и тептярей» и других музыкально-этнографических работ.

Рыбаков был организатором и активным участником ряда экспедиций Академии наук; записывал образцы народной музыки узбеков, туркмен и таджиков, вел этно-лингвистическое обследование Кабарды и Ингушии.

Незадолго до смерти ученый гармонизовал и подготовил к печати сборник «50 песен татар и башкир». Но издана была только первая часть — «16 песен татар», а башкирские песни остались в рукописи. Эта рукопись многие годы хранилась в семейном архиве племянницы ученого — Елены Петровны Рыбаковой-Смирновой и впоследствии была передана в Научный архив Башкирского научного центра Уральского отделения Академии наук СССР. Неопубликованными остались также башкирские пословицы, поговорки и загадки, записанные во время экспедиций по Башкирии. Эти материалы хранятся ныне в архиве Географического общества СССР

ПО УРАЛУ, СРЕДИ БАШКИР

I

Башкиры, живущие в Уральских горах, в южной их части,— в Уфимской, Оренбургской и частью Пермской губ.,— исповедуют магометанскую религию и говорят на татарском языке. Уже давно приняли они русское подданство,— еще при Иване Грозном, вскоре после взятия Казани, и тогда же за ними признано было владение, на правах собственности, теми землями, на которых они жили.

Но неблагоприятные исторические обстоятельства: водворение, с одной стороны, русских, которые с первых же шагов обнаружили посягательства на башкирские земли, а с другой стороны, нападения киргиз — создали для башкир трудную историческую жизнь и привели их к тщетной кровавой борьбе за свободу и лучшую жизнь. В целом ряде бунтов против русских, в течение XVII и XVIII столетий, башкиры гибли сотнями тысяч, с каждым разом все более ослабляя свое племя, пока с пугачевским бунтом, в котором они принимали деятельное участие, не увидели всей тщетности своих кровавых жертв и не преклонились навсегда перед русским господством. С тех пор это ослабевшее племя перестало иметь политическое значение, и русские водворили среди него свои порядки: заставили башкир служить, разделили их по волостям, а в первые десятилетия нынешнего столетия ввели у них так называемое «кантонное устройство», наподобие военных поселений, рассчитывая превратить этот кочевой народ в оседлый и земледельческий путем обязательных занятий землепашеством и огородничеством. Но этот опыт не удался; в шестидесятых годах кантонное устройство было отменено, и башкирам опять предоставлено было жить по своей воле. Они, конечно, занялись кочеваньем, но после предыдущего принудительного строя,— когда их нещадно пороли за всякую безделицу,— они еще более ослабели, отвыкли от инициативы и обленились. Тем успешнее отбирали у них естественные богатства русские кулаки, скупая за бесценок огромные площади земель и лесов, что закончилось знаменитой эпопеей расхищения башкирских земель в 70-х годах текущего столетия, при оренбургском генерал-губернаторе Крыжановском... Земли и леса уходят от башкир и до последнего времени все обстоятельства жизни ведут их к перемене образа жизни; площадь их кочеванья все более сокращается, и, например, в Уфимской губернии башкиры являются более земледельцами, чем кочевниками. Таким образом, исконные формы их жизни быстро изменяются под влиянием надви-

гающейся русской культуры. Между тем, являясь во многих отношениях интересными, они стоят того, чтобы сохранить память о них.

Особенно интересны башкиры в области поэтического творчества, создав замечательную и богатую музыку как вокальную, так и инструментальную, достойную внимания и способную послужить материалом для культурной музыки.

В 1893—94 гг., с ведома императорского Географического общества, я имел случай быть летом в коренной Башкирии, в диких горных волостях Южного Урала, в Верхнеуральском и Орском уездах Оренбургской губернии, где башкиры еще мало испытали русское влияние и сохранили в большой свежести свой исконный строй жизни; тем более побуждения для меня — предложить вниманию читателя нижеследующие путевые, хотя и беглые, очерки Башкирии, которые будут посвящены изображению страны, ее быта, нравов и воззрений этого добродушного и поэтического, хотя и ослабленного историческими обстоятельствами, народа.

II

25 июня 1894 г. я, брат мой Петр и Андрей Степанович Гусев, народный учитель, выехали на тройке лошадей Гусева в экипаже, добытом им в центре Башкирии, через Кубеляк-Пелевскую, Тамьяно-Тангаурскую волости из Верхнеуральского в Орский уезд Оренб. губ.

Погода была холодная; дул сильный ветер, так что первый день путешествия мы сидели в экипаже в шубах. Июнь месяц был вообще холодный, а в 20-х числах холод усилился до того, что в горах около заводов выпал снег.

Первым пунктом остановки было место на берегу речки, в 2-х верстах от деревни Ташбулатовой (45 вер. от Верхнеуральска).

В выбранном нами местечке, под защитою деревьев, было тихо, а выглянувшее солнце оживило нашу трапезу и согрело нас изрядно. Кругом же дул порывистый, холодный и сильный ветер. Наш путь лежал вдоль Уральских гор, по восточному склону их подошвы хребта Ирендык, тянущегося от горы Иремель до южного конца Уральских гор.

Иремель — горная группа на границах Верхнеуральского и Троицкого уездов Оренб. губ.— ограничивается с востока долиною р. Белой, а с запада — долиною р. Юрюзани. Высшая точка этого кряжа (под 54°22′ с. ш.) достигает 5062 фут.

Ирендык — горный кряж в Южном Урале между долиною р. Урала с одной стороны и долиною р. Сакмары и Таналыка с другой,— средняя из трех параллельных цепей, на ко-

торые разветвляется Уральский хребет, на юге оканчивается горою Суурган, или Джиль-Баш. В северной части абсолютная высота Ирендыка превосходит 3000 фут.

Ирендык отделяется от Уральского хребта в собственном смысле широкою долиною, летом покрытою густой травой. Средняя часть Ирендыка, с обоих концов отрезанная двумя речками, называющимися одинаково — Кизил, носит название «Кыркты» (вырезка) и имеет протяжение верст в 40, не доходя на северном конце верст 30 до Верхнеуральска и кончаясь на юге немного далее деревни Абзелиловой.

Дорога вдоль Ирендыка и Кырктов, проходя до местности ровной или усеянной невысокими холмами, отличается большою ровностью и исправностью, чему в особенности способствовало отсутствие дождей.

После чаю и импровизированного обеда мы поехали в деревню Ташбулатово, в 2 верстах. Встречных башкир мы расспрашивали о башкирских песенниках и дудочниках в деревне.

А. С. Гусев знал одного из них прежде и спросил, живет ли он в деревне. Башкир ответил, что нет, так как недавно попал в верхнеуральский острог за конокрадство. Спрашивали о других дудочниках, но и те сидели также в остроге. Странно вели себя дудочники. Ввиду этого известия, мы хотели проехать мимо деревни Ташбулатово, но узнали, что там найдется дудочник, и поэтому остановились ночевать.

Мы заехали в дом одного русского, занимающегося в этой башкирской деревне хлебопашеством (Козлов). Дом русского сразу отличался от башкирских избушек своею величиной, исправностью, тесовою крепкою крышею и опрятностью внутри.

Пока искали для нас дудочника (курайсы, по-башкирски), мы познакомились с хозяевами. Жена хозяина оказалась богомольной, суеверной и болтливой старушкой; когда она узнала, что мы ищем дудочника слушать его игру, то объявила: «Вы, батюшки, уж здесь в дому с ним не возитесь, грешно: ведь завтра воскресенье». На наше возражение, что мы будем слушать дудочника не для забавы, а чтобы записать его песни, она продолжала: «Нет, батюшки, грешно в русском дому,— у башкир можно». И мы искали помещения в башкирских избах. Дудочника, которого мы ждали, не оказалось тогда в деревне,— он был в кочевке, в 3 верстах от деревни; за ним нарочно ездили и привезли часов в 8—9 вечера. С ним мы отправились в одну башкирскую избу почище, находившуюся по той же улице, наискосок русского дома. Входим,— изба не старая, довольно опрятная: лишнего хлама не разбросано, на нарах (так называются здесь широкие скамейки по стенам) разостланы недорогие ковры. Мы вошли и расселись на

нарах; перед нами поставили оказавшийся в избе стол, принесли железный подсвечник и зажгли нашу стеариновую свечу: в башкирской избе распространилось непривычное освещение. У топившегося чувала (печка вроде камина) стали приготовлять самовар, а в ожидании его дудочник заиграл башкирские песни. На его игру сошлись посторонние башкиры, и изба наполнилась любопытными; я начал записывать мелодии и воспроизводить их голосом или насвистыванием: башкиры выражали удивление по поводу того, что я это записываю.

Вскоре хозяин стал угощать нас чаем, а также и некоторых из присутствовавших. Разговор прекратился, и послышались звуки усердного, молчаливого чаепития, во время которого любопытные взоры многих из присутствовавших, о чем-то соображавших, устремлялись на нас. Мой брат пользовался случаем набросать портреты некоторых из башкир и восхитил их удачностью одного снимка: «Ай хай! — слышалось среди оживленного башкирского разговора: — Якши» (хорошо).

После чаепития я возобновил записывание песен: дудочник Каракаев продолжал играть, полулежа на подушке, на нарах (у него болела нога, вывихнутая при падении с телеги). Часов около одиннадцати ночи наше заседание кончилось, и мы поднялись по домам; число любопытных к этому времени уменьшилось, и в избе осталось только 2—3 посторонних башкира. Вышли мы из избы: глубокая темень царила кругом, и холодный, порывистый, точно осенний, ветер охватывал нас; дрожа, перебрались мы через улицу к дому русского обывателя, неся с собой принадлежности чаепития и пр.

Целую ночь шумел и стучал ветер в окна дома, где мы остановились; устроиться на ночь пришлось на полу, правда, чистом, как и вообще все было чисто и опрятно в этом жилище русского крестьянина.

На другой день утром ветер стих, солнце ярко сияло и даже согревало, несмотря на продолжавшийся холод. Дудочник Каракаев ждал уже нас в кухне, как мы условились с вечера. Мы пригласили его пить с нами чай; он устроился по башкирскому обычаю на полу, причем хозяйка дала ему особую посуду, специально содержимую для башкир: по ее убеждениям, нельзя башкирам давать пить или есть из той же посуды, как и русским: «Они ведь нехристи, креста на них нет, грех из одной посуды с ними есть». Равно грех русскому взять посуду, которую она обрекла для башкир; когда кто-то из нас взял было чашку для башкир, то хозяйка заахала: «Что ты, батюшка? Как можно! Из этих чашек ведь башкиры пьют: опоганишься, постой, я тебе русскую чашку дам». Мы смея-

лись, и находившийся при этом башкир также трунил над нею, подзадоривая ее. Зашла речь о том, что грех и что не грех, на что молитва есть и на что молитвы нет. Старуха-хозяйка, между прочим, уверяла, что если мышь упадет в колодец и опоганит его, то на это есть молитва; священник может освятить колодец и сделать его опять чистым, а на баню молитвы нет, баню освящать священник никогда не ходит.

Записав еще несколько песен и мелодий от Каракаева в той же избе, как и накануне, я вместе со спутниками стал собираться в дальнейший путь...

III

Под впечатлением любезного приема мы поехали дальше по направлению к деревне Абзелиловой (Аскаравой) в 30 верстах от Ташбулатовой, где находится волостное правление Тамьяно-Тангаурской волости. Дорога продолжала тянуться вдоль Кырктов, по их склонам, в местности живописной и пустынной, и отличалась прекрасными качествами вопреки нашим предположениям, что в горах дороги должны быть неудобны. По дороге часто попадались красивые камни как в виде щебня, так и большими глыбами по сторонам, и наш экипаж временами точно ехал по мостовой или шоссе. Оказывалось, что мы попирали яшму, которая здесь встречается в изобилии и совсем не эксплуатируется.

Мы проезжали среди необозримых полей и свободных мест, судя по количеству и изобилию травы, весьма пригодных для земледелия, но лежащих совершенно втуне; наш спутник, учитель А. С. Гусев — как завзятый сельский хозяин — не знал пределов своему негодованию по поводу лености и непредприимчивости башкир: «Сколько земли, какая благодать-то кругом! Сами не работают, так хоть бы другим сдавали»,— говорил он.

Вскоре мы переехали гряду холмов, разделявших нас от Кырктов непосредственно, и слева от нас вид, бывший до сих пор открытым, ограничивался теперь этой грядой, но зато мы очутились в относительной близости к Кырктам, причудливую живописность и дикую красоту которых мы удобно могли созерцать: игра света и теней в горах была, временами, чрезвычайно эффектна.

Переезд наш до деревни Абзелиловой мы коротали в разговорах; между прочим, г. Гусев рассказывал о своей жизни в описываемых местностях, когда он был учителем в деревне Иткуловой 1-й Бурзянской волости Орского уезда. По его словам, он исходил Кыркты вдоль и поперек как страстный охотник на птиц и зверей, в том числе медведей, которых

здесь водится или водилось не так давно в достаточном числе. Однажды, блуждая с товарищем, он наткнулся неожиданно на медвежью берлогу, из которой медведь только что вылезал; в первый момент А. С. остолбенел, а затем стремглав поскакал на лошади прочь по дороге к селению; проскакав версты 4, он осмелился обернуться и посмотреть, не видно ли медведя и в безопасности ли он; обернулся и обомлел от ужаса: медведь во весь дух бежал рядом с ним, параллельно с дорогою, между кустов. Не помня себя, Гусев опять погнал лошадь вперед, а медведь все не отставал, хотя намерения напасть не обнаруживал; бежал он беззвучно, тряся своей густой шерстью, точно катился огромный клубок шерсти. Так они скакали, точно желая обогнать друг друга, пока не встретился перекресток. Гусев повернул налево, а медведь неожиданно для него взял направо, и так они расстались, причем Гусев долго не верил, что медведь не вернется и не погонится за ним опять; почти без памяти прискакал он в селение и сообщил там, что медведь вышел из берлоги и направился по такой-то дороге; народ собрался с кольями искать медведя, но, кажется, не нашли.

Приближаясь к деревне Абзелиловой, мы увидели впереди, среди горных кряжей, две вершины, заметно выделяющиеся перед другими; по словам нашего спутника, эти вершины имеют историческое значение: возвышаясь над окрестностями, они служили в былые времена маяками для башкир; во время их восстаний и войн с киргизами башкиры постоянно содержали караулы на них, чтобы наблюдать за движением противников, и зажигали в случае надобности сигнальные огни; около этих же вершин происходили битвы.

IV

В Абзелилово мы приехали вечером, 26 июня, и остановились в школе, предполагая встретиться здесь со знакомым учителем. Но его не оказалось дома: он уехал на Белорецкий завод (в 60 верстах), так что мы заняли его помещение и пользовались услугами школьного сторожа-башкира, обучавшегося грамоте в этой же школе. Деревня расположена у подножья горных кряжей, сходящихся под углом в довольно широкой долине, и состоит из 4 рядов построек; населена башкирами с небольшим числом русских дворов. Она была почти оставлена жителями, перекочевавшими на лето в горы, так что когда мы приехали, то не видели на улицах почти никого, и даже собаки не лаяли. Рассчитывали мы купить в деревне хлеба, овса и мяса, но ничего не нашли, хотя существовала лавочка; не нашлось даже ни одного башкира, чтобы

накосить травы для лошадей. Тогда мы отрядили нашего кучера и школьного сторожа съездить за травой в поле, что они и исполнили, спустя некоторое время. Мы стали устраиваться в помещении учителя и увидели, что оно было сильно запущено: вещи валялись в беспорядке, стекла в окнах были загрязнены, и на всех предметах густым слоем лежала пыль; коридор, общий для школы и учительского помещения, был какого-то черного цвета.

— Вот как плохо живет учитель! — говорил Гусев.— Ну, что бы ему почище прибрать и держать свое помещение; а все оттого, что жена померла.

Устроившись, мы в ожидании самовара гуляли по улице деревни и видели, что большая часть домов пустовала; изредка светили огни в окнах; животных почти не было видно; вечерняя тишина ничем не нарушалась; на чистом летнем небе кротко светил серп луны.

После ужина мы погуляли еще немного в окружающих полях, которые начинались прямо от школы и были тихи и безмолвны, не оглашаясь ни стуком колеса, ни голосами птиц, ни животных, так как весь скот был тогда в горах.

Тишина ночи и деревни изредка лишь нарушалась стуком сторожевой колотушки у волостного правления, рядом со школой. Бродя около деревни и по улице, я направился к караульщику и услышал, что он тихо напевал башкирскую песню; не сразу я увидел его в темноте; подошел, поздоровался, на что услышал в ответ: «здравствуй, знаком»; затем я расспрашивал, сколько он получает жалованья и давно ли стоит караульщиком.

«Два рубля в месяц, знаком, давно уж»,— отвечал он.— «А не боишься?» — Зачем бояться? Нет, людя не обидят, а волкам сам обидим.— «Спишь, поди, иногда ночью?» — Спаем, как не спаем? — «Да ведь этого нельзя!» — А мы опять просыпаем.— «А сколько тебе лет?» — Двадцать.— «Баба есть?» — Нет.— «А почему же?» — Девкам за нас не гуляет.— «Отчего же?» — Не гуляет: лицом черные. Знамо, плохо.— И караульщик застучал в колотушку; с минуту мы помолчали.— «А кто это в волостном правлении давеча, как солнце садилось, играл на курае?» — спросил я опять.— Сторож в правлении.— «Хорошо играет?» — Хай, какой, хорошо! Так яман (плохо), разве это курайсы (дудочник)? Ты айда урман (лес в горах), гуляй кочевкам, вот там якши (хороший) курайсы найдешь.— «А сколько верст до кочевки?» — Берстам сорок будет; завтра айда гуляй, якши там кумыс, курайсов много, а здесь чего живешь? ничего нет и людям нет.— Перспектива побывать в кочевке, в горах, где много песенников и дудочников и где можно бы записать много песен,

давно уже манила меня, так как от самого выезда из г. Верхнеуральска мы еще не видали башкирского населения, потому что ехали по восточному склону Уральских гор через зимовки — башкирские деревни,— а башкиры почти все откочевали в горы, направо от нас. Предложение башкира мне нравилось, и я думал: отчего бы не съездить завтра в кочевку деревни Абзелиловой, а караульщик в это время говорил: — «Айда, гуляй, знаком, лошадям будет, я тебе завтра сыщу, недорого возьмем.— «А сколько?» — Девять гривен.— «Может быть»,— ответил я.

В это время с крыльца школы меня окликнули. Я простился с караульщиком и пошел в школу; за мной раздавались удары колотушки, а после них послышалось тихое мурлыканье караульщика...

На другой день (27 июня) мы встали довольно рано; было прелестное июньское утро: солнце ярко сияло среди утренней прохлады, точно радость и бодрость были разлиты в природе. Во время чая мы говорили о поездке в кочевку: А. С. Гусев отнесся отрицательно к нашему проекту, во-первых, потому что, по его уверениям, множество кочевок ожидало нас впереди; во-вторых, он торопился увидеться со своими родственниками в Башкирии и затем вовремя возвратиться домой в Учалы, ко времени сенокоса, что было важно для него как сельского хозяина; в-третьих, не достав овса в деревне и нигде по пути, он боялся за своих добрых лошадей, привыкших к овсу, и торопился выкормить у родственников овсом уже спадавших в теле лошадей. Мы решили ехать далее.

Вскоре были заложены лошади; простившись с обывателями, мы в конце деревни взяли направо в горы через лощину. В этом месте кончился хребет Кыркты (вырезка), отделенный от продолжения своего к югу — Ирендыка — речкою Кизил (Красная), второю под этим же названием на нашем пути. Взяв направо в горы, мы вскоре повернули влево и поехали по тому же направлению, как и прежде, но только внутри гор, вдоль хребта Ирендыка, который теперь стал уже налево от нас. Панорама переменилась; начались исключительно горные виды, один другого величественнее и красивее; налево и направо от нас великанами теснились горы; открытых видов уже не было и попадались только небольшие долины. Вскоре дорога пошла по спуску; проехав по ней, мы увидели, что дорога с левого края обложена небольшою стенкою из камней; оказалось, что путь идет по обрыву и огражден для предупреждения падений; налево от него перед нами раскрылась великолепная зеленеющая долина, довольно глубокая и правильная, посередине которой шумно текла и вызывала изобильную растительность речка Кизил. Вид был так хорош,

что мы, идя по спуску дороги пешком, остановились и долго любовались долиною, украшенною блестящей и быстрой речкой. В начале спуска нельзя было и ожидать встретить долину, притом же такую красивую, так как она подходила к обрыву, по которому спускалась дорога, под острым углом, а окружающие горы, казалось, сливались вплотную друг с другом. Мы прошли пешком до конца спуска и далее по продолжению описанной долины до самой речки, быстрота которой была весьма значительна, берега же ее были ровны.

Дальнейший путь имел тот же характер: дорога вилась между гор в долинах и лощинах, даря многочисленными интересными видами; несколько раз проезжали мы через башкирские деревни, совершенно пустые, точно весь народ вымер: такое впечатление получалось оттого, что избы выглядели все годными к жилью, а ворота были не заперты, точно вот недавно здесь жили, но прошла смерть и покосила всех врасплох. В одной деревне попалась только забытая кудахтавшая курица и одна напоминала о жизни среди этой мертвой картины; а в другой встретилась лишь убогая старушонка, сидевшая на лавочке у ворот дома; во всех же прочих избах было пусто, хоть приходи и зажигай деревню — никто не помешает. И действительно, со злым умыслом много бед можно бы наделать в башкирских деревнях летом: башкиры не сразу узнали бы о беде, так как они живут в горах за 10—20 верст, а если бы и узнали, то не нашли бы виновного. Однако пожары, а тем более поджоги, редко случаются в башкирских деревнях, гораздо реже, чем в русских селениях, может быть, оттого, что у них не водится ни сена, ни соломы!

* *
*

...За чаем я, по обыкновению, завел речь о башкирских дудочниках и песенниках; Катерина Степановна усмехнулась: вообще всюду подобные расспросы наши вызывали усмешку или улыбку; видно было, что нас принимали за веселых малых, которые, может быть, приехали покутить и провести время без скуки; впрочем, улыбка Катерины Степановны была не такая: в ней не было той брезгливой предубежденности, как у старухи в деревне Ташбулатовой. Катерина Степановна тотчас же вошла в наши интересы и стала припоминать, какие есть в деревне песенники и дудочники, желая оказать нам приятное. В деревне были не только мужчины артисты, но и песенницы и дудочницы. Это было ново для меня: раньше я не встречал среди башкир женщин артисток. Я сообщил, что у меня есть бумага от импер. Географичес-

кого общества в Петербурге, в которой оно просит все учреждения и лица, с которыми я вошел бы в сношения, оказывать мне содействие. Андрей Степанович сказал: «Вот и отлично, ее завтра можно будет показать старшине, и тогда он живо найдет нам дудочников».

V

На другой день утром, когда еще было по-прежнему пасмурно, во дворе были уже два всадника-башкира в их характерных костюмах. Я вышел на крыльцо, и один из них, одетый получше, соскочил с лошади, поднялся по лестнице ко мне и, точно перед начальством, отрапортовал: «Старшина 2-й Бурзянской волости Сулейманов»,— и спросил, не желаю ли я какого-нибудь содействия с его стороны. Вероятно, Андрей Степанович успел дать знать старшине, зачем мы приехали, сказав, что мы из Петербурга и «имеем бумагу», и этого было достаточно, чтобы старшина счел обязанностью явиться к приезжим как к начальству. Вообще упоминание о том, что мы из Петербурга, во многих случаях производило чуть ли не магическое действие.

Старшина был довольно представительный башкир, с неглупой, серьезной физиономией и с широким носом. В своих движениях он весьма годился для представительства, благодаря чему и был на счету хорошего старшины. Я старался вести расспросы самым простым тоном, но старшина долго не мог отделаться от мысли, что он должен держать себя как подчиненный. Я пригласил его и спутника, а также других башкир, бывших при этом, пить чай, предложив ягод, лимона и др. угощений: башкиры охотно пьют чай с лимоном и по утрам, видя в этом своего рода роскошь.

Мы вели разговоры, а в промежутках с полной степенностью пили чай. Чаепитие происходило по башкирской форме: у самовара были расставлены маленькие чашки, в каких обыкновенно пьют чай; один из присутствующих разливал чай, причем сначала во все чашки подряд наливал понемногу чаю, затем прибавлял во все еще по две, по три капли, а после этого — неполную ложку молока, если кто пил без лимона, и доливал кипятком. Присутствовавшие разбирали чашки и солидно, молча пили, так что в комнате раздавались только звуки чаепития. Кто выпивал чашку, тот немедленно ставил ее к самовару для нового наполнения, а сам в это время разрешал себе разговор о том о сем.

Имея в перспективе поездку в кочевку к старшине и зная, что он устроит праздник на всю кочевку, Андрей Степанович с особым старанием угощал старшину, клал ему в чай мно-

жество кусков сахару; старшина, конечно, был польщен таким вниманием, но чай, наконец, стал так приторно сладок, что старшина, и довольный, и в полусмущении, сказал: «Много, поди, будет, не клади больше сахару»,— а у самого играла улыбка полного довольства. Подкупленный угощением, он приглашал нас к нему на кочевку в гости: «Приезжай в кочевку, барана режем, жрать будем»,— так грубо выражался он, может быть, не зная настоящей силы этого слова. Расстались мы, довольные друг другом, а на другой или на третий день предположили ехать на кочевку к старшине, как только установится ведро. Все говорили, что старшина хорошо угостит, сумеет устроить праздник, что он «хороша люди», по выражению башкир. Андрей Степанович был очень доволен перспективой погостить в кочевке, попить там хорошего кумыса, закусывая его бараниной, а мне говорил: — Лучшего случая и желать нельзя; старшина соберет для вас всех лучших дудочников и песенников, и тогда вы вволю записывайте, старшина все устроит.— К вечеру того же дня мы убедились, что старшина готовится к празднеству: нам сообщили, что он велел на деревне всем, у кого водится кумыс, запасать его и приберегать для гулянки в кочевке, дня через два, а также распорядился привести из соседних деревень хороших дудочников. «Ну, думали мы себе: будет пир». И много говорили о предстоявшем празднестве. Вечером того же дня, гуляя по деревне, я встретил старшину верхом: он очень предупредительно поздоровался со мною и в знак расположения слез с лошади и предложил мне поездить на ней. Я сел и несколько раз проехался вдоль деревни, а затем возвратился в дом Катерины Степановны, куда пришел пешком и старшина.

В течение дня я виделся с одним дудочником и записывал от него башкирские песни, а затем Катерина Степановна пригласила меня во внутренние комнаты, где был башкир придурковатого и странного вида, с улыбающейся, застенчивой физиономией.— Вот это Мансурка, про которого я вам говорила,— сказала Катерина Степановна,— он матер петь по-птичьему.

— Ну, Мансурка, сыграй, как лебеди поют,— продолжала она. Мансурка всполошился, сконфузился, засмеялся во все лицо и спрятал его в рукав, топчась на месте. Тогда присутствовавшие вторично стали его побуждать: «Ну же, Мансурка, не бойся». Мансурка, вытянув свою физиономию, закрыв рот и нос, стал издавать в высшей степени странные, своеобразные звуки. Эти звуки, действительно, были похожи на птичьи, но вместе с тем ясно слышалась мелодия. Это лебединое курлыканье слушалось прямо с удовольствием: так оно было необычно, искусно и вместе приятно. Присут-

ствовавшие издавали одобрительные возгласы и заставили повторить. Мансурка опять широко улыбнулся; он, видимо, был польщен и повторил пение лебедя. В то же время я записал мелодию. Затем он изображал, как воркуют голуби, как поет какая-то полевая птица, кажется стрепет, и все это было очень своеобразно и правдоподобно. Мы хвалили Мансурку, и улыбкам его не было конца; он уже не был так застенчив, а когда я дал ему различных фруктов, радость его была безмерна: он оживился и начал топтаться на месте еще более. После этого Мансурку отпустили.

Вечером мы познакомились с другими обывателями из русских,— из так называемой местной интеллигенции. За вечерним чаем была одна дама, которая оказалась женой местного врача. Это была довольно полная дама с несколько широкой физиономией, большим лбом, с розами на щеках, хоть и не первой свежести; говорила она как-то улыбаясь, с поползновениями на иронию и остроту, и нередко смеялась. Но тонкостью от ее иронии и острот не веяло, и вообще от нее самой и от речей отдавало некоторой топорностью. Она расспрашивала о цели нашего приезда, усмехнулась, давала советы и указания, а затем полушутливо обсуждала наш проект ехать в кочевку на праздник к старшине и заранее назвалась участвовать в поездке. Беседа была вообще оживленная, так как за чаем собрались домочадцы Катерины Степановны, ее дочери и некоторые знакомые. Впрочем, я не все время оставался в этом обществе, потому что вскоре прислали ко мне нового дудочника, с которым я и ушел в соседнюю комнату. Дудочник когда-то работал поденщиком у мужа Катерины Степановны, и когда я повел его в гостиную, которая была предоставлена в наше распоряжение, Катерина Степановна заметила дудочнику: — Ишь ведь дождался какой чести; поди, никогда и не сидел в таких комнатах.— Вообще, благодаря моим сношениям с башкирами, последние водворились в доме Катерины Степановны на началах равноправности, тогда как прежде дальше кухни и столовой они не допускались. Хотя, может быть, в душе это было не совсем по вкусу хозяйке, но она и виду не показывала, что это ей не нравится. Доставши четверть кумыса, я засел в гостиной с дудочником и записывал с его игры башкирские мелодии.

В комнате были уже зажжены вечерние огни, но они не мешали видеть в окна, что погода прояснилась и вечерняя заря розовым, мягким полусветом отражалась на подоконниках и на домах снаружи. Стало сразу веселее после почти двухдневного ненастья. В это время, вдруг под окнами, раздались какие-то знакомые звуки; мы прислушались: это Мансурка пел по-лебединому. Он стоял у наших окон и с каким-

то усердием показывал свое искусство; мы открыли окна и стали слушать, Мансурка, увидев нас, приветствовал широкой и радостной улыбкой. В ней и в том усердии, с каким он изображал пение птиц, видно было, что он сильно польщен вниманием к его искусству и хотел показать, что в нем живут чувства благодарности. Мой брат и частью я пытались подражать искусству Мансурки не без некоторого успеха. Чистое небо, ясная догорающая заря, тихий вечер, новые для нас люди, добрые и хорошие, необычная обстановка, горная природа, в высшей степени странное и оригинальное искусство Мансурки,— всего этого было достаточно, чтобы почувствовать себя в совершенно своеобразном мире, познать особое душевное удовлетворение, когда всецело погружаешься в настоящее и забываешь о прошедшем и о будущем.

На другой день (29 июня) мы поехали с Андреем Степановичем немного далее, за 20 верст, в деревню Иткулову 2-ю, где жила его мать-старушка в собственном доме, чтобы повидаться с нею. Приехали мы в Иткулову около базарного времени и остановились в доме матери А. С., бодрой, расторопной старушки, которая с усердием стала хлопотать для нас. В одноэтажном деревянном доме было необыкновенно чисто прибрано. А. С. спросил старушку о дудочнике Хамите: здесь ли он? но, на нашу неудачу, его не было. Тогда мы пошли на базар, рассчитывая найти там какого-нибудь дудочника. В базарный день башкирская деревня довольно оживлена, в другие же дни на месте базара совсем пусто и стоят одни открытые деревянные лавки. На базар приходило много народу,— все башкиры да башкиры,— и лишь немногие русские торговцы, 5—6 человек. В числе их мы встретили мужа Катерины Степановны, Ивана Степановича Петрова, и познакомились с ним. Он родом из Уфы и живет в Башкирии уже довольно давно, наряду с другими торговцами ведя кочевую торговлю; дело в том, что в Башкирии нет торговых центров, лавку открывать в одном месте невыгодно, и приходится торговать по базарам, каждый день на новом месте, так как башкирские базары дольше дня не продолжаются. Русские торговцы выбирают на каждый день недели деревни с базарами и перекочевывают со своими товарами, возвращаясь к семье только на один какой-нибудь день в неделю; и это продолжается круглый год — и летом, и зимой. Обыкновенно торговцы разъезжают вдвоем или втроем, ради безопасности. Летом живется им еще сносно: останавливаются они часто в поле, ночуют там, кормят травой своих лошадей, сами себе варят пищу, изредка занимают квартиру в деревне; но вот зимой приходится тяжело.

На базаре в Иткулове мы стали расспрашивать, нет ли

здесь дудочника. Вся толпа башкир заинтересовалась нашим появлением; все заволновались, затараторили по-своему; раздались оклики и откуда-то явился дудочник. Я спросил: «Ты курайсы?» (дудочник).— Да,— ответил он. «Хорошо играешь?» — Как не хорошо! мало-мало умеем.— В это время толпа окружила нас уже со всех сторон и живо следила за нашим разговором; при последнем вопросе она вся крикнула, точно речь касалась ее: — Хай, куда не хороша, первы курайсы.— Тогда я сказал дудочнику: «Ну, пойдем ко мне в избу». Из толпы раздавались новые предложения: «Эй, знаком, еще курайсы есть, бульно хороша, айда бери его». Видимо, толпа смекала, как бы поживиться на счет новых приезжих. Когда я с дудочником (звали его Тулунгужа Губейдуллин, из деревни Искаковой) уходил с базара, отдельные голоса что-то выкрикивали вслед ему; Андрей Степанович, знавший по-башкирски, после говорил мне, что толпа советовала дудочнику побольше взять с нас за игру.

Возвратились мы в дом матери Андрея Степановича и ниспровергли обычный порядок ее жизни: заняли две комнаты, разостлали на чистом полу ковры, положили подушки и таким образом устроились для пребывания, да к тому же это было удобно и для записывания песен нового дудочника. Как только мы пришли с ним, он уже в кухне взял в зубы свою свирель (курай) и начал наигрывать мелодии, все хорошие и красивые. Сидели мы с дудочником долго на ковре, все кумыс пили; он песни играл, а я записывал. Дудочник оказался из хороших; много мелодий успел я тогда записать; наконец, оба мы устали и дальше играть и писать было невмоготу. Я предложил дудочнику остаться на весь вечер, чтобы после обеда опять записать что-нибудь. Он согласился. Получив плату, он уехал часов в 9 вечера.

На другой день Андрей Степанович предлагал нам ехать назад в Темясово, на праздник к старшине, тем более, что день начался великолепным утром. Но не так далеко от деревни, в 45 верстах, был золотой прииск Горяевых: мы не хотели упускать случая побывать там; к тому же нам говорили, что на прииске среди рабочих есть много дудочников и песенников. Таким образом, мы с А. С. расстались; он на своих лошадях поехал обратно в Темясову, а мы наняли лошадей на Горяевский прииск; с нами выразила желание поехать и мать Андрея Степановича, так как это был для нее удобный случай видеться с замужней дочерью близ прииска — «Милочкой», как она называла ее. Она решительно отказалась взять что-либо с нас за издержки по поводу нашего приезда и только при этом условии согласилась ехать с нами. А. С. простился с матерью со словами: — Ишь какая бойкая ста-

рушка, на старости лет с кавалерами поехала,— и мы разъехались.

Нам предстояло ехать по долине между хребтами Ирендыком и собственно Уралом. На одном более высоком пункте мы увидели всю долину: перед нашими глазами раскрылась широкая, живописная, уходящая вдаль долина, красиво обрамленная двумя величественными хребтами гор, причудливо обрисовывавшимися вдали. Вид поражал своею широкою и величественною красотою.

Ехали мы по этой долине довольно долго, среди густой, высокой травы; затем приблизились к Ирендыку и поехали вдоль него. Дорога, несмотря на то, что по ней мало ездили, была прекрасная. Долина эта — благодатная. Башкиры любят кочевать по ней благодаря прекрасному корму, какой находят здесь их стада. На пути мы, действительно, встретили кочевку, в которую заезжали пить кумыс. На обширной долине любовались игрою света и теней от проходящих под солнцем облаков; далеко где-то вдали лежали по равнине темные пятна и там, казалось, был вечер, а в других местах ярко сияло солнце и было как будто утро.

Часа через 4 пути мы приблизились к прииску Горяевых. Но спутницу нашу завезли по соседству на фабрику химической добычи золота графа Роттермонда, где была замужем за служащим дочь нашей спутницы. Приехали, отрекомендовались владельцам фабрики графу Роттермонду и московскому коммерсанту Коншину как прибывшие для этнографических исследований в Башкирию; осмотрели фабрику с ее сложным устройством, увидели, в какой гибельной, наполненной удушливыми газами атмосфере работают русские люди и башкиры; узнали, что золото идет плохо; побеседовали с хозяевами, которые пожелали иметь впоследствии результаты моих исследований, особенно записи башкирских мелодий, чрезвычайно им понравившихся; узнали от них, какие лица также весьма заинтересовались бы моими музыкальными записями, а затем поехали далее, уже без старушки, вдвоем на Горяевский прииск в двух верстах. Он лежит у самой подошвы Ирендыка на речке Таналык, впадающей в Урал, в довольно живописной местности, лишенной, однако, всякой растительности, так как лес весь истреблен приисковою фабрикой...

VI

Когда мы приближались к Темясовой, навстречу нам попадались большими партиями башкиры то в телегах, то верхом: это они возвращались со схода, собранного в Темясо-

вой, как центральной деревне 2-й Бурзянской волости,— где находится и волостное правление,— для продажи прав на содержание почтовых лошадей по деревням этой волости. Со всей волости собралось очень много башкир. Зрелище было особенное: навстречу нам ехали все башкиры и башкиры, тогда как глаз русского путника привык встречать на проселочных дорогах русского крестьянина; здесь сильно и наглядно чувствовалось, что мы пребываем в центре коренной Башкирии и что не русские мужики обитают в окрестных весях.

Приехали мы в Темясову поздно вечером; после поездки среди вечернего горного воздуха мы чувствовали себя необыкновенно бодро. Много мы говорили о любезных хозяевах прииска. Катерина Степановна и жена врача в один голос заявили, что Мария Павловна Горяева — необыкновенная женщина по доброте сердца: она много благотворит, жалостлива к бедным башкирам, приезжающим на ее прииск. Она дарит им ситцу, чаю и пр.; никто из посетителей ее прииска не уезжает, не удостоившись внимания хозяйки.

Катерина Степановна и ее муж Иван Степанович Петров, возвратившийся с базара в окрестных деревнях, сообщили, что в отсутствие наше у них состоялся целый вечер с песенниками и дудочниками, которые в большом количестве нахлынули в Темясову по поводу схода и базара; что песенники и дудочники были отличные, а последние играли, несколько человек подряд. Я спрашивал Андрея Степановича, как играли дудочники: — все одно и то же, или разделялись на голоса? — А. С. ответил, что все играли одно и то же, т. е. унисонную общую мелодию.— Где им, дикарям, играть на разные голоса? — прибавил он. Я очень сожалел, что не присутствовал на этом вечере, потому что ни раньше, ни позже мне не удавалось слышать среди башкир одновременной игры на нескольких инструментах и притом так, чтобы это выходило стройно, а на упомянутом вечере башкиры играли согласно. Сообщили мне также, что на вечере пел отличный певец, тенор Абдрахман Узенбаев из деревни Токтагуловой 2-й Бурзянской волости, близ Султановского прииска Рамеева, и посоветовали во время моих разъездов по Башкирии отыскать его и записать эти прекрасные песни. Я занес в памятную книжку его фамилию.

Дудочники и песенники эти были частью привлечены в Темясову старшиною специально для меня; поэтому-то присутствовавшие на вечере сожалели, что я отсутствовал.

На другой день, 2 июля, перед утренним чаем я отправился в лавку за покупками и на крыльце дома встретил башкира, который встал и поклонился мне; я спросил, кто он и что ему надобно: он ответил, что курайсы (дудочник) Биргале из

деревни Кусеевой и пришел играть к «начальнику из Петербурга» (так называл он меня). Слух о том, что я записываю башкирские песни и даю за это деньги, распространился, при содействии старшины, довольно далеко среди башкир. Я сказал Биргале, чтобы он немного подождал, что я скоро возвращусь и тогда буду заниматься с ним. Возвратившись, я рассказываю хозяевам о встрече с Биргале, а они мне сообщают, что этого дудочника нарочно задержал для меня накануне старшина на сходе и что дудочник — один из самых известных в своей местности...

...Я ушел, чтобы начать работу с Биргале.— Где мы с тобой будем играть? — спросил я.— «Где хотите»,— ответил он смиренно: несомненно, он продолжал видеть во мне «начальника из Петербурга». В доме Катерины Степановны оказалось неудобным устроиться нам с Биргале, и тогда последний, по моему поручению, нашел в деревне свободную избу.

Пришли мы в новую избу, сравнительно просторную, почти пустую, где стояли только широкие скамейки вдоль одной стены; сначала в избе были я, Биргале и хозяин, но скоро стали входить другие башкиры; в это же время хозяин принес кадочку с кумысом и стал угощать им присутствовавших; игра, соединенная с угощением, привлекла в непродолжительном времени многих любопытных. Мы с Биргале условились было не впускать посторонних и заниматься без народа, но башкиры начали стучаться снаружи у дверей и возвышать голоса. Что они говорили, я не понимал, конечно; только Биргале перестал препятствовать желанию любопытных проникнуть внутрь, и последние один за другим наполнили избу. После Биргале мне говорил, что когда он пробовал не впускать башкир в избу, то они кричали из-за двери, что изобьют его; поэтому он больше и не мешал им входить в избу. Таким образом, пришлось записывать мелодии Биргале при толпе; башкиры, нисколько не стесняясь, разлеглись на нарах, поджав под себя ноги, а кто не уместился, те стояли посредине комнаты. Один башкир сел около кадочки и разливал из нее кумыс в чашки, которые раздавались по рукам; в центре восседали старики почтенной наружности с длинными седыми бородами, но они проявляли любопытство и жизнерадостность не хуже молодежи; особенно один из них, весьма говорливый и полный добродушия, с длинными седыми усами, с широкою, довольно выразительною физиономиею и живыми веселыми глазами, громко расспрашивал меня в подробностях: кто я, правда ли, что из Петербурга, зачем я записываю песни? и т. п. Я удовлетворял его любопытство, и он шумно издавал возгласы одобрения, изумления, удивления или удовольствия. «Хай-хай!» — протяжно

выражал он удивление, или: «Молодес, вот молодес так молодес, хороша люди!» — поощрял от меня по поводу записывания мелодии и одобрительно хлопал по плечу, а глаза его так и светились добродушием. Другие башкиры с любопытством рассматривали нотную бумагу, на которой я записывал мелодии; спрашивали меня, что это такое, и как это я самый голос записываю, и усердно старались постичь мои, конечно, самые элементарные объяснения. Но, видимо, это им не удалось, потому что они молча и полуробко, с печатью того же первоначального недоумения на лице, отходили от меня. Кто-то из них сказал, что еще не видывал, чтобы записывали так по линейкам, что он видел, как «русак» записывал на бумаге их песни, но чтобы голос записывать, да еще по таким линейкам,— он и не видывал.

В такой компании я записывал мелодии от дудочника и вместе с тем волей-неволей принимал участие в питье кумыса, так как мне подносили чашку первому и следили, чтобы она не была пустой; однако много пить я не мог, потому что кумыс был плохой и кислый. Когда я, записав мелодию, воспроизводил ее голосом или насвистыванием, то ропот одобрения, особенно вначале, проносился по всей толпе: иные даже смеялись от удовольствия, что слышат свою песню от «русака».

Довольно долго записывал я песни в этой избе, так что значительная часть башкир, удовлетворив своему любопытству, разошлась из избы; остались лишь немногие, в том числе описанный выше разговорчивый старик, имевший терпение досидеть до конца. Наши занятия прервались по поводу сходки у волостного правления, на которой надо было присутствовать всем, в том числе и Биргале; эта сходка была продолжением бывшей накануне и на ней происходила та же продажа с торгов права на содержание лошадей для проезжающих по волости, так как накануне не успели покончить с этой процедурой. Я заинтересовался сходкой и пошел туда. На пути, близ волостного правления, встретился мне Мансурка, три дня тому назад забавлявший нас своим искусством петь по-птичьему. Еще издали он увидел меня и застенчиво шел навстречу, а на физиономии уже давно играла улыбка; я предполагал, что он скажет мне в виде приветствия: «здравствуй», но вместо всякого приветствия он нежданно-негадан-по прокурлыкал по-лебединому и разразился улыбкой удовольствия. Я так и не слышал вообще ни одного слова от этого своеобразного артиста, у которого способ изъяснения был, по-видимому, единственно птичий. Я остановился, прослушал его пение, что-то сказал ему, а он застенчиво улыбался. Когда же я пошел далее, он еще раз пропел по-лебединому.

Вообще, видно было, что он старался выразить какие-то симпатические чувства. У волостного правления была уже большая толпа. На крыльце правления стоял стол, за которым сидели волостной писарь из русских и старшина башкир — Сулейманов. Когда я пришел, старшина пригласил меня сесть в середине за стол, рядом с ним, и я очутился в центре сходки. Старшина был украшен цепью с бляхой. Торги происходили следующим образом. Писарь называл деревню, в которой должны содержаться лошади для проезжающих, и спрашивал, кто сколько хочет платить за это обществу. Кто-нибудь из башкир называл сумму; толпа напряженно следила за ходом торгов. Уже первое заявление цены вызывало некоторое волнение, и ропот голосов проносился по всей толпе; когда же кто-нибудь другой назначал высшую цену, то раздавался взрыв целого ряда голосов, которые по-башкирски что-то кричали предложившему высшую цену или же оживленно тараторили между собой; вместе с тем толпа все теснее надвигалась к столу, где сидели старшина и писарь, забиралась на перила, окружавшие крыльцо, перелезала через них и постепенно наполняла самое крыльцо, так что старшина уже морщил свою физиономию и покрикивал на толпу. Когда же начиналось состязание из-за цен и кто-нибудь все повышал их, толпа приходила в экстаз, разделялась на партии, и каждая из этих партий наблюдала и поддерживала своего клиента. После каждой новой цены толпа издавала взрывы возгласов, колыхалась, жестикулировала; отдельные физиономии, напряженные, красные, обращались то к торгующимся, то к старшине и во все горло что-то кричали, махая руками, забираясь на перила и на стулья. Старшина сидел невозмутимо, и умная физиономия его с крупными типичными чертами что-то серьезно обдумывала, не обращая внимания на крики толпы; лишь по временам его лицо покрывалось тенью неудовольствия, и старшина полугневно качал головою или махал рукою в ответ на крики, какие были обращены к нему из толпы, а иногда грозно окрикивал шумящих. Таким образом, он руководил сходкой. Волостной же писарь из русских держал себя совершенно беззаботно, спокойно записывая цены торгов и не обращая ровно никакого внимания на толпу, как бы погруженный в свои записи; по временам только он посмеивался.

Возбуждение и смятение толпы достигало высшей степени, когда кто-нибудь из состязующихся не выдерживал и называл свою последнюю цену; тогда вдруг раздавался такой оглушительный рев голосов, что впору было затыкать уши: толпа неистово колыхалась, все лица наливались кровью, и все кричали что есть духу; часть толпы, видимо, лико-

вала; другая часть, с явною укоризною в тоне голоса, обращалась к сопернику, не выдержавшему торгов, а тот понуро стоял или махал рукою. Много раз повторялись такие сцены в течение сходки, и казалось иногда, что вот-вот эти разъярившиеся люди сейчас набросятся друг на друга и начнется «заправская» свалка, но дело ограничивалось только неистовством голосов и необыкновенным жестикулированием толпы. Вообще сходка носила чрезвычайно шумный и строптивый характер (я хотел было сказать — бурный, но это было бы слишком сильно); подобных сходок у русских я не встречал. Наконец, торги кончились, и толпа разошлась, но не совсем, и через несколько времени опять собралась у дома Ивана Степановича Петрова (где мы остановились) для получения подарков от тех башкир, которым на торгах достался разгон лошадей по деревням. Это уж так водится на сходках у башкир: если кто-нибудь просит общество, напр., о продаже или сдаче в аренду земель, лесов или участков для добывания минералов и т. п. и будет сделано постановление, благоприятное для просителя, то последний должен вознаградить сход подарками. Если он хлопочет о большом деле, то дарить деньгами или вещами, если же он не богат, то просто чаем, до которого башкиры чрезвычайно падки. Так и в настоящем случае все, получившие право разгона лошадей, должны были в виде благодарности одарить сход чаем, причем на долю каждого приходилась восьмушка и не более четверти чаю. Так как упомянутый Иван Степанович торговал чаем, то названные лица поручили ему отпустить чаю участникам схода,— и вот башкиры запрудили весь его двор и окружили с улицы дом, терпеливо ожидая каждый своей очереди. Долго Иван Степанович раздавал башкирам чай из своей подвальной лавки, а башкиры в это время самым беспечнейшим образом сидели на бревнах, на земле или стояли, весело тараторя и, видимо, очень довольные таким беззаботным времяпровождением.

Эти награды за мирские приговоры от заинтересованных лиц почти так же развращают, как и мирское питье водки у русских крестьян. Если кому нужно за бесценок снять в аренду огромные площади земли в лесу, то еще раньше приговора раздают наиболее влиятельным участникам сходки деньги, чай и другие подарки, а затем обещают после приговора раздать подарки в таких-то размерах, и подкупленные башкиры, ожидая впереди еще подачек, весело, «с легким духом», не разбирая хорошенько дела, постановляют в пользу угодившего им, готовя этим себе явные убытки и разорение. Такими путями снял, напр., в аренду огромные площади лесу чуть ли не во всех трех бурзянских волостях известный

в Орском уезде золотопромышленник татарин Рамеев, причем башкиры в своих же лесах лишились права рубить лес на постройки, а должны покупать его у Рамеева! Так башкиры упускают драгоценные свои сокровища, не зная им настоящей цены...

В конце сходки я виделся с Биргале и условился с ним, что еще позаймемся после обеда вечером. Вечером оказалось возможным заниматься в доме, где мы остановились, и мы с певцом расположились в гостиной Катерины Степановны, заперши предварительно парадную дверь, чтобы к нам не вошли и не мешали башкиры, которым Иван Степанович еще продолжал выдавать чай за сходку. Я послал одного башкира с бутылью за кумысом; он принес его и сам остался, а мне неловко было сказать, чтобы он ушел; за ним вошли двоетрое башкир, прилично одетых, и так ласково, почтительно относились ко мне, что я также не мог возразить против их присутствия. Все это видели и слышали башкиры, дежурившие вокруг дома, и решили непременно последовать примеру вошедших: они поднялись по парадной лестнице с улицы и начали самым непринужденным образом и довольно настойчиво стучаться в запертую дверь. Мы сначала хотели оставить без внимания это проявление башкирских желаний, но в дверь продолжали стучаться так настойчиво, что Биргале пришлось отпереть ее и прикрикнуть на беспокойных соплеменников; однако не обошлось без того, чтобы мы не впустили двоих-троих. Торканье в дверь и стуки не прекращались и после этого, но мы решительно не обращали уже внимания на них. У башкир вообще много непосредственности в проявлении своих желаний, которые в данном случае были тем сильнее, что башкиры — большие охотники до зрелищ и приятного времяпровождения,— тем более с музыкой,— и одарены огромным запасом любопытства, которому я был обязан тем, что мне всюду приходилось вести занятия на виду многочисленных собраний, не лишавших меня и своих суждений...

Я занимался с Биргале, а 5—6 человек башкир, настойчиво пробравшихся в наше общество, смиренно сидели и слушали; лишь через несколько времени один из них обнаружил, что он может быть оживленным и разговорчивым собеседником. Участие его в наших занятиях началось с рассказанной им легенды по поводу одной мелодии, сыгранной Биргале; говоря по-русски гораздо чище, чем другие присутствовавшие башкиры, он оказался очень полезен для меня в разъяснении: когда известные песни поются, с какими сказаниями они связаны, причем излагал мне в более ясной форме и то, что

пытались сообщить, но слишком неясно, другие присутствующие башкиры.

Я думал угостить кумысом дудочника Биргале, но как-то неловко было обходить других присутствовавших, которые такими ласковыми глазами смотрели на кумыс; да у башкир, к тому же, принято при угощении предлагать его всем, кто бы ни присутствовал. Поэтому я попотчевал кумысом всех посетителей, и они принимали это, как должно, нисколько не церемонясь и не отказываясь, как это принято у русских крестьян; словом, чувствовали себя, как следует гостям, хотя для меня они и явились непрошеными.

Мелодии, какие играл мне Биргале, вообще были интересны, и сам он принадлежал к числу выдающихся дудочников, владеющих секретом выделывать дудки с хорошим, чистым тоном и играть на них с силой и выразительностью, хотя тон курая — вообще тихий. Биргале сообщил мне много мелодий, но этим не исчерпывался его запас; прекратили мы занятия только потому, что устали и дудочнику надобно было отправляться в путь в свою деревню Кусееву. Мы рассчитывали еще встретиться с ним во время дальнейших моих разъездов по Башкирии...

VII

На другой день, 3 июля, мы занялись приготовлением в дальнейший путь по Башкирии. Иван Степанович, узнав, что мы хотим объехать кругом соседние волости, отсоветовал вступать в соглашение относительно провоза с башкиром, с которым я вел переговоры в этом смысле на сходке, и рекомендовал своего кандидата, за которого он ручался, как за самого себя. Это был тихий, скромный, степенный башкир Киримиддин Ишмуратов, который в последние дни бывал в качестве гостя у нашего хозяина, но как-то не был заметен, потому что в разговорах почти не участвовал и лишь изредка, скромно и робко, вставлял какую-нибудь незначащую фразу. Иван Степанович рекомендовал нам его как вполне надежного, опытного и знающего местность башкира, с которым нам будет совершенно спокойно и безопасно. Мы, конечно, вняли советам и уверениям Ивана Степановича,— тем более, что в доброжелательстве последнего мы не сомневались,— и подрядились с упомянутым башкиром проехать на его лошадях несколько башкирских волостей и затем возвратиться в г. Верхнеуральск. Киримиддин Ишмуратов,— или попросту Киримка,— поставил условием, чтобы я дал ему вперед часть договорных денег, на что я и согласился, но вместе с тем счел не лишним составить в волостном правлении письменное

условие, которое подписали волостной писарь и наш возница, умевший писать по-русски свою фамилию. И хорошо я сделал, что составил условие: впоследствии оно мне пригодилось. Все мне говорили, что возница у нас хороший, что с ним будет спокойно и надежно. Киримка, видимо, и сам был очень рад представившемуся заработку, который он должен был получить в течение двух недель и который значительно превышал обычные заработки в течение того же времени. Получив от меня часть денег вперед, он передал их брату, с тем чтобы последний начал сенокос и, вместо уезжающего Киримиддина, взял какого-нибудь башкира в работники.

Оба брата оживленно хлопотали. Наш возница обещался через час-два приехать из своей деревни Исяновой с собственной тележкой на паре хороших сытых лошадей, которые-де могут проехать и больше того, чем сколько мы собирались сделать верст. Через несколько времени Киримка бойко приехал в открытой тележке, на паре лошадей без колокольчиков. Нас предупреждали, что рискованно ехать не в крытом экипаже в такое время, когда то и дело перепадают дожди; поэтому мы поручили Киримке поискать по деревне крытый экипаж. Бойко разъезжал Киримка по деревне, но без успеха: такого экипажа не нашлось.

Попробовал было я сам поискать и пошел в школу к учителю, по указанию хозяев, уверявших, что учитель имеет крытый экипаж. Прихожу и вижу: в первой комнате после прихожей, вроде залы, на полу, на разостланных коврах по татарскому обычаю пьют чай женщины в татарском костюме и ребятишки. Одна из них привстала и встретила меня, как хозяйка; это была жена учителя. Я удивился, как чисто она говорила по-русски. В манерах ее сказывались вежливость и воспитанность не инородческие. Она, как оказалось, кончила курс в уфимской женской гимназии и даже с золотою медалью, которую носила вместо брошки. Благодаря обстоятельствам, она попала с мужем в глушь и здесь томилась воспоминаниями о лучшем прошлом и сознанием, что не по достоинствам несет такую участь. Она была учительницей русско-башкирской женской школы в той же деревне, пока эта школа существовала, а с закрытием ее стала помогать своему мужу по мужской школе и нередко вела уроки вместо него по причине частой его болезни. Но еще большее испытание несла она от своей злой судьбы: в молодости,— вероятно, во время раннего замужества,— она была заражена сифилисом, который лечить в такой глуши, конечно, не умели и он, беспрепятственно развиваясь, достиг последней фазы развития. Это вообще весьма редкий пример среди инородцев, у которых венерические болезни не распространены. Болезнь

вызвала соответственные явления: у жены учителя уже изменились очертания носа и выпадали косточки, в том числе из черепа, так что она постоянно покрывала голову и верхнюю часть лба платком на татарский манер. Искреннее сочувствие и сожаление вызывала она к себе; ее простая дельная речь говорила, что она не лишена была природного ума, развитого образованием: ее приветливые глаза проникнуты были грустью, которую она, видимо, старалась скрыть в себе, и глядела слегка застенчиво, точно полувиноватая. Вообще же она производила впечатление порядочности, так что в голову не приходило подозрение в ее виновности. Скорее это было несчастье, и ни от кого не слышал я обвинений по ее адресу... Она оказалась примерной матерью и воспитывала несколько человек детей, ради которых и стремилась всею душою выбраться из этой глуши опять в родную Уфу.

Вместе с нею на полу за чаем сидела другая женщина в татарском костюме, с шапочкой на голове. Она оказалась русской, подружившейся с семьей учительницы-татарки. Она была так близка к образу жизни татар, что сама отлично говорила по-татарски и носила татарский костюм,— словом, почти превратилась в татарку. Экипаж учителя оказался громоздким и неподходящим для путешествия по горам, поэтому пришлось довольствоваться плетенкой Киримки.

Пока шли наши сборы, произошел один курьез, имевший связь с тем, какое толкование получила у башкир моя поездка и записывание песен. После отъезда брата Киримки в их деревню Исанову, через несколько времени является мальчуган, посыльный от жены Киримки, и передает наказ от нее, чтобы сейчас приезжал назад в деревню и не ездил бы с чиновниками из Петербурга, а то-де они тебя увезут с собой в Петербург. После того, как я стал записывать песни и давать деньги игравшим и певшим башкирам, среди последних возникло недоразумение: к чему это я разъезжаю и записываю песни? Это недоразумение надобно было как-нибудь разрешить. И вот пошла молва, что я прислан из Петербурга собирать башкирские песни к свадьбе наследника (ныне царствующего государя Николая II) и что, кроме того, мне приказано также набирать башкирских дудочников и привести их в Петербург для той же свадьбы. Так передавали мне с братом разные лица. Очень естественно, что жена Киримки, до которой дошла такая молва, узнав, что муж ее едет с «чиновниками из Петербурга», вообразила, что мы завербовали уже Киримку и увозим его в Петербург. Конечно, она перепугалась при мысли: на кого же он ее покидает, и отправила посланца с вышеприведенным наказом. Киримка отослал мальчугана назад с извещением, что он едет только по баш-

кирским волостям; но это не успокоило жены, и она прислала вторичное посольство; более строгий ответ Киримки заставил ее притихнуть...

VIII

Кочевка,— как это водится в обычае у башкир Орского уезда,— не сосредоточивается всеми своими кошами в одном пункте, а растягивается на несколько верст, так что в известном месте стоит только коша три, четыре, а затем, через версту приблизительно, другие два, три коша,— в тех видах, чтобы для скота было больше простора пастись и не так часто приходилось менять места кочевок.

Кош — это летнее жилище башкир и киргизов куполообразной формы, устройство которого состоит в следующем: деревянный переплет из крепких драниц в виде купола,— довольно высокого, сажени в 1 1/2 и более,— покрывается толстыми непромокаемыми кошмами, т. е. войлоком из скатанной шерсти; на вершине этой постройки оставляется отверстие для света и выхода дыма от костра внутри коша. В случае ненастья отверстие закрывается кошмой. Внутри такая постройка бывает часто очень обширна, представляя просторную комнату, или залу, у состоятельных владельцев. На стороне против входа расстилаются ковры, подушки, одеяла, на которых и проводят время домочадцы: пьют, едят, отдыхают, спят и пр. По бокам от входа и вообще по стенам помещаются разные хозяйственные принадлежности, кадочки, кожаные меха: саба и турсук — для приготовления кумыса, лошадиная сбруя, хомут, решёта и т. п. У бедных посредине коша отводится место для костра, дым от которого уходит в отверстие наверху, а во время ветра коптит в коше все предметы, которые от долговременного копчения принимают совершенно темный цвет. Богатые выносят костер наружу или же отводят для него отдельный кош или избу, а главный кош содержат в опрятном виде.

На первых же порах нашего путешествия возница наш Киримка выказал нетвердое знание местности и путей: он колебался относительно дороги, когда мы не доехали еще до первых кошей; а когда добрались до первой группы, состоявшей из 2—3 кошей в лесу, он старательно уже расспрашивал, как ехать дальше. Киримка оказался добрым и простоватым башкиром, который больше награждал нас долгой, как бы застывшей, улыбкой во всю ширь своей простецкой физиономии, и резонерствовал больше, чем умел смекнуть что-либо или сделать ловко. Название «рохли» наиболее подходило к нему.

На первом же переезде до кочевки, куда мы ехали, Кирим уже выказал свои качества. Расспросив первых встречных, он повез нас лесною дорогою. Как объясняли башкиры, кош старшины должен был вскоре встретиться, но мы ехали-ехали, а ничего не встречали. Спрашиваем Киримку: что-де долго едем? — «Не знаю»,— отвечал он и продолжал ехать; между тем дорога стала спускаться в ложбину и все более затериваться в траве: видно было, что здесь мало ездят. Нам стало как-то неловко; вот, думалось, заблудились мы среди гор, в лесу, да и время к ночи. Однако мы продолжали ехать вперед, но вот дорога привела нас прямо в чащу: мы очутились в чистом березняке, который не только окружал нас со всех сторон, но и переплетался над нами, а дальнейший путь неожиданно преградил нам многоводный поток, с шумом протекавший между деревьев и, видимо, образовавшийся благодаря проливным дождям последних дней. Ехать дальше нельзя было: неизвестно, какой глубины мог оказаться этот поток. Досада на возницу сама вырвалась из уст: «Куда ты завез нас?» — нетерпеливо спросил я его, а в ответ на это Киримка, слезши с козел, стал охать и ахать: «Хай, хай, ваше благородие, дорогам нет, что теперь будешь делать?» — и топтался туда-сюда без толку. Хотели мы поехать назад, но пространство около нас было настолько узко, что трудно было и повернуться; тогда Киримка решился верхом на лошади исследовать путь впереди: далеко ли разлился поток и можно ли проехать в экипаже. Отпряг он пристяжную и поехал на ней через поток, который вначале был не глубок; вскоре Киримка скрылся за деревьями, и мы стали ждать его. Несколько минут не возвращался он, и наше воображение готово было допустить, что поток впереди делался все глубже и глубже, так что Киримка уже всплыл вместе с лошадью, и потому не слышно шума.

Но Киримка опять показался из-за деревьев; мы устремились к нему с расспросами. «Айда поедем, кочевкам видна»,— успокоительно махнул рукой Киримка: — «Езжать можно, неглубоко». Он быстро соскочил с лошади, пристегнул ее опять, и мы выехали в поток; вода оказалась не очень глубока, однако доставала до сидений, а если бы была хоть немного выше, то перемочила бы весь наш багаж. Зато текла она очень стремительно; ехать между деревьями было тесно; лошади или экипаж то и дело задевали за ветви, и на нас дождем слетали с них капли и почти вымочили нас. Но вот мы перебрались, яко по суху, через поток, оказавшийся не очень широким, а с ним вместе кончилась и чаща,— и перед нами раскрылась поросшая густой травой поляна, по которой дорога продолжала тянуться едва заметной колеею.

Мы поехали далее и вскоре увидели на возвышении перед поляною кочевку в пять-шесть кошей. Нас еще издали заметили, и собаки подняли беспокойный лай. Киримка кивал головой и показывал нам пальцем, где находится кош старшины. «Вон старшина,— обращался он к нам,— богаты люди, хороша угостить, барана режет»,— и предвкушение угощения отразилось на его лице. Собаки уже окружили нас и неистово лаяли; из разных кошей вышли и смотрели на нас любопытные. Вышел также старшина (Сулейманов) и, догадавшись, что гости едут к нему, поджидал нас. Мы подъехали, и старшина важно-радушно встретил нас; может быть, он не ждал нашего приезда именно в это время. Наши вещи он велел внести в кош и поместить в лучшей части его. Коши стояли на возвышении среди нечастого леса и были окружены легкою изгородью из жердей, чтобы лошади и скот не подходили близко к кошам и не топтали земли около. Довольно много скота паслось вблизи кошей; коровы, овцы и другой мелкий скот — все были уже в сборе по случаю вечернего времени и своим блеяньем оглашали окрестные горы, по которым звонко катилось эхо. После дождя было сыро и прохладно. Хозяин-старшина пригласил нас в свой кош, посадил в лучшей его части, против входа, разостлал как свои, так и наши ковры и предложил свои большие мягкие подушки со словами: «Айда лежи». Кош старшины был не очень велик, но убранство его все-таки говорило о достатке хозяина. По стенам было расставлено несколько сундуков, и больших, и маленьких, с имуществом, на которых целой горой лежали подушки, одеяла пестрых цветов и другие вещи домашнего обихода; ближе к входу висели конская сбруя, сито, решета, топор; около же входа помещались кадки, кадочки и кожаные меха — саба и турсук для приготовления кумыса. Левая (от входа) сторона коша была отгорожена от прочего пространства ситцевою занавескою, которая по желанию могла отодвигаться и задергиваться. В этом отделе укрывались жены старшины с детьми, когда являлись гости-мужчины.

Усадив нас и позаботившись, чтобы нам удобно было «лежать», по его выражению, старшина крикнул что-то за занавеску, и в ответ оттуда послышалось взбалтывание кумыса в кожаном меху, а затем через несколько времени застенчивая женская фигура с полузакрытой физиономией подала из-за занавески деревянную кадочку вроде миски с крышкой и также несколько деревянных чашек. Хозяин начал угощать нас кумысом. Усердно взбалтывая деревянным ковшиком довольно красивой работы кумыс в кадочке, называемой «чапан», он разливал его по чашкам и подавал нам. Мы пили, но мне кумыс не очень нравился. Хозяин, видимо, ждал наших

отзывов, но, не дождавшись, сам обратился к нам полувопросительно, полуутвердительно: «Хороша кумыс, якши». Мы ответили: «Да, хорош»,— и пили, чтобы показать, что кумыс нравится. Хозяин усердно наливал нам в чашки и побуждал пить больше. Говорили мы о том, о сем, о песенниках и дудочниках; старшина сообщал, что завтра-де, если хотим, он найдет курайсы (дудочников) и девку-дудочницу — Гульдиган зовут ее. «Слыхал, чай, в деревне про нее? Только чего ты ей дашь? — Так она не станет»,— прибавил, смеясь, старшина.

Затем он похвастался своим званием и с видимым удовольствием достал из сундука старшинскую бляху, надел ее на себя и с гордостью показался в таком виде; даже встал, причем важно посмотрел на нас и спросил: «Хороша старшина?» И, не дождавшись ответа, продолжал: «Сулейманов хороша старшина». Попив достаточно кумыса, мы поблагодарили хозяина и вышли из коша: а тем временем он велел готовить чай: башкиры не стесняются после изрядной выпивки кумыса немедленно же приступать к чаепитию, которому они предаются без всякого обременения, так что удивляешься: каким образом вмещается в их желудках такая масса жидкости?

Проходя вдоль кочевки, мы были предметом любопытства ее обитателей: башкиры рассматривали нас, возясь у вечерних костров, а башкирки поглядывали изнутри кошей сквозь дверцы. С некоторыми башкирами мы познакомились; от всех их веяло добродушием и приветливостью. В воздухе было сыро; дым от костров низко стлался по земле и в долине; трава была влажна, и без калош нельзя было гулять. Вскоре хозяин пригласил нас к чаепитию, и мы только по обязанности гостей отдавали честь ему, так как пить совсем не хотелось.

С своей стороны, мы достали к чаю кое-что из своих запасов: ягод, мяса и предлагали хозяину; последний сначала было отказался: «Зачем! не надо! моя ваша должна угощать; моя ваша брать грех, ты наша кунак (гость)». Но мы настойчиво предлагали, и хозяин согласился принять наше угощение со словами: «Ну, ладно, нынче твоя махан (мясо) будем ашать (есть), а завтра моя колем баран и будем ашать». Успокоив таким образом свою совесть, старшина с аппетитом стал пить и есть, не делая различия между своим и нашим; я велел ему дать чаю и угощал ягодами и мясом и жену его.

Старшина позвал свою жену из-за занавеси и велел ей сесть около самовара; она застенчиво вышла, слегка закрываясь, села около нас и молча стала дожидаться, когда муж нальет ей чаю. Получив чашку, она также безмолвно пила

чай, не смея смотреть на присутствующих. Изредка муж говорил ей два-три отрывочных слова, поощряя ее пить чай, и несколько раз давал ей рукой ягод со словами «аша» (ешь). Видимо, он проявлял к ней внимательность: это была его любимая молодая жена.

К концу чаепития вошел в кош наш возница Киримка и поздоровался с хозяином, подняв по-восточному ладони к лицу. Он начал что-то шептать, причем слышались слова «алла, алла, бисьмилля», т. е. господи благослови; затем провел ладонями по лицу. То же самое, в ответ, проделал хозяин.

После этого Киримка, с видом невинности, сел и посматривал на нас и на обстановку, придав своей физиономии ласковое выражение. Хозяин тотчас же стал его угощать и своими запасами, и нашими.

Поговорив о том, о сем, опять пошли мы по кочевке. Уже стемнело; было около 9 часов вечера; у кошей пылали костры, придавая оживленный и фантастический вид кочевке.

Я подошел к одному из кошей. У костра виднелись освещенные лица башкир; оказалось, что костры пылали недаром, а служили для просушки и копчения *крута* — башкирского сыра из вареного молока. Над костром, на высоте выше человеческого роста, были устроены настилки в три доски, на которые клались круглые куски крута и просушивались медленным огнем; пыл от горящего костра ослаблялся на высоте, где сушился крут, и не воспламенял деревянных перекладин. Дым коптил эти куски крута и покрывал их слоем налета, а последний предохраняет их от порчи.

Уже стемнело. Скот угомонился и лежал поблизости на мокрой траве; лошади были подоены и отогнаны в лес, на ночь, пастись. Собаки также не лаяли; лишь башкиры оставались у костров, да и они стали расходиться...

Вдруг раздался выстрел и эхом прокатился по горам; собаки всполошились, залаяли и бросились в сторону. «В чем дело»? — спрашиваем мы башкир.— Да волкам пугаем, волкам ночью ходит, теленкам да барана ашает; вот мы и стреляем, чтобы пугался.— «Вчерась волкам пришел,— объяснял старшина,— да у меня теленкам таскал».

— Что же, вы отбивали у волка теленка? — спрашиваем мы у него.— «В лес гулял, не поймаешь его там»,— отвечал он.

— А жалко было, что пропал теленок? — «Зачем жалко: бог брал, бог другой пошлет, зачем жалко? волкам есть хотел»,— ответил старшина. У него было довольно много скота, и потеря одного теленка не была чувствительна для него.

Мы еще некоторое время гуляли по кочевке, а старшина тем временем готовился спать. Когда мы подошли к его кошу,

дверцы были закрыты,— знак, что обитатели или спят или скоро будут спать.

Вошедши в наш кош, мы почувствовали, что хозяин уже ждет нас, потому что он тотчас же спросил, скоро ли будем спать и кончили ли гулять. Был десятый час вечера; спать еще не очень хотелось, но лучше было подчиниться условиям этого своеобразного быта, среди которого мы пребывали,— тем более, что мы были у старшины в гостях. Мы тотчас же стали готовиться спать; хозяин, чтобы выполнить правила гостеприимства, сам приготовил для нас постели и, кроме наших одеял, достал свои, хорошие, мягкие; он стоял около нас и ждал, пока мы раздевались. Я сначала недоумевал, зачем он ждет, но потом увидел, что он сам хотел покрыть нас одеялом: так предписывают ему, как хозяину, правила гостеприимства. Это было очень любезно; мы стеснялись и отказывались, но он настаивал и говорил, что так надо, что без этого нельзя, так как мы — гости его. И он старательно одел нас со всех сторон. Все это было для нас неожиданно, и такое гостеприимство не могло не расположить в пользу этого доброго и мягкого народа.

Мы легли спать; кругом все уже угомонились, не слышно было говора, не пылали ярко костры; собаки и те на время умолкли. Не сразу заснули мы в новой необычной обстановке; лежали мы на разостланных по земле коврах, в коше царила темнота, и лишь над нами, в раскрытую крышу, виднелась частица ночного неба и заглядывали какие-то неведомые, далекие две-три звездочки. Изредка пробирался внутрь легкий ночной ветерок и обдавал живительной свежестью горных июльских ночей.

Среди этой ночной тишины слышались только пыхтение дремлющего скота и похрапывание людей. Какое спокойствие снизошло на всю эту жизнь и покрыло все ее волнения, горести и радости; лишь по временам, как воспоминание о прожитых горестях, то раздавался людской вздох, то вырывалось короткое мычанье или блеянье коровы или овцы, увидевшей, должно быть, тревожный сон. Кругом было так тихо; чудилось, точно еле слышная гармония воцарилась и звучала во всем мире,— и мы невольно забылись сном...

Не знаю, сколько времени я спал, только проснулся среди ночи от мощных, полных величественной красоты, торжественности звуков: в первый момент я не мог дать себе отчета, что это за звуки; но вскоре понял, что то были раскаты сильного грома.

Всякий, вероятно, знает по опыту, как восприимчивы бывают иногда чувства после пробуждения, с какою ясностью воспринимаются ими впечатления или воспроизводятся ка-

кие-нибудь представления и мысли. По-видимому, обыкновенные впечатления кажутся тогда необычайными, поразительными, и думается, что лишь в такие моменты воспринимаешь их в должной силе и в должном смысле. Раскаты были не очень близкие, но тем не менее достаточно сильные; что-то могучее переливами катилось в небесной выси, как бы рассыпаясь на части, грохотало некоторое время и заметно умолкало где-то вдали, точно стихал чей-то праведный гнев. Раскаты умолкали, и на некоторое время в природе водворялась тишина; слышно было только, как накрапывал дождик и шуршал по крыше, точно что-то нашептывая.

На другой день мы проснулись рано, часов в 7 или в 8; но кочевки уже давно бодрствовали; только наш хозяин,— может быть, по праву старшины,— спал даже дольше нашего и, встав от сна в дурном расположении духа, долго покрякивал, морщился и потягивался. Мы умылись вне коша, причем хозяин сам подавал нам воды из жестяного умывальника. После утреннего чая следовало непосредственно питье кумыса; а потом хозяин объявил, что скоро «бишбармак ашать будем». Он еще накануне приказал заколоть барана по случаю приезда гостей и теперь обещал угостить кушаньем, называемым бишбармак, что значит в переводе: пять пальцев, так как это кушанье едят всею пятернею, и заказывается оно ради каких-нибудь особых торжественных случаев. Это кушанье приготовляется следующим образом: баранье мясо режут на куски и варят в котле с добавлением лапши из пресного теста, нарезанного квадратиками. Из котла это варево разливается в большие деревянные чашки, вокруг которых группами размещаются гости. Прежде чем приступить к кушанью, башкиры и вообще мусульмане моют руки. Когда гости разместятся вокруг чашек с кушаньем, то начинают вылавливать пальцами из навара куски мяса и есть, облизывая себе руки, а кто-нибудь один в каждой группе разрезает более крупные куски мяса и раздает их присутствующим. При этом соблюдается еще такой обычай: если кто хочет выразить кому-нибудь свое особое расположение, то вылавливает из чашки щепотку мяса и кладет ее прямо в рот предмету своей симпатии, а тот отвечает тем же.

Жена и домашние старшины стали готовить бишбармак, а мы тем временем ближе знакомились с кочевкою.

Около полудня приехали еще гости из Темясовой. Старшина встретил своих гостей очень любезно; послышались возгласы и приветствия с обеих сторон; затем все общество, по приглашению старшины, прошло в его кош. Старшина заявил себя кавалером и предупредительно усаживал дам на почетные места, предлагая им подушки для сидения. Начался

разговор, в котором деятельное участие принимала жена доктора, смеясь и остря по поводу башкирских обычаев; сам старшина перешел в шутливый тон и трунил как над башкирами, так и над русскими. Жена доктора хвалила старшину: «Старшина у нас якши (т. е. хорош), обходительный, знает, как с людьми и с начальством обходиться; да и по-русски мастер говорить, не то, что мы,— мы только и знаем по-башкирски, что «ашарга киряк» — есть надо,— и больше ничего».

Опять появились на сцену чай, кумыс; явились новые посетители, и говор не умолкал. После мы ходили по соседнему лесу и искали грибов и ягод; дам сопровождала жена старшины,— в своем роде миловидная, молодая женщина с бойкими глазами и речью. Когда мужчины заговаривали с нею, она делалась застенчивой, прикрывалась и молчала, хотя видно было, что она не прочь поговорить; в дамском же обществе она давала простор живости своей природы. Собирая грибы, мы то сходились в лесу, то терялись, и оклики и ауканья то и дело раздавались по лесу.

Вскоре мы услыхали голоса, призывавшие нас в кош старшины есть бишбармак. Участников пиршества набралось много; кроме приезжих гостей, присутствовали также главные обитатели кочевки: у башкир принято, что если кто по какому-либо случаю режет барана или лошадь, то он устраивает пиршество и приглашает на него всех обитателей кочевки. Это бывает не часто, но в течение лета каждый из более состоятельных владельцев кошей приносит дань этому обыкновению, и, таким образом, летом устраивается ряд шумных, веселых пирушек на началах полного «братства и равенства».

IX

Равенство во взаимных отношениях башкир сказывается всюду: каждый, без различия, одинаково бывает у другого, пользуясь одинаковым угощением, правом голоса и мнения; поэтому в обращении их между собою нет принужденности и условности. В этом отношении башкир остается верен себе, и когда он сталкивается с русскими, то иногда на этой почве выходят курьезы. Я видел не раз, как русские интеллигенты, попадая для отдыха или развлечения в среду башкир, приглашали двух-трех и угощали; тем временем такое событие, как русский пикник, привлекало к себе любопытных, и вот один-другой из них, кто посмелее, проникал в избу, если там собирались русские, или присаживался поближе, если сборище устраивалось на открытом воздухе в поле. Те из башкир, которые удостоились приглашения раньше, попивая аппетитно чай и прикусывая сахар, при виде вновь пришедших любо-

пытных преспокойно, без всякого смущения,— точно они сами были хозяева,— брали по куску сахару и, бросая поближе к вновь пришедшим, говорили: «Айда эсь» (т. е. иди пей), а затем, также уверенно, подавали свои чашки лицу, разливавшему чай, и молча, глазами давали понять, чего они требуют. Полное изумления и даже некоторого смущения от такого непринужденного и, на первый взгляд, нецеремонного образа действия гостей лицо, распоряжавшееся прогулкою,— особенно если это была дама, в точности исполняло желание башкир и наливало чай для всех вновь пришедших, но бесцеремонность башкир шла дальше, и когда новые непрошеные участники пикника получали чаю, их сопленники подбрасывали им чего-нибудь из съестного и говорили: «Айда аша» (т. е. ешь),— и все это преспокойно, как будто так и должно быть, и ни малейшей тени смущения не появлялось на их наивных лицах. По их понятиям это, действительно, так и должно было быть, но русские, особенно дамы, негодовали или, в лучшем случае, изумлялись: «Что за дерзость?» или: «что за нахалы!» Более возмущенные таким образом действий, случалось, давали понять башкирам, что их поведение неприлично, нахально, а башкиры, с своей стороны, изумлялись и приходили в смущение, посматривая на русских; и пропадала тогда безоблачная ясность их настроения. Все это происходило оттого, что они привыкли жить на равную ногу.

Перед началом угощения гости старшины, по хорошему мусульманскому обычаю, вымыли руки из приготовленных для этого кувшинов, поливая каждый сам себе, и вытерли полотенцами; затем разместились на коврах двумя группами вокруг огромных деревянных чашек с бишбармаком. Началось пиршество: сначала башкиры приутихли и занялись едою; каждый погружал свои пять пальцев в чашку и извлекал оттуда кусочки мяса, которые и съедал; при этом никакого хлеба не полагалось, как это водится у восточных народов. Спустя некоторое время, возобновились разговоры с прежней веселостью; башкиры, довольные угощением, охотно говорили и смеялись; старшина в шутливом настроении побуждал к еде то того, то другого гостя, говоря или по-татарски: «Айда аша», или довольно грубовато, сам плохо понимая, по-русски: «Айда жри», или «жрайт надо, чего не жраешь?» Затем старшина, как хозяин, первый, в знак своей приязни, взял порядочную щепотку мяса из чашки и положил ее в рот своего соседа: когда это обыкновение касалось башкира, последний принимал сосредоточенное, точно благоговейное выражение лица, вытягивал голову, широко открывал рот и степенно жевал; затем, спустя некоторое время, сам отвечал в том же роде почтившему его старшине; когда же подобный знак внимания

касался русских, последние с большим легкомыслием относились к нему, не проникаясь никакой степенностью, смеялись и даже отказывались и тем наносили обиду старшине, и он, кажется, сердился, по крайней мере, не раз омрачался. По примеру старшины и другие башкиры стали оказывать друг другу и русским гостям знак расположения до тех пор, пока не истощился запас мяса в чашке. Некоторые из нас, русских, продолжали вести себя легкомысленно, подтрунивали над этим обычаем, вкладывали в башкирские рты преднамеренно большие порции мяса, так что приходилось усиленно работать челюстями; но башкиры видимо, не обижались этим, весело смеялись с нами и говорили: «Вот это настоящий бишбармак». Вообще они всецело предались празднеству, которое не часто случается у них и на котором они едят мясо, обыкновенно отсутствующее у них, благодаря падению скотоводства, и были в наилучшем настроении. Дамы сидели своим кружком за другой объемистой чашкой с бишбармаком. Для них старшина вынул из сундука деревянные ложки. В дамском кружке участвовала молодая жена старшины. Последний, находясь в мужской компании, не лишал своего внимания, как настоящий хозяин-кавалер, и женского кружка.

Наш возница Киримка, который еще заранее предсказывал, когда мы подъезжали к кочевке, что старшина «хороша люди, барана колет»,— теперь, точно довольный своим исполнившимся предсказанием, весь сиял и наслаждался, кажется, более всех и с видимой старательностью принимал участие в еде. Когда мясо в чашках съели, принялись тем же порядком за лапшу,— составную часть бишбармака,— вылавливая ее также руками; после этого в чашках остался бульон, или навар, которого тоже нельзя было бросать, и присутствовавшие стали пить его, передавая огромную чашку друг другу и прикладываясь к ней.

Затем было подано другое кушанье,— так называемая шурпа, почти однородное с предыдущим. Это было также мясо, вареное с пшеном (сорочинской крупой), но без кусочков лапши; бульон получался прозрачнее, и кушанье ели уж ложками.

После обеда мой брат захотел набросать портрет хозяина-старшины; эта мысль понравилась последнему, и он предупредил, что сначала оденется в лучший бешмет и наденет старшинскую цепь. Затем он сел и замечательно терпеливо оставался в той позе, какую дал ему мой брат, все время, пока тот делал набросок. Лишь раза два старшина обнаруживал нетерпение словами: «скоро кончишь?» или: «кончай скорее». Затем он с большим любопытством рассматривал свой пор-

трет, но с каким-то раздумьем: видимо, он не был удовлетворен рисунком, хотя последний сделан был довольно верно.

Старшина пожелал после этого, чтобы брат мой снял портрет и с его жены, которую вскоре заставил усесться, несмотря на веселое сопротивление с ее стороны. Жена его также терпеливо сидела, приняв, кроме того, сосредоточенный вид; вместе с собой она посадила и ребенка. Она сидела смирно, и все в коше на время примолкли; вероятно, для оживления общества супруг неожиданно дернул ее по губам, которые издали звук: все в коше расхохотались и заговорили, но жена старшины осталась невозмутимой, точно и не заметила ничего: видимо, она серьезно наблюдала за своею позой; супруг же ее не раз проделывал такую шутку, очевидно, понравившуюся ему.

Мы стали собираться в дальнейший путь; старшина предложил нам вареного мяса в дорогу, и когда я хотел заплатить ему за это, он решительно отказался взять деньги, говоря: «Зачем брать? грех! ты — мой кунак (гость), бог сердится за это». Тогда гости посоветовали мне сказать ему, что я сам пришлю ему гостинца.

Так как все время перемежались дожди, то кучер наш, при содействии башкира-плотника, занялся устройством кузова или крыши над нашей открытой плетенкой, в которой мы приехали; они набрали для этого тальниковых ветвей, сделали из них переплет, укрепили на плетенке и покрыли коврами; получилось нечто вроде крытого экипажа.

При общих пожеланиях благополучного пути мы выехали из гостеприимной кочевки; лошади Киримки, отдохнув за сутки, бойко побежали по узкой горной дороге, но зато немилосердно трепался из стороны в сторону наш кузов, сделанный из зыбких ветвей, впрочем, он не обнаруживал склонности сломаться, и так как с ним все-таки лучше было ехать на случай дождей, то мы вскоре примирились с его неустойчивостью,— тем более, что на случай духоты могли открывать ковры.

X

Дальнейший путь наш лежал на запад от дер. Темясовой, к границам Уфимской губернии, в горную, малопроезжую 3-ю Бурзянскую волость на реке Белой. Кругом тянулись сплошные лесные дебри, которые редко оживлялись какимнибудь проезжим; русских уже вовсе не было в этой волости. На второй день по выезде из темясовской кочевки, где мы были в гостях у старшины Сулейманова, мы приехали в деревню Миндегулову, в которой помещалось волостное прав-

ление 3-й Бурзянской волости. Почти до самой деревни тянулась узкая лесная дорога, а незадолго перед Миндегуловой мы выехали на «меховую дорогу», по выражению башкир, т. е. веховую, усаженную вехами, по которой заплутаться-де нельзя: «первый сорт дорога», как хвалили башкиры, хотя она была не более, как проселочная дорога. Подъезжая к Миндегуловой, мы были очарованы восхитительным горным видом: дорога начала спускаться далеко вниз, и когда мы спустились, перед нашими глазами раскрылась широкая зеленеющая долина, окаймленная двумя грядами гор, а в долине величественно, спокойно, ровной лентой текла красавица Белая, которая, когда мы спустились по дороге, неожиданно очутилась у наших ног. Вдоль одного ее берега тянулась богатырская каменная гряда. На другом берегу виднелась деревня безлюдная, молчаливая; башкиры перекочевали из нее на лето в соседние горы и, между прочим, на главную из них — Масим.

Единственный русский здесь был волостной писарь, кажется, Остроумов. Случайно гостил у него лесной кондуктор, также русский. Оба сказали нам, что в деревне делать нечего: ни башкир, ни кумыса, ни еды нет, а что надо поехать в кочевки на гору Масим, в 18-ти верстах от Миндегуловой. Мы решили ехать туда, а двое русских остались скучать в этой глуши, куда газеты и вести со свету божьего попадают лишь через несколько месяцев. Газеты путешествуют целые недели, прежде чем доходят до своего назначения, будучи прочитываемы в разных волостных правлениях.

Зато долина дер. Миндегуловой имеет благодатный климат и плодородную почву: окружающие горы защищают ее от ветров и зимних вьюг и сберегают для нее массу солнечного тепла, отчего все плоды, ягоды, овощи и пр. поспевают в ней чуть ли не месяцем раньше и выходят крупнее и сочнее, чем в окрестных местностях, расположенных на высоте гор.

Дорога до горы Масим, на протяжении 18-ти верст, представляла сплошной подъем; с каждой новой террасой горизонт все расширялся; путешествие было утомительно, особенно для лошадей. Горы кругом были покрыты густою растительностью: огромные вековые дубы, клены, вязы, сосны, ели, березы на каждом шагу уходили ввысь; по обеим сторонам дороги расстилался богатый травяной покров, всюду рассыпано было множество цветов. Особенно бросались в глаза роскошные лилии; крупная ароматная лесная земляника в изобилии краснела на зеленом фоне травы. Было тепло и даже жарко: чувствовалась заметная разница в климате южного Урала, где мы находились, и более северного, напр., около

г. Верхнеуральска, а тем более Златоуста. В южном Урале замечалось несравненно большее «благорастворение воздухов» и изобилие плодов земли, но кругом было дико и безлюдно. Дорога была еле намечена башкирскими двухколесными телегами, а сами башкиры большею частию ездят верхом; русские в эти дебри не заглядывают, и никакого торгового движения там не существует.

За трудности пути мы были вознаграждены прекрасными горными перспективами, которые, чем выше мы поднимались, тем более расширялись. Мы как бы возносились над Уралом; на одной террасе величественный горный вид даже заставил нас приостановиться: перед нами раскрылось беспредельное море горных хребтов, синевших вдали и шедших параллельно друг другу амфитеатром, пересекавшихся друг с другом или терявшихся в смутных силуэтах. Мы почти парили над Уральскими горами, но нам предстоял впереди еще не один подъем. Вечерело, солнце заволакивалось иногда туманной дымкой. Дальнейший путь пролегал среди горных ущелий, рытвин и через быстрые речки, через которые были перекинуты зыбкие мосты. Приходилось не раз идти пешком и поддерживать экипаж, чтобы он не свалился с дороги. Дорога становилась все круче: последние 8 верст составляли подъем на самую гору Масим, вершина которой как бы лепилась на других горах; окружающие горы теснились друг на друга. Лошади сильно устали и не раз останавливались, поднимаясь на Масим; мы все шли пешком и, от нечего делать, собирали ягоды и рвали цветы. Горы все отступали и оставались внизу; под нами и выше нас была только вершина Масима, но и до нее мы кое-как добрались, и перед нами раскрылась широкая поляна почти не вершине Масима; вскоре показалась кочевка башкир, а вокруг нее пасся скот. У башкир этой волости (т. е. 3-й Бурзянской) нет кошей (т. е. куполообразных летних жилищ, покрытых войлоком), а вместо них они устраивают обыкновенные деревянные срубы, без окон, в которых и проводят лето. Так как башкирам надо менять место ради пастьбы скота, то каждый хозяин имеет по нескольку таких срубов, которые и стоят лето и зиму на одном месте; еще есть одна особенность хозяйства башкир 3-й Бурзянской волости: у них почти вовсе нет баранов и овец. Кажется, что это находится в связи с падежом скота в голодные 1891—92 гг. Большого труда стоило нам достать небольшое количество баранины, и то случайно завезенной из других волостей.

Мы подъезжали к кочевке и у одного сруба просили пристанища. Башкиры оказались очень нелюдимыми и крайне недоверчиво смотрели на нас; на повторенную просьбу остановиться в избе хозяин угрюмо ответил отказом; то же повто-

рилось и у другого сруба. Срубы внутри были совсем закоптелые, так что большого удовольствия не было бы пребывать в них. Наконец, нам предоставили в конце кочевки лубочный шатер, совсем новый, в котором никто еще не жил, и поместиться в нем мы были рады гораздо более, чем в закоптелом темном срубе. Нелюдимость башкир этой волости объясняется тем, что живут они в мало доступных горах, в стороне от проезжих дорог, и торговых занятий почти не знают. Жутко чувствовали мы себя среди этого дикого южного Урала, среди этих нелюдимых, недоверчивых людей. Солнце уже село; мы устроились в шалаше, и наш кучер занялся приготовлением чая и ужина. Он развел костер внутри шалаша, что было очень кстати, так как в воздухе чувствовалась горная сырость, было туманно и накрапывал дождь.

На другой день, рано утром, нам сообщили, что к нам желает прийти урядник. Мы велели просить. Урядник, после первых приветствий, начал выспрашивать, кто мы и зачем сюда приехали, отчасти показывая в своем тоне, что он — «начальство» в этих местах. Это был коренастый оренбургский казак, с широкой рыжей бородой и в сапогах на высочайших подборах, с подковами. Он стал читать переданную ему мною бумагу от императорского Географического общества, в которой последнее просило все учреждения об оказании мне возможного содействия в деле собирания инородческих песен и этнографических материалов. Когда он дочитал до того места, где говорится о «содействии», то привстал и уже без прежнего полуначальственного тона заявил: «Я должен, значит, вам оказывать содействие»; а когда он прочел в конце бумаги надпись на сургучной печати, что это есть печать императорского Географического общества, а также подпись вице-председателя общества сенатора П. П. Семенова, то он окончательно растерялся и принял почтительный вид. Вслед за этим он крикнул громким голосом башкира, вестового с бляхой, и, обнаруживая в своих движениях особое оживление, приказал ему немедленно скакать в соседнюю деревню Киикбаево и привести оттуда всех песенников, какие найдутся. Оживление и суетливость урядника передались вестовому: он тотчас же исчез и поскакал в деревню. Урядник прекрасно говорил по-башкирски и этим оказался мне очень полезен; после прочтения бумаги он был весьма любезен с нами, услужлив и разговорчив.

В ожидании приезда песенников мы предприняли поездку на самую вершину Масима, которую составлял четырехгранный, довольно высокий и несколько сжатый камень. День был ясный, отчасти ветреный; к нам присоединились многие башкиры, большие любители всяких развлечений и экстрен-

ных случаев. Все поехали верхом, и образовался большой поезд всадников; урядник из учтивости неуклонно ехал рядом со мною; все тронулись вместе и шагом. Но незаметно лошади своим множеством и шумом увлекли, вероятно, друг друга, и через несколько времени вся наша кавалькада понеслась вскачь. Все смешались, урядник отстал где-то сзади; слышались свист, гиканье, крики, смех; до «Камня» было не более версты, и мы не заметили, как прискакали к нему. Перед нами возвышался голый гранитный камень, на который, казалось, не было возможности забраться, но башкиры ловко забрались на него, карабкаясь и руками, и ногами по расселинам и небольшим выступам в камне. Сверху они спустили крепкую веревку для нас; мы по очереди забирались по ней на камень, пользуясь также его расселинами, причем башкиры тянули веревку.

Сверху камня,— выше которого уже не виднелось ни одной точки в пространстве,— раскрылся величественный и широчайший вид: на беспредельное пространство, во все стороны, тянулись и пересекались хребты, один другого выше, как молчаливые и угрюмые гиганты, покрытые, точно мелкою травою, лесами, усеянные долинами и полянами, точно маленькими лужайками, на которых едва заметными черными точками виднелись башкирские деревни. Ни звуков, ни движения не замечалось на этом необъятном пространстве. Если бы птица кричала, крик ее не донесся бы до нашей высоты, а ее полет был бы незаметен там, откуда вековые гигантские леса казались мелкою травою. Над всей этой панорамой бесчисленных хребтов висела довольно густая дымка, которая мешала ясности зрелища: тем не менее мы могли различать на западе хребты Уфимской губернии, а среди них далекую и славную своей высотой гору Тура-Тау, близ города Стерлитамака; на восток — величавый горный хребет Ирендык, явно преобладающий над другими своими собратьями; на север, в неясной дали, верст за 200, башкиры указывали на горы Яман-Тау и Иремель в Верхнеуральском уезде, из которых первая (в переводе: дурная гора) прославилась своей непроходимостью, благодаря обилию болотных мест, а вторая, превышая высотою самую гору Масим, постоянно привлекает на свою вершину облака и грозы. Окрестные жители, желая знать, какова будет погода в известный день, обращают взоры на вершину Иремели и смотрят, в каком положении там дела.

В середине всей массы хребтов, недалеко от Масима, башкиры указывали на главный хребет — Урал-Тау,— столь излюбленный и прославленный в башкирских песнях. Это и есть тот самый горный хребет, через который,— по словам

песен,— не протекла ни одна горная речка, тогда как другие хребты не раз изрезываются речками.

«Нет горы (хребта) выше Урала. Через Урал не протекают речки»,— говорится в башкирской песне. Это обстоятельство отметил еще в прошлом столетии известный путешественник академик Лепехин. В своих «Дневных записках» (2-я ч. Спб., 1802, стр. 100) он говорит: «Через Урал единственно только тот пояс гор означается, который между сплетенными вершинами рек проходит и который никакая река не перебила». Над всей этой величавой картиной лежала печать глубокого безмолвия и какой-то мертвенности: все обычные для человека проявления жизни терялись в этом бесконечном пространстве. Этот мертвенный покой как бы высших надоблачных сфер был непривычен, и тянуло обратно к жизни, к ее обычным, более мелким проявлениям, тем более, что впереди была неведомая, заманчивая Башкирия.

На вершине «Камня» собралось много башкир, которые успели втащить туда турсуки с кумысом и угощались им. Здесь же появились дудочники (курайсы) и на разные лады играли башкирские мелодии; только инструменты их (кураи) были разного строя, и от одновременной игры получалась несносная какофония. Башкиры очень любопытствовали смотреть в мой бинокль, и их удивлению не было конца.

Когда мы через несколько времени спускались обратно с «Камня», вокруг последнего было привязано к деревьям большое число лошадей; пока мы были на вершине, за это время прибыло еще немалое число любопытных.

Шумно, еще более многочисленной кавалькадой, возвращались мы в кочевку. Около последней стояла другая большая толпа башкир. Оказалось, что приехали песенники из соседней деревни — Атиковой, а с ними немалое число плясунов, борцов и просто любопытных, которых всегда найдется много среди этого, всегда располагающего свободным временем, народа. Только что слез я с лошади, как ко мне подходит несколько человек; это были 13 песенников из деревни Киикбаевой. При посредстве урядника они были приглашены в наш шалаш, и я приступил было к записыванию их песен, но вошел какой-то башкир и обратился ко мне с вопросом: «Что, ты отпустишь народ или нет?» Я недоумевал; тогда урядник объяснил мне, что вместе с песенниками приехали танцоры, борцы и другие башкиры из деревни Киикбаевой и желают, чтобы я посмотрел на танцы и борьбу, хотя о танцорах и борцах я ничего никому не говорил. Чтобы не обидеть отказом, мы отправились смотреть. На поляне полукругом уже сидела довольно большая толпа народа. Для нас, т. е. меня, брата и урядника, было приготовлено почетное место: разост-

лан ковер и положены подушки. Сначала башкиры под звуки кураев плясали; налицо были уже неизбежные турсуки с кумысом, и шло угощение; затем башкиры перешли к самому любимому занятию — к борьбе. Дудочники стушевались, и все с напряженным вниманием следили за борющимися. Появились и призы: богатые башкиры, сидевшие в середине полукруга, привезли с собою ситцы, которые разрывались на лоскуты, а последние, в виде приза, раздавались победителям. Что было для меня ново, это то, что почти каждый из получивших приз почтительно подходил к кому-нибудь из присутствовавших и дарил ему полученную вещь; в ответ на это удостоенный такого внимания сам дарил что-нибудь победителю; так один богач подарил целый улей, что весьма ценится у башкир.

Не обошли и нас подобным вниманием, а мы могли отблагодарить только деньгами.

Борьба шла оживленно; возгласы, крики одобрения или порицания, смех то и дело раздавались, но один эпизод еще более занял внимание присутствовавших. Какой-то бледный, видимо, болезненный, башкир вступил в единоборство и без труда был побежден. Но это не ослабило его намерения продолжать борьбу, и, хотя каждый раз по слабости он был побеждаем, однако упорно вступал опять в борьбу и все с одним и тем же противником, так что последний не знал, как отделаться от него. Уже вмешались некоторые из толпы и стали разнимать, а больной, бледный башкир так и цеплялся за своего противника, тяжело дыша и странно глядя возбужденными глазами. Говорили, что это был помешанный. Долго продолжалась эта борьба, так что даже наскучила; на вопрос, когда кончится увеселение, урядник и другие башкиры ответили мне, что это зависит от меня: когда захочу, тогда и кончится празднество. А я и не подозревал такого обстоятельства. Объявив, что довольно насмотрелись, мы пошли в кочевку. Толпа башкир осталась на поляне, скучилась и о чем-то беседовала; немного спустя, догоняет нас башкир, посланец от толпы, и через урядника передает от имени башкир: «В прежне-де время, когда приезжали чиновники из Петербурга, они всегда давали для башкир фунт чаю, и теперь башкиры ждут, что ты дашь чаю». Фунт чаю оказался в моих запасах, и башкиры на поляне — не знаю, как — ухитрились поделить его между собою, потому что их собралось большое количество. Долго занимались они дележом, а между тем песенники в нашем шалаше уже посвящали меня в тайны своей поэзии.

XI

Всех песенников набралось 13 человек. Урядник, заявивший, что он будет неотлучно при нас, пока находимся в заведываемой им волости, и тем отчасти стеснявший нас, явился деятельным посредником между мною и певцами, благодаря знанию языка, и его посредство показалось очень полезно. Сначала певцы пели довольно свободно, но когда увидели, что я записываю на бумагу, стали стесняться и даже отказываться петь. Урядник употреблял все свое красноречие, чтобы заставить продолжать петь, но пение не восстановлялось; он спрашивал, почему отказываются они петь, а певцы заявили: «Зачем-де он (т. е. я) записывает на бумагу? может быть, хочет их имена сообщить по начальству». Урядник убеждал, что ничего худого не будет для них, что нужно только записать их песни. «И зачем надо записывать наши песни?» — недоверчиво продолжали спрашивать башкиры. Урядник дал им объяснение по своему разумению: «Ваши песни он записывает потому, что хочет узнать о них сам царь; пойте же и не бойтесь ничего». «Сам царь хочет узнать? — спрашивали, не вполне доверяя, башкиры,— тогда хорошо, будем петь». Певцы мои опять запели. Я по очереди записывал песни от каждого из них. Это были простые, немного дикие, молодые и старые башкиры; некоторые из них пели высокими, чистыми тенорами. Урядник был полезен тем, что заставлял их произносить слова реже и внятнее, или сам передавал их мне, одновременно сообщая отчасти и перевод. Говор этой волости отличается от говора других большей жесткостью: например, здесь употребительны густые придыхательные звуки и вместо буквы *с* других волостей башкиры этой волости произносят придыхательное *х*, например, вместо *сары* (желтый) *хары* и т. п.

Наступал уже вечер, когда мы кончили занятия. Певцы получили вознаграждение деньгами, а один — чаем; но так как стоимость чаю оказалась несколько выше той суммы, какую получили поровну певцы, то последние заявили претензию на неравномерность оценки их труда, и я хотел было вместо чаю вознаградить певца также деньгами, но последний предусмотрительно скрылся, и его не могли найти, остальные же волей-неволей примирились.

Урядник все оставался при нас и порядочно наскучил нам. Наконец, под вечер, он сам увидел бесцельность своего пребывания при нас и откланялся, прося не поминать лихом, если в чем-нибудь не услужил. Это было 7 июля. Мы оставались в кочевке до утра следующего дня, так как башкиры не советовали пускаться ночью по горным и лесным деб-

рям, ввиду возможности встречи с медведями и другими лесными обитателями.

Был довольно пасмурный летний вечер. Кочевка приняла обычный вечерний вид: скот собрался около; башкирки привязывали, доили его и отгоняли прочь; в разных местах горели костры, дым от которых низко стелился по земле.

На другой день, 8 июля, рано утром, когда солнце ярко светило и мы собирались уезжать, мне передают, что сын хозяина шалаша, в котором мы остановились, желает играть на курае: посторонним-де певцам я давал денег за пение, а теперь надо, чтобы я послушал хозяйского сына и наградил его. Хотя мне сильно не хотелось слушать нового игрока после занятий предыдущего времени, но сын хозяина, которого звали Лукман Ишмуратов, был настойчив в своем стремлении и начал играть. Лукман был молодой, довольно сосредоточенный и даже немного угрюмый башкир; он забрался в наш шалаш и у дверей его уже наигрывал мелодии. Последние заинтересовали меня, и я не жалел, что остался слушать. Нередко случалось слышать хорошие образцы музыкального творчества от артистов, вовсе не пользовавшихся известностью: они, при своей безызвестности, носили в себе настоящие жемчужины народного или даже собственного творчества; творческая природа действовала в них, не претендуя на особое внимание.

В жаркий летний день мы спускались с горы Масим обратно к деревне Миндегуловой; на этот раз незаметно промелькнули 18 верст лесными горными дебрями. В долине деревни Миндегуловой опять предстала во всей своей красе река Белая. Пока мы отдыхали у волостного писаря, по реке проплыла барка и придала ей недоставшее оживление; эта барка была из Белорецкого или Авзяно-Петровского завода (на реке Белой) и плыла последнею из того каравана барок, который ежегодно в половодье отправляется с медью вниз по Белой и Каме до Нижнего Новгорода. Находившиеся на барке люди (русские) кричали против волостного правления, продадут ли им хлеба, но лишнего хлеба у писаря не было, и барка, остановившись на короткое время, поплыла далее.

Из деревни наш путь лежал на Кана-Никольский завод, в 40 верстах. Тем временем успела разразиться гроза, грохотавшая эхом в горах, и полил дождь; густые облака красиво носились над горами и отражались в реке. Приятный, теплый освежающий ветер веял в этой прекрасной долине. Не без затруднений переправились мы через Белую, так как приспособлений для переправы почти не было, и экипаж, например, приходилось втаскивать через борт большой лодки, которая заменяла паром; лошадей переправили вплавь. На этой

стороне Белой дорога опять направилась в гору; мы должны были вновь выбраться из долины реки на окружавшие высоты. Зато здесь открывались живописные горные виды, особенно по направлению к долине Белой. Лошадям трудно было ехать в гору, и опять мы шли часть пути пешком. Наш возница, с присущей ему простоватостью и малодушием, временами ахал, глядя на лошадей. В одном месте он показал у самой дороги свежий след на измятой траве: это был, несомненно, след какого-то большого животного — вернее всего, медведя, который по-видимому недавно был у самой дороги, но повоpотил назад. Мы посмотрели, куда идет проложенная тропинка, и поехали дальше. Проезжали мы через дер. Атикову, совсем безлюдную; лишь в одном-двух местах работали плотники; среди деревни стояла мечеть, как во всех почти башкирских деревнях. Предполагали мы в тот же вечер, к полуночи, приехать на завод, но на половине пути, ввиду усталости лошадей, ночевали на хуторе Кочкаире. Вечер был прохладный, туман стелился в окружающих лесах и полях и заволакивал самый хутор. Здесь остановились также несколько проезжающих башкир верхом; в двух-трех местах горели костры, как и у нас в том сарае, где мы ночевали. Для лошадей Киримка сам накосил травы, и нужно было видеть, с какой жадностью принялись они за сено.

На другой день утром, до полудня, приехали мы в завод. Дорогой попадались нам навстречу и обгоняли нас башкиры, возвращавшиеся из завода и ехавшие в него по случаю базарного дня. Вблизи завода расположены казенные и заводовладельческие лесные дачи. Дорога разветвлялась в разные стороны, и мы плутали, пока не выручили нас встречные башкиры.

XII

Приходилось нам проезжать по тем местностям, по которым пролегал путь не раз упомянутого здесь путешественника прошлого столетия академика Лепехина. Не так далеко от Миндегуловой находится бывший завод Вознесенский, в нескольких верстах от которого Лепехин осмотрел замечательную пещеру в горе Сулюган-Таш; об этой пещере башкиры сообщали и нам и предлагали съездить к ней, но обстоятельства помешали нам осуществить это.

Лепехин описывает и Кана-Никольский завод. Из этого завода он направился к озеру Талкас, которое мы видели, когда ехали из Темясовой на прииск Горяевых. Это озеро средних размеров лежит у подошвы хребта Ирендык; окрестные русские называют его Толкач. По его берегам нахо-

дится теперь несколько башкирских деревень; во время Лепехина никаких поселений там, кажется, не было, а существовали только каменоломни и древние Чудские копи.

При сравнении теперешнего состояния края с тем, каким оно является до XVIII столетия в описании Лепехина, приходится признать, что значительных изменений здесь не произошло; во всяком случае, времени протекло гораздо более, чем последовало изменений. Местность по-прежнему остается в первобытных диких условиях; башкиры — такие же непосредственные, разве только более присмиревшие дети этой горной страны; населенность последней не увеличилась, если только не уменьшилась. Напр., в 3-й Бурзянской волости числилось в 1894 г. 4642 души (мужч. и женщ.); увеличилось несколько число башкирских деревень и др. оседлых пунктов, расширилось добывание ископаемых богатств Урала, возникли заводы на реке Инзере; в самой глухой Башкирии появился ряд золотых приисков, но зато прекратили деятельность несколько железоделательных и медеплавильных заводов, работавших в прошлом столетии; русских поселений нет, если не считать заводов; число русских если и увеличилось, сравнительно со временем Лепехина, то это — или предприниматели, гонящиеся за наживой, или их рабочие, или торгаши, имеющие немалые прибытки в глухой Башкирии. Земледелие не развивается, если не принимать в расчет посевов кулака-золотопромышленника татарина Рамеева. В настоящее время здесь проложено значительно больше дорог, что говорит об увеличении сношений, но эти дороги весьма примитивны и почти не оживлены никаким движением. Заметно усилилось русское влияние, и, напр., волостные писаря из русских если и всюду представляют из себя «силу»,— к сожалению, всего чаще темную,— то тем более господствуют здесь, среди бедных и забитых судьбою башкир.

Со времен Лепехина край стал спокойнее, более умиротворен; но чтобы он поднялся по пути процветания, чтобы проявляла себя где-нибудь творческая, созидающая рука человека,— этого нельзя было заметить; присутствие же хищнической руки чувствовалось и в этих редеющих, но сохраняющих признаки первобытности лесах, и в этих раскиданных там и сям татарских и отчасти русских золотых промыслах, и в этой скупке за бесценок богатых башкирских земель. Впрочем, последние правительственные мероприятия, по которым покупка земель и лесов у башкир предоставляется только крестьянским обществам, а не частным лицам, должны значительно ослабить все эти «язвы здешних мест».

Во времена Лепехина Кана-Никольский завод, основанный в 1751 г. Иваном Мосоловым, имел медеплавильную фаб-

рику с шестью печами, три горна для переливания меди; колотушечную фабрику с 2 печами, 3 молотами и одним горном для кусковой меди, мусорную толчею, лесопилку, кузницу и пр.; ежегодно полагалось выплавлять чистой меди по 3955 п. 34 ф., но завод мог выплавить до 8500 п. Строений на заводе было 250 дворов и «изрядная деревянная церковь». Рабочих и мастеровых числилось более 300 душ, но в работах принимали участие и вольнонаемные из инородцев (очень дешевые). Таким образом, Кана-Никольский завод проявлял в прошлом столетии довольно значительную деятельность. Иную картину представляет он в настоящее время. Завод окружен лесистыми горами и сам лежит на возвышении, но особенно красивого вида не представляет. Заводские каменные помещения теперь пустуют; плотина у пруда находится в обветшалом и далеко не исправном виде; пруд отчасти запущен и как-то сиротливо выглядывает от своей собственной и окружающей его бездеятельности: — никаких горных работ на заводе не производится.

Население — русское. В прежнее время оно жило работами на заводе; теперь же принуждено обращаться к другим источникам существования. Оно мало носит обычный отпечаток горнозаводских жителей: подвижность, расторопность, ухарство (нам-де море по колено) — и больше похоже на мещан, в плохом смысле этого слова. Под влиянием теперешнего рода занятий жители завода занимаются плотничеством, извозом, огородничеством, рубкою и гонкою леса (больше всего) и отхожими промыслами. На их домашней обстановке лежит печать мещанской запущенности, затхлости и безвкусия; дом довольно значительного купца или мещанина, у которого мы остановились, был построен и украшен внутри без всякого вкуса и комфорта: ненужные проходные комнаты, крыльцо не у места, нелепые, неграмотные надписи на загрязненных стенах, безвкусие в окраске стен — все это не могло сообщить жилищам домовитости и уютности. Кана-Никольские обыватели не славятся в окрестностях особой любезностью, приветливостью и гостеприимством. Вообще завод не оставил в нас приятных впечатлений; управление заводом проявило себя одним лишь качеством — чиновничьей сухостью. В настоящее время в заводе, который составляет самостоятельную волость, а во время Лепехина находился в пределах Бурзянской волости, жителей числится 4330 душ (мужч.—2130, Женщ.—2200) — со времени Лепехина прирост не очень значительный.

В заводе разыскали мне дудочника Ивана Лукманова, крещеного башкира, которого очень хвалили за уменье играть на курае. Это был башкир, хотя и крещеный, но в душе такой

же первобытный и дикий, как и некрещеные его сородичи; он был чужд не только христианского настроения, но, повидимому, и каких-либо сведений о своей новой вере. Очевидно, он был крещен по какой-то странной случайности, и затем никто уже не заботился о его духовном состоянии. Что он случайно стал христианином, доказывается тем, что в этих глухих местах никакой миссионерской деятельности не существует и никого в христианство не обращают. Иван Лукманов долго служил сторожем при управлении завода — и, кажется, один из управляющих окрестил его. Какая-то первобытная дикость и узость понятий чувствовалась в его разговорах; это был не то что неразвитой русский крестьянин: у последнего, при его неразвитости и ограниченности, замечается какая-то ширь и добродушие,— свойства, присущие народу; в крещеном же Иване Лукманове чувствовалась другая порода, более узкая и дальше эгоистических соображений не идущая. Хриплым, диковатым голосом рассказывал он о своих делах и неудачах и, видимо, совсем был чужд идее, что поживиться насчет другого, устраивать свое благополучие на бедах другого — не похвально. Тем не менее нельзя было сказать, чтобы природа его была дурная или злая: он был не чужд добродушия, ласковости и чувства благодарности; только все это скрывалось или замирало под корою загрубелости. Как большой мастер играть на курае, он был участником разного рода празднеств при управлении завода, и управляющие, так сказать, угощали им гостей, которые наезжали в завод отовсюду, начиная с Петербурга. Однажды услышал игру Ивана Лукманова инспектор Петербургского лесного института, восхитился ею и, согласно обещанию, выслал ему из Петербурга медный курай, взяв мерку и расчет, с каким надобно делать отверстия на цилиндре. Но петербургский мастер ошибся в расчетах, и медный курай фальшивил в тоне Тогда Лукманов сам поправил беду: понизил отверстия, сделав вырезки в нижних концах и запаяв оловом верхние концы, курай стал давать довольно верный тон. Медный курай издает более сильные звуки, но зато почти теряет тембр натурального курая. Лукманов играл довольно любопытные мелодии, между прочим, «сынрау турно» (глухие журавли), в которой подражание пению птиц довольно явственно. Мы занимались с ним один только день (9 июля), потому что он спешил на сенокос. Заставляя его брать отдельно звуки при постепенном закрывании отверстий, я окончательно установил строй курая.

На другой день мы поехали дальше. Было уже послеобеденное время. Собирались тучи и обещала разрешиться гроза, когда вестовой из волостного правления показывал нам путь по направлению к дер. Юлук 1-й Бурзянской волости, на

юго-восток от завода. Мы возвращались в менее дикую башкирскую волость, где башкиры гораздо общительнее, приветливее, чаще видят русских, и путешественник имеет с ними более точек соприкосновения и общих интересов.

Вскоре же после выезда из завода нас застигла в лесу гроза. Хорошо, что она разразилась не прямо над нами, а раскаты грома слышались где-то по сторонам,— иначе можно было бы не на шутку поплатиться за свое пребывание в лесу в это время. Дождь порядочно лил над нами. Лес начинал постепенно редеть, и дорога продолжалась довольно открытой долиной, окаймленной грядой гор. Часа за полтора до заката солнца прекратился дождь, и воздух дышал свежестью, а долина была разукрашена переливами цветов от лучей заходящего солнца. На пути попадались изредка сенокосы и косцы-башкиры. В общем, было пустынно и тихо кругом. Вечерело; скоро должна была наступить ночь, а нам предстоял переезд в 40 верст до татарской дер. Юлук, из которой мы успели проехать разве верст 10—15. Лошади нашего кучера начинали уставать. Киримка вначале пел было песни, а потом умолк; мы все тоже молчали. В сумерки проехали мы хутор Зилаир на речке того же названия; в пустынной местности приятно было встретить населенное место, притом же в такое позднее время. Трусливый, малодушный возница с особой радостью и оживлением пустился в разговоры с жившими на хуторе башкирами: остановив на несколько минут лошадей, он расспрашивал о пути. Вблизи этого хутора, в прошлом столетии, при Неплюеве,— когда устраивался и заселялся Оренбургский край,— существовала крепость, входившая в ряд крепостей, которыми русское правительство постепенно оцепило Башкирию.

Наступила уже темнота, когда мы поехали далее. Трусливость Киримки сказалась теперь вполне; он не раз обращался ко мне: «Сергей Гаврились, чего станешь делать? темна бульно». Ночь была тихая; кругом не было слышно ни звука, и мы невольно погрузились в молчание и полудремоту, доверившись инстинкту лошадей. Довольно долго ехали мы так, и даже вздохов Киримки не было слышно. Но вот мое внимание пробудили торжественно-красивые, слегка меланхолические звуки: это Киримка запел мусульманскую молитву, так как в эти минуты поднимался на горизонте громадный багровый диск луны. Чем-то величавым повеяло от такого неожиданного момента: после предыдущей полной темноты и затишья в природе,— когда, казалось, вся жизнь замерла,— появление ночного светила вливало новую струю жизни в природу и как бы говорило о порядке и гармонии, которые постоянно поддерживаются в окружающем строе вещей. Тем

отзывчивее была в данный момент эта религиозная ревность мусульман, которые, с беззаветной покорностью и памятливостью о Высшем существе, отмечают молитвою и пением важнейшие моменты дня. Мелодия певца звучала торжественно-красиво и была полна какой-то затаенной душевной тоски. В этой религиозной ревности, в этой безграничной преданности своей вере и кроется вся мощь мусульманства: темный, неученый, недалекий башкир не забыл все-таки, что вот появилась на горизонте луна, и теперь, значит, около 9 часов,— время последнего моления за истекший день,— и что надобно воздать должное аллаху. Признаюсь, подобную религиозность редко встретишь в нашем народе, благодаря его плохому религиозному воспитанию.

Я не ожидал, что мусульманство способно создавать такие величавые и красивые, полные внутреннего смысла религиозные мелодии, что я имел возможность проверить после и на других образцах.

После пения Киримка прошептал несколько молитвенных слов, провел руками по лицу и этим кончил свою религиозную обязанность. Луна тем временем поднялась на небосклоне, уменьшилась в размерах, просветлела и озарила безмолвную и темную Башкирию своим бледным, мечтательным светом. Но, спустя немного, надвинулись тучи, и окрестности опять погрузились если не в прежнюю полную темноту, то в сильный полумрак. Опять мы ехали молча.

Трусливость не давала Киримке покоя. Попался в стороне от дороги небольшой лес, а уж, не доезжая до него, наш возница говорил мне озабоченно: «Сергей Гаврились, а Сергей Гаврились, места бульно не хороша, дурны люди есть здесь, дай револьвер». Я достал револьвер, который был неизвестно в каком состоянии, потому что ни разу не подвергался пробе за время моего путешествия. Киримка взял его в руки и сильно насмешил нас. Подняв револьвер высоко в воздухе, он объяснил нам, когда мы проезжали мимо леса, что держит высоко револьвер для того, чтобы видом его испугать заранее «дурны людя»: простак совсем не принял во внимание царившей тогда темноты. Мы проехали лес, а к услугам револьвера так и не пришлось прибегнуть. Может быть, «дурны людя», согласно соображениям Киримки, провидели издали, сквозь темноту, револьвер в его руках и благоразумно не показались... Длинным и скучным показалось нам путешествие за эту ночь. Еле дотащились мы до деревни Юлук

П. Г. Рыбаков

(1871—1918)

Петр Гавриилович Рыбаков родился в Самаре, учился сначала в Троицке, а затем в Уфимской гимназии. Окончив ее в 1893 году, уехал в Петербург и поступил вольнослушателем на юридический факультет университета, который окончил в 1900 году.

Литературная деятельность Рыбакова началась в годы студенчества. В 1894 году совместно с братом С. Г. Рыбаковым он совершил поездку по Башкирии. Это ему дало материал для ряда произведений. В 1895 году в журнале «Русская беседа» он напечатал рассказ «Ночь» («По Уралу, среди башкир»); в 1901 году в газете «Новое время« опубликовал башкирскую легенду «Давлет-хан». Впечатления от поездок по Уралу и Сибири легли в основу очерков «Скачки в Киргизской степи» и «Киргизская свадьба», рассказов «Яков Иванович», «Татарчонок Кулахмет», которые были опубликованы в конце прошлого века.

Рыбаков — автор нескольких пьес. Его комедия «Старшина Бурапбай», изображающая жизнь горных башкир, была поставлена в 1901 году на сцене Петербургского театра Е. А. Шабельской. Пятиактная драма «Переселенцы», законченная незадолго до смерти, осталась неизданной. В пьесе изображается драматическая картина переселения безземельных крестьян средней России, ограбленных реформой от 19 февраля 1861 года и гонимых нуждой на Восток.

Рукопись драмы «Переселенцы«, наряду с другими материалами братьев Рыбаковых, хранится в семейном архиве дочери писателя — Елены Петровны Рыбаковой-Смирновой. Эти материалы были использованы при написании биографических справок о Рыбаковых. Большую помощь оказали также неоднократные беседы и многолетняя переписка с Еленой Петровной, проживающей в Латвии. Приношу ей глубокую благодарность за помощь в моей работе.

СТАРШИНА БУРАНБАЙ

Действующие лица

Буранбай, башкирский старшина, крупный, здоровый мужик, полноты достаточно приметной, лет под 50.
Гульдиган, его жена, еще не старая красивая женщина.
Бахтиар, их сын, молодой человек.
Биргале, товарищ Бахтиара, несколько его старше, башкирский поэт, певец-импровизатор.
Мансурка, работник старшины, холостой человек.
Абдулла, бедный башкир из другой деревни.
Фатима, его молоденькая дочка-сирота.
Сарысясь (рыжие волосы), старшая жена Абдуллы, немолодая, уже достаточно безобразная женщина, очень худощава собой.
Фахарница и Ганьемал, две другие жены Абдуллы, помоложе и попригляднее Сарысясь.
Мулла
Народ *(башкирские старики и молодежь)*

Действие происходит в Уральских горах, ранним летом, в одной из башкирских кочевок.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Внутренность башкирского коша (юрты); на подушках в глубине лежит старшина Буранбай по-домашнему, в одной полотняной рубахе с красными вставками под мышками, в широких шароварах, заправленных в ичиги (мягкие кожаные сапоги).

Сцена первая

Буранбай *(один)*. Эй, кто там? Гульдиган, жена. Бибисара, дочка... Эй, жена, Гульдига... ан... *(зевает)*.

Мансурка *(появляется в двери коша)*. Ты чего кричишь, хозяин? Али надо чего?

Буранбай. Жену зову. Вот уснуть тебе нельзя, сейчас все и разбегутся. Где она запропала?

Мансурка. Не знай. *(Говорит это «не знай» отрывисто: это его поговорка.)* Поди, тут где-нибудь... *(Наклонившись, входит в кош.)*

Буранбай. А сы... ын *(зевает)* где?

Мансурка. Не знай. Где ему быть. Поди, с песельником Биргале на дудках играют. Да тебе надо, что ли, чего-нибудь.

Буранбай. Не... ет *(зевает)*, ничего не надо.

Мансурка. Тебе скучно, что ли, одному?

Буранбай. Зачем скучно, ничего не скучно. Так-то,

без людей, пожалуй, еще и лучше — спокойнее. Не хорошо только: старшина... а *(зевает)*, а один лежит, и никого кругом нет

Буранбай. Кому что положено: старшине почет следует

Буранбай. Кому что положено: старшине почет, другому там другое что, так он, почет-от, завсегда должен при старшине находиться.

Мансурка. Не знай. Известно — старшина.

Буранбай. Понимаешь, значит?

Мансурка. Не знай. Понимаю, как не понимать.

Буранбай. А вот баба моя, выходит, этого не понимает: вот утрепалась куда-то, и никого кругом нету, старшина один лежит.

Мансурка. Не знай, Бабы, ведь...

Буранбай. Само собой — дуры, а все обидно. Что стоишь? Присядь: хоть ты побудь здесь, пока кто не подойдет.

Мансурка. Ладно. *(На корточках присаживается у порога. Молчание.)*

Буранбай. Так вот оно как. О... ох, а... х.. *(зевает)* Думаешь, всякого выберут старшиной? Большо... ой... *(зевает)* ум надо человеку, чтобы попасть в старшины. *(Молчание.)* Что ты, Мансурка, больше молчишь?

Мансурка. А чего много говорить. Ладно и помолчу — дело работницкое...

Буранбай. А молчать-то хорошо, что ли? О... ох, а...ах *(зевает)* Хозяин, к примеру, зевает, а ты и спроси, отчего хозяину зевается.

Мансурка. Твое хозяйское дело; зеваешь, значит, так надо.

Буранбай. Известно — старшина. Хочу зеваю. *(Зевает.)* Хочу — можно и не зевать. Что хочу, то и делаю. А все же любопытно, отчего это иной раз так вот тебе и зевается, и все спать охота?

Мансурка. Жрешь много, хозяин.

Буранбай. Ну вот, догадался. Да разве от еды может быть плохо человеку? Нет, это не то. Точно чего не хватает. Мансурка, чего мне не хватает?

Мансурка. Не знай.

Буранбай. И я не знаю. Почету, уважения, что ли, мало? Удивленье. *(Зевает.)* Все есть, а точно вот самой малости не хватает. А тебе, Мансурка, чего-нибудь недостает?

Мансурка. Не знай. Кто его знает, бабы будто не хватает. А то ничего, слава богу, чай пьем, кумыс пьем, барана едим...

Буранбай. Беда не велика, бери себе бабу.

Мансурка. Не знай. Надо быть, придется. Калым надо, выкуп, а где его взять. Слушай, хозяин, давно собирался просить тебя, да все боязно, робеешь будто.

Буранбай. Робеешь?

Мансурка. Известно, боязно. Мое дело работницкое, в какой час угодишь.

Буранбай. Если под сердитую руку, сейчас я тебя по шее, и без разговору.

Мансурка. Какой уж тут разговор...

Буранбай. Чувствуешь?

Мансурка. Как не чувствовать, чувствую.

Буранбай. А народ как?

Мансурка. Не знай. Чувствует, поди, как не чувствовать, старшина ведь.

Буранбай. Однако, когда я веселый, проси, чего душа хочет, отказу не будет, только чтобы пожалостней, до смерти люблю.

Мансурка. Не знай. Просить надо, нельзя, чтобы не просить. Как без бабы будешь? Непорядок. Сделай милость, хозяин. *(Встает.)* Хочу твою работницу Зарифу в жены брать. Выкупи девку, а я тебе отработаю, что следует.

Буранбай. Ладно. Мо... ожно *(зевает)*. Что бы дурное, а то все по закону. Оно, пожалуй, еще и лучше, когда работник с работницей — муж да жена.

Мансурка. Не знай. Известно, лучше. Так ты мое дело, хозяин, пожалуйста, поскорей наладь.

Буранбай. Это мо... ожно. *(Зевает и внезапно поражается мыслью.)* Постой-ка, брат. Никак нельзя.

Мансурка. Не знай. Как нельзя? Ты обещал...

Буранбай. Не подумавши, все можно пообещать, а как поразмыслишь, выходит, что нельзя. Так женишься, а я-то как?

Мансурка. Не знай. У тебя жена есть, добрая баба.

Буранбай. Кто скажет, что плохая, да ведь одна.

Мансурка. Это верно, что одна.

Буранбай. То-то вот и есть. У хозяина одна жена и у работника одна жена. Непорядок. Уваженья настоящего не будет. Покуда не был старшиной — ладно, а теперь — такая важная служба, и одна баба. Стыд перед людьми.

Мансурка. Как не стыд, стыд, поди.

Буранбай. И выходит, ничего не поделаешь, мне наперед жениться надо.

Мансурка. Не знай. Женись айда. Чего? Девки ноне не дороги. Вот у старика Абдулки, ай-яй, добрая девка.

Буранбай. Слыхать, что исправная девка. Непристойно только с Абдулкой породниться. Какого он роду. Сказы-

вают, лошадь у кого-то украл, два раза в правлении драли.

Мансурка. Не знай. Драли, как не драть; недолго ведь.

Буранбай. Да и беден. Э... скажут люди, Буранбай у бедного берет невесту, обеднел у нас старшина, скупой стал — выберем другого.

Мансурка. Не знай. И выберут, недолго ведь. Так, значит, наперед ты, хозяин, поженишься?

Буранбай. И очень просто.

Мансурка. Ладно. Когда так, айда ты наперед женись, а потом я.

Буранбай. Я так полагаю, что мне теперь самая пора жениться, другую бабу взять. Видимое дело. Человек почтенный, слава богу, всего довольно, в старшины выбран... кого хочешь спроси, всякий скажет, что не миновать, чтобы не жениться. Положим, моя баба этого не скажет, так, видимое дело, бабы перво-наперво — дуры, а потом разве умный человек станет спрашивать ба... *(Недоговаривает, увидев вошедшую в эту минуту жену)*. Тьфу, и откуда тебя вывернуло? Да разве так можно сразу? Сказывают, как лежишь, так тебя на месте и прихлопнет... с испугу-то...

Гульдиган молча проходит за полог, в женскую половину юрта, и сердито швыряется там домашнею утварью. Мансурка при появлении хозяйки встает и быстро скрывается.

Сцена вторая

Буранбай *(один)*. И совсем недолго испугать человека. *(Молчание.)* Эй, Гульдиган, поди-ка сюда. Ты взяла бы что-нибудь да и помахала надо мной, а я вздремнул бы немного.

Гульдиган выходит, становится около Буранбая на колени и начинает его обмахивать полотенцем.

Гульдиган. Набирай, пожалуй, жен; я им всем глаза повыцарапаю.

Буранбай. И повыцарапаешь, мудреного ничего нет.

Гульдиган. Так-таки и вцеплюсь.

Буранбай. Залаяла. Пошутил я с Мансуркой.

Гульдиган. Хорошо, думаешь, другие жен наберут целый табун? Ты отчего и в старшины-то попал, думал ли?

Буранбай. Известно отчего: угощение выставил народу, ну, и деньгами там... никто лучше меня не угодил, вот, значит, и старшина.

Гульдиган. В народе сказывают: у нас, мол, Буранбай почтенный человек, о пустяках, о бабах не думает. Такому человеку и быть старшиной. Вот отчего.

Буранбай. Хоть на том помириться, а то самый дрянной башкир, и у того, мошенника, две-три бабы, а у старшины — одна.

Гульдиган. Девку купить недолго, только как бы плохо не было. Вот кузнец Кирамка тоже другую бабу взял.

Буранбай. И преотлично сделал.

Гульдиган. Только первая его баба, вот как я, не хотела, чтобы он женился, а кузнец не послушался, она взяла и удавилась.

Буранбай. Чего же лучше... И расчудесное дело...

Гульдиган. Однако кузнец весь извелся после того: как ночь над степью, так мертвая жена к нему в кош — вся синяя, глаза вытаращит и давай его душить...

Буранбай. Молчи. Будет. Удивительно, как у этих баб скоро язык поворачивается — удержу нет. Дело к вечеру подвигается, а она этакие слова выговаривает.

Гульдиган. Говорю, извелся кузнец, от пищи отбило.

Буранбай. Молчи. Тебе говорят. Этакая страсть, как тут не отобьет. Подумать только и то в жар бросает... Доведись до меня — только бы раз взглянул, и душа вон. До смерти боюсь мертвецов...

Гульдиган. Так вот попробуй женись, я то же сделаю. Коли что — прямо на сучок, либо в реку...

Буранбай. Тьфу. Сказано тебе — пошутил...

Сцена третья

Входит Абдулла. Гульдиган, при виде постороннего мужчины, закрывает, как то велит обычай, лицо, на этот раз полотенцем, случившимся в руках, и немедленно удаляется в женскую половину коша, за полог

Абдулла. Здравствуй, старшина. Бабу учишь?

Буранбай *(приподнимается и, зевая, садится)*. Нельзя без того. Здоров ли?

Абдулла. Слава богу. Слава богу. Как ты?

Буранбай. Ничего, живу помаленьку.

Абдулла. Слава богу, слава богу.

Здороваются по-азиатски обеими руками. Здороваясь, Буранбай несколько приподнимается. Абдулла, поздоровавшись, отходит, пятясь задом, к двери, где и усаживается, как и Буранбай, прямо на землю. Только старшина сидит на пуховиках, а Абдулла, как бедный человек, не позволяет себе усесться рядом и довольствуется местом на половине у входа. Сначала говорит почтительно, чем далее, тем бо́льшую чувствует развязность.

Абдулла. Скот здоров?

Буранбай. Гуляет, корма хорошие.

Абдулла. Слава богу, слава богу. Сын здоров?

Буранбай. Человек молодой, бегает помаленьку.

Абдулла. Слава богу, слава богу. Значит, все в порядке.

Буранбай. Грех жаловаться.

Абдулла. Слава богу, слава богу.

Буранбай. Налей себе кумыса...

Абдулла *(не дослышав)*. Слава богу, слава...

Буранбай. Чего ты? Не то: налей, говорю, себе, кумыса, около тебя стоит.

Абдулла. А, кумыса. Ладно. *(Наливает и пьет с расстановкой.)* Спасибо. Будь здоров.

Буранбай. Кумыса довольно, пей знай, гостем будешь.

Абдулла. Что говорить, всего довольно. *(Пьет. Буранбай почесывается и зевает)*. А я к тебе, Буранбай, больше по делу.

Буранбай. Сказывай.

Абдулла. Иду я сейчас по дороге, а твой работник Мансурка и кликни меня: эй, говорит, Абдулла, пойди к старшине.

Буранбай. Ну?

Абдулла. Пойди, говорит, к старшине, он жениться задумал, так, пожалуй, у тебя девку возьмет. Мне что ж, я и пошел.

Буранбай *(говорит громко)*. А ежели он соврал?

Абдулла. Когда так, соврал, видно. Точно в народе сказывали, будто твой сын Бахтиарка на мою девку заглядывается, а про тебя ничего такого не слышно. Да и то сказать, поговаривают, будто тебе баба не велит жениться.

Буранбай. Как это так поговаривают?

Абдулла. Да так и говорят. Про бедного человека ничего не скажут, а про богатого все болтают.

Буранбай *(встревожен)*. Погоди маленько, Абдулла, я тебя расспрошу обо всем подробно. Этого дела так оставить нельзя. *(В сторону.)* Эй, ты, Гульдиган, ступай-ка вон отсюда. *(Молчание.)*

Абдулла. Что, глухая, что ли, у тебя жена-то? Муж говорит, а она не слушает. У меня, как скажу, за версту бабы слышат; спят и то слышат. А ты зарычи на нее.

Буранбай *(рычит)*. Гульдига... ан...

Гульдиган выходит, хлопнув дверцами и что-то ворча про себя. По пути задевает сидящего на корточках Абдуллу. Абдулла падает на спину. Опять садится.

Абдулла. Вот видишь, сейчас и послушалась. Хай-хай-хай. Я думал, врут в народе, а оно на правду походит.

Буранбай. Ну?

А б д у л л а. Какой, говорят, это старшина, с бабой не может управиться. И не то еще говорят...

Б у р а н б а й. Ну?

А б д у л л а. Сказать непристойно: будто она тебя за бороду таскает.

Б у р а н б а й. Вруст, ей-богу, врут.

А б д у л л а. Не знаю, может, и врут, я не видал. Эй, Буранбай, не ладно. У тебя баба страх забыла, а отчего? Потому что одна. Надо тебе жениться, надо.

Б у р а н б а й. Как ты это не поворачивай теперь, выходит — не миновать. Только опять не угодишь. Скажут: старшина о бабах думает, а не о деле.

А б д у л л а. Какой. Смущается народ. В других волостях старшины, которые до шести баб понабрали, нашим-то и обидно...

Б у р а н б а й. Обидно?

А б д у л л а. Страсть. Женись, говорю, женись.

Б у р а н б а й *(таинственно)*. Поди-ка, сядь сюда поближе, Абдулла, чего я тебя спрошу?

А б д у л л а *(подсаживается)*. Ну?

Б у р а н б а й. Случается, иной, ошалев, возьмет и прикончит с собой, может он из могилы вставать?

А б д у л л а *(убежденно)*. Может. А что?

Б у р а н б а й. Вот тебе и на. Скажем, придет он к тебе, умереть надо со страху?

А б д у л л а. Страсть одна. Умрешь, непременно умрешь.

Б у р а н б а й. Жить нельзя стало на свете, Абдулла, вот что я тебе скажу. От этих баб и здесь покоя нет, а начнут еще с того света шататься...

А б д у л л а. Э... э, да ты про баб. Бабам не полагается.

Б у р а н б а й. Как не полагается?

А б д у л л а. А так: померла — шабаш. Их оттуда не пускают. Вот мужчине, ему можно, да и то не завсегда и на короткий срок.

Б у р а н б а й. Врешь...

А б д у л л а. Ей-богу. Их и здесь-то запирают, а то дайка им волю, они из могилок-то полезут, как трава по весне. Нельзя — и кончен разговор.

Б у р а н б а й. Да ты не врешь, ты хорошо это знаешь?

А б д у л л а. Ну вот. Поди, у меня самого две бабы померши. Бывало, примешься бить: погоди, говорит, помру, беспременно приду душить.

Б у р а н б а й. И ничего?

А б д у л л а. Хоть бы что. Ни боже мой.

Б у р а н б а й. И моя грозится. Удавлюсь, говорит.

А б д у л л а. Э, Буранбай, не ладно. Грозится, а ты плюнь. Ты для бабы гроза...

Б у р а н б а й. Хитры уж очень, черти этакие; так оплетет, всякой дряни поверишь. Тьфу. Так у тебя дочка — невеста?

А б д у л л а. Первый сорт. Бери, спасибо скажешь. Такая девка, такая девка... пять раз ее у меня воровали.

Б у р а н б а й. Пять раз?

А б д у л л а. Ей-богу. Мошенник стал народ, все на даровщину метит. Украдет, а там, поди, ищи с него. Да ничего покуда, слава богу, все отнимал. Сколько из-за этого самого дела, старшина, драк было...

Б у р а н б а й. Много?

А б д у л л а. Страсть. Редко когда, чтобы не до крови. Раз чуть девку-то не изувечили: мы ее за голову, а те за ноги. Говорю: бери — спасибо скажешь.

Б у р а н б а й. Сколько просишь?

А б д у л л а. Бери знай, дорого не возьму.

Б у р а н б а й. Говори толком; рядиться, так рядиться, как следует.

А б д у л л а. Чего, не шутки шутим; надо по-настоящему рядиться. Давай полтабуна, и ладно.

Б у р а н б а й. Ай, кяфыр, дурак...

А б д у л л а. Ай-ай, старшина, зачем ругаться? Да ведь девка-то какая.

Б у р а н б а й. Говори настоящую цену.

А б д у л л а. Ну, давай руку: из уважения к тебе — двадцать лошадей.

Б у р а н б а й. Бери пять.

А б д у л л а *(отодвигается)*. И... что ты толкуешь...

Б у р а н б а й. Не хочешь, не надо. Другой за три отдаст.

А б д у л л а *(ожесточенно бьет по рукам)*. Ну, что толковать — десять.

Б у р а н б а й. Шесть.

А б д у л л а. Хочешь восемь?

Б у р а н б а й. Жеребенка не прибавлю.

А б д у л л а *(подумав)*. Э, ладно, бери. Старшина ты у нас, уважить надо. Только, как ты хочешь, прибавь халат новый и шапку. Раззадорил ты меня, жениться хочу.

Б у р а н б а й. Жениться?

А б д у л л а. Видимое дело. У меня уж характер такой: как завелись деньги, сейчас новую жену покупаю.

Б у р а н б а й. У тебя и без того две бабы.

А б д у л л а. Три, Буранбай, три.

Б у р а н б а й. Еще три. Таким манером у тебя со временем много жен прикопится.

А б д у л л а. У меня, старшина, только одна баба бессменная: Сарысясь по имени. Волосы у нее рыжие, и по всему телу пятна рыжие — веснушки, особенно на харе. Вот поэтому ее кличка Сарысясь. Мне ее отец с матерью даром отдали, теперь и маюсь. Другую возьмешь, прогонишь, она к отцу, к матери назад уйдет; те ее опять кому-нибудь продадут, а эту с придачей не берут. Ей-богу, не вру.

Б у р а н б а й. Красива очень.

А б д у л л а. И что, Буранбай, это все бы ничего — шляется, вот что не ладно.

Б у р а н б а й. Шляется?

А б д у л л а. Беда, по всей волости мою бабу знают. Да ты разве не слыхал?

Б у р а н б а й. Слыхать — слыхал, а видать твою бабу — не видал.

А б д у л л а. Где ж тебе. Ты человек у нас почтенный, где ж тебе видать.

Б у р а н б а й. А ты бы ее бил.

А б д у л л а. Бил, старшина, бил, страсть бил. Я чего только с нею не делал: раза два за ноги подвешивал — не действует.

Б у р а н б а й. Ну а другие бабы?

А б д у л л а. С другими женами просто: как новую купил, так одну, не то сразу двух из прежних по шапке, айда, откуда прибыли. Не то, посуди сам, где их всех прокормить.

Б у р а н б а й. Да ты кормишь ли их?

А б д у л л а. Правду сказать, зимой подкармливаешь, ну, а летом, как сами хотят.

Б у р а н б а й. Ведь таким манером они у тебя передохнут.

А б д у л л а. Чего. Живут. Когда сам диву даешься, чем они, паршивые, живут. Тощают к весне, это правда... Так давай, старшина, жениться будем. Долго разве. Да чего, ты мою берешь девку, а я у тебя возьму...

Б у р а н б а й. Она, дочка-то, хоть и не сын, а и ее жалко, поди, когда ты ее кормить не станешь.

А б д у л л а. Ну, а если дочки не хочешь, так у тебя работница добрая девка. Мне ведь все равно.

Б у р а н б а й. А эту Мансурке обещал.

А б д у л л а. Вот чудак. Обещай ты мулле, старикам, обещай что-нибудь сходу, известно, слово держать надо, нехорошо не держать слова. А Мансурка что? Работник. Его дело слушаться и больше ничего. Эка беда — обещал, а потом раздумал, вот и все.

Б у р а н б а й. Само собой, обещал, а потом раздумал.

А б д у л л а. Вот-вот. Так по рукам.

Буранбай. Угождай хорошенько, не старшина я, что ли? Как захочу, так и будет.

Абдулла. Так угожу, так угожу, век будешь помнить. Ну, кончено дело. Давай теперь одеваться, поедем.

Буранбай. Куда?

Абдулла. Куда? За моей девкой.

Буранбай. Больно ты прыткий. По-твоему, вот взял, встал и отправился.

Абдулла. А чего ж еще думать-то? Ночь. Как раз девку-то выкрадешь, а завтра сзывай народ, пировать станем, только и всего.

Буранбай. Вот лень тебе чего-то... жарко, что ли, уж очень...

Абдулла. Так лежи. Спосылай сына: чего тебе, все равно, он и привезет.

Буранбай *(с ударением)*. Привезет. Поди, Бахтиаркато молодой человек, а еще, сказывают, на твою дочку больно заглядывается, задаст с ней тягу, коней таких не сыщешь, чтобы его догнать было можно. Видно, ничего не поделаешь, стало быть, подниматься надо. Дай-ка вон там бешмет.

Абдулла *(бежит за бешметом)*. Вот, можно сказать, молодец...

Буранбай. Я, брат... я, брат... *(Хочет подняться и не может)*.

Абдулла *(подбегает)*. Айда, айда. Погоди, я помогу, обопрись...

Буранбай *(поднимается)*. Вот залежишься, так будто бы оно того... а то я, брат...

Абдулла *(подает бешмет)*. На, одевайся, Ну, а этот халат, как ты хочешь, я надену — задаток, старшина, задаток. *(Надевает халат ярких цветов, между которыми преобладает зеленый; затем, по причине своей худобы, обертывается им два раза.)* Ай-ай, и брюхо у тебя, старшина,— двоих завернуть впору.

Буранбай *(одевается)*. Ну, брюхо; я и не отпираюсь, а вот у тебя плешь во всю голову, поди, и бриться тебе не приходится, и так чисто.

Абдулла. Э, старшина, что плешь. Как становится постарше человек, так и плешь у него проявится. От нее беспокойства никакого, а ты вот свое брюхо насилу поднял. А то плешь,— прикрыл, ее и не видно. Вот с брюхом, как ты ни жмись, все его не спрячешь.

Буранбай *(оделся)*. А чего его прятать. Почтенному человеку без брюха никак нельзя, уважения настоящего не будет. Брюхо совсем не то, что плешь. Она сама приходит, а ты вот поди-ка наживи вперед брюхо, да чтобы тебе почет

да уважение... вот это — да... *(Величественно выпячивает брюхо вперед. Буранбай выходит, Абдулла за ним).*

Картина вторая

Обширная поляна среди гор в лесу. Внешний вид из кочевки Буранбая. Впереди несколько кошей старшины, поодаль коши одноаульцев. Мгновенная перемена декораций. В первой картине Буранбай и Абдулла уходят из внутренности коша, теперь Буранбай и Абдулла выходят наружу из низенькой дверцы коша, от которого поспешно отбегает несколько женских фигур.

Сцена четвертая

Буранбай. Тьфу. Все-то этим бабам знать хочется. Вот стояли тут и весь наш с тобой разговор подслушали.

Абдулла. Плюнь ты на них, говорю, плюнь.

Буранбай. Известно, наплевать, а все же досадно: бабам ничего знать не полагается, а они все знать хотят. Хоть до кого доведись, рассердится. И вот они сейчас меня, проклятые, в расстройство привели, а это последнее дело, потому сейчас отнимутся у меня ноги: не могу идти, вот, что ты хочешь со мной делай. *(Останавливается).* Надо быть вернуться приходится, ничего не поделаешь.

Абдулла. Э, Буранбай, чего толкуешь. Ложись в телегу, мы так тебя с Мансуркой и повезем; дорогой отойдешь, ей-богу...

Буранбай. И вот еще, самому мне на удивленье, как осерчал, в ту же минуту есть мне захочется. Начнет тебя этот голод пронимать, так все внутри и вертит, терпения никакого нет. Как хочешь, Абдулла, давай вернемся, да и поедим, что ли, наперед.

Абдулла. Ворочаться, и не говори: коли что задумал, пошел да вернулся — ничего не выйдет. Примета верная.

Буранбай. Так, видно, велеть коней седлать?

Абдулла. Чего, видимое дело.

Буранбай. А все бабы, как связался с ними... пропащий тот человек, вот что я тебе скажу. Ну, айда, что ли, только наперед к мулле зайдем: при нем скажу, что за девку обещал, не то после заскандалишь.

Абдулла. Без обману, Буранбай, без обману.

Буранбай. Для порядку не мешает... да и поедим там у муллы-то; значит, и не вернулись, и поели...

Абдулла. Чего, пойдем, все равно ведь.

Буранбай. Мансурка, эй, Мансурка... И вот проклятый народ... Как кого надо, так его тут и нет.

Мансурка поспешно вбегает.

Сцена пятая

Буранбай, Абдулла, Мансурка.

Буранбай. Где тебя таскает, мошенника?

Мансурка. Не знай. Я там, хозяин, сбегал... у кого есть девки, айда, говорю, в старшине, жениться, мол, задумал... сейчас к тебе, пожалуй, человек десять народу привалит. Так-то скорее.

Буранбай. Ну их к лешему. У Абдулки сторговал девку, гони тех в шею.

Мансурка. Ладно. Коли так, гнать придется.

Буранбай. Седлай коней, со мной поедешь, у Абдулки невесту воровать будем.

Абдулла. Ты вот чего, Буранбай, постой-ка. Лошадь я тебе сам оседлаю, а Мансурку мы вперед пошлем.

Буранбай. И то ведь. Поезжай, Мансурка, вперед, скажи Абдулкиным бабам, что, мол, старшина едет, так чтобы барана варили и самовар ставили. Как приедем, с дорогито, само собой, поесть надо будет. А у тебя, Абдулка, самовар есть?

Абдулла. Есть, ей-богу, есть. И баранина есть, все как быть следует. Только это, само собой, порядок известный, а я о другом. Мансурка, скажи бабам, чтобы девку заперли. *(Обращаясь к Буранбаю.)* А то, случается, иная со страху спрячется, дня два ее ищут. Дуры, ведь, девки-то.

Буранбай. Скажи, Мансурка, чтобы заперли.

Мансурка. Ладно.

Абдулла. Так вот ты еще что, Мансурка... долго ль до греха... говорю, пять раз ее у меня воровали... Поостеречься никогда не мешает... и, значит, пока мы с Буранбаем у муллы, сиди, карауль девку.

Буранбай. Мансурка, карауль девку.

Мансурка. Ладно.

Абдулла. То есть на шаг не отходи.

Буранбай. Ну вот, сказал. Ничего ты, Абдулла, как видно, в таком деле не понимаешь. Мансурка, спрячься, чтобы и не видно тебя совсем было. А ежели кто воровать, ничего, пусть крадет, а украл — сейчас догонять, и расправа, и все такое... Вот, Абдулла, до смерти люблю других судить, то есть хлебом ты меня не корми, только бы мне перепугать кого-нибудь.

Абдулла. Для сердца легко, старшина, душа радуется.

Буранбай. Для здоровья больно хорошо; сейчас тебя на еду потянет... Айда, Мансурка, поезжай. Карауль хорошенько, и если там что — сейчас лови, а мы приедем суд чинить.

Мансурка. Ладно... *(Уходит.)*

Буранбай. Вот мы и пошли...

Абдулла. Пошли, Буранбай, пошли. В добрый час.

Вбегает дудочник Биргале.

Сцена шестая

Буранбай, Абдулла, Биргале.

Биргале. Эй, старшина, постой-ка маленько.

Буранбай. Вот, Абдулла, жениться не дадут. То бабы, то еще кто-нибудь.

Абдулла. Гони его по шее. Самый пустой человек, одно слово — дудочник.

Буранбай *(к Биргале)*. А если я тебя по шее, что скажешь?

Биргале *(озадачен)*. Ишь ты. Не в час попал. Ты, видно, сегодня сердитый. Я к тебе и не пошел бы, да Мансурка повстречался, говорит, хозяин у нас жениться задумал, страсть, говорит, теперь добрый, чего хочешь проси, отказу не будет.

Буранбай. Это он верно: вот Абдулкину девку беру Так добрый, говорят?

Биргале. Беда, говорит, добрый. Как сам женится, так и меня женит.

Абдулла. Гони ты его. Какой с ним разговор может быть, больно хитрый человек.

Биргале. Ты его не слушай, старшина. Мы с Абдулкой маленько не поладили, вот он с той поры и сердит на меня...

Абдулла. Гони ты его...

Буранбай. Стой. Сказывай, Биргале, в чем у вас дело? До смерти люблю послушать, где там поругались, или вот драку смотреть.

Биргале. Да чего, старшина: пустое дело. Пировали мы на свадьбе у хромого Хамидки. Абдулла-то рядом со мной сидел, вот я ему и сделал уважение, начал его из рук кормить.

Буранбай. Худого тут нет. Известно, кого хочешь уважить, сейчас ему лучший кусок в рот суешь.

Биргале. Только возьми я да ниточкой и прихвати один кусок...

Абдулла *(в негодовании)*. Хай-хай-хай. Чуть-чуть не сдох, старшина, ей-богу.

Биргале. Что зря сказываешь. Поди, я свое дело знаю... Больно-то я ему, Буранбай, заглотнуть не дал, а сейчас и выдернул кусок назад.

Абдулла. Мошенник, дурак. Хай-хай-хай. То есть да-

вай мне сейчас пять рублей, не помирюсь я с ним, потому больно уж обидно при всем-то народе.

Буранбай. Погоди, Абдулла, я вас судить буду. Вы эту штуку еще раз передо мной проделайте, чтобы, значит, все видно было, как Биргале тебя обидел.

Биргале. Чего ж. Ладно, я хоть сейчас.

Абдулла. Э, что ты толкуешь, старшина, двух раз никакой человек не вытерпит. Гони ты его, говорю тебе, да пойдем, что ли.

Буранбай. Ну, так в другой раз как-нибудь на досуге приходи, Биргале.

Биргале. Да я к тебе не за этим, старшина, я по другому делу: калякать маленько с тобой хочу.

Буранбай. А если я с тобой больше говорить не желаю. Поговорил маленько, и будет с тебя. Ты думаешь, так вот старшина стоять с тобой будет и разговоры разговаривать. И какое может у тебя быть дело?

Абдулла. Верно, Буранбай, мудрый ты человек. Собака — дудочник, какое у него может быть дело. Только зря болтает.

Биргале. Больно, старшина, важное дело, беда надо. И уж, значит, не минуешь, чтобы к тебе не пойти.

Буранбай *(заинтригован)*. Постой-ка, Абдулла, что он, бездельник, скажет. Может, в народе что зря болтает про старшину. *(К Биргале.)* Так надо, говоришь?

Биргале. Одно слово — до зарезу.

Буранбай. Сказывай, что за важное дело такое...

Биргале. Жениться хочу, старшина.

Буранбай. Тьфу... *(Хочет идти.)*

Абдулла. Говорю, пустой человек, порядку не знает. За этим делом к мулле надо идти, а он к старшине...

Биргале *(удерживает старшину)*. Погоди, Буранбай, я порядок знаю: сначала девку надо высватать; за девкой к тебе и пришел.

Буранбай. И что это нынче со всеми стряслось. Жениться все захотели. Да еще, мудреное дело, к одной трое подговариваются. Вот что я тебе, Биргале, скажу: к работнице Мансурка присватался, да вот Абдулле девка нравится, а ты, выходит, третий...

Биргале. Чего, Буранбай, я не о Зарифе речь веду, отдай за меня дочку.

Буранбай. Дочку?..

Абдулла. Хай-хай. Смеяться он вздумал над тобой. За меня не отдал, а уже за него...

Биргале. Зачем смеяться, я дело говорю. Наш достаток, чего говорить, не больно велик, а калым дать можно, сколь-

ко ты запросишь, Буранбай. Скажешь, я незнатный человек,— зря скажешь. Ни одной свадьбы не пройдет, чтобы Биргале там не пел своих песен и на дудке не играл. Слава богу, сидим рядом со стариками, с муллой... Случится голод, скот падает, умрет богатый человек — кто песню сложит на память потомству? Все Биргале. Чем я тебе не зять?

Буранбай *(со вниманием слушает Биргале)*. Складно умеет сказать, мошенник. Если чего и соврет, так, ей-богу, не узнаешь, подумаешь — правда.

Абдулла. Чего он тебе наговорит, только слушай. А ты его лучше спроси, кто на почтенных людей обидные песни сочинять мастер? Слыхал стороной, что дудочники на эти дела мастера большие. Вот о чем ты его спроси, Буранбай.

Буранбай. Обидные песни?..

Биргале. Не слушай ты его, старшина — зря болтает. Дудочник, чего говорить, веселый человек, когда над другим любит подшутить, зато никто, старшина, не скажет, что дудочник — вор маленько, а вот Абдулка, беда, на подозрении. Говорю, первый мошенник, какой он тебе тесть.

Буранбай. Вот сразу видать, что и ты мошенник. Чего ты хвастаешься: не крал, мол? Проживи с Абдулкино, да тогда и говори. Не крал, так украдешь, человеку где ж уберечься, нельзя без того. Вот я велю хорошенько поглядывать за тобой... а то не крал, говорит...

Абдулла. Хай-хай. Умный ты человек, Буранбай, беда, умный. Он на тебя, Буранбай, пожалуй, много песен сочинил. Да его за это...

Буранбай. Это где же такой порядок водится, чтобы над старшиной смеяться?

Биргале. Э, чего ты, старшина, не верь ему, зло на меня имеет, врет все. Я к тебе со всем почтением.

Буранбай. Смеяться. Разве велеть его взять в правление? Поди, знаешь, чем тебя там угощать начнут?

Биргале. Да что ты, Буранбай. Напрасно, больно напрасно обижаешь. Послушай маленько, что я тебе скажу...

Буранбай. Тьфу, опять расстроился. Вот свяжешься с таким мошенником — один вред для здоровья. *(Уходит.)*

Абдулла *(за ним)*. Говорил тебе, чего с ним связываться, какой разговор с дудочником. Гони ты его всегда в шею... *(Уходит.)*

Сцена седьмая

Биргале один. Он чешет в затылке, снимает и опять надевает шапку. Затем плюется, хлопает шапкой оземь, грозится вслед ушедшему Буранбаю кулаком, вообще мимически выражает свою досаду и гнев.

Биргале *(ворчит вполголоса.)* Ну да ладно... Уважу я тебя, Буранбай... *(Громко кричит).* Бахтиар! Эй, Бахтиарка, поди-ка сюда поскорее...

Сцена восьмая.

Биргале и Бахтиар (входит).

Биргале. Ты слышал, у тебя отец Абдулкину девку перебивает?

Бахтиар. Небось, услышишь. Мать там с сестрой да работницей вой подняла, за версту слышно. Все подслушали, о чем отец с Абдуллой говорил. Ведь за невестой поехал, воровать хочет. Сдурел отец, больше ничего.

Биргале. Как же ты теперь?

Бахтиар. Да меня мать научила...

Биргале. Ну?

Бахтиар. Отец до смерти боится мертвецов и леших. Мать мертвецом вырядится, а я лешим. Когда отец поедет, мы в лесу и вылезем из кустов. Непременно отец вернется назад...

Биргале. Вернуться он, пожалуй, и вернется, только от своего не отступится — упрям больно. Днем съездит...

Бахтиар. Это верно, Биргале, днем съездит.

Биргале. И выходит, дрянь твое дело, Бахтиарка.

Бахтиар. Дрянь, Биргале больно дрянь. Ух, и зол я сегодня, сказать нельзя...

Бахтиар присаживается на корточки у стенки коша, отплевывается, поправляет шапку на голове. Биргале присаживается около.

Биргале. Значит, отступишься?

Бахтиар. Я-то?

Биргале. Ты-то.

Бахтиар. Да я, коли что, на отчаянность пойду. Я наделаю делов... *(Отплевывается.)*

Биргале. Что ж ты сделаешь?

Бахтиар. Да я уж сделаю... *(Отплевывается.)*

Биргале. Ничего ты не сделаешь, потому — сделать тебе нечего.

Бахтиар *(вскакивает).* Да я... *(Срывает с головы шапку.)* Да я тут... *(Хлопает шапкой оземь.)* Вот лягу и буду лежать...

Биргале. Ай-яй, и дурак же ты, Бахтиарка. А толку что? Горю-то можно бы пособить, да только не так.

Бахтиар. А как?

Биргале *(с ударением).* Коней надо седлать, вот как. Башка... думай...

Бахтиар. Ага...

Биргале. Перекрасть, говорю, надобно девку. Пока они там у муллы сидят, пока что — мы вперед поспеем... Понимаешь?

Бахтиар. Как не понять. Спроворить это дело очень можно... *(Поднимает шапку, отряхивает ее)*. Только изобьет меня отец...

Биргале. Изобьет. Это и я скажу, что изобьет. Бить будет сильно... похвораешь маленько.

Бахтиар *(отплевывается)*. Его вот больше некому драть, так он и забыл, каково это сладко. Э, пускай дерет, Биргале. Все равно — пускай дерет, а уж девку я у них из-под носу украду.

Биргале. У башкир, Бахтиарка, молодцы друг друга богатырями зовут, не сойди за бабу. Не уступай, и больше никаких.

Бахтиар. Баба, говоришь... Айда, Биргале, скачи со мной — увидишь, как я это дело спроворю. Я тебе покажу, какой я баба...

Биргале *(бьет по плечу Бахтиара)*. Айда. Для приятелей можно.

Бахтиар. Айда.

Биргале. Айда. *(Убегают.)*

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Небольшая поляна средь гор в лесу. Кругом кусты. Поодаль от других (сбоку на авансцене) одиноко стоит избенка Абдуллы, представляющая подобие крестьянской черной бани: окошек нет, вырублена лишь одна дверь. Крыша отсутствует; потолок завален землею, которая поросла бурьяном. Против входа очаг, в очаге огонь. К концу действия совсем темно. За горами догорает заря. Издалека доносятся звуки курая (свирели), конское ржание, ближе — фырканье пасущихся лошадей, позвякиванье их колокольчиков, лай собак.

Сцена первая

Фахарница, Ганьемал и Фатима (сидят у очага некоторое время молча).

Фахарница. Ночь совсем, а Абдулки все нет и нет.

Ганьемал. Сиди целый день голодом. С утра последнюю баранину съели. И не подумает, собака этакий, о женах. Плохо нам, Фахарница, у Абдулки в женах жить.

Фахарница. И не говори. Плохо, Ганьемал, плохо.

Ганьемал. Ни скота, ни хозяйства — ничего. Только сиди да карауль у него девку. Эй, Фатима, хоть бы тебя отец

скорее продал. Мать у тебя умерла, так только зря ты здесь путаешься.

Фахарница. Да на твоей свадьбе хоть наелись бы всласть, отвели бы душу.

Фатима. Ну что ж? Недолго теперь, поди, скоро продаст.

Небольшое молчание.

Ганьемал. И Сарысясь у нас запропала. Уж не сбежала ли старуха?

Фахарница. И, что ты, Ганьемал. Куда ей деться? Так где-нибудь шатается.

Ганьемал. А я так вот того и гляди сбегу.

Фахарница. Что ты? От мужа-то?

Ганьемал. Известно, не закон, а только с голоду да побоев и не то сделаешь.

Фахарница. Это верно.

Ганьемал. А, храни аллах, девку не убережем, что с нами Абдулка сделает?

Фахарница. Чего тут — изувечит.

Ганьемал. Не то и совсем убьет. Ну, я спать пошла.

Фахарница. И я пойду. А ты, Фатима, погляди за самоваром. Может, и отец вернется, чай будет пить.

Фатима. Ладно, я посижу.

Фахарница. А если Сарысясь прибежит да принесет чего-нибудь поесть, кликни нас: есть больно хочется.

Ганьемал. Да смотри, если кто из чужих парней, кричи — мы выскочим, не дадим тебя.

Фатима. Хорошо.

Ганьемал и Фахарница уходят в избу.

Сцена вторая

Фатима (одна) поет певуче, протяжно.

У девицы, имеющей мать,
Рот всегда набит.
У сиротки лишь слез
Глаза полны одни.
Я гляжу по горам, по долам
Все вокруг цветы...
Лучше всех парней Бахтиар,
Старшинский сын.
Ах, продаст меня скоро отец.
Хорошо дружку,
Да не быть тому. Счастья
Нет как нет совсем.

Сцена третья

Фатима и Мансурка (поспешно входит). Фатима вскакивает и закрывает лицо.

Мансурка. Эй, девка, где у вас бабы-то? *(Фатима молчит.)* Э, чего-то... ничего, сказывай. Известно, какой разговор с тобою, девкой, да дело такое... нельзя ведь — закон. Коли за невестой поехали, воровать надо... чего тут, воровать тебя будем...

Фатима *(разражаясь ревом)*. Ой, мама, ой, мама...

Сцена четвертая

Фатима, Мансурка и Ганьемал с Фахарницей, как угорелые, завязнув в двери, выскакивают из избенки, хватают Фатиму и утаскивают ее в избу, захлопнув за собой дверь.

Сцена пятая

Мансурка (один).

Мансурка *(издает возглас изумления)*. Ой, пурмой, ай-яй, видно, часто у Абдулки девку воруют. Боятся бабы, думают, и я воровать. И вот калякать маленько надо, а как станешь говорить, когда все разбежались. *(Подходит к двери.)* Эй, бабы, чего вы... Не я собрался девку-то воровать, хозяин купил ее у Абдулки. А еще велел хозяин: скажи, говорит, Мансурка, Абдулкиным бабам, чтобы самовар ставили и барана варили, а девку велел запереть. Я гляжу, самовар у вас совсем готов, так айда барана скорее варите. Эй, бабы, говорю: Абдулка со старшиной едут, и ежели что не в порядке, сейчас они вас бить примутся. Ну, а я пойду, в кусты лягу. Нельзя ведь, как, значит, хозяин велел... и ежели, говорит, что — сейчас лови и без разговору... *(Уходит.)*

Сцена шестая

Биргале и Бахтиар (который наряжен лешим) крадутся. Темнеет.

Бахтиар. Никого не видать.

Биргале. Видно, в избе. Гляди, и самовар поставлен. Кто-нибудь да есть.

Бахтиар. Поглядеть в избе. *(Подходит к двери и хочет отворить ее. Дверь поддается; в щели показывается палка, которая и ударяет Бахтиара по лбу; Бахтиар отскакивает.)* Ой, пурмой, там кто-то есть, Биргале.

Биргале. Вижу, что есть, коли дерутся.

Бахтиар. Дерутся... то есть злой я теперь.

Биргале. Постой. Это, видно, Сарысясь. Эй, Сарысясь,

что ты дерешься? Хорошо, что ли? Не разобрав дело, да прямо за палку.

Бахтиар. Послушай ты меня, Биргале, какой разговор с бабами, что они понимают? А коли дерутся... Злой я сегодня, Биргале, страсть злой... Айда, помогай. Думаешь, я палки испугался... *(Налегают на дверь и врываются в избу, где начинается возня и визг баб.)*

Сцена седьмая

Ганьемал и Фахарница выбегают из избы и прячутся в кусты.

Сцена восьмая

Из избы выходят Биргале и Бахтиар, который несет плачущую Фатиму.

Бахтиар. Не реви, Фатима, не реви. Это я — Бахтиар.

Фатима смолкает.

Биргале. Ну, айда, скачи одной дорогой, а я другою, чтобы приметно не было.

Бахтиар. Айда, Биргале, айда. *(Убегают в разные стороны.)*

Сцена девятая

Мансурка выбегает из кустов и с диким криком «хай» через сцену пускается догонять Бахтиара.

Сцена десятая

Ганьемал и Фахарница выбегают из кустов.

Ганьемал. Украли девку-то. Ну, я теперь назад к отцу-матери сбегу.

Фахарница. Сбежишь?

Ганьемал. Сейчас сбегу. Неужто здесь оставаться? Убьет нас Абдулка.

Фахарница. Убьет, непременно убьет.

Ганьемал. То-то вот и есть.

Фахарница. А я-то как?

Ганьемал. Ты как хочешь.

Фахарница. Нет, и я сбегу. Сбежать страшно, а оставаться еще страшнее.

Ганьемал. Вестимо. Пусть Сарысясь за все отвечает. Пускай только домой вернется. Абдулка ей покажет.

Фахарница. И то. Шатается где-то старуха, а мы одни в ответе.

Ганьемал. Я и самовар с собой возьму и все другое, что мое.

Фахарница. И я свое заберу.

Ганьемал. Хватай скорей, Фахарница, побежим.

Фахарница. Побежим, Ганьемал, побежим. *(Растаскивают немногочисленное имущество Абдуллы и исчезают.)*

Сцена одиннадцатая

Входят Буранбай и Абдулла. Совсем темнеет.

Буранбай. Успокой ты меня, пожалуйста, Абдулла. Так ты думаешь, в лесу нам только так показалось — мертвец-то?

Абдулла. Верно говорю, старшина, верно. Ночью иногда мерещится. Сам видел, как я гаркнул — все и пропало. Я заговор знаю.

Буранбай. Как я только в седле усидел...

Абдулла. А ты не думай, Буранбай, не думай.

Буранбай. Не думай, не думай... да коли думается... Ну, давай есть будем, веселее станет.

Абдулла. Сейчас, старшина, сейчас. Эй, бабы, где вы тут? Вот идут никак...

Сцена двенадцатая

Буранбай, Абдулла и Мансурка (несет Фатиму)

Абдулла. Эге, да это Мансурка.

Мансурка. Не знай. Я это, я.

Буранбай. Это ты что же припер?

Мансурка. Не знай. Девку Абдулкину отнял. Поймал я тут одного, украл было. Тут я его к дереву пока привязал.

Буранбай. И отлично сделал.

Абдулла *(с негодованием)*. Ну, не говорил я тебе, Буранбай. Из дому нельзя отлучиться... Сказывал, пять раз ее у меня воровали. Вот и теперь не пошли мы вперед Мансурку, отняли бы девку...

Буранбай. Молчи, Абдулла. Запри-ка девку в избу, а ты, Мансурка, тащи сюда молодца, я над ним суд буду чинить.

Абдулла *(вместе с Мансуркой)*. Запру, запру, Буранбай.

Мансурка *(вместе с Абдуллой)*. Ладно.

Абдулла запирает Фатиму. Мансурка приводит на аркане Бахтиара.

Сцена тринадцатая

Буранбай, Абдулла, Мансурка и Бахтиар (на аркане).

Буранбай *(Бахтиар вдалеке еще)*. Чей такой?

Мансурка. Не знай. Ай-ай сердитый человек, так без аркана и не дался. Сам айда смотри, не разберешь.

Буранбай. Ну-ка, Абдулла, поближе его... гляди, кто такой?..

Абдулла. Разберем, старшина, разберем... Ай, алла... Много я прожил на свете, а такого еще не видал. Шайтан, чисто шайтан.

Буранбай *(перепуган, пятится)*. Ай, алла. Бисмилля... Пусти его, Мансурка, пусти. Оборотень это, оборотень... шайтан...

Мансурка *(тоже пятится и отпускает Бахтиара)*. Не знай. Сказывают, есть такие.

Абдулла. Эй, Буранбай, что с ума сходить — ряженый это. *(Хочет удержать Бахтиара. Тот сильным толчком отбрасывает его и убегает.)*

Сцена четырнадцатая

Буранбай, Абдулла, Мансурка.

Буранбай. Уф, уф... Тьфу, тьфу...

Абдулла. Э, старшина, и трус ты. Говорю — ряженый.

Буранбай. Ряженый, ряженый, а ну как не ряженый, а сам леший. Уморить ты меня собрался, мошенник.

Абдулла. Э, вздор болтаешь, Буранбай. *(С сожалением.)* Зачем ты его отпустил?.. Вот все бы и узнал. Э... эх...

Буранбай. Зачем отпустил, зачем отпустил... Я этак когда-нибудь здоровья совсем лишусь: шагу нельзя стало ступить — то мертвецы, то лешие... Тьфу... тьфу... Давай, что ли, есть будем, совсем я расстроился.

Абдулла. Чего? Сейчас, сейчас, старшина. Эй, бабы, где вы тут?.. А напрасно ты его отпустил, совсем напрасно... Эй, бабы, где вы тут? *(Никто не откликается.)* Что за диво. Эй, бабы, живее, что ли, пошевеливайся. *(Молчание.)* Нет никого. Мансурка, где бабы?

Мансурка. Не знай. Сейчас тут были.

Абдулла *(заглядывает в избу)*. Буй, буй, буй. И баб нет, и в избе-то точно вымели, ничего нет — чисто.

Буранбай. Да у тебя и было ли что?

Абдулла. Ну вот, самовар был, ей-богу, был. Посуда была и платьишко там, все как следует.

Буранбай. Куда же все это подевалось?

Абдулла *(в недоумении)*. Удивленье. Мансурка, да ты видел баб-то?

Мансурка. Говорю, тут были, все тут были. И самовар стоял совсем готовый, кипел... Сейчас все тут было.

Абдулла. Хай. Ну, значит, воры были, больше ничего не придумаешь.

Буранбай. Ну, ладно, шарабару воры стянули, а бабы куда подевались?

Абдулла. Удивленье.

Мансурка. Не знай.

Буранбай *(с негодованием)*. А! И дернуло меня, Абдулла, с тобой связаться. Одного страху что примешь. Да как же и не страсть. Целый дом пропал — здорово живешь... Самовар горячий с кипятком и углями... да это ночью-то, да еще лес под боком — так тебя дрожь и пронимает. Видимое дело, леший у тебя тут орудует. Тьфу. Только бы вот поесть, успокоиться, ни минуты я у тебя не останусь.

Абдулла. И ничего тут не придумаешь, как это оно случилось. Видно, нечего делать, старшина, айда, так и не поевши назад поезжай. Не больно ведь далеко, поди, утерпишь как-нибудь.

Буранбай. Да ты что, смеяться, что ли, надо мной? Человек ослабел, перепугался, а он — не поевши. Уморить ты меня собираешься?

Абдулла. Хай-хай. Как оно не ладно вышло. Не в час, Буранбай, выехали, не в час. Бывает так-то.

Буранбай. А я что говорил? Куда тебя, лешего, несло? Говорил — обождать надо.

Абдулла. Ну, не беда, Буранбай. Айда к соседу Тулунгухе, у него и поедим.

Буранбай. Вот свяжешься с этаким мошенником... не поевши, говорит... Эй, Мансурка, сиди здесь, карауль девку, и если, значит, леший опять шалить али другой кто, сейчас ты его дубиной...

Мансурка. Ладно. Ступай знай.

Буранбай и Абдулла уходят.

Сцена пятнадцатая

Мансурка подсаживается к огню. Биргале и Бахтиар вылезают из кустов сбоку.

Биргале *(в негодовании)*. Жених, такого дела не мог устроить. Тебе бы только у матери сахар воровать, а он туда же — за невестой поехал. Что стоишь дураком? Ты хоть заревел бы, что ли! Плакса ты этакий, паршивая девка, баба. Не надо мне такого друга, знаться я больше с тобой не хочу.

Бахтиар *(распоясывается, снимает кушак)*. Не знайся, больно надо. *(Ощупывает себя, гримасничает.)* Поди-ка,

сам попробуй. Сунься, говорю, к Мансурке — он те посчитает ребра. Ох, ох... *(Ощупывает себя)*. Лаяться легко, а ты сам выкради, да и тогда ругайся. Ты ли еще не молодец — выкради, говорю.

Биргале. А что ты думаешь, и выкраду.

Бахтиар. Ой ли? Ну-ка, иди.

Биргале. Стой здесь в кустах, а кликну — беги.

Бахтиар. Ладно, ладно, не уйду: очень мне любопытно поглядеть, как тебя Мансурка трепать начнет: хоть не меня одного, не так обидно. *(Уходит в кусты.)*

Сцена шестнадцатая

Мансурка и Биргале (приближается осторожно).

Мансурка. Не подходи. Не то я тебя тарарахну.

Биргале. Что ты с ума сходишь? Белены ты объелся, Мансурка? Али не узнал? Биргале я, дудочник.

Мансурка. Не знай. Теперь видать, что ты Биргале. Ты чего здесь, дудочник?

Биргале. А ты чего тут?

Мансурка. Не знай. А ты разве ничего не слыхал?

Биргале. Слыхал, что ты маленько дурак, а больше ничего не слыхал.

Мансурка. Не знай. Тут много чего случилось. Вот у Абдулки вся шарабара пропала и бабы. Сейчас вот все тут было, и, глядь — ничего и нету.

Биргале *(с удивлением)*. Ну-у?..

Мансурка. А я лешего поймал.

Биргале. Да что ты...

Мансурка. Не знай. По мне, будто Бахтиарка, померещилось, а хозяин говорит — леший. Хозяину лучше знать, надо быть — леший. И вот страшно тебе одному. Ты, айда, посиди со мной, Биргале, все веселее. Вместе покараулим девку.

Биргале. Стараешься?

Мансурка. Не знай. Нельзя ведь, угождать надо хозяину: как, говорит, сам женюсь, так и тебя женю.

Биргале. Хай. И дурак ты, Мансурка. Обманет тебя старшина: сам женится, а тебя не женит.

Мансурка. Не знай. Зачем обманет, уговор ведь?

Биргале. Толкуй себе — уговор. У меня вот тоже с ним уговор был, чтобы он за меня дочку выдал. Какой, с глаз прогнал, да еще чуть-чуть не побил. Такой он человек: и не надо, а обманет.

Мансурка. Не знай. Ты, поди, чего-нибудь ему не потрафил, известно, рассердился, а я, значит, стараюсь.

Биргале. То-то и удивительно, ты к нему со всем усердием, а он тебя обманывает, он Зарифу Абдулке обещал.

Мансурка. Зачем врешь? Мое сердце горячее, будешь дразниться — нехорошо будет.

Биргале. Хай, чудак. Поди сам послушай, о чем у старшины с Абдулкой речь идет. Сейчас я мимо шел, все слышал. Известно, для тестя он всякое уважение сделает.

Мансурка *(теряется)*. Не знай. Сделает, как не сделать — тесть ведь. Нехорошо только так делать. Надо делать, как говоришь. Ты вот чего, дудочник, посиди здесь маленько, покарауль девку, а я пойду послушаю. Обидно ведь, страсть обидно.

Биргале. Как не обидно. Ну, ты пойди слушай, а я своей дорогой пойду. Больно мне надо Буранбаеву невесту караулить.

Мансурка. Э, чего ты. Для меня... будь другом... я живо.

Биргале. Да ты скорее, когда так.

Мансурка. Не знай. Чего, я живо... А если кто, так ты дубиной...

Биргале. Ладно...

Мансурка уходит, передав дубину Биргале.

Сцена семнадцатая

Биргале и Бахтиар (выбегает из кустов).

Биргале. Эй, Бахтиарка.

Бахтиар. Я здесь, Биргале, здесь. Ну и плут же ты, прямо мошенник.

Биргале. Хватай девчонку — скачи.

Бахтиар. Ладно. *(Вбегает в избу и вытаскивает Фатиму.)*

Биргале. Живее ты... Никак Мансурка воротился... беги.

Бахтиар. Я сюда, ты туда, Биргале, айда.

Бахтиар убегает.

Сцена восемнадцатая

Биргале и Сарысясь (выбегает из кустов). Наталкиваются друг на друга.

Биргале. Ты кто... ты чего тут?

Сарысясь. Я кто? Я — Сарысясь, Абдулкина старшая баба. Аль не узнал? Ой, как ты меня, дудочник, напугал: я думала, Абдулка вернулся.

Биргале. Тьфу. Перепугала, проклятая. Чего ты здесь путаешься?

Сарысясь. А ты чего? Уж не воровать ли ты девку?

Биргале. Чего, украли уж.

Сарысясь. Батюшки...

Биргале. Молчи. Старшина велел.

Сарысясь. Врешь?

Биргале. Ей-богу. Беда, чудит Буранбай. Напились с Абдулкой пьяными и поспорили: хочешь, говорит, Абдулка, все у тебя до нитки куплю? И купил. Гляди-ка, все увезли: и девку, и баб, и шарабару, а завтра за избой приедут, разбирать станут. Только ты и осталась.

Сарысясь. Врешь, да нешто баб можно?

Биргале. Чего — старшина — ему все можно... Где ты пропадала? Ищем тебя, ищем... айда, полезай в избу.

Сарысясь. Зачем в избу?

Биргале. Буранбай тебя, как старшую, сам повезет.

Сарысясь. Да я и сама побегу, упрямиться не стану.

Биргале. Выкрадет тебя старшина, точно самую настоящую невесту. Беда, чудит. Известно, пьяный человек. Ну, шевелись.

Сарысясь. Вот счастье привалило. И отъемся я у старшины...

Биргале. Чего говорить. Попотчует он тебя... ну, полезай.

Сарысясь *(уходя в избу)*. Сейчас красть будет?

Биргале. Сейчас, сейчас. *(В дверь.)* Да ты смотри и хорошенько закрывай лицо и молчи. Бить станет, и то не открывайся: беда, любит старшина скромных.

Сцена девятнадцатая

Биргале и Мансурка (возвращается).

Биргале. Ну, что слышал?

Мансурка. Долго слушал, ничего не слышал. Молчат. Жрут. Кости, видно, обгладывают, только треск идет. Известно, какой при еде разговор.

Биргале. Напрасно ходил. Сказываю, своими ушами слышал, значит, будто ты сам слышал.

Мансурка. Не знай. Только я так думать начинаю, что ты обмануть меня хочешь, с хозяином поссорить. Я вот пойду, погляжу, здесь ли девка. Больно чего-то у тебя здесь с кем-то разговор был. *(Заглядывает в избу.)* Пока тут. Страсть перепугали девку, в самый угол забилась...

Биргале *(встает)*. Э, собака ты, Мансурка, больше ничего. Я тебе услужил, а ты меня облаял.

Мансурка. Не знай. Работницкое ведь дело, за все ответишь, боязно ведь.

Биргале. Ну, прощай.

Мансурка. Чего ж, прощай.

Биргале поспешно уходит.

Сцена двадцатая

Мансурка, Буранбай и Абдулла.

Буранбай. Мансурка, с каким лешим ты здесь разговоры ведешь?

Мансурка. Не знай. Биргале-дудочник подходил.

Абдулла *(оживленно)*. Э, Буранбай, теперь я догадался, куда мое имение пропало: какой там леший — это Биргале его стянул, ей-богу.

Буранбай. Может, и лешим-то он вырядился?

Абдулла. Он, непременно он.

Буранбай. Вот мошенник. Людей пугает, а потом раскрал у Абдулки все имущество, весь дом разворовал, а я, говорит, не крал ничего. Мансурка, что ты его, разбойника, не держал?

Мансурка. Не знай. Ты бы раньше сказал, я и удержал бы...

Буранбай. А что он сказывал?

Мансурка. Не знай. Сказывал, что хоть ты и старшина, а мошенник порядочный и обманщик большой.

Буранбай. Я и говорю — бродяга.

Абдулла. Хай-хай, отчаянный нынче народ.

Мансурка. Не знай. То-то я и не поверил: зачем, говорю, хозяин меня обманет.

Буранбай. И что ты его не держал? Я бы ему показал, как людей пугать. Тьфу. Вот мошенник. Ну, айда, Мансурка, тащи девку — поедем. Да нет, погоди, я сам возьму.

Абдулла. Бери сам, старшина, бери знай. В счастливый час... Так будешь доволен, так доволен... А когда завтра приезжать? Прискачем с народом и невесту у тебя искать будем — порядок известный.

Буранбай. Успеешь. Так вот тебе завтра и свадьба. У тебя еда плохая, поди, невеста — кожа да кости, пускай у меня день-другой на хорошей пище поправляется.

Абдулла. Ладно, Буранбай, ладно. Я, когда так, завтра один к тебе понаведаюсь, все ли, значит, благополучно...

Буранбай. Запру ее в отдельный кош, и пускай ест, а Мансурка стеречь будет. *(Входит в избу и тащит Сарысясь.)*

А б д у л л а. Чего, пускай маленько поправляется... Счастливо, Буранбай, счастливо. В добрый час. Так будешь доволен, так доволен...

Все уходят.

Сцена двадцать первая

А б д у л л а (один) возвращается и стоит некоторое время в приятном раздумье, с хитрой улыбкой на лице.

А б д у л л а. Алла, алла. Надо маленько волос из бороды щипать, не спим ли мы. Нет, слава богу, жив-здоров. Хай-хай-хай. Удивится народ, какое Абдулка дело обделал... *(Пауза.)* Только вот куда у меня бабы подевались? Может, старшины испугались, подумали, что имение мое едет описывать. Они, видно, его и растащили. Вот дуры-то. Эй, бабы, выходи. Нынче ай-яй добрый, никого бить не буду... *(Молчание.)* Не верят, думают — обманываю. Эй, бабы... Сарысясь. Теперь я после старшины первый человек в волости, больно важный стану господин. Куплю себе бешмет, шапку... каждый день барана будем есть, кумыс, водку пить. Почет мне будет от людей. *(Молчание.)* Не верят. Да и где поверить, никакой нет возможности поверить. Эй, бабы, я говорю, говорю, да и терпение потеряю... Возьму вот завтра всех вас и выгоню, а куплю себе новых баб. *(Молчание.)* Экие проклятые бабы. Ну, в последний раз кричу, а там пойду спать и избу запру, ночуйте, где хотите. Эй, бабы... *(Кричит во всю глотку.)* Эй, Сарысясь, Сарысясь...

Только горное эхо в лесу, в горах отвечает А б д у л л е: «Сарысясь, Сарысясь...»

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Декорация второй картины первого действия. Раннее утро. У одного из кошей сидит настороже с дубиной в руках М а н с у р к а. Появляется А б д у л л а в зеленом халате старшины, а так как полы этого одеяния, по причине малого роста Абдуллы, должны волочиться по земле, то они заправлены у него за кушак. Вид у Абдуллы крайне деловой и озабоченный.

Сцена первая

М а н с у р к а и А б д у л л а.

А б д у л л а. Ну, как, Мансурка, все ли благополучно? Спит старшина?

М а н с у р к а. Не знай. Спит, поди.

А б д у л л а. Ну, пускай спит. Значит, доволен... да чего. Такая девка, такая девка... А ты чего тут сидишь?

Мансурка. Не знай. Как, ведь... девку твою караулю. Вот тут в коше сидит. Как вчера от тебя вернулись, запер ее хозяин: сиди, говорит, Мансурка, карауль ее. Всю ночь сидел, беда, приустал. Рабочий ведь человек, спать маленько надо.

Абдулла. Ага. Ну?

Мансурка. Ну, карауль, говорит, ее и чтобы ей еда была, корми, говорит, ее.

Абдулла. Ест?

Мансурка. Страсть.

Абдулла. Значит, не боится, без разговору, значит?

Мансурка. Не знай. Видно, не боится, подавай только.

Абдулла. Ест?

Мансурка. Ай-яй, сильно ест, конца-краю нет. Ест, ест — передохнет и опять есть примется.

Абдулла. Ишь ты. С чего ж это с ней такое... ест-то она больно много? Надо быть, с перепугу.

Мансурка. Не знай. Видно, с перепугу.

Абдулла. Ну, ничего, пускай поправляется. Вот только бы не объелась... Мансурка, ты, смотри, ей больше ничего не давай покуда.

Мансурка. Ладно.

Абдулла. Пускай передохнет, говорю, хорошенько.

Мансурка. Ладно, ладно.

Абдулла *(оглядывается)*. Постой-ка, Мансурка, никак мулла с народом.

Мансурка. Не знай. Выходит, что мулла, муллу сразу видать.

Абдулла. Ай-яй, рано пировать собрались.

Сцена вторая

Абдулла, Мансурка, мулла и народ.

Абдулла. Здравствуй, мулла. Вот мы тут с Мансуркой маленько калякаем, рано пировать ты пришел: спит еще старшина.

Мулла. Пускай пока спит. Наперед мы тебя спрашивать станем, а ты отвечай.

Абдулла. И спрашивать не о чем: дело накрепко сделано... вот видишь халат... задатку взял, и девку старшина выкрал... все как следует, мулла...

Мулла. Какая тут свадьба. Мы не о свадьбе. Обижается народ: сказывают, ты, мол, колдун, а старшина с ума сошел.

Народ. Верно, верно.

Абдулла. По правде сказать маленько-то и я за ним замечаю, а чтобы, значит, совсем, так это ты, пожалуй, напрасно, мулла. А что без колдовства у нас вчера не обошлось,

так это я и сам скажу. Страсть одна. Главное — бабы пропали, все до одной, и не знаешь теперь, на кого жаловаться. Я так думаю, что, пожалуй, Биргале тут работал. Зачем на меня говоришь? Ведь Мансурка, поди, тут был, спроси его...

Мансурка. Не знай. Как ведь... вот сейчас тут был самовар, чай собирались пить... и, значит, так с углями и кипятком... и бабы, и шарабара... все унесло...

Народ. Хай-хай-хай.

Абдулла. То-то вот и есть.

Мулла. Сразу видать, что вы вчера все трое пьяны были, и стало вам казаться разное такое. Никуда твои бабы не подевались, а сами убегли; жалуются, житья им у тебя не стало. кормить их — не кормишь, а бить — бьешь сильно. А тут вчера, сказывают, понаехали вы с Буранбаем, ловить стали. Две убегли, а девку и Сарысясь изловили и увезли. Девку там еще ничего, а бабу зачем увезли? На это закона нет.

Народ. Хай-хай-хай. На это закона нет. Верно.

Абдулла. Девку увезли, мулла, увезли девку, а баб не трогали, Две, говоришь, сами убежали, а Сарысясь... вот что я тебе скажу, мулла: непременно ее Биргале увез. Так, для смеху, зло на меня имеет.

Мулла. Какой тут Биргале. Не сговоришь с тобой, надо лучше Буранбая спросить.

Народ. Спрашивай, мулла, старшину, его надо спросить.

Мулла *(стучит своей тростью в дверцы коша)*. Эй, старшина, проснись, да выходи , что ли, дело до тебя есть.

Сцена третья

Те же и Буранбай (выходит из коша). Вид у него заспанный и недовольный.

Буранбай. Это ты, мулла, то-то я слышу, будто это ты. Будь здоров, будь здоров, заходи, гостем будешь.

Мулла. Ну, а ты, старшина, здоров ли? Что-то у тебя вид больно дикий... Спрошу я тебя вот о чем...

Буранбай. Сделай ты мне такое одолжение, мулла, вперед я тебя спрошу об одном деле.

Мулла. Говори, пожалуйста.

Буранбай. Поглядел бы ты у себя в книгах, как там насчет баб. Можно ли им, значит, из могилок или не полагается?

Мулла. А ведь, пожалуй, правда — Буранбай с ума сошел.

Народ. Чего, больно нескладно говорит, сразу и не сообразишь, что к чему. Видимое дело, повредился старшина.

Абдулла. Маленько есть.

Мансурка. Не знай.

М у л л а. Вот что, Буранбай, ты у нас с ума сошел, пожалуй, вязать тебя придется.

Б у р а н б а й. А что ты думаешь, и очень просто... ничего нет мудреного сойти с ума. Если бы ты, мулла, видел, что с нами ночью творилось... Как только сами уцелели, вот чему удивляться надо...

Н а р о д. Хай-хай-хай...

М у л л а. Мы и то всем народом на тебя удивляемся, что только с тобой стряслось. Был ты у нас человек почтенный, богобоязненный, не пил ничего, а тут связался с Абдуллой, напились, натворили такого, что и сами теперь не разберетесь. Ну, скажи ты на милость, на что тебе Абдулкина баба понадобилась? Смущается народ, нехорошо делаешь.

Б у р а н б а й. Баба Абдулкина, какая баба?

М у л л а. А Сарысясь? И баба-то какая — гулящая, по всей волости ее знают... тьфу...

Н а р о д. Верно сказывает мулла, верно.

Б у р а н б а й. Постой-ка, мулла. Сделай мне такое одолжение — помолчи. Какое ты слово сказал, да еще при народе: старшина чужую бабу увез. Девку у Абдулки я увез, я и не отпираюсь. Вот она тут у меня заперта, а бабу не увозил. С ума ты сходишь, мулла. Смотри, айда, все коши смотри, где у меня Абдулкина баба...

М у л л а. Чего ты, Буранбай, не я сказываю, народ обижается. А я почем знаю, может, и наврали в народе.

Б у р а н б а й. Пожалуйста, гляди, мулла, все гляди. Сердце не терпит, зачем зря на человека болтать.

М у л л а. Неловко будто при народе баб глядеть.

Б у р а н б а й. Пускай и народ смотрит, дело такое, душа моя горячая. Эй, Мансурка, тащи сюда Абдулкину девку.

М а н с у р к а. Ладно. *(Уходит в кош.)*

Н а р о д. Ай-яй, горячий человек старшина. Оправдаться хочет. Известно, именитый человек — обидно.

М а н с у р к а вытаскивает С а р ы с я с ь.

Б у р а н б а й. Ну, вот гляди, мулла.

Общий крик изумления.

Н а р о д. Хай-хай-хай, буй-буй. Да это она и есть — Сарысясь, сразу видать — Сарысясь.

Б у р а н б а й. Как, Сарысясь? Так это она и есть?

А б д у л л а. Чего, сказывал, дрянь бабенка.

С а р ы с я с ь при общем смехе убегает.

М у л л а *(плюется)*. Какой ты после этого старшина. Не старшина ты, а дурак. Смеешься ты, как видно, над нами Буранбай.

Буранбай, Абдулла, Мансурка стоят неподвижно и смотрят друг на друга.

Абдулла. Сказывал, не в час поехали.

Мансурка. Не знай.

Буранбай. Вот который человек и в Мекке, и в Медине бывал, ученый человек, благочестивый, самый мудрый человек, заставь его разобрать, в чем тут дело — не разберет.

Мулла. Не иначе, Буранбай, после такого твоего дела придется другого старшину выбирать...

Народ. Хай-хай-хай. Чего тут. Видимое дело, придется другого выбирать...

Общее движение.

Сцена четвертая

Те же и Биргале.

Биргале. Эй, стой, не кричи. Дай сказать слово.

Народ. Пускай Биргале говорит.

Биргале. Старый ты человек, мулла, и очень мудрый, весьма начитанный в книгах, а не мог смекнуть сразу, в чем тут дело. Старшина сына женит на Абдулкиной девке, а что та и за свадьба, на которой не будет хорошей шутки. Я это увез и спрятал Сарысясь, чтобы посмеялся народ.

Народ. Ха-ха-ха. Молодчина этот дудочник. Всегда что-нибудь придумает; беда смышленый человек.

Мулла. Ну, Буранбай, любишь ты хорошую шутку, любишь; всех с толку сбил. Известно, чем больше наврут в народе перед свадьбой, тем благополучнее будет жизнь молодых. Так вот оно как: значит, ты сына женишь, а я ведь вчера тебя так понял, что ты сам жениться хочешь.

Буранбай. Сына, мулла, сына... и вот, мулла, что я еще тебе скажу: молодой человек этот дудочник, а хорошо его послушать; всегда скажет, как старик. Верно говорит, верно: сынишку, мулла, женю, сынишку. Человек молодой, время ведь, а я сам и не думал жениться...

Абдулла. Ой, пурмой. И плут ты, старшина, маленько. Ты сам хотел жениться...

Буранбай. И не думал, да тебе разве не все равно, калым по-старому.

Абдулла *(подумав)*. Наплевать, мне все равно. Только ты как там хочешь, а уж я от своего не отступлюсь — женюсь непременно.

Буранбай. Женишься? Мулла, погляди ты на него, мошенника... Да коли у старшины одна баба... вот мошенник... И никак тебе жениться нельзя, потому я работницу Мансурке обещал. Вот он, Мансурка-то.

Мансурка. Не знай. Как ведь, известно, обещал. Как сам, говорит, женюсь, так и тебя женю...

А б д у л л а. Что ты полкуешь, Буранбай, да коли у меня все бабы разбежались...

Б у р а н б а й. И вовсе не все. Сарысясь осталась. Чем тебе не жена: видная, дородная, из себя очень красивая.

Н а р о д. Ха-ха-ха...

Б у р а н б а й. И совсем незачем тебе жениться. Я так полагаю, что ты и воруешь оттого, что надо тебе денег бабу купить, ты и украдешь...

Н а р о д. Верно говорит старшина, верно...

Б у р а н б а й. И какие мы с тобой женихи. Ты плешивый да старый, я брюхатый и жирный. Не советую, Абдулла, больно не советую. Я вот пошутил только, что, мол, жениться хочу, так чего со мною за одну ночь сряслось: кругом тебя вешаются, топятся, шум, драки и чудеса разные, да еще обманули по всем статьям.

М у л л а. Верно сказывает старшина, верно. Пускай Абдулка остается при одной бабе...

А б д у л л а. Хай, ну коли ты шутил, и я, значит, пошутил.

Б у р а н б а й. Пускай Бахтиарка с Мансуркой женятся, а мы есть примемся. Вот удивительное дело, мулла, сегодня и вчера хлопот и беспокойства много было — так голод меня пронимает, вот точно тоска какая-то в брюхе; ешь-ешь, а все наесться нет возможности. Садись, садись, мулла, гостем будешь; садись, народ, пировать станем.

Н а р о д. Молодец, старшина, умеет слово сказать. Чего тут толковать, кто до еды не охотник.

Появляются ковры и кошмы, которые и расстилаются по траве. Садятся полукружием. В середине м у л л а со стариками, по бокам еще старики и кто попочетнее. Во втором ряду — кто победнее и молодежь. Выкатывают бочонок с кумысом, появляются чашки, которые и разбираются пирующими. Во время этого движения Б у р а н б а й отводит Б и р г а л е в сторону

Сцена пятая

Б у р а н б а й и Б и р г а л е (на авансцене)

Б у р а н б а й. Спасибо, Биргале, больно спасибо. Выручил маленько. Беда, умный ты человек.

Б и р г а л е. То-то вот и есть. Я к тебе, старшина, всей душой, а ты меня вчера понапрасну обругал.

Б у р а н б а й. Понапрасну, Биргале, совсем зря... Слушай, Биргале, смеялся маленько народ, а хорошо разве над старшиной смеяться. Уважения настоящего не будет. Так ты спой в мою честь песнь хвалебную, пока не перепился народ. Ты на это мастер, нечего тебя учить.

Биргале. Что ж мне не спеть. Спою. А отдашь за меня дочку?

Буранбай. Не старшина я, что ли? Угодишь — отдам.

Биргале. Ладно. Доволен останешься.

Биргале выходит в середину круга и берет несколько звуков на своем курае (свирели). Буранбай садится рядом с муллой на почетное место.

Народ. Эй вы, тише. Молчи. Биргале петь собирается. Сиди смирно.

Водворяется молчание.

Сцена шестая

Биргале *(сидя среди собрания, поет-импровизирует, предпосылая каждой строфе нечто вроде музыкальной интродукции на своей свирели)*. Кто не знает высокой горы Масим. Даже маленький ребенок, если спросить его об этом, протянет свою ручонку и скажет: «Вот она, поглядите, славная и высокая гора Масим». Если близко подойти к ней и взглянуть на ее вершину — шапка упадет с головы.

Народ *(шумно выражая свое удовольствие)*. Хай-хай-хай. Буй-буй. Нет песельника лучше Биргале. Больно складно поет.

Мулла. Хорошо поет. Но вот что занятно, к чему он речь ведет.

Биргале. Полдня надобно забраться на вершину. Далеко, ай-яй, далеко видно оттуда, и куда бы ни обратился взор — все будут горы да горы, одна другой выше, одна другой славнее, и нет им числа. Но всех их краше, всех выше, славнее всех — гора Масим. Нет ей равной во всем белом свете.

Народ. Хай-хай-хай. Буй-буй. Чего тут? Что правда, то правда...

Биргале. Как нет числа горам обширной Башкирии, так нет числа и ее населению. Был дерзкого ума человек, он пытался счесть. Мильон насчитал, другой насчитал, на третьем сбился, не смог сосчитать.

Народ. Хай-хай-хай... Буй-буй. Где же счесть? Пойди на полдень, пойди на закат — везде и всюду башкир. Сколько деревьев в дремучих башкирских лесах, столько и народу...

Биргале. Не мало славных и знатных средь такого множества людей. Слава о них далеко разносится средь гор и, как эхо, от одной скалы переносится к другой и третьей, наполняя собой самые глухие ущелья. Но обойди, обыщи всю башкирскую землю, нет мужа славнее старшины Буранбая.

Народ. Хай-хай-хай. Буй-буй. Именно то самое скажет

Биргале, что каждый думает. Чего, где еще такого найти... Не найдешь...

Биргале. Достоинства есть столь многочисленны, что их, пожалуй, и не перечесть. Кто добрее, благочестивее, гостеприимнее, наконец, кто может поспорить с Буранбаем по части самой строгой воздержанности? Никто. Нет мужа достойнее и славнее Буранбая...

Народ *(голоса слушателей сливаются в одном бурном реве одобрения)*. Хай-хай-хай... Буй-буй... Что правда, то правда: нет человека славнее нашего старшины Буранбая...

Все вскакивают со своих мест и поднимают крайне растроганного Буранбая на руки.

Буранбай *(с высоты поднявших его рук)*. Ну, чего тут. Ладно. Наше дело маленькое, живем помаленечку. *(Сильно повышает голос, желая перекричать общий гул.)* Эй, Биргале, подойти-ка сюда поближе. *(Биргале подходит.)* Слушай, народ, слушай и ты, мулла, пожалуйста, что я тебе скажу: душа моя горячая, сердце не терпит — свадьба так свадьба. Давай, мулла, переженим всех парней разом... Эй, слушай, выдаю за Биргале дочку...

Общие неистовые вопли восторга. Среди невообразимого шума и гама башкиры на плечах уносят Буранбая.

В. В. Брусянин

(1867—1919)

Василий Васильевич Брусянин родился в г. Бугульме, Самарской губернии, в купеческой семье. Рано потеряв отца, он воспитывался у деда в Уфе, где окончил сначала уездное, а затем землемерное училище. Несколько лет работал землемером в Башкирии. Писать начал рано, но не печатали.

Большой рассказ «Новогодний день в башкирской деревне», напечатанный в 1893 году в пяти номерах петербургской газеты «Русская жизнь»,— первая значительная публикация Брусянина. Характерно, что он повествует не только об ужасающей бедности башкирского народа, но и о социальном неравенстве и классовом расслоении в деревне. В последующие годы писатель создал целый ряд произведений о жизни башкир, о Башкирии, которую он называл своей родиной (рассказы «В лесной Башкирии», «Беспокойное место», «Злосчастные», «Былое-тяжелое», легенды «Вечная могила», «Белый волк», повесть «В борьбе за труд» и другие). Башкир он изображает темным, но добрым и великодушным народом, с подлинно демократических позиций рисует социальный гнет в городе и деревне.

В 1903—1905 годах он был одним из редакторов «Русской газеты» в Петербурге. А в 1905 году входил в редакцию «Московской газеты», за что был осужден к двум годам заключения в крепости. Вынужденный эмигрировать, пять лет прожил в Финляндии под чужим именем. Написал здесь четыре романа, книгу о Финляндии — «В стране озер», две литературно-критические книги, в том числе о Л. Н. Андрееве, ряд повестей и рассказов. В 1913 году возвратился в Петербург и занимался литературной и культурно-просветительной работой. После революции работал инспектором ревизионной комиссии по продовольствию Петрограда.

Брусянин — автор дилогии «Трагедия Михайловского замка» и сборника рассказов «В рабочих кварталах», выдержавших несколько изданий, а также еще более десяти отдельных книг.

В ЛЕСНОЙ БАШКИРИИ

Здесь закричишь — вторит эхо лесное,
Но не заводит с тобою речей.

Л. Кондратович
(Сырокомля)

1

Скучно было Трофиму в лесу. Какой-то безотчетный страх вселяла в душу молчаливая лесная чаща, а неизвестность смущала его. Парень не знал, где он, и куда приведет его сырая, грязная и плохо наезженная дорога. Знал он из рассказов паромщиков, что дорога эта проложена к «Мане-Горе», близ которой какой-то купец Иван Кириллыч обосновал свои лесные промыслы, а каков был этот Иван Кириллыч и где его найти — бог весть! И чем еще кончится это путешествие!

Прошло часа два. Густой лес перемежился; по обеим сторонам дороги тянулись молодые березки, липы, серостволые чахлые осинки — и заходившее солнце косыми лучами озаряло узкий проселок и одинокую, усталую фигуру путника.

Подавленный одиночеством, Трофим затянул было песенку, тягучую и унылую, но голос его, жалобно прозвучав под сводами деревьев, смолк — и даже лесное эхо не повторило его песни! Совершенно неожиданно Трофим вышел на большую четырехугольную вырубку. Сначала мелькнул просвет сквозь сетку сучьев, потом показалась новая тесовая крыша и белые стены избы. Изба стояла влево, у самой дороги, а по всей вырубке виднелись толстые пни недавно срубленных лип и берез. Вырубку с четырех сторон окружала зубчатая стена леса. В нескольких саженях от избы, на бревне, сидел старик. Седая лысая голова его была обнажена, борода длинным клином жидких волос спускалась с подбородка, лицо казалось спокойным, глаза щурились, и тихая дрема смежала их усталые веки.

— Здравствуйте-ка, дедушка! Ивана Кириллыча контора не тут ли? — спросил Трофим, остановившись шагах в пяти от старика.

— Контора?.. Ивана Кириллыча?.. Здесь его контора, здесь,— медленным и равнодушным тоном протянул старик, однако повернул лицо в сторону пришельца и осмотрел его внимательно.

— Сами-то они тут, сказывали? — вставил Трофим.

— А теперича он в лесу, на «прудках»*. Старик по-преж-

* Прудками называются запруды воды, в которых замачиваются луб и мочало во время производства.

нему опустил на грудь голову и смолк. Трофим также помолчал, подумал и потом снова спросил:

— Слышно, дедушка, на работу он наймает.

— Как не наймать,— наймает,— протянул лениво старик.

Трофима стеснял тон голоса, каким отвечал спокойно сидевший на бревешке человек, и он, смутившись, отвернулся от старика и тупо осмотрел лес, окаймлявший вырубку.

— Работы мало ли у Ивана Кириллыча — всем хватит,— наконец проговорил старик.— А ты сам-то откуда? — спросил он и снова осмотрел безусое, осунувшееся лицо Трофима.

— Издалека я, из-под Бирскова, а иду-то из Уфы.

— Ага! Далеко, парень, забрался, далеко!

И опять смолк старик, и снова на лице его отразилось равнодушное и ленивое выражение. Минуту спустя Трофим, однако, решился и присел на бревно недалеко от старика. Еще раз осмотрев его равнодушное лицо, он принялся рассказывать о том, каким образом добрался до конторы Ивана Кириллыча, счел нужным также сообщить старику и обстоятельства своей жизни, предшествовавшие этому длинному и томительному путешествию.

Всю раннюю весну Трофим прожил в городе, терпя нужду, исполняя случайную и довольно бесхитростную работу: сбрасывал с крыш обывательских домов снег, набивал льдом ледники, вместе с партией арестантов очищал городскую площадь от навоза, накопившегося за зиму, а когда вскрылась река, вступил в партию рабочих, нанявшихся проконопачивать барки и беляны. Но работа эта не далась Трофиму, потому что требовала известного навыка, которого у него не оказалось, и ему пришлось заняться грузкой барок: он познакомился с грузчиками из Вятской губернии и примкнул к их артели. Люди эти оказались бойкими, смышлеными работниками и добродушными товарищами, что радовало его, новичка в скитании по отхожим промыслам. И, может быть, хорошо бы устроился Трофим, но тут у артели вышло недоразумение с приказчиками при получке заработка. Все они, как один человек, пытались отстоять свои права, покричали, повздорили с приказчиками, плюнули в «бесстыжие буркулы» краснощекого хлеботорговца-хозяина, собрали свои котомки и пустились в поиски новой работы. Они уговорили Трофима не отставать от их артели, и он вместе с другими побрел сначала вверх по реке Уфимке, где весною бывает большое требование на рабочих, а потом и по Симу. В верховье этой речки вятские нанялись сплавщиками на готовые к отплытию беляны, а Трофиму пришлось отстать...

— Куда я с ними доплыву! И невесть куда они спустятся по рекам-то! В Астрахань, слышь, белянки-то уплывут,

в Каспийское море. Из своих-то мест тоже не захотелось мне отлучаться.— Так закончил свой рассказ Трофим и смолк.

— А что бы тебе, парень, и не поплыть... по реке-то! — выслушав собеседника, проговорил старик,— все равно, где ни работать. Э-эх ты! — укоризненно добавил он, и презрительная улыбка скривила его губы.

— Да так уж, на чужую сторону не захотелось, с непривычки...

— Когда же привыкать-то будешь? До седых волос доживешь, а все будешь твердить: «с непривычки, с непривычки»! Эх ты, тефан!

Старик насмешливыми глазами осмотрел Трофима, потом отвернулся от него и уставился в чащу леса. Парень смутился: он не мог понять, отчего это так вдруг старик как будто обиделся на него и стал насмехаться.

— Эх ты, парень, парень! — после небольшой паузы продолжал снова старик.— Ну куда ты годишься, такой-то трусливый? Ну куда? Что ты возьмешь? Эх ты, голова, голова! — Старик сокрушенно помотал головою, искоса оглянул Трофима, и продолжал:

— В жизни-то, если этаким манером делать — плохо, куда как плохо будет. А ты, брат ты мой, лезь везде, ищи, и чужой-то стороны не бойся, не съест тебя она. Тебе бы за женину юбку держаться. Ну и держись! И сам бабой будешь!

Трофим в молчании слушал старика, не перебивая его речи и плохо угадывая, к чему клонит свою речь с виду суровый и желчный собеседник.

— Ты думаешь, Сидор Прохорыч таков был всю жизнь? — резким голосом начал снова старик и посмотрел умными глазами в апатичное лицо Трофима.— Нет, брат, живали и мы когда-то; вместе с отцом Ивана Кириллыча капиталы наживали,— Иван-то Кириллыч племянник мне родной. Да, вишь ты, споткнулся я тут, старый черт, сплоховал – и все пошло прахом! А все отчего? Да все оттого, мил-человек, что трусом был: поумнел-то, вишь ты, поздненько. Кто раньше прозрел, тот и урвал, а я... прозевал. Надо бы и мне по-новому жить: драть шкуру-то! А я, старый дурак, сплоховал, канитель все тянул, а толк вышел из этого плохой. А все трусил да жался; брат мой, Кирилл Прохорыч, в гору пошел, а я, вишь ты, в землю врос. Ты думаешь, теперь я как бы приказчиком у племянника? — Не-ет, брат, уму-разуму обучаю его, да порядок в его делах наблюдаю. Да что! Иван Кириллыч — не нам чета, и сам выберется: в самую суть вник он, знает где раки-то зимуют — и живет, и будет жить! А ты вот с трусостью-то своей проживешь ли? И будешь биться, как пес голодный: шкурато вот на тебе теперь крепкая, а потом ее сдерут с тебя. Шку-

ра-то новая вырастет, а ты опять ее подставишь, а Иван-то Кириллыч ее с тебя снимет. Она опять подживет, а он опять ее с тебя сдерет. Так-то вот...

Сидор Прохорыч смолк и спокойным, внимательным взором посмотрел в печальные глаза Трофима. Тот слушал крикливую речь старика, и какое-то жуткое чувство заползало в его душу. Чем-то мрачным, хотя и неясным, но властным веяло на него от этой речи, и сам старик, своим мрачным видом, как ворон-вещун, пугал парня и смущал его. Трофим вздохнул, поднял глаза к небу и осмотрел зубцы сосен, обрисовавшихся на ровной, безоблачной синеве, потом посмотрел в чащу леса, перевел глаза на избу с тесовой кровлей и со светленькими оконцами и крылечком, приютившимся сбоку белой липовой стены,— и вздохнул.

— Что же в лес-то тебя понесло? Дома-то, верно, плохо? — после длинной паузы сухо спросил старик.

Трофим принялся излагать слушателю обстоятельства жизни в деревне. Начал он с голодного года, особенно подробно остановившись на том, как за бесценок пришлось распродать жалкий домашний скарб и скот. Потом с увлечением и даже с дрожью в голосе описал жизнь последующих лет, когда хозяйство уже в корне подорвалось, и наконец, перешел к минувшей зиме, с новой голодовкой и «болестями», и опять, но уже вкратце, изложил историю своих скитаний в городе и по Уфимке, вместе с артелью вятских крестьян, и закончил длинную речь, перебрав все, до поисков конторы Ивана Кириллыча включительно. Тронутый ли участью собеседника или благодаря другим обстоятельствам, но только и старик размяк и разговорился. И он заговорил о голодных годах и жалел голодающих, а потом принялся рассказывать о лесе, о лесных промыслах и о порядках на них, и особенно упирал на то обстоятельство, что в лесу всегда нужны рабочие руки.

II

— Подвело же у меня живот-то! Страсть! — тихо, после продолжительной паузы, промолвил Трофим.

Сидор Прохорыч, к которому, очевидно, была адресована жалоба на подведенный живот, молча покосился на Трофима, слегка моргнул бровями и не проронил ни слова.

— Ночь скоро... солнышко-то село. Верно, и Иван Кириллыч сейчас вернется,— тихо проговорил Сидор Прохорыч и приподнялся.

Солнце село. Небо омрачилось, и только на западной его части горела яркая заря. В лесу потемнело. Птички смолкли,

притаились, и только в овражке, огибавшем вырубку, слышался шум вешней воды.

Старик ушел в избу, и скоро в окнах конторы засветился огонек. Трофим остался на прежнем месте, свернул цыгарку, закурил и задумался. В продолжение всей весны он был сам не свой. Оторванность от деревни, скитанья по чужой стороне, среди незнакомого люда, новая работа, новые встречи и новые радости и разочарования — разве этого мало, чтобы остановить внимание парня, заставить его голову работать по-новому? Трофим посмотрел на освещенные окна конторы, и ему припомнился Сидор Прохорыч с его насмешкой над его, Трофимовой, трусостью. «Попробовал бы ты сам, старый ворон»,— подумал он. Воодушевленная проповедь старика о том, как надо отвоевывать у жизни счастье, была понятна Трофиму, да и сам он знал, что так жить лучше: не струсишь и победишь... А где взять храбрости?..

В лесу, за овражком, заржала лошадь; ей ответила другая из небольшого сарайчика, приткнутого сзади конторы. В лесу раздались человеческие голоса. Трофим уставился в чащу леса, куда пряталась дорога. Когда всадники — их было двое — перебрались через овраг и появились на вырубке, Трофим поднялся с бревна.

Впереди ехал тучный мужчина. Широкое лицо его, с рыжими усами и окладистой бородой, было сумрачно; из-под сдвинутого на лоб картуза смотрели узенькие глазки с пытливым выражением. Он непринужденно сидел на лошади и озирался по сторонам зоркими глазами: точно все искал что-то. За Иваном Кириллычем, на крошечной лошадке, ехал приказчик Прокофьев, черноусый, чернобородый человек с худощавым лицом и крошечной головой на узких плечах

Всадники осмотрели одинокую фигуру Трофима и молча проследовали до крылечка конторы. Когда Трофим поздоровался с будущим своим хозяином, тот слегка прикоснулся к фуражке. Иван Кириллыч скрылся в избе, а приказчик повел лошадей в сарай. Сквозь стекла окна Трофим видел, как лесопромышленник разделся, помолился в передний угол, расчесал голову и бороду и уселся возле столика. Мимо Трофима молча прошел Прокофьев и скрылся в сенцах конторы.

В лесу, за оврагом, снова послышались голоса, и Трофим обернулся. В полумраке наступившего вечера он различал на дороге, за оврагом, неясные тени людей, слышал их громкие голоса, но шум ручья не давал ему возможности расслышать, о чем велась беседа приближавшихся людей.

На вырубке показалось человек пять-шесть крестьян с большими котомками за плечами: в руках почти каждого из них были или топоры, или пилы. Выйдя из лесу, люди смолк-

ли: казалось, Трофим невольно смутил их оживленную беседу.

Их было пятеро: седой старик, с громадной суковатой палкой в руках и полушубке на широких плечах; двое рослых мужиков с загорелыми лицами, темными, широкими бородами и крепкими, мозолистыми руками; остальные были подростки лет восемнадцати-двадцати. Все они молча сняли свои котомки и расположились возле того же бревна, где перед этим отдыхал Трофим в обществе Сидора Прохорыча. Подростки закурили цыгарки, взрослые мужики о чем-то переговаривались вполголоса, а старик, с тихой думой на лице, уставился глазами в озаренные светом окна конторы. Немного спустя, старик медленно побрел к конторе, нерешительно взобрался на ступени, и фигура его потонула на темном фоне непритворенной двери в сенцы.

Трофим подошел к мужикам, расположившимся возле бревна, и молча осмотрел их лица. Те же посмотрели на Трофима, но не проронили ни слова. Прислушавшись к говору чернобородых мужиков, Трофим скоро понял, что какое-то недовольство волнует их; при этом он слышал имя Ивана Кириллыча, «уговор» какой-то, о котором шла речь, и рассуждения о каком-то «задатке».

Трофим и остальные невольно обернулись: сквозь раму окна донесся из конторы грубый голос Ивана Кириллыча, и все увидели в окне его громадную фигуру с жестикулирующими руками.

— Охота, тятенька, вздорить,— все равно ничего не выйдет! — заметил один из подростков.— Пойти домой, да и все тут,— добавил он.

— Тебе домой бы скорее? Ну ступай! — огрызнулся на него один из спутников, с неудовольствием посмотрев в сторону конторы.

Темные сенцы озарились светом, стукнула о косяк дверь, и на крылечке появился старик.

— Проклятый живодер, ничего ты с ним не сговоришь! — громко проговорил он, подойдя к товарищам, и опустился на бревно. Все молчали: что надо было — то все уже давно переговорено. Разочарованная толпа лесных рабочих с раннего утра была занята только этими бесплодными разговорами с Иваном Кириллычем. Между ними и лесопромышленником вышло большое недоразумение.

Еще в декабре месяце в деревню Кругловку, отстоящую верстах в сорока от «Маны-Горы», приехал Иван Кириллыч нанимать рабочих на весну. Иван Кириллыч, как и все лесопромышленники, уже несколько лет практиковал один и тот же прием при найме рабочих. Выждав, когда начнется обычная зимняя нужда, все эти Иваны Кириллычи, как вороны

налетают на такие деревеньки, и тут начинается обычная деревенская кабала. К рождеству деревня, обыкновенно, без хлеба и денег; появившийся же в такой глухой деревушке Иван Кириллыч — с деньгами, и у Ивана Кириллыча — большие лесные промыслы, куда потребны рабочие,— и вот тут начинается заблаговременный наем. Никаких письменных условий о работе чаще всего не делается: открытый кредит лесопромышленника обеспечивается только распиской нанявшегося на работу; подробности же условия самой работы договариваются словесно.

То же самое произошло и со стариком Никитою Зарубиным. Как глава семьи, занял он у Ивана Кириллыча двадцать рублей денег и пять пудов хлеба и поручился, что с наступлением весны он вместе с двумя сыновьями и двумя внучатами будет вырабатывать *липовую плашку* в лесах у «Маны-Горы».

Такое краткое условие было засвидетельствовано в волостном правлении, а подробности договора — словесно. Договорились стороны, одна получила в виде задатка денег и хлеб, а другая, совершив выгодную операцию, поехала в соседнюю деревушку для вербовки таких же злополучных Зарубиных. По словесному договору, Никита Зарубин с семьей должен был вырабатывать для Ивана Кириллыча плашку по восьми рублей за тысячу штук. С таким расчетом и с представлением о будущем заработке покинула родную деревеньку семья Никиты Зарубина и появилась на промыслах Ивана Кириллыча, как делали это и две предшествующие весны. Каково же было разочарование рабочих, когда из первых же слов нанимателя выяснилось, что он намерен выплачивать за тысячу плашек всего пять с половиною рублей или «много-много шесть публей». Так заявил Иван Кириллыч ошеломленным от неожиданности крестьянам. Знали они по личному опыту, что и раньше Иван Кириллыч прижимал их и никогда не выполнял в точности договора, но такого поведения с его стороны они не ожидали. Продешевить заработок на целые два рубля с тысячи плашек, когда и без того цена была ниже нормальной! Это обстоятельство обескуражило наголодавшихся за зиму мужиков, и тут только они поняли, что за гусь этот Иван Кириллыч. Последний, однако, довольно спокойно относился к этому столкновению: для него было ясно, что не он в руках Зарубина, а этот старикашка — в его твердых, ежовых рукавицах. Долго беседовали стороны, сначала мирно, потом начали горячиться. Решение Ивана Кириллыча оставалось неизменным: он наотрез заявил рабочим, что платить будет только пять с половиною рублей, а если плашка выйдет хорошей, то по шести рублей с тысячи.

На крылечке появился Иван Кириллыч.

— Эй, Никита! Идите-ка сюда все! — крикнул он.

В голосе его слышались бесповоротно решительные ноты.

Рабочие полнялись и подошли к крыльцу; сзади них медленно побрел и Трофим.

— Ну, вот что, ребята, окончательное вам слово: шесть рублей за тысячу я вам дам, а если понравится работа — прибавлю полтинничек...

— Что уж, Иван Кириллыч, бога-то гневить! Целый день говорили, говорили, а никакого толку нет,— начал Никита.— По условию-то, по восьми рубликов сошлись, ан теперь — напопятную... Нехорошо это, Иван Кириллыч; мне семьдесят годков стукнуло: слава богу, прожил век.

— Ну, что там говорить! — перебил его лесопромышленник.— Ты прожил, ты и радуйся своему долголетию. Это не мое дело; а лучше вот скажите мне последнее слово: согласны или нет; нет, так и с богом. Придется расписочку-то представить, куда следует.

— Что же, представляй, Иван Кириллыч,— все равно ничего не возьмешь: нечего стало и взять-то,— тихо промолвил Никита.

На крылечке появился Сидор Прохорыч; с ехидной улыбочкой на лице прислонился он к дверному косяку и молча посматривал на кучку мужиков.

— Ну, не согласны, так — с богом! Завтра я еду отсюда; может быть, за ночь-то пораздумаете...

Иван Кириллыч спокойным голосом произнес последнюю фразу и скрылся в конторе.

- Эх, робята, робята! Сколько верст шли – и все даром! Согласитесь уж на то, что дают, а то что? За какую награду грязь-то месили, шли! — увещевал рабочих Сидор Прохорыч.

Не тебе, Прохорыч, учить старика Никиту,— в дети ты мне годишься,— ответил ему Зарубин.

— В дети годишься! Ха-ха! — рассмеялся Сидор Прохорыч и повернулся в сенцы, унося на своем лице ехидную улыбочку

III

На другой день Трофим проснулся рано утром: его разбудил громкий говор Никиты, который расталкивал своих заспавшихся товарищей. Раскрыв глаза и приподняв голову, Трофим посмотрел на заспанные физиономии рабочих, окинул потухший костер и разом все припомнил: вчера вечером он пристроился у костра, разложенного Никитою.

Незнакомцы, приютившие Трофима, казалось, не замечали его, хотя охотно дали ему возможность провести ночь

у огня, а когда поставленный в огонь котелок с кашицей вскипел, старик Никита предложил ему с ними поужинать.

— На работу, верно, пришел? — коротко спросил старик.— Трофим ответил утвердительно и снова принялся жаловаться на свою жизнь. Присутствовавшие молчаливо прослушали эту жалобу неизвестного встречного и скоро улеглись спать.

Хмурыми и молчаливыми проснулись Никита и его товарищи в это яркое солнечное утро: точно невеселые думы, с какими они уснули вчера, проснулись вместе с их пробуждением. Встав, умывшись водой соседнего ручья, они наскоро сварили себе кашицу и принялись есть, подкрепляя силы к путешествию «на свою сторону» после неудачной прогулки на промыслы. Когда неудачники закусили и принялись собираться в путь, на крылечке конторы появился Иван Кириллыч в сопровождении Сидора Прохорыча. Лесопромышленник мельком, как бы нечаянно, глянул в сторону кучки людей, переночевавших около ручья, и заговорил о чем-то со стариком-дядей, размахивая руками и изредка кивая головой куда-то направо, в лес. Минут через пять он сел на лошадь, оседланную приказчиком и выведенную из сарайчика, и неторопливо поехал. Огибая по дороге контору, он еще раз глянул в сторону Никиты, как бы задаваясь вопросом, «не передумали ли вероломы за ночь?» — и скрылся в чаще леса. Ни Никита, ни кто-либо из его семьи не переменили своего решения. Не торопясь, обули они лаптишки, перевязали котомки, поудобнее разместили их за плечами и молча двинулись. Когда за лесом скрылась фигура старика Никиты, отставшего от товарищей, Трофим уселся возле потухающего костра и задумался. Ему вдруг стало грустно отчего-то, сердце его точно упало: ему казалось, что с уходом этих неизвестных ему людей, так приютивших его вчера и даже накормивших его,— порвалась какая-то нить, связывавшая его с миром, с людьми, и теперь он остался одиноким,— и снова знакомое ему чувство охватило его. С каким-то страхом осмотрел он вырубку, бревенчатую избу со светлыми оконцами, вспомнил Сидора Прохорыча, его насмешливые глаза и речи; припомнил он также и Ивана Кириллыча с его равнодушно-спокойным, жирным лицом — ото всего этого веяло чем-то холодным и неприятным.

— Слышь-ка, парень! Как тебя, Трофим, что ли?

Трофим поднялся. У тесового крылечка стоял Сидор Прохорыч, с обнаженной головой; к нему приближался бородатый приказчик. Последний подошел к костру и принялся движением ног набрасывать землю на потухавшие головни, ворча.

— Черти! уйдут и не потушат... пожар еще наделают..

Поворчав и сравняв следы, оставленные ночлежниками он обратился к Трофиму:

— Пойдем, на «прудки» сведу, а там и работа будет.

Трофим нерешительно подошел к Сидору Прохорычу и проговорил:

- А насчет платы-то... как же?

— Ну, чего ты еще «насчет платы»,— как бы передразнивая Трофима, выпалил Сидор Прохорыч,— не обидят. Как все получают, так и ты получишь,— добавил он и повернулся к нему спиною, направляясь в избу.

— Вот тоже хлеб у меня весь вышел,— нерешительнее проговорил Трофим.

— Хлеб? Ну, хлеб — другое дело. Хлеба-то я тебе дам,— ответил старик и вышел на крылечко. Сидор Прохорыч на минуту скрылся в сенцах, потом вновь появился и подал Трофиму краюху хлеба.

— Вот тебе — ешь,— проговорил старик и скрылся, плотно притворив за собою дверь.

Полчаса спустя, Трофим и приказчик Прокофьев шли лесом. Узкая, но хорошо проторенная тропа вела их к прудкам. Часто приходилось им перебираться через болота или переходить неглубокие овражки, по дну которых змеились громогласные ручьи вешней воды. Приказчик шел все время молча, да и Трофиму как-то не говорилось. Шлепая лаптишками по сырой земле, он все время раздумывал о плате и, наконец, не вытерпел и промолвил:

— А много ль платят-то?

Спрошенный на секунду приостановился, как бы для того, чтобы вслушаться в слова Трофима, и после короткой паузы ответил:

— Заплатят, как всем. Обиды не будет. Тоже вот и харчи получишь. Хлеба вот дали, а работы-то твоей еще не видели.

Трофим согласился с этим неопровержимым доводом приказчика и успокоился. Пройдя версты полторы от конторы, Прокофьев остановился и проговорил:

— Вот, как эту балку минуешь, поднимаешься на гору, а потом опять спустишься к речке: тут тебе и будут прудки. А там придешь на прудки-то и спросишь Валея, башкирца, и скажешь ему, мол, Иван Кириллыч на работу прислал.

Так и сказать? — переспросил Трофим, но приказчик, будто не расслыша вопроса, промолчал и повернул назад.

Миновал Трофим балку, поднялся в гору — и перед ним, за грядой леса, открылась широкая вырубка, заваленная сучьями, стволами деревьев, и с одиноко стоявшими, не осиленными человеком, вековыми дубами. Влево, под уклоном, он заметил

синеватую струйку дыма, поднимавшуюся к небу, а минуту спустя рассмотрел и жилища рабочих. На дне лощины, у самой речки, виднелись три балагана. Это были довольно незатейливые постройки. На двух стойках, врытых в землю, покоились жерди, а к ним наклонно были приставлены лубки, закрытые сверху ветвями елей и пихт; такими же зеленевшими стенками были огорожены балаганы и с боков. У отверстий балаганов, обращенных к речке, ярко горели и дымились костры. В стороне, разбившись на две неравные группы, вокруг дощатых помостов сидели рабочие и завтракали. Трофим подошел к ним и промолвил:

— Хлеб-соль.

— Спасибо,— ответил кто-то.

Рабочих было человек десять. Тут были русские, в ситцевых рубахах, с всклокоченными космами на головах; были и башкиры, в своих длинных, белых одеяниях, с загорелыми бронзовыми лицами и с тюбетеями на бритых головах. Трофим спросил Валея и передал все, что наказывал ему приказчик.

Один из трех башкир, сидевших несколько поодаль от группы рабочих, здоровый, плечистый богатырь, с широким, скуластым лицом, с темноватой бородкой, и с темными, как угольки, глазами, уставился на вновь прибывшего и коротко ответил:

— А-а! Ярар (ладно)!

Башкир принялся есть, а Трофим растерянно осмотрел его грузную фигуру и большую голову, которая была прикрыта тюбетеем с длинной кисточкой на макушке.

— Айда! Садись, похлебай! — услышал Трофим.

С таким предложением обратился к нему человек лет тридцати, с рыжими усами и плохо выбритым подбородком, на котором щетинились темно-рыжие волосы. Такие же лохматые волосы густой шапкой окружали его голову и спутанными прядями спускались на узкий лоб. Серые, слегка прищуренные глаза пытливо остановились на парне. Трофим не сразу решился присесть к кружку рабочих.

— Ну, что же ты? Эх, брат, какой! Точно из деревни! — насмешливо проговорил тот же рыжий рабочий, искоса окинув лукавым взором присутствовавших, из которых некоторые улыбались.

— А то откуда же? Знамо, из деревни,— огрызнулся и Трофим, обидевшись. Кто-то из рабочих громко рассмеялся.

— Это и видно! — добавил тот же рыжий зубоскал.— Здесь, брат, в лесу-то, похрабрее будь, а то волки съедят.

Трофим опустился на землю и придвинулся к чашке, на дне которой виднелась бурая похлебка. Один из башкир, па-

рень лет восемнадцати, кинул к ногам Трофима собственную ложку, провел ладонями по лицу и тихо прошептал: «Алла!»

К концу завтрака рабочие ели молча и спешно, посматривая на Валея, который время от времени поторапливал всех, выкрикивая «Айда! Айда! Консяй, консяй!»

Трофиму не понравился этот горластый башкирец, понуканиям которого были так послушны остальные: не нравились ему и темные сердитые глаза башкирца, и широкие брови над ними, которые все время хмурились и шевелились вместе с бронзовыми, поросшими щетиною скулами. Наконец великан бросил ложку, помолился и приподнялся. Покончившая с завтраком кучка людей заколыхалась: одни молились, крестясь и шепотом произнося молитву; другие рылись в собственных котомках, убирали ложки и чашки.

— Теперь и закурить можно! — выкрикнул рыжий рабочий и весело посмотрел на Трофима.— Так, Абдрахманка? — обратился он к соседу-башкирцу с безусым лицом и открытыми темными глазами. Тот широко улыбнулся, обнажая белые зубы и сверкая белками глаз и потянулся к кисету соседа.

— Айда! Айда! Мирошка! Абдрахман! — окрикнул рабочих Валей с лопатою в руках.

— Не торопись... сейчас... покурим только,— ответил за себя и за товарищей рыжий Мирошка.

— А это-то, верно, приказчик? — осведомился Трофим, указывая на Валея.

— Ха-ха! Приказчик! Много таких! — Мирошка захохотал, а потом злобно прибавил: — Просто — собака... собака, да и только, да еще зубастая. Только на зубастых-то собак и палка о двух концах!.. Так, Абдрахман? — Молодой башкирец снова рассмеялся.

Немного спустя рабочие разделились на две партии. Одна из них, человек в пять, вооружилась лопатами и заступами и по тропинке направилась вдоль речки. Впереди всех шел низенький, коренастый мужик в солдатской фуражке с белым засаленным околышем: цепь замыкал Мирошка. Выпуская изо рта густые клубы табачного дыма, он весело рассказывал что-то своему приятелю Абдрахманке и размахивал руками. Трофим видел, как вся эта толпа скрылась за опушкой леса, откуда доносился теперь неясный говор, смех и треск сучьев под ногами.

Трофим остался в партии Валея, который все время ворчал и торопил рабочих приниматься за дело. Когда пришли на место работы, Трофим впервые увидел, что такое прудки, о которых раньше он только слыхал. Невысокий, но широкий

земляной вал насыпался с обоих берегов речки, все более и более суживая русло и образуя небольшой бассейн мутной воды. По мере того как углублялась и расширялась выемка по откосам овражка и росла насыпь, речка становилась уже Тут же на берегу заготовлена была рама из толстых бревен, которую потом укрепляли в верхней части плотины на случай безопасности, если дождевые ливни поднимут уровень воды, грозя размыть наскоро сооруженную и не очень-то прочную плотину.

Подойдя к строящейся плотине, Валей указал Трофиму на тачку и небрежно выговорил:

— Вон, бери: земля будешь таскать!..

Трофим уже работал когда-то с тачкой, поэтому обрадовался, что на его долю выпала знакомая работа. Умелыми руками ухватился он за рукоятки тяжелой, грубо сколоченной из досок тачки, повернул ее, направил колесико на дощатый помост и, быстро шагая, спешил догнать остальных тачечников. Благодаря частым окрикам Валея, работа спорилась. Трофим присмотрелся к своим сотоварищам по работе, которые так же, как и он, нагружали тачки землею, по дощатому помосту провозили их до насыпи, ссыпали землю и вновь возвращались к выемке на склоне оврага. Один из тачечников был седой старик башкирец с клочьями жидких, поседевших волос на подбородке. Лицо у него было сморщенное, старческое, глаза тусклые, глубоко ввалившиеся в орбиты. Под тяжестью тачки, виснувшей своим грузом на руках, он тяжело дышал, останавливался иногда на пути, чтобы передохнуть, а потом снова напрягал силы, скрючивал спину и, нетвердо ступая, катил тачку к насыпи. Двое других были русские: парень лет двадцати, плечистый, кривоногий, с широким шрамом у левого глаза, и мужик, уже немолодой, но еще крепкий на вид, хотя с заметной проседью в голове и в бороде. Вместе с Валеем на насыпи работали его братья. Один из них разгребал и разравнивал лопатою землю, ссыпанную тачечниками, а другой громадным деревянным шестом убивал эту землю, топтал ногами, стараясь сделать насыпь плотной и водоупорной. Сам Валей расхаживал по насыпи, промерял длину и ширину ее или спускался к воде и принимался измерять ее уровень.

Трофим скоро разговорился с парнем, которого звали Силантием, рассказал ему о своих мытарствах и в свою очередь расспросил парня обо всем, что его интересовало в новых условиях жизни. Силантий оказался словоохотливым; к Трофиму как к новичку он отнесся участливо.

Они уселись на тачках, нагруженных землею, закурили и стали беседовать.

— Вот только плата-то неважная,— говорил Силантий,— а работа — сам видишь какая.

— А сколько платы? — полюбопытствовал Трофим.

— Двадцать копеек за день обещал рассчитать Иван Кириллыч...

— А харчи?..

— Видел, какие харчи-то. Третью неделю работаю тут, а окромя хлеба да вот этого варева, что хлебали, ничего и не видели... А обещал хозяин сала давать и чаю кирпичного...

— Эй, ты! Силантья! Чява сидишь — работай! — густым голосом окрикнул Валей беседовавших, стоя посреди насыпи и опираясь руками на палку, которою он обмеривал насыпь. Первым соскочил с тачки Трофим и ухватился за гладкие рукоятки, а Силантий проворчал что-то сквозь зубы, заплевал окурок цигарки и тоже последовал примеру товарища.

— Этот-то что больно кричит? — осведомился Трофим, сдвигая с места тачку.

— Это такая собака, что упаси бог! Он, вишь ты, дошлый по части прудков-то, всегда тут стоит. Ну, вот и глотку широкую ему надо иметь...

Работа продолжалась; насыпь росла с каждым часом, суживая проход речки. Незадолго до обеда Трофим заметил возле балаганов молодого башкирца, одного из братьев Валея, который великодушно уступил ему свою ложку. От Силантия он узнал, что это кашевар артели и распорядитель. Весь этот день прошел для Трофима незаметно. Новизна положения, новые лица и новая работа увлекли его, незаметно заинтересовывая, и ночью, засыпая под навесом балагана, внутренность которого озарялась пламенем костра, он был спокоен и ни о чем не думал.

IV

Прошло недели две с тех пор, как Трофим начал работать на промыслах Ивана Кириллыча. За это время в лесу не произошло никаких выдающихся событий, все шло тихо и гладко, и работа подвигалась к концу. Два прудка — один недалеко от балаганов, а другой — в полуверсте от них вниз по речке — были почти уже закончены; оставалось только вставить водоспуски, да кое-где заделать между сваями отверстия, размытые неспокойной лесной речкой. Дни один за другим проходили с томительным однообразием. Рабочие поднимались утром с зарею, хлебали неизменную бурую кашицу и принимались за работу под наблюдением грозного Валея и угрюмого, молчаливого приказчика Прокофьева. Раза два в неделю на прудках появлялся и сам Иван Кириллыч,

бегал по плотине на своих коротких ножках, размахивал руками, а иногда подолгу с деловым видом беседовал с Валеем.

С каждым днем все чаще и чаще стали поговаривать в артели о прибытии новых рабочих, специалистов по выделке луба и мочала. Однажды и сам Иван Кириллыч разговорился на эту тему с Валеем и приказчиком и удивлялся, что так долго не появляются за зиму законтрактованные рабочие. Запаздывание их беспокоило хозяина, потому что наступал тот весенний период, когда всего легче снималась кора с липы, благодаря чему мочало и луб являлись на рынок с большой ценностью... Наконец как-то вечером, промысловые заслышали в лесу конское ржание и гул человеческих голосов. В сопровождении Сидора Прохорыча к балаганам прибыли долго ожидаемые рабочие. Это были крестьяне, крепкие с виду и с деловым выражением на широких загорелых лицах. Их было человек шесть-семь. Все они были верхами; по бокам каждой лошади были навьючены холщовые мешки с пожитками. Некоторые из них были с топорами за поясом, другие — с пилами. Переночевав кое-где возле балаганов раньше поселившихся рабочих, утром на другой день они приступили к сооружению собственных жилищ. Место для своих построек они выбрали несколько поодаль от балаганов землекопов и принялись за работу с деловыми разговорами, советами и были, очевидно, заняты мыслью поудобнее обосноваться на все лето. Вообще, вновь прибывшие держались както в стороне от землекопов. Последние, в свою очередь, заметили, что и отношение хозяина и приказчика к «специалистам» не похоже на их отношение к разноплеменной артели строителей прудков. Скоро выяснилось, что различие это касается и условий работы и найма, а также и характера жизни новых рабочих: заработок землекопов зависел от произвола Ивана Кириллыча; заработок специалистов по обработке мочала и луба зависел от них самих: они получали определенную плату за пуд выделанного мочала и за луб по расчету толщины дерева в вершках.

Дня через два прибыла еще партия рабочих, и вслед за ними появились специалисты по обработке плашки, вместо семьи Никиты, и глухой лесной уголок заметно оживился. С раннего утра до позднего вечера рабочие ходили по лесу, валили деревья под корень, снимали кору и при помощи лошадей подтаскивали древесину к прудкам, куда ее и сваливали, набрасывая сверху для тяги толстые бревна, отчего вода в прудках поднималась. Ночью возле балаганов зажигались костры, слышался говор, шум, конское ржание, а иногда по вечерам со стороны балаганов специалистов слышались звуки

гармоники и хоровое пение. Антагонизм между «специалистами» и землекопами вырос сам собою. В среде первых была какая-то стройность, деловитость, солидность; среди вторых — полнейшая разобщенность, обусловленная разноплеменностью случайно столкнувшихся несчастливцев-голышей, безжалостно эксплуатируемых предприимчивым Иваном Кириллычем.

Так как специалисты нашли прудки не вполне законченными, то и для землекопов началась горячка. С утра до вечера торчавший на прудках Сидор Прохорыч, приказчик, Валей и чаще обыкновенного появлявшийся Иван Кириллыч положительно не давали покоя ни Трофиму, ни его товарищам по работе. Утром поднимали их раньше обыкновенного, торопили во время обеда и отдыха, а с работы отпускали, когда солнышко уже пряталось за лесом, заря потухала и наступала ночь. Однажды пришлось даже работать в воскресенье, хотя русские рабочие согласились на это не сразу, и только обещание Ивана Кириллыча поднести желающим работать по сотке водки сверх поденной платы соблазнило рабочих, и они согласились. Вечером этого дня работу окончили раньше обыкновенного и торжественно приняли из рук хозяина обещанное. Выпитая водка только растравила замореных и утомленных людей, и скоро вокруг хозяина образовалась толпа, просящая выдать часть заработанных денег. Иван Кириллыч наотрез отказался исполнить просьбу рабочих, отговариваясь неимением мелких, но в сущности опасаясь, как бы загулявшие рабочие не провели следующий день праздно.

Согласно словесному договору, Иван Кириллыч обязан был выплатить поденщину только после того, когда прудки будут им приняты совершенно готовыми для своего назначения; но в договоре был, однако, и такой пункт, что если вся артель, за общей порукой, пожелает получить треть заработка, то хозяин не может им отказать в этом. Рабочие старались опереться на этот пункт условия, но предприниматель постарался истолковать его в невыгодном для рабочих смысле и снова отказал им.

Больше других возмущались этим отказом Мирошка, Абдрахман и старик Нурей. Последний со слезами на глазах доказывал предпринимателю справедливость своих требований, жестикулируя руками, злобно проклиная кого-то или призывая на помощь аллаха. Иван Кириллыч молча выслушал горячую речь старика и, окинув взором присутствующих, тихо проговорил:

— Черт его знает, что он лопочет по своему-то... по-собачьему...

— А коли, Иван Кириллыч, не понимаете Нурея, так послушайте меня! — начал все время молчавший и со злобой в глазах посматривавший на хозяина Мирошка.— Теперича прудки-то мы вам почитай что закончили, да и проработалито вот... уж теперь двадцать пять ден. А по уговору-то вы нам должны дать третью часть, коли все за общей порукой просим! — продолжал он, ближе придвигаясь к Ивану Кириллычу.

— Ха-а!.. Ах ты, Мирошка, Мирошка! Да какая же за вами порука? Ты ли, Нурей ли, Трофим ли: все ведь вы из-под бора да из-под сосенки. Разве вы артель? А? Живете как псы,— прости ты мне, господи! — грызетесь между собой как собаки да и работаете-то из-под кнута! Ну, какая вы артель? Ха-ха! Круговая порука!..

Иван Кириллыч рассмеялся и снова обвел присутствовавших веселыми глазами, предварительно потрогав за рукав Прокофьева, как бы спрашивая того: «правда ведь?» Приказчик слегка усмехнулся, видимо соглашаясь с хозяином но считал для себя излишним ввязываться в спор.

— А вы бы, Иван Кириллыч, не наймали, коли артель плоха,— возражал Мирошка,— артель-то плоха, а вот, посмотрите-ка,— прудки-то почитай что закончены!

— Э-ге, до конца-то еще, брат, далеко!

— Чего далеко-то? Вот и Валей скажет — много ли еще работы? — приставал Мирошка, но Валей молчал, не подтверждая его слов, для хозяина же такие доказательства были, должно быть, недостаточно убедительны.

До поздней ночи велся этот разговор рабочих с предпринимателем и ничем благоприятным для первых не кончился. Иван Кириллыч взобрался на свою саврасенькую кобылу и уехал, сопровождаемый ропотом рабочих.

— Вот-то попали... к анафеме проклятой!.. Ну и жила! — возмущался Силантий, когда в сумраке наступавщей ночи потонули силуэты двух всадников, хозяина и приказчика.

— Ничего! Не горюй! Свое возьмем! — вставил, ни к кому не обращаясь, Мирошка и присел к костру, который, разгоревшись ярким столбом, озарял взволнованные и недовольные лица рабочих. Все одинаково были возмущены поведением хозяина, каждый по-своему старался объяснить это поведение, и каждый, как умел, отозвался на происходившее, одинаково близкое всем. Были в числе рабочих такие, как Трофим, которые казались пассивными наблюдателями и никуда негодными защитниками собственных интересов. Другие, напротив, вступали в спор, но эта попытка ничем не увенчалась. Нурей, например, вечно молчаливый и угрюмый старик, со слезами на глазах доказывал свою правоту, но

его речь была непонятна Ивану Кириллычу, а быть может, тот и не хотел понять ее, и все волнения старика оказались напрасными. Силантий и угрюмый солдат Игнат тоже не вытерпели и высказали свои соображения, но это были неубедительные доводы: Игнат все время твердил о каких-то мирских недоимках, до которых Ивану Кириллычу не было никакого дела, а Силантий обращал внимание хозяина на свои порты и рубаху, которые «с плеч лезут». Даже Мирошка, смелый и зубастый мужик, и тот не сразу сообразил, откуда надо подойти к «жоху и выжиге». Он понимал, конечно, что никакой круговой поруки между ними, людьми «из-под бору да из-под сосенки», быть не может, и это еще больше злило его: работа произведена ими сообща, право получить заработок у всех одинаковое, а складу и ладу между ними нет.

Не в первый раз приходилось ему спорить из-за денег с лесопромышленниками, купцами и приказчиками. Задержит, бывало, кто-нибудь из представителей заработную плату или при расчете оштрафует за какую-нибудь провинность или за испорченные инструменты — Мирошка просит; если просьба не действует, начинает приставать и клянчить; если и это не помогает, он сердится и начинает браниться с «выжигой», а потом обругает хозяина при всех и пойдет искать другой работы. Такие нередко повторявшиеся случаи сделали Мирошку недоверчивым ко всем, кто его нанимал. Знал только он, что там — в городе, на чугунке, на пристанях, вообще на людях — бороться и отстаивать свои права легче, а здесь, в лесной глуши, Иван Кириллыч казался ему неумолимым и сильным.

Занятый такими соображениями, Мирошка сидел у костра и молчал. Молчали и другие, неохотно принимаясь за пустую, мутную похлебку.

Другие думы волновали в это время Валея. Полулежа на мягкой кошме у своего балагана вместе с братьями, он пил густой кирпичный чай, обливаясь потом, и соображал, сколько придется ему получить после того, как прудки будут сданы. Башкиру хотелось возможно скорее рассчитаться с Иваном Кириллычем, чтобы перебраться на другое место, где он также условился наблюдать за ходом работ. Валей был недоволен рабочими «из-под бора да из-под сосенки» и даже сердился на Ивана Кириллыча, что тот, ради экономии, набрал на земляные работы кого попало, предпочтя дешевых бродяжек рабочим, знающим свое дело. Это недовольство он вымещал на рабочих, что называется, выжимая из них соки, не давая им ни отдыха, ни покоя. Он же был и причиной того, что Иван Кириллыч, вообще прижимистый купец, сделался еще

скупее и на своих дешевых землекопов смотрел как на личных врагов.

— А... ничего... порядочная он собака! — наконец проговорил долго молчавший Мирошка.— А? Абдрахман? — вдруг воскликнул он, ударив по колену приятеля.— Чего же ты нос-то повесил?

— Арака (водки) вот йок (нет),— отвечал тот.

— А плохо без «арака»-то? — усмехнувшись, вставил Силантий.— Ты, верно, полюбил эту самую «араку»-то? А? Черт! Что молчишь?

Абдрахман молчал и улыбался.

Час спустя все спали мирным сном, как будто минувшим днем ничто не волновало этих полуголодных, терпеливых людей. А быть может, умиротворила и успокоила их возмущенные души теплая майская ночь? Она так красива была в этот тихий час в глуши леса: небо ясно и звездно, лес спокоен и молчалив, и только вода речки, стесненная в узком пролете плотины, шумела ровно-ровно...

V

На следующей неделе, в субботу, артель сдала Ивану Кириллычу верхний прудок совершенно законченным. Лесопромышленника обрадовало это обстоятельство, так как за все это время вопрос о прудках беспокоил его, а тут еще «мочальники» и «лубодеры» жаловались на недостаток воды. Сдав законченный прудок, рабочие пошабашили в эту субботу вскоре после обеда. Иван Кириллыч выдал каждому из них по рублевке, что снова вызвало неудовольствие; рабочие стали просить Ивана Кириллыча выдать им деньги за все количество отработанных дней, но осторожный купец отказал им в этом, клянясь, что после сдачи второго прудка рассчитает всех окончательно. Опять поспорили, но на этот раз как-то скоро притихли: засаленные кредитки все же произвели известное впечатление. Трофим с тайным удовольствием спрятал в кисет рублевую бумажку и улыбался, раздумывая, сколько он получит еще таких бумажек, когда и второй прудок будет принят хозяином. Мирошка и Абдрахман положительно ликовали. Получив деньги, они шептались о чем-то, после чего Мирошка поделился своим секретом и с другими.

— Ну, кто на село? Гайда! Выпьем! — кричал он в толпе рабочих.— Айда, эй! Трофим! Игнат! — сзывал он.

Желающие отправиться в село нашлись. Это были двое башкир, которые надумали побывать в родной деревушке и которым путь лежал через село. Мирошка принялся уговаривать Силантия и Трофима. Первому пришлось отказаться,

хотя его сильно тянуло погулять и проветриться: дня два тому назад он наступил на гвоздь, торчавший в небрежно брошенной доске, и спорол себе ногу.

— Эх, черт! Будто не дойдешь! Дитё малое! — обозлился на него Мирошка и приступил к Трофиму. Последний, как пень, глубоко вросший корнями, не хотел сдвинуться с места. Ему вообще хотелось отдохнуть, да кроме того, он догадывался, что пойти в село — это, значит, разменять бумажку, да еще и останется ли от этих денег что-нибудь. Ему казалось, что если свяжешься с Мирошкой, то до добра не дойдешь. Мирошка обозвал Трофима бабой и вместе с Абдрахманом и двумя попутчиками-башкирами ушел в село. Немного спустя за ними побежал и мрачный Игнат, долго соблазняемый приглашениями «желтоглазого черта», как он про себя называл Мирошку. Смешно было смотреть на кудлатую низенькую фигурку этого человека, когда он, не утерпев, пустился за скрывшимися в лесу товарищами, выкрикивая их имена и прося обождать его.

— И этот поплелся,— заметил Силантий, провожая глазами Игната.

— Пущай их! — коротко ответил Трофим.— И подружились же Абдрахманка с Мирошкой... так вот и шагу ему ступить не дает: куда Мирошка, туда и он, собачье рыло!..

Силантий с тайным неудовольствием делился своими мыслями; его не особенно радовала дружба, о которой он только что говорил. Когда-то и он души не чаял в Мирошке так же, как Абдрахман, следовал за ним, слушался бойкого товарища, и только за последнее время их отношения приняли иной характер.

Мирошка был одним из тех, которых в народе называют «отпетая головушка». Он не имел ни земли, ни семьи; неуживчивость с миром его родной Петровки вытолкнула его из деревни; случайные заработки, где попало и какие попало, сделали его бродяжкой; отношение людей к нему, как к опасному бездомнику, обозлило его,— и только своеобразная прелесть бродяжества не изменяла ему, а, напротив, увлекала его все больше и больше.

Под влиянием Мирошки Силантий покинул деревню и отправился со своим новым другом в город, на «вольные» заработки. Случайность вольных заработков, скитания, голод и холод, встретившие Силантия в новой жизни, несколько разочаровали новичка из деревни, и он подумывал вернуться на родину; но Мирошка, заметив колебание товарища, всеми силами старался поддержать в нем падающий дух. В марте он начал восхищаться наступлением весны, рассказывая о том, как много бывает работы на Белой, когда по реке

потянутся караваны барж и белян, а потом, когда наступит май, закипит работа в лесах. Силантий слушал, верил и утешался. Разочаровался он в Мирошке только после того, как им пришлось уйти с заработков на железной дороге, где они оба занимались распиловкой дров. Мирошка поссорился с подрядчиком, не удержался, благодаря своему характеру, и обругал его, за что тот ткнул Мирошку в грудь. Оскорбленный Мирошка схватил полено и пустил им в обидчика. После этого происшествия оставаться у торговца дров было невозможно. Разделив обиду товарища, Силантий не отставал от Мирошки, и оба они снова пустились в скитания. Целых три недели бездомникам пришлось кое-как проколотиться на берегу реки в ожидании благодатных весенних дней. Весна, впрочем, тоже не обогрела их, а тут подвернулся Иван Кириллыч, нанимавший рабочих на свои промыслы, и наголодавшимся скитальцам пришлось согласиться и перекочевать к лесу, к «Мане-Горе».

Проклиная Мирошку и вспоминая благословенные дни работы на чугунке, Силантий затаил в душе неприязнь к своему прежнему товарищу. Мирошка же и на новом месте завоевал симпатию. Не прошло двух-трех дней, как он обзавелся новым другом в лице Абдрахманки. Этот вольнолюбивый сын кочевой Башкирии, казалось, всколыхнулся за краткое время знакомства с удалым «урусом». Башкирец прямо-таки подражал Мирошке во всем, слушался его, весело хохотал, когда его друг смешил компанию, следовал по его пятам. Мирошка ценил в башкирце эту слепую покорность. Тех же, кто не поддавался его влиянию, он как будто не замечал или язвил таких крепких людей, делая из них мишень для своих насмешек и издевательств. Так он относился теперь и к Силантию.

— И озорник он... Мирошка-то! — говорил Силантий Трофиму, когда оба они, по уходе товарищей в село, лежали у костра возле балагана и беседовали.

— А что?

— И-и! Что только он в деревне-то делал: заел всех и стариков в грош не ставил. На сходке лиц или что там по мирскому делу — первый горлодер. И бабу-то свою вконец замучил.

— Бабу? Ишь ты!

— Неладно у них что-то... В солдаты-то он пошел — одна девочка была, а вернулся — ан черноволосенький парнишка бегает... С этого и пошло...

— С этого и пошло?

— Да, с этого... «Уходи,— говорит,— от меня к полюбовнику, а мне тебя не надо». Выла баба, в ногах валялась,

да что ты с ним, с этаким поделаешь? Бросил он тут все, и хату, и хозяйство да и ушел. Прошатался невесть где, верно, года два, потом вернулся, помучал бабу и опять пошел. И меня-то дьявол смутил...

— Что ж, и пошел?

— Чего же сделать? Пошел.

Беседовавшие смолкли. Незаметно подкравшаяся ночь успокаивала их, утомленных за день, костер обогревал, душу покоило сознание, что часть трудной работы кончена. Силантий скоро заснул, не спалось только Трофиму. Обрывки дум тревожили его голову: то Мирошка вставал перед ним под впечатлением рассказа Силантия; то вдруг его начинала тревожить мысль, что и ему, быть может, придется испытать то же, что и товарищу: безработицу, голодовку и новые искания заработка.

Трофиму припомнился день, когда он впервые пришел на промыслы Ивана Кириллыча. Вспомнил он старика Сидора Прохорыча и его речь о том, каким надо быть, чтобы жизнь не заела. Мирошка представлялся ему именно одним из таких счастливцев, о которых говорил угрюмый старик, и в нем невольно воспиталось уважение к этому рыжему человеку с солдатскими усами и зоркими глазами.

Костер потухал. Наступила угрюмая полночь в глухом лесу. Глухо ныла душа Трофима в этот час ночи, вдали от людей... Ему вдруг припомнилась деревня, семья, жена... Острые мурашки пробежали по его спине, когда на память ему пришел случай из жизни Мирошки. «А что, если и моя Авдотья?» — задался он вопросом. С этой новой тяжелой думой Трофим и заснул.

На другой день, вечером, в становище промысловых случилось необычайное происшествие. Никогда, вероятно, ни одна в мире женщина не оставляла следов своих ног на берегу речки, где сооружались прудки, и вдруг в глуши леса появилась низенькая, тщедушная старуха в отрепьях, в полинялом платке на седых космах и с морщинистым, темно-бронзовым лицом. Это была жена Нурея. Появление ее в становище было очень кстати, потому что старик Нурей заболел и вторые сутки не выходил из балагана, мало ел, жаловался на боль в пояснице и в голове и как-то безучастно смотрел на все совершавшееся вокруг тусклыми, усталыми глазами.

Дня два тому назад почти все промысловые были свидетелями того, что произошло с ним. Вскоре после обеда старик катил по доскам тачку, нагруженную землею, и, сгибая

спину под тяжестью груза, тяжело дышал. На половине пути он вдруг опустился на колени, ухватился за поясницу и тихо простонал: «О, алла, алла!» Голова его свесилась на грудь, из носа и изо рта хлынула кровь, орошая обнаженную загорелую грудь башкирца. Кто-то подбежал к нему, стараясь приподнять ослабевшего за руку, но старик не в силах был держаться на ногах. Товарищи перенесли больного в тень густой, развесистой ели, кто-то принес воды, напоил старика, омыл его лицо, и он остался под деревом одиноким. Вечером Нурея перевели в балаган и уложили. Всю ночь и следующий день он стонал тихо и жалобно, по временам умолкал, засыпая, а потом снова слышались его стоны. Нурея жалели все, да и вообще к нему относились хорошо, уважая его годы и уживаясь с его тихим, безобидным нравом. С особенным вниманием относились к Нурею рабочие из башкир: свое моленье начинали они только после того, как старик поднимет к лицу свои заскорузлые руки и произнесет молитву. Даже Валей относился к Нурею иначе, нежели к молодым своим единоплеменникам.

Весть о болезни Нурея дошла до Ивана Кириллыча. Пожал плечами купец, покосился злыми глазами в сторону балагана, где лежал больной, и насмешливо, сквозь зубы, процедил:

— А то, старый хрыч, туда же, с другими, бунтовать!..

На другой день болезнь старика стала каким-то обычным явлением; о нем не говорили, и, прислушиваясь к стону больного, никто не выражал своего сочувствия тяжелым вздохом, и только немногие считали своим долгом подвинуть к старику чашку с кашицей, дать ему воды или сунуть в трясущуюся руку кусок хлеба.

Нурей нуждался в уходе и сочувствии, и лицо его выразило радость, когда он увидел жену. Она подошла к больному, покачала головою, наклонилась к его изголовью и что-то проговорила, прислушиваясь к слабому низкому голосу мужа.

Наступала ночь, и вместе с ее сумраком голову Трофима осаждали сумрачные думы. К этому, быть может, располагала и природа, вдруг омрачившаяся. Безоблачное до сих пор небо теперь было завешено сплошными серыми тучами. Подул ветер, и до того спокойный лес затрепетал, зашумел, словно тысячеголовое чудовище: высокие, стройные ели покачивались остроконечными вершинами; листва берез и лип шумела, то затихая, то вдруг заглушая все голоса ночи... Костры горели трепетно... Рабочие попрятались по балаганам, прикрылись кафтанишками и, молча, без шуток, без

говора, ожидали не то покойного сна, не то лесной грозной бури.

Трофим улегся ближе к костру, уставился глазами на горящие поленья и, прислушиваясь к стонам Нурея, думал. В глуши леса, в эту мрачную ночь, ему представился весь ужас положения больного. Если бы он, Трофим, заболел,— кто пришел бы навестить его? Трофим посмотрел на небо и подумал: «В какой стороне теперь Епифановка?» — Хмурое небо, вместо ответа, глянуло на него неприветливо. Он уныло посмотрел на зубчатую стену леса. Встревоженный ветром, лес шумел неровно, невесело...

VI

Вечер наступал быстро. На западной части неба, с полудня, повисла тяжелая туча. Когда солнце было еще высоко, она казалась бледно-серой дымкой и еле заметно обрисовывалась над лесом, но вот она сгустилась и разрослась. Беловатые кучевые облака, медленно плывшие в небе, казалось, остановились, поджидая тучу, и скоро потонули в ее однообразном сером фоне; солнце скрылось за краем тучи, и она окрасилась в синеватые отливы. Лес затих, птички смолкли, тени лесные густели... Туча росла: надвигалась гроза... Чуть слышно, где-то далеко-далеко, гудел гром, затихая и замирая... В лесу становилось еще тише...

— Эка! Марит-то как! — восклицал Прокофьев, сняв картуз и отирая платком потную лысину.

— Жарко! Ой, жарко! — вторил ему один из промысловых, стараясь багром разместить в прудке только что привезенную липовую кору.

На верхнем, совершенно законченном прудке в это время работали только специалисты по выделке луба и мочала, а землекопы торопились теперь покончить с нижним прудком, где с утра до вечера наблюдал за работой сам Сидор Прохорыч.

— Вон он, батюшка, как погромыхивает! — послышалось новое замечание, когда вдали раскатился удар грома.

— Ничего, воды прибудет! — радовался кто-то.

Благодаря вечеру и приближавшейся туче из леса стали появляться рабочие, спеша вернуться в балаганы до ливня, которого все ожидали: туча положительно страшила своим темно-синим покровом, который то и дело прорезывали тонкие фиолетовые зигзаги. Туча росла и надвигалась, раскаты грома слышались явственнее. Раза два светло-фиолетовая лента прорезала омраченное небо над самыми головами; сумрак леса озарялся мгновенным пламенем, гром обрушивался

страшными ударами... Подул ветер, листва зашевелилась, сухие верхушки елей закачались. Из леса спешили промысловые, с нижнего прудка гуськом бежали землекопы с охапками валежника... Костры росли... Сумрак леса густел, выл ветер, по лесу разносился ропот... Молнии вспыхивали...

— Подбрасывай! Подбрасывай! Зальет! — командовал кто-то, заботясь о костре.

— Подсунь под жердь... лубок-от! — слышалось из соседнего балагана.

Прокофьев немного побаивался грозы и обыкновенно старался в это время быть на людях; он забрался в угол балагана, примостился на обрубке между Силантием и Мирошкой и из своей засады командовал Абдрахманке, который подбрасывал в костер дрова. В лесу в это время творилось что-то страшное: налетевший ливень сплошными потоками заливал балаган, костер, землю; за шумом леса и воем бури удары грома были едва слышны; глаза слепили частые вспышки молний.

— Господи Иисусе Христе, сыне божий! — шептал Прокофьев и крестился; за ним крестился Силантий, Мирошка и Трофим; только Игнат, со своим мрачным, сосредоточенным взором в глазах, был спокоен.

Все вздрогнули. Страшный удар грома, одновременно с вспыхнувшей молнией, разразился над головами. «О-о! — простонал кто-то.— Алла!» Дождь на минуту примолк, но как будто для того только, чтобы потом разразиться еще сильнейшим ливнем, после чего уже ничего не было слышно — ни ударов грома, ни шума листвы... Балаганы стали промокать...

— Ага, старый пес, промок, съежился! — воскликнул Мирошка, уставившись глазами в сумрак. К балагану мелкими и торопливыми шажками спешил Сидор Прохорыч, промокший до ниточки. Старик прямо ввалился в балаган и, сняв мокрый картуз, запыхавшись, пробормотал: «Господи! Господи!» Все молчали.

Полчаса спустя ливень несколько перемежился, и теперь шел ровный крупный дождь; молнии вспыхивали реже, гром гудел глуше и уже в стороне.

— А вот я хочу тебя спросить, Сидор Прохорыч, даст нам завтра Иван Кириллыч расчет аль нет? — спросил Мирошка после продолжительного молчания.

— Пойди, у Ивана Кириллыча и спрашивай! — отвечал тот.

— Оно все одно — ты у него голова, знать должен...

— У Ивана Кириллыча своя голова...

— Это верно,— согласился Мирошка.— А по-моему, следует завтра получить с него деньжонок-то...

— Следует, так и получишь. Ты думаешь, большая охота с вами валандаться?

— Прудки-то мы вам оборудовали... верно, есть охота,— с насмешкой отвечал Мирошка.

Из леса послышался ровный, тягучий шум, поминутно усиливавшийся. Сидор Прохорыч насторожил слух, потом быстро сорвался с места и выскочил из балагана.

— Прудок размыло! Эй! Ребята! — закричал он, потонув где-то в сумраке вечера. За ним следом побежали Прокофьев, Валей и несколько рабочих. В соседних балаганах также поднялась суматоха, говор и брань. Слабыми, ничтожными казались все эти человеческие голоса в сравнении с грохотом лесной бури, все еще не умолкнувшей, хотя и ослабевшей, и странными, беспомощными казались люди с их попыткой побороть разыгравшуюся стихию. Люди, однако, спешили, кричали, толкались, хватались за жерди, за лопаты, забыв, что с этими мизерными орудиями труда бесплодна борьба с капризом мощной природы, которая, казалось, мстила людям. Зачем они ворвались в девственный лес с топорами, пилами и лопатами, зачем окропили чистую землю своим потом, зачем огласили тишину леса своим говором, смехом и отвратительной бранью!?.

На прудке в это время происходило нечто ужасное. Поток воды смыл верхний покров земли, каменьев и хвороста и расшатывал теперь толстые косяки, в которых покоились водоспуски. Кто-то, с опасностью для жизни, по колено в воде, добрался до водоспусков, потянул за блоки, и толстая, массивная доска поднялась. Вода ринулась в свободный проход, и этим были предупреждены более печальные последствия катастрофы. Только после этой отважной догадки кого-то из рабочих все поняли, в чем спасение земляного сооружения, на которое затрачено столько сил и труда. Сидор Прохорыч с ревом и гиканьем бросился на нижний прудок, призывая за собой людей, чтобы и здесь предупредить катастрофу.

А дождь по-прежнему лил, лес стонал, в отдалении все еще вспыхивали белые молнии...

Насколько грозна и тревожна была минувшая ночь, настолько тихо и ясно было утро следующего дня. Вчера преждевременно потухшее, скрывшееся за тучами солнце сегодня выплыло на безоблачное небо, яркое и ясное. Лес, встрево-

женный за ночь бурею, теперь стоял спокойно и, отмытый дождем, казался еще зеленее...

С раннего утра на прудках появились Иван Кириллыч и Сидор Прохорыч. Дядя и племянник прошли на плотину верхнего прудка и остановились перед картиною разрушения. Плотина хотя и пострадала от ливня, но не настолько, чтобы стоило приходить в унынье: требовались только лишние два-три дня, чтобы забить промоину и укрепить верхние слои земли. Тем не менее, Иван Кириллыч развел руками, вздохнул и печально осмотрелся по сторонам. Озабоченных лесопромышленников окружили не менее озабоченные специалисты по выделке луба и мочала: пострадавшая плотина печалила их, так как упавший уровень воды не затапливал теперь гигантских трубок коры, снятой с липы.

Скоро на плотине столпились все рабочие и землекопы. Больше других говорили Иван Кириллыч и Валей; старик Сидор Прохорыч только изредка вставлял свои замечания, зато его речь была какой-то безапелляционной и резюмирующей рассуждения других.

— Ну, делать нечего — сильнее бога не быть! — наконец промолвил он и махнул рукою: — надо приниматься за дело,— продолжал он, и снова, но теперь уже энергично взмахнув рукою, громко воскликнул:

— Эй, ребята, за тачки! Живо!

Толпа заколыхалась. Специалисты отступили и насторожились, уступая дорогу тем, над чьим трудом так безжалостно надсмеялась капризная природа. Валей заволновался и принялся что-то приказывать своим подчиненным, но голос Мирошки прервал его речь.

— А мы, Иван Кириллыч, насчет деньжонок хотели бы поговорить,— начал он спокойно.

— Про какие там деньжонки? Ты видишь — работать надо,— огрызнулся Иван Кириллыч и покраснел.

— Оно так-то так... это мы видим... а только лучше бы уж рассчитали нас, а эта работа по другому счету пойдет...

— По какому другому!? — побледнев, воскликнул Иван Кириллыч.

— По другому: потому, мы рядились прудки запрудить, а это уж выходит другая работа,— настаивал Мирошка, а вместе с ним заговорили и другие.

— Да что вам надо-то? Что? — наступал лесопромышленник.

— Расчет, говорим, надо,— неожиданно для всех вставил Игнат. Иван Кириллыч покосился на него и сплюнул в сторону.

— А вот поправите прудок — и деньги получите,— вста-

вил все время молчавший и насупленный Сидор Прохорыч.

— Айда, работай! Сява там расчет! — горячился Валей и что-то забормотал по-башкирски, обращаясь к своим единоверцам.

Разговор затянулся. Иван Кириллыч и его дядя все более и более горячились благодаря упорству и единодушию землекопов; последние также не могли спокойно обсудить жгучего вопроса: за все события последнего времени они поняли, что за гусь Иван Кириллыч; они понимали также, что их руки теперь нужны лесопромышленникам, и потому настоять на принятом решении удобно. Иван Кириллыч, с своей стороны, догадывался, насколько невыгодна его роль, а довести дело до того, чтобы землекопы отказались поправлять плотину, было совсем невыгодно, так как в условии со специалистами был пункт о неустойке, которую обязан был уплатить Иван Кириллыч, если их работа остановится по причинам, не зависящим от них.

Ничем не покончив с рабочими, Иван Кириллыч удалился в лес в сопровождении дяди, Валея и приказчика, и там между ними состоялось совещание, результаты которого и были объявлены землекопам. Лесопромышленники решили выдать половину заработка каждому, пообещав окончательно рассчитаться после исправления плотины. Присутствовавшие весь этот день на работе племянник, дядя и Валей, казалось, мстили буянам, не отходя от них, понукая к работе и решительно не давая отдыха. Особенно трудно пришлось Нурею, еще не совсем окрепшему после недавней болезни; в полдень следующего дня старик окончательно обессилел и снова слег, вызвав по своему адресу проклятия со стороны рассвирепевшего лесопромышленника.

Когда, через два дня, плотина была исправлена, и сам собою возник вопрос о расчете, Ивана Кириллыча на прудках не оказалось. Рабочие приступили к его дяде.

— А я что вам,— Иван Кириллыч, что ли? Идите к нему и говорите,— спокойно и холодно отвечал старик.

Рабочие немного поволновались и направились в контору, в надежде встретить Ивана Кириллыча, но его там не было. Скоро, однако, выяснилось, что он уехал в ближайшее село по делам. Сидор же Прохорыч объявил рабочим, что прудки нельзя считать законченными, так как после катастрофы они решили несколько расширить плотину и укрепить земляную насыпь сваями. В тот же день на прудках появился Иван Кириллыч; на вопрос о расчете он ответил то же, что рабочие слышали от его дяди.

— Верно, все лето будем тут... поправлять-то? — возражали землекопы.

— А вам не все равно? Деньги зарабатываете,— возражали в свою очередь предприниматели.

— Деньги-то больно плохо получаются.

Опять поднялись новые переговоры. Иван Кириллыч старался доказать, что прудки не закончены; рабочие же с ним не соглашались и настаивали на расчете. Долго тянулись и эти пререкания, но на этот раз победил лесопромышленник. Присутствовавшие при разговорах специалисты по выделке луба и мочала подвели землекопов. Один из них, рыжебородый мужик, с бородавкой на щеке, заявил:

— А вот что я вам скажу, Иван Кириллыч: не хотят они работать — так и бог с ними: это дело мы и сами справим.

— А и то, Роман Иваныч, правду говоришь — что с ними спорить! — ухватился за такой чудесный исход обрадованный лесопромышленник.

Забастовавшая толпа землекопов дрогнула от такого неожиданного исхода, и первое время никто решительно не знал, с чего начать, чтобы одержать победу. Сидор Прохорыч выдвинулся вперед и, сдвинув на глаза картуз, громко проговорил:

— Ну! Кто хочет работать — отходи вправо; кто не хочет — иди куда знаешь!

Землекопы безмолвствовали; эта команда окончательно смутила их. Иван Кириллыч между тем вместе с Валеем и рыжим Романом Иванычем, отошли на середину плотины и принялись совещаться по поводу новой работы. Больше часа длилось это совещание, результатом которого было то, что некоторые из присных Романа Иваныча отправились в лес с пилами и топорами.

— Что же стоите? — обратился к землекопам Сидор Прохорыч.— Никто еще не надумал?

Рабочие молчали.

— Вот вам час на совет; кто не явится — убирайся!

— А вот вы разочтитесь, тогда мы и поговорим! — возражал кто-то из толпы, обескураженный поведением специалистов.

— Закончите прудки — и расчет получите,— вставил Иван Кириллыч.

— Труден расчет-то!..

— А труден, так убирайся! — Иван Кириллыч злобно посмотрел на Мирошку.

— Уберемся, когда рассчитаемся,— возразил тот.

— Получил бы и ты расчет, если бы ты не бунтовал,— урезонивая, говорил старик.

— А теперь вот и подождешь,— вставил Иван Кириллыч.

Сидор Прохорыч и племянник направились по дороге к конторе. Немного спустя землекопы догнали их в лесу и остановили. Поднялся гам и шум. Раскрасневшийся Иван Кириллыч размахивал руками; его узенькие, вспыхнувшие злобой глазки перебегали с одного на другое из ненавистных ему лиц, губы дрожали, на лбу налилась красно-багровая жила.

— Давай расчет! — кричал Мирошка.

— Акса давай! Собака! — крикнул Абдрахманка и, сдвинув на затылок свой тюбетей, ринулся к Ивану Кириллычу и ухватился за рукав его поддевки. Лесопромышленник рванулся в сторону и взмахнул палкой.

— А вот этого не хочешь, собачья голова? — твердо проговорил Сидор Прохорыч, выдвигая по направлению башкирца дуло револьвера.

— Стреляй! Ну, стреляй! — кричал башкирец, сделав шаг и растопырив руки.

Дядя и племянник тихонько пошли по дороге. Старик то и дело озирался и шел сзади племянника, который тяжело дышал и, сняв фуражку, опахивал ею свое красное лицо.

— Стреляй... Собака!.. Стреляй!...— бормотал следовавший за ними Абдрахманка. В эту минуту он был ужасен. Лесопромышленники скрылись за поворотом дороги, а он все стоял с поднятыми кверху руками и что-то бормотал сдавленным голосом.

— Шайтан, не лезь под пулю-то!.. Мы им дадим себя знать! — проговорил подошедший к нему Мирошка, но башкирец отдернул руку, за которую уцепился было его товарищ, и снова принялся бранить скрывшихся в лесу купцов.

— Силантий! Пойдем, что ли? — приставал Мирошка к парню, который порешил не следовать за своим прежним товарищем.

— Нет, ступай уж, я тут останусь,— отвечал Силантий.

— Смотри — жалеть будешь!

— Что бог даст, а уж не пойду: будет, помаялся.

— Ну, черт с тобой,— оставайся! Работай тут, набивай мозоли-то, а расчет придет — —волком взвоешь.

Мирошка презрительно осмотрел Силантия, лежавшего в балагане, и отвернулся в сторону. Тут же, в другом углу балагана, Трофим укладывал в мешок свои немудреные пожитки: рубахи, сапоги, непочатую четвертку махорки. Слегка вздохнув, он тихо промолвил:

— А мы, верно, пойдем...

Все молчали...

— Гайда, Силантия! Земляк бить она тебе, Мирошка-то! — громко воскликнул Абдрахманка.

— Ладно, ступай, а я останусь...

Силантий повернулся на спину, отбросил в сторону какую-то веточку, которую мял в своих пальцах, и неподвижными глазами уставился на прудок. Несмотря на категорический отказ последовать за Мирошкой, он все же продолжал колебаться: его и тянуло из леса, и вместе с тем вспоминались невзгоды и неприятности, которые пришлось пережить в скитаниях с этим «желтоглазым».

— Ну, а ты чего нос-то повесил? — обратился Мирошка к Трофиму и тронул его за плечо.— А? Трофим?

Трофим молчал.

— Гайда, Трофим!.. весела будет. Уфимка гуляем,— улыбаясь, говорил Абдрахманка...

Наступила ночь. Горели костры. Говор в балаганах стихал: промысловые ложились спать. Над лесом, направо, показалась молодая луна. Старательно обернув онучами ноги для предстоящего трудного путешествия, подвязав за спины котомки и заткнув за пояс топоры, Абдрахманка, Мирошка и Трофим оставили балаганы промысловых. Проходя мимо специалистов, которые спали теперь крепким, здоровым сном, Мирошка со злобой в глазах осмотрел фигуры спящих, залитые красным светом костров, и что-то шепнул Абдрахманке; тот мельком оглянул балаганы и ярко мерцающие костры,— и по лицу его расплылась улыбка, обнажив белые хищные зубы. Все время, пока путники шли по дороге к нижнему прудку, Абдрахманка и Мирошка о чем-то совещались вполголоса, а сзади них тихо брел Трофим, с головой, склоненной на грудь. Поравнявшись с плотиной нижнего прудка, Мирошка приостановился и насторожил слух. Листва чуть слышно шелестела, негромко шумела вода...

Мирошка и Абдрахманка, вооружившись громадными жердями, спешно вошли на середину плотины. Мирошка принялся выбивать землю у толстой сваи, на которой покоился один конец водоспуска, а Абдрахманка разворачивал камни и хворост, составлявшие верхний слой плотины.

— Трофим! Ты что, черт!

— Гайда, гайда! Эй! — одновременно закричали на товарища Мирошка и Абдрахманка, и Трофим, как загипнотизированный, принялся делать то же, что и спутники. Работа была нелегкая, но в людях, решившихся на нее, проснулась какая-то невероятная энергия. Слышался треск хвороста, шорох земли, падавшей по откосу, и всплески воды, когда с высоты двух сажен в воду падали громадные камни. Скоро часть плотины около водоспуска была разобрана, и вода начала протачивать промоины около свай. Абдрахманка, Мирошка и Трофим — все разом — раскачивали теперь сваи,

и вода, вечно жаждущая свободы, помогала им. Когда были выбраны доски, вода со страшным шумом ринулась с уступа, увлекая за собою землю, хворост, камни и те доски, которые раньше преграждали ей путь.

— Ну, айда! в лес! скорее! — командовал Мирошка, и скоро в лесу, слабо озаренном луною, пропали три спешно удалявшиеся фигуры.

Всю ночь пробродили путники по лесу и только перед утром дошли до Уфимки. Утро было ясное и теплое. Серые клубы тумана носились над рекою, лес пробуждался. Только что поднявшееся солнышко озаряло косыми лучами дикий, безлюдный ландшафт лесной Башкирии. Путники остановились на откосе, осматривая широкое и гладкое ложе реки с гористыми берегами, поросшими густой чащей леса. На другой стороне реки, около балки, виднелся причаленный к берегу плот; какие-то люди сидели у огня на песчаной отмели; синеватый дымок поднимался от костра и, излучившись в воздухе, спускался к воде, расстилаясь густой сплошной пеленою.

— Эй-эй! Ребята! Лодку подайте! — крикнул Мирошка. Голос его оборвался; он пристально посмотрел за реку и, узнав в людях башкир, обратился к Абдрахманке.

— Абдрахман, кричи им по-своему, что, мол, лодку дайте, на ту сторону перебраться.

Взвизгнув, Абдрахман приложил обе ладони рук ко рту, устроив из них трубку, и медленно передал собственное и своих товарищей желание. Речное эхо повторило последние звуки его речи, но никто из плотовщиков не двинулся с места, не прерывал завтрака, которым все были заняты.

— Кричи, Абдрахман, мол, в деревню Заикину идем с лесных промыслов,— учил товарища Мирошка,— мол, с промыслов Ивана Кириллыча, богатого купца, идем... Кончили, мол, всю работу-то... Ха-ха-ха! — он дико захохотал и глянул в лес, на тропинку, по которой они вышли к реке. Эхо повторило его саркастический хохот и смолкло.

Абдрахманка снова принялся кричать на этот раз еще сильнее, повысив голос и растягивая слова. Наконец люди с того берега вняли словам башкирца, и полчаса спустя путники были уже на той стороне реки. Закусив вместе с плотовщиками, Абдрахманка принялся переводить своим единоверцам то, что диктовал ему Мирошка. Последний просил плотовщиков взять их всех с собою на плот с тем, чтобы доплыть до Бичуринской пристани, до которой от места стоянки было

верст сорок. В благодарность за это Мирошка предлагал им помощь всех троих в управлении плотом. Плотовщики недолго колебались, так как по опыту знали, как трудно справиться с громадным «грузовым» плотом на волнах быстрой и извилистой Уфимки...

Ясный майский полдень. Чистое, прозрачное небо красовалось в вышине, и только одинокие белые тучи, озаренные лучами солнца, скользили по его своду. Река в рамке горных лесных берегов быстро катила свои волны и, как щепку, несла громадный плот вниз по течению.

Абдрахманка и Мирошка стояли возле одной бабайки на носу плота и управляли его движением, тогда как другие плотовщики вместе с Трофимом гнули спины около двух других бабаек на противоположном конце плота. Река в этом месте делала частые излучины и, суженная скалистыми берегами, считалась небезопасною.

Но вот уступы гор оборвались, отодвигаясь в глубину берега, а к реке подползла широкая и глубокая долина, убегавшая вдаль. Мирошка взглянул на эту долину и узнал ее. Широкая, окаймленная горами, застланная сплошным ковром леса, она манила взор своим простором. А далеко, в конце ее, как гигантская шапка, высилась гора. Мирошка узнал «Ману-Гору», улыбнулся и тихо промолвил:

— Прудок-то у Ивана Кириллыча теперь, верно, весь сбежал.

Абдрахманка усмехнулся, но промолчал. С улыбкой на лице Мирошка еще раз глянул на мохнатую «Ману-Гору», а потом уставился глазами вдоль реки.

Быстрая, озаренная солнцем, катилась она в своих высоких берегах, окутанная нежной дымкой, далеко-далеко сливавшейся с синевой необъятного горизонта. Плещутся ее светлые волны... и все, что повиснет над зеркальною гладью, то отразится; что упадет на нее, то она обнимет, будто лаская, и понесет, будто суля в далеком синем море и простор, и свободу, и частье...

БЕЛЫЙ ВОЛК

Лежат в белые саваны закутанные холмы и балки. В синеватой дымке тонут далекие, темные леса. В небе тянутся сплошные белые пушистые облака. Уходят к темным лесам узкие, излученные дороги, с ухабами и с вешками по сторонам. Темнеют башкирские хаты под белыми от снега кровлями, и только минарет мечети, как длинный и большой палец

самого Аллаха, тянется кверху, напоминая правоверным о небе, о Боге...

В глухие часы ночи, в темные, голодные зимние ночи, воют в лесах и на полях серые голодные волки...

И отзываются на их страшный вой голодные деревенские собаки...

И тянутся долгие зимние ночи, храня тайны чьих-то ночных дум, тайны сновидений... И никто не узнает, каковы эти думы и сновидения. Только кем-то надуманные легенды и рассказы останутся об этих глухих голодных ночах...

А уйдет долгая зимняя ночь, сменит ее утро, холодное и серое, и опять на улице, занесенной снегом, появятся люди. И никто не узнает их дум, никто не отгадает их сновидений...

Загудит, застонет на вышке минарета голос муэдзина, призывающего правоверных к молитве, и начнется жизнь нового дня.

Однажды проснулся я в такое же холодное зимнее утро и слышу далекий и глухой призыв чуждой и непонятной мне молитвы.

И вижу я — стоит на конце нар старик Мустафа, стоит на расписном коврике и молится, обратив лицо свое к далекому Востоку. Вот он стоит на коленях, выпрямив спину и слегка закинув назад голову. Руки его вытянуты вдоль колен и пальцы сомкнуты и вытянуты, а глаза устремлены куда-то в темный простенок между окон, и что-то шепчут старческие, бледные губы. Вот он поднялся на ногах, выпрямился во весь рост и опять быстро упал на колени. Закрыв лицо ладонями, согнул спину и припал головою к нарам. И снова выпрямил спину, и снова поднял голову... И читаю я в его больших серых глазах тихое, благоговейное спокойствие...

О ком, о чем он молится — не знаю я... Но я чувствую, что и на мою душу спустилось бы благоговейное спокойствие, если бы я умел молиться моему Богу...

Кончил Мустафа молиться и вышел из избы. Бледный рассвет глядел в окна, а из сумрака утра все еще неслась чуждая мне, непонятная молитва муэдзина...

Два дня мы с Мустафой ходили по хатам башкир и выясняли «кормовое довольствие» до сих пор не известных мне молчаливых и спокойных голодных людей. Обошли хат тридцать, опросили всех, и я занес в ведомости имена неизвестных мне мужчин, женщин, стариков, детей. Заполнил я каждую клеточку то цифрами, то крылатыми словами: «нет»,

«не имеет», «не родилось», «пала лошадь от голодухи», «продал овец» и т.д., и т.п.

А потом мы, прозябшие и сами голодные, вернулись в хату сельского старосты поздно вечером и принялись отогревать себя чаем.

— Вся работа кончал? — спросил меня Мустафа, ломая русскую речь.

— Все кончил... завтра надо ехать в Разбахтино,— отвечал я.

Усмехнулся Мустафа в углы своих бледных губ и сказал:

— Пиши... пиши... волость бит (ведь) все писарь пишет... а башкир умирает... умирает... ульган, значит, по-нашему...

— Умирает? — спросил я, и это слово сорвалось с языка как-то нерешительно, как будто стыдно мне было произнести его.

— Ульган,— повторил башкир.

И он рассказал мне о случаях смерти от голодовки и в их деревне Училлях, и в Разбахтино, и в других селениях в округе верст на сорок или пятьдесят.

Занес я в свою записную книжку содержание этого бесхитростного рассказа и не знал, о чем еще надо спросить сельского старосту. Сидел на нарах, сложив ноги калачиком, по-башкирски, пил горячий чай с ромом и молчал. Молчал и Мустафа.

А потом пристально посмотрел мне в глаза и спросил:

— Вот сява я хотел тиба спросить: какой день мука, акча (деньги) наша деревня придет?..

— А вот вернусь я в город, передам ведомости в комитет, а там скоро и муку, и деньги вышлют...

Опять усмехнулся башкир, но ничего не сказал. Сидит молча, смотрит на пол и о чем-то размышляет. А потом вдруг тряхнул головою, сдвинул на затылок бархатный с шитьем тюбетей и спросил:

— Долго, бит, бульно это?.. Народ сапсем умирает!..

Смотрю я в его большие серые глаза и молчу. Как молоток стучит мне в голову одна и та же мысль, и знаю я, что пока я объеду три волости, пройдет недели три, а то и месяц. За это время, действительно, люди могут умереть от голода или заболеть цингой или тифом. Но что же я могу сделать?

Точно обиженный мною, вышел Мустафа из избы. Сказал, что пойдет запереть скотину в хлевах. Тихо в избе, и сумрачно, и холодно.

Подхожу к окну, выходящему во двор, гляжу во мглу ночи. Белеет за окном снег, холодом веет от темных стекол окна. Должно быть, за кровлей сараев поднимается луна: мутно-

белым светом залито небо там, за этой кровлей, под шапкою толстых слоев снега.

Скрипнула дверь из сеней. На ступени крыльца и на снег упала полоса света. Это Мустафа вышел из сеней с фонарем в руках. Вот он идет двором, направляясь к сараям и хлевам. Темным пятном двигается его фигура, в руке дрожит свет фонаря. Потух огонек, как звездочка, прикрытая набежавшим облаком: Мустафа скрылся под навесом сарая.

И пока он бродил по двору, я стоял у окна и прислушивался, не скрипнут ли ворота, не залает ли где-нибудь собака, не отзовутся ли строгим, размеренным звоном часы, маятник которых так медленно отбивает минуты?.. Тягостные чувства будила эта тишина. Как будто и вправду все население Училлей давно уже вымерло, не дождавшись комитетских денег и муки. И остались в живых только мы с Мустафой. Я хочу отыскать что-нибудь руководящее в своих думах, а он бродит по хлевам и замыкает двери большими железными замками.

Вчера он долго жаловался мне на воров и, жалуясь, никого не проклинал. А говорил только о том, какая беспокойная наступила жизнь с осени. Вот опять блеснул во дворе огонек его фонаря, и снова маячит в сумраке его темная, длинная фигура. Вот он подходит к воротам, стучит тяжелым железом, лязгает большим замком. Вот он подошел к двери в бревенчатом срубе у самых ворот. В этой темной постройке помещается его лавочка: Мустафа — местный торговец, продает чай, сахар, керосин, муку, ситцы разные... Вчера он жаловался на плохую торговлю и говорил, что бывают дни, когда совсем не приходится отпирать лавочку, покупателей нет.

Пожаловался он на отсутствие покупателей и опять заговорил о ворах. Лучший товар он перенес из лавочки в заднюю избу, а все же осматривает по ночам, цела ли дверь лавки, не сбит ли замок. Говорил он мне и о том, как в течение ночи не раз приходится выходить из избы, осматривать замки на дверях хлевов и лавки.

В ночных сторожей он перестал верить с тех пор, как несколько лет назад, в такую же голодную зиму, при содействии ночного сторожа у него взломали в лавочке двери, да и из хлева свели овец и лошадь. Лошадь нашлась, ее вернули за приличный выкуп, а товары и овцы так и остались у неведомых воров.

Вернулся Мустафа в избу, притушил фонарь и молча принялся делать для меня постель, взбивая мягкие перины и подушки.

— Что, верно, воров боишься, Мустафа?

— А... шайтан их!..— только и вымолвил торговец. Вынул

из сундука большое и теплое одеяло, бросил на готовую постель и сказал:

— Мягка... тепла будет... спи!..

И молча вышел, убавив в лампочке пламя.

Лежу на нарах с книгой, но читается плохо: бродят в душе впечатления дня и никак не могу разобраться в них... И чувства точно охладели, и мысли словно разбрелись: не могу привести их в порядок и додуматься до чего-нибудь определенного. Единственным человеком, с которым я беседовал за эти два-три дня, был Мустафа, но и он точно не может понять, что творится в его родной деревне и в десятке соседних селений.

Мустафа — сельский староста, лицо должностное, и в силу этого ему поневоле приходится входить в подробности жизни односельчан. Не раз он в течение дня бранил свою должность и восклицал:

— А... шайтан!.. Торговый бит ми селовек... хлеб малама продаем, лошадка, овеська покупаем... и всякий сбруя...

Мустафа — типичный деревенский скупщик. С осени он скупил на базарах хлеб и теперь продает его с громадной прибылью. Скупленный скот держит на хуторе, верстах в пяти от деревни. Хутор охраняют его два сына, а сам он сторожит дом и лавочку.

Все же с какой-то тревогой в глазах и дрожью в голосе рассказывал он мне о том, как скупал лошадей по 10—15 рублей за штуку, коровы шли еще дешевле, а овцы скупались по полтиннику. Не пользоваться случаем он не мог, но его явно беспокоила эта бешеная скупка.

Торговля обещала быть прибыльной, а все же смута пошла в народе, и почти каждый день до его слуха доходили вести то о взломанном амбаре у кого-нибудь в округе, то о том, как угнали лошадь из хлевов какого-нибудь богатея, то согнали со двора овец.

Свои беспокойные думы Мустафа прятал за такими рассуждениями:

— Тащит бедный людя овеська... купи пожалиста, Мустафа!.. и купим. ...Лошадка тащит — купим... Сява делаешь... ашать бит народ хочет... Бедный башкурт, а ашать хочет...

Говорит так, и вижу я: неподвижным, окаменевшим выражением застыл в его больших серых глазах ужас...

Вчера утром я видел, как привели во двор Мустафы худую, лохматую лошаденку и пару овец. Лошаденку привел низенький с темным и худым лицом башкир, в рваном зилене и в одной тюбетейке на голове. Овец пригнала женщина, старая,

с растрепанными волосами, со слезящимися глазами. Смотрел я на этих людей и дивился: как не холодно им на дворе в двадцатиградусный мороз?

Не особенно внимательно осмотрел Мустафа лошадь и овец. Потолковал о чем-то с продавцами, отпер лавку и насыпал в мешки башкира и башкирки муку и сколько-то денег выплатил им за скупленных лошадь и овец.

И не успели продавцы уйти со двора, как увидел я младшего сына Мустафы сидящим на лошади. Отбивая поджарые бока лошади лутошкой, красивый черномазый юноша выезжал за ворота. К себе на хутор угнал Мустафа лошаденку.

— Почем купил, Мустафа? — спросил я старосту, когда он вошел в хату.

— Ай-яй... сапсем дешева! — ответил он, но не сказал, за сколько купил.

Вчера вечером Мустафа рассказал мне старинную башкирскую легенду о белом волке. Лежу я в его хате, при тусклом свете лампочки, и думаю об этой легенде. Книгу читать не могу, а легенда о белом волке занимает мои думы. И мне все хотелось разгадать ее смысл и как-нибудь прицепить ее к жизни, слить ее содержание с тем, что я видел, и с тем, о чем я слышал за долгие дни скитания по голодающей губернии. И в этой легенде говорится о голодающих людях и даже голодных зверях.

Старик Мустафа, деревенский скупщик, рассказал мне эту странную легенду. Как же слить ее содержание с тем, что он делает, с тем, как он думает и чувствует...

Книга была со мною, умная и интересная, и автора ее любил я, а вот не мог читать этой книги. Легенда о белом волке кажется мне и красочней, и содержательней, только я никак не могу постичь глубину глубин ее содержания...

Вот она, эта странная башкирская легенда.

«Хоронятся, прячутся в темных лесах, глубоких балках серые волки, прячутся от света дневного, от дозора человеческого. Рыщут в полях, на дорогах серые волки по ночам... И горят в темноте их голодные глаза, как свечи, которых никто не потушит. Рыщут по полям серые волки табунами, «косяками», как в былые времена бродили по степям башкирские кони... рыщут по полям серые волки и воют от голода...

Белая снеговая поземка стелется по степи, заносит балки и дороги с ухабами, качает засохшие стволы крепких степных трав, треплет вешки у дорог и обдает холодом серых голодных волков, худых, злых, с поджатыми хвостами...

К самым деревням, к сараям и хлевам подбираются волки в глухие зимние ночи. Не увязая в снегу, легкие и дерзкие, подкрадываются голодные волки к сараям и задирают, режут овец и телят. А то и на корову набросятся или на лошадь голодные звери.

Лают, воют, заливаются на деревне собаки, а серые волки ничего не боятся: гонит их голод на ружейный выстрел или на удар дубины или кистеня. А спугнет кто голодных зверей выстрелом или криком — и понесутся они к лесу. Не добегут до леса, остановятся, обернутся и злыми глазами, в которых горят неведомо кем зажженные свечи, смотрят на деревню, занесенную снегом... Постоят, постоят у дороги, а то и лягут, и ждут, когда смолкнет собачий лай на деревне. А смолкнет собачий лай, потухнут огоньки в оконцах, и гуще потемнеет ночь — и волки опять крадутся к сараям и хлевам.

В голодные годы волки бегают по полям целыми стаями: по двенадцати вместе.— Так говорит башкирская легенда.— А тринадцатый волк с ними — белый... Те двенадцать — серые, тонконогие, с поджатыми хвостами, а тринадцатый, белый волк, на крепких и гибких ногах, и хвост у него пушист и толст, как метла...

Белый волк, как атаман, водит по деревням серых волков и точно указывает им, где плохо прикрыты и ухичены сараи, хлевы, где лежат и жмутся от зимней стужи овцы, где коровы, где лошади...

И смолкают деревенские собаки, когда зачуют приближение стаи волков во главе с белым, и прячутся под избы или под плетни, или под телеги, друг на друга сложенные в пустых сараях. И люди засыпают крепким сном, когда приближается к деревне белый волк со своими товарищами...».

Так говорит старинная башкирская легенда...

«А когда опустеют деревенские сараи и хлевы, поедят голодные люди овец или продадут их скупщикам, и уведут те богатые люди овец, коров и лошадей в свои крепкие сараи и хлевы, куда волку не попасть и где целыми ночами сторожат добро люди с ружьями и кистенями в руках... Тогда вот беда и приходит к волкам серым. Рыщут они по полям и лесам и лязгают зубами в жадных и голодных пастях... И еще ярче горят в их глазах неведомо кем зажженные свечи... Тогда и человеку опасно повстречаться с волками...

Рыщут голодные серые волки по полям и грызутся между собою от злости... И вот случается тут лесное звериное чудо. Набрасываются все двенадцать серых волков на тринадцатого, белого, и загрызают его насмерть и утоляют великий свой звериный голод. Набрасываются серые волки на белого, а тот покорно отдает себя на съедение товарищам. И бежать не

пытается, и огрызнуться не посмеет, а покорно отдает себя в жертву звериную... Сам Аллах повелевает белому волку отдать себя на съедение зверям голодным. Посылает Аллах волка белого к серым его товарищам, и водит он их по деревням и указывает, где можно поживиться, а когда оскудеют сараи и хлевы, повелевает Аллах волку белому отдать себя голодным серым товарищам».

Так говорит старинная башкирская легенда...

А за этой старинной легендой тянется из тьмы годов и еще не менее старинная легенда о старике Тавильяре, башкире неведомого селения...

«Никто не знает, когда и где жил этот Тавильяр... Жил себе, чтил священный Коран и ходил в мечеть молиться. И случилось так в те давние годы, когда жил Тавильяр... Случился на земле большой и страшный голод, и стали люди умирать от болезней... Приели люди хлеб, какой был с осени, приели и весь скот, и даже резвых «косячных» лошадей не пожалели...

Великий в те годы был голод на земле! Вся земля голодала! Летом высохли все ключи, и ручьи и реки обмелели. И солнце всходило на чистое безоблачное небо, жгучее и беспощадное, как огненно-красный царь-мучитель... Посохли хлеба... поблекли травы... Напал на леса громадный красный червь, напал и уничтожил узорный наряд деревьев. Начались лесные пожары, и выгорели поля и леса. Выгорела вся земля, жаждущая воды и голодная, и раскаленная палящими лучами солнца, небесного царя-мучителя...

Пришла зима после голодной осени, опустели деревни. И бродили по полям серые волки и поедали своих белых товарищей, как повелел Аллах. Поели серые волки белых — и голода своего не утолили. Бродят около деревень, воют от голода, и горят в их глазах неведомо кем зажженные свечи...

И вот — так говорит старинная башкирская легенда — и вот вышел седой старик Тавильяр на середину улицы и крикнул всем людям:

— Ешьте меня!.. ешьте!.. Сам Аллах пришел ко мне в ночи и сказал: «Иди, Тавильяр, к голодным людям и отдай себя им на съедение... Пусть тебя съедят и будут сыты».

Шарахнулись перепуганные люди от Тавильяра, а он смотрит на всех безумными глазами, в которых так же, как и в глазах голодных волков, горят неведомо кем зажженные свечи, и кричит:

— Ешьте меня!.. ешьте!.. Аллах так повелел...

Не посмели голодные люди съесть Тавильяра. А когда он заснул, ночью к нему опять пришел Аллах и сказал: «Тавильяр, выйди на улицу и скажи голодным людям, чтобы они тебя съели...»

И опять вышел поутру Тавильяр на середину улицы и крикнул:

— Съешьте меня, голодные люди!.. съешьте!.. Так Аллах повелел.

И опять шарахнулись голодные люди от безумца Тавильяра.

И так в течение трех ночей приходил к Тавильяру Аллах, когда тот спал, и приказывал ему пойти и отдать свое тело голодным людям.

И так три дня, по утрам, Тавильяр выходил на середину улицы и кричал:

— Съешьте меня, люди голодные!.. съешьте!.. Так Аллах повелел.

И шарахались от безумца Тавильяра голодные, испуганные люди.

Совсем обезумел старик от горя. А когда пришла ночь, выбежал Тавильяр в поле.

Долго бежал по снежной дороге, и белые вихри развевали его седую бороду и подгоняли его к лесу.

Светила яркая, ясная луна и серебрила белую бороду Тавильяра. И бежала за стариком по снегу его большая и длинная тень...

Добежал Тавильяр до леса и видит — вспыхнули в глазах голодных волков неведомо кем зажженные свечи. Остановился старик, приподнял руки к небу и что-то крикнул... И совершилось волшебное лесное чудо: превратился самоотверженный старик в белого волка.

И бросились на Тавильяра голодные серые волки... И растерзали серые волки Тавильяра — белого волка, и потухли в их глазах неведомо кем зажженные свечи...».

Так говорит старинная башкирская легенда о белом волке...

ВЕЧНАЯ МОГИЛА

Вечная могила... Какой непостижимо страшный образ! В дни войны, когда родина в опасности, хотелось бы чувствовать бодро, хотелось бы быть во власти мечтаний о новой жизни. Хотелось бы думать о победах родного народа и славить будущую свободу, добытую кровью тех, которые нашли вечную могилу на чужбине или у границ родины...

Так и борются в душе два настроения: образ вечной могилы затуманивается образом вечной жизни...

Припоминается мне один рассказ, похожий на древнюю

легенду, а я люблю легенды: в них всегда два образа — вечная могила и вечная жизнь.

Дикарь-башкир рассказывал мне эту легенду-быль, и она записана в моей старой записной книжке от юных лет так, как рассказал он... На вечной могиле старик Нурей обосновал новый образ и назвал его кровной местью... И не он так назвал свое страшное и могучее чувство, а те люди, которые учили его молиться за себя и за своих близких...

Помнится, в те годы, когда я слушал рассказ Нагиба, сына старика Нурея, два образа боролись в моей душе. С тихой грустью я проходил мимо вечной могилы, с тайной радостью я отыскивал в своей душе источник чувств, сходных с чувствами моего рассказчика, седого старика, на лице которого жизнь провела морщины, как символы былых мук и былых побед...

В кабинете деда, над письменным столом, на деревянной подставке из большого узловатого сука сосны стояло чучело большого филина, какие водятся в наших уральских лесах. И это чучело олицетворяло в моих представлениях вечную жизнь и вечную могилу. Два образа сливались в серой неподвижной фигуре, и мне, юному, хотелось разгадать и тайну жизни, и тайну смерти. Я представлял себе, как этот филин, когда был жив, кружился в лесной глуши в темные ночи или сидел на дереве и кричал своим страшным ночным пугающим голосом. А днем, прячась от света, он сидел где-нибудь в дупле и дремал и думал о ночи — стихии его жизни... Мне хотелось представить, как он в часы ночные носился по лесу и ловил маленьких птичек и пожирал их, разбрасывая легкие пушистые перышки маленьких пернатых. И все это было вечной лесной жизнью филина. Но вот его подстерегли и подстрелили, содрали с него шкуру с темно-серыми перьями и сделали из ночного лесного скитальца чучело. Вместо прекрасных, зорких ночью, мистических больших глаз люди вставили в глазные впадины раскрашенные стекляшки, подделанные под глаза... И чучело стало выразителем вечной могилы...

* * *

Дикий сын степей, башкир Нагиб, со слов покойного отца назвал вечной могилой многоводную, быструю речку Дёму. Стоял у грани воды, задумчиво смотрел на темную воду и говорил:

— Бачка (отец) мина бульна умна был... Сестра моя, Фатима, шайтан вода тащил. Бачка Фатима лодка тащил... речка тащил лодка... Бух вода Фатима. Бачка Фатима рука тащил, кусал Фатима рука бачка... Бросил бачка рука Фатима... пош-

ла Фатима река, самый дно... Не видал бульше бачка Фатима, не видал бульше Фатима я...

Странными, своими, особенными словами рассказал башкир Нагиб о том, как утонула в речке Дёме его сестра Фатима.

Любила Фатима степного красавца Сафиуллу, любила и много плакала, когда его погнали на войну. Год прошел, а Фатима все плакала. И еще год прошел — и пришли с войны лихие вести: убили Сафиуллу турки-злодеи. Взвыла Фатима и дни и ночи рыдала. Приходили к Фатиме подруги. Утешали, но плакала она, и подруги вместе с нею плакали по степному красавцу Сафиулле. Приходили к Фатиме старые люди — дядя Нугабулла и старый дед Нухим, но плакала безутешно Фатима и дни, и ночи... Уходила в степь, на дорогу, по которой Сафиулла ушел на войну, и там сидела у дороги и плакала.

И целую зиму плакала Фатима о красавце Сафиулле. Днем не радовало ее солнышко, самоцветными искрами игравшее на ровных степных покровах. По ночам рыданьям Фатимы вторили стоны ночной снежной бури. Исхудала Фатима за зиму, ослабела, притихла и замолкла: из избы не выйдет, а прячется и от своих родных, и от подруг.

Давно умерла мать Фатимы, и некому было утереть слез опечаленной невесты, а отец, старый Нурей, не понимал сердца женского и все сердился на дочь, зачем она так долго плачет о том, кого нет, кто умер.

Стала прятаться Фатима и от отца родного. А пришла весна — одел Нурей насильно дочь свою и выволок из избы. А ему помогал старший сын Нагиб, брат Фатимы. Привели насильно девку на берег речки Дёмы и усадили в лодку. К старому мулле захотел Нурей отвезти свою дочь, чтобы помолился он о ней, чтобы угрозами своими развеял печаль девки.

Отплыла от берега лодка-челнок, утлый, мелкий, пугающий путника. Но крепко держал старый Нурей дочку свою за плечи и руки, и сильно греб Нагиб веслом, чтобы переплыть на другой берег речки.

И вот заворочала Фатима дикими глазами, стала рвать руками рубаху белую и кричать что-то свое, чего старик Нурей с Нагибом понять не могли. Крепко держал Нурей дочку за плечи и руки. Усиленно греб Нагиб веслом... А Фатима все рвалась из рук отца и кричала что-то непонятное...

Ослабел старый Нурей, кричит сыну:

— Булушмяк! (Помоги!).

Бросил Нагиб весло в лодку, двинулся к отцу и сестре, а буйные волны вешней воды понесли лодку вдоль берегов, закрутили ее, потащили лодку к луговым берегам... Словно большой и сильной выросла вдруг Фатима. Встала на ноги, качну-

лась, крикнула что-то непонятное и бросилась в воду... Не пускал старик Нурей руку дочери из своих сильных рук, а она рвалась... Опрокинулась лодка, и Нагиб полетел в воду следом за стариком-отцом и сестрою... Далеко отнесли волны старика Нурея и Фатиму. И больно Фатима кусала руки отца и рвалась уйти в глубь темно-зеленых волн речки...

С трудом выбрались из воды старик Нурей и Нагиб, а Фатима скрылась под водой. И с тех пор никто ее не видел, и трупа ее не вынесла река весною на свои отмели...

Так и пропала Фатима, исчезла, ушла за своим суженым в тайный мир загробной жизни...

С тех пор старик Нурей и прозвал речку Дёму вечной могилой. Поглотили ее воды красивое тело Фатимы, скрыли дочь, любимую, единственную, в водах своих... И стал старик Нурей поклоняться речке Дёме как вечной могиле своей любимой дочери...

Так рассказывали про старика Нурея. Каждый день в сумерки выйдет он на берег Дёмы, к тому месту, где когда-то он и Фатима переплывали вешние воды,— выйдет к речке, постоит, подумает, потоскует и пойдет вдоль по берегу, вниз по течению... И опять остановится на берегу около плачущих ветел и шелестящего камыша и смотрит на воду, в то место, где утонула Фатима...

Крутится зеленая вода над речными омутами, несет щепы какие-то, сучья и листья, крутится, точно совершает свой вековой, не понятный человеку обряд вечного движения.

Постоит-постоит Нурей, потоскует и опустится на колени, и долго молится и кланяется на Святой Восток, и с грустью в глазах смотрит на речку Дёму, вечную могилу красавицы Фатимы...

И умер старик на берегу речки Дёмы, около того места, где утонула Фатима. Вышел жарким летним вечером на речку, чтобы помолиться вечной могиле. Встала, поднялась над ковыльной степью туча черная, бурливая. Долго грохотала вдали громом и разносила по степи грозные волны гула своего. Долго светилась молниями над степью и бросала на чело вольной степи раскаленные стрелы... Подул ветер с лугового берега и принес тучку из степи, и заволок луга речные тьмою и частой сеткой дождя. Стоял Нурей у берега и молился. И ринулась на него стрела неба ненасытного и сразила старика, убила... Потемнел весь Нурей, как туча неба, и упал замертво на песчаную отмель. А не случись этого, не пожалей его небо, долго ходил бы он на берег, тосковал бы о своей любимой единственной дочери Фатиме и плакал бы... плакал над вечной могилой вечными отцовскими слезами.

Кончил Нагиб свой рассказ и не глянул на меня. Только

посмотрел в ту сторону, где утонула Фатима, поглядел и на песчаную отмель, где упал сраженный молнией Нурей.

Было это в ненастный вечер весны. Дул ветер с низа речки и поднимал волны с белыми гребнями... Билась привязанная к берегу лодка шагах в десяти от шалаша, и подошел к этой лодке Нурей. Развязал веревку, подтянул лодку ближе к берегу и опять затянул мертвый узел вокруг толстого дубового кола.

Лежал я в шалаше у потухающего костра и смотрел на Нагиба. Стоял он на берегу около лодки, заложив руки назад, и смотрел на волны. Вижу ясно белые штаны на нем, босые ноги в грязи и с потрескавшейся кожей, вижу его длинную рубаху ниже колен, неопоясанную, серую от грязи и пота... Вижу и его поседевшую бороду, большой с горбинкой нос, низкий лоб, вижу и замазанный старый тюбетей, которым прикрыта его голова. Не вижу только его темных зорких степных глаз, которые так красиво оттенены темными бровями и темными ресницами. Какая дума в этих глазах? Не знаю я...

Вечереет... Солнце опустилось за грань степи. Поднялся туман над лощинами степи, над болотами, в которых дремлют темные кусты низкой лесной поросли. По небу куда-то спешат облака, серые, низкие, грозящие дождем и вешним холодом... Подбрасываю веток в потухающий костер, и серые клубы дыма заносит степной ветерок прямо на меня, застилает дым глаза, пробирается в рот и нос, и я чувствую горечь, а горло что-то щекочет...

Подходит ко мне Нагиб и с улыбкой смотрит на меня: как я протираю глаза, как я отплевываюсь от едкого горького дыма.

— Давай огня бульше, Василий. Ночь бульно холодна будет,— говорит он мне ломаным русским языком.

И вот мы пьем с ним чай темным вечером и ждем, когда придет холодная и темная ночь.

Высыпали на небо звезды, а облака ушли куда-то в даль степи и не исполнили своей угрозы. Теплом весны повеяло из степной дали, и хотелось спокойно сидеть у костра и дремать или прислушиваться к голосам степной ночи на берегу извилистой красавицы Дёмы.

Кричали на отмели кулички, еще не заснувшие вешней ночью, когда так хочется любить и ласкать кого-нибудь. Где-то вдали скрипел коростель... Где-то далеко в степи перезванивали колокольчики, привязанные к шеям сосунков-жеребят.

Молча сидел Нагиб у костра и смотрел в даль степи. А мне хотелось быть во власти того рассказа, который я услышал от Нагиба. Смотрел я на речку, и мне представлялась и Фа-

тима с ее отчаянной решимостью покончить дни свои самоубийством, и старик Нурей, который так старался спасти дочь и потом тосковал по ней, и Нагиб, который дожил до седых волос и сохранил в себе память о вешней речной катастрофе.

— А давно это было? — спросил я.

— Сява? — отозвался Нагиб, очнувшись от задумчивости.

— Давно ли это было, когда умерла Фатима?

— Малайка (мальчиком) я була... сапсем мала-мала лошадка пахал степь... Умирал Фатима, умирал Сафиулла, а старик-атай Нурий сказал мина: «Нагиб, ходи турецкий сторона, режь турка... Турка наша Сафиулла резал, Фатима Сафиулла любил, вода пошел... Ходи, Нагиб, турецкий сторона, режь турка...». Один вера наша, один Бог... Засем турка Сафиулла резал...

Уронил Нагиб эти беспорядочные слова, и глаза его загорелись огнями мести и злобы.

— А когда мина солдат взяли, я сказал русский царь: айда, посылай мина турка!.. Балкан ходил, генерал Скобелев... белый генерал... самый ява дивизия был Нагиб, и турка вот как живот порол... Раненый поля лежит, идем к нему товарищем... Абдулка звался... идем к раненым, режем им брюко... Зачем Сафиулла стрелял? Зачем Фатима вода пошел...

Он бормотал и еще что-то, но я уже не мог его понять. Так ярко горели в его глазах искры мести, так жив он был в эту минуту своей былой местью...

А в небе горели, переливались тихие, молчаливые звезды, как лампады мира... И кулички кричали на отмели. И костер у шалаша горел, не потрескивая, а безмолвно, дремотно... И была такая тихая ночь на вечной могиле. И так ярко жила в душе Нагиба былая месть, и глаза его горели, как звезды, как яркие лампады божеству борьбы и мести.

Г. П. Белорецкий

(1879—1913)

Григорий Прокопьевич Ларионов родился в поселке Белорецкого металлургического завода на Южном Урале, отсюда и псевдоним — Белорецкий. Учась в Уфимской гимназии, выпускал рукописный литературно-художественный альманах, где помещал свои рассказы, очерки и стихотворения. Окончив гимназию с золотой медалью, он поступил в Медико-хирургическую академию в Петербурге. Летние месяцы проводил на практике в станицах Оренбургской губернии и на Урале, часто бывал в родном Белорецке. В своих рассказах и очерках писатель преимущественно изобразил тяжелую жизнь и быт рабочего класса и крестьянства Башкирии.

Политической остротой и злободневностью отличается очерк Белорецкого «Заводская поэзия» (1902), в котором, как отмечала газета «Правда», нашли «выпуклое изображение» «жгучие противоречия капиталистического строя, ...все тяготы рабочего бытия».

В качестве врача Белорецкий участвует в русско-японской войне и получает тяжелое ранение. В книге «На войне» (во второй редакции — «Без идеи»), посвященной русско-японской войне, писатель показал гнилость и продажность реакционного царского офицерства и выразил горячее сочувствие простому русскому солдату. Книга была запрещена цензурой, а автор попал в «черный список», под надзор полиции.

В рассказах «Поздней осенью» и «Летней ночью» Белорецкий создал яркие типичные образы безземельных и обездоленных крестьян Хайридина и Касьяна и на примере их судьбы показал один из путей формирования пролетариата. Описанию степных деревень родного края посвящена повесть «В сумасшедшем доме».

Преследование полиции привело писателя к тяжелому нервному расстройству, и в день празднования трехсотлетия династии Романовых Г. П. Белорецкий (Ларионов) покончил жизнь самоубийством.

ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

Эту осень Семен Косых со своей молодухой Марьей живет не на заводе, а в горах, в глухом и диком Волчьем логу. Он арендует у заводского управления пахотную землю и в качестве арендной платы обязан представлять на завод ежегодно двести коробов угля, который он должен выжечь самолично. Это очень неприятная повинность: выжигать уголь можно только осенью и где-нибудь далеко в горах, верстах в тридцати от завода, так как ближе все леса давно уже вырублены и сожжены. Работать нужно не меньше месяца, и жить все это время приходится в сооруженной на скорую руку землянке, сырой и холодной. Да и самая работа не из легких: надо сложить десяток громадных, сажени по 3—4 в диаметре, куч дров, покрыть их сверху полуаршинным слоем земли и лохом; когда в середину каждой кучи введен огонь и кучи горят, нужно постоянно, и днем и ночью, следить, чтобы они горели равномерно и так же равномерно оседала земляная насыпь каждой кучи на прогоревшие места. А для этого нужно ходить кругом кучи и колотить по насыпанной на ней земле «чекмарем» — тяжелым, пуда в два, деревянным молотком. Кругом сыро, сверху идет, не переставая, мелкий и холодный дождь, при каждом ударе чекмаря работника обдает грязью, дым лезет прямо в лицо... Впрочем, постоянная работа у куч необходима только в течение первых двух недель после их «запала»,— дальше можно ограничиться только дневным уходом. Но надзор за кучами должен быть постоянным почти до самого окончания углесидного сезона: если огонь где-нибудь в середине кучи расшалится и не будет вовремя сдержан, много тогда нужно хлопот, чтобы остановить его. А такие незамеченные и не остановленные вовремя шалости огня дают в результате несколько коробов «недосиду». А за «недосид» полагается серьезный штраф...

Осень выдалась на редкость дождливой и неприятной. Весь сентябрь и половину октября сеялся из свинцовых, бегущих над самой землей и задевающих горы облаков мелкий и злой дождик. Временами он переставал, но его сменяли большие и тяжелые хлопья снега, таявшие при одном соприкосновении с землей, а потом с удвоенной энергией опять принимался идти дождь. С вечера падал на землю туман и делал ненастные ночи еще более угрюмыми и темными. А по утрам он поднимался медленно и тяжело кверху, но останавливался на вершинах гор, чтобы к вечеру опять спуститься в долины. И в Волчьем логу, узкой долине между двумя горами, одной — крутой и высокой и другой — пониже и с пологим скатом, было темно и неуютно. На дне долины бежал сер-

дитый горный поток, целый день удерживавший около себя туман, а на его пологом берегу чернели десять стоящих рядом безобразных куч. Дым от них не поднимался кверху, а стлался по лощине, смешивался с туманом. Около куч днем суетились четверо грязных людей, нередко перекликавшихся между собой злыми и охрипшими голосами. Их крики тоже не поднимались высоко над землей,— казалось, что дождь прибивает их к земле, не давая им подняться над дымом, над туманом. К вечеру люди уходили в черневшую на другом, высоком и крутом берегу ручья, как раз против куч, землянку, и тогда их крики сменялись иными звуками, странными и непонятными, похожими и на человеческое заунывное пение, и на далекий звериный вой, и на жужжанье большого шмеля.

То играл на дудке Семенов работник, башкир Хайридин. Дудка сама по себе издавала слишком слабые звуки, и притом эти звуки не могли почему-то поспевать за всеми изгибами песни,— и Хайридин подпевал дудке еще голосом. От этого звуки становились и громче, и послушнее... Песни Хайридина были дики и бесконечно печальны, и в них, должно быть, совсем не было никакого содержания, кроме тоски, потому что Хайридин тосковал без дум, без желаний, без воспоминаний,— у него болело сердце, ему было тяжело, и его тоска походила скорее на физическую боль в груди. Он давно передумал все свои думы, и от них осталась у него на сердце тяжелая, как камень, печаль. Ей было тесно в груди, она просилась наружу, сжимая сердце, и Хайридин изливал ее в своем пении. И всем, кто слушал его, становилось грустно, тяжело... Сырая, холодная ночь, придавившая густой, как чернила, тьмой лощину, плакала злыми и холодными слезами, а в глухом ропоте бежавшего внизу потока слышались и подавленные рыдания, и проклятия, произносимые кому-то сдавленным шепотом...

Хайридин, вероятно, пел бы каждую ночь напролет, но каждую ночь прерывали его музыку. То вылезет из землянки сердитый Аким, Семенов дядя, сухой мужичонка с деревянной ногой, и крикнет на Хайридина:

— Чего воешь, черт сивый?.. Всю душу вымотал...

То какая-нибудь куча начнет шалить — трещать и шипеть... Это означало, что ее земляная насыпь скоро провалится над прогоревшим местом и над кучей поднимется яркий сноп огня и искр. Тогда Хайридин открывал дверь землянки, кричал внутрь ее:

— Огонь играт! — и бежал к так дерзко нарушившей обычный ход вещей куче. Следом за ним бежали и его хозяева, не исключая и хромого Акима, который спотыкался и па-

дал чуть не на каждом шагу: он, бедняга, мог управлять своей деревянной ногой только когда шел не спеша и не думал о ней... Люди окружали зашалившую кучу и, осыпаемые искрами, в едком, слепящем глаза дыму, бросали на прогоревшее место сырые поленья и таким образом подавляли расходившееся пламя. Но случалось и так, что «шалить» начинали две-три кучи сразу,— тогда дело оказывалось серьезным и трудным, особенно если поднимался ветер. Тогда нелегко было забросать пламя сырьем, и только после нескольких часов упорного труда люди уходили к своей землянке, угоревшие, опаленные, со слезящимися глазами, все в копоти... А через час-другой приходило утро, и нужно было опять идти к кучам и стукать по ним чекмарем.

Нелегко доставалась Семену его «ренда земли»; нелегко доставались и Хайридину те два рубля, что он получал за углесидный сезон.

В землянке тепло, но душно и дымно. Она не больше кубической сажени, и добрую треть ее занимает «чувал», устроенный в одном из ее углов. Это — жалкое подобие печи, сложенной из дикого камня и не имеющей трубы. Шувал вечно дает угар, а потому обитатели землянки спят тяжело и неспокойно и поднимаются утром с тяжелыми, больными головами.

Темно. День был очень неспокойный: огонь в кучах «шалил» то и дело, и работники устали крепко. Однако им не спится. Аким возится и поминутно кряхтит — у него болит поясница и ноют кости. У Семена не болит ничего, но ему мешает спать забота: ему кажется, что кучи не дадут нужного количества угля, и с него за «недосид» возьмут штраф. В прошлом году ему этот штраф не был страшен: он был один, а известное дело — одна голова не бедна. А теперь у него молодуха и какое ни есть, а все же хозяйство. Арендованная земля дала плохой урожай, так что ее не стоило бы и арендовать, «кабы знато». Кучи отняли полтора месяца, и денег нет ни гроша... Как тут обернешься? И бес его надоумил жениться... Нешто рабочему человеку в нынешнее время можно жениться? Это баловство не про него...

У одной Марьи веселые думы. Она вспомнила, как намедни скатился с горы хромой Аким и как поспешно мелькала в воздухе его деревяшка. Она не может удержаться от смеха, прыскает и смеется весело и задорно. Смех у нее чистый и звонкий, и когда она смеется, то, глядя на нее, нельзя не улыбнуться: так хорош и заразителен ее смех. Но на этот

раз он не производит обычного эффекта — Семен сердито тычет ее локтем в бок и так же сердито ворчит на нее:

— Чего ржешь?.

Марья успокаивается, но через минуту тихонько спрашивает Акима:

— Дядя Аким... а, дядя Аким... Ты спишь?

— Нету... Чего тебе?

Марья опять прыскает и со смехом в голосе шепчет:

— Мне мамка сказывала, что ты так с клюкой и родился...— И вся трясется от сдерживаемого смеха.

— Ну и дурында, прости господи!...— недовольно ворчит Аким.

Опять молчание. Кряхтит Аким, вздыхает Семен. А снаружи доносится унылое жужжание Хайридиновой дудки.

— Дядя Аким,— тихо спрашивает Семен.— А ведь у нас угля-то нехватка будет...

— А ты думал, как? — живо отзывается Аким.— Они, христопродавцы, к тому и гнут, чтобы никто ренды не мог высидеть... Им припент оттого.

— Коробов, чай, двадцать нехватка будет...

— Коли не больше... Спи с богом... Утро вечера мудренее...

Семену не спится. Через минуту-другую он тяжело вздыхает и опять говорит не то Акиму, не то про себя:

— Как зимовать-то будем?.. Штраф большой вычтут... И опять же дров отпущать не будут, покупай...

— А ты думал, как?.. Ты думал, что барином жить будешь?.. Подождешь... Вот еще ребята пойдут — не так взвоешь.

— Не знай, как и быть...

— Так и будешь... Сегодня не поешь, завтра долотом закусишь, послезавтра топор сваришь — щец похлебаешь... Топор-от наварный... Как отцы наши жили, так и мы живем, да и дети наши того... Такое уж заведение, чтобы крестьянский рабочий человек сытым не был... А то работать не станет... Я вот сытым никогда не был, а ничего... прожил...

Аким ударяется в философию — и толкует о том, как быстро бежит жизнь и как человек постоянно бьется, хлопочет, надеется на что-то, ждет чего-то и в конце концов умирает, ничего не дождавшись. А Семен — и слушает, и не слушает; но слова дяди ложатся на его сердце тяжелой недоумевающей тоской.

— Есть такая загадка,— философствует Аким.— Такого рода вопрос: что всего быстрее? Отгадка на вопрос есть: мысль... Только она, отгадка эта, неправильная: всякую мысль другая мысль, пошустрее, догонит и перегонит... А

быстрей всего — жизнь: ну-ка, догони вчерашний день?.. Давно ли, скажем, я молодой был?.. Или, скажем...

Его прерывает звонкий смех Марьи: она представляет себе, как сухопарый дядя Аким бежит догонять вчерашний день. Хромает, спотыкается и так и сверкает на солнце железным наконечником своей клюки...

— Куды уж тебе, хромому, вчерашний день догонять... Помнишь, как он догонял башкира, который у него шапку украл? — толкает она под бок мужа.

— Отстань,— как будто сердито отвечает тот, но и сам не может не рассмеяться, вспомнив происшествие.

— Ну, заржали, черти...— обижается Аким.— Чему рады?.. Спать пора...

Супруги хохочут долго, и у Семена на сердце становится немного веселее. Но смех мало-помалу замирает, и им опять овладевает прежнее настроение, и опять он задумывается,— как жить? Ежели весь век так маяться, сто́ит ли и жить? Сто́ит ли овчинка выделки?.. Вон Аким прожил век, Хайридин... какой от этого прок? Все равно помрешь, а рано или поздно — тоже все равно... Ежели рано, так еще лучше: маяться меньше.

— Дядя Аким,— опять начинает он разговор.— Ежели бы можно вдругорядь жизнь прожить, ты согласился бы?

Аким с полминуты молчит, потом, точно нехотя, отвечает:

— Пожалуй...

И вдруг оживляется, садится на своем ложе и со вздохом восклицает:

— Кабы вдругорядь... да кабы с здоровой ногой... Показал бы я фигур-манер... Да будет, шут вас дери, зря болтать-то... Спать пора... Спите с богом.

В землянку влезает Хайридин, внося с собой струю свежего воздуха и своеобразный запах, присущий башкирскому телу и башкирской одежде.

— Холодна́ больно,— оправдывается он.— Мало-мало погреюсь, опять уйду.

— Смотри ты, собачье рыло...— недовольно ворчит Аким.— Как бы там кучи-то...

Хайридин садится на корточки возле самой двери.

— Снег идет,— сообщает он, немного помолчав.

Несколько минут в землянке молчат, но потом тишина нарушается фырканьем Марьи.

— Чего ты? — осведомляется Семен, и в его вопросе слышны смешливые нотки.

— Пахнет от Хайридина... Сказывают, что от медведя башкиром пахнет...

— Это верно,— отзывается Аким.— Мне один человек сказывал, шел он раз по лесу с башкиром. Вдруг медведь. Они его видят, а он их нет. Водит медведь носом, чует, значит, что пахнет... А потом замурлыкал, ласково эдак: «мурр, мурр, мурр»... Подумал, значит, что это медвежиха близко... А это башкир... Ха-ха-ха!..

И Аким хохочет,— у него очень глупый и странный смех, похожий на рычанье. Смеются и Семен, и Марья, и ее звонкий смех покрывает гоготанье мужчин и донимает даже Хайридина, который тоже ухмыляется.

— Хороший твоя баба, Самен,— говорит он, когда перестают смеяться.

— А что?.. Хороша, да не больно...

— Веселый баба,— ухмыляется Хайридин.— Веселый баба рабочему человеку — первый дело...

А потом добавляет уже грустным тоном:

— У меня тоже баба был...

Потом вздыхает и, согнувшись, вылезает из землянки. А через минуту доносится снаружи тоскливое жужжанье его дудки.

— О бабе, знать, взгрустнулось собаке,— замечает Аким.— Ишь воет, лешман... Ну, однако, спать пора... Спите с богом...

Мало-помалу все засыпают. Тишина. Слышно, как гудит ветер, проносясь по логу, и как аккомпанирует ему на дудке Хайридин.

Выплакало ли небо все свои слезы, соскучилось ли по земле солнце, только в середине октября неожиданно выдался светлый и теплый денек. Ночью шел дождь, но утро занялось скорее и светлее, чем всегда; туман поднялся кверху быстрее и легче и не остановился даже у вершин гор; да и облака как будто стали гораздо выше и белее. А к полудню они прорвались сразу в двух местах, и в эти окна было видно смеющееся голубое небо, а потом образовалось третье окно — и из него брызнул на землю яркий и веселый луч солнца. И все кругом повеселело... Туман, обычно скрывавший поток, исчез, и дым от куч поднимался кверху серыми, с мягкими округлыми очертаниями, клубами.

Хайридин соорудил на берегу потока костер и сидел возле него на корточках, щуря подслеповатые глаза на солнце и улыбаясь ему всей своей широкой монгольской физиономией. Рядом с ним лежал на спине Аким и курил цигарку. Молодых не было видно — они спали в землянке. Сезон вы-

жигания угля кончался, кучи, истратившие всю энергию на бесплодные попытки разойтись во всю, не могли больше шалить и не требовали никакого надзора. Нужно было только выжидать, когда дым, идущий от них, будет прозрачнее и нежнее,— тогда можно будет разваливать кучи и начинать заключительный акт сезона — возить уголь на завод.

Хайридин улыбался недолго: стоило ему только отвести от веселого солнца и смеющегося неба усталые глаза и посмотреть на лощину, чтобы опять стать печальным, как всегда. Но, должно быть, солнце отогрело его душу, и его печаль не была уже беспредметной и немой, как прежде, и в его мозгу шевелилась мысль. Он смотрел печальными глазами на склоны гор, один крутой и другой покатый, и думал о том, что еще недавно они, эти склоны, были покрыты густым и могучим лесом. Тут росли и столетние сосны, и мохнатые ели, и веселые лиственницы,— и Волчий лог представлял дикий, совершенно еще нетронутый и потому прекрасный уголок. Чаща тут была такая, что и в светлые летние дни на дне лощины были вечные сумерки. И было тут всегда свежо и сыро... По деревьям бегали белки, устраивали свои гнезда птицы, а внизу, у мшистых корней деревьев, всегда была торжественная и таинственная тишина. Тогда и поток не шумел так громко, как сейчас: он не смел нарушать вековой тишины, он был подавлен величием обступивших его задумчивых елей.

Хайридин раньше был только раз в Вольчем логу,— давно, лет пять тому назад, когда он и сам был бодрее и когда его тоска имела определенные формы. Это место считалось у окрестных башкир священным: среди них сохранялось, передаваясь из рода в род, предание, будто великий пророк Магомет, когда он обходил всю землю, жил в этом логу целых три дня. И никто из правоверных не мог осквернить своим присутствием святого места, и оно было полно торжественной и загадочной тайны, которая так шла к задумчивой и красивой долине... Предание очень точно указывало место, на котором усталый Магомет отдыхал от пути три дня и три ночи: это была небольшая полянка у потока, там, где он образовывал небольшую заводь. К Магомету ходили на поклон и на суд все жившие окрест правоверные, и пришли однажды к нему двое: богатый и бедный. Богатый обижал всех, но бедный больше других терпел от него: у бедного была красивая жена, и богатому хотелось отнять ее у него, хотя у самого и было уже три жены и много наложниц. Он отнял у бедного самовар, лошадь и козу, выгнал его из дому и под конец пришел к нему и сказал:

— Отдай мне свою Сутым, а то я скажу начальнику, что

ты у меня угнал из табуна лошадь, и он тебя посадит в тюрьму. Тогда все равно Сутым будет моя, отдай ее лучше добровольно.

Заплакал бедный и подумал:

«Вот пророк близко на отдыхе стоит. Пойду к нему на суд, пускай рассудит».

Взял ком крута — все, что у него осталось,— в подарок пророку — и пошел. А богатый узнал, что бедный пошел на суд к пророку, и тоже отправился к нему. И отобрал для подарка самых жирных баранов, лучший чиляк масла и самую толстую из жен, и подумал:

«Мои подарки будут лучше подарков бедного, и пророк будет на моей стороне».

И предстали оба перед пророком. Выслушал их пророк, улыбнулся, указал на заводь, на берегу которой сидел, и сказал:

— Смотрите.

Вода в заводи была спокойна и прозрачна, и было видно дно ее до мельчайшего камешка, а в воде резвились, сверкая на солнце серебристой чешуей, стада веселых рыбок. А на дне лежала хищная щука и жадно высматривала добычу, и время от времени бросалась на рыбок, как стрела, пущенная из туго натянутого лука, и глотала их. И оттого белое брюхо ее становилось толстым и блестящим. И когда она наелась и улеглась спокойно на сером дне, среди камней, от которых было трудно отличить ее серую спину, пророк внезапно крикнул и топнул ногой. И маленькие серебряные рыбки и щука испугались и бросились из заводи. Но в узком месте потока была поставлена рыбаком верша и заграждала им путь. Серебристые рыбки, как блестки, скользнули в щели между прутьями верши и ушли, а щука просунула в самую широкую щель голову, но ее толстое брюхо не могло пройти сквозь нее,— и щука завязла. Тогда вышел из-за дерева рыбак, взял щуку, проткнул ей сквозь жабры ветку и унес.

Понял богатый — и лицо его потемнело, как туча.

А пророк улыбнулся и сказал:

— Пойдем на гору и помолимся аллаху, чтобы он рассудил вас.

Гора была высокая и крутая, и на нее было трудно взбираться. Но пророк шел легко: деревья перед ним расступались и неровный путь сглаживался. Бедный шел следом за ним, и поэтому ему тоже было легко идти. А богатый, толстый и во многих одеждах, скоро устал, не мог близко следовать за пророком, и так как деревья, расступившись перед святым, быстро смыкались опять и земля под ногами принимала прежний неровный вид, обессилел и упал на дороге. Поэтому на вершину горы взошли и молились аллаху только

пророк и бедный,— и аллах услышал их молитву и громом из тучи сказал пророку:

— Возьми все у богатого и отдай бедному.

Так богатый уподобился щуке, завязшей в верше.

«Велик аллах... и Магомет — пророк его»,— думает Хайридин и опять, улыбаясь, смотрит на яркое солнце, на синее небо... А потом опять переводит усталые глаза на гору, на которой, по словам предания, пророк и бедный молились аллаху. Гора очень крутая, и действительно, жирному человеку никак нельзя на нее взойти. Вершина ее состоит только из скал, и на одной скале есть ровная площадка, которую видно отсюда и на которой именно и молился пророк, как рассказывали старики.

Но когда здесь был пророк, склон горы и весь Волчий лог были великолепно убраны могучим и прекрасным лесом, ради которого, вероятно, пророк и выбрал себе это место для отдыха... Хайридину жаль, жаль до боли, до слез, до щемящей сердце тоски, сгубленной красоты этого уголка, жаль оскорбленной святыни, и к этой жалости еще другое чувство — чувство личного оскорбления, личной обиды. Магомет, который обходит всю землю раз в тысячу лет, мог ведь опять остановиться на отдых в этой долине,— понравилась же она ему при его прошлом путешествии. Но теперь он пройдет мимо нее — что́ теперь хорошего в ней, обезображенной и оголенной? — и как узнаешь, где он возляжет на отдых?.. А если бы был близко Магомет,— о! тогда бы он услышал жалобы правоверных, и бедным стало бы лучше. Пришел бы к нему Хайридин и сказал бы:

— Пророк! Нам, верным твоим, нельзя стало жить. У нас отняли нашу землю, наши леса, и мы разорились. Ты, пророк, рассудил богатого и бедного. Рассуди и нас, бедных башкир, и...

И Хайридин рассказал бы пророку всю свою жизнь. Он рассказал бы, как обманом отняли у башкир землю и лес... Он это смутно помнит: помнит он только, как объезжали башкирские деревни какие-то «бояр» на тройках, собирали сходы, поили башкир вином, давали им чай, сахар, товар. Народ тогда сначала было удивлялся, откуда ему привалило такое счастье, и был немного смущен тем, что старосты их деревень были засыпаны всевозможными подарками... Но потом, после двухнедельной беспросыпной пирушки, башкиры уже не считали свое разгульное житье чем-то удивительным, необыкновенным и привыкли к нему. Чтобы угодить добрым «бояр», они скакали перед ними на лошадях, боролись, пели

им песни, плясали; а когда «бояр» попросили их подписать какие-то бумаги, они с легким сердцем и без всякой боязни исполнили и эту их просьбу. И «бояр», уезжая, давали башкирам деньги, и башкиры благодарили аллаха за нежданно привалившее им счастье. А потом... потом деньги все вышли, в лесах понастроены были новые избушки, в которых поселились сердитые и нахальные люди. И оказалось нежданно-негаданно, что и лес, и землю башкиры продали ласковым «бояр»... Они не могли больше сеять хлеб, не могли рубить себе дрова, и, когда наступила холодная и голодная зима, они окончательно поняли причину странной ласковости «бояр». Хайридин и сейчас дрожит от страха, вспоминая, что тогда было... Тогда у него умерла мать, а отца убили в драке. Дрались много: били старост и их приспешников, били друг друга... и как били!.. Ходили жаловаться к начальникам, к царю, но... начальники держали руку богатых «бояр», а до царя ходоки не дошли... То было страшное время: из города приходили солдаты и стреляли в башкир... Богаты были «бояр» и все, что хотели, могли сделать с бедными башкирами. То было страшное время: много перебили мулл, подозревая, что они подкуплены «бояр» и неправильно молятся аллаху...

И началась для башкир печальная жизнь. В деревнях остались только старухи да маленькие ребята, а все взрослые разошлись по заводам, отыскивая работу. «Бояр», видя, что они беззащитны и доведены до крайней нищеты, обидели их и тут: заставляли делать самую трудную работу и давали самую малую плату... И с тех пор пошел на убыль правоверный народ... Пропали, вымерли, растаяли целые деревни,— исчезла с лица земли и родная деревня Хайридина.

Да, крепко обидели богатые «бояр» бедных башкир... Много принял от них горя и обиды и бездомный Хайридин. Но им мало того, что они отняли все у него, нет — они еще, как победители над побежденными, вечно издеваются над ним, над тем, что он не русский, а башкир. Его зовут только собакой, для него держат особую посуду, которую считают поганой, над ним смеются, оскорбляют и его самого, и его веру, и его народ... Они отняли у него его жену: она у него простудилась, возя зимой с мужем руду на завод, и заболела. Тогда русские силой взяли ее у Хайридина, утащили в больницу и там уморили... Хайридину казалось, что он не может больше терпеть и что теперь пожалеют его аллах и Магомет; но как он ни плакал, как ни молил аллаха услышать его, аллах не услышал... Тогда он и ходил в Волчий лог, на священное место. Это было зимой, морозною ночью. Хайридин проваливался в глубоком снегу, плакал от горя и усталости, но все шел и шел по лесу, к логу. Усталый, измученный дошел он до него,

и как он тогда молил аллаха, молил Магомета!.. Но и тут они не услышали его, потому что оба были высоко-высоко,— там, за черным небом, за далекими звездами...

Хайридин хотел было убить себя, но потом решил подождать еще. Кто знает, когда должен пройти по земле Магомет, кто знает, где он пройдет? А если он будет на земле и пройдет близко, он опять остановится в Волчьем логу: лучше и удобнее ему не найти места... Тогда он опять рассудит бедного с богатым... И эта надежда росла и крепла в забитой душе Хайридина, и он решил жить и ждать. Каждое новолуние он с тревожным ожиданием следил, не остановится ли молодой месяц на небе и не укажет ли таким образом место, на котором отдыхает пророк. Но шли недели, месяцы и годы, а Магомет не приходил... Много раз Хайридин заменял испортившийся ком крута, который он берег для подарка пророку,— свежим, много истоптал за это время сарыков, съел все свои зубы, растерял волосы, а Магомет не приходил...

Но жила в сердце Хайридина надежда, и его тоска не была беспросветной... И эту надежду, которой только и жил бедный башкир, отняли теперь богатые...

Это было весной. Еще не сошел снег с вершин гор, еще не опушились лиственницы, как в Волчий лог приехали русские. Их была целая толпа. Вечером они пели пьяными голосами, ругались, играли на гармонике и пьянствовали, а утром взяли топоры и пилы и... качались и со стоном падали одно за другим священные деревья. Через неделю весь лог был покрыт их трупами, а русские обрубали с умирающих деревьев сучья, пилили их стволы и выводили одну за другой неуклюжие и громадные поленницы.

С того времени и появилась в груди Хайридина эта тоска-змея, сжимающая его сердце своими холодными кольцами. Погас последний луч надежды, и впереди была беспросветная ночь. И не о чем стало больше думать... Хайридин ни о чем и не думал, а только,— когда его безóбразная тоска становилась невыносимой и грозила задушить его,— он брал свою дудку и пел. Это было больше по ночам: днем заглушала тоску тяжелая работа.

Ничего не думал Хайридин и тогда, когда осенью явился с Семеном в Волчий лог жечь на уголь священные деревья.

Но теперь, когда после долгого томительного ненастья опять выглянуло солнце, обогрело и обсушило его и так ярко осветило картину опустошения, в нем снова проснулась мысль: теперь больше не на что надеяться, аллах и Магомет окончательно и бесповоротно забыли его... И эта мысль, острая и злая, как тонкое, стальное лезвие, проникла ему в грудь, рва-

ла и терзала его бедное старое сердце... И это было неизмеримо мучительнее и ужаснее обычной тупой, давящей боли.

Впрочем, это продолжалось недолго: острая боль малопомалу утихла, мысль уснула и ее заменила, вытеснила хорошо знакомая прежняя беспредметная тоска без образов, без дум, без воспоминаний. И Хайридин не видел больше ни веселого солнца, ни неба,— он закачался из стороны в сторону и запел гортанным голосом свою заунывную песню.

Аким повернулся к нему, насмешливо посмотрел ему в лицо и сказал:

— Ну, опять завыл!.. Чего ты воешь? Солнышко ведь. Какого рожна тебе еще надо?

Хайридин умолк, а Аким все продолжал смотреть на него презрительно и насмешливо.

— Сказывают, будто в этом логу ваш собачий бог, Магомет, жил?..

— Бог — аллах, а Магомет...

— Дурак был этот ваш упокойник Магомет...

Хайридин давно привык к таким оскорблениям и потому молчал. А Аким вспомнил старый анекдот о Магомете, рассмеялся ему и, выколачивая трубку о деревянную ногу, принялся рассказывать:

— Ловили раз рыбу русские и башкиры. Про богов разговорились. Ну, конечно, русские говорят: наш бог хорош, башкиры — наш. Один русский и говорит: «Вот что, ребята. Давайте помолимся, мы — нашему богу, а вы — вашему. Чей бог кому рыбы больше пошлет, тот, значит, бог и лучше». Ладно. Согласились. Башкиры, значит, сейчас свои сарыки долой, на корточки и давай: «Аллах-бисмиллах! Аллах-бисмиллах! дай наша рыбка больше!» — А русский тем временем возьми да у ихнего башкирского бредня мотню и перережь... Что, нескусно, ваше башкирское благородие? — сделал Аким паузу.

Хайридину уже давно кололи глаза этим анекдотом, и он слушал его совершенно равнодушно. Тем не менее он флегматично, точно отмахиваясь от назойливой мухи, ответил привычной фразой:

— Врешь ты.

— Ага, донимат, видно!..— заржал Аким.— Ну, побалакали это башкиры и говорят русским: «Мы своего бога молил, можно рыбачить». А русские говорят: «Пойдем. Петр и Павел, апостолы, и без молитвы знают, чего нам надо». Забрели... раз, два. У русских полон бреден рыбы, у башкир — ни-

чего. Забрели еще и еще, у русских рыбы — воз, у башкир — ничего. Забегали, заталалакали башкиры, а невдомек башка́м немаканым бреден свой обсмотреть. Полопотали, полопотали да как заорут в один голос: «Петра и Паша, дай рыбки наша! Наша Магомет — ни черта́ толк нет»!

Аким заржал опять победоносно и громко. А Хайридин посмотрел на него и сказал:

— Ваша — много, наша — мало... Ваша — богатый, наша — —бедный... А то бы... Сила наша нету... И Магомет на небо ушел...

И опять закачался из стороны в сторону и запел...

А. Г. Туркин

(1870—1919)

Александр Гаврилович Туркин (псевдоним — Гаврилович) родился в поселке Верхне-Уфалейского завода на Урале. Окончив Челябинское городское училище, он служил в заводской конторе в родном поселке, а затем — на Пашийском заводе. В 1900 году переехал в Челябинск и занялся адвокатской практикой.

Первое стихотворение Туркина «Умерла ты рано...» напечатано в 1889 году. Но уже через год он опубликовал рассказы «Рудокоп», «У костра», «Крест не выдал» и зарекомендовал себя как искусный рассказчик; стал печататься во всех уральских изданиях и некоторых столичных.

В 1902 году вышел сборник рассказов «Уральские миниатюры», отразивший социальное положение народов Урала, антагонизм рабочих и заводчиков. Демократическая направленность произведений Туркина была замечена А. М. Горьким, который поддержал его, но указал на главный недостаток рассказов — на их сентиментальность и призвал «не унижать человека жалостью». В ряде произведений (рассказ «Как он запел», повесть «Исправник» и другие) показан рост революционных настроений на Урале.

Большое значение для писателя имела его поездка в обе столицы в 1910 году, где он встречался с А. М. Горьким и В. Г. Короленко.

В 1914 году вышел второй сборник рассказов Туркина — «Степное», явившийся важным итогом творчества писателя. В нем нашла выпуклое отображение тема содружества народов Урала, в частности русских и башкир. Рассказы о степном народе — башкирах — и дали название всему сборнику.

Как писатель-демократ Туркин сыграл позитивную роль в пробуждении в сознании народа мысли о необходимости активной борьбы за свою свободу и счастье.

ИБРАГИМ

...Родился он в зимнюю полночь, когда степная пурга, как пьяная, плясала по сугробам, взметывала снежные курганы, выла в сухих камышах вместе с голодным волком и плакала, как ребенок, над жалкой башкирской деревней... О, какая это была дикая и злая метель! Может быть, она примчалась в эту длинную ночь с мохнатого и нелюдимого Урала, быть может, ее создали в степи невидимые, жестокие боги... Никто не знал об этом, но она сразу охватила и сжала степь, закутала ее в белый саван и сама, с визгом и плачем, закружилась... Из снежных таинственных тканей она лепила в воздухе загадочные и странные тени. Вот кто-то, высокий и белый, как мрамор, вдруг поднимался из хаоса снежных образов и бежал-бежал вперед, страстно протянув дрожащие ледяные руки... Или шла тихо по мерзлым пашням бедая, чистая девушка, вся закутанная, как грезой, дымкой из волнистых снежинок... А то кто-то, уродливый и огромный, круглый, как мяч, прыгал тяжело по сугробам, мял сухой бурьян и сердитым воем пропадал в перелеске, согнув в дугу, мимоходом, стройную печальную березу... Много было здесь непонятных образов, созданных дикой и гордой метелью, много рождалось звуков, то гулких, как выстрелы, то жалобных и звенящих, как порванная струна...

Избу башкира Закира Галеева потрясало от ветра, когда жена его Итбика, спавшая в углу на нарах, вдруг завозилась и протяжно застонала... Потом она закусила губы от боли, и опять раздался в избе глухой и протяжный стон. Недалеко, на нарах, храпел Галеев, и Итбике сначала не хотелось будить мужа. Но вот снова что-то рвануло у ней внутри, и Итбика не выдержала.

— Закир,— позвала она.

В окно заглянула пурга, четко и бегло прошуршала она по стеклу мерзлыми когтями и взгремела в чувале... Итбика сделала страшное усилие, села на нарах и громко позвала опять:

— Закир!

Спящий зашевелился и пробормотал:

— Что тебе?

— Ой, худо мне, Закир...

Итбика вдруг заплакала... Закир быстро вскочил с постели, разыскал спички и зажег дрожащими руками маленькую жестяную лампу. Огонь вспыхнул, и свет, бледный, точно

озябший, пробежал по углам... В избе было холодно, в чувале давно все остыло, и ветер, врываясь в трубу, поднимал временами в чувале легкое облако золы. Итбика сидела в углу на нарах и корчилась от боли...

— Ой, Закир!

Слегка побледневший Закир понял, наконец, в чем дело, и беспомощно развел руками. Итбика собиралась родить, роды предстояли первые, и перепуганный Закир не знал, что делать. До крови прикусив губы, Итбика хрипло произнесла:

— Айда за Фатимой! Айда скорей!.. Ой-о-о, аллах!

Закир сорвался с места, как заяц, схватил на бегу шапку и в одной рубахе выскочил на улицу.

С громким, торжествующим воем обняла его пьяная пурга, но Закир, низко нахлобучив шапку, почти одним прыжком перекинулся на другую сторону улицы и громко постучал в окно у избы, где жила старуха Фатима. Минут через пять он уже возвратился с Фатимой, и это время показалось Итбике огромным, как вечность... Она была бледна, точно стена, и губы ее, дрожащие и искусанные, на белом фоне лица казались черными от крови...

Старая и бесстрастная, как судьба, Фатима взглянула равнодушно на Итбику и коротко приказала Закиру затопить чувал. Скоро огонь вспыхнул, и в избе стало ярко и тепло. Итбика по-прежнему стонала, корчилась и со страхом смотрела на Фатиму огромными, неподвижными глазами, в которых сверкали крупные слезы, наконец, старуха произнесла сурово:

— Не кричи! Скоро будет...

Она приготовила воды и вытащила из грязного платка какие-то инструменты. Закиру она опять отрывисто приказала выйти из избы, и он, одевшись, покорно вышел на двор. Там ветер сбрасывал гнилую солому с крыши, и на сердце у Закира закипала тоска. Прислонившись к стене, он стоял и чутко прислушивался. Он любил свою молодую Итбику, и страдания ее резали его по сердцу.

Долго так стоял неподвижно. Гулкие голоса метели кричали над деревней, и казалось, что жизнь вымерла совсем в бедных избах... Ночь тянулась долго-долго, как ночь приговоренного к смерти. Закиру было холодно и жутко...

Внезапно в избе раздался пронзительный вопль, и сразу все смолкло. Ужас сковал все существо Закира, и он начал читать про себя молитвы, какие знал. Что, если умрет Итбика? Что будет с ним? Когда он на ней женился, то дал себе мысленно клятву: никогда не брать вторую жену. За Итбику он, положим, заплатил крупный калым — двух лошадей и жирного быка... Все хозяйство тогда у Закира треснуло по

швам, но он не жалел об этом. Жена попала красивая и работящая. Вечно она хлопотала по хозяйству, сама рубила дрова, была весела и здорова. Сам Закир больше лежал на нарах, пил много чаю и наедался до отвала баранины, если она случалась. Умрет Итбика — он погибнет...

Дверь избы вдруг отворилась, показалась на секунду голова Фатимы и раздался ее голос:

— Киль*, Закир!

У Закира в сердце что-то точно ударило. Он почесал затылок и нерешительно двинулся в избу. И ярко резнул вопрос:

— А что если... Итбика умерла?

Он вошел в избу, впустив за собой крылатое, морозное облако. Итбика лежала в углу неподвижно, с закрытыми глазами. Фатима подбрасывала в чувал дрова, по-прежнему лицо ее казалось бесстрастным. Она бегло взглянула на Закира, и что-то похожее на улыбку пробежало в глубоких и желтых морщинах...

— Малай родился...— произнесла она.

— Сын! — радостно вихрем промчалось в голове у Закира.

Он тихо подошел к нарам. Около Итбики, завернутое в тряпье, что-то возилось... Осторожно, с громко бьющимся сердцем, Закир наклонился и неловко открыл лицо у ребенка. И когда он увидал старческое сморщенное и красное лицо, то опять не выдержал:

— Малай. Это — хорошо... А-яй, как хорошо!..

Он радостно засмеялся. Итбика открыла глаза и страдальчески улыбнулась мужу. И Закир почувствовал, что с души его свалился огромный, тяжелый камень...

Фатима убралась с ребенком и Итбикой. Потом, несмотря на позднее время, она лаконически приказала Закиру поставить ей самовар, а когда вскипел самовар, Фатима принялась пить чай. И пила она долго, откусывая сахар крошечными кусочками. Пот выступил на ее желтом морщинистом лбу, и она вытирала лицо грязным, засаленным рукавом. Потом она потребовала себе денег, и Закир отдал ей последний рубль. На этот рубль Закир рассчитывал купить чаю и баранины для муллы, который должен был дать имя ребенку. Фатима осталась довольна, слегка улыбнулась и сказала:

— Якши!

Закир проводил ее за ворота. Пурга утихла, и голоса ее, звонкие и отчетливые вначале, теперь падали в степи неясным, замирающим гулом.

---

* Иди.

Пошел снег, сухие снежинки щекотали лицо...

Через неделю после этого, когда Итбика оправилась совсем, Закир порешил, что необходимо позвать муллу и дать ребенку имя. У Закира не было денег, и пришлось продать воз пшеницы, хотя в этом году хлеб уродился в обрез. Закир съездил в город, продал воз пшеницы, купил чаю, сахару и еще что-то пестрое — на платье Итбике. Приехав домой, он купил у богатого старосты Ахунова барана. Итбика, уже ставшая с постели и бродившая по хозяйству, приготовила все к угощению. И тогда позвали муллу...

Пришел мулла, высокий и красивый старик, с седой бородой, но с черными молодыми бровями. Голову его обвивала белая чалма, и тонкие бледные губы были сжаты важно и сосредоточенно. От него пахло тонким, пряным ароматом мускуса. Мулла принес с собой священные книги, сел на пол, на разостланный дешевый ковер, который хранился у Закира для торжественных случаев, и начал читать молитвы.

Итбика скрылась за занавес у стены, а Закир так же, как мулла, сел на пол и проводил по лицу ладонями рук, вздыхая и шепча что-то про себя... Мулла гнусаво читал речитативом молитвы, покачивался, закрывал глаза, и тогда лицо его, с черными бархатными бровями, казалось безжизненно-красивой маской. Наконец, он кончил и с минуту сидел неподвижно... Потом он взял книгу и спросил Закира, как он желает назвать сына? Закир поскреб в затылке и ответил робко:

— Ибрагим...

Мулла записал в книгу, подошел к ребенку, наклонился и громко крикнул ему в правое ухо:

— Тебя зовут Ибрагим! Ибрагим! Ибрагим!

Обряд кончился. После этого мулла с Закиром много пили чаю и ели жирную, вкусную баранину. Угощал сам Закир: Итбике нельзя было показаться постороннему мужчине. После еды потный и разгоряченный мулла гулко икнул несколько раз, чем обыкновенно выражалось удовольствие хозяину за сытное угощение. Закир ответил тем же, и, когда мулла собирался уходить, Закир заплатил ему пять рублей. Мулла торопливо и жадно схватил деньги и одобрительно кивнул головой.

Закир проводил его до улицы, кланялся ему вслед, и на улице мулла еще раз икнул гулко и протяжно.

Жизнь семьи опять пошла серой, тягучей лентой. Итбика больше работала по хозяйству, а Закир бездельничал и по целым дням иногда лежал на нарах. Только когда острая нужда, как когтями, захватывала семью, тогда Закир немного просыпался. Он скреб в затылке и думал о том, что пшеницы в амбаре осталось совсем мало, но нет чаю и сахару. Без бара-

нины, положим, можно было обойтись, хотя для Закира это было очень тяжело, но есть еще выход: можно купить где-нибудь старую, негодную лошадь и варить из нее махан. Итбика иногда осторожно напоминала мужу, что у него есть две лошади и можно было бы поискать где-нибудь работу, чтобы пробиться зиму и не тратить свою пшеницу. Но Закир в глубине души считал женщину вообще рабочей скотиной, которая обязана мужу, своему господину, нести всю тяжесть жизни. Она должна все сделать: нарубить дров, затопить чувал, сварить махан или баранину и... молчать. Так предрешил пророк. Поэтому, когда раздавался тихий и грустный голос Итбики о работе, Закир сердился. Обыкновенно в такие минуты он громко сопел и говорил жене:

– Молчи! не твое дело... Где я достану работы?

– Можно дрова с Урала возить,— робко вставляла Итбика.

— Молчи! До Урала сорок верст... Вон, Сулейман возит, и одна лошадь у него подохла...

— Сулейман не кормит лошадей...

— Молчи!

Шея у Закира надувалась кровью. И Итбитка, тяжело вздохнув, замолкала...

. . . . . .

Маленький Ибрагим рос так же, как растет дикий бурьян в степи. По целым дням он валялся, заброшенный, на нарах, ревел во все горло по часам, жадно сосал засохшую корку хлеба или рвал кусок мяса от старой кобылы и спал под заунывный вой башкирских собак. Зимой босиком выбегал на улицу, а летними днями, когда пекло солнце, он валялся, полунагой, наравне с другими, на зеленой, малоезженной улице. Рядом бродили лошади или жеребята, и мирно дремали остромордые, худые собаки.

Пяти лет Ибрагим уже крепко цеплялся за косматую гриву мерина и учился ездить верхом. Наравне с другими подростками, он лихо мчался по улицам или по дороге за поскотину, где кротко и безмолвно лежали тихие поля. В рваной рубахе, почти черный от солнца, с тюбетейкой на голове, издавая пронзительно-гортанный крик, мчался Ибрагим к полям, где шептались болезненные колосья пшеницы и реял в безоблачно-синем небе мощный и дикий туйдуган... И вольно, и весело было у Ибрагима на душе...

Когда Ибрагим научился ловко и смело ездить верхом, тогда отец стал брать его с собой на свадьбы, где устраивались скачки. Обыкновенно было так, что на свадьбах даже

самый бедный жених жертвовал на приз для скачек молодого жеребца или жирного барана, а богатые, что бывало редко, выставляли по нескольку лошадей. И со всей округи съезжались наездники, чтобы поспорить быстрыми конями и своей удалью. Может быть, здесь слабо поднималась исторически задавленная и заглохшая степная отвага забитого народа...

И это было оригинальное и красивое зрелище. Толпа взрослых и детей, звонко и гортанно лопоча, окружала место у деревни, где были намечены скачки. У круга, от которого должны были поскакать лошади, обыкновенно выставлялся приз — баран или лошадь. Выбирались судьи, тщательно осматривались лошади, и в наездники выбирались наиболее легкие и ловкие мальчики. И когда было все готово, судьи командовали:

— Айда!

И сразу, точно сговорившись, брали с места худые, но крепкие башкирские лошади. Низко пригнувшись к их шеям, сверкая смуглыми ногами, мчались молодые башкиры, а вслед им гремел и переливался дикий и страстный крик толпы:

— А-а! го-го-го... А-ю!

Но вот всадники, потонувшие в глубине зеленой степи, скачут обратно, и тогда рев толпы растет и поднимается выше. Широко выпучив глаза и разинув рты, следят башкиры зоркими, ястребиными глазами за наездниками и ревут... Вот ближе белые точки... Вот кто-то, вместе с лошадью, кувыркается книзу, падает, вскакивает, как резиновый мячик, и опять летит вперед. И стон стоит в воздухе, когда взмыленные лошади, сами дикие и страстные, стрелой подлетают к призу...

Но свадьбы случались редко, и обыденная жизнь, такая мертвая и нелепая, снова вступала в свои права. И было только одно существо, которое каждый год, больше зимой, появлялось на несколько дней в деревне и вносило в ее дикую жизнь что-то волнующее и странное...

То был старый Аллаяр.

Откуда появился старый Аллаяр? Этого никто не мог сказать определенно. Обыкновенно, в зимний короткий день, около деревни уже реяли серые сумерки, на улице вдруг появлялась фигура старого Аллаяра. Он шел, звонко ударяя о дорогу палкой с железным наконечником, старый-старый, с трясущейся головой, с слезящимися глазами, в мохнатом малахае на голове и в худых изорванных ичигах. И первый, кто завидел Аллаяра на улице, обыкновенно радостно кричал:

— Аллаяр пришел!

— Аллаяр! Киль! Киль!

И Аллаяр сворачивал с дороги и шел в избу — по пер-

вому приглашению. И те, кто узнал о приходе Аллаяра, сходились в избу, где останавливался старик, весело с ним здоровались и чмокали от удовольствия губами.

Аллаяра сажали на самое почетное место на нарах, угощали чаем и маханом. Старый башкир пил, отогревался, и его грустные слезящиеся глаза все время смотрели куда-то в пространство. Отдохнув и согревшись, он развязывал узелок, который всегда носил с собой, и с важным видом доставал потертый курай — старую музыкальную дудку из дерева. Тщательно вытерев инструмент, Аллаяр, сделав строгое задумчивое лицо, вдруг издавал из курая первый трепетный, заунывный и протяжный звук.

И внезапно наступало молчание...

В бедную жалкую избу, где жил придавленный и порабощенный дух, вместе со стройными и печальными звуками курая входил кто-то ясный и чистый, с бледным лицом, на котором застыли слезы тайного страдания за людей... Он, неведомый и грустный, садился у чувала, где трепетали и бились искры, и пел вместе со старым Аллаяром о том, что есть на свете люди, они жалки и бессильны, и нет руки, которая протянулась бы к ним...

Много играл старый Аллаяр... Может быть, играл о гордом, мохнатом Урале, где сосны кричат гулко и протяжно, о бесплодных пашнях, о степи, о смуглой башкирской девушке, которая так плачет перед выходом замуж за старого, сладострастного башкира. Может быть, в песнях вспоминались прежние гордые батыры, их резвые кони и острые, певучие стрелы. Куда девалась широкая свобода былых дней, лихие наезды и былая отвага умирающего народа?

И когда кончал играть старый Аллаяр, в избе, казалось, долго еще бились нежные звуки, реяли тени, и долго никто не решался заговорить первый.

Обыкновенно Аллаяр жил в деревне с неделю, ходил из избы в избу, везде играл свои грустные песни и потом уходил. С трясущейся головой, в мохнатом малахае, звонко ударяя посохом о дорогу, уходил Аллаяр куда-то дальше, и вместе с ним, казалось, нога в ногу, уходили щемящие и стройные образы курая...

. . . . . .

Время шло. Ибрагиму исполнилось шестнадцать лет. И был он стройный, сильный, красивый юноша, с черными, как у газели, глазами. Все домашние работы теперь исправлял Ибрагим, он же работал в поле, а отец его Закир, обрюзглый и еще более ленивый, по целым дням валялся на нарах или

ездил куда-нибудь в гости. Итбика, преждевременно увядшая от работы, была по-прежнему молчаливо-покорна и вечно бродила по хозяйству. После Ибрагима у нее был еще один выкидыш, а потом она уже не рожала. Иногда Закир, еще сильный и сладострастный человек, думал про себя, что хорошо бы было взять молодую и свежую жену, но боялся сказать это, а главное, он был беден и не мог дать за невесту калым. Но мечты о молодой жене, с гибким и упругим телом, часто дразнили его ленивый мозг, и ему приходило в голову в это время, что Итбика скоро состарилась, она костлява, у ней желтая, дряблая кожа, и ей следовало бы уступить место другой жене.

Поехал раз Закир Галеев на сельский сход, где предполагалось выбрать новых старшину и старосту. Волость находилась от деревни в десяти верстах, и к вечеру, когда в степи загулял буран, Закир уехал.

Вернулся он домой на другой день пьяный и очень веселый. Громко гогоча и икая, он вошел в избу и заявил, пошатываясь, Итбике и Ибрагиму, что его выбрали старостой. Это было так неожиданно, что Итбика сначала задрожала, а потом засмеялась от радости. Староста в деревне — начальство, и каждый башкир в глубине души мечтал об этой должности. Приниженные и задавленные, эти дети степей видели в старосте сочетание силы, власти, сытости и почета. Закир, несмотря на свою леность, считался умным и хитрым башкиром и давно метил в старосты.

Покачиваясь и смеясь, Закир приказал Итбике поставить самовар, вытащил из-за пазухи бутылку водки и велел Ибрагиму позвать в гости двух соседей. Те пришли, узнали, в чем дело, и с заметной завистью на лицах уселись на нары. Закир угощал гостей водкой и чаем, громко хохотал от радости и старался придать лицу строгое и важное выражение. Потом заявил, что на днях он должен получить «знак» и что земский собственной рукой похлопал Закира по плечу и дал слово скоро утвердить приговор общества. Гости слушали, не скрывали зависти и говорили сквозь зубы:

— А-яй! Якши! Закир староста... Якши!

И когда гости ушли, Закир долго еще бормотал о той высокой роли, какая выпала ему в жизни. А потом, ложась спать, он вдруг почти взвизгнул от радостной мысли, какая ему пришла в голову. Чмокнув толстыми губами, он сказал жене:

— Якши! Теперь можно взять другую апай.

Итбика побледнела, как воск. Ибрагим угрюмо поднял на отца свои прекрасные глаза и ответил за мать:

— Ты этого не сделаешь, атай!..

— Почему? — хрипло спросил Закир.

— Инай* будет плакать. Ты всю жизнь с нею прожил.

— Она стара...— смеясь, заметил отец.

— И ты уже не молод, атай. Не хорошо, атай. Мать будет плакать. И я буду с ней плакать.

— А мне наплевать! — резко ответил Закир и отвернулся к стене.

Через минуту он уже храпел, и Итбика долго-долго сидела у чувала, смотря на огонь потемневшими глазами... Ибрагим ворочался в постели и украдкой следил за матерью. Глядя на ее мокрое, желтое, рано увядшее лицо, Ибрагим кусал губы и думал, что в жизнь их вливается что-то неясное и тоскливое. И гнев, острый и жгучий, сжимал сердце Ибрагима...

После этого дня Закир каждый день начал ездить в волость по делам.

Обыкновенно ленивый и неповоротливый, Закир точно переродился, и какая-то важная, самодовольная складка залегла у него на лице. Утром Ибрагим запрягал ему лошадь, он выходил и садился в сани, сохраняя на лице новое, важное выражение. На встречных башкир-однодеревенцев Закир начал смотреть несколько свысока и даже покрикивать по-своему...

Через месяц земский утвердил приговор общества, и Закир окончательно сделался старостой. Получив медный «знак», Закир опять позвал гостей, напялил на себя «знак» и так сидел на нарах, громко гогоча от удовольствия. Гости пили водку, ели махан, стараясь поддерживать настроение хозяина, но у каждого в глубине души было завистливое, сосущее чувство...

Пошли дни, лучшие для Закира. У него начали появляться деньги, но зато он больше начал пить водку. При каждом удобном случае он брал взятку и нисколько не скрывал этого от людей, считая это естественным для должностного лица. Иногда Ибрагим, чуткий и грустный, говорил осторожно отцу:

— Атай! Зачем берешь с бедных?

— Молчи! — грозно рычал Закир.— Не понимаешь ты! Земский берет, становой берет и старшина Якупов берет. Все берут!.. А я хуже их?.. Щенок ты!

И Ибрагим больше не говорил... А Закир развернулся вовсю. Свой надел в тридцать десятин, который он не умел и не мог сам обработать, он порешил сдать в аренду соседним крестьянам. Ибрагим, пораженный этим, сказал отцу:

— Атай! У тебя теперь есть деньги... Можно будет купить

---

* Мать.

семян, нанять работников и самим сеять... Я буду работать, атай! Зачем отдавать землю?

— Молчи, шайтан! — опять грубо крикнул Закир.— Не твое дело!

И он, помолчав немного, добавил цинично:

— Другую бабу мне надо... Калым платить...

Он говорил, и скверная, плотоядная усмешка кривила его лицо... Ибрагим побледнел, закусил губы, а за красным пологом, где была женская половина, билась в беззвучных рыданиях Итбика.

. . . . . .

Мысли о новой жене крепко засели в голове Закира. Наезжая в село, где находилась волость, Закир пробовал почву насчет женитьбы и наводил справки. У одного зажиточного башкира, Габидуллы Хасанова, была молоденькая дочь, резвая, черноглазая Ханисафа, и Габидулла был непрочь породниться со старостой. Как это было обыкновенно у башкир, отец совсем не считался с желанием и мыслями невесты, а мечтал только о большом калыме. Дочь для отца была доходной статьей, лакомым куском для жениха. И девические мысли резвой Ханисафы в расчет совсем не принимались...

Габидулла дал понять Закиру однажды, что дочь можно выдать за него, но условия он ставил такие: триста рублей деньгами, трех лошадей, жеребенка и двадцать штук баранов. Это был большой калым, и Закир начал торговаться. Габидулла долго не уступал, но потом изменил условия: двести рублей деньгами, двух лошадей и десять баранов. Мулле за венчание должен заплатить также Закир.

И Закир согласился... Но нужно было достать весь калым. И Закир приналег на взятки.

И вышло, наконец, так, что Закир сколотил денег для выкупа невесты. Дома он рычал зверем на жену и сына. И скоро женился. Как безумная, плакала молоденькая, стройная Ханисафа, рвала на себе волосы, но воля отца была непреклонна... Закир отдал условленный калым, заплатил старому хитрому мулле и женился на Ханисафе... Тесть его, Габидулла, уступил ему еще избу за особую плату, и Закир поселился в ней с новой женой. К Итбике и сыну почти не приезжал. Ибрагим сам старался работать и был рад, что отец живет в другом месте.

. . . . . .

Однажды, в глухую осеннюю полночь, когда мелкий дождь царапал и стучал в окно, а ветер гудел в чувале звонким плачем, Ибрагим проснулся от странного и неясного шума...

Приподняв голову с постели, он вслушался. Гудел ветер, но временами слышался чей-то глухой крик у ворот. Громыхали злобно собаки, и казалось, напирали на кого-то. И слышно стало под конец, что кричит человек, и кричит так, как будто зовет на помощь...

Ибрагим быстро натянул ичиги и выскочил на двор. Сквозь свист и хохот дикого степного ветра он услышал злобный лай собак и протяжный вопль человека у ворот. Ибрагим отворил ворота и осторожно выглянул на улицу, где гулял черный, всепроникающий мрак... Собаки вплотную напирали к заплоту, где едва маячила чья-то темная фигура.

Ибрагим зыкнул на собак, они попятились и скоро замолчали. Человек у заплота стоял неподвижно... Ибрагим подошел ближе и спросил по-русски:

— Кто тут?

Мрак зашевелился, раздался голос:

— Я, милый человек... Проходящий, значит... Проходящий... Ну и собачки, прости господи! Экая прорва их! Одна за штаны, глико-сь, хватила... А какая это деревня будет, божий человек?

Ибрагим назвал.

— Башкуры, значит?

— Башкиры...— поправил Ибрагим.

— Так... так... Башкуры, значит... Махмедова вера поэтому... Ну, что же... И они люди... Все твари божьи, хороший человек...

Ветер рычал, и слова проходящего едва можно было различить. И Ибрагим крикнул:

— Айда в избу!

— Спасибо, родимый, спасибо!.. Теперь далеко не уйдешь в такую ночку... Ну и ночка! Шел я, как слепой, по дороге... И жуть такая берет, милый человек... И-и!

— Айда! Айда!

Ибрагим пропустил прохожего и затворил ворота. В избе он зажег лампу, и огонь осветил избу. У порога стоял прохожий и озирался по углам: он искал глазами икону. Но спохватился и заговорил опять добродушным, слегка гнусавым голосом:

— Э-х, Антип — дурья голова!.. Знамо, какая здесь икона. Башкуры... Свои, значит, боги тутотка имеются... А мне и невдомек!.. Ну да ладно: и на старуху бывает проруха... Так, значит, и переночевать можно, господин хозяин?

— Можно, можно...

— Вот за это благодарим... Ах ты, батюшки, и собаки у вас! Прямо на горло лезут, псины! Ну, думаю, положу я свои животы тутотка...

Прохожий начал снимать с плеч тощую котомку, и Ибрагим с любопытством смотрел на него. Это был мужик лет сорока, широкий, костистый, с рыжеватыми волосами и добродушным лицом. Его белесоватые глаза смотрели просто и вдумчиво. Какая-то неясная благодушная улыбка шевелила его губы, и от этого лицо принимало мягкое доброе выражение.

Прохожий снял котомку и серый заплатанный армяк. Потом пригладил рукой волосы и заговорил опять:

— Ну, вот весь мой и багаж, милый человек... В руках палочка, а на крыше галочка... Хе! хе! Обеспокоил же я тебя, господин хозяин... Теперь, значит, и на покой можно... Ну и собачки у вас! А, положим, как без собак. У меня дома тоже пес злющий остался... Серым зовут... Невозможно без собаки, особливо ежели хозяйство... Ты ложись, господин хозяин... Я, вот, только маленько закушу, да и на боковую...

Прохожий порылся в мешке и достал краюху хлеба.

— Вот бы маленечко мне водички, господин хозяин... И готово дело... Пан бы был... Хе! хе! Ране приходилось работать с вятичами. Так они говорят: ежели бы мне эти рукавицы да обмакнуть в деготь — так я бы царь был... Хе! хе! Всякий по-своему... А народ хороший эти вятские... Так водички бы...

— Можно самовар...— сказал Ибрагим.

Ему решительно нравился этот словоохотливый, добродушный с виду человек.

— Самовар? Оно, конечно бы, хорошо это, да ведь поздно... Да и чаю у меня нет...

— Ничего... свой дадим,— проговорил Ибрагим и быстро начал ставить самовар. Подбросив дров в чувал, Ибрагим разжег угли, и веселый, пляшущий огонь заметался в чувале. Прохожий присел на нары. Скоро забурлил самовар, и Ибрагим заварил чаю. Потом он принес хлеба, молока и пригласил гостя:

— Садись! Ашай...

Прохожий, который все время смотрел задумчиво на огонь в чувале, встрепенулся и ответил:

— Вот спасибо, милый человек... Спасибо... Ведь, вот и не знаешь, где найдешь хороших людей... Башкуры, а получше наших хрестьян, прости господи!

Он перекрестился и сел за чай. Пил он степенно, не торопясь, откусывая крошечные кусочки сахара и бережно смахивая на ладонь крошки хлеба. Ибрагим налил себе чаю и посматривал на прохожего. Наконец не вытерпел и спросил:

— Куда идешь? Далеко?

Мужик усмехнулся.

— Куда глаза глядят, милый... Я ведь штрафованный... На два года из своей губернии выслали... Из Расеи, значит...

— Зачем? — удивился Ибрагим и, усмехнувшись, добавил: — Карабчил разве что?

— Как?

— Украл разве что?

— Мы этим не занимаемся, милый... Слава те, господи, на пятый десяток повалило, а этого не бывало...

— Зачем тебя выслали?

— Зачем? Не меня одного... За бунт, милый, за бунт...

— Какой бунт?

Прохожий опять усмехнулся.

— Ничего ты не знаешь, видно... Да и вам што, башкурам! Шел я, даве, днем и смотрю кругом: господи ты боже, — сколько земли у вас! И мало, значит, населения совсем... Житье, видно, у вас ничего себе... Вот у вас сколько земли?

— У отца тридцать десятин.

— Тридцать... Ах ты, господи, боже мой! У нас на тридцати десятинах, почитай, десять семей навалило... Друг на друге сидим. И земля что? Вся изношена, как тряпье, сколь ее не умасливай... А у вас земли дикие, вольготные, к рукам бы их... И урожаи, поди, хорошие?

— Всяко бывает...

— Конечно, от себя больше... Как работать... Тридцать десятин. Ах ты, господи, боже мой!

Прохожий замолчал и смотрел на огонь добрыми, слегка слезящимися глазами.

За окном играл ветер, и гуляла на улице мокрая, холодная осень. Бездомная и угрюмая, она несла с собой мертвый, торжествующий мрак и брызгала по крышам мелким дождем...

— Меня вот в вашу губернию на два года. Да... Искал я работы в городе, да што там! Много нашего брата, голытьбы, шляется... На фабрики несподручно, потому там привычка другая нужна... Поколол в одном месте дров, заробил полтинник и только пока. А потом и думаю: двину-ка я куда-нибудь в деревню да наймусь пока хоть в работники... Обживусь, а там и бабу с сыном вытребую. Скучно, милый, без семейства. Ах ты господи, боже мой! Ну, благодарим покорно за чай, господин хозяин... Пожалуй бы, и на боковую... Утром пораньше двинусь куда-нибудь...

Прохожий замолк... Ибрагим молча убрал самовар с нар и пригласил гостя спать. Он дал ему войлок, подушку и еще подбросил в чувал дров.

Прохожий с видимым удовольствием растянулся, зевнул, перекрестил рот и заметил:

— Пожалуйста, господин хозяин, разбуди пораньше... Вишь, здесь, у тебя, меня разогрело: просплю, пожалуй...

— Ладно... А тебя как зовут? — спросил Ибрагим.

— Антипом, милый человек... Антипом... А тебя, господин хозяин?

— Ибрагим...

— Гм... чудное имя. Ну да ведь всякие народы по-своему...

Антип замолчал и скоро засвистел носом. Спал он на спине, положив широкие, волосатые руки на грудь. Ибрагим долго ворочался. Ветер гасил пламя в чувале, и тяжело дышала за окном одинокая осень.

Утром, чуть свет, Антип проснулся и начал собираться в путь. Проснулись Итбика и Ибрагим. Пока Антип собирался, Ибрагим долго шептался о чем-то с матерью. А потом, с странно-веселым и смущенным лицом, он вдруг положил руку на плечо Антипа и сказал:

— Подожди, знаком. Чай пить будем...

— Некогда, милый... Спасибо...

— Айда, живи у нас...

— Как это, милый?

— Работником... Работать будем вместе...

Лицо Антипа просветлело...

— Что же... Я не прочь... Народ вы, я вижу, хороший...

Они поговорили и условились в цене: семь рублей в месяц и десятину посева на выбор. Ибрагим рассчитывал в этом году сеять...

Антип остался...

Подходила весна...

Башкирская деревня под лучами яркого солнца как будто ожила. В роще, где стояли высокие, сильные березы, как безумные, кричали грачи и ткали из крика зовущую и страстную жизнь. Вылезали из изб одичалые, полуголодные люди, грелись на солнце и лопотали повеселевшими голосами. После тяжелой и длинной зимы, после дней, жестоких и холодных, наступило время, когда солнце вызывало к жизни даже больные, истощенные голодом, смуглые тела.

Ибрагим готовился к посеву и много работал. Еще зимой, когда до весны было далеко, Ибрагим вместе с Антипом возили в город от подрядчика дрова и бревна с Урала, потом — сено с лугов, и даже с месяц жили в городе, где возили камень. Зато к весне Ибрагим прикупил семян и уговорил отца не отдавать в это лето пашни в аренду. Закир, по-прежнему живущий взятками, махнул рукой и отдал землю сыну. К старой семье он почти не заглядывал, разжирел, пил много водки, ругался на сходах по-русски и часто бил свою молоденькую

Ханисафу. И Ханисафа таяла, как охваченный снегом цветок...

Однажды к Ибрагиму приехал башкир и заявил, что Закир умирает.

Ибрагим вскочил на лошадь и помчался к отцу, у которого он ни разу не был в новой избе. Закир лежал на нарах, хрипел, страшно закатывал глаза, и грудь его была обмочена кровью. Ночью, когда Закир возвращался пьяный из гостей, кто-то выстрелил в него, и пуля попала в грудь. У Закира было много врагов.

Ибрагим сел около отца и долго смотрел ему в лицо. Страшно ворочая белками глаз, он хрипел, и слышно было далеко его свистящее дыхание. В груди у Закира что-то клокотало, и на губах появлялась иногда кровавая пена. Увидев сына, он что-то хотел сказать ему, но из горла вырвался только один странный, шипящий звук:

— Хрчш...

Ибрагим не выдержал, взял за руку отца и заплакал. В углу, вся завернувшись в красное широкое покрывало, сидела безучастная и молоденькая Ханисафа. Иногда из щели покрывала сверкал взгляд черных, агатовых глаз, и этот взгляд, мгновенный и короткий, дышал ненавистью.

Закир мучился сутки и умер. Обрядили его на скорую руку, пришел мулла, прочитал молитвы, и Закира стащили на кладбище. И шел за его телом только один Ибрагим и приехавшая вскоре Итбика. И старая жена, брошенная Закиром, горько рыдала над могилой мужа. Молоденькая Ханисафа забрала свое имущество и ушла к отцу. Ибрагим и Итбика вернулись в свою деревню.

Весна ширилась и охватывала страстно мятущуюся и жадную землю. Зеленели деревья, пели птицы, и люди готовились к посеву. Ибрагим с Антипом все время были на пашне. Антип, всегда веселый и работящий, с весной сделался как-то мрачен и неразговорчив. Ибрагим участливо следил за ним и спросил однажды:

— Что, Антип? Хворал, что ли?

Антип хмуро посмотрел куда-то в сторону и ответил:

— Что-то тоскливо, хозяин. Что грех таить: на родину тянет. Баба да сын остались. Вишь, кабы здесь они были.

— Сюда их надо...— сказал Ибрагим.

— Легко говорить, милый человек. Далеко ехать сюда. Да что им здесь делать? Кабы земля своя была.

Ибрагим промолчал и задумался...

А Антип еще больше тосковал. Похудевший и угрюмый, он молча возился с работой, и видно было, что он сильно страдает.

Как-то раз, когда они были вместе в поле, Ибрагим вдруг

тронул молча его за руку. Антип взглянул в лицо Ибрагима и удивился. Красное лицо смуглого юноши было озарено какой-то странно сверкающей усмешкой.

— Айда за мной! — коротко сказал Ибрагим.

Антип молча повиновался...

Легко, как горная коза, шел впереди гибкий и стройный Ибрагим. Удивленный и озадаченный, неуклюже шагал сзади Антип. Взойдя на небольшой холм, откуда развертывались вспаханные поля, голубой простор и серебро сверкающего вдали озера, Ибрагим остановился и, протянув смуглую руку, сказал:

— Это все моя земля! После смерти отца осталась... Видишь?

— Вижу,— уныло ответил Антип, весь охваченный невольным чувством зависти.— Ах ты господи боже, сколько земли! Ну и башкуры! Благодать одна господня! И сколича ее лежит напрасно, землицы-матушки этой! У нас бы наперли на нее...

— Моя земля! — гордо повторил Ибрагим.

Загадочно улыбнулся и добавил тихо:

— Теперь тащи сюда бабу и сына...

— Зачем?

— Так... Я дам земли... Работай... Бери пять, десять десятин... Можно заимка строить... Мне одному много земли... Тебе одному скучно... Я все вижу... Живи два, три года... Десять лет... Сколько хочешь...

Антип просиял...

— Ах ты господи, боже мой! Вот человек-то! Этак, пожалуй, можно и писать жене, чтобы ехала?

— Пиши... Денег дам вперед... Им надо много ехать сюда...

— Ах ты господи боже! — лепетал Антип, весь охваченный бурным приливом радости...

Ибрагим отвернулся и пошел обратно. По дороге он сорвал тонкую ветку и хлестал ею по ичигам. Сзади него шел человек, разводил руками, бил себя по бедрам и почти выкрикивал нелепые, отрывистые слова:

— Ах ты господи боже! Шутка ведь, дядя! Башкур! Душевный человек! Мне хоть бы эти два года пробиться... Вместе с семьей, значит... А там... бог впереди... Может, и у нас тогда земля будет... Бабу и Андрейку сюда пока... Веселей! Ах ты...

Антип выкрикивал, разводил руками, а Ибрагим хлестал бешено веткой по ногам и старался заглушить в себе чувство свежей, молодой и бурной радости.

КУЛЬТУРА

Становой пристав Котиков, бывший урядник, приехал в башкирскую деревню Курай, по «делам службы», и остановился в доме старосты, который, напялив бляху, подобострастно ухаживал за приставом.

Лучший тюменский ковер, какой водился у старосты, был заботливо подложен под сиденье приставу, самые пышные подушки обложили с боков и спины его благородие. Клубился на нарах самовар, сверкал чистый, как слеза, свежий сотовый мед, и пенился в чашке кумыс.

Пристав ел, пил, особенно налегал на мед с таким видом, что все здесь, в этой деревне, принадлежит ему и что он, в сущности, неограниченный и полный властелин над всеми живущими здесь...

Не забыл пристав и водку, которую привез с собой. Пил, закусывал, животно сопел носом, и весь он, с огромным ртом до ушей, с тонкими губами, с крошечными глазками, глубоко вдавленными, напоминал большую серую жабу, которая, разинув рот, приползла по пыльным и сонным улицам деревни.

Пристав пил, закусывал и говорил старосте:

— У меня чтобы подати были все заплачены! Старшина жалуется, что ваша деревня вся в недоимках. Что это за порядки? Государству нужны деньги — понимаешь? Не мне, не тебе, а государству!.. Понимаешь?

— Понимам!

— То-то «понимам». Я человек добрый, я всякую культуру прошел, но... за недоимки не пощажу! Не пощажу даже детей своих, ежели они должны государству... Все опишу и продам! За государство я грудью! Понимаешь, бритая башка?

— Понимам!..

— То-то «понимам»... Ты мне свою машину не заводи: «понимам»! Меня не подкупишь медком да подушками... А потом я заметил, что у вас здесь нет никакой культуры... Ведь нет?

Староста поскреб в затылке и ответил:

— Так тушна!

— То-то... Проезжаю я по вашей волости и дивлюсь: масса земли, и вся заброшена... Редко где — пашня. Почему это не обрабатывать землю? Почему не обрабатывают?

Староста вздохнул и тихо промолвил:

— Сил нет...

— Сил нет? Скажите, пожалуйста. Это ты на базаре не скажи: пряниками закормят. Сил нет! А жрать махан да сутками спать с апайкой есть силы?

— У нас редко махан...

— Редко, да метко... Нажретесь на неделю, да и дрыхнете, как удавы. Нет, я примусь за вас — наведу культуру! Заставлю всех сеять, кто не захочет — нагайкой! Государство ждет от вас помощи, а вы ни с места? Этак всю жизнь сгниете в недоимках... Вы только одно знаете: шултай-бултай да пятнадцать раз в день чай пить...

Староста пугливо сжался и молчал. А пристав все еще прикладывался к водке, багровел и хрипло продолжал:

— Я наведу культуру! Вот возьмите огороды... Самая необходимая вещь у каждого русака, а у вас ни у кого! Ведь это черт знает что такое! А, небось, картошку любите трескать, бритоголовые черти? У русаков воруете? Нет, я в корень выведу все воровство, всех в остроге сгною! Ну-ка, прибавь еще меду!

— Слушам!

— Я вам покажу, как следует завести культуру... Вот на будущий год летом поедет здесь губернатор. У меня чтобы к этому времени у всех были огороды! Слышишь, тюбетейка?

— Слышам!

— То-то, а ракчин! И чтобы посевы у всех были! Его превосходительство господин начальник вверенной мне... то есть вверенной ему губернии очень любит культуру... Чтобы все было! Его превосходительство также любит песни на курае. Чтобы были игроки на курае! Слышишь?

— Слышам!

— И чтобы никакого совокупствия толпы... И чтобы все кричали «ура»... Это самое хорошее русское слово — «ура»... Нужно грянуть разом, а не дробью... И чтобы недоимки все взыскать! Посевы и огороды тоже! Я заставлю!.. Нет, голубчик! Теперь вы живете не при Мамае, а при государе императоре... А губернатору надо кричать: «Здравия желаем, ваше превосходительство, на долгие годы!» Ну, теперь убирайся к черту, я спать буду.

— Слушам!..

— Да дальше уйди: не люблю, когда вашей вонью пахнет!

— Слушам!

Староста ушел куда-то.

Пристав полежал немного, встал и тихонько раздвинул красную занавесь в избе, отделявшую женскую половину. Там сидела жена старосты, молодая еще женщина, с грустными миндалевидными глазами.

Увидя пристава, она пугливо закутала лицо, но он подходил ближе и шептал:

— Кыс-кыс, черноглазенькая...

Апайка задрожала.

Потный, с жабьим лицом, отвратительный, как сатир, пристав подошел и обнял женщину. Она забилась в его руках, но сатир сдавил ее и хрипло произнес, задыхаясь:

— Молчи! Убью!.. Еще честь делаю...

...Вечером он уехал из деревни, и все вздохнули свободно. Было похоже на то, что по улицам, пыльным и немым, проползла мокрая жаба.

Жена рассказала старосте все и плакала. Муж долго молчал, и было заметно, как у него поводило лицо... Но потом махнул рукой и произнес:

— Молчи уж! Ты уж молчи!..

УЧИТЕЛЬ

Старый Ахмет Юнусов души не чаял в своем маленьком сыне Исмагиле. У Ахмета было две жены, детей не родилось много лет, и, наконец, последняя жена одарила Ахмета сыном. И старый Ахмет бесконечно радовался...

Мальчик рос на воле, как степная лошадь. Ахмет, бывший старшина, жил безбедно: помногу сеял хлеба, имел табуны скота, нанимал работников и не давал Исмагилу ничего работать. И говорил соседям горделиво:

— Я его учить буду! Да... Ныне ученье нужно...

И все в деревне смотрели на Исмагила как на избранника. Ему предстояло редкое в жизни башкир — учиться. Полунагие товарищи его по-своему уважали и везде давали Исмагилу дорогу. Если нужно было вынуть из гнезда молодого грача или сорвать черные гроздья спелой смородины — везде сначала действовал Исмагил. Это ему нравилось, потом вошло в привычку, и Исмагил уже сердился, если нечаянно кто не уступал ему. Покрикивал, даже дрался и заявлял:

— Я буду учиться!

А старый Ахмет жил мечтами. Вечерами, потягивая кумыс или за едой вкусного бишбармака, говорил сыну:

— Я тебя отдам учиться в Казань. Потом ты будешь здесь учителем, а мы тем временем будем хлопотать о школе... Хорошо это, Исмагил! Ныне времена не те: всем надо учиться... Сам видишь, Исмагил: мы, башкиры, народ темный, несчастный народ. Валяемся на нарах, как падаль. А все оттого, что не знаем, что делать... Русские нас плохо учат — надо самим добиваться...

Исмагил слушал, уплетал жирную баранину и все думал о том, что он будет учителем. Будет знать много и всех, решительно всех выучит, как жить на свете.

Отец сдержал слово. Когда Исмагил подрос, он сам свез сына в Казань и отдал учиться. Побывал у учителей на дому, кланялся и просил хорошенько «поучить» Исмагила. И те обещали...

Дома без Исмагила старику было скучновато. Зато был настоящий праздник для него, если сын присылал письмо. Десятки раз перечитывал, любовно гладил бумагу рукой. Бродил по деревне и каждому встречному говорил:

— А я письмо от Исмагила получил... Аяй, хорошо пишет малай! Вот, ты послушай...

И читал слегка дрожаще. Собирались в кучу любопытные и слушали. Одобрительно щелкали языками, чесали по привычке затылки, сдвинув аракчины, и говорили:

— Якши! Якши пишет. Аяй, Исмагил!

Нравилось всем, что письма заканчивались воззванием к великому Аллаху «продлить жизнь всех близких и родных». Это всем нравилось, и каждый думал, что частичка этого пожелания относится и к нему.

Понемногу появилась между Исмагилом и всей деревней странно теплая, вначале невидимая, цепь, звенья которой ковались надеждами и мечтами. Как будто светлела немного черная, однотонная, дикая жизнь людей без солнца, без красок, без света. Как будто не так била нужда по головам. Ибо все думали про себя, что есть где-то там, в Казани, малай, ушедший для того, чтобы учиться, а потом учить других. Это не чета старосте или мулле, которые всю жизнь, будучи сами рабами, травили и выжимали соки из подвластных им беззащитных, трусливых людей. Придет учитель, ясный, спокойный, много познавший, и принесет с собой новое, свежее, сильное... И не даст в обиду тех, из среды которых сам вышел...

И все уже потом сами спрашивали у Ахмета — нет ли письма от Исмагила? А когда Исмагил приехал в первое лето, все точно помолодели. Ходили за ним, как послушные бараны, внимательно слушали каждое слово, а ровесники-башкирята не смели рта разинуть против Исмагила. И не боязнь это была, а сознание, смутно озарявшее детские головы, что Исмагил учится «в большом городе», что он будет у них учителем и что его слушают даже старшие...

Первое лето Исмагил казался прежним. Играл с ребятами, лихо скакал в степи с другими на резвом и стройном скакуне или удирал далеко в степь и целыми часами валялся на траве. Старый Ахмет любовно следил за сыном, угождал ему в каждой мелочи и все думал о грядущем, где рядом с образом сына очерчивалась другая, новая, свежая, озаренная познанием жизнь...

Уезжал Исмагил в Казань и опять приезжал на лето. Но

с каждым годом он странно менялся. Сделался молчалив, на всех посматривал свысока и с отцом стал разговаривать меньше. Иногда отец, сидя на нарах за чаем, спрашивал сына об ученье, о городе, о новом в России, но Исмагил отвечал нехотя и мало... И раз заметил отцу резко:

— Что тут рассказывать! Нужно понимать...

Старый Ахмет обиделся.

— Конечно... Но разве нельзя мне спросить? Я не понимаю — ты научи. Для этого я тебя и учить отдал...

Исмагил не ответил и ушел куда-то. А старый Ахмет сидел и думал — не обидел ли он сына? Что-то сосало в душе, и становилось от этого больно. Точно уплывал куда-то прежний — ласковый и ясный для всех — Исмагил...

А Исмагил точно дальше отдалялся ото всех. Бывало, зайдет в самую бедную избу, поговорит и выпьет чаю, если пригласят. А теперь отказывался и говорил, брезгливо морщась:

— У тебя вонь в избе: еще заразишься!..

И шел величественно дальше, пока ошеломленный башкир угрюмо чесал затылок... И все стали думать о том, что та теплая связь, что была раньше с Исмагилом, полная странно волнующих ожиданий, таяла, как снег под горячим солнцем.

Последний год ученья Исмагила был самым тяжелым для старого Ахмета. Уехал сын и точно провалился: ни одного письма домой, ни одной теплой строчки, как прежде. Волновался старый и все думал, что Исмагил болен. Не выдержал — написал кое-как сыну и после этого все ждал письма. Наконец, пришло письмо от Исмагила. И старого Ахмета поразило оно:

«Я не знаю, зачем писать вам, отец? Вы — человек темный, даже малограмотный, а я, слава Аллаху, понимаю многое другое. Я теперь познал, что башкиры — народ темный, грязный и осуждены на вымирание. Об этом говорят ученые. Что тут писать? Ну, будь здоров. Исмагил».

Это было нелепо и жестоко. Старый Ахмет тер глаза, снова прочитал письмо и опять тер глаза. Страстно хотелось проснуться от какого-то тяжелого, давящего, бессмысленного сна... Это пишет Исмагил, милый, дорогой сын — вся радость последних дней? Это пишет Исмагил — горячее дыхание старого сердца, последняя надежда темных, задавленных? На вымирание... Народ темный, грязный... А он, слава Аллаху, понимает многое!.. Но разве старый отец отнимает у него счастье познания? Разве не для этого он послал его учиться? И разве он сам не бесконечно рад тому, что Исмагил познал многое? Горе, горе!.. Вместо света пришла черная ночь и поглотила все. Великий Аллах захотел наказать старого башкира... Это его воля, но тяжело человеческому сердцу!..

Все хотел проснуться от тяжелого и давящего. Валялся на нарах и плакал, пряча в подушки лицо. Ночью ворочался или вставал и молился. За окном завывала пурга и странно подчеркивала в бешено гудящих песнях, свободных и гордых, что люди на земле спаяны вечным горем, у них цепи и тоска...

Захирел старый Ахмет и осунулся. Не отвечал, когда спрашивали об Исмагиле, и долго по ночам плакал. К этому присосалась болезнь, и Ахмет слег. Метался в жару, бормотал и временами, приподнявшись на нарах, с блуждающими глазами, тихо и нежно звал Исмагила... Но Исмагила не было, и Ахмет умер, не дождавшись сына.

НОЧЬ

Выли волки.

Вышли они на снежную равнину степи, долго стояли на месте, пряли ушами и вслушивались... Потом сели и завыли. Басом начал самый старый, за ним подхватили молодые тоньше и выли... Жаловались на серую волчью долю, на голодную жизнь и на лютую стужу... И безглагольная степь, вся закутанная в саван, пугливо жалась и хоронила в себе жуткие звериные песни...

Висело черное небо над степью. Падали тихо-тихо снежинки — милые дети небес. И где-то там, где далеко прятался лохматый Урал, набиралась пурга...

Набиралась она. Вставали незримые ночные силы, бродили призраками в лесу и будили ветры. Вставали ветры из снежных крутых оврагов, из серых ложбин, из-за лохматых гор и долго ловили друг друга, играя мягким шорохом леса. А когда сбежались — сплелись в одно буйное, пьяное, схватились за руки и, танцуя в снежном кружеве ночи, понеслись в степь...

Аллаяр совсем не думал, что его застигнет степная пурга. Из города он выехал веселым и дорогой пытался орать песни. В самом деле, не все же плакать!.. Положим, он свез в город последний воз пшеницы, а до весны еще далеко-далеко... Но Аллах милостив! Пшеницу продал выгодно, а главное — заткнет теперь немного дыры. Во-первых, купил чаю и сахару — это важное. Во-вторых, жене дешевого ситца на платье и, наконец, дочери на платье — это также немаловажная штука... Хотя дочери уже двадцать три года, но Аллаяр рассчитывал наверняка отдать ее замуж за богатого. Девка жирная,

широкая и здоровая. Сватали трое, но все это голытьба! Аллаяр сам беден, а через девку можно поправить все дела: свернуть хороший калым...

И Аллаяр орал песни. Иногда останавливался, хитро подмигивал себе глазом и вынимал из передка саней бутылку с водкой. Аллах не велел пить водку правоверным, но... разве можно уйти от соблазна? Все ныне пьют, и Аллаяр отлично знает, что водку тихонько посасывает даже старый мулла... Все пьют! И Аллах знает, что у Аллаяра, в передке саней, еще две непочатые бутылки с водкой, но мало ли, что знает Аллах! Он знает также, что жизнь у Аллаяра угрюма и сера, как степь осенней ночью...

И Аллаяр выпивал дорогой. Огненная влага веселила душу, и все казалось краше: дорога, лошадь и снежный сверкающий путь. Аллаяр пел и думал о многом. Мысли прыгали скачками в бритой голове и странно зацеплялись на одном главном: что он еще не стар, и хорошо было бы взять другую апайку. Эта жена вся износилась: она худа, как оглобля, и морщиниста, как старые ичиги. Да, хорошо бы, но необходим проклятый калым, а у него почти ровно ничего: скота совсем нет, кроме одной лошади, если не считать еще тощую собаку, которая зверем воет по ночам. Ох, если бы поскорей сбыть девку за хороший калым! Тогда бы и он вывернулся...

Долго думал Аллаяр. Лошадь бежала ровно, ночь прятала дорогу, но привычный степной мерин уверенно вез хозяина. Понеслась с визгом и хохотом пурга, сыпала снегом и кричала, звонкая, разными голосами... Аллаяр притих, сжался в санях в комочек и совсем не правил лошадью: мерин бежал уверенно и твердо.

Сон слипал глаза у Аллаяра, но он крепился и ежился от холода в санях. Одежда у него была плохая, и морозный ветер злорадно залезал во все прорехи. Мерин пошел тише. Чутко прял ушами и фыркал.

Аллаяр вылез из саней и, скорчившись, пошел рядом. Снегу выпало много, пурга ревела и плясала, а дорога терялась под снегом. Но лошадь шла и раз только встала нерешительно, пугливо вслушиваясь...

Выли волки...

Вместе с песнями пурги ясно долетал со стороны хватающий за душу вой голодных зверей... Аллаяр почувствовал, что весь хмель у него вылетел, озноб пробежал по спине и захватил голову. Вскочил обратно в сани и ударил лошадь. Она поняла: рванулась и быстро понесла...

Аллаяр сидел в санях и шептал молитвы. Ему казалось, что по сторонам поблескивают волчьи глаза, звонко щелкают зубами и скоро разорвут его жадные звери. Аллах! И Ал-

лаяр дает себе слово в душе, что не будет пить водку и не изменит своей старой жене...

Долго несла лошадь, и Аллаяр бросил править. Сжался в санях, стараясь не смотреть по сторонам. Хлестала пьяная пурга снегом и бежала рядом. Вдруг лошадь остановилась и звонко, странно-радостно заржала...

Аллаяр выглянул из саней и, замирая от страха, всматривался в ночную муть. Смотрел и не верил глазам: маячит старый поломанный плетень у избы и сама изба, закутанная в белый саван, чернеет впадинами окон. Да, несомненно, это его изба, и лошадь еще раз заржала звонко и радостно... Благодарение Аллаху! Он не дал правоверному погибнуть в зубах кровожадных зверей... Хорошая лошадь! Он не отдаст ее и за сотню рублей.

Долго стучал в жалкое, промерзлое окно. Наконец, в избе зашевелились, чиркнул огонь, и жена Аллаяра вышла отворить ворота. Аллаяр пошел прямо в избу и бросил на ходу:

— Отпрягай лошадь!

Жена осталась на дворе, а Аллаяр долго топтался в избе, стараясь отогреться. На нарах, раскинувшись, спала Фатима и сквозь разорванную рубаху сверкала жирными обнаженными грудями. Аллаяр смотрел, потом странно чмокнул толстыми губами и разбудил дочь.

Она поднялась на нарах, широколицая, с толстыми, чувственными губами и, не закрывая жирной груди, смотрела на отца. Зевала во весь рот и почесывалась.

— Ставь самовар! — приказал отец.

Она слезла с нар и живее заходила. Может, потому, что чай не пивали с неделю. Аллаяр присел на нары и начал снимать ичиги. Он сделал главное — продал пшеницу и купил нужное. Остальное должны делать женщины. Такова воля Аллаха!

Пришла со двора жена и принесла покупки. Положила их на нары, возле мужа. Спокойно, со знанием силы и права, Аллаяр медленно развертывал подарки. И бросил лаконически:

— Это тебе... А это тебе!..

Женщины живо залопотали и бросились к огню рассматривать. Гладили с восхищением дешевый ситец, сияли от радости. Бедные дети вечной кабалы и мрака — они были счастливы в этот момент, и жалкая жизнь рабынь точно утонула на время в глянце и треске дешевого ситца... Аллаяр полулежал на нарах с видом властелина, давшего свободу своим подданным, и жадно посматривал на бутылки с водкой, которые вынесла жена из сеней. И думал почти испуганно:

— Как это я их не потерял!

Положим, в степи дал слово Аллаху не пить больше водки. Но, во-первых, он страшно перемерз, а во-вторых... во-вторых... это будет уж в последний раз!.. Да, в последний. Аллах справедлив, прежде всего: он знает отлично, что вытерпел в степи в эту проклятую ночь бедный человек... А потом и сам мулла тихонько посасывает водку... Да, что грех таить!

Весело сделалось в избе у Аллаяра. Ярко, как золото, горели дрова в чувале, сделалось жарко, а старый, с помятыми боками, позеленевший самовар точно помолодел: клубил паром, захлебывался и насвистывал что-то веселое, такое, отчего лица людей в избе сделались человеческими...

Давно не пили все чаю. Поэтому набросились жадно на горячий напиток, откусывая, как драгоценность, крошечные кусочки сахара. Но Аллаяра больше тянуло к бутылке. Стараясь не вспоминать Аллаха, он раскупорил одну бутылку, долго щелкал сладострастно языком, налил в чайную чашку и выпил залпом. Налил другую — и выпил. Почти сразу сделалось весело на душе, хотелось смеяться, а черная ночь на улице и дикая, разгульная песня пурги казались совсем не страшными и даже странно-близкими по тем голосам, которые начинали завывать в душе...

Еще выпил и подал жене. Старая апайка схватила жадно, и руки у нее, синие и дряблые, дрожали. Выпила и замерла, зажмурив глаза... Аллаяр заметил это и сказал:

— Якши?

— Якши!..

Она открыла глаза и все тем же жадным взглядом смотрела на бутылки. Пряча несколько лицо за самовар, тянулась глазами и дочь... Огромная, непонятная доброта залила сердце у Аллаяра. Он раскупорил другую бутылку, налил водки в чашку и, подавая дочери, ухмыльнулся:

— Пей и ты...

Дочь глуповато улыбнулась, вытерла рукавом жирное лицо и, звеня монетами на груди, взяла чашку. Как мать, зажмурилась и выпила... Плевалась после этого, но через несколько минут смеялась опять глуповато, поводя в стороны черными глазами. Аллаяр решил закончить бутылки. Выпивал сам и подал еще по чашке женщинам.

Старая апайка как-то скоро ослабела, легла на нары и захрапела. Аллаяр пытался гнусаво запеть, но другие мысли забились в бритой, затуманенной голове. До боли хотелось иметь сейчас молодую жену, с пышными грудями, с крепким, как лиственъ, телом...

Косился на жену, и резало душу ее старое, желтое, как лимон, дряблое лицо. Острились худые, острые плечи, точно доска выдавалась грудь... Совсем не думал о том, что мертвая,

вечно голодная жизнь все высосала из женщины. Не думал об этом. Как дикий волк, раздувал ноздри, сладострастно чмокал губами и думал о животном...

Дочь сидела рядом, красная, здоровая, потная. Пахло от нее разогретым телом, она глупо ухмылялась, почти пьяная, и задевала плечом отца. От этого у него лицо сделалось страшным, глаза помутились, он стиснул зубы и вдруг повалил дочь на нары...

На дворе жалобно заржала голодная, забытая лошадь. Ревела бешено пурга, и ночь, страшная, бесконечная ночь давила землю и холодно роднила людей со зверями...

ГРЕХ

Суров и грозен старый мулла Салимов, три раза побывавший в Мекке. Когда он идет по улицам, к старой и горделивой мечети, после того, как уже кричал на молитву гнусавый азанчи*,— тогда все живое покорно и почтительно жмется по сторонам, торопливо давая дорогу... Он, высокий и седой, с молодыми бархатными бровями, важно и медленно, глядя в землю, идет по улицам, сверкая белоснежной чалмой... Идет и четко ударяет посохом о дорогу, тем самым, с которым три раза ходил в Мекку и которым часто бивал непослушных сынов священного корана... Идет старый мулла — и все живущее смиренно склоняет головы... Мужчины смотрят трусливо, как зайцы, а женщины, торопливо кутая лица, быстро скрываются с улиц... Перестают горланить полунагие башкирята, и даже собаки, злые и тощие, поджимают книзу вольчи хвосты. И слышно, как за муллой несется гортанный, полузадавленный говор:

— Ишан! Ишан!**

Да, суров и грозен старый мулла Салимов, и выше всего на свете он ставит священные страницы корана...

Странно-величественно и четко, рядом с убогой человеческой жизнью, с страниц божественной книги веяло на муллу тем лучезарным и ясным, о чем когда-то говорил великий пророк... И это вдохновенное и великое, чем жили священные страницы, знал только он, старый мулла, три раза побывавший в Мекке... И это сознание, такое важное по смыслу, сверкало у него в душе, как полумесяц на верху старой, горделивой мечети... Поэтому, должно быть, старый мулла полупрез-

---

* Пономарь.

** Святой.

рительно и важно смотрел кругом на жалкие, собачьи конуры, где прятались полудикие дюди — верные сыны ислама, где жили болезни и гулял вечный мрак... И когда люди гнулись перед ним покорно, как собаки, старый мулла был доволен, ибо это так нужно было по смыслу, который окружал только его... Ибо он побывал три раза в священной Мекке, он знал наизусть великие, огненные страницы, он жил и волновался творчеством их, и было бы нелепо допустить, чтобы эта жалкая, человеческая орава, живущая одним нутром, не гнулась смиренно перед ним, как приозерный тростник от могучего всполоха ветра...

Довольство и почет окружали старого муллу. Ни у кого в округе не было таких богатых табунов лошадей, таких стройных и легких, как степной ветер, кобылиц и таких богатых, красивых ковров в доме... Никто не пользовался таким почетом; ни к кому, кроме муллы, не ездили такие важные и чиновные гости, как становой, земский или даже исправник... А волостной старшина Карымов, дряхлый и дряблый, как столетний пень, изглоданный червями, ни одного дела не мог решить в волости без того, чтобы не попросить совета у муллы... И если нужно было кому-нибудь повести дело в свою пользу, тот неизменно шел сначала к ишану, кланялся ему в ноги, целовал большую, жирную руку и клал деньги на богато убранные нары. И тогда дело решалось в его пользу...

Много видел на своем долгом веку старый мулла... Был два раза в самой столице, в той самой, где живет царь. Рассказывал потом прихожанам, что был у царя два раза, в самой его спальне, где стоят стройные золотые колонны. Что долго говорил каждый раз с царем, и он обещал сделать муллу Салимова ахуном* в губернском городе... И обещал никогда не трогать вольные башкирские земли, что рассыпались у ног гордого, темно-синего Урала. Что царь вышлет на это золотую грамоту, и она будет для всех так же священна, как страницы великого корана...

Так часто рассказывал старый мулла Салимов. Все жадно слушали его речи, чмокали губами и чесали бритые затылки... И точно выше от этого делался мулла, суровый, в белоснежной чалме, с молодыми бархатными бровями.

Однажды пришел к мулле старый и дряхлый старшина Карымов. Провел ладонями по лицу, подобострастно припал к рукам муллы и прикоснулся к ним синими, безжизненными губами. Мулла молча показал на нары, где лежали пышные ковры. И старшина сел.

---

* Старший мулла.

Молчали долго.

Первым должен был заговорить мулла, лежавший на нарах с полузакрытыми глазами, над которыми четко и странно-молодо изогнулись черные брови... Карымов смущенно скреб в затылке, отодвинув в сторону аракчин. И вздыхал.

Наконец мулла поднял молодые брови и спросил тихо:

— Тебе что, Ахмет?

Старшина опять поскреб в голове, пожевал синими губами и ответил робко:

— Хочу жениться, мулла.

Опять помолчали. Взгремела на улице собака, за ней другая — и скоро дружная стая их бросилась за кем-то по дороге. Когда затихли, мулла спросил коротко:

— Зачем?

Карымов опять пожевал синими губами. И ответил:

— Хозяйство большое... Сам знаешь!.. Ханисафа стара стала... Хозяйство большое... Разреши, ишан!..

— Невеста есть?

— Есть, ишан...

— Кто?

— Дочь старосты Садыкова. Бибинор...

— Но ведь она еще молода?

— Ей скоро шестнадцать...

— Так по закону нужно...

— Скоро, ишан... Месяц остался до шестнадцати...

Опять замолчали. Мулла Салимов важно и задумчиво смотрел в окно, где играли краски молодой, едва нарождавшейся весны. На подоконнике возились и страстно ворковали голуби...

— А Садыков согласен за тебя отдать дочь?

— Он согласен, мулла... Не знаю, как Бибинор...

Мулла строго сдвинул молодые брови и сказал презрительно:

— У нас с женщинами не разговаривают! Ты это знаешь?.. Если отец отдаст — ульган!* А с женщинами не разговаривают... О калыме говорил с отцом?

Да.

Много просит?

— Десять лошадей, полсотни баранов и триста рублей деньгами...

— Ты согласен?

— Да, ишан. Конечно...

Карымов облизал синие, сухие губы и усмехнулся. В стар-

---

* Конец.

ческой, дряблой памяти пробежала, как легкая горная коза, высокая, тоненькая Бибинор, с черными, смоляными глазами... И Карымов еще раз облизал свои синие, как у мертвеца, губы, а руки, худые и тонкие, как плети, странно передергивали костлявыми пальцами...

— Ну, так что? Якши!.. Начинай свадьбу...— проговорил мулла и устало закрыл глаза.

Карымов встал, порылся в кармане. Вытащил бумажный сверток и положил на нары. Мулла не шевелился, Карымов низко поклонился и тихо вышел, чуть поскрипывая новыми сафьяновыми ичигами...

Как невеста, наряжалась степь...

Кто-то большой и сильный, весь пронизанный радугами света, дни и ночи шел по степи, роняя за собой небрежно цветы и песни... Одевалась в зеленые, жемчужные ленты степь, веселилась, пьяная, заодно с солнцем и бросала в воздух музыку птичьих голосов. Сверкали полноводные озера, шептался радостно тростник, синел вдали гордый Урал и ломал в воздухе четкие грани вершин.

Широко и богато играл свадьбу старый, дряблый старшина Карымов. Издалека съехались гости, пили молодой кумыс, досыта ели баранину. Гулко и протяжно икали, потом опять ели и запивали пенистым белоснежным кумысом. Со всей округи съехались лихие, ловкие наездники на скачки, чтобы получить призы, выставленные богатым женихом — старшиной Карымовым. Целый день, при громком, восторженном реве толпы, скакали наездники, с места брали все вместе, а потом тонули в степи на вытянувшихся, как стрелы, лошадях. И возвращались так же бешено и гулко, при восторженном реве толпы...

В доме старосты Садыкова смуглые, черноглазые девушки наряжали невесту, молоденькую стройную Бибинор. Гортанными голосами пели смуглые девушки печальные песни, и заливалась слезами молоденькая Бибинор. Не радовал ее богатый кафтан, опушенный горностаем, и яркие, тяжелые монисты, заливавшие упругую, полудетскую грудь... Плакала горько Бибинор, и все чудились ей дряхлые, синие, бескровные губы и тощие, как палки, сухие руки жениха. Сквозь крупные слезы смотрела она в окно, на улицу, где гремела толпа, где скакали дикие наездники, и взгляд черных глаз ее не раз останавливался на молодом и стройном Якупе — одном из лучших и ловких ездоков. И Якуп, проезжая мимо, бросал соколиный взгляд на окно, а потом бешено, со странно

искаженным молодым лицом мчался наряду с другими в волны изумрудной степи...

Плакала Бибинор, а молодые смуглые девушки пели печальные степные песни... Бросалась Бибинор на нары лицом вниз, судорожно вздрагивала всем телом и тоненьким, хрустальным голосом пела:

...— Унеси меня, степной ветер, в далекие края к милому... Спрячь меня, зеленый камыш, от судьбы горькой... Пойте, птицы лесные, песни венчальные! Я пойду в урман, до самого Урала, и буду кричать долго-долго... Милый откликнется мне звонко и протяжно, а птицы будут петь песни венчальные... Спрячь, схорони, урман, навеки с милым!.. Река! унеси мое горе...

Пела, дрожала всем телом, и плакали молодые подруги... А там, за стеной, хохотал с гостями пьяный отец — староста Садыков и громко хвастался полученным калымом. Чмокали толстыми губами завистливые гости, пили водку, кумыс, ели баранину и орали гнусавыми голосами песни, величая жениха и хозяина. И не было никому дела до тоненькой Бибинор и до ее слез... А в глубине своего дома, осматривая пышные брачные нары, жадно лизал синие губы жених и потирал тонкие, дряблые руки...

Два случая, как два враждебных вихря, налетели на деревню и взволновали старого, сурового муллу Салимова...

Во-первых, приезжали межевые инженеры и к мулле не заехали. Взяли старшину, старосту, понятых и целую неделю меряли земли и проехали по граням. Составляли новые планы, а потом заявили старшине, что часть башкирских земель отойдет в казну... Чесали затылки ошеломленные башкиры, горланили что-то на сходке хриплыми голосами и порешили в конце, что не отдадут они вольные башкирские земли, подаренные им навечно, вплоть до синего Урала... Приходили потом все к мулле Салимову, и он, гневно сдвинув молодые брови, сверкая белоснежной чалмой, кричал, что это приезжали «урус дунгузы»*, что царь обещал ему золотую грамоту на земли и что царь никогда не обманет старого муллу, три раза побывавшего в Мекке... И он клянется священными листами корана и кровью своей отстоять родные влажные пашни и степь, покрытую изумрудной зеленью... и слушали успокоенные башкиры слова старого муллы Салимова, легче от этого становилось на душе, и все расходились по избам... Но мулла

---

* Русские свиньи.

Салимов долго не мог успокоиться, и его давила мысль, что приезжавшие чиновники даже не заглянули к такому почетному и уважаемому мулле, у которого часто бывал сам исправник...

Вечером к мулле зашел старшина Карымов. Мягко скрипел ичигами, опять кланялся и целовал пухлую руку у муллы. Точно еще безжизненней было его старое, сморщенное, как у мертвеца, лицо, еще синей казались бескровные губы. Сел на нары и низко-низко опустил седую, бритую голову, сбоку которой проходил старый, безобразный шрам...

— Тебе что? — отрывисто спросил мулла, все еще гневный от дум.

Ниже опустил голову старшина и проговорил хрипло:

— Горе, ишан... Горе!

— Что?

— Бибинор... изменила мне...

Точно ужаленный, с побледневшим лицом, вскочил с нар мулла Салимов и бешено крикнул:

— Что ты говоришь, старый дурак? Разве мусульманская женщина может изменить мужу? Где это слыхано? Ты ошибся, старый мерин! Или пьян? Я знаю — проклятые урусы и сюда затащили водку. Ты выпил?

— Нет, мулла, нет...— шептал Карымов.

— Ну, значит, не проспался... Разве ты видел с кем-нибудь Бибинор?

— Ханисафа видела... Когда я ездил с чиновниками... Она...

— Ну?

— Она... видела... Как Бибинор уходила ночью в степь... И с ней...

— Ну?

— И вместе с ней ходил Якуп...

— Асянов?

— Да...

Замолчали. Багровые жилы надулись на лбу муллы. И долго так молчали, а маленькие стенные часы быстро и проворно чеканили:

— Да... да... да...

— И ты... не убил Якупа? — почти беззвучно спросил мулла.

— Нет...

— Ступай, трус! — резко крикнул мулла и, точно обессиленный, лег на нарах. И на бледном лице его, как бархат, запрокинулись черные брови...

В пятницу в мечети, когда было много молящихся, мулла Салимов после обычных молитв, опершись на посох, взошел на мехраб*. Сурово повел глазами. Заговорил тихо, но голос рос молодо и сильно. И зазвенел, как медная труба.

Он говорил о том, что проходит то время, когда ничем не были запятнаны чистые страницы корана и когда душа великого пророка мирно нежилась в райских садах с белоснежными девами... Пришли новые дни, страшные, черные дни, когда слуги пророка начали пить водку и жены начали изменять мужьям. Горе! Горе! Гремят в могилах кости старых праведных сынов. Горе! Горе! Пришло подлое, новое племя и топчет святыни, так бережно хранимые веками... Разве нет для них пенистого кумысу, жирных баранов и степи, потонувшей в бархате весны?.. Разве не стало птиц, резвых коней, зеркальных озер? Где вера и где бог? Нет, он не допустит до того, чтобы шаталась, как от ветра ракита на берегу, вера отцов, заснувших там, между старыми березами, где кричат грачи... Он проклянет безумцев, переступивших грань завещанного! Он накажет их по шариату, и гнев пророка вырвет языки и сердца всех неверующих собак!.. Горе переступившим заповеди пророка! Горе неверным женщинам-рабыням! Горе обольстителям!..

Он прокричал последние слова и пошел из мечети. Мертвая тишина шла за ним следом... И четко-угрожающе двигалась рядом с ним его длинная тень...

...Было на улице странно-суровое зрелище, когда старый мулла наказывал молоденькую Бибинор и стройного чернобрового Якупа...

По приказанию муллы Якупа и Бибинор запрягли в дряхлую телегу, которая гулко-пронзительно скрипела немазаными колесами. Обвешали Якупа и Бибинор гнилым тряпьем и старой, вонючей обувью. Стоял на улице высокий суровый мулла Салимов, с гневно сдвинутыми молодыми бровями. И громко приказывал:

— Айда... шайтаны!

И тронулись они, двое, молодые и бледные. Гулко заскрипела телега, а плотная толпа людей дико завыла и побежала наравне. Кидали комьями грязи, камнями, свистели, гоготали... Старые апайки, как ведьмы, отвратительные в своих лохмотьях, забегали вперед и плевали в нежное лучистое лицо Бибинор. Она прятала книзу лицо, и глаза ее, широко раскрытые,

---

* Возвышение.

были глазами смертельно раненной газели... Бледный и красивый, напрягая стальные мускулы, вытянулся стройный Якуп и легко грохотал телегой, стараясь защитить Бибинор. Далеко отшвыривал старых апаек, они валились на землю, вскакивали, визжали, как дьяволы, и старались плюнуть Бибинор в лицо, а Якупу выдрать глаза... Точно мстили за свои старые жизни рабынь, за черные дни в вонючих ямах, все изжитые без красок, без лучей,без звуков... Кто-то маленький и старый, весь сжатый в комочек, спотыкаясь и падая, бежал сзади всех и плакал надорванным хриплым голосом... То была старая мать Бибинор...

Объехали несколько улиц. Вернулись опять туда, где стоял грозный мулла. Он ударил посохом о землю и крикнул:

— Довольно!

Остановились, все странно затихшие. Отпрягли людей. Шатаясь, плотно закутав лицо, пошла Бибинор в дом старого мужа, который смотрел в окно и лизал дряблые, синие губы. Гордый и прямой, как стрела, с горящими глазами, Якуп тихо направился за деревню, где волновалась степь.. Все молча смотрели ему вслед и разошлись, стараясь не смотреть друг на друга. Только долго был слышен на улице хриплый, надорванный плач старой апайки, свернувшейся в комочек у дверей...

Ночь подошла тихая, страстная, с шепотом молодых трав, с безумной отвагой жизни... Горели короткие звезды. Шепталась дружная трава, завороженная песнями земли. Чертили по улицам вкрадчивые тени. Молчали собаки и не залаяли, когда высокий, стройный человек крался к дому старшины.

Крепко спал старый мулла Салимов, и снился ему великий пророк, говоривший с неба:

— Ты задушил грех, ишан! Я возьму твою душу сюда, где идет вечный, надзвездный пир жизни...

Болезненно кашляя и сипя, спал старшина Карымов. Снилась ему молоденькая Бибинор, молившая простить грех...

Жмется упругим телом к хилому, и алые нежные губы льнут к синим, бескровным... И сладострастно чмокает старшина во сне...

Спит деревня. Плетут кружева на улицах шальные тени. Где-то тихо скрипнули двери. Стройная, белая тень поплыла от ворот старшины Карымова, к ней быстро подошла другая... Схватились за руки и побежали туда, в темно-синий упругий мрак, где задыхалась от счастья степь...

Н. А. Степной

(1878—1947)

Николай Александрович Афиногенов (псевдоним — Н. Степной) родился в семье волостного писаря в глухом городке Наровчате, Пензенской губернии; учился в земской начальной школе и в уездном училище.

Печататься начал в 1904 году. В период первой русской революции, едва избежав смерти от рук черносотенцев, несколько месяцев отсидел в тюрьме. После освобождения переехал в Оренбург и в 1906—1907 годах издавал газету «Простор и степь», за что снова поплатился годом тюрьмы.

В 1908—1909 годах Н. Степной много ездил по степям Урала и Средней Азии. Знание быта, нравов, фольклора кочевников дало писателю богатый материал для ряда рассказов и легенд, в которых он опоэтизировал вольную кочевую жизнь сильных, смелых, цельных натур. Легенды, печатавшиеся сначала в провинциальных газетах, позднее составили сборник «Степные сказания», в который вошли «Сказки степи» и «Сказки Волги». В 1910-х годах писатель издавал в Оренбурге литературные сборники и альманахи «Серый труд», «В родном углу», «Степь».

Башкирская тема нашла отражение в легенде «Смерть батыра», которая прозвучала как скорбь о гибели былой славы степного народа, и в рассказе «Кашкыр», направленном против «волчьих законов», оскверняющих человеческое достоинство в людях.

Н. Степной участвовал в Октябрьской революции, во взятии Зимнего. В годы гражданской войны работал в самарских газетах и журналах.

В 1918 году он издал свой первый роман — «Пролетарий», а в следующем году — автобиографический роман «Семья», отмеченный первой премией на Всероссийском конкурсе. Лучший роман его — «Перевал» повествует о голоде в Поволжье. Романы «Коммуна» и «Молодое» касаются жгучих вопросов тогдашнего экономического положения.

Н. Степной — автор более двадцати книг. В 1927—1929 годах было издано десятитомное собрание сочинений писателя.

КАШКЫР

(Волки)

Я умиленно преклоняю колено и благодарю создателя, что еще раз в жизни он дал мне возможность насладиться и испытать такой душевный подъем.

Синее-синее небо и белоснежные горы с причудливыми изломами...

Тишина невозмутимая...

Я кидаю звук: О!.. О!.. О!..— и он далеко несется по горам... О!.. О!.. О!..

Воронкообразная долина, на которой я стою, окружена со всех сторон горами, которые высокими шапками поднялись к небу, и на меня они глядят свысока, словно хотят сказать: ты маленький, ты в наших объятиях, но мы не хотим тебя давить, хотим только сказать тебе свой привет... Здравствуй!..

I

Просыпается башкирская деревня. Петухи уже поют зорю, и солнце промелькнуло через ущелье. Медленно пробиваются лучи его, но не могут пробить облаков, окутавших вершины гор.

Избушки башкир местами задирали головы, ровно силясь рассмотреть, что делается наверху за горными туманами, местами уже никли долу, как бы вымаливая у неба и окружающих гор пощады для всего того, что они вмещали в себе.

И они вымолили, так как все окружающее было полно тишины раннего утра. Вчера еще буран, бросая хлопьями снег, и рвал, и метал, и хохотал в лицо, словно думал совсем свалить с ног башкира, не дать возможности подняться, но нынче...

— Торов?.. Торов?..— и все снова тихо...

Муэдзин протянул намаз, звук, увеличиваясь, отдался в горах, пронесся по улице и постучался в маленькие, крохотные, с слюдянистыми, пузырчатыми окнами, лачуги-хаты...

Изба Мамета разделена надвое.

В первой половине лежат ягнята и козы; во второй — вдоль передней стены нары. Налево от двери, в свободном пространстве, нагромождены кошмы, подушки, коврики. Направо длинная, узкая своеобразная печь, к которой словно приставлена была сбоку такая же, под прямым углом, вторая... На полу на тряпке разостланы большими платками вымешанные, тонкие, как бумажный лист, круги теста, по-видимому, для лап-

ши. Ни одного стула, ни одной картины, тяжелый, спертый воздух от животных.

Мамет потянулся, встал, подошел к деревянному ведру, стоявшему около печки, плеснул в лицо, утерся рукавом и вышел из избы... Двор был маленький, загороженный с одной стороны жердями, с другой — двумя копнами соломы, сена и хлевушком, а с третьей — сугробами снега.

На дворе стоит рыжая кобыла, согбенно понуря голову. Не весело ей, да и какое тут веселье?..

Когда-то у хозяина всего было вдосталь. А теперь одни почти обрубки от прошлогодних колосьев пшеницы... Мамет достал сена и сунул под нос лошади...

Ткнув кобылу в бок, медленно размахивая руками, как жердями, Мамет направился в хлевушек, поймал курицу. Их было всего три...

Досадно, что поделаешь, но надо идти к мулле,— без бакшиша ни к кому идти нельзя... Никто никогда даром ничего не делает.

Мамет любовно провел ладонью по перьям курицы и вспомнил обиду, горе и свою катын...

Большие карие глаза, черные косы, сильная... Все, что получил он с земли, все отдал за нее, за катын, в калым...

А тут случилось горе, и его родной дядя, хитрый Хатьян, стал шептаться с катын.

А разве так можно?

Мамет откинул сколоченную из палок заставку, отделявшую его двор от улицы, и пошел вдоль улицы.

II

Мулла выслушал, поправил свою белую повязку, которую носил он после того, как побывал в Мекке. Он уже видел в окно курицу, которую принес Мамет, так как Мамет нарочно прошел с курицей мимо окон (курицу принял у него слуга).

И так же давно знал, что случилось с Маметом. Если Мамету-голышу нечем содержать катын, первую красавицу деревни Алчинбаево, то кто тут виноват?

Мамет снял сапоги, и в одних чулках подошел, взял в обе руки ладонь муллы, потом выпустил руку, благоговейно вслед за муллой, точно так же как и он, провел обеими ладонями по лицу.

Мамет принялся рассказывать. В его речи было все: и тоска, и жалоба, как у ручья, которому вдруг преградили путь. Разве так можно: он продал землю, покупатель израсходовал по восьмидесяти рублей, ему пришлось на руки по тридцати, «темные» — и писарю, и волостному, и уполномоченным, а

все, чтобы отдать скорей калым за катын, а катын теперь украли, взяли. О, разве он, мулла, не сумеет отыскать и на богатого управы? Мулла медленно гладил бороду.— «На все воля аллаха».

Но Мамет твердо стоял.— «Пиши прошение, а то русского найду»... Это, наконец, взорвало муллу,— «русского?» — мало ли тут русские отняли у него бакшиша, а с ним вместе и почета?

Он, мулла, ничего не получает, живет подачками, а надо есть и пить...

Мулла усадил Мамета в угол. Приказал подать кислушки (смесь кваса с медом, настоянная на хмеле).

— Знаешь, у кого катын?..

— У Алчинбая; мой родной дядя ему за двадцать рублей выкрал и доставил...

— А знаешь, что Алчинбай — первый богач во всей деревне; он первый приятель становому, сам исправник ему кланяется, и сколько стоит с ним тягаться?

— Знаю...

— Ну, смотри...

Мулла пожал обеими руками ладонь Мамета, выпустил, провел ладонями по своему лицу; Мамет подобострастно скопировал те же движения муллы; совещание закончилось.

III

Луна, скользя, пробивалась сквозь тучи, то чуть-чуть задевала краями горы, то заглядывала в маленькие оконца, словно наблюдая, чем живут и что делают башкиры.

На улице деревни ни души... Дальше за деревней чернеет рощица, еще дальше на одной из гор кто-то блеснул синим отсветом, ровно, быстро глянул на деревню, метнулся вниз и скатился кубарем. В ответ на блеск-взгляд дружно залаяли всей деревни стражи — собаки. Они предупреждали башкира.

Но башкиру нет дела. Он чем-то недоволен, он о чем-то думает. Не о том ли времени, когда придет весна, он сдаст свою землю под пашню хохлу, получит деньги, купит себе халат, катын — платок и чай-сахар, раскинет на горе юрту и будет, как его предки, нежиться под солнцем, юрту и будет, как его предки, нежиться под солнцем, слушать, как журчат ручьи. Или о том, чтобы пойти рыть землю на вновь строящуюся дорогу?

Трудно, о, как трудно! — но еще труднее то, что он ничего не понимает в том, как вымеривают его работу, обманывают ли его, или он сам обманывается?..

Мамет лежит на нарах и слушает, как вычиркивают свои

песенки сверчки, горит, потрескивает дровами печь, фыркают козы, которые лежат рядом с нарами, трясут бородами и думают о том, что не все завывать бурану, когда-нибудь и они выйдут на зеленую поляну, расправят рога и под горячими лучами, тряся бородами, забрыкаются от избытка чувств с такими же, как и они.

Целыми днями Мамет околачивает везде пороги.

Широкое лицо, средь которого тонут, как кусты в горах, два маленьких черных глаза, улыбалось каждому: он понимал, что только лаской и просьбой можно взять... Еще бы, такое дело,— он получит обратно деньги, купит новую катын. Разве ему, Мамету, можно оставить так избу? Разве ему самому доить кобылу и коз?..

Да и что же такого здесь плохого? — кто из башкир не думает о катын?..

О, Мамет понимает, что деньги — всему начало.

Но он понимает также, что есть такой человек, который может сказать слово,— и люди с деньгами и те подчинятся... Но Мамет дальше своих гор нигде не бывал... Да и незачем раньше было ему отправляться. Разве не здесь жил его атай (отец), бабай (дед)? Но теперь до такого человека дойти надобно.

Имя этому человеку — судья.

IV

Вечер. Вправо, под горами, чернеет лес, над горами стоят молочного цвета облака. Еще дальше — чистое небо, на синем фоне которого красиво оттеняются причудливые, покрытые белым, ничем не испещренным снегом, бросаясь ввысь, горы...

Деревня мигает огоньками. Ребятишки оглашают улицу криком. Алчинбай сидит и читает коран...

«У кого много, тому и прибавится»,— так сказано в коране, так было всегда и везде, и нечего ему бояться Мамета...

Новая катын (жена Мамета), звали ее Ханым, ловкая, сильная, черные глаза жгли, и стройно-высокая фигура манила и так захватывала, что и заливавшаяся разноголосая вьюга, и кашкыр (волки), сверкавшие на горе синим-синим отсветом, и Мамет были не страшны.

А если отдавать назад калым, то чужих денег не жалко...

Весь черный, кряжистый, но с гладкой кожей, он щипал жиденькие волоски бороды... Купил две тысячи пудов пшеницы, прямо с корня, по сорок копеек, а теперь вот по девяносто дают, он дождется, когда дадут по рублю двадцати... То же будет и на следующий год... Да и посевы — земля дает в пло-

хой год полтораста пудов, а в хороший — вдвое, гулюна много. О, он не как другие башкиры: не знают счета своей земле и продают ее без конца, иной раз со скандалом одну и ту же по два, по три раза.

Вошла Ханым, она была в другой половине, так как у богатых башкир не принято сидеть в одной половине с мужчинами, и женщины имеют отдельную половину.

Алчинбай вздоргнул. Ее широкое платье, без всякого фасона, сшитое прямо кусками, рельефно выделяло упругие формы тела.

О, ее молодое тело дышало таким здоровьем, в ее глазах было столько огня. Нет, он еще думал, что уже больше ему не испытать этого, а вот аллах ему на старости послал утешение...

Быстро, ловко разбросала она по полу свернутые в углу ковры, настелила на них перины, подушки.

Довольна ли она? Отныне она не будет испытывать того острого ощущения от сильного молодого тела, которым обладал Мамет, но разве она не сыта и не нарядна, и не в доме первого богача, уважаемого всеми Алчинбая?..

Ее черные, длинные, извилистые до пят жгуты-косы взметнулись, оттенили белоснежную грудь, старик Алчинбай жадно провел рукой по ее лицу и понял, что более ему не найти новых желаний в жизни.

А Ханым взяла старую, много видавшую голову Алчинбая в ладони и, лаская, запела:

— «Если ты меня не любишь, на реку гулять пойдем, больше нас ты не увидишь, мы как рыба поплывем»...

V

Шариат (местный суд) судил, и насколько волновался Мамет, настолько был спокоен и тверд Алчинбай...

Что такое для него судья, когда он сам бывший старшина, и подальше бывал, возил хлеб-соль такому человеку, от взгляда которого расцветали травы, играли лучи солнца и золотели люди...

Когда он сам, собственными ногами, топтал улицы в великом, как заветная мечта для мусульман, городе.

Он и не отрицал, что может не отдать калым — пожалуйста!.. У него хватит и на сто таких калымов.

И суд с ним согласился: постановил прийти к полюбовному соглашению.

— Клади свои пальцы,— торопил мулла,— а то иначе и ничего не отдаст...

Денег может быть и мало, а может быть и много, целых триста рублей выбросить может Алчинбай.

Разве Мамет теперь не сумеет купить настоящую лошадь, хороший чапан, угостить соседей, взять новую катын? (О, Мамет еще молод, всего двадцать третью весну на плечах имеет.)

Первым делом Мамет зарезал для угощения кобылу.

Башкиры, и маленькие и взрослые, окружили лошадь, которую свежевал Мамет (специальных мясников не было, каждый хозяин сам выполнял эту обязанность). Вся деревня стеклась, и с начала до конца смотрела на операцию свежевания. Да разве могут очень часто быть такие развлечения? Конечно нет, и приходится цепляться, ценить его...

Лошадиное мясо ценилось больше, чем мясо рогатого скота.

Пластуя куски, Мамет вытаскивал то один, то другой, фунтов по пяти, и отдавал их то одному, то другому башкиру в подарок...

Медленно, торжественно, на виду у всей деревни, каждый нес свой дар. Кишки складывались отдельно в сторону — и тоже часть их передавалась в дар.

Шкура, как сувенир муллы, поднята. Последний башкир отходит, таща какую-нибудь часть съедобного.

Мало что осталось Мамету, но зато вся деревня говорила: «Почем знать, может, Мамет получит и еще много денег, может, еще и не одну и не две кобылы зарезать сможет, может, к Мамету пойдут с поздравлением сам писарь и старшина? И, может быть, Мамет еще и в великий город — Мекку съездить сможет,— выполнит последнее и самое большое желание правоверного мусульманина и на всю жизнь получит почет и уважение».

VI

В комнатах Алчинбая тепло. Ни животных, ни сверчков; окна большие и стекла не заморожены, а чисты...

Комната имела наполовину нары, а на другой — приютились стулья и стол.

В углу нар, которые были устланы коврами, до потолка возвышались груды подушек, перин.

Напротив, в свободной половине от нар, в углу — таз, кувшин. Лицо Алчинбая белое, отъеденное, откормленное. Теперь старик особенно радовался: счастье — Ханым родила кыз. Не тому он радовался, что через год-два уже будут являться и приводить в калым за кыз скот — баранов и верблю-

дов, нет, это дело второстепенное, но он гордился своей мужской силой...

Не его ли это высокий, здоровый сын, который смотрит искрящимися глазами и угощает... (Присутствие женщин, когда были гости, не допускалось.)

У него два баранчука ушли служить.

И вот теперь кызын...

Вокруг Алчинбая сидят знатные башкиры из разных деревень. Они только что освободились от почетной, но тяжелой обязанности помогать родам: роды были трудные, и они выгоняли шайтана, как помеху из комнаты, палили без конца через окна из ружей на улицу, они бы могли и раскаленное железо поднести к катын, в крайности даже посадить на огненную струю, чтобы еще более устрашить шайтана, но шайтан сдался, и катын родила...

Долго, много ели. Кушанья были — бишбармак (мелко искрошенная лапша), плов, маханина (лошадиное мясо) и колбаса из конины, наструганная в общую чашку.

Изредка Алчинбай брал в руки кусок мяса и прямо толкал его из своей руки в рот гостя, в знак почета, потом опять молчали, опять ели...

После еды внесли самовар, леденцы, сахар и конфеты... Запищала гармоника русского изделия — длинный, странный, протяжный мотив — Шалтай, балтай, никиряк...

Только на половине у Ханым было другое; она смотрела на ребенка и думала — ей, ей, Мамет, твоя кыз (дочь), и вдруг снова ей захотелось быть у Мамета, отца ребенка, видеть его бедную избу и самого Мамета — неуклюжего, неповоротливого, нерасчетливого...

Она, заломив руки, протянула: «Ай-на ла-ем (милый), хи-и-бит (дорогой)». И испуганно прервав, оглянулась, не услыхала бы Алчинбая старая катын — плохо будет!

Но как сделать — послать сказать, что его кызын?..

VII

Спит высокая береза. Она тихо шевелит сережками. Что ей снится? О тех ли счастливых вешних днях, когда она, пахучая, мягкая, распустившаяся клейкими листочками, глядит в светлое небо, а по ее корням струится свежий сок, и его так много, что она вся содрогается, переполненная через край, или о тех днях, когда она еще малюткой поднималась со своей матерью, забирая соки своими, еще неокрепшими корнями, и, с любопытством оглядываясь вокруг, не знала еще ни тяжести зимы, ни прелести весны.

Мамет шел, погруженный в думы...

— Как это случилось,— были деньги, был почет, и теперь прошло полгода, уже деньги все.

Можно было бы взять молодую, но едва-едва наскреблось денег на старую. Хуже ли ему, когда нет никакой?

Разве Мамет не взял и не отдал лошадь, два козла, одну корову, и денег двадцать пять рублей и получил взамен старую, беззубую катын? Разве с ней такое житье, как с Ханым?..

Впрочем, не сам же он должен топить печь, доить коз, кобылу... Мамет пошел, достал курицу, теперь у него их было десять. Дар мулле...

Вошел, снял сапоги. Мулла встретил, провел ладонями по лицу, то же сделал и Мамет, взяв так же, как и всегда, подобострастно руку муллы.

— У Кутлиганова в катын взял стару,— доложил Мамет.

Мулла погладил бороду. «Каждому свое место, если она стара, так для хозяйства лучше, чем молодая»...

Посидели... Мулла налил из четверти кислушки.

— Ашай!..

— Она, прежняя, присылала — говорила, скажите Мамету, что родилась его кыз.— Мулла погладил бороду: «Это хорошо: пиши прошение — твоя кыз, можешь судом отнять, возьмешь кыз, а за нее через год-другой — большой калым, вот и житель»...

Солнце сияло, солнце играло, и было так приятно, так радостно на душе. Казалось, весна вдруг забежала, глянула на одну минуту вперед, а что будет там впереди? Если Мамет возьмет судом дочь, то разве он не сможет ее продать и купить себе уже молодую катын, такую же молодую, как и он, старуха эта не помеха...

Мамет не помнил, как он вышел от муллы обратно... «О... О... дочь... калым, опять житель...— Твоя Ханым родила кыз: пиши прошение»,— стояли в ушах слова муллы...

VIII

...Оголил и изуродовал башкир красоту гор, порубив леса, посвезя их на вновь строящуюся дорогу, как уродует, оголяет ревнивец, обливая лицо девушки серной кислотой... И не стало добрых духов, живущих в лесах и усмиряющих злого шайтана — вьюгу... И шайтан-вьюга радовался: как же — сгинул ее противник, первый башкира заступник.

Но Мамет ехал веселый, довольный: еще бы — теперь он уже получит калым за кыз и сумеет его удержать... А если вьюга-шайтан и рвала, и метала-визжала, так она тоже понимает, что Мамету надо везти прошение, и он на этот раз ничего не боится.

Прошлый год Мамет взял да не поехал, как раз в эту пору, а выставил уже полкуба дров, ан буран кончился, и дров не стало, кто-то другой взял их. Мало ли он клянчил, просил «полсажени деньги», никто и слушать не хотел — «не обмерено».

Разве не попало ему, когда он взял, в отместку за свои дрова, назад полсажени от железной дороги, разве мало его били, нет, он лучше с ней, с шайтаном-вьюгой будет якшаться...

Лошадь лезла по брюхо: не то был овраг, не то ровное место.

Мамет, раскачиваясь, запел...

И не час, и не два ехал Мамет.

Привычная лошадь брала вправо, влево, розвальни волочились, кобыла едва-едва вылезла из сугроба снега.

А Мамет пел и пел о том, что придет на ум.

Разве он не сможет добраться до стога, укрыть лошадь кошмой, обвязать веревкой, чтобы не снесло...

Да сена ей под нос, а самому вырыть в стогу огромную дыру, залезть в дыру, а за собой дыру забить. Утром встать, дыру протолкать от наваленного на нее снега, и дальше. Но где стог найдешь, да и нет кошмы.

Разве не сможет просто тут лечь, опрокинуть на себя сани, одеться хорошим тулупом и спать, да розвальни худые и тулупа нет, и бешмет рваный.

А вьюга продолжала выть, хохотать, рвать и смеяться: ее верный неразлучный спутник — ветер — крутил так, что шагу нельзя было продвинуться.

Лошадь стала... Мамет бросил петь, слез, обошел вокруг нее, отвязал повод... Она тихо помахала головой.

Бывали ли вы когда одни в безвестной, чужой, дикой местности?

Ночь. За каждым шагом чудится что-то, лошадь боязливо оглядывается и вздрагивает...

И вдруг чувствуется, как это единственно живое существо начинает инстинктивно жаться, понимать каждый ваш шаг, каждое движение... Устанавливается какое-то единство между обоими.

Их было двое — бояться нечего.

Мамет постелил на снег одну часть сена, а другую отдал лошади, очистил розвальни от снега, опрокинул их на сено, поднял оглобли кверху и полез под сани.

Сон быстро смежил его очи.

Разве Мамет не знает, что суд будет судить, Алчинбай калым тащить, а Мамет катын покупать, не старую! нет, нет! а молодую, такую же, как Ханым?..

Разве Мамет не лежит на нарах, в своей избе, средь подушек, и не пьет чай, который наливает новая катын?.. Да, Мамета теперь уже больше никто не проведет. Он сумеет сохранить калым!

К утру, еще сильнее завывала и хохотала, празднуя свой праздник, шайтан-вьюга... Она рвала, визжала, крутила, словно забыла, что с ней еще с вечера кто-то собирался якшаться. И от розвальней Мамета с лошадью и поднятыми оглоблями не оставила никакой приметы...

СМЕРТЬ БАТЫРА

Так и хочется перелезть с одной горы на другую; чудится, что там, за другой высокой горой, увидишь огромную ровно-гладкую степь, но лезешь, лезешь, взлезешь на вершину, а за ней вновь горы и горы, и так без конца.

Горы небольшие, не покрытые лесом — одна желтая, вся выжженная, трава да камни с коричнево-красными мшистыми выступами, в лощинах между гор кустарник: маленький, низенький, красно-желтый шиповник да вишенник.

Все так гармонирует, так не выделяется цветом от цвета гор. Каждый обитатель имеет ту же окраску окружающего.

Бабочка села на цветочек, маленький, голубо-синий цветочек; вся она буро-серая с коричневыми пятнышками на крылышках, причем одни пятна крупные, другие мельче, напоминающие собой фотографию разбросанных камней.

Кузнечики выставили шупальца и оба уса вперед, опираясь на задние большие ноги, ухватывают передними лапками-руками палочки и гложут их. Их ничем нельзя отличить от камня.

Соколы, коршуны сидят на скалах, греются-купаются в солнечных лучах. Многие из них стары, и поджав ноги, опустив свой взгляд, смотрят вниз на аул-деревню, приютившуюся в лощине между гор.

Они еще помнили аул-деревню, имевшую иную, чем сейчас, принявшую цвет окружающей голой природы окраску.

Помнили, как здесь по горам и далеко вокруг шумели деревья, но теперь, теперь нет ничего, только ежедневно башкир ищет-шныряет по горам, чтобы что-либо срубить и продать — продать во что бы то ни стало и за сколько бы то ни было, ибо башкиру нужен калач и чай — для себя, баранчука (мальчика) и катын (жены).

Много они помнят, и многое они могли бы порассказать, но есть ли им дело до людей, разве они могут подсказать что

человеку, разве человек сам не видит, что птицы могут летать только тогда, когда у них не ощипаны крылья...

Идельбай был слава всего аула.

Не он ли выходил с рогатиной один на один на медведя, которых много водилось в былых лесах, раскинутых по горам-склонам Южного Урала? Не он ли ломал деревья,— незлобиво, не трогая ребенка? Огромно-жилистый, в плечах косая сажень,— каждый башкир трепетал перед его необъятной силой.

Идельбаю все прощалось — все, что для другого грозило отместкой на скоте или самосудом, для него было как с гуся вода.

Украдет Идельбай барана, кишки тут же вывалит, шкуру развесит в избе, а мясо варит в котле. И когда придет хозяин барана и спросит: «Чей баран варится?» — Идельбай пожмет плечами.

— Твой, я взял, зарезал и, видишь, варю, садись и ты ашай.

Хозяин или садился и ел вместе с батыром своего собственного барана, или, когда видел, что батыру самому есть нечего,— уходил успокоенный: разве можно спорить — тягаться с Идельбаем — у него столько силы; хорошо еще, что он взял одного барана, но мог бы взять и больше. Недаром он на медведя ходил один на один с простой рогатиной. А кто не знает, какие здесь были проказники-медведи: залезали и к бедному и к богатому башкиру, сталкивали крышу из соломы и выволакивали теленка или барана. И это не одну-две ночи, а много ночей в течение долгой, бесконечной башкирской зимы.

Для Идельбая ничего на свете не было страшного; он не только медведей не боялся, но и самой зиме смеялся в лицо.

Он шел в лес, разворачивал снег и спал, назло вьюге, метели, в холодном снегу под деревьями, как будто в мягкой пуховой перине, а кто из башкир не знал, какие здесь были вьюги?

Уже теперь — в наше время,— когда зимой башкир жмется в глинобитной избенке и мечется, ждет — «зачем ему делать кизяк для топки, разве нельзя дождаться чуда?» О, аллах сжалится: слово — и вокруг поднимутся все изничтоженные старые, огромные столетние леса и, как раньше, зашумят — закивают ему привет — и согреют, и оденут, и насытят башкира. Уже теперь вьюга обратилась совсем в шайтана, но и тогда она была сильна.

У Идельбая были, конечно, и враги, которым не нравились поступки Идельбая, но они молчали, боясь его силы. Разве он не сумеет выбросить в окно, если прийти и спросить, чьего барана варишь?

И далеко во время оно разнеслась слава про Идельбая. Ездили из многих аулов-деревень башкиры поохотиться вместе с ним.

Однажды приехали к Идельбаю новые люди — русские. Они упросили Идельбая идти с ними на медведя. Раньше они, русские, никогда не являлись, не доходили.

Их было двое. Идельбай согласился. Поймал на улице первого попавшегося теленка, зарезал и сложил его на месте, на котором он уже выследил проказы медведя, и когда поднялась ночь, охотники засели с ружьями, что привезли с собой, в ожидании.

Ночью в горах каждый звук несется далеко-далеко. Тени ложатся странные, сумрачные, огромные, словно хотят ухватить-сжать в своих объятиях встречных: они рассекаются, бегут от месяца, который, ровно играет в прятки, освещая то одну, то другую сторону горы.

Медведь подошел, начал рвать теленка, часть съел, а другую часть взял, чтобы оставить про запас, зарыть в яму.

Охотники выпалили, но неудачно, ранили в ногу медведя, медведь разозлился, бросился с теленка да на охотников.

Русские ни живы ни мертвы, вот-вот сейчас провалит крышу амбарушки, в котором они засели, и задавит их.

Но Идельбай разве мог стерпеть — выскочил навстречу. Завязалась нечеловеческая борьба, и оба противника ухватились — почти обняли друг друга.

Крутятся, не поймешь, где медведь, где Идельбай.

Если стрелять (они могли бы зарядить свои красивые дорогие ружья), значит, обоих убить. Испугались еще пуще русские охотники — это были нежные, слабые безмускулистые люди,— бросили одного Идельбая, выскочили да побежали на аул-деревню.

Прибежали и давай кричать — булгачить народ.

Ну собралась вся деревня, идут кто с чем.

А тем временем битва-борьба продолжалась.

Медведь хочет сдавить так Идельбая, чтобы у того и духу не стало, но Идельбай напряг силы, одной рукой оперся в грудь медведя, а другой выхватил за поясом заткнутый топор, да как хватит-цапнет топором по голове медведя и одним ударом раскроил пополам голову медведя.

Но и сам упал обессиленный жесткими хватками медведя. Когда пришла деревня, видят: лежит мертвый зверь и рядом батыр без чувств.

Притащили обоих в деревню. Медведя съели в ту же ночь, а Идельбая принялись лечить.

Аул знал много своих собственных средств: у него были и корни-привороты, и питье-зелье чужой воды, которое, если

попить больному, то его страдающее тело уходит от него, а тело другое приходит, и, смотря по ранее бывшей жизни, человеку и бывает новое тело, новая окраска. Аул знал и еще кое-что. Знал, что должен быть такой человек, могущий выпросить у аллаха то слово, по которому могут расцвести средь зимы цветы, подняться трава, явиться тепло, и он, башкир, будет лежать на травке, слушать, как чистая, ровно слезка, горная речка, лобызаясь с кругло-маленькими камешками, залепечет песенку об окружающей жизни. Аул знал... только этого человека дождаться надо.

Питье-зелье сделало свое дело, тот старый батыр Идельбай вместе со своим врагом умер, а этот, что встал уже через год с постели,— новый — был седой; у него вырос горб; весь трясся, голова и руки ходили ходуном. И в помине не было того Идельбая, что был раньше.

Идельбая перестали бояться в ауле. Кто будет бояться горбатого, с трясущимися руками и головой, а враги-завистники подняли головы, хотя еще сомневались — не осталось ли что в нем старого?

В урмане (лесу), когда заходил чужой скот на сочную траву (хозяин обыкновенно не знал, где его табун, сколько голов и какой приплод,— находил он свой табун, благодаря острому чутью, по запаху),— раздосадованные башкиры, прогоняя и раз и два, в конце концов хватали жеребенка-подростка из стада и варили тут же. Идельбай теперь в первый раз после болезни, ровно самый боязливый, самый бедный башкир, убив — вместе с другим башкиром — жеребенка, съел одну половину своей части, а другую спрятал в воду.

Ехали случайно мимо из другого аула башкиры и любопытства ради — глянули в котел.

Спрашивают:

— Что ашали?

Идельбай струсил, отвечает:

— Ничего не ашал.

— А зачем сало в котле?

— Да не мыл котел, были там остатки от варева четвертого дня.

Смекнули башкиры и поехали дальше.

Эге, то уже не был батыр, а был «горбач»

Однажды горбач (так звали его теперь) пригласил еще башкира и украл барана, притиснув его в углу своей избы (засунул ему в рот тряпку, чтобы он не кричал).

Башкиры услышали, что где-то баран тихо-тихо блеет, сообразили... Их интересовало не столько поймать воров, сколько самим поашать баранинки.

Стали наблюдать.

Видят — тащит горбач барана к речке, а сзади кто-то помогает — подталкивает барана. Притащили.

Горбач достал карманный нож, кровь спустил в речку, кишки зарыл в яму, а шкуру опустил в воду, накрыл камнями, чтобы не всплыла.

Мясо же, торопливо, опасливо оглядываясь вокруг, поволокли обратно к себе.

Когда притащили — башкиры продолжали наблюдать,— горбач набросал топки, разрезал мясо, налил котел,— ежеминутно оглядываясь и прислушиваясь к каждому шороху. Башкиры не дремали. Когда мясо было готово,— к горбачу вошел один. Он ни слова не сказал (хотя только что видел через окно все происходящее).

Он еще боялся остатка сил старого батыра, аллах ведает, вдруг он, как и раньше, по-старому схватит его и выбросит в окно.

— Кажется, баранину варите, закусить бы и мне с вами,— где хозяева?

Идельбай и варивший с ним еще, как услышали шаги к двери избы, так быстро прикрыли котел и полеглись на нарах — притворились, что спят. Слышат голос-просьбу, но им не верится, не могут понять, что пришедший говорит: правду или только притворяется?

Горбач встал:

— Это наш баран, мы недавно зарезали.

— Да я не спрашиваю, чей, я только прошу угостить.

Вошли остальные вместе с хозяином барана — маленьким вертлявым, всего боявшимся, даже своей жены, башкиром. (У башкира все работы выполняет жена — раба мужа, даже седлает коня.)

— А у меня баран пропал,— украли. Чую по дыму,— баран варится, думаю, не моего ли варят. Ты откуда барана взял?..

Горбач вместо того, чтобы, как во время оно старый батыр, ухватить тщедушного маленького башкира за ноги и рявкнуть — «я украл, зарезал»,— чтобы остальные разбежались, теперь затрясся, голова опустилась и руки заходили ходуном.

— Купил на базаре, позавчера в город ездил.

— А кого тащил с горы? — приступили башкиры...

Горбач отпирался.— «Моя не знает...»

Пошли к речке. Опрокинули камни и вытащили шкуру. На шкуре были метки. Обыскали, взяли карманный нож, запекшийся в крови. Улики налицо.

Ну разве это был батыр,— первый удалец и охотник, краса, гордость всего аула,— вдруг тоскливо заскуливший?

— Возьми десять рублей за барана, все, что я получил за шкуру последнего медведя.

— Нет, не нужно, нам от тебя сбашиться (избавиться) надо.

Разве это он, батыр, стоял на коленях пред трусливым щупленьким хозяином-башкиром и просил о прощении, понапрасну умоляя: «В другой раз не буду».

Башкиры поняли, что так оно и есть, тело батыра ушло, а взамен явился трясущийся, всего боявшийся «горбач».

Руки его вмиг были скручены назад. Все равно горбачу теперь незачем и нечем жить: нет у него ничего, и ни к чему он не пригоден, и его дело — только таскать чужих баранов.

Горбача выдали русским. Его судили, присудили к арестантским ротам на два года, где он, прожив год, умер в тоске по деревне-аулу.

Умер, как умерли вырубленные, подломанные вокруг леса, а вместе с ним и красота Южного Урала, где вместо огромных столетних великанов-деревьев растут корявые, общипанные, обломанные, дрожащие кустики березок да гуляют ветры: они и шумят, и хохочут, бросаясь, вырываясь из объятий одного ущелья горы в объятия другого и потешаясь над бедным башкиром, для которого зима без леса стала не только беспощадной вечностью, но и адом — воплощением всех зол. Нет топки, нечем отвалить кучи снега, который ежедневно заваливает башкира; нет баранины-маханины, не говоря уже про жеребенка; хлеба и издавна никогда не бывало.

Но главное, главное — нет человека-батыра, слово которого так страстно в течение целой — равной вечности — зимы ждет башкир...

Литературная деятельность Владимира Николаевича Львова началась в 1897 году и продолжалась сорок лет. За это время писатель выпустил около сорока книг по самым различным отраслям знаний, предназначенным для народных школ. До революции Львов был редактором и активным сотрудником в издательстве «Школьная библиотека». Он составил несколько книг для воскресных и начальных школ: «Народная школа» (М., вып. 1—2, 1899, 1902); «Первое знакомство с географией России» (М., 1902; 8-е изд-е 1918); «Каменный уголь, как его добывают, и как он образовался» (М., 1903; 9-е изд-е 1927); «Наши певчие птицы» (М., 1916) и другие.

В 1906 году писатель напечатал рассказ из башкирской жизни «Шамсинор», проникнутый теплым чувством к башкирским детям. Главная героиня его — шестилетняя смышленая башкирская девочка, чье имя вынесено в заглавие произведения. Рассказ пользовался популярностью и был переиздан в 1913 и 1923 годах.

В годы Советской власти Львов напечатал ряд книг в серии «Читальня советской школы».

Последняя книга В. Н. Львова «Что такое солнце и как узнали его состав» вышла в 1937 году.

ШАМСИНОР

Шамсинор была маленькая башкирская девочка. Ей всего было шесть лет. Тоненькая и стройная смуглянка, с большими красивыми глазами и черными, как смоль, волосами, она походила скорее на маленькую итальяночку, чем на других башкирских детей. Ее волосы кудрявились и всегда были взлохмачены, но это нисколько не портило ее, а напротив, очень к ней шло. Иногда, впрочем, она брала у матери гребень и, с серьезным видом усевшись на крылечке, начинала причесывать и приглаживать свои волосы, и тогда они на короткое время становились гладкими, прилизанными и некрасивыми. Но это

обыкновенно продолжалось недолго: волосы точно не хотели ее слушаться и вскоре принимали свой прежний, растрепанный вид.

Отец Шамсинор, Мустафа, был башкирский мулла. Дома он ходил, как и все башкиры, в длинной, длиннее колен, белой рубашке — без пояса, сверху которой, когда не было очень жарко, надевал коричневую безрукавку. Его бритая голова всегда была покрыта замасленной плюшевой тюбетейкой. Но когда он собирался идти в мечеть, вид его мгновенно изменялся до неузнаваемости. Он облекался тогда в длинный и широкий серый халат *(жилян)*, на голову надевал большую, теплую, суконную шапку, обернутую белой чалмой и, взявши в руки посох, торжественно, медленным шагом, выступал посредине улицы, приветствуя всех встречных обычным башкирским приветствием: «салям-алейкум!»

Дома он работал и занимался хозяйством, нисколько не отличаясь в этом от других башкир. Возился со скотом, работал топором, когда надо было починить забор или еще что-либо в доме, или, стоя на крыше сарая, раскидывал там для сушки сено, а более всего любил благодушно сидеть за чаем, важно рассевшись на ковре с поджатыми ногами. Башкиры — большие охотники до чая, а так как мулла был богат, он пил чай раз по семи в день. Вместе с ним располагалась вся семья его, и они пили долго, не спеша, чашку за чашкой, пока не кончали весь самовар.

Мать Шамсинор, Фариха, целый день была занята работой. Лишь только светало, она уже была на ногах и принималась болтать кумыс. Ей надо было пять раз в день доить кобылиц, доить коров и коз, печь лепешки к чаю, готовить *крут* (род сыра), ставить по нескольку раз в день самовары. Да и трудно перечислить все, что она делала в течение дня, потому что в башкирской семье мужчины мало работают, и все домашние работы лежат на женщине. Прежде у муллы было две жены, и работа была разделена между обеими. Но потом мулла прогнал вторую жену. Фарихе было очень трудно вести большое хозяйство, особенно летом, когда у муллы поселялись кумысники, и им надо было готовить кумыс. Но она горячо упрашивала мужа не брать другой жены, чтобы не было между ними ссор, и обещала управляться одна со всей работой. Если бы не эта масса работы, ей жилось бы недурно. Башкиры, хотя и обременяют женщин работой, относятся к ним ласково и с уважением. Фариха чувствовала себя полной хозяйкой в доме, была постоянно весела и, в свою очередь, ласково обращалась с детьми.

У Шамсинор было три брата: Ахмет-Гата́, Ахмет-Лафа́ и Ахмет-Зекир. Ахмет-Гата́ был уже взрослый шестнадца-

тилетний парень. Зимою он учился в русско-татарской школе, верстах в трех от своей деревни. Летом он помогал в работах отцу, и, несмотря на его возраст, отец относился к нему с полным уважением, советовался с ним во всех делах, а в отсутствие муллы Ахмет-Гатá часто распоряжался как самостоятельный хозяин.

Ахмет-Лафá был толстый и задорный четырехлетний мальчуган, или, как выражаются башкиры, *малайка*. Отец и мать страшно любили и баловали его. Это сразу было видно по его вечно довольной и лукавой физиономии и даже по тому, с каким независимым, балованным видом он шлепал своими босыми, коричневыми от загара ножонками, точно желая показать, что ему все позволено, за что других давно бы уже отодрали за уши. Он целый день жевал что-нибудь и, когда он появлялся на улице с большим куском мягкого хлеба в руках, другие бедные малайки с завистью смотрели, как аппетитно и не спеша он поедал его.

В противоположность своему старшему братцу, Ахмет-Зекир был худенький, тощий *баранчук*, т. е. ребенок. Ему было около года, и он еще не умел ни ходить, ни говорить. Он только умел улыбаться и мычать и ползал на четвереньках, с ловкостью перелезая через высокий порог и спускаясь со ступенек крыльца, хотя часто ушибался и тогда жалобно и отчаянно плакал.

Шамсинор была его нянькой. Эта обязанность нисколько не тяготила ее. Она так любила своего маленького братца, что возиться и играть с ним доставляло ей искреннее удовольствие. Она носила его на руках или, растянувшись возле него на крылечке, забавляла его, что-то говоря ему по-своему, а потом прижимала к себе и целовала его. И маленький Зекир сам тянулся и ласкался к ней, водил своей ручонкой по ее лицу, а она в это время мычала страшным голосом или отбивалась от него и снова приближалась к нему. Случалось, что по детской беспечности она оставляла его одного, и он ушибался, и тогда от матери ей доставался шлепок. Но это нисколько не ожесточало ее и не вооружало против брата, и, немножко поплакав, она снова принималась весело играть с Зекиром. Вообще родители, кроме подобных шлепков, даваемых всегда за дело, никогда не били детей и обращались с ними так мягко и ласково, как это редко бывает среди наших русских крестьян.

Кроме этих детей, в семье муллы жил еще один семилетний малайка, сиротка Хайредин. Он был племянник муллы, сын его умершего брата. Мать его по смерти отца вышла снова замуж, но не могла взять в новую семью своего сына, и он остался на попечении дяди. Хотя его не обижали и не били,

но и не ласкали, как своих детей. Он рос совсем заброшенным, ел вместе с работником, спал, где придется. Иногда вечером, когда семья муллы усаживалась за ужин, он стоял в сторонке, наблюдая за евшими, и только потом получал остатки пищи, которые поедал, притаившись где-нибудь в уголке. Это был робкий и дикий мальчик, всегда глядевший исподлобья, точно он уже хорошо понимал, что он тут чужой и неравный другим. Только в играх с детьми он немного оживлялся, и тогда на лице его на минуту появлялась улыбка, но, точно опомнившись, он тотчас подавлял ее в себе, и снова лицо его принимало какое-то робкое и грустное выражение. Однако, несмотря на неравенство, которое ему явно выказывали перед другими детьми, он не был ожесточен. Когда кто-нибудь посторонний пытался приласкать его, он конфузливо улыбался и робко моргал глазами, точно хотел выразить, что он очень ценит эту редкую ласку и только не может этого высказать. Да и трудно ему было высказать что-нибудь чужому русскому человеку, потому что бедный малайка совсем не говорил по-русски.

II

Когда я приехал в деревню, где жила Шамсинор, чтобы пить там кумыс, я поселился в доме муллы. Маленькая Шамсинор первое время дичилась меня. Часто она внимательно следила за мной, что я делаю в своей комнате, но стоило только обратить на нее внимание или спросить ее о чем-нибудь, как она тотчас отворачивалась и убегала. Иногда, сидя у себя в комнате за чаем, я замечал, как тихонько приотворялась дверь, и голова Шамсинор просовывалась в нее. Но чуть я взгляну на нее, дверь быстро захлопнется, и Шамсинор в одно мгновение исчезнет. Потом, с течением времени, мы познакомились друг с другом, и я убедился, что она была очень даже бойкая девочка, но, никогда не выезжая из своей деревни и редко видя русских, поневоле смущалась меня вначале. Познакомиться с нею мне прежде всего помогли гостинцы.

Как-то с конфетами в кармане подхожу к крыльцу, где стоит Шамсинор. Девочка по обыкновению посматривает на меня серьёзно и с недоумением.

— Шамсинор,— говорю я,— дать тебе конфету?

Она быстро закрывает лицо рукавом, отворачивается и хочет бежать. Но я поскорее вынимаю конфету, протягиваю ей и спрашиваю:

— Хочешь конфету?

— Да! — вдруг громко произносит она по-русски. Потом

робко протягивает руку, улыбается и, схватив конфету, быстро убегает от меня.

Так понемножку, день за днем, мы познакомились с ней поближе. Она уже перестала, как прежде, дичиться и иногда даже нарочно старалась попасться мне на глаза, чтобы лишний раз получить гостинца. Иногда мать давала ей отнести мне кумыс. Держа в обеих руках по бутылке, она осторожно отворяла дверь, медленно и серьезно подходила к столу, ставила бутылки, потом пристально смотрела на меня и громко с ударением произносила: «На!» И тотчас же, повернувшись, убегала, если я сам не задерживал ее.

Иногда я пытался вступить с ней в разговор, но он плохо у нас клеился. Шамсинор мало знала русских слов, а я не мог говорить по-башкирски. Когда я обращался к ней с русскими словами и старался чтобы она поняла меня, Шамсинор принималась громко хохотать. Ей было очень смешно, как это взрослый человек не может понять таких простых башкирских слов, какие говорит и понимает она, маленькая девочка.

Иногда мы с Шамсинор пытались обучать друг друга своим словам. У муллы была хорошая большая мохнатая собака, которую звали Шунгáр. Она часто вертелась на дворе и около дома, и дети играли с ней.

— Кто это? спрашиваю я как-то Шамсинор, указывая на собаку.

— Шунгар! - отчеканивает она громко, как всегда, и смеется.

Но я знаю, что Шунгар имя собаки, а мне хочется узнать, как вообще называют башкиры собаку. И я опять повторяю свой вопрос.

— Кто это? Как зовут?

Шамсинор смеется, показывая свои красивые белые зубы, но ничего не говорит мне. Тогда я, чтобы объяснить, чего мне хочется, опять говорю, показывая на собаку:

— Собака? Да?

— Со-ба-ка! — громко повторяет за мной Шамсинор и опять отчаянно хохочет.

– Собака! Как по-башкирски собака? — опять спрашиваю я, коверкая русские слова на башкирский лад.

– Эт! — говорит Шамсинор, наконец понявши меня.

Теперь я переспрашиваю ее и, наконец, запоминаю, что собака по-башкирски *эт*.

Потом показываю как-то на кошку и опять спрашиваю: кто это?

— Псай! – отвечает мне Шамсинор на этот раз тотчас

поняв меня. Но мне кажется странным такое название, и я снова переспрашиваю.

Старшие башкиры весело смеются, слыша наш разговор, и подтверждают, что действительно кошка по-башкирски *псай*.

Теперь я в свою очередь стараюсь, чтобы она узнала русское название.

— Кошка! — говорю я ей, показывая на улегшуюся на солнышке кошку.

— Кошкя! — коверкает Шамсинор, и мы оба с нею смеемся, а вместе с нами и другие башкиры.

Как-то Шамсинор принесла и положила передо мной огурец и сказала по-обыкновению громко: «Каяр!» Я повторил за ней и понял, что так называется по-башкирски огурец. Но, когда я стал называть ей по-русски это слово, Шамсинор никак не могла выговорить его и, наконец, со смехом убежала от меня.

Хотя нам трудно было объясняться словами, но все же мы хорошо понимали друг друга и без слов. Иногда мы вместе с нею и с целой гурьбой башкирских малаек и девочек играли в мячик (мáсик — как говорили малайки). Однажды, развозившись очень с ними, я уселся отдохнуть на лежащее на земле бревно. Вдруг слышу, Шамсинор быстро проговорила несколько слов и засмеялась, показывая на меня, а за ней рассмеялись малайки. Меня заинтересовало, что такое она сказала. Спрашиваю одного малайку, который немножко объяснялся по-русски. Тот сначала тоже засмеялся, а потом сказал мне: «говорит про тебя — старик, отдохнуть захотел». Итак, я убедился, что Шамсинор не только была бойкая девочка, но и умела по-своему поострить, когда это было кстати.

Башкирские малайки постоянно толпой окружали меня. Стоило мне показаться на улице, как они сбегались отовсюду и громко кричали со всех сторон: «Знакóм, давай мне гостинцá! давай мне конфети!» Для некоторых это были чуть ли не единственные слова, которые они говорили по-русски. Бедные малайки не были избалованы, большинство из них жили впроголодь и постоянно хотели есть, а получать что-нибудь сладенькое им приходилось не часто. Мне доставляло удовольствие видеть, с какими довольными физиономиями развертывали они дешевую конфетку, клали ее себе в рот, а потом цветной маркой бумагой вымазывали себе нос и все лицо. Маленькие малайки бегали в одних рубашках, постарше носили и штаны, по большей части красного цвета, как и взрослые башкиры. Но все, начиная с тех, которые едва ползали, непременно носили тюбетейки, красные, синие или черные, часто расшитые грубыми цветами. У некоторых малаек было

всего по одной рубашке, так что, когда мать вздумает, бывало, ее постирать, бедному мальчугану приходилось бегать голышом, пока не вымоется и высохнет его *кульмек* (рубашка). Впрочем, это не особенно смущало их. Помню, как однажды, проходя по улице, я по обыкновению был окружен ребятишками, которые теребили меня и просили «гостинца». Вдруг из одной избы выскочил голенький малайка и побежал за мной. Соблазн получить конфетку был так велик, что он не выдержал и выскочил на улицу. На беду конфеты у меня все вышли, и я никак не мог отвязаться от отчаянного малайки, который шел за мной голышом, назойливо требуя «конфети» до тех пор, пока кто-то из старших не заарестовал его.

Часто малайки собирались около дома муллы, и мы вместе усаживались на длинной доске, у ворот. Маленькая и бойкая Шамсинор всегда присутствовала здесь же и принимала участие во всех наших забавах.

Однажды, отчасти чтобы занять ребятишек, а отчасти чтобы лучше запомнить их мудреные имена, я вынул карандаш и бумагу и стал спрашивать, как кого из них зовут, и затем записывать. Ребятишки с большим интересом следили за мною. Сначала мы записали Шамсинор, трех Ахметов и Хайредина, потом стали записывать других. Каких-каких только тут не было имен! Тут были и Мартуза́, и Фразула́, и Мурза-Грай, и Мурза-Гильдей. Дальше пошли еще более трудные: Абль-Нагим, Рахум-Кул, Осман-Дир, Абзгильдей. Один маленький малайка прозывался Ях-Я. Из девочек, кроме Шамсинор, оказались еще Каме́р и Сафура́.

Малайки, окружив меня тесной стеной, так и впились в мой карандаш. Их очень занимал самый процесс писанья. Каждый с любопытством смотрел на то место бумаги, где начерталось его имя. Когда же, с трудом и постоянно переспрашивая, я записал их имена и потом сразу прочел их все подряд, их удивлению не было конца. Точно маленькие дикари, они хохотали и показывали друг на друга по мере того, как я называл кого-нибудь,— и вот целым хором мы с ударением произносили каждое имя.

— Шам-си-нор! — И все смотрели сначала на бумагу, где было написано это имя, потом на самое Шамсинор, и все покатывались со смеху, в том числе и сама Шамсинор.

— Рахум-Кул. Мурза-Грай! — и опять тот же веселый смех.

Бедные малайки! Жизнь их была так несложна и так редко дарила их новыми впечатлениями, что даже такое пустяшное развлечение доставляло им искреннюю радость.

Маленький Мурза-Грай, имя которого только что было произнесено так громогласно, стоял передо мною в одной

грязной и донельзя истрепанной рубашонке и в замасленной, дырявой тюбетейке. Это был один из самых бедных малаек во всей деревне. Зимой у него умерла мать, и отец его, Султан-Гильдей, остался с тремя малайками, из которых старшему было не более 14-ти лет. Хлеб у них не был посеян, и семье приходилось очень плохо. До лета они получали хлеб из общественного магазина; но летом выдача прекратилась, и бедному Султану-Гильдею приходилось биться изо всех сил, чтобы заработать что-нибудь.

Однажды я зашел к нему в избу. Это была глиняная низкая лачуга, в которой мне было тяжело провести даже несколько минут. Большая печь, мешок с остатками муки, голые стены, какое-то тряпье на низких нарах да старый самовар — вот все, что я увидел здесь. Около лачуги кое-где торчали остатки плетня, и не было заметно решительно никаких построек.

— Где же у тебя стоит скотина? — спросил я его.

- Скотина! — сказал Султан-Гильдей с какой-то подавленной горечью.— Скотина нет! Одна курица, другая курица нет!

— Чем же ты живешь?

Он махнул обеими руками.

— Зима мугазин мука дает. Три пуда дает. Три малайка — три пуда.

— Ну а теперь?

— Работать надо.

— Что же ты делаешь?

— Рыба лавим, сена косим, жать будим.

— Но ведь ты не сеял хлеба?

— Ни сеял, сила своя нет сеять.

— Какой же ты будешь жать хлеб?

— Работник работать.

— Сколько же ты получишь за это?

— Ничего не получаю. Зима брал долг. Лето работать надо.

— Плохо же,— говорю я.— Как же ты будешь жить, Султан-Гильдей? Чем ты кормить будешь своих малаек?

Он опять только махнул руками.

— Не знаю. Бульна тижала.

Но лицо его оставалось бесстрастным, точно его беда была еще не беда, точно он надеялся в будущем на какую-нибудь счастливую случайность.

Меня удивляло терпенье и выносливость башкир. Он может голодать рядом с вами, и вы даже не узнаете этого. Он ничем не выкажет своего бедствия, не станет клянчить и жало-

ваться на свою судьбу, и один только бог знает, что́ он только способен перенести.

Я смотрел на стоящего передо мной башкира. Чего ему было горевать? Ведь там, на дне мешка, у него еще оставалось несколько горстей муки, и голод не угрожал ему сию минуту. Отчего же ему не быть беспечным, пока можно? И как бы в подтверждение моей мысли маленький Мурза-Грай, который уже давно вертелся около нас, воспользовавшись минутным молчанием, дотронулся рукой до моего кармана и громким требовательным голосом выкрикнул: «давай мне конфети!» Я дал ему. Мгновенно лицо Султана-Гильдея изменилось и из озабоченного стало оживленным.

— Балуишь малайка! — сказал он мне мягким ласковым голосом.— Бульна спасиба тебе.

Малайка развернул конфету, положил в рот и с счастливым видом принялся ее сосать. Отец улыбался добродушно, посматривая на него. По-видимому, он уже забыл о только что бывшем между нами разговоре. И оба — отец и сын — были теперь вполне довольны и веселы...

III

Башкирская деревушка, в которой я жил, была расположена в низине, так что, выезжая из нее, всегда приходилось подниматься в гору. Кругом нее со всех сторон простиралась степь, но не ровная, а поднимающаяся холмами, которые придавали ей некоторое разнообразие и сообщали ей замечательно интересный и живописный вид. Одним краем деревня примыкала к реке Дёме, которая, обходя ее, прорезывала степь и до того изгибалась и так часто меняла свое направление, что с высоты холма ее можно было видеть сразу с трех сторон. Ее бесчисленные изгибы, блестевшие точно серебряные петли, и ряд таких же серебряных озерков, в которых вода не просыхала со времени весеннего разлива, придавали степи еще более чарующий вид, в особенности когда приходилось любоваться этой картиной с высокого обрыва. Дальше за рекой виднелась все та же зеленая степь, уходя на необозримое пространство до самого горизонта, где ее окаймляли ряды высоких холмов — предгорья Урала. На расстоянии четверти версты от деревни была небольшая роща, состоящая из сотни или полторы берез. Весь остальной лес башкиры уже давно «кончáли», и эта маленькая рощица уцелела лишь благодаря тому, что была заповедная, так как принадлежала мечети.

Самая деревенька приютилась как-то тихо и скромно среди окружающей ее степи. Проезжая дорога проходила сзади

деревни, и потому в нее редко кто заезжал, кроме своих же башкир. Улицы, в настоящем смысле этого слова, здесь не было. Была только длинная и широкая зеленая лужайка, по обе стороны которой были расположены башкирские избы. Днем на этой лужайке можно было увидать только собак, которые лежали возле своих изб, изнывая от жары, да маленьких козочек, которые либо также валялись врастяжку,— так или иначе, но составляя как бы неотъемлемую принадлежность и оригинальное украшение каждой избы. Поздним вечером, когда заходило солнце и башкирский скот возвращался из степи домой, на этой лужайке располагались целые стаи гусей, которые обыкновенно проводили здесь всю ночь. При этом они не находились всегда около изб своих же хозяев, но имели странную привычку перекочевывать каждый вечер всей массой все дальше и дальше от одного края деревни до другого.

В июне месяце, когда не начались еще покосы и жатва, в любое время дня можно было видеть на этой зеленой улице группы башкир, лежащих на животах возле своих изб и мирно ведущих разговоры друг с другом. Бывало проходишь мимо такой группы и чувствуешь, что тут ничто не смущает покоя и отдыха, и чужой труд не ложится упреком на собственное безделье. Напротив, беспечному и ленивому башкиру так свойственно самому гулять и отдыхать, что ему нисколько не кажется странным видеть свободного, гуляющего человека. Они ласково приветствуют меня, когда я прохожу мимо них, и добродушно спрашивают, как много я пью кумыса, и дают советы пить больше.

— Что мало пьешь? Пей больше, степь гуляй, опять кумыс пей, зирный будешь! — говорит кто-нибудь из них, и как ни смешно кажется мне такое пожелание, но я чувствую, что оно высказывается искренно и от души.

Часто, возвращаясь с прогулки из степи с букетом душистых цветов, я встречал у ворот Шамсинор, одну или с Зекиром на руках. Она внимательно смотрела на меня и разглядывала цветы.

— Что, Шамсинор, хороши у меня цветы? Якши? — говорил я ей.

— Якши! — отвечала она, как всегда, бойко и со смехом.— Бик якши! (очень хороши).

Я отдавал ей часть цветов, и она, усевшись на ступеньке крыльца, начинала разбирать их и играла ими с Зекиром. Иногда она поднимала выброшенные мною старые цветы, которые простояли у меня уже дня два в воде, и выбирала из них те, которые были еще свежи. Но удивительное дело, никогда я не видел, чтобы она сама собирала цветы. Она никог-

да не гуляла в степи, но всегда вертелась или у себя на дворе или поблизости на улице, а между тем никогда не скучала, всегда была весела и довольна.

Иногда мать давала ей вымыть после чаю чашки. Она с деловым видом усаживалась на корточках на том же крыльце, брала медный *кумган* (кувшин) и, не спеша, мыла чашку за чашкой, поливая холодной водой, и потом дочиста вытирала полотенцем. Случалось, неизвестно для чего, она, не довольствуясь водою, преспокойно плюнет на какое-нибудь блюдечко, разотрет пальцем и затем начнет тщательно вытирать полотенцем.

Пить чай башкиры любят страшно. Они могут пить его без конца и далеко перещеголяли в этом даже русских. Однажды мне пришлось угощать шестерых башкир, и они в 45 минут окончили три самовара и отказывались от дальнейшего чаепития только потому, что постеснялись утруждать меня дольше, как и высказались сами: «будет, спасибо, бульна барин устал!». При этом, раз башкир уселся за чай, нечего и думать делать с ним какое-нибудь дело, прежде чем он «кончает», сколько в состоянии выпить.

Бывало, понадобится лошадь, чтобы поехать куда-нибудь, и идешь к мулле. Мулла со всем семейством, а иногда и с кем-нибудь из гостей сидит на полу на ковре и пьет чай.

— Мулла! — спрашиваю.— Лошадку можно?

— Можно! — спокойно отвечает он, отнимая ото рта блюдечко и раскусывая кусок сахара.— Можно, только цай кончаем.— И он снова принимается за чай.

Проходит около получаса, пока, наконец, вполне ублаготворенный, мулла поднимается с места и медленно, без дела, прохаживается по двору.

— Что же, мулла, лошадку? – говорю ему опять.

— Лошадка степь гуляет! невозмутимо отвечает он.– Тащить лошадка надо!

– Ну тащи ее скорее.

– Сейчас Кафиз тащит, только цай концает.

Действительно, Кафиз, работник муллы, занятый раньше каким-то делом, только что уселся за чай, и я понимаю, что не очень скоро его теперь вытащишь. Но, наконец, и он освободился.

— Кафиз, лошадку надо запрягать! — обращаюсь я уже к нему.

Кафиз совсем не говорит по-русски, и на всякие расспросы он обыкновенно только мотает головой и отвечает: «бельмей». Но несколько слов, в том числе и «лошадка», он кое-как понимает И вот он отправляется в степь. Проходит некото

рое время. Наконец, слышу топот, и Кафиз въезжает во двор на Сивке, сидя прямо на его спине, безо всякого седла.

Я думаю, теперь скоро все будет готово, и уже готовлюсь к отъезду. Но не тут-то было. Смотрю: Сивка стоит спокойно у тележки и ест из нее сено.

Мулла! — опять обращаюсь я к нему.— Что же лошадка?

Но мулла остается невозмутим по-прежнему. Быстрота вообще не в его характере. Он спокойно поднимает на меня свои глаза и апатично отвечает:

— Лошадка сено ашáет (ест). Сейчас концáет!

Опять жду. Наконец, снова появляется на сцену Кафиз, но вместо того, чтобы запрягать садится опять верхом на Сивку и быстро уезжает

- Мулла! — кричу я в отчаянии.— Куда же лошадка пошла? Мне надо ехать.

Сейчас! Жидáй мáла-мала. Лошадка поить надо.

Делать нечего, опять жду, пока возвращается Кафиз. Теперь, менее чем в пять минут, лошадка запряжена в тележку и подведена к крыльцу. Целая толпа окружает меня, когда я сажусь в тележку. Кто-нибудь спрашивает: «Далеко гуляешь? Ну лядна, гуляй»! — Тут же вертится орава малаек и Шамсинор.

Шамсинор, исанбул (прощай!) кричу я ей по-башкирски.

Исанбул! — бойко отвечает она и смеется.

И, когда я выезжаю, она вместе с другими детьми выбегает за ворота и смотрит вслед.

Когда спустя несколько часов я возвращаюсь домой, они опять встречают меня. Кто-нибудь из малаек вскакивает на ходу на задок тележки и становится сзади во весь рост, наподобие грума. Другие бегут следом за нами и кричат обычную фразу: «Знаком, давай мне гостинцá!» Перед самыми воротами я останавливаю лошадь, и тогда Шамсинор, Ахмет-Лафá и еще целая компания ребят влезают ко мне в тележку, размещаются в ней и сидя и стоя, и мы с шумом и весельем въезжаем во двор.

Однажды, вернувшись домой, я привез Шамсинор куклу, а маленькому Зекиру волчок. Впечатление от этих подарков было громадное. Шамсинор была так поражена видом куклы, что как-то сразу опешила и не знала, что ей делать. Через минуту она, схватив куклу, выскочила из ворот и побежала в соседние избы. Спустя короткое время на дворе муллы собралась целая компания взрослых башкирок. Все они с любопытством рассматривали куклу и ахали. После этого можно понять, что должна была чувствовать такая маленькая девоч

ка, как Шамсинор, если даже взрослые женщины были так увлечены этой куклой.

Между тем как бабы занялись куклой, мулла с интересом рассматривал игрушку, которую подарили его маленькому малайке. Я пустил волчок. Он с пением закружился, пока маленький Зекир, сидящий на полу, не остановил его своей рукой. Мулла тотчас взял волчок и начал соображать, каким способом он заводится. Я показал ему, но у него никак не выходило. Опять заводил я, а мулла, присев на корточки на полу, внимательно наблюдал за движением волчка и смеялся, точно сам был ребенок. А кругом со всех сторон толпились и малые и большие и громко заявляли свое одобрение диковинной игрушке. Кончилась эта история неожиданно очень смешно. Старший сын муллы, Ахмет-Гата́, повел в это время поить Сивку, но, полюбопытствовав посмотреть, что такое происходит на крыльце, где мы пускали волчок, подошел и уставился на зрелище, свободно держа повод.

Вдруг Сивка, тоже, вероятно, возымевший интерес к происходящему, протянул свою морду через головы нагнувшихся людей и в одно мгновение схватил волчок своими губами.

Так проходили дни в питье кумыса, в прогулках по степи, среди милых, добродушных башкир. Именно какое-то сплошное добродушие чувствовалось здесь во всем. Добродушные люди, мягкая природа, даже собаки были не такие злые, как в русских деревнях, а такие же добрые и смирные, как сами башкиры. И, несмотря на отчаянную всеобщую лень, апатию и неподвижность, которые точно были разлиты здесь в окружающем воздухе, столько хорошей душевной простоты было во всех этих людях, что нельзя было не полюбить их за это.

IV

В конце июня, перед началом полевых работ, башкиры имеют обыкновение устраивать у себя маленькие пиршества. Каждый достаточный хозяин поочередно режет барана и приглашает к себе на «махан» соседей, родных и непременно несколько человек бедных.

Однажды, проснувшись утром, я заметил на дворе муллы особенное оживление. Фариха и еще несколько соседок-башкирок суетились и то и дело бегали из амбара в кухню и обратно. С утра был зарезан баран, и, разрезанный на части, варился в котлах. В амбаре, где́ жил летом мулла со всем семейством, тоже делались приготовления. Среди комнаты, освещенной одним маленьким окошком, был постлан большой ковер, по краям которого в углу, против входа были положены подушки для более почетных гостей. На крылечке

амбара было повешено чистое, расшитое яркими узорами полотенце *(тастамал)* и стоял чисто вычищенный медный кумган, наполненный водой.

Часам к двенадцати стали собираться гости. Сначала пришел брат муллы, еще молодой, красивый, черноволосый башкир. За ним явился брат хозяйки, мой приятель, Магомет-Аминь, говоривший необыкновенно мягким голосом и коверканными русскими словами. Пришел и вечно веселый балагур Мурза, высокий, с большой бородой и добродушными веселыми глазами. Он был рыбак и каждую пятницу «гулял» на базар и «тащил» продавать рыбу. Потом пришел старый и добрый Шайкей, полный, с поседевшей бородой и с глубокими морщинами на лице,— один из самых симпатичных башкир в деревне. Когда мы встречались с ним, он приветливо протягивал мне свою руку и ласково говорил какие-нибудь самые незначительные слова: «А, арума (здравствуй). Гуляешь? Лядна, лядна, гуляй!» И при этом подмигивал своими добрыми глазами и шел себе дальше, зачем вышел из дому, и хотя слова его обыкновенно мало что выражали, но становилось как-то приятно от его приветливости. В числе гостей находился также другой мулла с жесткими, неприятными чертами лица, с хитрыми, вечно бегающими глазами, которого я, не в пример другим башкирам, вообще недолюбливал. Когда по необходимости приходилось вступать с ним в разговор, он с таким усилием вытягивал из себя русские слова и произносил их до того невнятно, что иногда не было возможности разобрать, что он говорит.

Каждый приходивший брал кумган, поливал себе водою руки, вытирал их расшитым полотенцем, потом снимал обувь и, поставив ее при входе, входил в амбар, протягивал хозяину обе руки и усаживался на ковре, поджав под себя ноги. Так набралось человек пятнадцать гостей и в том числе несколько бедных, которые поместились ближе ко входу. Сын муллы постелил сверх ковра, посредине между гостями, скатерть, положил на нее несколько ножей, блюдце с солью и две-три тарелки. Потом он вышел опять и через несколько минут вернулся с большой деревянной чашкой, доверху наполненной большими кусками «махана», т. е. мяса. Поставив ее посредине скатерти, он стал на колени, несколько вытянувшись, вынул руками большой, жирный кусок и подал его другому мулле, который хотя был и младший, но в качестве гостя занимал самое почетное место в углу и важно сидел на подушке. Тот взял мясо также руками и положил перед собою на скатерть. Потом Ахмет-Гатá тем же порядком, вынимая кусок за куском, подавал их каждому гостю, сначала более почетным, а потом беднякам, которые сидели у входа. Так как ска-

терть до них не хватала, то они клали свои куски мяса прямо на ковер. Потом были розданы ножи, хотя их не на всех хватило, и некоторым приходилось пользоваться вдвоем одним ножом. Почетным гостям подвинули тарелки, и они, взяв махан со скатерти, переложили его на тарелки.

Между тем мулла-хозяин взял нож и, отрезав от своего куска жирный кусочек и держа его пальцами, повернулся к мулле-гостю. Тот открыл рот, и мулла сунул ему туда махан. Затем он отрезал другой кусочек и также сунул его пальцами в рот другому почетному гостю, сидевшему от него по другую сторону. Мулла-гость, проглотив положенный ему в рот кусок, отрезал от своего и, в свою очередь, сунул в рот хозяину, а потом соседу с другой стороны. Протягивая третьему, он сам должен был раскрыть рот, так как кто-то из гостей в это время сунул ему самому жирный кусочек. Теперь пошло взаимное угощение. Каждый, проглотивши несколько кусочков от собственной порции, вдруг следующий всовывал кому-нибудь в рот и сейчас же сам должен был широко раскрывать свой собственный рот, чтобы принять в него протягиваемый кем-нибудь из гостей кусочек махана. Если у того, кому протягивали кусок, был в это время занят рот, он принимал его руками и, прожевавши первый, сам уже клал себе в рот.

Я находился также среди гостей, но не сидел с ними на ковре и не принимал участия в еде. Для меня поставили в стороне, вне круга гостей, деревянную табуретку, покрыв ее для парада небольшой белой кошмой, украшенной вшитыми в нее кусочками красного, синего и желтого сукна. Когда раздавался махан, мулла сам положил на блюдце кусок ребрышка и подал мне. Но, зная их обычаи, я поспешил отказаться из опасения, как бы, если я приму участие в их пиршестве, они не стали угощать меня по-своему и залезать своими пальцами ко мне в рот. К тому же сваренный в грязном котле, в котором иногда стиралось и платье, махан для меня выглядывал не особенно аппетитно.

Веселый Мурза́ запротестовал было против моего отказа:

— Что не ешь? — сказал он.— Ашай́, махан караша́, бульна вкусна!

Но я ответил, что совсем сыт и ничего не могу есть, а хочу только посмотреть, как у них принято угощать друг друга.

Мурза и против этого ничего не имел.

— Лядна, гляди, какой наша башкирска форма,— говорил он, с аппетитом уплетая свой махан и то и дело раскрывая рот, чтобы принять чье-нибудь угощенье.

Сначала мне было как-то неловко сидеть в качестве зрителя и глядеть на людей, как они едят. Но башкир это нисколько не смущало. Они сами обыкновенно пользовались всяким

случаем полюбопытствовать, что делает русак, и также смотреть ему в рот, как он ест.

В то время как взрослые ели махан, на дворе, около входа в амбар, стояло несколько малаек и с завистью посматривало на евших. Иногда кто-нибудь из взрослых подзывал к себе какого-нибудь малайку и давал ему полуобглоданную кость, которую он с жадностью принимался есть, между тем как у его ног вертелась собака, виляя хвостом и дожидаясь своей очереди. Один бедный бородатый башкир, обглодавши все, что можно было съесть от своего куска, когда оставалась только кость с едва заметными признаками мяса, облизал ее еще раз, повертел к руках и потом положил ее в карман.

Вдруг, оглянувшись ко входу, я увидал маленького Хайредина. Он стоял полуотвернувшись и грязным рукавом вытирал слезы. Бедняжке хотелось есть, но он не решался попросить сам. Магомет-Аминь сжалился над ним и, кликнув его своим мягким голосом, сунул ему остатки своей порции. Медленно и по обыкновению потупившись, подошел к нему Хайредин и, робко взявши кусок, вышел на двор и жадно стал обгладывать его; а слезы, еще не успевшие высохнуть на его глазах, изредка падали на его еду.

Когда махан весь был съеден, пустую чашку убрали, и на месте ее была поставлена другая огромная чашка величиною с целую лохань. Она доверху была налита бульоном с мелко нарезанными кусочками махана. Гости взяли ложки и стали хлебать с громким чавканьем. Двое или трое налили себе в отдельные тарелки. Когда на дне оставалось уже немного, мулла подвинул к себе чашку и, взяв ее обеими руками, приставил ко рту и стал таким образом пить. Отпив немного, он подал другому мулле, тот следующему соседу, и так чашка обошла около половины гостей, пока не оказалась совсем пустой.

Теперь были поданы две чашки, обе поменьше предыдущей, и поставлены на двух концах перед гостями. Это была лапша, слегка подбеленная молоком. Опять началось чавканье, пока обе чашки не были осушены до дна. После этого все чашки и ложки были убраны, и на пол поставлен огромный глиняный чан вместимостью в 3—4 ведра, наполненный кумысом. Рядом с ним Ахмет-Гата поставил несколько деревянных плоских чашек, которые у башкир употребляются специально для кумыса. Мулла взял деревянный, украшенный резьбой ковш, налил сначала одну чашку кумыса и не спеша выпил ее сам. После того он снова наполнил ту же чашку и подал одному из гостей, а затем налил во все остальные, передавая их более почетным гостям. Каждый пил не спеша: отопьет немного и поставит перед собой, потом снова пьет. Как только кто-ни-

будь кончал, он подавал свою чашку мулле: тот наливал в нее кумыс и отдавал кому-нибудь из гостей, кто еще не пил. Во все время обеда шла оживленная беседа, но мне она была непонятна, так как происходила на башкирском языке. Но вот, наконец, «кончали» и кумыс. Разговор смолк. Гости все сразу, точно по команде, подняли руки и, выпрямив пальцы, приставили их к ушам, затем прошептали какую-то молитву, сказали вслух: «Алла», встали и стали расходиться.

Я прошел в сарай, где подобным же образом пировали женщины. Подойдя к дверям, я был поражен красивой картиной. На земле, на подстеленной белой кошме, сидело человек 12—15 башкирок в необыкновенно оригинальных красивых праздничных костюмах. Блестящие, украшенные кораллами и серебряными монетами головные уборы, такие же серебряные красивые нагрудники, черные бешметы с серебряными позументами на спине, яркие цветные платья, красные, синие и зеленые сафьяновые сапоги — все это вместе представляло такую своеобразную и гармоничную картину, что я не сразу мог опомниться от удивления. Хотя я уже видал их праздничные костюмы, но в массе они производили несравненно более сильное впечатление.

Они уже кончали свой обед и оживленно болтали между собой; но при моем входе сразу замолчали и все уставились на меня. Впрочем, мое присутствие их не особенно смущало; скорее я сам был несколько смущен в своей роли наблюдателя.

Заметив среди этого общества Шамсинор, я обратился к ней.

— Шамсинор! махан ашала?

— Ашал! — отвечает она бойко.

— А где Зекир?

— Зекир юклай (спит)!

По случаю торжественного события девочка также принаряжена. Она в новеньком ярко-оранжевом платьице, обшитом на груди малиновыми и голубыми ленточками. Ее кудрявые волосы, как всегда, растрепаны и ничем не прикрыты. Но на груди висит узенький блестящий нагрудник, как у взрослых башкирок.

— Покажи мне, Шамсинор,— говорю я, показывая на него.

Девочка приподнимает свой нагрудник и подает мне. Он оказывается очень тяжелым и весь состоит из пришитых к какой-то красной материи серебряных рублей, мелких серебряных монет, простых оловянных кружков, а по краям выложен красными бусами, окрашенными под коралл. Среди монет есть много старинных, екатерининских и елизаветинских,

один рубль был даже петровский. Рядом с ними вшиты совсем новенькие, последних годов, рубли и двугривенные. Эти украшения передаются у башкирок из поколения в поколение и по мере потери старых монет подновляются новыми.

Мне приходит фантазия подшутить над Шамсинор.

— Шамсинор алама (нехорошая),— говорю я, показывая на нее.

Она мотает головой в знак несогласия, потом кокетливо улыбается и задорно произносит:

— Шамсинор якши.

— А! Якши, якши! — скороговоркой говорит Фариха и весело смеется.

Тогда и я точно сдаюсь и, дотронувшись до плеча Шамсинор, говорю ей:

— Шамсинор якши! Бик якши!

Шамсинор довольна и смеется.

V

Чем больше я жил среди башкир, тем больше научался ценить их хорошие душевные качества. Мне очень нравился этот народ — добродушный, смирный, приветливый, но без малейшей приниженности и с сознанием собственного достоинства. Башкир, даже самый бедный, никогда не держит себя подобострастно. Он видит в вас своего гостя, человека равного себе, которому он свободно протягивает свою руку, как бы ни был сам грязен и оборван. Конечно, и среди башкир, как среди всех людей, есть такие, которые рады поживиться на ваш счет, даже обмануть при случае, но это редкое исключение. Главная масса башкир — честны, простоваты и доброжелательны прежде всего. Единственный недостаток, которым страдают все, это — крайняя беспечность и леность. Башкир может проводить целые дни, ничего не делая, балагуря с соседями, кумысниками, и только крайняя нужда заставляет его работать. Но и в этом нельзя спешить обвинять башкир и мерить их своей меркой. Еще каких-нибудь 40—50 лет тому назад они кочевали в своих степях и занимались скотоводством, которое оставляло им много свободного времени. Теперь, когда их кочевки совсем прекратились и они принуждены жить круглый год в деревнях, они все же в душе остаются такими же кочевниками, со всеми своими прежними интересами и привычками. Хотя земли у них гораздо больше, чем у русских крестьян, они очень мало обрабатывают ее и не любят земледелия, и по-прежнему главное занятие их составляет скотоводство. Но при новых условиях жизни и скотоводство стало у них падать, и с каждым годом они все бед-

неют, не умея и не стараясь примениться к изменяющейся жизни.

Когда-то, в прежнее время, башкиры владели громаднейшими землями, но по своей беспечности они продавали совсем за бесценок, по нескольку копеек за десятину, десятки и сотни тысяч десятин, наивно думая, что у них земли так много, что, сколько ее ни отдавай русаку, она никогда не «кончает». И вот теперь, расселившись среди них, их стесняли со всех сторон русские, немцы и всякий другой народ, который, пользуясь башкирской простотой, обижает их. И, удивительное дело, при всей своей бедности и при всех несправедливостях, которые им приходится выносить, они остаются незлобивы и добродушны. Конечно, они не могут вполне дружелюбно относиться к своим соседям, русским крестьянам, которые сами презирают их и обманывают их на каждом шагу. «Хохлá не любит башкир, башкир не любит хохла»,— так говорили мне башкиры про своих соседей-малороссов, которые действительно поступали по отношению к ним крайне недобросовестно. Но к русским вообще, от которых они не видят зла, напр., к кумысникам, башкиры относятся радушно и по-детски доверчиво. Правда, что они любят получать с них «подарка», но зато в подарке они ценят не только самую вещь, но и внимание к ним и, в свою очередь, готовы на всякие услуги. К людям интеллигентным они относятся с большим уважением, оценивая даже чересчур преувеличенно их значение. Помню, как один башкир, пришедший к нам просить лекарства, на вопрос, что у него болит, простодушно ответил: «ми не знаем, ти знаешь!» Сколько доверия ко всемогущему знанию образованного русского человека заключалось в этой наивной фразе!

Часто, наблюдая их беспомощность во многих житейских случаях, мне становилось ужасно их жаль, как жалко бывает детей, оставленных без всякого призора. Сколько пользы мог бы принести им человек, который вздумал бы поселиться среди них с таковым искренним намерением,— часто думалось мне. А при том доверии, которое они питают к русскому, это было бы так нетрудно! Не оттого ли так бедствуют они, что они, такие простые и доверчивые люди, предоставлены только самим себе среди других более предприимчивых и более практичных людей? Не оттого ли они так страдают глазными и другими болезнями, что у них нет никакой врачебной помощи? Наконец, не оттого ли так много теряют они во всех своих делах и так часто обманывают их другие, что они так невежественны, неграмотны и несведущи в самых простых житейских делах. Ведь они не только всю жизнь проводят в своей глухой деревне и ничего не видят, кроме своей степи, но даже и из

книги не могут узнать о том, что представляет другой, незнакомый им свет.

Часто при взгляде на маленькую Шамсинор мне приходило в голову: что было бы с нею, если бы можно было взять ее с собою в Москву, воспитывать ее и учить. Было ли бы это лучше для нее самой и могла ли бы она тогда быть полезной своим башкирам?

Есть один рассказ о том, как маленькая остяцкая девочка, попав случайно в город, получила хорошее образование, но не забыла своего народа и, окончив ученье, вернулась в дикую глушь своей родины и употребила свою жизнь на то, чтобы быть полезной своими знаниями своему народу. Но всегда ли возможен подобный случай? Не вернее ли предположить, что, обратившись в благовоспитанную барышню, прежняя башкирская девочка не захочет возвратиться в свою деревню, где все станет для нее тогда чужим, даже родные отец и мать. Захочет ли она, привыкнув к удобствам культурной жизни и к обществу образованных людей, снова заключить себя в ту темную среду, из которой ее выхватила судьба? И хватит ли у нее, тогда уже избалованной, столько сил и энергии, как у той остяцкой девочки, чтобы нести свет и помощь своему народу? Нет, таких самоотверженных и сильных людей бывает мало на свете. Уйдя из деревни, она ушла бы из нее навсегда, и ее родные ничего бы от этого не выиграли, а только потеряли бы ее.

А она сама была ли бы счастливее? И это трудно сказать. Ее отец был один из богатых башкир, нужда не угрожала ей в будущем. Теперь уже хорошенькая девочка, она будет со временем красавицей, выйдет замуж за богатого башкира, будет жить безмятежно среди таких же людей и среди таких же понятий, к которым привыкла она с детства, и будет счастлива по-своему. А в чужом краю, хотя и получивши образование, не будет ли она только сильнее чувствовать, что она одна, совсем одна на белом свете, что родные — отец, мать и братья — не поймут даже ее?

Вот если бы здесь, в ее родной деревушке, была устроена школа, в которой могла бы учиться и Шамсинор, и другие башкирские девочки и мальчики, тогда было бы другое дело. Не отрываясь от своих родных и не ломая своей жизни, они не оставались бы в той темноте и полном неведении ничего, как их отцы и матери. Тогда, может быть, при помощи книги и знаний, которые она дает, раскрылись бы понемножку их глаза на свет божий, и, оставаясь тем же добродушным, честным и хорошим народом, они сумели бы сами улучшить свою жизнь.

Разумеется, я не мог передать своих мыслей маленькой Шамсинор, но шутя я иногда звал ее с собою в Москву.

– Шамсинор! — говорил я ей,— поедем со мной в Москву! Москва — большая. Конфети там много.

Но девочка, думая, что я говорю это серьезно, пятилась от меня, мотала головой и говорила коротко: «Не надо, Москва не надо!»

Между тем лето подходило к концу. Степь, прежде зеленая и полная душистых цветов, теперь пожелтела и перегорела; местами трава была как бы совсем выедена, и вблизи то место, по которому приходилось проходить, казалось некрасивым и безжизненным. Но общий вид степи, при взгляде на нее с холмов, по-прежнему был такой же чудный. Все та же широкая даль и ряд живописных холмов, и зеркальные изгибы реки — все было так же прекрасно и даже, благодаря привычке, становилось как-то ближе и понятнее. Когда вечером заходило солнце и, стоя над самым горизонтом, бросало свои прощальные красные лучи на желтую степь, я иногда поднимался на ближайший холм, чтобы подольше полюбоваться закатом. Отсюда, с высоты, среди уже надвигающихся сумерек, передо мною открывалась как на ладони вся деревня, и чистенький домик муллы, где я жил, и простая деревянная мечеть с конусообразным минаретом и с блестящим полумесяцем наверху, который теперь сверкал, освещенный лучами заходящего солнца. И мне становилось как-то жаль, что скоро придется расстаться с этой чудной — однообразной, но чудной — природой, и с этими простыми, добрыми и бедными людьми...

Наступил день моего отъезда. С раннего утра весь дом муллы пришел в движение. Приходили прощаться знакомые башкиры; несколько любопытных башкирок все время торчали на дворе. Вот, наконец, поданы лошади, вещи уложены, и мы прощаемся.

— Прощай, Влодимер! — говорил мулла, пожимая мне руку.— Приезжай тот год, письма пиши, раньше пиши, чтобы другой кумысник не стал.

Фариха, по обыкновению веселая и оживленная, в знак привета кивает головой и, как всегда, повторяет скороговоркой по два раза одно слово:

— А! Прощай, прощай, Влодимер!

Ахмет-Гата́ в своем синем жиляне, подпоясанном красным кушаком, в теплой черной шапке и новых, блестящих сапогах с красными отворотами, стоит возле тележки, готовый садиться на козлы, так как он сам везет меня на станцию.

Вот и работник Кафиз, и приятель мой Магомет-Аминь, за руку которого, как всегда, цепляется его маленький малайка Ях-Я, и целая орава других малаек.

Шамсинор, как большая, подает мне свою ручонку и громко произносит: «Прощай!» — Она смеется. Ей весело, ее занимает эта сутолока при сборах, которая вносит разнообразие в обыденную и монотонную башкирскую жизнь.

— Исанбул, Шамсинор! — кричу я ей, уже усевшись в тележку, когда Сивка медленно трогается и выезжает в ворота.

— Исанбул! — отвечает она задорным голоском и выбегает следом за ворота вместе со всеми малайками. А за ними выходит и мулла, и Фариха, и все башкиры.

— Прощай, будь здоров! — кричат они.

Я еще раз оглядываюсь и вижу Шамсинор, которая уже не смеется, а серьезно, недоумевающе смотрит на нас.

— Шамсинор, прощай! — еще раз кричу я ей.

Она стоит неподвижно у ворот и смотрит на нас, и кто знает, какие мысли шевелятся в ее детской головке.

— Прощай, Шамсинор, прощай, милая башкирская девочка! Придется ли когда-нибудь увидать тебя!..

П. П. Инфантьев

(1860—1913)

Порфирий Павлович Инфантьев родился в селе Варнаково Челябинского уезда. Учился в Троицкой гимназии. После чего с 1882 года учился в Казанском университете, на юридическом факультете. Принимал участие в студенческих волнениях. Через два года перевелся в Петербургский университет, участвовал в кружке благоевцев. Это один из первых социал-демократических кружков в России, созданный Д. Благоевым, основателем Болгарской коммунистической партии. Был причастен к выпуску первой нелегальной социал-демократической газеты «Рабочий». Благоевцы стремились установить связь с группой Г. В. Плеханова «Освобождение труда». Последняя отнеслась к благоевцам дружественно. Инфантьев ездил в Женеву, и их группа стала получать из Женевы марксистскую литературу. Сам же Инфантьев продолжил образование в Женевском университете. После неудачного покушения в 1887 году швейцарские власти произвели обыск на квартире Инфантьева и за связи с «русскими государственными преступниками» выслали его из страны. В 1889 году Инфантьев возвратился в Россию и был арестован на пограничной станции. Около года отсидел в Варшавской цитадели и еще полтора года в знаменитых Крестах в Петербурге.

Выйдя из тюрьмы, жил в Новгороде. Написал фантастическую повесть из жизни обитателей Марса — «На другой планете», которая увидела свет в начале XX века. Инфантьев был одним из составителей «Челябинского указателя лучших книг и журнальных статей 1856—1883 гг.».

С 1899 года Инфантьев живет в столице. Здесь тоже подвергался аресту, обыску. От жандармской опеки освободился только в результате первой русской революции. Начал активно сотрудничать в различных изданиях, выпустил поэтический сборник «Огоньки». В результате поездок по далеким российским окраинам пишет ряд этнографических очерков и рассказов из жизни различных народностей России. Лучшие из них составили добротную книгу, которая вышла в 1909 году.

После революции были изданы книги Инфантьева для детей — «Маленький китолов» (1923) и «Свирель Кытлыбая» (1930).

ЖЕНА АХМЕТА

Рассказ из башкирской жизни

I

Ахмет делал пчельник.

Выбрав для устройства борти (т. е. улья) высокую осокорь (сорт тополя) без сучьев внизу, чтобы по ним не мог добраться до меда лесной лакомка-медведь, Ахмет охватил и себя и дерево широким сыромятным плетеным ремнем, связал свободную петлю и при помощи ее начал взлезать на дерево, делая топором на стволе осокоря зарубки, в которые и ставил свои ноги. Взобравшись вверх сажен на пять, он сделал глубокие затесы в стволе, уперся в них ногами и отклонился от ствола. Опираясь спиною на связывавший его с деревом натянувшийся ремень, он точно повис над землей и начал вырубать топором в стволе осокоря колоду — помещение для пчел. Он так увлекся своей работой, что не заметил, как аракчинка сползла с его бритой головы и упала на землю, а надоедливые комары и мошки начали больно жалить его.

Сделав колоду аршина в два с половиною в длину и с поларшина в ширину, он по всей ее длине прорубил щель — «летик», затем заколотил колоду доской и в заделке сделал дырку величиною в копейку для прохода пчел. После этого, вырезав на стволе дерева свою тамгу, т. е. свое клеймо, чтобы все знали, чья это борть и чтоб никто не мог взять из нее мед, он слез на землю.

Затем он выбрал другое такое же дерево и на нем вырубил другую такую же колоду.

Устроив таким образом десятка два бортей, Ахмет решил, что этого будет совершенно достаточно для его хозяйства. Теперь ему оставалось только отыскать где-либо конскую голову, чтобы повесить ее у своего пчельника, но это он отложил до первого удобного случая (по поверью башкир, конская голова у пчельника должна отвращать всякое колдовство злых людей).

Покончив с устройством бортей, Ахмет, довольный своей работой, возвратился в свой только что сколоченный аласык. Это летнее жилье было устроено им неподалеку от пчельника, возле земельного надела, куда башкиры каждое лето переселяются из зимних деревушек, чтобы быть поближе к своим пашням и покосам.

Нынешним летом Ахмет предполагал перевезти к себе в дом свою жену с двумя ребятишками, за которую он только что уплатил остатки калыма своему тестю. До сих пор его жена Фатыха жила у своего отца, и тот ни за что не соглашал-

ся отпустить ее от себя к мужу, пока он не выплатит за нее всего выговоренного перед свадьбою калыма.

И вот теперь, когда он мог уже увезти к себе свое семейство, Ахмет прилагал все старания, чтобы устроить для него будущее жилище как можно лучше. Аласык его был сколочен из лубков, нашитых на планки, скрепленные между собою мочальными веревками. Он был четырехугольный, суживающийся кверху, с закругленною крышею. Дверью для этого жилища служила узкая щель с приделанным к ней лоскутом лубка. Постройка была очень легкая, и ветер свободно разгуливал в аласыке, но так как он был устроен только лишь для летнего времени, то о тепле Ахмет мало и заботился. Для зимнего же времени у него был в деревне свой собственный «уй» — бревенчатый дом, крытый драницами, с чувалом, т. е. с очагом и вмазанным в нем чугунным котлом для варки пищи, и широкими нарами вдоль стен. Этот уй достался ему по наследству от его отца, умершего только в прошлом году.

День был жаркий. Ахмет забрался от палящих лучей солнца в свой лубочный шалаш, лег на настланные среди пола вместо нар доски и задумался.

Вот уже семь лет, как он женат и имеет двух детей, но за все время своей женитьбы он ни разу еще не открывал лица своей жены. Он видел лицо один только раз перед свадьбой, будучи еще мальчиком. Ему было всего четырнадцать лет, когда его женили. Он припомнил, как мулла, их священник, совершая обряд бракосочетания, подарил ему стрелу и сказал при этом:

— Будь храбр, содержи и защищай свою жену.

Затем ему вспомнилось, как он в первый раз приехал в гости к своей тогда еще двенадцатилетней жене и как ему пришлось отыскивать ее среди других девушек, ходя из дома в дом, в которых молодуха, по обычаю башкир, скрылась от своего мужа. Отыскать ее для него было тем труднее, что он не мог видеть ее лица, так как все девушки ходили с закрытыми лицами. Целых три ночи употребил он на бесплодное отыскивание своей девочки-жены, и над ним уже начали было подсмеиваться, пока он не догадался сделать подарки подругам своей маленькой женки, которые и указали ему, где ее можно найти.

После свадьбы отец Ахмета не особенно торопился уплатить за жену своего сына вторую половину условленного калыма, потому что увезти невестку в свой дом до достижения ею совершеннолетия все равно было нельзя. Мулла, по закону, не имел даже права венчать их в столь раннем возрасте, но, по просьбе родителей брачующихся, он сделал это втихомолку, не записав в метрические книги, в которые муллы записы-

вают каждое рождение, каждое бракосочетание своих прихожан: он оставил это до достижения невестою законных шестнадцати лет.

Ахмет лежал в своем аласыке и мечтал, как он привезет свою жену с ребятами сначала в деревню. где после «куянты», т. е. после того, как жена в первый раз сходит на речку за водой с коромыслом на плечах, она впервые откроет перед ним свое лицо. Ахмет всем своим приятелям говорил, что его жена красавица, и заранее предвкушал удовольствие от того, как его однодеревенцы будут поражены красотой Фатыхи и станут ему завидовать.

II

Однако Ахмет не знал всей правды о своей собственной женитьбе; иначе он поостерегся бы хвастать перед своими приятелями красотой своей жены.

Действительная же история этой женитьбы была такова.

Отец Ахмета, Шарып, был давнишний приятель отца его теперешней жены, Валея, и, чтобы еще более закрепить дружбу, они решили обручить своих детей еще в то время, когда Ахмету было всего три года, а Фатыха еще в колыбели сосала грудь своей матери. Еще тогда они пили при свидетелях из одной чашки боту — разведенный в воде мед. А по обычаю башкир, после такого просватанья отец невесты уже не может выдать свою дочь за кого-либо другого, даже если бы жених оказался потом никуда не годным человеком; правда, он может выкупить ее, но только в том случае, если другая сторона будет согласна на такой выкуп.

Девочка росла очень некрасивой дурнушкой, а на пятом году захворала оспой, которая окончательно обезобразила и без того некрасивое ее лицо. Родители Ахмета знали об уродстве маленькой невесты своего сына, но, разумеется, ничего ему об этом не говорили; да Ахмет даже и не подозревал, что ему уже с детства была приготовлена невеста.

Когда Ахмету исполнилось четырнадцать лет, а его невесте — всего двенадцать, Шарып спросил однажды у своего сына, хочет ли он жениться. Мальчик, польщенный тем, что его считают уже за взрослого, ответил, что хочет. Тогда отец сказал ему, что хотя по обычаю и полагается, чтобы невесту выбирал себе не сам жених, а его родители, но он, Шарып, не желает, чтобы сын потом упрекал отца за то, что он выбрал ему некрасивую жену. Поэтому раньше, чем сватать за него невесту, он, против обычая, даст ему возможность повидать свою будущую жену до свадьбы, но только с тем условием, чтобы он потом свято хранил обычай и не пытался открывать

лица у своей жены до того времени, пока за нее не будет выплачен весь калым и она не будет привезена в их дом.

Разумеется, Ахмет с радостью согласился на такое условие. Тогда Шарып, приехав однажды со своим сыном в гости к Валею, показал Ахмету под великим секретом очень хорошенькую девушку, подругу Фатыхи, одних лет с нею, и Ахмет пришел в восторг от красоты своей будущей жены.

Их поженили, и Ахмет так и прожил все семь лет со времени своей свадьбы в полной уверенности, что жена его и есть та самая красавица, которую он видел перед свадьбой. Фатыха же, с своей стороны, считая позором перед людьми и грехом перед Богом открывать свое лицо до времени перед мужем, тщательно укрывала его от Ахмета во время его посещений. К тому же она сознавала, что она некрасива, и смутное чувство опасения огорчить мужа своим видом заставляло ее еще более остерегаться показываться с открытым лицом перед мужем.

Время между тем шло. Девочка-жена подрастала и сделалась совершеннолетней. Но Ахмету оставалось выплатить за нее ее отцу еще десять голов разного скота, матери невесты — лисью шубу, Фатыхе — кашмау, т. е. женский головной убор, украшенный бусами и монетами, халат из красного сукна, обшитый галунами, два платья, три рубахи, несколько ситцевых занавесок и проч.

Чтобы приобрести все это, нужны были деньги, а между тем дела Шарыпа пошли плохо. Случилось подряд несколько неурожайных годов с лютыми зимами, во время которых большая часть его скота погибла частью от бескормицы, частью от весенней гололедицы. К тому же вскоре после женитьбы у Ахмета померла мать. Хозяйство начало окончательно приходить в расстройство. Шарып взял к себе в дом одну старую родственницу, но она плохо справлялась с хозяйством,— нужны были молодые руки. А между тем отец Фатыхи ни за что не хотел отпускать свою дочь в дом мужа, прежде чем за нее не будет выплачено всего калыма. Фатыха была незаменимая работница в доме, и отец пользовался своим правом не отдавать ее мужу до уплаты за нее всего калыма. Ахмету привелось выплачивать калым по частям, и эта уплата затянулась на несколько лет.

Времена становились между тем все более и более тяжелыми не только для Шарыпа и его хозяйства, но и для всех вообще башкир. Прежние привольные земли, леса и пастбища, на которых они когда-то пасли свои многочисленные стада, начали мало-помалу исчезать. Башкирские земли были частью отобраны от них русскими, частью распроданы самими башкирами за бесценок; повсюду на их землях появились русские

переселенцы, теснившие со всех сторон прежних хозяев этих земель и лесов. Волей-неволей башкирам приходилось сокращать количество своего скота и довольствоваться только небольшими наделами. Год от году они беднели все более и более и чуть не каждую зиму голодали и терпели всяческие лишения, ютясь в своих плохо устроенных и полуразвалившихся смрадных избенках. Болезни и смертность стали свирепствовать по деревням, унося многих в могилу, в особенности детишек. К началу весны почти все обыватели башкирских деревушек обыкновенно бродили, как тени, тощие и худые, с изможденными от голода бледными лицами, вялые и безжизненные, как осенние мухи.

Но зато, едва только наступали теплые весенние дни и в полях и лесах появлялась зеленая травка, башкиры выходили с остатками своего скота из своих зимних деревушек кочевать подле своих пашен и покосов, и там, на привольном воздухе, на свежем кумысе они скоро поправлялись и делались подвижными, веселыми и беззаботными, быстро позабывая только что перенесенные ими зимние невзгоды.

Благодаря нескольким неурожайным годам хозяйство Шарыпа скоро пришло в упадок, и из прежнего сравнительно зажиточного башкира он превратился в обыкновенного бедняка, какими была большая часть его однодеревенцев. Вместе с Ахметом он кое-что сеял на своей надельной пашне, но за недостатком рабочих рук размер его посева был очень незначителен, и собираемой жатвы не всегда хватало даже для собственного прокормления, а о найме работников и думать было нечего.

Раз зимою Шарып простудился, занемог и слег в постель; Ахмет пригласил к нему знахаря. Но сколько тот ни старался выгнать из больного его болезнь, какими тумаками и подзатыльниками ни награждал лежавшего в беспамятстве старика, как ни ругал и сколько ни кричал и ни плевал на него, ничто не помогло, и Шарып помер.

Собрались друзья и знакомые покойного. Пригласили муллу. После обычных молитв тело умершего привязали к широкой доске и повезли на кладбище, находившееся в лесу. Впереди ехал мулла, за ним Ахмет с друзьями и знакомыми умершего. Тело посадили на корточках в подрытую с одной стороны могилы яму с лицом, обращенным к священному городу магометан Мекке, и закопали. Провожавшие вернулись в осиротелый дом и здесь справили по покойном поминки, правда, не совсем обильные, так как старая родственница, оставшаяся теперь одна с Ахметом, была плохая хозяйка и почти совсем не умела готовить ни кушаньев, ни кумыса.

По смерти отца Ахмет остался один работник во всем своем хозяйстве. Он сознавал, что одному ему не было никакой возможности продолжать вести это хозяйство, и потому решил во что бы то ни стало уплатить остатки калыма за свою жену, чтобы взять ее к себе в дом на полевые работы. Он продал часть оставшегося от отца имущества и, наконец, рассчитался со своим тестем. Теперь отец Фатыхи уже не имел более никакого права задерживать ее у себя, и Ахмет назначил день, когда он вместе с женщинами своей деревни, бывшими у него на свадьбе, должен явиться за своей женой, чтобы увезти ее.

III

Настал, наконец, и этот давно ожидаемый день. Женщины и девушки со всей деревни собрались к Фатыхе, чтобы обрядить и проводить ее в дом мужа со всеми церемониями, требуемыми башкирскими обычаями.

Прежде всего подруги Фатыхи унесли ее кровать в лес и там привязали ее, пропустив веревки под корни деревьев такими хитро сплетенными узлами, что распутать их неопытному человеку не было никакой возможности. После этого молодую посадили на эту постель и с подобающими случаю песнями стали ожидать девушек и женщин со стороны мужа, которые должны были явиться за молодой. А когда те пришли, то между подругами молодой и пришедшими женщинами завязалась из-за нее борьба: одни должны были распутать и развязать все узлы, которыми была примотана кровать молодой, и унести ее из лесу, а другие старались препятствовать этому. Поднялись возня, визг и шум; обе стороны разгорячились, и дело даже дошло до того, что соперницы исцарапались в кровь и порвали друг на друге платья. Но сердиться на это не полагалось; убытки за порчу платья, по обычаю, должен был уплатить молодой.

Наконец, подруги Фатыхи принуждены были уступить, и противная сторона, развязав хитросплетенные узлы, с торжеством понесла кровать в деревню. Четыре девушки, держа над головой молодухи в виде балдахина за четыре угла большой платок, повели ее следом за ее постелью, а остальные подруги, окружив Фатыху со всех сторон, с плачем и причитаниями начали водить ее по деревне из дома в дом прощаться с родными и знакомыми. При этом прощании молодая одаривала всех женщин и девушек своей деревни подвязками из разноцветной шерсти и нитками, а ее, в свою очередь, одаривали кто чем мог. Бедные дарили даже простые ситцевые лоскуточки, в вершок величиною, и все эти лоскуточки-подарки привешивались и прикалывались к волосам и платью моло-

духи, так что в конце прощания она оказалась вся с головы до ног увешанной разноцветными лоскутками.

Затем, когда все уже было готово к отъезду из родительского крова, подруги начали обряжать невесту в дорогу. На нее надели цветную с вышитым воротником рубаху, красные штаны, на ноги ичиги, т. е. сафьянные сапожки, а поверх их кибис, нечто вроде калош; на грудь — унизанный серебряными монетами нагрудник, на голову — чепчик, расшитый бисером и тоже унизанный монетами, поверх рубашки — красный с галунами халат и поверх чепчика и шапки — покрывало.

Простившись со всеми своими родными, Фатыха обняла бурдюк, кожаный мешок, в котором хранился кумыс, и с причитаниями начала благодарить его за то, что он питал ее в течение ее детства под родительскою кровлею. Поплакав над ним, она привязала к нему в знак благодарности шелковую красную ленточку и, поцеловав его в сотый раз, распрощалась с ним.

Затем она нарядила своих двух ребятишек в их лучшее платье и приготовилась к отъезду. Тем временем была подана запряженная телега, на которой Фатыха должна была ехать со своими ребятами. Пришли родители в последний раз проститься со своей дочерью, но она показывала вид, что ни за что не хочет добровольно выходить из отцовского дома. Долго ее упрашивали не упрямиться, и только после того, как два ее брата сделали ей по небольшому подарку, она вышла из дому и села в приготовленную для нее телегу, сопровождаемая плачем и причитаниями своих подруг.

Поезд тронулся. Ахмет ехал верхом впереди своей жены, она с ребятишками в телеге за ним, а остальные поезжане за ними следом.

По приезде в дом мужа молодую снова водили по деревне, и она опять одаривала всех родственников и родственниц своего мужа разноцветными шерстяными подвязками, а те, в свою очередь, дарили ей кто что мог.

IV

На следующий день по приезде молодых башкирские ребятишки с самого раннего утра то и дело подбегали к дому Ахмета, ожидая куянты, первого выхода молодухи с ведрами за водой на речку. Во время этого хождения молодая должна была, захватив с собою серебряную монетку с проверченной дырочкой и вдетой в нее ниткой, бросить ее, по обычаю предков, в реку в дар водяному духу. Ребятишки знали этот обычай и приготовились извлечь монету со дна реки.

И вот, когда, наконец, из дверей дома Ахмета показалась молодуха с коромыслом на плечах, ребята гурьбою побежали следом за нею на реку. Фатыха, взойдя на плот, поставила ведра и, взмахнув рукой, кинула далеко от себя в реку приготовленную монету. Тотчас же все ребятишки, сколько их тут было, сбросив с себя рубашонки, кинулись в воду и начали нырять и отыскивать на дне реки жертвенную монетку. Началась среди низ возня, крики, шум, драка. Всякому хотелось найти монету и овладеть ею.

Тем временем Фатыха, пользуясь этой суматохой и тем, что все засмотрелись на ребят, состязавшихся в поисках брошенной монеты, наполнила водою ведра и отправилась обратно домой, к мужу, ожидавшему ее возвращения с нетерпением, так как она только теперь в первый раз после семилетнего с ним замужества должна была открыть перед ним свое лицо.

Ахмет был в самом благодушном настроении. В ожидании возвращения с речки своей жены он сидел и мечтал о том, с какой гордостью он покажет потом своим приятелям красавицу жену.

Перешагнув порог, Фатыха поставила на пол ведра и, сбросив покрывало, предстала перед мужем с открытым лицом.

Ахмет отпрянул от изумления: его жена оказалась совсем не той, какою он ее представлял себе в течение всех семи лет, что был на ней женат.

Та, которую он рисовал в своем воображении, была круглолицая, миловидная, с черными большими глазами, смуглянка, а эта оказалась безобразной, с длинным носом, с изрытым и обезображенным оспою лицом, с карими подслеповатыми глазками, белокурой женщиной, ничего не имевшей сходного с той, которую он когда-то выбирал себе в жены и которую столько лет так любил.

Но как могло случиться, что ему подменили его Фатыху?

Он стоял с разинутым ртом и молча, с изумлением смотрел на свою жену, потупившуюся перед его недоумевающим взглядом.

И вдруг ему пришло в голову, что это над ним пошутили его приятели, подослав ему другую женщину вместо Фатыхи, ушедшей за водой.

— Ты зачем пришла сюда? — спросил он у своей жены.

Фатыха в изумлении вскинула на него свои немного косившие глаза.

— А где же Фатыха? — спросил снова Ахмет у жены, все еще не понимавшей в чем дело.

— Какая Фатыха? Фатыха — это я и есть! — сказала бедная женщина, догадываясь, наконец, что своим видом она обманула ожидания мужа.

Ахмет смутился еще более. Голосом, которым говорила стоявшая перед ним женщина, был действительно знакомый голос его жены.

Ахмет почувствовал, как острое чувство злобы стало подниматься где-то там, из глубины его души.

— Меня обманули! — с отчаянием вскричал он, наконец, хлопнув себя руками по бедрам от измуления.

Фатыха, ничего не понимая, продолжала молча смотреть на него.

— Я женился вовсе не на тебе; я тебя не знаю! — вскричал он снова.

— Как же это так, Ахмет? — заговорила обиженным голосом молодая женщина: — семь лет ты меня знал, двое ребят у нас, а теперь говоришь, что женился не на мне и меня не знаешь. Ведь это же наши дети-то? — указала она на игравших на полу ребятишек.

Ахмет опустил голову.

«Так неужели же в самом деле эта безобразная женщина и есть его жена, мать его детей? Неужели в течение целых семи лет он любил этого урода и постоянно только о том и думал, как бы выплатить за нее калым и привезти ее к себе в дом? Но как он покажет ее своим приятелям? Ведь его засмеют! Скажут: «Вот так красавица, которою так хвастался Ахмет!»

И жгучая злоба, досада и обида снова прихлынули к его сердцу.

— Не смей никому показываться! — вскричал он с гневом и ударил свою жену по лицу.

Фатыха залилась горькими слезами, а ее двое маленьких ребятишек бросились к матери и заголосили от испуга на весь дом.

— Мамка, мамка, за что он тебя бьет? Поедем домой! — закричал старший мальчик.

— Живо собирайтесь, сейчас вас всех отвезу к старому обманщику Валею! Не надо мне вас! — объявил Ахмет и вышел во двор запрягать лошадь, чтобы и в самом деле отправить свою жену с ребятами обратно к ее отцу.

V

Старый Валей только что окончил свою вечернюю молитву, когда во двор к нему въехала телега с молодыми, только накануне уехавшими от него.

— Ты что это, старая собака, обманывать меня вздумал! — набросился на него Ахмет, соскакивая с телеги и с искажен-

ным от злобы лицом подступая к оторопевшему и ничего не понимавшему тестю.

— Погоди лаяться-то! — огрызнулся тот.— Расскажи лучше, что такое случилось?

— Как что случилось? Ты выдал за меня вовсе не ту, с которой я был обвенчан муллой! — заявил Ахмет.— Бери эту бабу назад себе и давай мне обратно мой калым, который я столько лет выплачивал тебе за нее.

Валей с недоумением смотрел на своего зятя, думая, не помешался ли он.

— Он совсем с ума сошел. Должно быть, шайтан в него вселился! — заголосила Фатыха, слезая с телеги.— Семь лет жил со мной, а теперь не хочет меня признавать; говорит, что женился не на мне, а на какой-то другой.

— Постыдись, Ахмет, не смеши людей-то! — сказал Валей.— Ведь не я тебя венчал! Ступай, сходи к мулле, он тебе скажет, с кем ты был обвенчан: у него ведь в книгу записано.

— Да что ты брешешь-то? Разве я не видал в лицо своей невесты перед тем, как был обвенчан с нею? А эта косоглазая баба совсем на нее не похожа!

— Я не знаю, кого ты видел перед своей свадьбой,— спокойно возразил Валей,— знаю только, что ты был обручен с моей дочерью еще в то время, когда тебе было всего три года. На это есть свидетели; если мне не веришь, спроси у них.

— Да что ты меня морочишь?! — вскричал Ахмет с досадой.— Мой отец никогда ничего мне об этом не говорил, а когда вздумал меня женить, он сам мне велел сначала посмотреть свою невесту, и я с ним был здесь, и мне показали совсем другую девушку, а не этого урода.

— Дурак ты и больше ничего! — сказал Валей.— Да разве можно видеть свою жену прежде, чем за нее не будет выплачено всего калыма и она не будет увезена в дом своего мужа? Где это слыхано, чтобы поступали иначе! Что мы, неправоверные что ли, чтобы давать самим сыновьям выбирать себе жен? А если тебя вздумал тогда подурачить твой отец, так чем же я-то и Фатыха в этом виноваты!

— А, я припоминаю! — сказала Фатыха, молча слушавшая препирательства своего отца с мужем,— это правда, когда Ахмет приезжал со своим отцом сюда в первый раз, ему тогда шутя показали наши бабы вместо меня Фатыху Мухаметову; он, должно быть, и думал, что это она будет его женой.

— Фатыху Мухаметову! Да знаешь ли ты, что она давно уже замужем за богатым купцом в городе и у ней куча детей? Фатыху Мухаметову! Вишь, что задумал! Да ведь за Фатыху Мухаметову заплачен такой калым, что тебе и во сне не снилось! Ты за мою-то Фатыху столько лет выплачивал самый

пустяковый калым, да и то едва выплатил, а за Фатыху Мухаметову тебе бы и во сто лет не выплатить того калыма, какой взял за нее ее отец! Дурак ты и больше ничего!

Ахмет был поставлен в тупик. Верить или не верить тому, что говорит его тесть? Неужели же в самом деле все было так, как он рассказывает? Да ведь тогда он действительно сам себя поставил в дурацкое положение!

Чтобы окончательно увериться и узнать правду, Ахмет решил пойти к мулле, который когда-то венчал его с Фатыхой.

Он рассказал ему про свое несчастье и про свои сомнения и просил у него совета, как ему поступить.

Старый мулла, убеленный длинною седою бородою, которая так почитается у башкир, внимательно выслушал жалобы Ахмета и, подумав немного, сказал:

— Сын мой, если твой покойный отец указал тебе перед венчанием на другую девушку, то у него были на это, конечно, какие-нибудь свои соображения. Может быть, он, желая тебе счастья, хотел, чтобы ты считал свою жену красавицей, хотя она и не была красивой. И что же? Разве ты не был с нею счастлив в течение этих семи лет, которые ты на ней женат?

— Я не могу пожаловаться на это! — сказал Ахмет.— Но как же теперь-то я стану с нею жить? Ведь меня засмеют все мои знакомые: скажут, хвастал, что у него жена красавица, а она оказалась уродом.

— А зачем же ты хвастал?

Ахмет не нашелся, что на это ответить, и промолчал.

— Ну, и что же, если и посмеются немного,— продолжал мулла.— Дуракам закон не писан. Ведь тебе жить-то не с ними, а с нею. Разве о человеке судят по его лицу? Пусть она у тебя некрасива, но разве она плохая хозяйка и худая мать для своих детей?

— Не могу, мулла, пожаловаться я на то, что она худая мать или худая хозяйка. Такие хозяйки на редкость. Потому-то я так и спешил выплатить за нее калым: она очень хорошая работница, и без ее рук мое хозяйство должно пойти прахом! — сознался Ахмет.

— Ну, так на что же ты жалуешься? Чего еще тебе от нее нужно? Разве ты был бы больше доволен, если бы жена твоя оказалась красивой на лицо, да сварливой женщиной, плохой хозяйкой, ленивой и нерадивой матерью?

— Эх, мулла, правильны твои речи, да все же как-то обидно и досадно, что получил не ту, о которой столько лет только и думал.

— Полно, сын мой, не от красоты жены зависит семейное счастье, а от ее доброго сердца. Если она у тебя и некрасива,

зато, как ты сам говоришь, добрая и послушная жена, работящая женщина и хорошая мать. Будь же доволен тем, что дал тебе Аллах, и примирись со своей долей.

Долго еще уговаривал его мулла, и Ахмет вышел от него совершенно успокоенный.

«Да, мулла правду говорит, думалось ему; того, что сделано, не переделаешь. Фатыха хоть некрасивая женщина, но она хорошая работница, и он напрасно ее давеча сгоряча ударил: она ведь тут ни в чем не виновата! Без нее, без ее золотых рук, ему совсем пропадать придется».

Возвратившись к жене, Ахмет попросил у нее прощения и извинился также перед тестем за свою строптивость.

К вечеру он увез свою семью прямо в летнюю кочевку, предоставив своим приятелям и приглашенным на свадебную пирушку гостям говорить и думать что угодно.

С этих пор Ахмет стал жить в мире и согласии со своей женой. Но Фатыха уже ни перед одним мужчиной не открывала более своего лица, так что никто из них не знал, красива она или безобразна.

Но зато она была хорошая работница, и все завидовали Ахмету, что у него такая работящая жена и заботливая мать и хозяйка.

С. Р. Минцлов

(1870—1933)

Сергей Рудольфович Минцлов (псевдонимы — А. Д. Амов, Агасфер, Усольский, Р.С.М. и другие) родился в Рязани. Окончил Нижегородский археологический институт. Много путешествовал по России. Выступил впервые в печати в 1888 году. В 1910—1911 годах был земским начальником в Уфимской губернии. В 1910 году в Уфе издал книжку «Очерки Приуралья. (Восточная часть Стерлитамакского уезда)». С 1916 года жил за границей.

Минцлову принадлежат исторические романы о русском, литовском и западно-европейском средневековье: «В грозу» (1902), «Под шум дубов» (1919), «Приключения студентов» (1928) «Орлиный взлет» (1931) и другие; книги о Сибири и Дальнем Востоке: «Огненный путь» (1905), «Секретное поручение» (1915); несколько томов воспоминаний и дневников: «Дебри жизни. Дневник» (1910—1915), «В таможенном мире» (1917), «Далекие дни» (1918) и другие, а также несколько романов из усадебного быта.

Значителен вклад Минцлова в библиографическую науку. Не потеряли своего значения его работы: «Редчайшие книги, напечатанные в России на русском языке» (1904), «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России» (выпуски 1—5, 1911—1912 гг.), «Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова» (1913) и другие

У Минцлова была уникальная библиотека, которая после его смерти (он умер в Риге) оказалась в Прусском государственном хранилище в Берлине, где, по свидетельству очевидцев (так утверждал известный уфимский книговед и библиофил Н. Н. Барсов), ей был отведен целый отдельный зал; в этой библиотеке имелись и редчайшие труды по истории Уфимской губернии.

Вызывает большой интерес книга «Дебри жизни. Дневник», изданный в начале 20-х годов в Берлине и до недавнего времени недоступный советским читателям, первая глава ее — «Уфа» – дневник автора о его пребывании в Башкирии в 1910—1911 годах

ДЕБРИ ЖИЗНИ

УФА

1910 г. Апреля 2. Так сложилась личная жизнь, что бросил Петербург и научную и педагогическую деятельность и взял первое предложенное мне Д. И. Пестржецким место — в Уфимскую губернию.

Вчера около полуночи приехал в Уфу; извозчик-татарин долго вез на своих разбитых дрожках-таратайке; город расположен на высокой горе. Улицы казались вымершими: только кое-где светились окна. Рано ложится спать матушка-провинция!

Остановимся в гостинице «Россия»; цены в ней на все вполне петербургские! Сегодня отправился представляться губернатору; в канцелярии его познакомился с правителем ее, Алексеем Петровичем Лобунченко, и полицеймейстером, Генрихом Генриховичем Бухартовским. Бутафория у здешнего Генриха в исправности: усы большие и вид самый бравый; губернатору, насколько успел заметить,— «без лести предан», по положению.

Лобунченко — симпатичный хохол, лет 30—35.

Приемная увешана кругом портретами губернаторов; что-то не держались они подолгу здесь в Уфе: самое большое житие их длилось шесть лет. Между ними отыскал Богдановича; лицо самое умное изо всех. Под ним подпись — «погиб от руки злодеев такого-то числа». Под каждым портретом — по паре печатных строк с перечислением деяний на пользу Уфы; большинству и двух строк оказывалось много, и таким в заслугу ставили — одним посещение Государем Уфы, другим выход при них того или другого закона; одному вкатили даже сенаторскую ревизию!

Губернатор Ключарев принял меня чрезвычайно любезно; поговорили мы с генералом минут пять; он высказал «радость» увидеть меня и удовольствие по поводу «совместной службы» со мной, и затем мы расстались.

Через два часа Ключарев приехал ко мне в гостиницу с ответным визитом. Совсем как Высочайшие особы при приезде в иностранную столицу! От губернатора отправился в Губернское Присутствие, знакомиться с непременными членами; затем попал в книжный склад губернского земства; заведует им некто Малеев — бывший член 2-й Государственной Думы. Оказывается, его немало преследовали в Уфе и только второй год как дали ему возможность занять его теперешнее место. Конфисковали книги вовсю: списков запре-

щенных новинок не присылали, а когда находили таковые — тянули к суду.

Брат Малеева — священник на том заводе, куда я еду; сестра учительствует в Табынске, тоже находящемся в моем участке.

Бродил по Уфе; осматривать в ней, собственно говоря, нечего; дома в большинстве, то есть вернее — за редкими исключениями, сплошь деревянные. Зелени в городе мало, но есть парк; грязь в изобилии, снег с улиц, конечно, не счищают, и потому одна сторона их до сих пор покрыта грязным слоем толстого льда в весьма исковыренном виде, а другая — солнечная — суха и пылит во всю ивановскую. Особенно изумительно грязна Губернаторская улица — она залита жидкою грязью, и перейти через нее нечего и думать. Дважды был вынужден проехать по ней, и пролетка вязла более чем на четверть аршина.

Большая часть улиц еще ждет мостовых; во дворах горы навоза и мусора; из каждых ворот текут болота, так что даже по солнечной стороне приходится то и дело перебираться через лужи. Город дорогой — цены на все выше питерских, по причине отсутствия местных производств.

В Питере Нева уже давным-давно прошла, а здесь Белая стоит еще подо льдом; между тем мне надо на лошадях ехать 115 верст и дважды перебираться через нее! Как бы не застрять здесь в Уфе: говорят, что под Табынском переправы уже нет.

Апреля 3. Приходится сидеть в Уфе: через Белую запрещен не только переезд, но даже переход. Ходил взглянуть на нее: лед сильно разрыхлился и отошел от берегов; весна маловодная, а то давно бы его взломало.

Был сегодня в редакции «Уфимского вестника» и познакомился там с негласным редактором его графом П. П. Толстым. Толстой произвел на меня хорошее впечатление, но редакция убогая: ютится в подвале вместе с конторой типографии. Пригласил меня сотрудничать, просил присылать им все, что найду возможным. Говорил, что уфимская губерния — это в полном смысле слова Калифорния — совершенно неизвестная еще ни в археологическом, ни в этнографическом отношениях. Жители — невообразимая смесь: и киргизы, и башкиры, и татары, и мордва, и чуваши, и русские. В городе тармалама эта еще сугубее.

Расспросил Толстого про вновь народившийся местный журнал «Семья и школа». Обещал мне прислать повестку в понедельник на заседание этнографической секции, издающей его.

Из подвальной дыры отправился с визитами; был у губерн-

ского предводителя дворянства, князя Кугушева, в губернском присутствии, у полицеймейстера и у жандармского полковника. Дома застал, к сожалению, только последнего. Мужчина он росту огромного и, видимо, видал виды: череп у него раскроен наискосок и одну ногу волочит весьма заметно. Лицо умное — а что за этим умом скрывается, поживем — увидим!

Апреля 4. Был с визитом у губернаторши. Петербургская барыня из средних; держит себя довольно просто и обходительно. Меблировка роскошная; особенно хороша печь в гостиной, сделанная из фигурного фаянса — с цветами и прочими украшениями. Беседовали, как водится, о всяких пустяках; мое внимание привлекло большое серебряное блюдо с надписями, видимо чье-то подношение. Одну надпись прочел: «от Бухартовских...». Генрихи-то, как видно, не зевают! Зато он и в чести: сегодня видел его и губернатора проезжающими в одной карете.

Заходил в местный музей; здание грязное и престарое. Там и остатки мамонтов, и близнецы в банке, и портрет коменданта, повешенного Пугачевым, и дрянной альбомчишко с марками, и бабочки на булавках — словом ерунда невообразимая. Самое интересное — это стоящие у лестницы три старинные пушки, отбитые у Пугачева; одна отбита на Богоявленском заводе, где предстоит мне служить.

Апреля 5. Путешествовал с визитами и сегодня. В губернском правлении представился вице-губернатору, другому графу Толстому, бывшему моряку; познакомился с обоими советниками. Один — довольно мрачный, уменьшенно-Собакевичевского типа субъект — состоит вместе с тем редактором «Уфимского края»; другой — подвижной человек, весь обритый, с головой в виде колена и длинным носом. Любопытен, должно быть, безмерно, но в то же время есть в нем что-то симпатичное. Уже они все, даже почтмейстер, знали, что я был у губернаторши, что я пишу и т. д. Очень приглашали меня писать в «Крае»; я обещал прислать этнографический материал, а от «рассказцев» отказался решительно. Узнал, что в губернском архиве хранятся дела о Пугачеве, и немедленно же взял разрешительную грамотку на копанье в этом учреждении и на унос дел, какие найду заслуживающими внимания, к себе на дом.

Побывал потом в Земской Управе — беседовал там относительно дел книгоиздательства «Всходы»; вечером отправился на заседание «секции изучения местного края» в частную гимназию.

Лестница этой гимназии воняет всеми кошками губернии; поднялся во второй этаж и попал в большую, грязную ком-

нату, освещенную лишь одной лампой с зеленым абажуром; вокруг небольшого стола торчало с десяток стульев; за ними заседали две каких-то личности — юный блондин и — весьма жиденький, козловидный субъект семинарского типа. Он оказался инспектором семинарии — совсем, как будто, неподходящая для него должность — тут нужен какой-нибудь протопоп Аввакум, а не скромного вида полуюноша! Через некоторое время стали подходить и другие члены нового общества: несколько ражих детин, несомненно, из колокольного дворянства, затем почтенные мужи и старцы. О красоте мужчин вообще говорить не принято, но среди сидевших там почтенных туземцев были и явные потомки Хлопуши!

Вырабатывали программу опроса населения губернии об имеющихся курганах, городищах и других остатках древности. Предложил свои услуги по разработке будущих материалов и по производству раскопок в Стерлитамакском уезде. Ни об археологической, ни об архивной комиссиях еще не слыхивали, и поле деятельности огромное. В добрый час!

Белая тронулась! Сейчас вернулся с берега, смотрел на ледоход. Поразительно красивый вид с обрыва горы за собором — даль развертывается необъятная! Дня через четыре, вероятно, двинусь дальше.

Апреля 6. В 10 часов отправился в архив. Вход в него ведет через Полицейское уездное управление — грязнейшим и темным коридором, по обе стороны которого устроены комнаты — обиталища нижних чинов и их растреп-супружниц. В конце коридора имеется дверь в каморку, где заседают двое архивных чинушей. Архив большой, но — по словам главного архивариуса — все наиболее ценное увезено в Оренбург. Из дел Пугачевского времени уцелело только два, оба 1774 года за № 2 и 3.— Реестер обнимает лишь незначительную часть дел; пробежал я его глазами — довольно много «секретных» дел, еще больше хлама, есть и курьезные. Отметил себе несколько штук и просил приготовить их мне. Архивариус сообщил, что дела еще далеко не разобраны и между ними есть многое о бунтах — до Пугачевских и девятнадцатого века. Попросил все их отделить для меня.

Забрал с собой оба «Пугачевских» толстеннейших тома и засел читать их у себя в номере. Просмотрел пока № 2: в нем всякого рода «покорные рапорты» и доношения Уфимской провинциальной канцелярии от старшин, комендантов и других лиц о появлении шаек в губернии, о воровствах и разбоях, указы о наказаниях за излишнюю болтовню и т. п. Словом — все мелкие, иногда довольно любопытные подробности бунта; для меня они интересны, так как касаются частью Табынска и Богоявленского завода.

Под вечер пошел разыскивать на Достоевскую улицу редакцию замеченного мною в одном из магазинов нового журнала — «Вестник семьи и школы». Познакомился с редактором, еще молодым преподавателем, В. С. Мурзаевым; принял меня очень любезно. Квартирка довольно бедная, но хозяин симпатичный. Денег у них, конечно, нет, но хороших желаний и задач много. Обещал и им помочь работой, насколько смогу.

Апреля 7. Утром сегодня пошел к губернатору. В кабинете его, весьма уютно и по-ученому обставленном, были уже полицеймейстер, правитель канцелярии, советник Федоров и еще некий чин канцелярии. Губернатор был в ударе — рассказывал анекдоты, от которых сам помирал со смеху; а все остальные выжимали из себя улыбки и делали игривые глаза; сейчас же началось чтение не то статьи, не то воззвания, которое он намеревался разослать во все газеты для напечатания. Касается оно постройки в Уфе Аксаковского народного дома, затеянного по «счастливой мысли г(осподина) губернатора Ключарева»; требуется ему на это дело 500 000 рублей, а он собрал пока в Уфе только 200 000 и остальные надеется дополучить в России.

Не знаю, о чем больше говорится в этом произведении: о доме Аксакова или о самом Ключареве; даже проект дома принят комиссией — Ключарева; три академических, хотя и премированы, но... забракованы. Генерал читал и захлебывался от удовольствия. При воззвании будет послан для напечатания портрет губернатора и фотографии будущего фасада дома. Стиль его будет занятный: с одной стороны ренессанс, а с другой — восточно-азиатский. Что из такого строительного флюса выйдет — Аллах знает! И что значит выражение — «восточно-азиатский»? — китайский или японский, что ли?

Усладив нас чтением о Ключареве, генерал опять начал подтрунивать над военными губернаторами (сам он штатский); к военным знакам отличия он относится очень пренебрежительно.

— Вот если рука или нога оторваны или ранен был — ну, такого я признаю; это действительно храбрый человек! — заявил его превосходительство.

Полицеймейстер ввернул что-то о местном жандармском полковнике.

Генерал махнул рукой.

— А, что вы говорите: это исключение! Ну, что ж, хромает он и голова раскроена! Ранен, да. Но как ранен? Я-то ведь знаю: хромает оттого, что его собака за сухожилие укусила, а голову разбил — это он подгулял и с лестницы свалился!

Слушатели почтительно пофыркали. Наслушавшись всего

вволю, я обратился к губернатору с просьбой разрешить мне две вещи: 1) брать к себе в Богоявленское, какие найду нужным, дела из архива; 2) производить раскопки в уезде.

Генерал пришел в восторг и заявил, что меня послал ему сам Бог. Что он тут наговорил — всего не запишешь; но общий смысл был таков: он, Ключарев, великий человек и творил без конца, одно за другим, великие дела, но историка у него еще не было, он искал его, жаждал. Все, все архивы, все самые последние, так сказать, текущие, секретные дела, переписки — все будет к моим услугам!

— Самое интереснейшее, самое любопытное время — история Уфы со дня моего приезда сюда! — с ажитацией говорил генерал, мотая головой и Владимиром на шее.

— Но чур: вы человек талантливый, так хорошо владеете пером — не забывайте же делиться результатами ваших работ с «Уфимским краем». Это мое детище, я его создал!

Я прикинулся незнающим и спросил: разве не «Вестник Уфы» ваша газета?

Генерал омрачился.

— Нет, это конкурент. Не могу никак придраться к нему, чтобы закрыть его... Всех подписчиков может отбить у нас!

Распростился со мной губернатор самым сердечным образом.

Остальную часть дня провел в своем номере, читал второе Пугачевское дело. Оно наполовину посвящено Салавату Юлаеву и его отцу, пособникам Пугачева.

Апреля 9. Осматривал архив, забрал с собой кое-какие дела из него; днем видел Лобунченко. Он ездил на пару дней с губернатором в какое-то селение, переименовываемое в город. Оба они в восторге от поездки. Губернатору устраивали такие овации и выражали столько восторга и преданности, что было отчего закружиться и более крепкой голове!

Одних депутаций с хлебом-солью и адресами выступило 9; немцы-колонисты вручили 1000 рублей, собранные по подписке между ними на Аксаковский дом. То-то он им нужен! Да-а-а... без ума не проживешь теперь на свете — если нет ворожащей бабушки, конечно!

Апреля 11. Пишу эти строки в каютке парохода «Ирень»: вчера, слава Богу, кончил свое Вавилонское сидение на берегах Белой и выехал с первым пароходом на Табынск.

Перед отъездом заехал проститься с губернатором. Опять был отменно приятен и опять толковал об Аксаковском доме и показывал планы его.— «Все это мое, все мое! — повторял он при этом.— Рисую я прескверно, и потому архитектор только начертил, все по моим указаниям!»

Затея грандиозная, и, разумеется, очень было бы жела-

тельно, чтобы он довел ее до конца: для Уфы это будет огромное приобретение. Но где он возьмет еще 300 000 и с кем он будет устраивать то, что должно находиться внутри дома!?

Расставаясь, обеими руками жал мою, говорил, что уверен, что я так же горячо и с такой же охотой помогу в устройстве дома (в смысле размещения, разработки и приведения в порядок коллекций археологических, нумизматической и т. п.), как и он сам, уверял, что сам Бог послал меня ему и т. п.

Словом, уехал от него с полномочиями перерыть хоть все недра губернии и все архивы ее; получил папку каких-то документов, «секретных», «весьма важных», последнего пятилетия; просмотреть еще не успел, что в ней. Под диваном у меня связка архивных дел; на досуге переберу и, может быть, что-нибудь любопытное найдется в них!

Звал меня губернатор на торжественное открытие школы его имени на какой-то станции, но я поблагодарил и отказался — предпочитаю поскорее добраться до своего Богоявленского завода и посмотреть, что это такое.

Дни стоят знойные, а зелени все еще нигде нет как нет. Уток на Белой гибель: то и дело взлетают около парохода. Деревни по ней сплошь татарские; на берег встречать пароход высыпают целые толпы баб и девчонок в желтых, красных и синих платках и платьях; мальчишки имеют очень смешной вид в своих тюбетейках. Как только пароход дает свисток — вся толпа шарахается назад и целые кучи мальчишек и девчонок валятся на землю; шарахаются даже взрослые. Совсем дикая страна!

Апреля 12. Сегодня в 3 ч. утра приехал в Табынское. Пристаней здесь нет и в помине; пароход попросту подваливает к берегу, выбрасывает сходни и начинает выгружаться. Ни навесов, ни даже шалашей нет на этих импровизированных пристанях. Единственное, что имеется в изобилии,— навоз: его здесь на поля не возят, а валят прямо в реку, так что все берега Белой у деревень представляют собой отвесы из навоза.

Вынесли матросы мои вещи на пустынный берег; огромное село спало; было еще темно, сиял полный месяц, и только восток чуть начинал бледнеть. Постучался я в одну избу, затем в другую, наконец, добился лошадей и покатил в Богоявленское.

Дорога идет ровными полями, и только на горизонте синеют горы. Буланые коньки, звеня колоколами, несли лихо. Меньше чем через час я был уже в Богоявленском; миновали Пашковский стекольный завод, переехали через реку Усолку и остановились около волостного правления. Выскочил заспанный писарь, остриженный ежом, черноголовый, приземистый субъект с подозрительно синеватым носом и, пока я грелся

в правлении, разыскал старичка, дом которого снимал мой предшественник. Квартира оказалась свободной. Домик — особнячок, оштукатуренный и выбеленный внутри, из 5 комнаток, с садом и всякими постройками — двенадцать с полтиной в месяц. Домик уютный, и эти строки пишу, уже сидя в нем.

Кругом раскинулось село; мужики живут зажиточно, много скота и птиц у всех. Избы кроют соломой или, чаще, вязовой корой, надранной длинными полосами. Вода неважная — жесткая и мутная.

Сейчас же распорядился, чтобы моя канцелярия переехала из волости ко мне; писарь услужлив до невероятности; на зов подходит рысью; скорчившись в виде пристяжки.

Только что начал устраиваться — явился десяток крестьян — уполномоченных от общества. Время пахать, составили они приговор, какую землю пустить под пар, какую под яровое; затем в их отсутствие (большинство работает на заводе Пашкова) староста созвал 50 человек, и они постановили новый приговор, совершенно обратный, удобный для «богатеев». Послал я за старостой десятского. Через некоторое время он возвращается и говорит, что староста сказал, что сейчас ему некогда и что он придет завтра. Мужикам объявил, что назначаю на 16-е число сход, в своем присутствии по тому же вопросу, а сам отправился в волость.

Старшины с писарем уже не было — оба уехали на торги в Табынское. Встречает меня помощник писаря.

— Где староста?

— Сейчас только ушел.

— Куда?

— Домой-с...

Приказал двум десятским немедленно доставить его ко мне. Те побежали, и минут через пять явился староста — бородатый мужик с плутоватым лицом.

Разнес я его словесно, что называется, вдребезги, и посадил на двое суток под арест.

Те же уполномоченные заявили, что он не дает сделать учета-проверки себе и решительно ничего не хочет делать, так как выделился и думает теперь только о своих делах.

Начало хорошее: еще не принял должности, а уже должен был показать зубы!

Апреля 16. Вчера вернулся из Стерлитамака: ездил к председателю съезда понакомиться с ним и с товарищами и вместе с тем устроить кое-какие дела.

Выехал тринадцатого в 6 ч. утра; вследствие разливов пришлось делать крюки; проехал на лошадях 75 верст, с тремя перепряжками, и несмотря на отличную езду только в 3 часа

дня прибыл в Стерлитамак. Были три переправы на паромах; один раз перебирались через овраг почти вплавь, по брюхо лошадям. Экипажи здешние — именуют их «карандасами» — хороши для татар, но для нашего брата нечто нестерпимое: это самые обыкновенные дроги, на которые поставлена огромная, плетенная из толстого лозняка корзина; спинка ее несколько выше бортов. Нет ни сиденья, ни рессор, ничего. На дно стелят солому, татарин садится в нее калачиком и жарят во весь дух, словно сидя у себя дома; только голова виднеется над плетенкой. Но ехать таким манером непривычному человеку — это черт знает что: отекают ноги, подшвыривает так, что иной раз небо с овчинку кажется. Растрясло меня сильно, и очень был рад, когда, наконец, показалась наша уездная столица.

Ехал все время по левую сторону Белой. Деревни большие и, на вид, живут хорошо. Поражает меня изобилие соломы здесь: ею устланы все задворки и даже местами улицы; горы ее виднеются всюду. Никто ее не ценит, никто о ней не заботится. Целые деревни стоят, можно сказать, на сплошном костре: брось кто-нибудь неосторожно спичку — и огромное пространство вспыхнет мигом, как нефтяная площадь! Навоз на поля не возят, а заваливают им — где нет рек — овраги или же чинят дороги. Поневоле вспомнишь наш север, где навоз ценится, как драгоценность! Крестьяне уверяют, что земля здесь так жирна, что рожь родится выше человеческого роста и без навоза; даже ложится во многих местах.

Видел я всякие дыры и трущобы на Руси, но хуже Стерлитамака еще не встречал! Мостовых нет и в помине; колдобины и грязища страшные; где просохло — там седой тучею висит пыль. Городишко деревянный, но около центра, вокруг торговой площади, довольно много каменных домов; площадь вся застроена рядами деревянных лавчонок, в которых продается всё — начиная от конского мяса и кончая ведрами и галантереей. Вокруг площади широкая канава, вся заросшая вонючею грязью; ни улицы, ни площадь не метутся, и чего-чего ни валяется на них! О грязных бумагах и говорить нечего — их ветер взметает, как листья в осень; дохлые мыши, крысы, словом, всякая мерзость и дрянь — всё вываливается на улицы. Тротуары кое-где деревянные, но с такими дырами, что зевать не следует.

Велел везти себя к какой-нибудь гостинице; возница мой оборачивается и говорит: «Не в гостиницу надо, а в номера!»

— Почему?

— В гостиницах не останавливаются! — назидательно заявляет он: — останавливаются в номерах!

— Что же в гостиницах делают?

— В гостиницах пьют, едят тоже.

Я не поверил ему, но, подъехав к одной гостинице и зайдя в нее, убедился, что он был прав: вывеска гласит «гостиница», а, кроме буфетной стойки со снедью и столиков, ничего иного в ней нет. Отправился по номерам. Пакость изумительная; какие-то узкие норы с забрызганными и рваными обоями трактирного типа; некрашеные полы, грязные кровати. Даже умывальников нет — умываться пожалуйте в коридор к общему висячему рукомойнику. Едва разыскал за рубль более сносную каморку, вымылся и пошел в съезд.

Если бы был жив Гоголь и зашел в него, он бы наверное подумал, что это тот самый повет, куда ходили сутяжничать Иван Иванович и Иван Никифорович.

Столы лохматые, рваные, с висящими клоками черной клеенки; полы некрашеные, щелястые; стены забрызганы чернилами и проплеваны насквозь; грязь невероятнейшая. В 2 ч. деятельность чинушей прекращается, и потому здание пустовало; узнал адрес председателя и отправился к нему.

А. М. Брудинский — весьма приятно-сытый на вид и сравнительно молодой человек, очень любезно встретил меня; беседовали довольно долго. Очень жаловался на Стерлитамак; все в нем живут волками, особняком. Нет ни библиотеки, ни театра, ни кружка любителей — круглый нуль в смысле общественной жизни. Есть лишь дрянной клубик, где дуются в карты. Про мой участок, четвертый, узнал плохие новости: считается вторым с конца в уезде во всех отношениях. Дел гибель; запущен притом страшно, так как мой предшественник заболел, а заведовавший после него господин за четыре месяца ни разу даже не побывал в нем.

От Брудинского отправился к члену управы, заведывающему народным образованием уезда — Д. И. Андропову. Типичный статистик из вечно кочевого пролетариата: высокий, долговолосый, с умными карими глазами; под пиджаком черная рубаха, этот, так сказать, мундир эсдеков и эсеров.

Познакомились и за беседою выудили целый самовар, по-московски.

Интересны отношения у местного земства с инспектором школ Мин. Нар. Пр.: он заведует земскими школами, а на земство, на все их просьбы и заявления не только не обращает внимания, но даже не считает нужным отвечать на них. Земство для него не существует, и принцип его — давить и не дозволять. И это делает универсант, человек 28 лет, стало быть, очень недавно еще оставивший школьную скамью!

От Андропова отправился к себе, но высидеть дома не мог: тишина смертная. Хотел купить газету — нельзя, их здесь не

продают совсем. Шатался по улицам до одури, заходил к часовникам, искал старинные монеты и так дотянул до вечера.

В четверть десятого город спал; на улицах не встречалось ни души, все почти окна погасли. Во всем городе имеется с десяток фонарей, но и те, несмотря на темную ночь, не горели. Темень была эфиопская. Серединой улицы, осторожно, словно слепой, добрался я до своего паскудного логова, потребовал пива и долго сидел у окна, размышляя, сколько дней я мог бы выдержать в этом городе, не подумав о крючке и веревке?

14-го утром, покончив дела и узнав, что в 4 ч. дня отходит на Уфу пароход «Внучек», решил ехать водою: и удобно, и скоро — в 9 ч. вечера должны были быть уже в Табынске. В назначенное время приехал на пристань; об отходе никто и не думал, а продолжали себе грузиться. В 6 ч. начали грузить через наш другой пароход, стоявший за нами,— «Дедушку». Публика ворчала, но так, по-домашнему. Я отправился в контору и там довольно крупно поговорил с целой ордой субъектов в форме; через полчаса или меньше после этой беседы мы, наконец, отвалили. Перед отходом узнали, что в нескольких верстах от Стерлитамака стоит пароход из Уфы — его не пропускали барки. Несколько штук их село на мель, и лоцмана протянули проволочные канаты к обоим берегам для стаскивания барок. Капитан послал к исправнику, требуя помощи.

Берег Стерлитамака таков, что ехать мимо него надо, крепко зажавши нос: весь он усеян кожевенными заводами, длинная линия плотов и мостков вся была покрыта бабами, мывшими в реке грязную шерсть; здесь же моют и отчищают от загнившего мяса кожи. Если прибавить к этому, что кожи зачастую снимаются с палых животных, то настойка из всего этого добра, посылаемая Стерлитамаком вниз по течению, вне конкурса.

Прошел наш «Внучек» по реке с час и вдруг стал приставать к берегу. Оказалось, что впереди опасные места, а так как ночь темная и Белая течет очень быстро, то надо было заночевать. Приехать в Табынск в полночь и скакать затем на лошадях мне не улыбалось; узнал от капитана — весьма юного и нерешительного человека, что часа в 3—4 утра непременно пойдем вперед, значит, будем в Табынске часов в 9 утра, и со спокойным духом отправился в каюту спать. Но перед сном погулял по берегу; быстро надвинулась ночь, темная, звездная. За изгибом реки и выше нас, на мачтах стоявших барок, зажглись, как звезды, яркие фонари.

Утром на заре проснулся. Смотрю — 4 часа, а пароход стоит, не шелохнется. Быстро оделся, поднялся наверх — ни в рубке, ни на палубе ни души. Капитан, оказалось, еще спал.

Постучал к нему в каюту; он выглянул, заспанный, полураздетый.

— В чем дело?

— Почему мы не идем?

— Да не пускают барки внизу; опять перегородили реку канатами.

— Но ведь вчера пропустили они пароход снизу?

— Пропустили, так как приезжала полиция, а теперь ее нет — и они опять не пускают!

— Что же вы будете делать?

— Пойду назад, в Стерлитамак.

Взбесился я страшно. Не доверься я проклятому пароходу — был бы еще вчера дома. Между тем 16 числа мне во что бы то ни стало надо было поспеть в Богоявленское, на сход; возвратись пароход в Стерлитамак — выполнить обещание, данное мною крестьянам, было бы невозможно.

— Вот что! — заявил я капитану.— Я еду по казенному делу, и если вы сейчас же не пойдете вниз — я дам телеграмму губернатору, и вам не расхлебать тогда каши, которая заварится!

— Но ведь канаты же там!

— Рубите их.

— Да как можно?

— Я все беру на себя. Перерублю канаты, составлю протокол, его все пассажиры подпишут, и барочники будут в ответе. Никто не имеет права перегораживать судоходную реку!

Капитан нырнул в каюту одеваться.

Спустили лодку, я велел захватить с собою пару топоров, сел в нее с пятерыми матросами, и течение быстро понесло нас за поворот к сгрудившимся баркам. На берег, действительно, были протянуты от них канаты. Мы подчалили к крайней, мешавшей обойти слева, и я закричал: «где боцман»?

— Долой канаты сейчас! — дальше пошла словесность, которую записывать излишне, и угроза немедленно перерубить канаты.

Увидав топоры, боцман понял, что я шутить не намерен. Минут через десять — чрезвычайно быстро — всё было убрано, и «Внучек», медленно, кормою вперед, прошел наконец мимо барок.

На Волге давно бы навалили на канат таких франтов носом парохода и оборвали бы его без всякой полиции!

На пароходе познакомился, разумеется, со всеми пассажирами нашего, первого класса. Ехал француз, уполномоченный фирмы Дрейфус, затем местный помещик, старый, высокий купец в серой поддевке — Алексей Васильевич Кузнецов

и несколько дам. Кузнецов очень заинтересовал меня; говорит по-простонародному, ходит в смазанных сапогах, на серых шароварах черная заплатка и вместе с тем умница, настоящий целостный, здравый, чисто русский ум. Местный старожил; знает всё и про всех; поездил и по свету, много читал и слышал, так что беседовать с ним можно о всем, начиная с Маркса и кончая губернатором.

Потребовали мы квартетом самовар и уселись чаевничать. Зашел разговор об Уфе; у Кузнецова и в Уфе оказался дом; он ведет очень большую, свыше чем на полмиллиона, торговлю хлебом.

— Да,— сказал между прочим Кузнецов,— дом-то этот Аксаковский — вот где у нас сидит! — он показал на шею.

— Н-да,— подтвердили остальные собеседники, и лица у всех сделались недовольными: — всякому безобразию должны быть границы, а ведь это что-то беспредельное!

Меня это очень заинтересовало.

— В чем дело? — спрашиваю.

— Да помилуйте, ведь идет сплошное вымогательство какое-то на дом!

— Я подписался на него около тридцати раз! — сказал Кузнецов.

— Быть не может! — как так?

— А вот как. Сперва губернатор лично приезжал; за честь этот визит мы, конечно, должны считать. А за честь, известно, купец платить должен; и чем честь больше, тем и цена ей выше. Потом полицеймейстер с листом — и этому нельзя отказать: человек нужный; потом пристав пришел, потом околоточный. Околоточного-то хотел пугнуть — плачет. «Помилуйте,— говорит,— вам пятерку подписать ничего не составляет, а меня, коли лист не заполню, выгонят за нерадение, так и сказано всем». Ну, что ж человека губить — и ему подписал. В Стерлитамаке опять все заново. Вот таким манером тридцать раз и пожертвовал «добровольно» на дом!

То же, только в меньших размерах, испытали и остальные мои спутники.

— А как, вообще, губернатором у вас довольны? — спрашиваю компанию.

— Ничего... — отвечает Кузнецов; — так-то он человек добрый, помешался только вот на Аксаковском доме — им одним и занимается. А губернией за него управляют другие! И ведь налетал несколько раз на неприятности с этим домом, и все нипочем ему!

— На какие неприятности?

— Крадут ведь деньги-то, собранные. Про одного, кто заведывал ими, и говорили ему, и писали — нет, не верил!

А потом как хватились, ан 14000 и нет, растрачены. Этого-то самого заведывавшего выгнать надо было, а он его к награждению представил!

— Что ж это он, по доброте что ли?

Кузнецов махнул рукой.

— Мазурку тот танцевал очень уж хорошо! Угодник большой был всем, вот и сошло с рук. Их ведь там шайка!.. А в Уфе, в городе-то, что с ним делают: видели ведь вы его — немощеный почти, грязный. В один прекрасный день приезжает ко мне полицеймейстер. Я, говорит, к вам, Алексей Васильевич, по делу.

— Чем могу служить?

— Вот, видите ли, грязна очень Губернаторская улица: его превосходительству хочется асфальтовый переход с нее на Пушкинскую сделать.

— Да я-то здесь причем? Мой дом не на Пушкинской и не на Губернаторской стоит!

— Это все равно, но его превосходительству очень хочется переход сделать: там все домишки бедные, так вот уж я к вам: на вас пятерых (купцов, тоже имевших дома совсем на других улицах) раскладочку сделал!

Рассердился было я, да смекнул — вижу, дело в пустяк обойдется, не стоит из-за этого с полицией ссориться — и согласился. Все-то порассказать, что у нас творится,— книгу до потолка напишешь!

Убитого Богдановича очень хвалил, хотя в то же время крепко бранил черносотенцев.

Около полудня приехал к себе в Богоявленское, а в 6 час. вечера был уже на сходе...

КОММЕНТАРИИ

А. М. Горький

НЕМОЙ

Имеет подзаголовок «Башкирская легенда». При жизни писателя напечатана только один раз — 15 ноября 1896 г. в газете «Нижегородский листок», № 316.

...Первоначальный вариант легенды Горького «Немой» — стихотворение «Юзгляр». Его автограф, как видно из воспоминаний К. П. Злинченко, оказался у итальянского рабочего-каменщика Луиджи Цапелли, бежавшего в период фашизма в Лозанну. Луиджи Цапелли был личным другом Горького. У него, как видно из архивных источников, хранился и другой автограф Горького. Вот он: «Моему дорогому другу Луиджи Цапелли

Как искры в туче дыма черной,
Средь этой жизни мы одни...
Но — мы в ней будущего зерна,
Мы в ней — грядущего огни.

Капри. 24—VI—911. М. Горький» (Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, ф. 217, оп. 1, д. 19, Л 19)

Стихотворение «Юзгляр» попало к Луиджи Цапелли через одну русскую девушку. «Дала одна добрая русская девушка... — сообщил он К. Злинченко.— Это старые стихи... написанные еще тогда, когда Горький только начинал писать... с ошибками...» (Злинченко К. Из воспоминаний о Максиме Горьком.— Красная новь, М., 1928, № 6.— С. 172). Они были написаны по-русски, но Луиджи Цапелли их хорошо знал, потому что многие уже переводили ему эти стихи и на итальянский, и на французский языки. Указав, что стихи «Юзгляр» по-детски наивны, а посему и нигде не напечатаны, К. Злинченко пишет: «Уверен, что Горький не рассердится на меня, если я позволю себе привести здесь эти наивные детские, нигде, конечно, не напечатанные стихи»,— и приводит сохранившиеся строфы. Вот они:

ЮЗГЛЯР

(Рассказ киргизца)

Ты хочешь знать, кто был Юзгляр?
То был батыр, бедняк.
Безбрежной степи зной и жар
Его учил и согревал,
А пить и есть ему давал
В кочевках наших всяк.
Он летом пас овечий гурт,
А зиму пропадал.
Никто его из наших юрт,
Хотя бы был большой мороз,

Иль ветер тучи снега нес,
Зимою не видал.
Являясь раннею весной —
Весь рваный, худ и хил,—
Мычал он что-то нам с тоской
И грустно в лица нам смотрел,
Как будто что сказать хотел,
Но нем он сроду был.
Порою лаской взгляд сиял,
Порой как бы жалел,
Порой же злобою сверкал,
Юзгляр руками потрясал
И так зубами скрежетал,
Как будто сгрызть хотел.
Указывал он в небо нам,—
Смотрели мы туда.
Но всё, что видели мы там —
Одетый голубой кошмой,
Цвет неба с круглою луной
Да ярких звезд стада...
Сердился он, когда все мы
Садились пить кумыс
И средь пахучей в юрте тьмы,
Хваля богов за старину,
Певали песенку одну —
Про счастье-жизнь киргиз.
Никто из них не понимал,
Чего хотел немой,
И часто вон из юрты гнал.
И уходил, рыдая, он,
И снежной вьюгой занесен...

(Злинченко К. Из воспоминаний о Максиме Горьком.— Красная новь, М., 1928, № 6.— С. 173—174).

До недавнего времени этот стихотворный отрывок был известен только по публикации К. Злинченко. И лишь в 1968 году оно перепечатано по журнальному тексту 1928 года в новом академическом издании сочинений писателя (Горький М. Полн. собр. соч., М.. Наука, 1968.— Т 1.— С. 439—440),— в разделе произведений, не публиковавшихся автором. Но, к сожалению, в этом издании допущена досадная ошибка: «кочевки» по непонятной причине превратились в «ночевки». Эта незначительная, на первый взгляд, опечатка привела не только к искажению смысла предложения, но и свела на нет бытовой колорит.

Очень мало, а главное — весьма неопределенно, сказано в примечаниях к публикации «Юзгляра» и «Немого» в академическом издании Горького, по существу совершенно обойден вопрос о том, что объединяет и что отличает эти два произведения на один сюжет, то есть игнорируется проблема творческой истории. Вот что говорится о первом произведении: «Позднее Горький вновь обратился к легенде о Юзгляре, создав ее прозаический вариант под названием «Немой. Башкирская легенда» (см. в т. 3 наст. изд.) — (Горький М. Полн. собр. соч., М.. Наука, 1968.— Т 1, С. 569). А в примечании к легенде «Немой» сообщается следующее: «Легенда о Юзгляре ранее была обработана Горьким в стихотворном произведении — «Юзгляр», имеющем подзаголовок «Рассказ киргизца» (см. в 1 т. наст. изд.). По-видимому, Горький колебался, к какому национальному первоисточнику следует отнести легенду — башкирскому или киргизскому. След этого колебания сохранился и в тексте «Немого»: на стр. 446 осталось «о житье-бытье киргиз» (Горький М. Полн. собр. соч., М.. Наука, 1969. Т 3.— С. 593).

Недостаточность подобной аргументации в академическом издании очевидна. Даже не пояснено, что киргизами до революции называли казахов.

«Несомненно, что рассказ «Немой» не является простым переложением башкирской легенды,— пишет В. С. Синенко.— Это произведение оригинальное, в котором тема и образы народного творчества трактуются чисто по-горьковски» (Синенко В. С. «Немой. Башкирская легенда» А. М. Горького.— Литературная Башкирия.— Уфа, 1957, № 9.— С. 231). Высказывание это весьма примечательно. Тем более, что его автор в своей небольшой статье имеет дело только с одним текстом «Немого» и даже не упоминает о ее «первооснове» — стихотворной записи «Юзгляр», ставшей известной благодаря публикации К. П. Злинченко 1928 года. И все же исследователь правильно утверждает, что «причиной, побудившей Горького написать это произведение, явилась легенда, услышанная в народе» (и записанная юношей Горьким,— добавим от себя), и что здесь налицо творческое использование писателем фольклорного сюжета. Сравнение текстов стихотворного отрывка «Юзгляр», который, видимо, тоже не дословная запись легенды, с «Немым» показывает правильность такого суждения.

Наиболее существенные различия легенд «Немой» и «Юзгляр» в следующем. Прежде всего, в «Немом» появился полнокровный образ рассказчика — башкира Габуна. В «Юзгляре» же рассказчик был неопределенным лицом, лишь обозначенным как некий киргизец. Если Юзгляр в стихотворном варианте зимой пропадал безвестно куда, то в «Немом» он бывал в русских городах. Там он, возможно, и набрался свободолюбивых мыслей. В «Юзгляре» — «нем он сроду был»; в прозаическом варианте — дар речи он потерял в юности: «упал с коня и откусил себе язык».

Юзгляра частенько гнали за то, что сердился на людей, живших стариной. Но в «Юзгляре» его все же жалели, кормили: «пить и есть ему давал в кочевках наших всяк». В «Немом» же Юзгляра «никто не любил и все боялись его», гнали, «даже женщины не жалели его, потому что он мешал веселиться».

И еще одна важная деталь появилась в «Немом». Это «огненные глаза» Юзгляра: он «смеялся своими глазами, в которых было много огня»; «у него были огненные глаза, и девушки наши заглядывались на них». «Огненные глаза» — деталь, которую так подчеркивает писатель во внешнем облике беспокойного пастуха, выражали пламя и страсть, и гнев его души, охваченной тоской по свободе и счастью» (Синенко В. С. Указ. работа, с. 231—232)

Весьма любопытным представляется и то, что в тексте легенды «Немой», где все стало башкирским, один раз вместо слова «башкир» неожиданно появляется «киргиз»: «А когда мы, в праздник, собираясь в юртах и попивая кумыс, пели, бывало, старые песни о житье-бытье киргиз, хорошего степного народа, он опять приходил и смеялся над нами, отказываясь от ковша с веселым питьем».

Если рассматривать башкирскую легенду «Немой» только как результат «механической» переделки рассказа киргизца «Юзгляр», то эту неожиданность можно объяснить влиянием первоначального стихотворного варианта легенды, и тогда уместно, кажется, предположить, что здесь автор просто забыл изменить слово «киргиз» на «башкир». И такая гипотеза будет казаться вполне правдоподобной. Тем более, что легенда «Немой» была опубликована при жизни писателя только один раз (да и то в провинциальной газете!), и автор, следовательно, если бы даже захотел, не имел возможности внести поправку. Кстати, процитированное предложение и по смыслу очень близко к предпоследней строфе «Юзгляра»:

Сердился он, когда все мы
Садились пить кумыс
И средь пахучей в юрте тьмы,

Хваля богов за старину,
Певали песенку одну —
Про счастье-жизнь киргиз.

Однако следует учитывать то обстоятельство, что, публикуя легенду о Юзгляре под названием «башкирской», Горький не мог ограничиться простой заменой слова «киргиз» словом «башкир»: писателю был органически чужд такой механический подход к произведениям устного народного творчества, он признавал только творческое использование фольклора.

И поэтому рассматривать кажущийся казус со словом «киргиз» надо не формально, а по существу.

Известно, что казахские и башкирские фольклорные традиции, особенно эпос, имеют большую историческую общность. (Вспомним, например, бытование эпического памятника «Кузы-Курпес и Маян-хылу» у башкир, казахов и других тюркских народностей). Один и тот же фольклорный сюжет может встречаться и у казахов, и у башкир. И Горький имел возможность услышать легенду о Юзгляре как от казахов, так и от башкир. При этом писатель мог и не придать большого значения национальным особенностям различных версий (для этого надо хорошо знать и тот и другой язык). Но свободолюбивый образ немого «башкирца» из «Капитанской дочки» Пушкина вполне мог послужить своеобразным ключом к тому, чтобы по-новому переосмыслить материал легенды и придать ей острое социальное звучание.

По сравнению с «Юзгляром» в «Немом» композиция произведения стала стройнее. «Композиция рассказа определяется контрастным противопоставлением яркой личности вольнолюбивого башкира Юзгляра обыкновенным людям из юрт» (Синенко В. С. Указ. работа, с. 232). Вот этой-то контрастности и не хватало в «Юзгляре»; вернее — она была выражена чрезвычайно слабо.

Сравнение двух вариантов легенды свидетельствует, кроме того, о росте мастерства Горького-художника, который в процессе творческой работы над сюжетом записанной им легенды сумел значительно усилить ее идейное звучание.

Если в «Юзгляре» событие происходит где-то в неопределенной «безбрежной степи», то в легенде «Немой» место действия несколько конкретизировано: «От Моздока по дороге к морю, но вдали от него и глубоко в степи, есть курган и лежат под ним кости Юзгляра...».

Так начинает Габун свой рассказ. И далее легенда скупыми, но яркими мазками рисует романтическую жизнь немого башкира, одержимого одной пламенной страстью — жаждой свободы и счастливой жизни. Юзгляр всеми своими силами (преимущественно, конечно, жестами и мимикой, поскольку он лишен дара речи) зовет к новой, свободной жизни. Но он одинок. Ему явно не под силу сдвинуть инертность своих сородичей. И он терпит крах, гибнет. И все же искра, брошенная им, не гаснет бесследно, она будоражит народ.

Отличие легенды «Немой» от рассказа киргизца «Юзгляр» не ограничивается сказанным, но и этого вполне достаточно, чтобы убедиться в значительности изменений, введенных Горьким в художественную ткань легенды с целью усиления идейного звучания произведения. Большое отличие «Немого» от «Юзгляра» допускает возможность того, что Горький мог услышать эту легенду и от башкир.

«Рассказ Горького невелик по объему, прост по композиции, лиричен по языку. Но и в этом небольшом произведении образами смелого пастуха Юзгляра и мудрого рассказчика Габуна писатель создает обобщенный образ башкирского народа, вольнолюбивого и гордого, талантливого и умного, образ «хороших степных людей», как называет башкир Горький» (Синенко В. С. Указ. работа, с. 233)

Таким образом, Горький, как бы приняв от Пушкина эстафету поколений, создал образ немого башкира, носителя свободолюбивых идей.

Горький с интересом изучал фольклор многих тюркских народов. Об этом свидетельствуют как многочисленные художественные произведения, в которых отражены их мотивы, так и богатая эпистолярия писателя. Так, в июне 1912 года Горький писал В. И. Анучину: «Г. Н. Потанину почтеннейший поклон. Недавно прочитал его «Восточные мотивы» — с наслаждением! Не найдется ли у кого книжки «Легенды минусинских татар». Автора не помню. В России эту книгу два года ищу — не могу найти, а очень нужна». Годом раньше, в марте 1911 года, в письме к тому же адресату Горький восторженно восклицал: «Все-таки какие изумрудины в восточном фольклоре» (Горький М. Собр. соч. в 30-ти т.— Т. 29.— С. 161, 246).

Устно-поэтическое творчество тюркоязычных народов не было для Горького объектом временного увлечения, оно привлекало внимание писателя на протяжении всей его сознательной жизни. Горький не только сам любовно изучал тюркский фольклор, но советовал другим писателям ознакомиться с ним. «Мне кажется, что Вам было бы интересно познакомиться с музыкой тюркских и тюрко-финских племен Волги, Средней Азии, Сибири,— советует Горький Ромену Роллану в письме от 15 апреля 1932 года.— Я очень люблю музыку и, может быть, увлекаюсь песнями киргиз,— они считают себя потомками гуннов,— чуваш, туркмен и т. д.» (Горький М. Собр. соч. в 30-ти т. Т. 30.— С. 251).

С ранней молодости и до конца своих дней Горький внимательно знакомился с жизнью и устным творчеством народностей России. Поэтому-то мотивы фольклора разных народов пронизывают многие произведения писателя-интернационалиста.

Башкирская легенда «Немой» была опубликвана в 1949 г. (Собр. соч. в 30-ти т.— М.: ГИХЛ, т. 2.— С. 415—417).

Печатается по изданию 1969 г. (Полн. собр. соч., М.: Наука.— Т. 3.— С. 444—446).

Н. Н. Златовратский

В 1889 году Н. Н. Златовратский с семьей приезжал в Башкирию на кумыс. Об этом, спустя много лет, рассказала дочь писателя — Софья Николаевна Златовратская. В 1954 году, когда ей было уже 75 лет, она написала свои мемуары — «Из воспоминаний об отце», которые были напечатаны в книге — «Н. Н. Златовратский. Воспоминания. Серия литературных мемуаров».— М.: ГИХЛ.—1956.— Приложение.

«Весну 1889 года мы провели во Владимире. Но так как здоровье матери за последнюю зиму сильно пошатнулось, то отцу посоветовали отправить жену на кумыс. Ехать одной она категорически отказалась. Решили ехать всей семьей,— вспоминает С. Н. Златовратская.— В Уфе в то время жил писатель-народник Петр Иванович Добротворский (о нем см. кн.: Добротворский П. И. В глуши Башкирии. Рассказы. Воспоминания. Уфа: Башкнигоиздат, 1989.— Серия «Золотые родники». 256 с., а также: Башкирия в русской литературе, Уфа: Башкнигоиздат, 1991.— Т. 2— М. Р.). Он, как и все друзья отца, был очень рад, когда отец написал ему помочь устроиться в башкирской деревне, которую знал хорошо. Это интересное путешествие предстояло проделать и нам, детям. И понятно, что мы ждали дня отъезда с большим нетерпением. И этот день пришел...» (Указ. книга, с. 375).

«С радостным волнением входили мы на пароход,— пишет С. Н. Златовратская.— Знакомый запах рыбы и смолы ударяет в нос. Как я любила всегда этот запах... Он уносил меня в новый, неведомый еще для меня мир. Мы едем по Волге, Каме и Белой. Кама и Белая — это все новое. Белой посвятил мой отец один из лучших своих рассказов — «Мечта»... Мы едем на

пароходе очень долго... Накрапывал теплый весенний дождь, когда наш пароход подошел, наконец, к своей последней пристани. В Уфе пробыли недолго, и вскоре пыльный поезд уносил нас все глубже в башкирские степи... Слезли на небольшой станции среди степей. Затем около пяти верст ехали на лошадях и прибыли в большую башкирскую деревню Курманкай. Башкиры добродушно, с любопытством разглядывали нас.

Вскоре мы, дети, освоились здесь совсем, нам очень нравилось в Башкирии. Братья мои сменили картузы на тюбетейки, часто они уезжали верхом на лошадях в степь с юными друзьями башкирами или уходили далеко от деревни рыбачить на реку. С собой брали в бутылке кумыс и хлеба или лепешек.

Не пугало нас горячее степное солнце или налетевшая с дождем и вихрем гроза, когда смерчем крутилась по дорогам черная пыль и, подхватываемая ветром, уносилась далеко в степь: со смехом, чуть не сбиваемые с ног вихрем, бежали мы домой.

Мой отец любил уходить утром в степь и, потягивая кумыс из деревянной чашки, читать там написанное или обдумывать в степной тишине то, что писал или хотел написать дома. Качались тонкие стебли ковыля, и, казалось, колыхалась и серебрилась вся степь.

Как-то отец пошел утром в ту сторону, где степь прерывалась пологими зелеными холмами.

Он устроился поудобнее, раскрыл свой большой зонт и, как это с ним часто бывало, начав записывать что-то в свою тетрадку, увлекся. Карандаш быстро бегал по бумаге. Иногда отец подымал голову и тогда видел мирно пасущийся табун кобыл. Но чем дальше, тем он реже подымал голову, и с тем большим любопытством и вниманием рассматривали степные лошади странный предмет — его раскрытый зонт. Вот одна из них подошла совсем близко и остановила на человеке и его зонтике внимательный взгляд красивых влажных глаз... К ней подошла другая, третья... И когда мой отец поднял голову — лошади окружали его плотным кольцом. Их нисколько не смутило, что человек высунул голову из-под зонта и стал махать белой широкополой шляпой... Он, казалось, сам был больше смущен, чем любопытные животные... Положение действительно было критическое. Лошади, по-видимому, совсем не думали уходить, и, казалось, не было никакой возможности выйти из этого живого кольца.

Тогда отец сложил зонтик и попытался им разогнать животных. Те, что были помоложе, немного отступили и тревожно заржали. Но другие упорно продолжали стоять. И отошли только тогда, когда вполне удовлетворили свое любопытство. Они понемногу принялись пощипывать густую, сочную траву. И только тогда отец, стараясь не нарушать это мирное занятие и пряча за спину свой злополучный зонтик, пробрался между лошадьми и выбрался на свободу.

С большим юмором рассказал отец семье о своем приключении в степи, и вместе с ним мы в этот день много и весело смеялись.

Помню летний праздник у башкир. Гости съезжались в ярко раскрашенных повозках. Иногда из них выходили закутанные покрывалами женщины и проходили на женскую половину. Женщины не могли участвовать в празднестве. Они только прислуживали мужчинам да украдкой смотрели в приоткрытую дверь и окна, как пируют мужья и их гости.

Пировали весь первый день, запивая жирную пищу медом и пивом.

На следующий день были состязания и скачки около соседней деревни. Началось с борьбы. Выходили бороться сначала подростки, потом парни, а потом и взрослые бородатые башкиры. В скачках участвовали только мальчики. Возвращались мы в деревню на просторных роспусках. Лошади бежали не спеша, и отец всю дорогу разговаривал со старым башкиром. Мы нередко всей семьей совершали поездки в ближайшие отроги гор, на украинский хутор, на ярмарку в соседнее село, а то и просто на свою же реку, версты за

две. Забирали с собой самовар, бочонок с кумысом, всякую снедь и пускались в путь.

Проходило лето, и конец его омрачился тяжелыми впечатлениями смерти и болезни. Началась сильная эпидемия дизентерии. Чаще умирали дети, и почти каждый день кто-нибудь из отцов проносил на кладбище ребенка, завернутого в белую кошму.

У нашего старика хозяина умерла четырехлетняя внука Магрефа, черноглазая красавица, всеобщая любимица и баловница. Мне было жалко девочку до слез. Нам пришлось уехать из башкирской деревни, не дождавшись осени...» (Указ. книга, с. 375—378).

ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

Над повестью писатель работал в 1876— первой половине 1877 года. В 1876 г. вышло отдельной книгой первое крупное произведение Златовратского — «Крестьяне — присяжные», давшее автору литературное имя.

«Все главное время,— сообщает писатель Филиппу Диомидовичу Нефедову 26 октября 1876 г.,— я теперь посвящаю одной своей работе для «От(ечественных) з(аписок)», которая, как кажется, будет недурна. Называется она «Золотые сердца»,— под ними, пользуясь злобой дня, мне хочется вывести несколько положительных типов из интеллигенции» (Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский Дом).— Архив Ф. Д. Нефедова, ф. 208, д. 53, л. 27).

Увлеченная работа над повестью «Золотые сердца» не принесла автору большого удовлетворения. «Сердца»,— сетует он в письме Нефедову от 2 августа 1877 г.,— подверглись значительным повреждениям, в силу того, что явились в очень неудобное время. Ввиду постоянных урезываний и напоминаний о цензурности,— дело никак не могло пойти, как бы хотелось... И вот почему я останусь всегда очень недоволен своей повестью»,— заключает писатель. Действительно, находясь постоянно под страхом ареста книжек журнала, М. Е. Салтыков-Щедрин делает большие — целыми страницами — выпуски, вследствие чего значительно изменился план повести, что создавало для писателя дополнительные трудности (См. Семенкин К. Н. Н. Златовратский. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1976.— С. 45).

Особую тревогу вызывала у писателя судьба эпилога, в котором он хотел сконцентрировать весь смысл произведения. Жестокость цензуры заставляла его прибегать к эзоповским приемам. «Что может быть проклятее той работы,— сетует он в письме в Нефедову,— когда вам приходится высказывать неудобовысказываемое, дать понять одним, чтобы не поняли другие. Можете себе представить,— я написал шесть эпилогов, решая эту проклятую дилемму». И автор приводит тут заключительные слова повести: «Эх, господа, трудно писать, а еще труднее жить, когда Пигасовы царят в литературе и жизни!». Но этот вариант концовки оказался для цензуры «неудобным».

Композиционной стройности, логической завершенности повести, а в значительной мере и ее смысловой определенности помешало и то обстоятельство, что первоначально автор предполагал написать «не более как маленький рассказец». Но, увлекшись, «забрался так глубоко, что для детальной обработки потребовались бы размеры не то что повести, но целого романа». Нередко именно это обстоятельство заставляло Щедрина сокращать размеры присылаемых в редакцию глав повести.

Современный исследователь считает, что «многие страницы «Золотых сердец», в яркой и живой форме повествующие о «делах давно минувших дней», способны заинтересовать и современного читателя. Они толкают на размышления, будят добрые чувства, вызывают благодарность к «безумцам», которые в суровые годы народного рабства нередко шли на самопо-

жертвование во имя любви к своему народу» (Семенкин К. Н. Н. Златовратский. Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1976.— С. 51).

Впервые повесть «Золотые сердца» напечатана в журналах «Отечественные записки» (1877, № 4, 5, 8, 12) и «Слово» (1878, № 6). Отдельным изданием вышла в 1879 г. в Петербурге: Златовратский Н. Золотые сердца (Листки из загубленной повести). Включалась в собр. соч. писателя 1891 г.— Т. 2, 1897 г.— Т. 3 1912—1913 гг.— Т. 5.

После революции вошла в книгу: Златовратский Н. Н. Избр. произв., М.: ОГИЗ, 1947.

Отрывки печатаются по изданию 1988 г.: Н. Н. Златовратский. Деревенский король Лир. Повести, рассказы, очерки. М.: Современник. Серия: «Из наследия» (с. 164—177, 209—215, 296—300, 304—308, 309—314, 319).

Н. Г. Гарин-Михайловский

ПО КОРЕЕ, МАНЬЧЖУРИИ И ЛЯОДУНСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ

В 1898 году Н. Г. Гарин-Михайловский совершил кругосветное путешествие и в 1899 г. опубликовал в периодической печати свои путевые очерки «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову». Очерки возникли из дневниковых записей, которые автор вел во время этой поездки.

Отрывок публикуется по изданию 1958 г. (Собр. соч. в пяти томах.— М.: ГИХЛ, т. 5.— С. 8—11).

Ваши, так почему же... казенные полесовщики? — Колонизация Башкирии началась в середине XVI века и сопровождалась систематическими захватами башкирских земель и лесов, особенно усилившимися с тридцатых годов прошлого столетия, когда царизм начал проводить политику «организованного» отторжения огромных площадей земельных угодий в казну.

А. П. Чехов

Первое упоминание Чехова об Уфимской губернии относится к началу 80-х годов, непосредственное же знакомство его с Башкирией состоялось весной 1890 года. Направляясь на Сахалин, он по Волге и Каме добирался до Ярославля и Перми. Проезжая на пароходе по северу Башкирии, он писал родным: «Стали попадаться инородцы. Татар очень много: народ почтенный и скромный». Если припомнить, что коренное население этого края — татары и башкиры — сильно перемежались между собой и по внешнему облику, образу жизни и роду занятий мало отличались друг от друга, то можно предположить: называя «почтенными и скромными», писатель мог иметь в виду обе эти народности, к которым он относился с симпатией и уважением.

...К весне 1901 года здоровье Чехова значительно ухудшилось, и он, понимая необходимость серьезного лечения и желая посоветоваться с видными столичными врачами, 11 мая приехал из Ялты в Москву. 17 мая писатель был на приеме у известного терапевта профессора В. А. Щуровского. Тот нашел болезнь очень серьезной и посоветовал Чехову как можно скорее ехать на кумыс в Башкирию. В тот же день Чехов писал сестре Марии Павловне: «Ну-с, был я у доктора Щуровского. Он нашел притупление и слева и справа, справа большой кусок под лопаткой, и велел немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губернию, если же кумыса я не буду переносить, то — в Швейцарию. На кумысе, скучнейшем и неудобном, придется пробыть два месяца».

Находясь последние годы в Ялте, Чехов был оторван от привычной литературной среды, ему тяжело было «без культуры, без московского звона».

И вот он снова вынужден покинуть друзей, театр, любимый город. Все это, несомненно, внутренне настраивало Чехова против поездки на кумыс. И в письме переводчице О. Р. Васильевой он горько иронизирует: «Ехать на кумыс гораздо скучнее, чем читать дамского сочинения роман». На кумыс Чехов решил ехать в Андреевский санаторий, находящийся недалеко от станции Аксеново Уфимской губернии.

Приезд Чехова в Башкирию совпал с важным событием в его личной жизни — женитьбой на видной московской актрисе Ольге Леонардовне Книппер. «Милая мама, благословите, женюсь. Все остается по-старому. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше», — телеграфирует он Евгении Яковлевне 25 мая 1901 года. Обвенчавшись в тот же день в церкви Воздвижения на Овражке, в Воздвиженском переулке на Плющихе, Чеховы посетили лишь мать невесты и сразу же поехали на вокзал. На другой день, 26 мая, они были уже в Нижнем Новгороде. Один день пробыли у А. М. Горького, который, отсидев месяц в нижегородской тюрьме за участие в революционном движении, только 17 мая был по болезни выпущен из заключения и отбывал домашний арест.

Из Нижнего Новгорода Чеховы едут на пароходе по Волге и Каме до Пьяного Бора (ныне Красный Бор). Ольга Леонардовна вспоминала: «У пристани Пьяный Бор (Кама) мы застряли почти на сутки и ночевали на полу в простой избе в нескольких верстах от пристани, и спать нельзя было, так как неизвестно было время, когда мог прийти пароход на Уфу — и в продолжение ночи и на рассвете пришлось несколько раз выходить и ждать не появится ли какой пароход. На Антона Павловича эта ночь, полная отчужденности от всего культурного мира, ночь величавая, памятная какой-то покойной, серьезной содержательностью, и жутковатой красотою, и тихим рассветом, произвела сильное впечатление, и в его книжечке, куда он заносил все свои мысли и впечатления, отмечен «Пьяный Бор» (А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат, 1954.— С. 601).

Просидев ночь с 28 на 29 мая в Пьяном Бору, Антон Павлович и Ольга Леонардовна на попутном пароходике поплыли по реке Белой в Уфу. 31 мая рано утром Чеховы прибыли в Уфу. Предполагали уехать из Уфы в Аксеново ранним, шестичасовым поездом, но недалеко от Уфы произошло крушение состава с переселенцами, и в ожидании поезда Чеховы задержались в Уфе до двух часов дня. Из Уфы шесть часов ехали по железной дороге до станции Аксеново, оттуда еще 12 верст на лошадях до частного кумысного заведения.

Уфа тех лет ничем не отличалась от других провинциальных городов и произвела на Чехова грустное впечатление. Ольга Леонардовна писала Марии Павловне из Аксенова: «Вот яма-то эта Уфа! Пекло, духота, пыль» Примерно так же описывал Уфу начала века А. М. Горький в «Жизни Клима Самгина» (см. предисловие к наст. тому) Только через неделю после отъезда из Москвы Чеховы добрались до санатория. О дорожных мытарствах Ольга Леонардовна писала 6 июня из Аксенова близкому знакомому Чеховых врачу Л. В. Средину: «Мы измучились в дороге,— застряли в Пьяном Бору и в Уфе». Но зато санаторий был расположен в красивом дубовом лесу Погода стояла замечательно теплая, дышалось легко и свободно, воздух был напоен ароматом диких трав и полевых цветов. Настроение Чеховых было хорошее. Хотя санаторий представлял собой печальное зрелище: он был открыт недавно и еще плохо оборудован. Основал его М. И. Дурилин в 1900 году на средства умершего от туберкулеза брата Андрея Исидоровича, по его завещанию, и назвал в память брата «Андреевским» Санаторий состоял из одноэтажного деревянного здания столовой, которая одновременно была и гостиной, и биллиардной, здесь же находилась и библиотека; из сорока маленьких домиков и двух домов по десяти номеров. В одном из маленьких домиков-кабин и поселились Чеховы. Обстановка в домике была самая примитивная: стол, три стула, жесткая кровать, шкафик и треножник

с маленьким кувшином вместо умывальника. Домик Чеховых был крайним, и из окон его открывался чудесный вид на степь и березовый лесок.

Много лет спустя в ответ на просьбу дирекции санатория поделиться своими воспоминаниями о пребывании в Аксенове О. Л. Книппер-Чехова писала: «Мы с Антоном Павловичем поместились в небольшом домике (скорее беседке) на две крошечные комнаты-кабинки... Причем, как оказалось, подушки и постельное белье мы должны были привезти с собой, так как казенного белья не полагалось. Мне пришлось на другой же день ехать в Уфу и покупать подушки и прочие мелочи. Кровать для Антона Павловича была очень коротка, он, как известно, был высокого роста. Для того, чтобы ему было удобно спать, я каждый вечер подставляла к кровати табуретку, на которую он просовывал ноги сквозь спинку кровати» (Пребывание А. П. Чехова в Башкирии.— Советская Башкирия. 7 сентября 1952 г.)

Разумеется, для больного человека все эти бытовые неудобства были не мелочью. Кроме того, среда, в которой оказался писатель, ни в коей мере не могла удовлетворить его духовных потребностей. Не было и диетического стола. Но многое скрашивалось необычайной красотой природы и отличной погодой. И, несмотря на неудобства, у Чеховых «осталось самое чудесное воспоминание об Аксенове».

Общительный и деятельный, Чехов не мог жить замкнуто. Посещая окрестные деревни, он знакомился с местными жителями. Кучером к нему был определен житель ближайшей деревеньки Баранкуль Минигалей Закирьянов, который по приглашению управляющего Третьякова работал в санатории табунщиком. Минигалей хорошо знал всю окрестность и многих жителей в округе и оказался отличным гидом Чехова.

Башкирскому писателю Кирею Мэргэну удалось в 1944 году разыскать в Аксенове семидесятилетнего старика Минигалея Закирьянова, который около тридцати лет проработал в санатории и помнил многих клиентов. Он хорошо помнил, как, исполняя обязанности кучера, не раз ему довелось встречаться с Чеховым в период пребывания писателя в Башкирии. Минигалей Закирьянов сообщил Кирею Мэргэну некоторые интересные сведения о жизни Чехова в Аксенове. Старый башкир рассказал, в частности, о том, что Чехов любил подниматься на высокую гору, возвышающуюся напротив санатория, и часами там просиживать, любуясь красотой башкирского пейзажа. Эта гора, в память о посещении ее великим писателем, получила потом название «Чеховой горы».

Живя в Башкирии, Чехов любил ездить на лошади. Владелец санатория М. И. Дурилин содержал специальные прогулочно-прокатные кареты для кумысников. И когда Чехов попросил у управляющего лошадь для прогулок, хозяин, стараясь блеснуть перед известным писателем, распорядился дать ему лучшего коня. А этим конем мог управлять только Минигалей Закирьянов. Так башкирский табунщик стал кучером Чехова. Минигалея удивляла мягкость и человечность «господина», которого довелось ему возить. Возил он Чехова и в соседние деревни, где «барин» запросто и охотно беседовал с мужиками. Позднее Закирьянов узнал, что этот «господин» был одним из лучших русских писателей.

Чехов беседовал со своим кучером о жизни, о земле, советовал ему уйти от М. И. Дурилина. Особенно хорошо запомнил Минигалей Закирьянов одну из этих бесед.

Скажи-ка,— спросил его однажды Чехов,— почему ты здесь сохнешь? Лучше бы поехал домой и занялся хозяйством.

У меня земли нет,— ответил башкир.

Как, в Башкирии — и земли нет? — удивился Чехов.

Раньше много было, в теперь наша земля господской стала,— ответил Минигалей и рассказал своему собеседнику, как башкиры-гайнинцы «оптом» продали свою землю и лес одному приезжему барину и как тот развел на ней хозяйство, вытеснив бывших владельцев. Когда барин умер, земля

досталась его дочерям, и на одной из них женился некий Дурилин, который вскоре открыл здесь курорт.

— Но тебе все равно нужно уехать отсюда,— посоветовал башкиру Чехов и добавил: — Обязательно!

Минигалей Закирьянов многие годы бережно хранил память о встречах и беседах с добрым русским писателем (См. Киреев А. Н. Чехов в Башкирии.— Кызыл Башкортостан, 13 июля 1944 г.— На башк. яз.).

По приглашению П. М. Веселова, инспектора московской мужской гимназии, побывал Чехов и в селе Воздвиженка, которое насчитывало тогда около 160 дворов. Веселов был зятем помещика Померанцева, в имении жены проводил летние каникулы. Перед домом Чехов сфотографировался вместе с кучером на ходке (эта фотография известна под названием «А. П. Чехов в Аксенове, 1901 г.», воспроизведена в нескольких собраниях сочинений писателя). По словам местных жителей, в Воздвиженке было тогда очень красиво: вокруг лес, большие заросли кустарника, пели соловьи, пойма реки была в лесу; от кладбища до горы, что по дороге в Аксеново, была березовая роща.

Не раз бывал Чехов в деревне Самодуровке (ныне Сосновка), где в то время находилось почтовое отделение. Однажды он был на званом ужине у купца Беляева, в числе многочисленных гостей была и учительница церковно-приходской школы Фаина Васильевна Иванова (Кострома), по ее просьбе Чехов читал перед гостями. Позднее Ф. В. Кострома вспоминала: «Его приезд в наши края был настоящим событием. Мы, учителя земской школы, знали писателя по его произведениям. А вскоре нам посчастливилось познакомиться с ним. Он был частым гостем в школе, у наших учителей. Бывало, Антон Павлович поедет на станцию на лошади, а возвращаться любил пешком, и тогда заходил в школу выпить чашку чая, отдохнуть, поговорить. Беседовать с ним было очень интересно. Речь его была мягкой, насыщенной юмором. Интересовался Чехов вопросами деревенской жизни. Расспрашивал о работе школы, о жизни крестьян. О нем у меня сохранилось самое дорогое воспоминание» (Кузьменко. Памятные места.— Советская Башкирия, 26 января 1960 г.). Другие старожилы лично не знали Чехова, но помнили высокого мужчину с черной бородкой клинышком, в очках, в черном костюме, белой рубашке с галстуком-бабочкой, в фуражке-шестиклинке. С ним рядом ходила красивая, улыбающаяся дама среднего роста в белом длинном платье с широким поясом и маленькой сумочкой на шнурке через плечо.

Общаясь с местным населением, Чехов видел его ужасающую бедность и бесправие, к тому же год был засушливый, надвигался очередной голод. И писатель грустно отмечал, что «народ здесь неинтересный, вялый, не поющий». Тяжелая жизнь, изматывающая все духовные силы народа, полуголодное существование не располагали к веселым песням.

Чехов не раз отмечал в своих письмах, что население в здешних краях «все больше башкиры», не переставал восхищаться девственной башкирской природой. Так, в одном из писем публицисту В. М. Соболевскому читаем: «Природа здесь, кстати сказать, чудесная; масса полевых цветов, поверхность гористая, много ручьев... И чувствуется скорый, жадный рост трав, так как лето кончается уже в августе, а жить и расти хочется. Садов нет. Охота, по-видимому, дивная; хариусы и форели ловятся в речке». О. Л. Книппер-Чехова в своих воспоминаниях также отмечает: «В Аксенове Антону Павловичу нравилась природа, длинные тени по степи после шести часов, фырканье лошадей в табуне, нравилась флора, река Дёма (Аксаковская), куда мы ездили однажды на рыбную ловлю» (Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер. М., 1934, т. I.— С. 39).

После месячного пребывания в Башкирии на кумысе здоровье Антона Павловича значительно улучшилось, и 1 июля Чеховы отправились домой в Ялту, через Самару по Волге до Царицына и на Новороссийск. Однако с

отъездом из Аксенова связи с Башкирией не прерывались: позднее он не раз с удовольствием вспоминал о своем пребывании на кумысе. Так, из Ялты Чехов писал 20 июля 1901 года редактору журнала «Русская мысль» В. А. Гольцеву: «Я на кумысе жил хорошо, даже прибавился в весе, а здесь, в Ялте, опять захирел, стал кашлять и сегодня даже немножко поплевал кровью». О благотворном влиянии башкирского кумыса на его здоровье Чехов пишет также А. М. Горькому, профессору Московского университета врачу М. А. Членову, актрисе Малого театра О. С. Садовской, редактору издателю «Русской мысли» В. М. Лаврову, таганрогскому врачу П. Ф. Иорданову и другим.

И. А. Бунин вспоминал: «Много рассказывал Антон Павлович о кумысе, где он поправился.., восторгался степью, лошадьми... и досадовал: «...только уж очень серая публика и никаких удобств!» (Бунин И. А. Собр. соч в девяти томах, т. 9, М.: Художественная литература, 1967 — С. 202). Тем не менее, с некоторыми «кумысными знакомыми» Чехов поддерживал связи. В частности, 23 января 1903 года он получил письмо от А. Б. Бернштейна и в тот же день ответил ему, а на другой день в письме к жене сообщал: «Получил письмо от Александра Борисовича, того самого студента, серьезного, который был в Андреевском санатории чем-то вроде вице-директора. Спрашивает, как здоровье, и, кстати, извещает, что уже врач. Тебе кланяется» (Бернштейн А. Б. Я ему обязан многим... Литература и жизнь, М., 29 января 1960 г., № 13, с. 4)

В Башкирии бережно хранится память о пребывании А. П Чехова Са наторий, в котором он отдыхал и лечился, носил его имя. Прекрасные места, восхищавшие большого художника, увековечены его именем. Известно, что Чехов любил бывать на горе, где находился самодельный, врытый в землю стол и стул. На этом месте в память о писателе управляющий Андреевским санаторием А. А. Третьяков еще в 1904 году поставил беседку, чтобы напоминала она новому поколению о пребывании в этих местах Чехова. Но многие строения ныне пришли в ветхость. И санатория уже нет. Вместо него, увы, профилакторий... Очень хотелось бы, чтобы дом, в котором жил Чехов, после реставрации стал, наконец, музеем, тем более, что в библиотеке собрано много интересных материалов, посвященных жизни и творчеству писателя

ПИСЬМА

Для комментариев использованы сведения об адресатах писателя, имеющиеся в двух изданиях Полного собрания сочинений и писем А. П. Чехова (М.. ГИХЛ, 1944—1951, тт. 1—20 и М.. Наука, 1974—1983, тт 1—30)

М. П. ЧЕХОВОЙ от 4 июня 1901 г

Письмо датировано: «Аксеново, 4 июня 1901 г.». Впервые опубликовано в «Литературном наследстве» — «А. П. Чехов», М.: Изд-во АН СССР 1960, т. 68.— С. 236—237 Письмо вошло в кн.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем.: В 30-ти т.— Письма.— Т 10. (Апрель 1901— июль 1902) С 38. Отрывок печатается по этому изданию.

Мария Павловна Чехова (1863—1957) — сестра А. П. Чехова, принимала активное участие в общественных и литературных делах брата.

После смерти писателя привела в порядок его литературное наследие и в бо́льшей части — переписку, которую отредактировала и издала в 1912—1916 гг. М. П. Чехова сохранила ялтинский дом писателя, сберегла всю обстановку и с 1920 года, когда этот дом стал Домом-музеем А. П. Чехова, и до самой своей смерти была его бессменной заведующей. Она основала Чеховский музей в Москве (ныне Государственный литературный музей СССР)

Архив А. П. Чехова передан М. П. Чеховой в Государственную библиотеку СССР имени В. И. Ленина.

М. О. МЕНЬШИКОВУ от 9 июня 1901 г.

Письмо написано 9 июня 1901 г. из Аксенова. Отрывок публикуется по изданию 1981 г. (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. М.: Наука.— В 30-ти т.— Письма.— Т. 10.— С. 40).

Михаил Осипович Меньшиков (1859—1918) — публицист и критик, сотрудник газет «Неделя» и «Новое время». С Чеховым познакомился в 1892 году, бывал в Мелихово. Известно 48 писем Чехова к М. О. Меньшикову; 60 писем и три телеграммы Меньшикова к Чехову.

Е. Я. ЧЕХОВОЙ от 10 июня 1901 г.

Письмо датировано: «10 июня 1901 г. Аксеново». Отрывок печатается по кн.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем.: В 30-ти т.— М.: Наука, 1981.— Письма.— Т. 10.— С. 42.

Евгения Яковлевна Чехова (1835—1919) — мать А. П. Чехова, урожденная Морозова, дочь купца. Родилась в Шуйском уезде Ивановской губернии. В 1854 году вышла замуж за П. Е. Чехова. Оказала благотворное влияние на воспитание детей. Она высоко ценила образование, сама очень много читала и настояла на определении старших сыновей в гимназию.

А. Ф. КОНИ от 12 июня 1901 г.

Датировано: «12 июня 1901. Аксеново, Уфимск. г.». Отрывок публикуется по изданию 1981 г. (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем.: В 30-ти т.— М.: Наука.— Письма.— Т. 10.— С. 43).

Анатолий Федорович Кони (1844—1927) — юрист, писатель, общественный деятель, с 1900 года почетный академик. Чехов познакомился с Кони после возвращения с Сахалина. Кони — автор воспоминаний о Чехове (см. сб. «А. П. Чехов». Л., Атеней, 1925.— С. 199—216). Известны 5 писем Чехова к А. Ф. Кони; 7 писем Кони к А. П. Чехову. Кони — автор многих научных работ и литературных статей, наиболее известны «Судебные речи» и мемуары «На жизненном пути».

В. М. СОБОЛЕВСКОМУ от 23 июня 1901 г.

Датировано: «23 июня 1901, Аксеново». Отрывки печатаются по изданию 1981 г. (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. В 30-ти т. М.: Наука.— Письма.— Т. 10.— С. 48—49).

Василий Михайлович Соболевский (1846—1913) — юрист, публицист, с 1892 г. один из соредакторов газеты «Русские ведомости». Познакомился с Чеховым после 1890 г. Известно 35 писем Чехова к Соболевскому и 44 письма Соболевского к Чехову. Переписка между ними продолжалась до последних лет жизни писателя.

Г. М. ЧЕХОВУ от 24 июня 1901 г.

Датировано: «24 июня 1901». Отрывок публикуется по изданию 1981 г. (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. В 30-ти т.— М.: Наука.— Письма.— Т. 10.— С. 49).

Георгий Митрофанович Чехов (1870—1943) — двоюродный брат Антона Павловича по отцу. Учился в таганрогском четырехклассном училище. Служил агентом черноморско-азовского пароходства. Известно 63 письма Чехова к Г. М. Чехову и 98 писем и телеграмм Г. М. Чехова к Чехову (1887—1904).

Н. А. Крашенинников

Большинство рассказов Н. А. Крашенинникова на башкирскую тему было напечатано в 900-е годы. Однако многие из них, как отмечал писатель в предисловии к книге «Угасающая Башкирия» (1907), при публикации в периодической печати сильно урезывались редакциями и цензурой. После революции рассказы переиздавались несколько раз — в 1936-м и 1981-м годах в Москве, в 1963-м, 1965-м и 1977-м годах в Уфе,— в основном

по наиболее полному изданию 1907-го года (напомню: «свобода печати» — одно из завоеваний первой русской революции!), иногда подвергались авторской доработке или правке.

Н. А. Крашенинников — один из наиболее «башкирских» писателей начала XX века. Между тем творчество его — даже в краеведческом аспекте — изучено далеко не достаточно. До последнего времени не было установлено даже место рождения писателя. Во всех печатных источниках, в том числе и «Краткой литературной энциклопедии», называлось село Петровское Оренбургской губернии (на границе с Башкирией). Это утверждение исходило из автобиографии самого Крашенинникова. Как видно из документов, недавно обнаруженных в Государственном архиве Оренбургской области краеведом М. М. Чумаковым, Крашенинников родился 14 ноября 1878 года в городе Соль-Илецке. Его отцом был коллежский асессор Александр Александрович Камбулин, женой которого являлась Мария Николаевна Крашенинникова, мать писателя, родившаяся в селе Петровском. Николай Александрович Камбулин, будущий писатель, стал Крашенинниковым только с 28 января 1900 года по решению Оренбургского окружного суда. Старший сын писателя Владимир Николаевич Крашенинников (проживавший в Москве, ныне, к сожалению, уже покойный), объяснял это автору комментариев следующим образом. Мать писателя Мария Николаевна, урожденная Крашенинникова, вышла замуж за А. А. Камбулина вопреки родительской воле. До определения в Оренбургскую гимназию Коля Камбулин жил у тетки в Петровском и считал его своим родным селом. Приезжал он сюда и на каникулы. Отношения Марии Николаевны с родителями так и не нормализовались. Сын ее находился на воспитании и содержании тетки даже в годы учебы в университете (См. Чумаков М. Новое о писателе Н. А. Крашенинникове.— Южный Урал, Оренбург, 17 августа 1975 г.).

Дореволюционное творчество Крашенинникова развивалось под влиянием русских классиков — И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, А. П. Чехова, В. Г. Короленко и А. М. Горького.

Литературную работу Крашенинников совмещал с общественно-журналистской деятельностью. В 1905 году он основал еженедельный журнал «Народное слово». Этот демократический орган, в котором сотрудничали И. А. Бунин, А. С. Серафимович, А. М. Федоров, С. Г. Скиталец, С. А. Найденов и другие, пользовался большой популярностью, но через два года был запрещен администрацией. Тогда Крашенинников преобразовал «Новое слово» в литературно-художественные сборники того же названия, объединившие на товарищеских началах всех виднейших представителей журнала. На базе этих сборников позднее в Москве было образовано товарищество — «Книгоиздательство писателей».

Откликаясь на животрепещущие проблемы начала XX века, Крашенинников создал драму «Проблески утра» (1905), в которой отразил ужасы русско-японской войны и выразил гневный протест против бесчеловечной бойни. Запрещенная в России пьеса вышла в Вене на немецком языке.

В 1917 году четвертым изданием вышел роман «Амеля́», пользовавшийся большой популярностью у читателей, и 25 октября (старого стиля, когда совершалась Октябрьская революция!) он был отмечен Российской Академией наук «Почетным отзывом имени Пушкина».

До революции в Москве вышло восьмитомное собрание сочинений Крашенинникова, два последних тома составили произведения о Башкирии. И после Октября писатель продолжает интересоваться жизнью Башкирии, радуясь возрождению «угасавшего» народа, работает над новыми произведениями. Его глубоко волновала тема революции и гражданской войны, которая нашла отражение в романе-хронике «Столп огненный» (1928). Книга «Под солнцем Башкирии» (1936), в которую, кроме семнадцати «башкирских» рассказов и легенд, вошел и роман «Амеля́», явилась последним прижизненным изданием писателя. Этот сборник в известном смысле —

по широте охвата в нем башкирской темы — можно назвать художественной энциклопедией дореволюционной жизни Башкирии.

В творчестве Крашенинникова большое место занимает также тема «о единой, цельной, неосквернённой любви», получившая яркую романтическую окраску в ряде произведений предреволюционных лет и полемически направленная против аморализма декадентской литературы. Чистая любовь и целомудрие воспевались в пьесе «О маленькой Тасе» и поэтической драме «Плач Рахили» (кстати, переведенной с русского языка и поставленной в 1923 году на сцене Башкирского государственного театра в Уфе), повести «Сказка любви», романах «Барышни» и «Девственность» и других. Проблема воспитания молодого поколения, разрабатывавшаяся Крашенинниковым и после революции, получила в 20-х годах широкий общественный резонанс, вызвала оживленные споры, диспуты. А. М. Горький, прочитав третью книгу романа «Целомудрие» — «Юность», писал ее автору 29 июня 1925 года из Сорренто: «Я прочел ее внимательно, с большим интересом... социальная полезность книги оправдана» (Горький и советские писатели. Неизданная переписка.— Литературное наследство, т. 70, М., 1963.— С. 229). Горький следил за творчеством Крашенинникова и до революции.

После Октября произведения Крашенинникова стали изучать в школах Башкирии. Писатель же трудился преимущественно в разных жанрах драматургии, создал ряд оригинальных пьес и большое количество инсценировок по произведениям русских и зарубежных классиков и видных советских писателей. Особенно успешно шли «Весенние зарницы» — пьеса из жизни советского студенчества, «Собор Парижской богоматери» (по В. Гюго), «Вешние воды» (по И. Тургеневу), «Капитанская дочка» (по А. Пушкину), «Война и мир» (по Л. Толстому), «Мать» (по М. Горькому), «Разгром» (по А. Фадееву). «Поднятая целина» (по М. Шолохову).

В Башкирии всегда помнили и высоко чтили Крашенинникова. В связи с сорокалетием литературной деятельности Президиум Верховного Совета Башкирской АССР наградил его Почетной грамотой. Отвечая на приветствие башкирских писателей, юбиляр взволнованно писал 2 сентября 1939 года: «Я счастлив, что дожил до дней возрождения и расцвета жизни Башкирии, счастлив, что прежде угнетенная угасавшая страна превратилась в свободную и сильную братскую республику; что осуществилась моя мечта о свободном народе Башкирии; что книгам моим, говорившим о насилиях и произволе, сковавших народ старой властью, выпала великая честь быть историческим свидетелем великого значения Советской власти, в два десятка лет преобразившей страну после ее трехсотлетнего угасания» (Научный архив Башкирского научного центра Уральского отделения Академии наук СССР, ф. 3, оп. 12, д. 391, л. 304).

И глубоко радуясь возрождению «угасавшей Башкирии», Крашенинников создал легенду «Посох Альяна» (1940). Через красивую аллегорию в ней писатель воспел расцвет Башкирии после революции.

В седую старину, повествует легенда, в лесу у подножия горы Альян жил могущественный вещий старец, делавший людям добро. И жили башкиры в мире и согласии. Но вот пришли люди в кафтанах с ружьями и топорами и стали теснить башкир. Отступили башкиры перед пришельцами в горы, но потом одумались и решили пойти к великому Альяну. Однако его уже не было в живых. Люди в страхе закричали: «Зачем ты умер, зачем ты оставил нас, Альян?». И тогда из недр земли раздался его голос: «Триста лет будете вы под снегом, на триста первом году растают снега». (Эти слова сказочного Альяна, видимо, являются аллегорическим выражением трехсотлетнего царствования династии Романовых, которое в свою очередь должно было символизировать колонизацию Башкирии.) И голос просил сохранить его посох, сделанный из сухого и ровного ствола вишенника. Прошло три века, и все произошло так, как вещал мудрец: цветом вишни расцвел сухой посох, лежавший на груди Альяна, ибо «никогда не умирает народное сердце», и стала

расцветать угасавшая страна. Легенда написана в духе восточных сказок, ее основная мысль — расцвет социалистической Башкирии. Впрочем, на это указывает и подзаголовок: «Легенда о расцвете Башкирии».

В 1940 году Крашенинников подготовил к печати однотомник избранных сочинений, значительную часть которых составляли произведения о Башкирии. Легенда «Посох Альяна», по мысли автора, должна была завершить цикл рассказов о Башкирии. Но начавшаяся вскоре война помешала изданию этой книги. «Н. А. Крашенинников никогда не забывал свою вторую родину, он возвращался к любимой Башкирии во многих своих основных работах,— говорилось в предисловии к этому неосуществленному изданию.— Так, и в пьесе «В старом пансионе», описывающей его юность (и, кстати сказать, запрещенной царской цензурой главным образом за тип юного башкира, искалеченного «воспитанием» деляновской гимназии), и в романе-трилогии «Целомудрие» — во всех трех частях — «Детство», «Отрочество» и «Юность» — читатель снова встречается с типами башкир, сверстников автора и, наконец, в последней пьесе «Стены», написанной на основе пьесы «В старом пансионе», читатель вновь видит гордую страстную фигуру юного башкира, задавленного «стенами» и бездушием царского классического воспитания» (Научный архив БНЦ УрО Академии наук СССР, ф. 3, оп. 12, д. 391, л. 308).

В 1941 году Крашенинников задумал создать серию рассказов и очерков о новой социалистической Башкирии, о народе, возрожденном Великим Октябрем к свободной, счастливой жизни. С этой целью 17 августа он приехал в Уфу и приступил к работе. Однако ему не суждено было осуществить свои замыслы: после непродолжительной болезни 11 октября 1941 года он скончался. Столица солнечной Башкирии приняла прах своего верного певца. Из задуманного цикла «Новые письма о Башкирии» был написан лишь очерк «Новая земля» (да и то вчерне) — о неузнаваемо изменившемся облике Советского Башкортостана.

В настоящее издание включено шесть рассказов Крашенинникова, пять из которых не входили ни в одну из прижизненных книг писателя.

КРАСАВИЦА ЗЮГРА

Рассказ с подзаголовком «Из башкирской жизни» был напечатан в журнале «Муравей» в 1900 г. (М., январь, № 3.— С. 12—14). Ни в одну из книг писателя не вошел.

Публикуется по единственному изданию 1900 года.

БАШКИРСКИЕ САГИ

Рассказ напечатан в журнале «Этнографическое обозрение» в 1900 г. (М., кн. 47, № 4, отдел VI.— С. 132—137).

Публикуется по указанному единственному изданию.

КАК ПРОИЗОШЕЛ БАШКИРСКИЙ НАРОД

С подзаголовком «Сага» произведение напечатано в журнале «Детское чтение» в 1902 г. (М., № 9.— С. 1377—1387). Ни в одну из книг писателя не входило.

Публикуется по единственному изданию 1902 г.

КАЗАЧОК КУРУЛ

Рассказ имеет подзаголовок: «Из писем о Башкирии». Напечатан в 1906 году в в журнале «Новое слово» (М., № 40.— С. 638—641). Ни в одну из книг писателя не вошел.

Публикуется по указанному единственному изданию.

ГОРДОСТЬ МАГОМЕТОВА

Рассказ был опубликован в книге: Крашенинников Н. А. Угасающая Башкирия. М., 1907.— С. 127—134.

Публикуется по указанному единственному изданию.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Рассказ — последнее произведение писателя, который должен был войти в цикл «Новые письма о Башкирии», задуманный незадолго до его кончины, — в 1941 году. Был завершен лишь вчерне. Впервые напечатан в кн.: Крашенинников Н. К земле обетованной. Рассказы. Уфа: Башкнигоиздат, 1963. С. 175—178. Публикуется по этому изданию.

Саша Чёрный

КУМЫСНЫЕ ВИРШИ

Четыре стихотворения, составившие цикл «Кумысные вирши», были написаны видным русским поэтом Сашей Черным (настоящая фамилия — Гликберг Александр Михайлович) в 1909 году, когда он находился на кумысолечении в деревне Чебени Уфимской губернии. В том же году они были напечатаны в знаменитом аверченковском «Сатириконе» (в № 24— первое стихотворение — «Благословен степной ковыль», № 26— второе — «Степное башкирское солнце», № 27— третье — «Бронхитный исправник», № 28— последнее — «Поутру пошляк чиновник»).

По этой первой журнальной публикации стихи Саши Черного перепечатывались в послереволюционных отечественных изданиях, последний раз — тридцать лет тому назад в серии «Библиотека поэта»: в «Большой серии» вторым изданием в 1960 году, в «Малой» — в 1962 году третьим изданием. Современному советскому читателю эти стихи вовсе не известны. Между тем для автора стихи эти не были проходными. Так, перед публикацией их в издательстве «Грани» в русской типографии Е. А. Гутнова в Берлине в 1922 году Саша Черный подверг существенной переработке четвертое стихотворение цикла — «Поутру пошляк чиновник». Суть переработки сводится к тому, что вместо пятой и шестой строф, где негативно фигурировал некий Марков (курский помещик Николай Евгеньевич Марков 2-й — один из активнейших черносотенцев в Третьей думе), появилась одна строфа совершенно другого содержания, отчего стихотворение, несомненно, выиграло, стало художественней. Сравним:

Было: В самых редких положеньях
Это можно знать наверно:
Если Марков захворает,
То лечить его не стоит.
Только Марковы, к несчастью,
Все здоровы, как барбосы,—
Нервов нет, мозгов два лота+
И в желудках много пищи...

Стало: Может быть, я сам не нужен,—
Ни себе, ни добрым людям...
Может быть, Гафиз беспечный
Всех мудрее и полезней.

+ Лот — старинная мера веса, равная 12,8 грамма.

Незначительной стилистической правке был подвергнут также третий стих четвертой строфы (б ы л о: «Кто отли́чит в наше время», с т а л о: «Отличить ли в наше время»).

Каноническим текстом, несомненно, является вторая редакция, увидевшая свет в 1922 году в двухтомнике Саши Черного «Сатиры и лирика» (книга первая). Любопытно, что графика в берлинском издании 1922 года — дореволюционная, то есть с «ятями», «и» десятиричным и твердыми знаками. Очевидно, типография не располагала новым, «советским» шрифтом, а может быть, и не желала печатать новым шрифтом.

Для советского читателя, да и исследователя эти «белогвардейские» издания до недавнего времени были недоступны, хранились за семью печатями в спецфондах, спецхранах, куда и сейчас не просто проникнуть. Конечно же, Корней Чуковский, подготовивший текст стихотворений к изданию в «Малой серии поэта», в 1962 году, не стал бы перепечатывать текст первой журнальной публикации 1909 года, если бы мог ознакомиться с берлинским изданием 1922 года!

Дату написания «Кумысных вирш» указал сам автор: под каждым стихотворением цикла помечено: «1909 г., Чебени». Таким образом, эти стихи не только о Башкирии, но и написаны в Башкирии.

В письме к К. Р. Миллю от 7 апреля 1909 года Саша Черный сообщал, что в середине мая он уезжает на кумыс в деревню Чебени. В примечаниях к «Стихотворениям» Саши Черного в «Малой серии» «Библиотеки поэта», к сожалению, допущена неточность — сказано: «В апреле 1909 г. Саша Черный уехал на кумысолечение в деревню Чебени (в Башкирию)».

«Кумысные вирши» написаны, очевидно, не ранее конца мая 1909 года, а вероятнее — даже позже: в третьей строфе первого стихотворения «Благословен степной ковыль» — читаем: «В неделю правая нога На девять фунтов пополнела».

«Кумысные вирши» Саши Черного могли появиться еще четверть века тому назад в первом издании сборника «Башкирия в русской литературе», если бы этому не помешала излишняя осторожность тогдашнего директора Института истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР, опасавшегося цензурных неприятностей. Будучи членом редколлегии этого издания, он захотел посмотреть подготовленную мной к печати рукопись третьего тома сборника. А затем, как бы смягчая жестокий удар шуткой и юмором, вежливый, интеллигентный и культурный директор посоветовал мне снять несколько дорогих для меня имен. В частности, рассказ Леонида Андреева «Сын человеческий», поскольку автор — «реакционный русский писатель»; а героя повести Николая Златовратского «Золотые сердца» башкира врача Ивана Башкирова он назвал «незаконнорожденным» («уйнаштан тыуған») и тоже велел снять этого автора. А с Сашей Черным дело обстояло еще хуже: на нем в ту пору было клеймо «белый эмигрант»... И «Кумысные вирши» полетели в корзину. На мои робкие возражения директор докторальным тоном заявлял: «Ты что? В КГБ захотел?». В КГБ мне не хотелось...

Недавно «Кумысные вирши» Саши Черного были опубликованы с вступительной статьей автора настоящих комментариев в газете «Советская Башкирия» (Уфа, 20 июля 1990 г., № 165/22089).

Здесь «Кумысные вирши» перепечатываются по изданию: Александр Черный. Сатиры и лирика. (В двух книгах.) Книга первая. Новое дополненное издание. Издательство «Грани». Русская типография Е. А. Гутнова в Берлине. 1922 г.— С. 148—155.

Д е р е т с я с п ы л к о с т ь ю а я к с о в.— Аяксы — в «Илиаде» Гомера два героя Троянской войны, символ мужества и дружбы.

М и л е й с т р у и о п о п а н а к с а.— Опопанакс — растение, смола которого употребляется в парфюмерии.

В трехцветно окрашенном кэбе...— Кэб — английский одноконный экипаж.

Витте...— Сергей Юльевич Витте (1849—1915) — государственный деятель; в 1905—1906 годах — председатель Комитета министров.

Л. Н. Андреев

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Рассказ впервые был опубликован в девятой книге альманаха «Шиповник» в 1909 году. События, изображенные в нем, происходят в селе Богоявлéнском Уфимской губернии.

Рассказ относится к произведениям, в которых писатель ставит извечный вопрос: «зачем?», то есть делает то, что казалось таким людям, например, как Александр Блок, самым драгоценным в Л. Н. Андрееве (Блок А. Избранное. М., 1955, т. 2.— С. 332). О попе Иване Богоявлéнском, взбунтовавшемся против церковной лжи и фарисейства, Л. Н. Андреев сказал В. В. Брусянину следующее: «Я не могу ошибиться в описании деталей: изображаемое лицо я вижу во всех мелочах. Может быть, герой моего «Сына человеческого» неясно представляется другим, но я-то вижу, как живого, этого деревенского попика, его бороду, глаза и т. д.» (Брусянин В. Леонид Андреев, М., 1912.— С. 84).

В. Воровский посвятил рассказу резко критическую статью. Считая, что «сына человеческого» у Л. Андреева вообще не получилось, он не признавал в попе Иване и бунтаря. «...Отца Богоявлéнского он освещает каким-то чуть не трагическим светом борца и мученика, окружающую же среду живописует в комических тонах,— писал критик.— Получается от этого несоразмерность перспективы, и потому вся картина двоится и не оставляет никакого впечатления» (Литературно-критические статьи. М., 1956.— С. 215).

Примечателен метко обрисованный в рассказе образ младшего сына попа Ивана — Сашки-семинариста, сочувствующего бунтарским настроениям отца. К этому образу Л. Андреев вернулся позже в своем единственном романе «Сашка Жегулев» (Андреев Леонид. Повести и рассказы. М.: ГИХЛ, 1957, Примечания.— С. 521—522).

Рассказ печатается по изданию 1913 г. (Андреев Л. Н. Собр. соч., СПб.,— Т. 3.— С. 161—187).

П. А. Радимов

БАШКИРСКАЯ АКВАРЕЛЬ

Цикл стихов, состоящий из 14-ти стихотворений, каждое из которых написано размером сонета (14 стихотворных строк), кроме последнего, названного «Башкирская акварель» и состоящего из трех четырехстишных строф, был написан в 1913 году (под каждым стихотворением стоит дата).

В книге поэта «Стихи Пешехода», выпущенной издательством «Художественная литература» в 1968 году, некоторые стихи имеют другое название. В частности, стихотворение «Ненастье» именуется «Башкирское ненастье», а стихотворение «Пестрый базар» назван «Базар в Башкирии». Вместе с тем, несмотря на разные варианты названий стихотворений «башкирского» цикла, в текстах их нет никаких разночтений. Текст везде, так сказать, канонический.

Стихотворный цикл «Башкирская акварель» в однотомнике поэта «Избранные стихи» (М.: Художественная литература, 1988.— С. 142—149) вошел в раздел «Восточные мотивы». Цикл стихов печатается по этому изданию.

А. И. Куприн

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

Рассказ впервые опубликован в газете «Утро России» в 1915 г. (№ 354, 25 декабря). В его основу положен эпизод из жизни Ф. И. Шаляпина, происшедший с ним в Уфе в 1891 году. После окончания зимнего сезона в оперно-опереточной труппе С. Я. Семенова-Самарского уфимское общество любителей музыки и пения пригласило Шаляпина выступить на благотворительном концерте в зале Дворянского собрания (ныне — здание Уфимского института искусств). Историю этого выступления Шаляпин не раз вспоминал в кругу своих друзей. В сентябре 1911 года он рассказал ее группе петербургских писателей, среди которых был и Куприн. Журналист П. Маныч записал воспоминания артиста и опубликовал их под заголовком «Шаляпин о своей юности» (Петербургская газета, 1911, № 274, 275; 6 и 7 октября). Для Куприна этот случай послужил канвой для изображения Ф. И. Шаляпина как великого певца и актера.

...Николаша морщится и фыркает...— Николаша — личный секретарь Ф. И. Шаляпина — И. Г. Дворищин.

Недаром же Пушкин, закончив монолог Пимена... бегал взад и вперед по комнате...— Неточная передача содержания письма Пушкина к П. А. Вяземскому от 7 ноября 1825 года по поводу окончания трагедии «Борис Годунов». У Пушкина: «...ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т.— М.: Наука, Изд-е 4-е.— Т. 10. Письма, 1979.— С. 146).

...рассказывает артист о первых своих успехах в La Scala... — Выступление Ф. И. Шаляпина в Миланском оперном театре «La Scala» состоялось весной 1901 года.

Клака (франц.) — лица, нанятые для устройства в театре оваций артисту или для срыва его выступления свистками и гиканьем.

Бывало, прислушиваюсь к Мефистофелю, или к Марселю, или к Мельнику...— Мефистофель — персонаж оперы Ш. Гуно (1818—1893) «Фауст»; Марсель — из оперы Д. Пуччини (1858—1924) «Богема»; Мельник — из оперы А. С. Даргомыжского (1813—1869) «Русалка».

В. Г. Короленко

ПУГАЧЕВСКАЯ ЛЕГЕНДА НА УРАЛЕ

Было это ровно сто лет тому назад. Тихие улицы Уфы благоухали запахами цветов и трав. Почти за каждым палисадником густо зеленели сады. Маленькие деревянные уютные домики как бы смотрели друг на друга оконцами в обрамлении ажурных наличников и распахнутых ставень. Не привлекая особого внимания редких прохожих, шел по сонной улице плотный широкогрудый мужчина. Судя по его неторопливой походке и обостренному интересу к не столь уж броским достопримечательностям, встречавшимся на его пути, можно было догадаться, что это приезжий. Да и одет он, кажется, не по погоде: сарпинковая рубаха синего цвета подпоясана кожаным ремнем, черные брюки заправлены в сапоги. Густая курчавая борода и богатая черная шевелюра, красиво обрамляя правильные черты привлекательного лица, как бы подчеркивают зоркость и мудрость спокойных карих глаз. И от всей коренастой, крепкой фигуры этого симпатичного человека веяло удивительным спокойствием и уверенностью. Таким, очевидно, предстал перед уфимскими жителями в июне 1891 года Владимир Галактионович Короленко.

Поездке В. Г. Короленко в Уфу предшествовали следующие обстоя-

тельства. 22 октября 1887 года он был избран членом Нижегородской архивной комиссии и увлеченно занялся историей, в частности внимательно перечитал все 29 томов «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева. Последний том был доведен до 1775 года, то есть до разгрома Крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева. Именно это, надо полагать, послужило импульсом в пробуждении интереса Короленко к пугачевской теме. К тому же в Нижегородском историческом архиве писателю удалось найти некоторые материалы, относящиеся к восстанию Пугачева. Увлекшись незаурядной личностью Пугачева, сумевшего потрясть основы екатерининской империи, Короленко задумал написать повесть «Набеглый царь». Писатель совершил ряд поездок по Нижнегородской губернии и городам Урала и Поволжья, работал в тамошних архивах, встречался с нужными людьми, вел интенсивную переписку, стремясь найти интересующие его материалы.

В Уфе Короленко посетил писателя-публициста П. И. Добротворского, а затем почти пятнадцать лет с ним переписывался. В книге «Моя исповедь» Добротворский тепло вспоминал о своем знакомстве с «честнейшим русским писателем» Короленко: «Таких людей, в разговоре с которыми можно было бы отдохнуть душой, в Уфе не было, а если они являлись когда, то — как какие-нибудь светочи — являлись и исчезали; таков был приезд в Уфу В. Г. Короленко» (Добротворский П. И. Моя исповедь, М., 1904.— С. 33).

«Пугачевская легенда на Урале» написана осенью 1909 года и должна была войти четвертой главой в очерки Короленко «У казаков». Однако, когда очерки уже были сданы в печать, набраны и даже сверстаны, автор изъял из них «Легенду» и до революции не печатал. Только в 1918 году он передал текст «Пугачевской легенды на Урале» журналу «Голос минувшего», где она появилась в 1922 году, в книге 10, то есть после смерти писателя.

Интерес к личности Пугачева и пугачевскому движению в целом возник у Короленко еще в конце 80-х годов. Но участие в помощи голодающим (1892—1893), поездка в Америку (1893), участие в Мултанском деле (1895—1896), переезд в Петербург, текущие литературные и общественные дела постоянно отвлекали Короленко от работы над исторической повестью о пугачевском движении. Жалуясь в письме к жене от 4 июня 1899 года на сутолоку столичной жизни, Короленко пишет: «Единственным утешением за все это время служил мне только Емелька. Как только урывался свободный часок, я сейчас же за книги и свои записные книжки».

Записные книжки Короленко содержат библиографические указания, по которым можно установить, что им было прочитано множество исторических сочинений, относящихся ко времени Пугачева. Иногда Короленко заносил в них выписки из исторических источников, краткие конспекты глав и картин своей будущей повести «Набеглый царь». При чтении исторических работ Короленко внимательно отмечал черты художественного образа Пугачева: его мужество и силу воли, независимость и нелюбовь к «советникам и указчикам», черты великодушия, а вместе с тем и наивного хвастовства, нарочитую театральность его парадных выходов и т. п. Везде Короленко прослеживал крайнюю жестокость правительственных мер против участников восстания. В библиотеке писателя сохранились три тома книги Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники» (СПб., 1884), с пометками Короленко, которых насчитывается более четырехсот.

Развитие замысла исторической повести о Пугачеве вызвало необходимость поехать в те места, где возникло и окрепло с первых же шагов мощное народное движение, потрясшее основы помещичье-крепостнической России. Предания о крестьянских восстаниях писатель собирал и во время поездки летом 1890 года в Арзамас; в июне 1891 года он ездил в Уфу; лето и раннюю осень 1900 года он провел в Области уральского войска.

Работая в Уральском войсковом архиве, Короленко внимательно вчи-

тывался в старинные дела, делал обширные выписки, стараясь восстановить широкую картину жизни и нравов XVIII века на окраине России перед восстанием, уяснить себе исторические особенности Южного Урала и разобраться в деталях пугачевского движения в тех местах. В письме к Н. Ф. Анненскому 16 августа 1900 года Короленко, в частности, сообщал, что «среди множества дел... почти совсем не встречается преступлений пугачевцев, тогда как верные слуги Екатеринушки — были народ ой-ой вороватый... познакомился с природой, людьми и их будничными делишками».

Чуть позже, 29 августа того же года, Короленко писал жене: «Читаю дела и выписываю. С первым томом пугачевских бумаг справился дня в два-три. Второй том оказался гораздо содержательнее. Выписок приходится делать много. Это задерживает. Зато картина встает довольно полная... Канва для моей будущей работы все расширяется. Мелочи и крупные факты действительных событий все более и более выясняются. Это, конечно, именно только канва, своего рода рамка, на которой придется вышить свой узор. Но некоторые детали уж теперь просятся на бумагу почти в готовом виде. А во-вторых, знаю, что в историческом отношении теперь не навру, колорит времени и места передам, а в некоторых подробностях, быть может, будет кое-что новое даже и для историков... Картина человеческой неправды и подлости, с одной стороны, неясные инстинкты дикой воли, с другой стороны, и среди этих темных разбушевавшихся сил — мечта о какой-то будущей правде, как звезда среди туч,— вот как мне рисуется основная нота моей повести. Но в плане все еще много неясного. И работы много. Придется отрываться часто для других вещей. И читать еще, читать много. Нужно ознакомиться с бытовыми мелочами екатерининского времени».

Много интересного и яркого материала дали Короленко поездки по казачьим станицам, где он беседовал с казаками, фотографировал исторические места. В письме к матери от 20 июля 1900 года он писал: «Езжу по окрестностям Уральска и по ближним станицам. Вчера почти $^1/_2$ дня провел в казачьей станице, окруженный самыми типичными уральцами-раскольниками. Народ суровый, решительный и упорный... Этот день в «Свистуне» (так называется слобода) объяснил мне не меньше, чем, может быть, неделя чтения источников».

Короленко побывал на реке Таловой, где стоял умет (постоялый двор) казака Оболяева, куда к Пугачеву явились первые участники восстания. «Поездка в общем вышла очень удачная,— писал он Е. С. Короленко 28 августа 1900 года.— Место «умета» разыскал с полной точностью и третьего дня стоял над речкой Таловой, на том самом клочке земли, где был постоялый двор и где Пугачев начинал свое дело. Остановились мы на ночлег на постоялом дворе в поселке, и я снял внутренний вид и наружность этих дворов, самого первобытного и очень оригинального вида. Более чем вероятно, что умет Оболяева имел такой же вид; ни на какие российские заезжие дворы не похожий. Жизнь этого поселка тоже очень оригинальная, и все вместе сильно действует на воображение». Доказательством этого воздействия на воображение явилось продолжение письма, в котором Короленко дал сцену первой встречи Пугачева, переодетого купцом, с казачьим старшиной Мартемьяном Бородиным.

Среди материалов Короленко к повести «Набеглый царь» сохранились отрывки, по которым можно проследить развитие замысла писателя. Он намеревался показать Пугачева еще в период Прусской войны; наметил образ одного из главных героев — интеллигента екатерининского времени молодого офицера Скаловского, выступающего с критикой непорядков русской армии и присоединяющегося к пугачевскому восстанию. Особое внимание Короленко уделял роли в восстании угнетенных национальностей окраинной России. В план писателя входило показать Петербург того времени, Екатерину и ее окружение для того, чтобы связать жизнь центра с событиями на Урале и в Поволжье. Произведение должно было широко и полно пред-

ставить разные стороны общественной, экономической и политической жизни России XVIII века, дать картину крупнейшего народного восстания и по-новому раскрыть образ его руководителя Е. И. Пугачева.

Поселившись в Полтаве с осени 1900 года, Короленко в первые годы продолжал собирание исторических материалов; в 1903—1904 годах писал разным лицам в Уфу и Оренбург, делал запросы об архивных данных, касающихся Пугачевского восстания; пытался получить ответы на ряд вопросов от престарелого участника Пугачевского восстания, жившего в Тобольске.

Большой подготовительный материал, однако, остался неиспользованным: писатель все более отходил от своего замысла к другим художественным темам, а начав с 1905 года работу над «Историей моего современника», вынужден был окончательно отказаться от повести «Набеглый царь».

Материалы повести «Набеглый царь» опубликованы в «Записных книжках 1880—1900» (Гослитиздат, 1935) и «Избранных письмах», т. 3 (Гослитиздат, 1936)

При написании комментариев к «Пугачевской легенде на Урале» были использованы «Примечания», имеющиеся в Собр. соч. писателя в десяти томах (М.: ГИХЛ. 1953—1956).

«Пугачевская легенда на Урале» перепечатывается по изданию 1987 года (Короленко В. Г. Повести и рассказы. Уфа: Башкнигоиздат.— Серия «Золотые родники».— С. 16—30).

Траубенберг — генерал-майор, в декабре 1771 года прибыл из Оренбурга в Яицкий городок (Уральск) для следствия о казаках, отказавшихся выполнять очередную воинскую повинность, и произвел над ними жестокую расправу. Был убит восставшими яицкими казаками 13 января 1772 года.

II

А. М. Федоров

С 1890 года Федоров жил в Уфе и Башкирии, работал над своим первым крупным произведением — социально-психологическим романом из башкирского быта «Степь сказалась» (1897). Роман был издан в 1981 году в Уфе в серии «Золотые родники». В 1896 году Федоров переехал в Одессу. Сначала занимался изнурительной журналистской работой, затем — чисто литературным творчеством. Он сочувственно встретил события революции 1905 года, в частности восстание на броненосце «Потемкин», взволнованно писал об этом А. М. Горькому и своему другу И. А. Бунину.

Федоров был широко известен как автор романов «Наследство», «Природа», «Камни», «Подвиг», «Бумажное царство» и других. Кроме того, он написал большое количество рассказов, очерков и стихотворений; перевел на русский язык стихи А. Теннисона, Дж. Кардуччи, Ады Негри, драмы У Шекспира, Э. Ростана. Его пьесы «Бурелом», «Обыкновенная женщина», «Старый дом» и другие успешно шли в Александринском, Художественном и провинциальных театрах. В 1911—1913 годах в Москве вышло собрание сочинений писателя в семи томах.

В 1920 году Федоров эмигрировал в Болгарию; многие годы преподавал русский язык и литературу в гимназиях Софии; издал «Антологию болгарской поэзии» (1924). Умер Александр Митрофанович Федоров почти забытым читателями в 1949 году. До недавнего времени он числился в списке «белых эмигрантов».

В 1988 году приемная дочь Федорова — Лиляна Георгиевна Железнова (по мужу — Шульц) подарила Советскому фонду культуры архив писателя, своего отчима. Это около двухсот ценных документов: множество писем А Куприна, И. Бунина, В. Немировича-Данченко, С. Черного, П. Нилуса,

И. Заикина; рукописи неопубликованных поэтических и прозаических сочинений самого А. М. Федорова.

В БАШКИРСКОЙ СТЕПИ

Цикл стихотворений, состоящий из пяти разделов впервые был напечатан в журнале «Вестник Европы», СПб., 1895, № 10.— С. 775—778. При подготовке к изданию сборника «Стихи», вышедшего в 1908 году в Петербурге, автор подверг весь цикл значительной стилистической правке, добавил вступительную часть из пяти пятистрочных строф, и, таким образом, стихотворения составили шесть разделов; четвертую строфу из предпоследнего раздела —

Муэдзин поет с мечети.
Совершил башкир намаз.
В серебристом лунном свете
Степь брильянтами зажглась —

поэт исключил. В собрание сочинений 1911—1913 гг. Федоров включил текст стихотворений из сборника «Стихи» без каких-либо изменений.

Стихи публикуются по изданию 1911 г. (Федоров А. М. Собр. соч. [в семи томах], т. 4, М.— С. 12—18).

З у л ь к а р н е й н — Зу-ль-карнейн — так мусульманские писатели называли Александра Македонского (356—323 гг. до н. э.), крупнейшего полководца и государственного деятеля древнего мира. В переводе с арабского Зулькарнейн означает «двурогий», что связано, вероятно, с преданием, по которому А. Македонский является сыном египетского Бога Аммона, изображавшегося с двумя рогами.

Б и а р м и я — легендарная страна в Приуралье, известная по русским и скандинавским преданиям IX—XIII вв.

Т а м е р л а н — Тимур, Тимурленг (1336—1405) — среднеазиатский полководец и завоеватель, с 1370 г.— эмир. После трех больших походов (1389, 1391, 1394—1395) Тимур разгромил Золотую орду и разграбил ее столицу Сарай-Берке.

КУРАЙЩИК

Рассказ впервые напечатан 12 сентября 1897 г. в газете «Новое слово».

Публикуется по изданию 1911 г. (Федоров А. М. Собр. соч. [в семи томах], т. I, М.— С. 158—176).

К у р а й щ и к *(курайсы* — башк.) — кураист; к у р а й *(курай* — башк.) — национальный музыкальный инструмент башкир, сделанный из тростникового растения курай. В прошлом курай нередко называли чебызгой, чибызгой, чебузгой *(чыбызғы* — башк.) — дудка, дуда, свирель.

А р у м а *(арыумы* — башк.) — здоро́во; как поживаешь?

Б и р м и н е *(бир миңә* — башк.) — дай мне.

А ш а т ь *(ашау* — башк.) — есть, кушать. Здесь любопытный пример превращения в разговорной речи башкирского глагола в русскую инфинитивную форму (так нередко искажают башкирские слова русские, в речи же башкира это воспринимается уже как обратное влияние).

Ч у в а л *(сыуал* — башк.) — род примитивного камина, к которому часто сбоку пристраивался очаг с котлом для приготовления пищи.

К у л ь м я к *(күлдәк* — башк.) — платье (женское); рубашка, рубаха (мужская), сорочка.

Т е н ь к а *(тәнкә* — башк.) — рубль; монета серебряная или золотая.

С. Г. Рыбаков

О жизни и деятельности братьев Рыбаковых — Сергея и Петра Гавриловичей — до последнего времени было известно непростительно мало. Поиски сведений привели автора этих строк в Ригу, где проживала Елена Петровна Рыбакова-Смирнова, дочь одного из Рыбаковых и племянница другого (ныне проживает в Булдури). Долгие годы бережно хранила она рукописи и письма своих именитых родственников, а также газетные и журнальные вырезки с их материалами, другие семейные реликвии. Многократные встречи и беседы с Еленой Петровной, человеком высокой культуры и интересным собеседником, а также изучение материалов семейного архива позволили восполнить ряд белых пятен из жизни ее отца и дяди. Пользуясь случаем, приношу ей глубокую благодарность за помощь в моей работе.

По воспоминаниям Елены Петровны, предки по отцовской линии были из татар, и это отразилось на внешности Сергея Гавриловича: на сохранившихся фотографиях у него острые широкие скулы и монгольский разрез глаз. Родители были убежденными сторонниками просвещения, большое значение в воспитании детей придавали книгам. Нередко в доме Гавриила Симоновича Рыбакова собирались учителя, излюбленными темами разговоров и споров были литература, состояние образования и необходимость изучения края. Отец часто брал детей в свои поездки по Оренбургскому краю, и они были свидетелями тяжелой жизни русских крестьян, бедных башкир, татар, казахов. Впечатления от этих поездок, просветительская атмосфера в семье формировали мировоззрение и творческие интересы братьев Рыбаковых: Сергей навсегда полюбил устно-поэтическое и музыкальное творчество башкирского народа, а Петр в ряде художественных произведений создал реалистические образы башкир, запечатлел он их и в своих картинах.

С. Рыбаков побывал и в Сибири. В 1899 году он совершил экспедиционную поездку в Тургайскую область, привез оттуда фонографические записи народной музыки туркмен, узбеков, таджиков, уральских казаков и коллекцию из 86 разных мелодий передал в фонд Академии наук. В 1900-х годах он работает крестьянским начальником в Тургайском наместничестве. Кроме изучения казахского фольклора, здесь он обрабатывает для голоса и фортепиано несколько башкирских и татарских мелодий.

Увлеченный «одной, но пламенною страстью», С. Рыбаков был человеком непрактичным в личной и общественной жизни. Вот что говорит об этом Елена Петровна: «Мы, дети, любили дядю Сережу, дома о нем всегда говорили очень тепло. Навсегда запомнились слова отца о своем брате: «Такой он талантливый, но не от мира сего». Не знаю, в какие годы и где Сергей Гавриилович, увлекшись своим любимым музыкальным делом, запустил служебные дела настолько, что ему грозили большие неприятности. Отец тогда взял отпуск и поехал приводить все дела брата в порядок. Личная жизнь Сергея Гавриловича не сложилась. Он был женат на женщине, которая была совершенно безразлична к его интересам. Был у него сын Петр, которого совсем маленьким жена увезла в Ташкент, где ребенок умер. После этого Сергей Гавриилович разошелся с женой. Личные мотивы отразились в его романсах...».

Возвратившись в 1909 году в Петербург, С. Рыбаков занимается пропагандой музыкального фольклора, изучением псалмов — своеобразного жанра русской музыки XVII века, периодически бывает в Оренбурге, обрабатывает материалы народно-песенного творчества.

Октябрьская революция застала С. Рыбакова в Петрограде. В одном из уличных боев он был тяжело ранен. Находясь в 1920 году на лечении в южных госпиталях, он загорелся идеей изучения этнографии и фольклора народностей Кавказа и Крыма. Его проект комплексной экспедиции полу-

чил одобрение и поддержку академика Д. Н. Анучина. 14 сентября 1921 года крымско-кавказская экспедиция под руководством профессора Н. Ф. Яковлева отправилась из Москвы. С. Рыбаков предполагал заниматься этнографией и фольклором на Северном Кавказе, в Азербайджане и Аджарии, но из-за болезни дальше Кисловодска и прилегающих к нему районов побывать не смог. 18 декабря он еще записывал народные мелодии, а через десять дней умер в вагоне на руках у юноши ингуша, которого вез в Москву, желая устроить в университет. «На похоронах Сергея Гавриловича,— вспоминает Е. П. Рыбакова-Смирнова,— тов. Л. Б. Красин сказал маме: «Знаете ли Вы, кого мы потеряли? Таких ученых на всю Россию раз, два и обчелся»...

С. Рыбаков первым любовно собирал башкирскую народную песню, ввел ее в орбиту научного исследования и положил начало всестороннему изучению ее истории и особенностей.

ПО УРАЛУ, СРЕДИ БАШКИР

В 1890-х годах С. Рыбаков совершил продолжительные поездки по Башкирии. Во время первой же поездки им были собраны «песни татарские, башкирские, тептярские, черемисские с их мелодиями» и затем написана статья «О народных песнях татар, башкир и тептярей» («Живая старина», СПб., 1894, вып. III—IV.— С. 325—364) и «Очерк быта и современного состояния инородцев Урала» («Наблюдатель», СПб., 1895, № 7,— С. 271—291; № 8,— С. 294—309).

Путевые очерки «По Уралу, среди башкир» были написаны после летней поездки 1894 года «в коренную Башкирию». В этой экспедиции С. Рыбакова сопровождали брат Петр Гавриилович Рыбаков и народный учитель Андрей Степанович Гусев.

Впоследствии материалы поездок в Башкирию и на Урал С. Рыбаков обобщил в своем фундаментальном труде «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта», вышедшем в 1897 году в «Записках Императорской академии наук по историко- филологическому отделению» (СПб., т. 2, № 2).

Очерки публикуются по единственному журнальному изданию с незначительными сокращениями («Наблюдатель», СПб., 1899, № 9.— С. 62—66, 67—71, 75—80, 81—82, 83—88; № 12.— С. 223—225, 226—248).

Башкиры... говорят на татарском языке.— С. Рыбаков допускает неточность: башкиры говорят на башкирском языке. Другое дело, что населяющие эти губернии башкиры и татары сильно перемежаются между собой, и язык одной народности близок и понятен другой народности.

Уже давно приняли они русское подданство,— еще при Иване Грозном, вскоре после взятия Казани, тогда же за ними признано было владение, на правах собственности, теми землями, на которых они жили. — Имеется в виду добровольное присоединение Башкирии к России, завершившееся в основном к 1557 году. Царь Иван IV предоставил башкирской феодальной знати жалованные грамоты на вотчинное право (право собственности) на принадлежащие им земли.

...водворение русских, которые с первых же шагов обнаружили посягательства на башкирские земли...— Здесь, очевидно, имеется в виду колонизаторская политика царизма. Простой русский народ,— в частности переселенцы, насильно перегоняемые помещиками из родных мест на Урал и в Сибирь, крепостные, а после реформы от 19 февраля 1861 года безземельные крестьяне, гонимые нуждой и голодом на восток в поисках свободных земель,— всегда питал дружеские чувства к трудящимся башкирам.

В целом ряде бунтов против русских...— то есть против самодержавного гнета, помещичье-чиновничьей эксплуатации.

Башкиры... преклонились навсегда перед русским господством.— Речь, разумеется, идет о господстве царизма и колониализма, против которого башкирский народ не прекращал борьбы и после подавления пугачевского восстания 1773—1775 годов.

...в первые десятилетия нынешнего столетия ввели... «кантонное устройство»...— С. Рыбаков допускает небольшую неточность: кантонная система управления в Башкирии была введена 10 апреля 1798 года и с некоторыми изменениями просуществовала до 1865 года. В Башкирии был образован 21 кантон: 5 кантонов оренбургских казаков, 5 кантонов мишарей и 11 кантонов башкир.

Они... занялись кочеванъем... и обленились.— С. Рыбаков, подобно некоторым дореволюционным писателям, ошибочно отождествляет кочевой образ жизни башкир с нежеланием обрабатывать землю, что не соответствовало исторической действительности.

Чувал.— См. комм. к рассказу А. М. Федорова «Курайщик».

...близ султановского прииска Рамеева...— Речь идет о прииске, открытом в 1869 году известным татарским золотопромышленником Мухаметсадыком Габдулкаримовичем Рамеевым в Орском уезде Оренбургской губернии. Его дело продолжили сыновья Закир и Шакир Рамеевы. Закир Рамеев (1859—1921) был, кроме того, талантливым татарским поэтом; печатался под псевдонимом Дэрдмэнд.

Саба *(һаба* — башк.) — кожаный сосуд с узким горлышком для хранения и перевозки кумыса, делается из шкуры животных, преимущественно лошади.

Турсук *(турһук* — башк.) — бурдюк, мешок для жидкости, сделанный из кожи животного, преимущественно лошади. Обычно служит для хранения и перевозки кумыса.

Бешмет *(бишмәт* — башк.) — верхняя мужская одежда башкир.

...академик Лепехин. В своих «Дневных записках»...— Иван Иванович Лепехин (1740—1802) — русский путешественник и натуралист; академик; первый непременный секретарь Российской академии (1783—1802). В 1768—1772 годах руководил одной из экспедиций Петербургской Академии наук, которая исследовала Поволжье, Урал и Север европейской части России. «Дневные записки путешествия... по разным провинциям Российского государства» (тт. 1—3 вышли в 1771—1780 гг., т. 4— «Путешествия академика Ивана Лепехина в 1772 году» — изданы в 1805 году Н. Я. Озерецковским) — основной труд ученого, содержащий громадный фактический материал по географии и этнографии России XVIII века.

...Кана-Никольский завод, основанный в 1751 г. Иваном Мосоловым...— Тульские купцы Мосоловы имели в XVIII веке в Башкирии два больших завода: Кана-Никольский медеплавильный и Златоустовский железоделательный.

«Сынрау турно» *(сыңрау торна* — башк.) — звенящий (поющий) журавль. Существует башкирская народная мелодия «сынрау торна», которая, действительно, напоминает и пение диких птиц, и душераздирающие вопли; звучит тоскливо и заунывно. По существующим легендам и преданиям, журавль является символом одиночества и приносит бедствие там, где он приземляется.

...в прошлом столетии, при Неплюеве... существовала крепость, входившая в ряд крепостей, которыми русское правительство оцепило Башкирию.— Речь идет о крепостях, построенных Неплюевым в середине XVIII века в Оренбургском крае. Иван Иванович Неплюев (1693—1773) — русский дипломат и государственный деятель; в 1742—1758 годах был начальником Оренбург-

ского края, где построил несколько укрепленных линий и более 70 крепостей (последние — наподобие Белогорской крепости в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина).

П. Г. Рыбаков

СТАРШИНА БУРАНБАЙ

Пьеса написана по впечатлениям от поездки П. Рыбакова летом 1894 года (совместно с братом Сергеем Рыбаковым и народным учителем Андреем Степановичем Гусевым) по Башкирии. Имеет подзаголовок: «Комедия в трех действиях (четырех картинах). Из жизни горных башкир».

Первые отзывы о пьесе появились в 1898 году (в частности, в августе того года в «Петербургской газете») и были весьма лестными. Правда, не всем пьеса пришлась по вкусу. Некий шовинистически настроенный «Резонер» жаловался: «...За башкирами, вероятно, скоро пойдут на сцену калмыки, эскимосы и так далеее...» (Петербургская газета, 5 октября 1898 г.).

Пьеса была поставлена в 1901 году в Петербургском театре Е. А. Шабельской и имела успех. Ее постановка вызвала несколько положительных отзывов в газетах, появился даже один отзыв на немецком языке.

Впечатления от поездок по Уралу и Сибири легли в основу рассказов П. Рыбакова «Яков Иванович» и «Татарчонок Кулахмет», очерков «Скачки в киргизской степи» и «Киргизская свадьба». Пятиактная пьеса «Переселенцы», законченная незадолго до смерти писателя, осталась неизданной. В ней изображена драматическая картина переселения безземельных крестьян средней России на Восток. По утверждению дочери писателя Елены Петровны, в пьесе отражены подлинные события первого десятилетия XX века. Рукопись ее (167 с.) датирована 1918 годом, хранится в семейном архиве Е. П. Рыбаковой-Смирновой. У нее же хранятся и другие ценные материалы, в частности: рукописи четырехактной комедии «Соседи» (84 с.) и новеллы «Юбилей» (72 с.), машинопись юмористического рассказа «Всякий бы хотел» (46 с.) и подборка напечатанных произведений П. Рыбакова (в том числе и вырезки из газет) и рецензий на них; кроме того, дневники, письма, экспедиционные документы С. Рыбакова, особенно много — о последней экспедиции ученого. «Мне кажется,— писала автору комментариев Елена Петровна 9 февраля 1980 года,— что последняя экспедиция Сергея Гаврииловича должна представлять особый интерес. По документам видно, в каких условиях приходилось работать ученым и какие трудности они вынуждены были преодолевать, а дневники и письма Сергея Гаврииловича отражают его самого, милого, непрактичного, доверчивого человека». Хотелось бы верить, что ценные материалы братьев Рыбаковых, хранящиеся в семье Е. П. Рыбаковой-Смирновой, станут достоянием государственного архива.

Рукопись пьесы «Старшина Буранбай» также хранится у дочери писателя. Ее копию в 1950 году Е. П. Рыбакова-Смирнова прислала в Институт истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР (нынешнее название — Институт истории, языка и литературы Башкирского научного центра Уральского отделения Академии наук СССР).

По этой копии пьеса впервые была напечатана в 1965 году в третьем томе сборника «Башкирия в русской литературе». (Копия эта хранится ныне в Научном архиве БНЦ УрО АН СССР).

Печатается по изданию 1965 года.

К я ф ы р (арабск.) — гяур, неправоверный, неверный.

В. В. Брусянин

В ЛЕСНОЙ БАШКИРИИ

Рассказ впервые опубликован в журнале «Вестник Европы» в 1902 г. (№ 1 с. 246—282). В сборнике «Час смертный. Рассказы о голодных людях». СПб., 1912 (с. 235—294) заголовок произведения изменен на «Лесное», но содержание осталось прежнее.

Был перепечатан в третьем томе сборника «Башкирия в русской литературе» (1965) по изданию 1912 года.

Печатается по последнему изданию (1965), где было сохранено первоначальное название рассказа, точнее соответствующее содержанию (месту действия) произведения.

А к с а *(акса* — башк.) — деньги, валюта.

Ш а й т а н — черт, бес.

БЕЛЫЙ ВОЛК

Несколько особняком в творчестве Брусянина стоит башкирская легенда «Белый волк». В ней речь идет о страшном голоде, о голодных людях. Но разобраться в ее главной идее не так-то просто.

В основе легенды, несомненно, лежит своеобразная мечта забитого народа о спасении. Предводитель серых волков — Белый волк — ради спасения своих товарищей жертвует собой. Старик Тавильяр тоже отдает себя в жертву, спасая голодных животных. Благодаря аллегорическому параллелизму эта легенда, пересказанная Брусяниным, получает социальное звучание: когда плохо родному народу, пожертвуй собой, но приди ему на помощь. Главная идея легенды «Белый волк», как видим,— гуманистическая. Явственно звучащий в ней мотив самопожертвования по ассоциации невольно заставляет вспомнить горьковского Данко, вырвавшего из груди свое сердце и осветившего им путь людям, хотя по социальной значимости образ Тавильяра значительно уступает герою Горького: он не вождь, а благородная жертва. В рассказе современного даргинского писателя Ахмедхана Абу-Бакара «Черный волк» говорится о том, что автор сам услышал от чабана с высшим образованием удивительные истории о встречах с благородным красавцем Черным волком, вожаком волчьей стаи... (См. Литературную газету за 27 июля 1983 г. Перевод Бориса Авсарагова). Подумалось: возможно, услышанная Брусяниным легенда о Белом волке тоже когда-то имела под собой реальную основу.

Легенда «Белый волк» печатается по единственному известному изданию 1912 г. (Брусянин В. В. Час смертный. Рассказы о голодных людях. СПб.— С. 20—34). Имеет подзаголовок: «Башкирская легенда».

ВЕЧНАЯ МОГИЛА

В легенде «Вечная могила» повествование ведется от имени автора. Речь же персонажей индивидуализирована. Вот как изъясняется, в частности, башкир Нагиб: «А когда мина солдат взяли, я сказал русский царь: айда, посылай мина турка!.. Балкан ходил, генерал Скобелев... самый ява дивизия был Нагиб, и турка вот как живот порол... Зачем Сафиулла стрелял? Зачем Фатима вода пошел?..»

Брусянин довольно точно передал искаженную русскую речь башкир, уловив не только стилистические шероховатости, но и фонетические неточности. По его произведениям можно получить некоторое представление об уровне владения башкирами начала XX века русским языком.

Как видим, в своих несчастьях Нагиб склонен обвинять турок. Не ведает

он, что в трагедии его семьи виноват не «турок», а русский царь, посылающий народ на войну, виноват самодержавный строй.

Впервые «Вечная могила», с подзаголовком «Легенда», была напечатана в книге автора «Корабль мертвых. Рассказы» (М., 1915.— С. 32—39). Других публикаций не было.

Перепечатывается по единственному изданию 1915 г.— «Корабль мертвых. Рассказы».

Г. П. Белорецкий

Литературно-фольклористическая деятельность Белорецкого продолжалась недолго, и изучена она совершенно недостаточно. Вместе с тем, его имя упоминается многими исследователями рабочего фольклора дооктябрьского периода, а записанные им сюжеты включены в хрестоматии по русскому фольклору. Важной вехой в пропаганде творчества писателя явилось издание в Уфе его «Избранного» (Башкнигоиздат, 1958, 320 с.).

Однако ни в одной из работ вопрос о Белорецком как фольклористе специально не рассматривается. Между тем он был пионером в собирании и изучении устной поэзии заводских рабочих Башкирии. Фольклорные мотивы органически вошли также в его произведения, отразившие жизнь и быт населения родного края.

«В народной поэзии сохраняются предания старины. Потому важность ее неизмеримо велика, и посвящать свою жизнь собиранию народных песен — прекрасный подвиг»,— писал Н. Г. Чернышевский (Чернышевский Н. Г Полн. собр. соч., т. 2, М.: Гослитиздат, 1949.— С. 308). Записанные Белорецким частушки и песни занимают особое место среди материалов рабочего фольклора, опубликованных в легальной печати 900-х годов: интересны они еще и тем, что нередко отражают соприкосновение, взаимодействие русского и башкирского фольклора. Щедро черпая из неиссякаемого родника народного творчества, писатель-интернационалист вводил в свои произведения русские и башкирские фольклорные мотивы. Кроме того, он воссоздает портреты исполнителей, описывает манеру их игры. Так, в очерке «Сказитель-гусляр в Уральском крае» он пишет: «Сказитель... бережно положил себе на колени гусли, потер руки о полы кафтана и не без торжественности возложил их на струны... прозвучал сначала неуверенный аккорд, затем аккорд посильнее, и полилась грустная-грустная мелодия. Это была странная, но очень гармоничная смесь русского народного стиля (с его переливами, переборами и замирающими окончаниями музыкальных фраз) с чем-то совершенно чуждым, нерусским. Сначала выводили мотив высокие нотки, трогательно и нежно жалуясь на что-то, а затем сочувственно подхватывали их жалобы басовые струны... Я слушал чудную, артистически выполненную мелодию и с удивлением смотрел на сказителя: неуклюжая, согбенная медвежья фигура, толстые, заскорузлые пальцы,— и эти нежные, трогательные звуки... Я посмотрел на его лицо; оно точно застыло и решительно ничего не выражало. А мелодия становилась все грустней и грустней. Еще жалобнее лепетали на непонятном языке детские голоса дискантовых струн, еще страстнее отвечали на их жалобы тихим, как будто сдерживаемым ропотом басы. В этом ропоте звучали не одни только жалобы, но как будто прорывался и с трудом сдерживаемый гнев. И вдруг нежная медлительная мелодия сменилась бурными и гневными протестующими аккордами. Переполнилась чаша, и нет больше сил терпеть — и нет места кротким жалобам, когда делается последняя отчаянная попытка добыть себе счастье... «Да он виртуоз»,— подумал я». (Белорецкий Григорий. Избранное...— С. 60—61.)

В очерке Белорецкий приводит ряд записей, сделанных от гусляра, в частности: «Сказание, егда кончины миру подобает чаяти», в котором отражено народное верование о светопреставлении; легенду о происхождении

нечистых духов; стихи о «славном Кутузове-генерале», изгнавшем Наполеона, и т. п. Умело вводит он в свой очерк и мотивы башкирского фольклора, отражающие жизнь, культуру, историческое прошлое и природу Башкирии:

А про нашу сторону Уральскую,
Про Уральскую — Сибирскую,
Сицевое в книге сказано:
Отвоевана та земля уральская,
Что царем великим грозным...

...А живут в ней люди башкирские,
Да мордва малорослая,
А живут они в городах высоких,
В лесах дремучих,
Едят мясо лошадиное,
Запивают молоком кобыльим,
Веры они не крещеной.
А житье там не в утробу:
От гор не видно солнышка,
От лесов густых темным-темно... (Белорецкий Григорий. Избранное...— С. 67).

В очерке «Заводская поэзия» Белорецкий приводит многочисленные образцы рабочих частушек, которых объединяет один мотив «жить тяжело». Вот лишь две из них:

Распроклятый наш завод
Перепортил весь народ:
Кому палец, кому два,
Кому по локоть рука...
Грудь расшиб себе два раза
У мартыновских печей.
Я ослеп на оба глаза,—
Хоть бы голову с плечей!.. (Там же.— С. 282.)

ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

Важную роль в раскрытии идейного содержания рассказа «Поздней осенью» играют фольклорные мотивы. Верил башкир Хайридин в Аллаха и его пророка Магомета. Он помнил древнее предание о том, как Магомет, который в тысячу лет один раз обходит землю, останавливался на отдых в Волчьем логу и вершил праведный суд. И он надеялся дождаться прихода Магомета в их края, чтобы рассказать ему о своих бедах.

Рассказ «Поздней осенью» — из цикла «Уральские этюды» — впервые напечатан в 1904 году в журнале «Вестник Европы». С небольшими сокращениями, в частности без приведенного выше «старого анекдота о Магомете», был перепечатан в 1958 году (Белорецкий Григорий. Избранное...— С. 76—89).

Публикуется полностью по журнальному изданию (Вестник Европы, М., 1904, № 3,— С. 111—124).

Л о х (устар.) — деревцо, ветвь.

Ч у в а л.— См. комм. к рассказу А. М. Федорова «Курайщик».

П р и п е н т (устар.) — правильно: припен — пеня, рост, процент, барыш, прибыль.

Л е ш м а н — очевидно, от слова «леший» — человекообразное сказочное существо, живущее в лесу.

К р у т (*корот* — башк.) — высушенный твердый сыр, приготовленный из острого кислого молока кипячением и выцеживанием.

Чиляк *(силәк* — башк.) — липовая дуплянка, дупляк, кадочка-однодеревка с врезанным дном, нередко с крышкой. В чиляках держат масло, мед и прочее.

Сарык *(сарык* — башк.) — чарык, старинная обувь с кожаным носком и суконным голенищем.

Аллах-бисмиллах (арабск.) — во имя Бога.

А. Г. Туркин

Александр Гаврилович Туркин (псевдоним — Гаврилóвич) — один из талантливых литераторов Урала — автор ряда стихотворений, очерков и рассказов, отразивших бесправное положение и тяжелую жизнь трудящихся масс родного края. Герои большинства его произведений — рабочие и мелкие служащие уральских заводов, русские крестьяне и угнетенные, забитые башкиры.

Его творчество, реалистически отобразившее уральскую и башкирскую действительность на рубеже двух веков, привлекло внимание прогрессивной общественности той поры, переиздавалось и в наше время. В 30-х годах книги его рассказов вышли в Свердловске и Челябинске; стихотворения вошли в сборник «Поэты второй половины XIX века», изданный в серии «Литературное наследство Урала» в 1937 году в Свердловске; творчество Туркина представлено в двухтомнике «Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала» (Свердловск, 1956); в 1960 году в Свердловске был издан однотомник писателя — «Душа болит» в 1988 году в Уфе в престижной серии «Золотые родники« массовым тиражом была издана книга писателя — «Повесть и рассказы».

На гуманистическое творчество безвестного уральского писателя обратил внимание В. Г. Короленко — один из самых чутких и заботливых русских литераторов, и в июньском номере журнала «Русское богатство» за 1896 год он поместил рассказ Туркина «Страничка из дневника». Напечататься в таком авторитетном столичном журнале было в ту пору заветной мечтой многих молодых писателей: это означало литературное признание.

Внимательно следивший за творчеством Туркина А. М. Горький поддержал его, указал на основной недостаток произведений, заключавшийся в их сентиментальности, и советовал «не унижать человека жалостью». Одно из писем Туркину с Капри Горький начал так: «Право, я считаю себя очень счастливым тем, что живые и серьезные люди дарят мне письма, подобные Вашему: эти подарки, всегда ценные, очень позволяют мне чувствовать русскую жизнь вернее, чем могут позволить газеты, хотя я читаю их немало». Честным гражданином своей родины был уральский писатель, его волновали настоящее и будущее страны, русского народа, русского мужика.

Под влиянием Горького Туркин стал разрабатывать инонациональную тематику, в частности тему содружества русского и башкирского народов. Эта тема нашла наиболее широкое отражение в главной книге писателя — «Степное», которая была издана в Петербурге М. В. Аверьяновым. Автор придавал большое значение выходу своей книги в столице. «Очень рад, что книга скоро выйдет,— писал он М. В. Аверьянову в ноябре 1914 года.— Не задержите высылкой экземпляров книжки. Знаете авторское настроение: не терпится... По моему скромному ожиданию, книга в наших местах должна пойти (Урал, Челяба, Троицк, Сибирь). Когда-то П. И. Певин издавал мои первые маленькие рассказы («Уральские миниатюры»). Они разошлись у него, и у меня сохранились лестные отзывы о книжечке. Но здесь, у меня, уже более отработанное, зрелое, можно сказать, пережитое... Во всяком случае, здесь строго подобранный материал, напечатанный прежде в журналах, одобренный в личных письмах такими художниками, как покойный П. Ф. Якубович, М. Горький и др.» (Архив Института русской литературы Академии

наук СССР (Пушкинский Дом).— Архив М. В. Аверьянова. Письма к нему А. Г. Туркина, лл. 4, 4 об.).

В письме тому же адресату от 30 декабря 1913 года Туркин благодарит «за присланную книжку». Это позволяет уточнить дату фактического выхода книги в свет: не в 1914 году, как указано на титульном листе и других выходных данных, а в конце 1913-го. В этом же письме Туркин с присущей ему сдержанностью замечает: «Откровенно сказать, не ждал, что книга будет так красива. Боюсь думать, что мои скромные рассказы не оправдают красоты издания...». Книга явилась этапной вещью и действительно имела очень приятный вид. В архиве М. В. Аверьянова сохранилась наклеенная на одно из писем к нему Туркина печатная вырезка, где сказано: «Только что вышел из печати сборник рассказов местного писателя А. Г. Туркина. Сборник носит общее название «Степное» и очень изящно издан товариществом писателей в Петербурге». Эта вырезка, скорее всего, объявление, помещенное в челябинской газете.

«Немножко жаль,— сокрушается Туркин в том же письме к М. В. Аверьянову,— что не вошел рассказ «На вечное владение», который был редактирован М. Горьким в «Современнике». Ну, да бог с ним! Пригодится, может, в будущем». Большой рассказ «На вечное владение» был напечатан в марте 1913 года. Туркин, как видим, лелеял надежду об издании новой книги. Но осуществить это ему уже не было суждено... В том же письме он сообщает: «Деньги 100 рублей получил. Спасибо! Сильно они меня поддержали во время болезни, а у меня еще семья...» (Там же.— Л. 6, 6 об.). Это лишнее подтверждение жалкого существования провинциальных (и только ли провинциальных!) литераторов до революции.

Туркин гордился изданием книги в Петербурге и писал своей двоюродной сестре С. П. Туркиной-Бруштейн: «Я пролезал в большую литературу сам, сидя в Челябе. Я не просил и не заискивал, как это делают многие. Я всем обязан только себе, и это меня удовлетворяет» (Туркин А. Г. Избр. произв. Свердловское гос. изд-во, 1935.— С. 19). Эти мысли, надо полагать, были очень дороги писателю. Во всяком случае, в первом советском издании «Избранных произведений» Туркина, осуществленном в 1935 году в Свердловске при деятельном участии С. П. Туркиной-Бруштейн, эти слова приведены в факсимильном исполнении в виде эпиграфа ко всей книге, непосредственно после портрета писателя, помещенного перед титульным листом. В том же письме Туркин сообщал двоюродной сестре о предполагаемом издании второго сборника, который должен был объединить произведения, не вошедшие в «Степное». Но сборник, как уже говорилось, не был издан, и осталось неизвестным, что именно должно было войти в него.

Книга «Степное», объединившая лучшие произведения Туркина, как бы подытожила творчество писателя: после 1914 года литературной деятельностью он фактически не занимался: редактирование собственной газеты «Голос Приуралья» отнимало все время; сборник «Степное» стал последним прижизненным изданием автора.

Книга Туркина имела успех у читателей, но реакционная критика встретила ее в штыки. «Нет светлых лучей, даже коротких блесков нет на широкой равнине. Темная, мрачная ночь, без просвета...— писал о сборнике «Степное» один из таких критиков.— Здесь от частого повторения, от целого цикла зверств и жестокостей колорит черной ночи приобретает почти убедительность. Ищешь хоть одно светлое пятно и не находишь» (Современник, СПб., 1914, № 7.— С. 124). Любопытно, что рецензент, тенденциозно желая подчеркнуть слабые стороны сборника, помимо своего желания заострил внимание на его сильных сторонах, на критике «темного царства» и безуспешно пытался полемизировать с Туркиным. Однако и тенденциозная критика не могла не отметить достоинств книги: «Да, красочно, талантливо, местами захватывает, но не нужно, зачем ночь одна... Неужели нет в

жизни ярких лучей, и неужели не светит солнце над широкой равниной!» (Там же.— С. 124).

...Наступившая после подавления первой русской революции реакция действовала на Туркина угнетающе, а начавшаяся вскоре империалистическая война повергла в уныние. «...Болит душа,— писал он С. П. Туркиной-Бруштейн,— за злую русскую жизнь, за людей, что бьются во мраке сотни лет, за дорогие идеалы, что растоптаны бывают. Хочется мучительно света, счастья народного, солнца и борьбы за грядущее!».

ИБРАГИМ

Впервые рассказ опубликован в альманахе «Уральская жизнь» в 1910 году (кн. 11.— С. 5—22). Вошел в книгу «Степное» (1914), а также в сборник «Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала» (Свердловск, 1956, т. 2.— С. 224—241) и книги: Туркин А. Душа болит. Избр. рассказы (Свердловск, 1960.— С. 219—238), Туркин А. Г. Повесть и рассказы (Уфа, 1988.— С. 19—35).

Печатается по последнему изданию —1988 г. (Туркин А. Г. Повесть и рассказы. Уфа: Башкнигоиздат.— С. 19—35).

Чувал.— См. комм. к рассказу А. М. Федорова «Курайщик».

Туйдуган *(тойлэгэн* — башк.) — коршун.

Апай (башк.) — старшая сестра; тетя — младшая сестра отца или матери; вежливое обращение к женщине старшей по возрасту. Здесь в значении: женщина, жена.

Атай (башк.) — отец, папа.

Шайтан.— См. комм. к рассказу В. В. Брусянина «В лесной Башкирии».

Ашай *(аша* — башк.) — ешь, кушай.— См. еще комм. к рассказу А. М. Федорова «Курайщик».

КУЛЬТУРА

Рассказ впервые опубликован в апрельском номере журнала «Современный мир» за 1911 г. Включен в сборники А. Г. Туркина издания 1914, 1960 и 1988 гг. Вошел также в сборник «Башкирия в русской литературе» (Уфа: Башкнигоиздат, 1965.— Т. 3.— С. 483—486).

Печатается по изданию 1988 г. (Туркин А. Г. Повесть и рассказы. Уфа: Башкнигоиздат.— С. 44—46).

Апайка.— См. комм. к рассказу А. Г. Туркина «Ибрагим».

УЧИТЕЛЬ

Впервые рассказ напечатан в журнале «Современный мир» в 1911 г. (СПб., № 4, апрель, с. 113—116). Публикуется по изданию 1914 г. (Туркин А. Г. Степное. Очерки и рассказы.— СПб.,— С. 225—229).

Бишбармак *(бишбармак* — башк.) — башкирское национальное кушанье из мелко накрошенного мяса и квадратно нарезанной лапши, приправляемое крепким бульоном, луком и перцем.

НОЧЬ

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современный мир» (СПб., 1911, № 4.— С. 116—120). Печатается по этому изданию.

А п а й к а.— См. комм. к рассказу А. Г. Туркина «Ибрагим».

И ч и г и *(ситек* — башк.) — комнатные кожаные мягкие сапожки; при выходе на улицу на ичиги надевают резиновые или кожаные галоши.

ГРЕХ

Рассказ напечатан в 1914 г. (Туркин А. Г. Степное. Очерки и рассказы. СПб.— С. 273—284); вошел в двухтомник «Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала» (Свердловск, 1956.— Т. 2.— С. 242—250), а также в книги: Туркин А. Душа болит. Избр. рассказы (Свердловское кн. изд-во, 1960.— С. 239—148) и Туркин А. Г. Повесть и рассказы (Уфа: Башкнигоиздат, 1988.— С. 60—67). Кроме того, включен в сборник «Башкирия в русской литературе» (Уфа: Башкнигоиздат, 1965, т. 3.— С. 500—503).

Публикуется по последнему изданию —1988 г. (Туркин А. Г. Повесть и рассказы. Уфа: Башкнигоиздат.— С. 60—67).

Н. А. Степной

КАШКЫР (ВОЛКИ)

Рассказ написан в 1905 году, опубликован в третьей книге оренбургского литературного сборника «Степь» в 1916 году (с. 27—41). Вошел в первый том десятитомного Собрания сочинений писателя, изданного в Москве Всероссийским обществом крестьянских писателей (ВОКП) в 1927—1929 гг.

Печатается по изданию 1927 г. (Степной (Афиногенов) Н. А. Собр. соч. в десяти томах. Т. 1, М., ВОКП.— С. 43—56).

К а ш к ы р *(кашкар* — башк.) — белолобая собака, белолобый; здесь, как явствует из подзаголовка, кличка относится к волку.

М у э д з и н (арабск.) — служитель религиозного культа мусульман, призывающий верующих на молитву.

Б а к ш и ш (персидск.) — подарок, взятка, подачка, чаевые, а также в значении бизнес.

К а т ы н *(катын* — башк.) — жена, супруга; женщина, баба.

К о р а н (арабск.) — священная книга мусульман, сборник разнообразных легенд и мифов; содержит изложение веры, правила нравственности, а также бытовые и юридические нормы, легшие в основу писаного мусульманского права — ш а р и а т а (см. комм. к рассказу А. Г. Туркина «Грех»). Коран использовался (и используется) господствующими классами как орудие духовного порабощения трудящихся.

Ч а п а н *(сапан* — башк.) — халат.

К ы з *(кыз* — башк.) — дочь, девочка.

Б а р а н ч у к — так русские называли башкирских детей. В речи башкир это воспринимается как обратное влияние.

Ш а й т а н.— См. комм. к рассказу В. В. Брусянина «В лесной Башкирии».

Б и ш б а р м а к.— См. комм. к рассказу А. Г. Туркина «Учитель».

А ш а й.— См. комм. к рассказу А. Г. Туркина «Ибрагим».

СМЕРТЬ БАТЫРА

Легенда написана в 1907 году. Вошла в десятитомное собрание сочинений писателя, изданное в 20-х годах (т. 1, 1927,— С. 28—36). Перепечатана в сборнике «Башкирия в русской литературе» (Уфа: Башкнигоиздат, т. 3, 1965.— С. 522—528). Публикуется по этому последнему изданию.

Ш а й т а н.— См. комм. к рассказу В. В. Брусянина «В лесной Башкирии».

В. Н. Львов

ШАМСИНОР

Имеет подзаголовок: «Рассказ из башкирской жизни». Впервые напечатан в 1906 году в Москве в книгоиздательстве «Школьная библиотека», под редакцией Вл. Львова — автора рассказа. Был переиздан отдельной книгой в 1913 и 1923 годах (Львов В. Н. Шамсинор. Рассказ из башкирской жизни, М.; Пг.). Вошел в сборник «Башкирия в русской литературе» (Уфа: Башкнигоиздат, т. 3, 1965.— С. 530—554).

Печатается по последнему изданию —1965 года.

Ж и л я н *(елән* — башк.) — верхняя легкая одежда в виде халата без воротника; мужская — обычно без украшений, женская — украшенная вышивками, позументом и монетами.

С а л я м-а л е й к у м *(әссәләмәгәләйкүм* — арабск.) — почтительное приветствие, означающее: «мир, здравия Вам, уважаемый человек».

К р у т *(корот* — башк.) — высушенный твердый сыр, приготовленный из острого кислого молока кипячением и выцеживанием.

М а л а й к а *(малай* — башк.) — мальчик, мальчишка.

Б а р а н ч у к.— См. комм. к рассказу Н. А. Степного «Кашкыр (волки)».

Э т (башк.) — собака, пес.

П с а й *(бесәй* — башк.) — кошка.

К а я р *(кыяр* — башк.) — огурец.

К у л ь м е к (күлдәк — башк.) — платье женское; рубашка, рубаха мужская, сорочка.

Б и к (башк.) — очень.

К у м г а н *(комған* — башк.) — кувшин с крышкой, служит для умывания и омовений.

Б е л ь м е й *(белмәйем* — башк.) — не знаю.

А ш а е т.— См. комм. к рассказу А. М. Федорова «Курайщик».

И с а н б у л *(исән бул* — башк.) — будь здоров, до свидания, прощай.

Т а с т а м а л *(таştамал* — башк.) — полотенце.

А р у м а.— См. комм. к рассказу А. М. Федорова «Курайщик».

Б е ш м е т *(бишмәт* — башк.) — верхняя мужская одежда башкир.

Ю к л а й *(йоклай* — башк.) — спит. А л а м а (башк.) — плохой, дурной, дрянной.

П. П. Инфантьев

ЖЕНА АХМЕТА

Рассказ был напечатан отдельной книгой в серии «Читальня Народной школы» в 1909 году. Титульный лист озаглавлен: «Башкиры. очерк. Жена Ахмета. Рассказ из башкирской жизни П. Инфантьева». Название серии дано сверху, внизу же значится: «С.-Петербург —1908 г.» Объем 32 с., небольшой формат. Есть основание полагать, что книга эта вышла не в 1908

году, как указано на титульном листе, а в 1909-м, ибо на 4-й странице обложки (переплета) значится: «Открыта подписка на 1910 год на журнал «Читальня Народной школы» (подписка, как известно, проводится не за два года вперед, а за несколько месяцев).

В 1909 году вышла большая книга П. П. Инфантьева «Этнографические рассказы из жизни татар, киргизов, калмыков, вогулов, башкир и самоедов». Каждый из рассказов из жизни той или иной народности России предваряется небольшим очерком, в котором автор дает описание быта, нравов и обычаев этого народа. Эти очерки помогают лучше понять содержание рассказов. Книга богато иллюстрирована бытовыми картинами и портретами представителей описываемой народности. Уместно привести здесь очерк «Башкиры», который служит как бы ключом к правильному пониманию содержания рассказа «Жена Ахмета»:

«Б а ш к и р ы.

Происхождение башкир еще мало выяснено. Некоторые исследователи полагают, что башкиры одного происхождения с вогулами и родственными им венграми и принадлежат к финскому племени. Другие ученые, основываясь на сходстве башкирского языка с языком приволжских татар, относят башкир к тюркскому племени, к которому принадлежат и татары. Наконец, третьи предполагают, что есть башкиры, родственные народам монгольской расы, и есть башкиры, родственные народам кавказской расы; к первым относят степных башкир, ко вторым живущих в лесных местностях.

Очень может быть, что это последнее утверждение более верное, и что именем башкир в настоящее время называют две совершенно разноплеменные народности, из которых одна была когда-то побеждена второю, утратила под ее влиянием свои первоначальные особенности и позаимствовала у своих победителей язык, верования и обычаи, сохранив отличия в чертах лица, в характере. Примеров такого почти полного уничтожения и поглощения более сильным народом народа менее сильного можно найти много в истории народов; например, обрусевшие вогулы и некоторые другие инородцы, попав под влияние русских, утратили свой родной язык и верования и в настоящее время отличаются от окружающих их русских крестьян почти только одними чертами лица.

В настоящее время башкир можно встретить живущими по обеим сторонам Среднего и Южного Урала, во многих уездах Уфимской, Оренбургской, Самарской, Пермской и Вятской губерний, а также в некоторых местах по рекам Каме и Уралу и их притокам и по левым притокам реки Тобола, в Западной Сибири. Их численность достигает 600000 душ, а вместе с родственными им тептярями и мещеряками их насчитывают более миллиона душ.

Башкиры, подобно казанским и вообще приволжским татарам, народ оседлый. Зимою они живут деревнями в деревянных домах, которые называются «уй» и строятся на подобие наших крестьянских домов, только с широкими нарами вдоль стен, с чувалом (очагом) и вмазанным в него котлом для варки пищи. Летом же башкиры уходят поближе к своим земельным наделам. Многие считали поэтому башкир кочевниками, хотя они такие же кочевники, как наши крестьяне, переселяющиеся на время страдной поры на свои покосы и пашни. Богатые башкиры летом живут в кошах (войлочных кибитках), на подобие киргизских, а бедные в аласыках (сделанных из луба или из прутьев и бересты шалашах).

Еще недавно главным занятием башкир было скотоводство. Но в настоящее время, когда обширные башкирские земли частью отняты у них русскими, частью за бесценок распроданы или сданы в долговременную аренду русским переселенцам самими же башкирами, скотоводство у них сильно сократилось, и башкиры обеднели. Теперь башкиры влачат по большей части самое жалкое существование, занимаясь земледелием на тех скудных наделах, которые остались в их владении.

Подсобными промыслами у них являются пчеловодство и охота; кроме того, они занимаются извозом, лесными промыслами, работою на заводах и проч.

Во всех башкирских деревнях посетителя поражает какая-то неустроенность, недоконченность, безхозяйственность, отсутствие домовитости и любви к дому даже у зажиточных домохозяев. Там развалилась крыша на избе, тут нет ворот у ограды, здесь упал забор. Внутри жилища также везде видны небрежность и неопрятность. Башкиры народ довольно грязный; они не знают мыла, спят в одежде, не раздеваясь, моются очень редко; благодаря этому, в домах у них заводится масса насекомых и паразитов. Башкир легкомыслен и нерасчетлив; он живет как будто заботясь только о текущем дне, нисколько не думая о будущем.

По своему духовному складу, это народ довольно способный к умственному развитию. По характеру своему башкир смел, вынослив, гостеприимен и любит общество и веселье.

Башкиры так же, как и татары, исповедуют магометанскую религию; но у них встречаются, впрочем, и остатки древних верований — поклонение духам гор, лесов, рек, озер и проч.

Многие, в особенности из зажиточных башкир, имеют по две жены, а иногда и более. На женщинах у них лежат все домашние работы, но зато они пользуются сравнительно с другими магометанскими женщинами значительною свободой. Башкирские женщины в большинстве случаев, в особенности у бедных, не закрывают своего лица от мужчин, хотя в некоторых местностях этот обычай все еще продолжает соблюдаться свято.

Общественное управление у башкир устроено по образцу русского сельского и волостного управления с небольшими лишь изменениями. Наравне с русскими они отбывают также и общую воинскую повинность.

Обычную пищу башкир составляют молоко и молочные продукты, а также конина, баранина и разные крупы. Из напитков наиболее употребительны чай, кумыс, айран (из козьего и коровьего молока).

Одежда башкир сходна с татарской. На бритой голове носят они аракчинку, круглую, шитую шелками и бисером шапочку с кисточкой; поверх ее надевают остроконечную шапку из войлока, отороченную мехом, с загнутыми кверху ушами. Поверх рубашки и широких шаровар носят белого сукна кафтан татарского покроя или бухарский халат, зимою — тулуп. У богатых имеются синие чекмени с позументами. На поясе с правой стороны сумка, с левой — мешочек с ножиком; на ногах — сапоги, или сарыки (суконные чулки с кожаными подошвами), или лапти из бересты.

Женщины носят косы со шнурами, на которые нанизываются серебряные монеты. Франтихи чернят себе брови и зубы, красят ногти, белятся, румянятся.

В своих семейных обычаях, в свадебных и похоронных обрядах и проч. башкиры очень похожи на своих единоверцев татар». (Этнографические рассказы. Из жизни татар, киргизов, калмыков, башкир, вогулов и самоедов П. П. Инфантьева. С 59 рисунками в тексте. СПб., Издание А. Ф. Девриена. На об. титула: Типография А. Бенке, Новый переулок, № 2.— С. 87—90).

Рассказ «Жена Ахмета» печатается по этому же изданию (с. 91—106)

С. Р. Минцлов

ДЕБРИ ЖИЗНИ. УФА.

До последнего времени наша осведомленность об известном русском писателе и библиографе Сергее Рудольфовиче Минцлове была весьма скудной. Причина тому — «белый эмигрант». Между тем большая первая глава его «Дневника» — «Дебри жизни» называется «Уфа» и является уникаль-

ным источником краеведческих сведений об Уфе и Уфимской губернии восьмидесятилетней давности — с апреля 1910-го по апрель 1911-го года.

Большой отрывок из книги Минцлова «Дебри жизни. Дневник» (фактически первая половина главы «Уфа») был опубликован в августе 1990 г в ряде номеров газеты «Советская Башкирия».

Башкирское книжное издательство в 1991 году выпускает отдельную книгу Минцлова, в которую входят глава «Уфа» (полностью) из «Дневника» — «Дебри жизни» и брошюра «Очерки Приуралья. Восточная часть Стерлитамакского уезда», изданная в 1910 г. в Уфе тиражом 30 экземпляров.

Начало главы «Уфа» печатается по книге С. Р. Минцлова «Дебри жизни. Дневник. 1910—1915», изданной в Берлине Сибирским книжным издательством в начале 1920-х годов (с. 3—10).

БИБЛИОГРАФИЯ

А л и м г у л о в А. **Башкирские мифологические рассказы.**//Вестник Оренбургского учебного округа.— Уфа, 1915, 111 научный отдел.— № 5.— С. 210—213.

А н д р е е в Л. Н. **Сын человеческий.** Рассказ.— В кн.: Андреев Л. Н. Собр. соч.— СПб., 1913.— Т. 3.— С. 161—187.

(Б е з. а в т.). **Башкирский поселок в Вилюйском округе.**//В газ.: Восточное обозрение.— Иркутск, 1896.— № 45.

Б е л д ы ц к и й Н. П. **На соколиной охоте.** Из очерков Пермской Башкирии.//Известия Архангельского общества изучения русского Севера.— Архангельск, 1911.— № 1.— С. 41—49.

Б е л о р е ц к и й (Л а р и о н о в) Г. П. **Заводская поэзия.** Очерк.// В кн.: Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала.: В 2 т.— Свердловск, 1956.— Т. 2.— С. 419—430.

Поздней осенью. Рассказ. Из Уральских этюдов.//В сб.: Башкирия в русской литературе.— Уфа, 1965.— Т. 3.— С. 437—451.

Б р у с я н и н В. В. **Новогодний день в башкирской деревне.** Рассказ.// В газ.: Русская жизнь.— СПб., 1893.— № 158, 166, 174, 178, 188.

Одинокий. Очерк. Из цикла «По полям и лесам».//Вестник Европы.— СПб., 1901.— № 10.— С. 612—624.

В лесной Башкирии. Рассказ.// В сб.: Башкирия в русской литературе.— Уфа, 1965.— Т. 3.— С. 375—412.

Белый волк. Башкирская легенда.//В кн.: Брусянин В. В. Час смертный. Рассказы о голодных людях.— СПб., 1912.— С. 20—34.

Голодающие мещане. Очерк.— Там же.— С. 65—75.

Человек — зверь. Очерк.— Там же.— С. 76—93.

Беспокойное место. Рассказ.— Там же.— С. 122—185.

Злосчастные. Рассказ.//Вестник Европы.— СПб., 1903.— № 4.— С. 700—736.

Тоже жизнь. Из рассказов старухи. Рассказ.//В кн.: Брусянин В. В. В рабочих кварталах. Очерки.— Пг., 1915.— С. 66—83.

Тихие долины. Из записок бывшего учителя. Очерк.— Там же.— С. 275—309.

Былое — тяжелое. Очерк.//В кн.: Брусянин В. В. Час смертный. Рассказы о голодных людях.— СПб., 1912.— С. 295—315.

Вечная могила. Легенда.//В кн.: Брусянин В. В. Корабль мертвых. Рассказы.— М., 1915.— С. 32—39.

Под черной маской. Рассказ.//В кн.: Брусянин В. В. Христовы братья. Повесть и другие рассказы.— М., 1917.— С. 92—99.

Два солнца. Рассказ.— Там же.— С. 100—108.

В борьбе за труд. Повесть из жизни рабочих Урала.— Пг., 1919.

В — ъ М. **О колонизации башкирских земель.** //В газ.: Урал.— Екатеринбург, 1897.— № 175.

Гарин-Михайловский Н. Г. **Вариант.** Рассказ.//В кн.: Гарин-Михайловский Н. Г. Полн. собр. соч.— Пг., 1916.— Т. 1.— С. 216—252.

По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову (Из путешествий вокруг света).— Там же.— Т. 5.— С. 3—298.

Дневник во время войны.— Там же.— Т. 6.

Головачев Д. **Последствия неурожая в Уфимской губернии.**//Вестник Европы.— СПб., 1899.— № 8.— С. 716—735.

Горький А. М. **Немой.** Башкирская легенда.//В кн.: Горький М. Собр. соч.: В 25 т.— М.: Наука, 1968—1976.— Т. 3.— С. 444—446.

Жизнь Клима Самгина. (Сорок лет.) Повесть.— Тт. 21—24.

Дергунов К. О. **Грезы и жизнь**//Самарская газета.— Самара, 1902.— № 11.

Дмитриев Н. З. **По башкирским деревням.** (Очерк).//В газ.: Пермские губернские ведомости.— Пермь, 1895.— № 95.

Сабантуй в башкирской деревне. (Очерк.) — Там же.—1895.— № 114.

Залесский Н. В. **Из писем о голоде.** Из Белебеевского уезда (Уфимской губернии).//Русское богатство.— СПб., 1900.— № 1.— С. 75—85.

Златовратский Н. Н. **Золотые сердца.** Повесть.//В кн.: Златовратский Н. Н. Деревенский король Лир. Повести, рассказы, очерки.— М.: Современник, 1988.— Серия: «Из наследия».— С. 137—321.

(Без. авт.). **Из поездки к голодающим.**//Мир божий.— СПб., 1899.— № 9.— Отдел «Разные новости».— С. 10—12.

Инфантьев П. П. **Башкиры.**//В сб.: Этнографические рассказы из жизни татар, киргизов, калмыков, вогулов, башкир и самоедов П. П. Инфантьева.— СПб., 1909.— С. 87—90.

Жена Ахмета. Рассказ из башкирской жизни.— Там же.— С. 91—106.

К — в П. **История одной деревни.**//Самарская газета.— Самара, 1902.— № 85.

Казанцев Н. В. **По разливу.** Очерк.//В кн.: Казанцев Н. В. Повести и рассказы.— Екатеринбург, 1898.— С. 461—498.

Самородка. Из промышленной жизни. Рассказ.— Там же.— С. 578—600.

Калачев А. **Очерк современного экономического положения башкир Уфимской губернии.**//Живая старина.— СПб., 1899.— Вып. 3.— С. 313—329.

Короленко В. Г. **История моего современника.**//В кн.: Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т.— М.: ГИХЛ, 1954.— Тт. 5—7.

Пугачевская легенда на Урале. Исторический очерк.— Там же.— Т. 8.— С. 429—449.

Крашенинников Н. А. **Ночлег (Лесной сторож).** Рассказ.//В кн.: Крашенинников Н. А. Под солнцем Башкирии (роман «Амеля́» и рассказы).— М.: ГИХЛ, 1936.— С. 28—33.

Красавица Зюгра. Рассказ. (Из башкирской жизни.)//Муравей.— М., 1900.— Январь, № 3.— С. 12—14.

Башкирские саги. (Очерк.)//Этнографическое обозрение.— М., 1900.— Кн. 47, № 4, отдел VI.— С. 132—137.

Из головы медведя. Рассказ. (Вместо вступления.)//В кн.: Крашенинников Н. А. Под солнцем Башкирии.— М.; ГИХЛ, 1936.— С. 15—28.

Свадьба Сафея. Рассказ.— Там же.— С. 55—65.

Хазрет Хайбулла. Рассказ.— Там же.— С. 34—47.

Темнота беспросветная. (Из жизни башкирских захолустий.) Рассказ.// В газ.: Курьер.— М., 1901.— № 20, 24.

Ночь на пасеке. Рассказ.//В кн.: Крашенинников Н. А. Под солнцем Башкирии.— М.: ГИХЛ, 1936.— С. 108—116.

Башкирские скачки. Рассказ.— Там же.— С. 81—95.

Башкиренок. Рассказ.//В газ.: Курьер.— М., 1901.— № 92.

Больтерьянец. Рассказ.//В кн.: Под солнцем Башкирии.— М.: ГИХЛ, 1936.— С. 48—54.

После зимы. Рассказ.— Там же.— С. 65—73.

К земле обетованной. Рассказ.— Там же.— С. 73—81.

Житье-бытье. Рассказ.— Там же.— С. 95—104.

Отщепенец. (Из башкирской жизни.) Рассказ.//В газ.: Уральская жизнь.— Екатеринбург, 1902.— № 61.

Как произошел башкирский народ. Сага.//Детское чтение.— М., 1902.— № 9.— С. 137—138.

Письма о Башкирии. Очерк.//В газ.: Слово.— М., 1903.— № 40,48.

Ахмет Усманыч. Рассказ.//В кн.: Крашенинников Н. А. Под солнцем Башкирии.— М.: ГИХЛ, 1936.— С. 104—108.

Вишни смерти. Рассказ.— Там же.— С. 116—131.

Батыр Малик. Рассказ.— Там же.— С. 131—141.

Желанье старой жены. Рассказ.— Там же.— С. 141—149.

Гроза людей. Рассказ.— Там же.— С. 149—154.

Мать. Рассказ.— Там же.— С. 155—169.

Казачок Курул. (Из писем о Башкирии.) Рассказ//Новое слово.— М., 1906.— № 40.— С. 638—641.

Гордость Магометова. Рассказ.//В кн.: Крашенинников Н. А. Угасающая Башкирия. (Рассказы.) — М., 1907.— С. 127—134.

Песня курайсы. Рассказ.//В кн.: Крашенинников Н. А. Под солнцем Башкирии.— М.: ГИХЛ, 1936.— С. 169—173.

Амеля́. Роман.//В кн.: Крашенинников Н. А. Амеля́. Роман и рассказы.— Уфа: Башкнигоиздат, 1977.— Серия: «Золотые родники».— С. 17—186.

Новая земля. Очерк. (Из цикла «Новые письма о Башкирии».)//В кн.: Крашенинников Н. А. К земле обетованной. Рассказы.— Уфа: Башкнигоиздат, 1963.— С. 175—178.

Восемь лет. Воспоминания о гимназии. М.: Детская литература. 1983.— 96 с.

Невозвратное. (Воспоминания.) — Уфа: Башкнигоиздат, 1987.—176 с.

Куприн А. И. **Гоголь-моголь.** Рассказ.//В кн.: Куприн А. И. Собр.

соч.: В 5 т.— Т. 4.— М.: Правда. (Библиотека «Огонек». Отечественная классика.)—1982.— С. 342—347.

Лось М. **Башкирские сказки.**//В сб.: Вестник Оренбургского учебного округа.— Уфа, 1912.— № 5.— Отдел 111.— С. 173—180; № 7—8.— С. 262—280.

Львов В. Н. **Шамсинур.** Рассказ из башкирской жизни.— М.; Пг., 1923.

Минцлов С. Р. **Очерки Приуралья.** Восточная часть Стерлитамакского уезда.— Уфа: Электрическая губернская типография, 1910.—26 с.

Дебри жизни. Дневник (1910—1915 гг.).— Берлин: Сибирское книгоиздательство (начало 20-х гг.).— 397 с.

Мокшанцев А. А. **За кладом.** Рассказ-легенда. (Из цикла «В дебрях Урала».)//В сб.: Серый труд.— Оренбург, 1913, 2-е дополненное изд.— С. 181—196.

Бер-хомут. Рассказ. (Из цикла «В дебрях Урала».)— Там же.— С. 197—202.

Морозов В. С. Воспоминания о Л. Н. Толстом.— М.: Посредник, 1917.

Оленич Н. **Празднества и увеселения у башкир.**//В газ.: Уфимские губернские ведомости.— Уфа; 1898.— № 267, 273.

П. Б. Очерки золотопромышленности Южного Урала.//Русское богатство.— СПб., 1895.— № 6.— С. 133—171; № 7.— С. 49—87; № 8.— С. 34—73.

Радимов П. А. **Башкирская акварель.**//В кн.: Радимов Павел. Избр. стихи. М.: Художественная литература, 1988.— С. 142—149.

(Без. авт.). **Расхищение башкирских земель.** (Очерк.)//Мир божий.— СПб., 1901.— № 1.— Отдел «Разные разности».— С. 24—26.

Рыбаков П. Г. **Ночь.** Рассказ.//Русская беседа.— СПб., 1895.— № 8.

Старшина Буранбай. Комедия в трех действиях (четырех картинах).//В сб.: Башкирия в русской литературе.— Уфа: Башкнигоиздат, 1965.— Т. 3.— С. 224—264.

Давлет-хан. Легенда.//В газ.: Новое время.— СПб., 1901.— № 9136, 9143.

Рыбаков С. Г. **О народных песнях татар, башкир и тептярей.**//Живая старина.— СПб., 1894.— Вып. 3—4.— С. 325—364.

Курай, башкирский музыкальный инструмент. С приложением шести мелодий курая. (Отдельный оттиск из «Русской музыкальной газеты».— 1895, январь.)— СПб., 1896.

Очерк быта и современного состояния инородцев Урала.//Наблюдатель.— СПб., 1895.— № 7— С. 271—291; № 8.— С. 294—309.

Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта. 204 мелодии с текстами и русским переводом. Характеристики музыкантов и очерки путешествия.— Записки Императорской Академии наук по историко-филологическому отделению.— СПб., 1897.— Т. 2.— № 2.

По Уралу, среди башкир. Путевые очерки.//В сб.: Башкирия в русской литературе.— Уфа: Башкнигоиздат, 1965.— Т. 3.— С. 165—222.

Свидерский А. **Начальное народное образование в Уфимской губернии.**//Образование.— СПб., 1902.— № 5—6.— С. 144—158.

Седин И. **Поездка на кумыс.** (Личные воспоминания.)//Русская мысль.— М., 1903.— № 3.— Отдел 2.— С. 37—54.

Симон Ф. П. **Из картин Оренбургского края. Уголок Белой.** (Очерк.) //Новое слово.— СПб., 1895.— № 3—4.— С. 264—268.

Соколов Д. **Башкирское войско в походе русских против Наполеона.** Из мемуаров французского генерала Марбо.//В сб.: Труды Оренбургской ученой архивной комиссии.— Оренбург, 1897.— Вып. 3.— Раздел 3.— С. 1—6.

Степной (Афиногенов) Н. А. **Кашкыр** (волки.) Рассказ.// В кн.: Степной (Афиногенов) Н. А. Собр. соч.: В 10 т.— М.; Всероссийское общество крестьянских писателей (ВОКП), 1927—1929.— Т 1.— С. 43—56.

Смерть батыра. Легенда.— Там же.— Т. 1.— С. 28—36.

Боевое. Рассказ.— Там же.— Т. 8.— С. 112—120.

Тихонов Т. И. **За Уралом — в Сибири.** (Очерк.)//Русский вестник.— СПб., 1897.— Т. 247.— № 1.— С. 261—281; № 2.— С. 345—360; т. 248.— № 4.— С. 170—182; т. 250.— № 7.— С. 80—94.

Толстой И. Л. **Мои воспоминания.**— М.; Мир, 1933.— Изд. 2-е.

Толстой Л. Л. **Записки из эпохи голода в 1891—1892 гг.**//Вестник Европы.— СПб., 1899.— № 6.—682—716; № 7.— С. 5—73.

Туркин А. Г. **Ночевали.** Эскиз.//Самарская газета.— Самара, 1902.— № 121.

Челябинская жизнь. Очерк.//В кн.: Туркин А. Г. Избр. произв.— Челябинск, 1937.— С. 251—256.

Ибрагим. Рассказ.//В кн.: Туркин А. Г Повесть и рассказы.— Уфа: Башкнигоиздат, 1988.— Серия: «Золотые родники».— С. 19—35.

Десятина. Рассказ.— Там же.— С. 35—44.

Культура. Рассказ.— Там же.— С. 44—46.

Учитель. Рассказ.//В кн.: Туркин А. Г. Степное. Очерки и рассказы.— СПб., 1914.— С. 225—229.

Ночь. Рассказ.//Современный мир.— СПб., 1911.—№ 4.— С. 116—120.

На вечное владение. Рассказ.//Современник.— СПб., 1913.— № 3.— С. 37—59.

Башкир Юмангулов. Рассказ.//В кн.: Туркин А. Г. Повесть и рассказы.— Уфа: Башкнигоиздат, 1988.— Серия: «Золотые родники».— С. 47—60.

Грех. Рассказ.— Там же.— С. 60—67.

Право. Рассказ.//В кн.: Туркин А. Г Избр. произв.— Челябинск, 1937.— С. 234—240.

Федоров А. М. **В башкирской степи.** Стихотворения.//В кн.: Федоров А. М. Собр. соч.: В 7 т.— М., 1911.— Т. 4.— С. 12—18.

Степь сказалась. Роман.//В кн.: Федоров А. М. Степь сказалась. (Роман, рассказ, письма.)— Уфа: Башкнигоиздат, 1981.— Серия: «Золотые родники».— С. 22—244.

Курайщик. Рассказ.— Там же.— С. 245—259.

Земля. Роман.— М., 1911.

Королева. Рассказ.//В кн.: Федоров А. М. Королева. Рассказы.— М., 1911.— С. 1—114.

Филоненко В. И. Башкиры. (Этнографический очерк.) — Уфа, 1915.

Черный Саша. Кумысные вирши. Стихотворения.//В кн.: Черный Александр. Сатиры и лирика. (В двух книгах.) Книга первая.— Берлин: Изд-во «Грани». Типография Е. А. Гутнова, 1922.— Новое дополненное издание.— С. 148—155.

Чехов А. П. Мысли читателя газет и журналов. Фельетон.//В кн.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем.— Сочинения.— М.: Наука, 1974—1983.— Т. 2.— С. 14.

У знакомых. Рассказ.— Там же.— Сочинения.— Т. 10.— С. 7—23.

Письма:

3403. А. М. Пешкову (М. Горькому). 28 мая 1901 г. Пьяный Бор.//В кн.. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем.: В 30-ти т.— М.: Наука. 1974—1983.— Письма.— Т. 10.— С. 33.

3404. А. И. Зальца. 28 мая 1901 г. Пьяный Бор.— Там же.— Письма.— Т. 10.— С. 34.

3405. М. П. Чеховой. 28 мая 1901 г. Пьяный Бор.— Там же.— Письма.— Т. 10.— С. 34.

3406. М. П. Чеховой. 30 мая 1901 г. Пароход, по пути в Аксеново.— Там же.— Письма.— Т. 10.— С. 36.

3407. М. П. Чеховой. 3 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 36—37.

3408. И. Л. Леонтьеву (Щеглову). 4 июня 1901 г. Аксеново.— Там же. С. 37.

3409. М. П. Чеховой. 4 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 38—39.

3411. М. С. Линскому. 7 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 39.

3412. А. М. Пешкову (М. Горькому). 8 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 39—40.

3413. М. О. Меньшикову. 9 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 40—41.

3414. В. М. Соболевскому. 9 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 41.

3415. Е. Я. Чеховой. 10 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 42.

3416. О. Р. Васильевой. 12 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 42—43.

3417. А. Ф. Кони. 12 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 43—44.

3418. Б. А. Лазаревскому. 14 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 44,

3419. В. С. Миролюбову. 14 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 44.

3420. М. П. Чеховой. 16 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 45.

3421. А. М. Пешкову (М. Горькому). 18 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 45—46.

3422. А. Ф. Марксу. 18 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 46.

3423. М. П. Чеховой. 20 июня 1901 г. Аксеново.— Там же. С. 47.

3424. А. П. Чехову. 21 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 47.

3425. В. М. Соболевскому. 23 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 48—49.

3426. Г. М. Чехову. 24 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 49.

3427. Е. Я. Чеховой. 26 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 49—50.

3428. И. А. Бунину. 30 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 50.

3429. А. Ф. Марксу. 30 июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 50.

3430. В. С. Миролюбову (отрывок). Конец июня 1901 г. Аксеново.— Там же.— С. 51.

3433. **В. А. Гольцеву.** 20 июля 1901 г. Ялта.— Там же.— С. 52.

3434. **А. М. Пешкову (М. Горькому).** 24 июля 1901 г. Ялта.— Там же.— С. 52—53.

3435. **М. А. Членову.** 24 июля 1901 г. Ялта.— Там же.— С. 53—54.

3438. **В. М. Лаврову.** 3 августа 1901 г. Ялта.— Там же.— С. 55—56.

Ш а д р и н Ил. На новую землю. Рассказ.//В газ.: Правда, СПб., 1913.— № 70, с. 295—297; № 71, с. 311—313; № 72, с. 325—330.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

I

А. М. Горький

Немой. *Башкирская легенда.* 61

Н. Н. Златовратский

Золотые сердца. *Повесть.* 65

Н. Г. Гарин-Михайловский

По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. *Отрывок* 93

А. П. Чехов

Письма:
М. П. Чеховой. 97
М. О. Меньшикову. 98
Е. Я. Чеховой. 98
А. Ф. Кони. 98
В. М. Соболевскому. 99
Г. М. Чехову. 99

Н. А. Крашенинников

Красавица Зюгра. *Рассказ.* 101
Башкирские саги. 107
Как произошел башкирский народ. *Сага.* . . . 112
Казачок Курул. *Рассказ.* 121
Гордость Магометова. *Рассказ.* 126
Новая земля. *Рассказ.* 130

Саша Черный

Кумысные вирши. *Стихотворения.* 134

Л. Н. Андреев

Сын человеческий. *Рассказ.* 140

П. А. Радимов

Башкирская акварель. *Стихотворения:*
Капитан. . . . 165
На палубе. . . 166
Пристань. . . 166
Ночевка. 167
Старый Стерлитамак. 167
Речка Сигаза. . . . 168
Башкирское утро. . 168
Мариам. 169
Гумер. 169
Пестрый базар. . . 170
Форель. 170
Ненастье. . . . 171
Песня с горы. . . 171
Башкирская акварель. 172

А. И. Куприн

Гоголь-моголь. *Рассказ.* 174

В. Г Короленко

Пугачевская легенда на Урале. 180

II

А. М. Федоров

В башкирской степи. *Стихотворения.* 199
Курайщик. *Рассказ.* 202

С. Г Рыбаков

По Уралу, среди башкир. *Путевые очерки.* 217

П. Г Рыбаков

Старшина Буранбай. *Комедия.* 267

В. В. Брусянин

В лесной Башкирии. *Рассказ.* 303
Белый волк. *Легенда.* . . 335
Вечная могила. *Легенда.* . 343

Г. П. Белорецкий

Поздней осенью. *Рассказ.* 350

А. Г Туркин

Ибрагим. *Рассказ.* 364
Культура. *Рассказ.* 380
Учитель. *Рассказ* . . . 382
Ночь. *Рассказ.* . . 385
Грех. *Рассказ.* . . . 389

Н. А. Степной

Кашкыр *(волки)*. *Рассказ.* 398
Смерть батыра. *Легенда.* 407

В. Н. Львов

Шамсинор. *Рассказ.* 413

П. П. Инфантьев

Жена Ахмета. *Рассказ.* 436

С. Р. Минцлов

Дебри жизни. Уфа. Дневник. 449

Комментарии. 456
Библиография 495

Печатается по решению
ученого совета ордена «Знак Почета»
Института истории, языка и литературы
Башкирского научного центра Уральского отделения АН СССР

Литературно-художественное издание

БАШКИРИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Составитель Рахимкулов Мурат Галимович

Том 3

Редактор *Ю. Андрианов*
Оформление *В. Ковалева*
Художественный редактор *И. Файрушин*
Технический редактор *Н. Зарипова*
Корректоры *И. Пастушкова, Л. Семенова*

ИБ № 4517

Сдано в набор 04.11.91. Подписано к печати 26.10.92. Формат бумаги 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип № 2. Гарнитура Тип. Таймс. Печать высокая с фотополимерных форм. Условн. печ. л. 26,88. Усл. кр.-отт. 26,88. Учетн.-издат. л. 31,65. Тираж 12000 экз. Заказ № 353. Цена свободная.

Башкирское издательство «Китап». 450001, Уфа, ул. Левченко, 4а. Уфимский полиграфкомбинат. 450001, Уфа, проспект Октября, 2.